
НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ
БУНТАРКА
И КОЛДУН







НАСИРДИН
БАЙТЕМИРОВ



БУНТАРКА И КОЛДУН



РОМАН

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1971

С (кирг) 2
Б 18

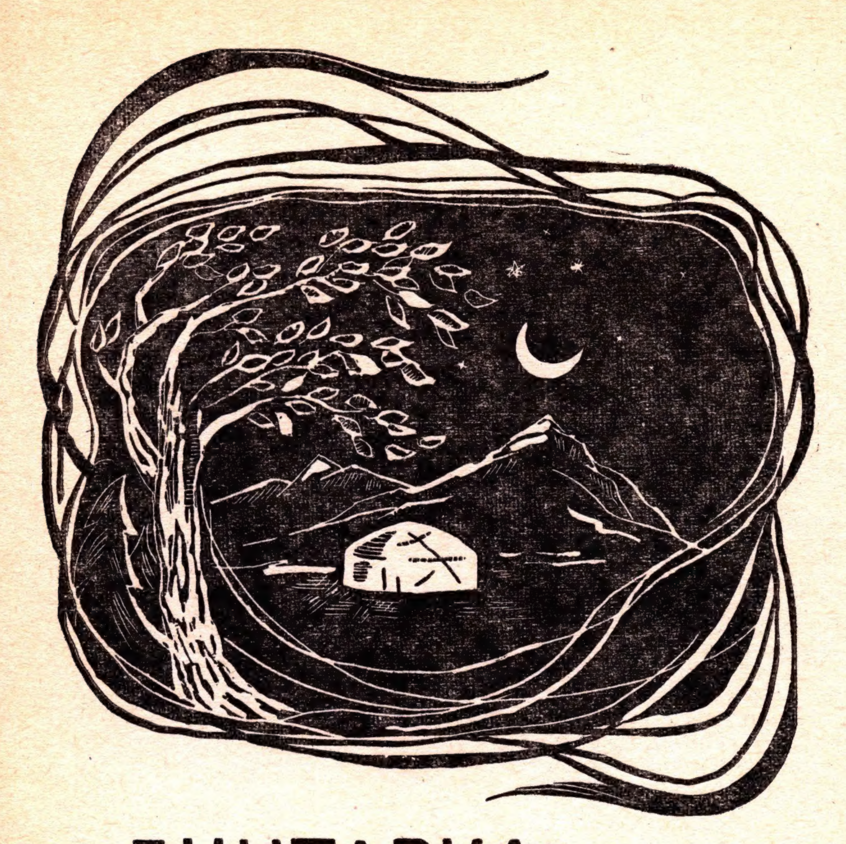
Роман «Бунтарка и Колдун» — одно из наиболее сильных произведений известного киргизского писателя Насирдина Байтемирова. Написанная от первого лица, книга эта является как бы воспоминаниями старой учительницы Аруке о своей удивительной жизни. Рассказывая о годах юности, Аруке воскрешает непосредственные впечатления девочки-женщины, проданной в жены байскому сыну полудурку Жайнаку. Испытав страшные истязания, Аруке к пятнадцати годам осознает ужас своего положения. Душа ее бунтует. Она влюбляется в молодого чабана, и тот убивает ее мужа. Аруке выдают замуж за десятилетнего брата убитого. Не выдержав этого кощунства, она бежит под покровительство горного охотника, бывшего каторжанина Токтора, которого в народе считают колдуном. Под влиянием удочерившего ее старика Аруке к шестнадцати годам становится в ряды сознательных борцов за счастье народа.

Аруке — фантазерка. Всюду ей мерещится колдовство. Душа ее робка, но жажда справедливости поднимает ее на бой против баев, манапов и царских карателей.

В романе гармонично сплетаются безудержная фантазия, сказка и подлинная история начального этапа всенародного киргизского восстания 1916 года. Приключения Аруке иногда кажутся почти невероятными, однако они поэтически верно отражают страшные события тех далеких лет.

Авторизованный перевод с киргизского
Е. Г. БОСНЯЦКОГО

7—3—3



БУНТАРКА

КНИГА ПЕРВАЯ



Глава первая,

в которой старая учительница Аруке, выйдя на пенсию, соглашается рассказать о своей удивительной жизни. Она передает слова матери и возвращается в годы детства и юности; события того времени она в ранние свои годы не понимала, а теперь понимает.

— Кто и зачем отгородил старость от средних лет и средние годы от юности и детства?!

Так начала шестидесятилетняя Аруке и обвела молодых своих гостей пронзительным взглядом. Для убедительности она топнула ногой. Никто ей не возразил, и она продолжала:

— Коза, медведь и собака не знают, что умрут. Пчела не знает, и беркут не знает. У них одна смерть. Единственная у каждого из них. А я к десяти годам узнала, что смертна. С той поры смерти приходили ко мне одна за другой. Когда моя мать, имя которой было Асыл, рассказала мне, что хотела уйти из жизни, но ей помешал отец мой Ыбраим, я робко обратилась к ней.

— Мама,— спросила я,— как так ты хотела уйти из жизни? Где ты была? Что такое жизнь, мама?

Моя мать была мастерицей и держала честь семьи. Имя ее

повторяли во многих аилах. К нам приезжали шить одежду, а приехав, спрашивали: «Где юрта женщины, у которой есть швейная машина?» Благодаря маме и отец и я были одеты, сыты и всюду желанны. Стройной и сильной женщиной была моя мать. Черные глаза ее сверкали, будто камни в ручье. А когда она говорила, люди пили ее слова, как путники пьют ключевую воду. Если муж ее, мой отец Ыбраим, уставал от кашля, она легко брала его на руки и вносила в юрту. В счастливые дни ей становилось весело: она учила меня петь и пела сама, а потом хватала за руки и кружила в воздухе, как пастух кружит аркан. Она так смеялась, что отец выздоравливал от ее смеха. В плохие времена мы с отцом ждали ее слóва и делали, как она велит. Но я помню и такие дни, когда голова ее повисала, косы выбивались из-под платка и ей не хотелось подбирать их с груди и прятать. Она подзывала меня, и я клала голову на ее плечо.

В один из таких дней мама рассказала мне, что хотела уйти из жизни. Тогда-то я и спросила, что такое жизнь, и вот какой получила ответ:

— Аруке, девочка моя... Коза, медведь и собака не знают, что умрут, пчела не знает, и беркут не знает. У всех у них одна смерть. Мы — люди. Аллах наказал нас знанием нашей смертности. Мы девять и еще девяносто девять раз умираем, раньше чем умереть. За твои малые годы уже девять смертей тебя миновали: от болезни, от голода, от землетрясения, от молнии, от каменного обвала, от снежной бури, от потока, от укуса бешеного медведя, который ворвался к нам в аил... А в девятый раз ты могла умереть от гнева бая нашего Кашкоро. В злости он готов был убить и тебя, и меня, и отца твоего Ыбраима...

— Мама, я понимаю смерть. Когда овцу режут, это смерть?

— Ты не должна меня перебивать. Молчи и слушай. Девять смертей ты миновала, не зная, что они были рядом. Ты была как овца, которая, пока нож не коснется ее горла, не помышляет о смерти. Человек тем и отличается от прочих тварей, что знает о ее неминуемости.

— А жизнь, мама? Почему ты не говоришь о жизни?

— Жизнь — это девять и еще девяносто девять смертей, о которых ты знаешь, что они тебя настигают, а ты от них уходишь. И если уйти удается, вдруг видишь, как хорошо на свете. Но потом забываешь и снова зовешь или ждешь смерть. Рано или поздно она приходит. Единственная, первая и последняя настоящая смерть. И человек о ней знает...

— А коза и медведь не знают. Правда, мама?

— Правда. Но только помни: жизнь едина. Детство мое, и

первое замужество, и бегство от Салеха, и второе мое замужество, когда спас меня от смерти и взял в жены отец твой Ыбраим,— все это единая моя жизнь. И я плачу детскими слезами над тем, что было и что я все еще до конца не пережила.

Так, обращаясь к бывшим своим питомцам, старая Аруке передавала им слова своей матери. Она разохотилась к рассказу и была рада вниманию. Но когда юноша Мамырбай осмелился улыбнуться в неположенном месте, Аруке рассердилась. Глаза ее прищурились, и она замолчала. Можно было подумать, что совсем не станет говорить, обидится. Вдруг повернется и уйдет, и никто не узнает истории ее жизни. Она упряма. С этим своим недостатком боролась всю жизнь, но так и не смогла его преодолеть.

На этот раз Аруке не ушла, только глубоко вздохнула, переборола в себе недовольство. Потом повторила слова, сказанные ею вначале:

— Кто и зачем отгораживает старость от средних лет и средние годы от юности и детства? Моя мама погибла, когда не исполнилось ей еще и сорока, но разве могу я даже в свои шестьдесят лет быть старше той, что носила меня во чреве и вскормила грудью? Она умерла в расцвете сил, а я дожила до старости. Но боль моего детства так же велика во мне, как и в те далекие годы. И боль, и радость, и надежда. Ты, улыбающийся и сомневающийся Мамырбай, мог бы спросить: «На что вы надеетесь, старая учительница Аруке, если вы не коза и не медведь и вам известно, что смерти не миновать?» Ты молчишь, Мамырбай, но тебе хочется сказать: «Не верьте рассказу Аруке, невозможно повторить сказанное пятьдесят лет назад. Разве способна была неграмотная мать говорить такие слова неграмотной десятилетней девочке?!» Не будем ссориться и спорить. Нет лжи в моем рассказе. Говорю вам, а вы постарайтесь понять: я живу всеми годами своей жизни. То, что было в детстве, повторяется в моей памяти. Непонятное со временем стало мне понятно.

Сейчас, повторяя слова мамы, я знаю, что такое керосин и спички. И многое другое я теперь знаю. В тот раз, когда мне было десять лет, мама рассказала, как за год до моего рождения облилась керосином, чтобы зажечь свое мокрое платье спичкой и превратиться в золу. Услышав ее слова, я улыбнулась, как теперь улыбаешься ты, Мамырбай. Разве могла я поверить, что можно *зажечь мокрое*? Ведь я никогда не видела керосина. Мама дала мне понюхать масленку от швейной машины.

— Вот как пахнет горючая вода керосин,— сказала она мне.— От меня так пахло долго. Одежда высохла, но вонь не улетучивалась целый год.

Стараясь быть внимательной, я спросила маму:

— Если горючая вода легко вспыхивает, почему не загорелась спичка?

— Потому что аллах меня спас. А может быть, потому, что я была глупой и вместе с одеждой облила спички.

Мама рассказывала, чтобы я испугалась и пожалела ее, а мне было не страшно. Только через три года после ее рассказа я узнала керосин, и душа моя содрогнулась: я поняла, какую ужасную смерть звала мама.

Мама говорила:

— Киргизы лучше и добрее к женам, чем узбеки. Жены киргизов ходят с открытым лицом и живут на свободе. Я жила за тремя гребнями гор, где в городах стоят глиняные дома узбеков. Когда исполнилось мне двенадцать лет, родители отдали меня в жены старому узбеку Салеху. На женской половине его дома пять его жен-узбечек плели корзины из стеблей чия. Меня, двенадцатилетнюю киргизку, бай Салех сделал шестой своей женой, самой младшей. Я нужна была, чтобы выносить мусор и ухаживать за животными. На меня надели паранджу и запретили без опущенного чачвана выходить на улицу...

Так рассказывала мама, но я не знала ни паранджи, ни чачвана. Я не видела никогда глиняного дома и не могла представить, что такое город и улица. Мамины слова нисколько меня не трогали, и мне хотелось вырваться из ее объятий и убежать к подругам, но мама продолжала говорить:

— Старшей жене Салеха было сорок лет. Она била меня, и щипала, и жаловалась на меня мужу. Но все же учила меня. В первый же год я стала помогать плести корзины и показала способности к шитью на руках и на машине. Но главной моей заботой было разжигать печи, доить кобылу, корову и козу. Я любила животных и не боялась, но узбеки держат их в скотном сарае, где вольной киргизке дышать нечем. Мне было трудно, я много плакала. Однако годы брали свое, я росла и становилась красивой. Старый Салех заметил меня и стал брать на ночь в свою половину дома, но утром я должна была работать и терпеть побои старших жен. Как-то под вечер старый Салех приказал идти с корзинами к торговцу, чтобы тот дал за них жбан керосина для ламп. Под чачваном было так темно, что я не видела, куда ступаю. И я упала на улице, и мое лицо открылось. Меня бил муж и били старшие жены...

Ничего не понимая, я решилась спросить:

— Что такое паранджа и что такое чачван, мама?

Она рассердилась, вскочила и оттолкнула меня. Подбежала к сундуку, подняла крышку и долго под ней копалась, как вдруг повернулась ко мне совсем другая. От страха я выбежала из юрты в горы, а мама закричала мне вслед:

— Вернись, вернись, Аруке!

Но я не возвращалась, а глядела на нее издали и вся дрожала, не понимая, что с ней сделалось.

А с ней вот что сделалось. Достала из сундука и надела на себя паранджу с чачваном. Я никогда раньше не видела такой одежды. «Куда делись мамины руки и почему на лице ее черная завеса? А может, под этой страшной тряпкой не мама, а только голос ее?» Так думала я и боялась к ней приблизиться, пока она не сбросила паранджу.

Паранджа у нее осталась с той поры, когда она ушла из дома Салеха в горы, взяв с собой жестянку с керосином и спички. Ночью при луне присела за кустом и облила себя с головы до ног керосином. Спички тоже намокли — она не смогла добыть огня, а что делать дальше, не знала. Тогда она заплакала и тихонько завыла от холода и страха. Если б нашел ее муж Салех, он при всем народе привязал бы одну лошадь к левой ее ноге и другую лошадь к правой ее ноге и разорвал бы женщину, которая стала моей матерью, за то, что сбежала и попробовала уйти из жизни. Так старый Салех поступил бы обязательно: бунтующих женщин нельзя было прощать, жизнь им не принадлежала. Но случилось, что в ту лунную ночь тихий вой женщины услышали проезжающие горной тропой путники. Это были киргизы из дальней Кочкорской долины. Они ездили на юг за солью и мануфактурой. Один из путников, бедняк-букара Ыбраим, первым нашел под кустом женщину в облитой керосином одежде и не побрезговал взять ее на верблюда. Заглянув ей в лицо, он увидел, что она молода и хороша собой, и обрадовался, что ему досталась жена без калыма.

— Папе аллах тебя послал, да, мама? — спросила я.

— Аллах всесилен,— ответила она мне.

Сказав эти слова, мама еще крепче прижала меня к себе и долго плакала, ничего не говоря о причине своих слез. Но прошло время, и она тихим голосом объяснила, что́ с ней. В тот день бай Кашкоро привез и отдал всю плату за меня — последнюю часть обусловленного калыма. Отныне он мог в любой час и в любую минуту приехать, чтобы взять меня в жены своему сыну. Завтра, или через месяц, или через год, или через девять лет.

Мама плакала, но я не заплакала от ее слов, хотя было мне только десять лет и я могла сравниться с камышинкой — таким тонким и гибким было мое тело. Я очень любила свою мать и своего бедного отца, но в свои десять лет давно знала от подруг, что каждая девочка рано или поздно будет отдана в жены и что родители получат за нее плату. Узнав, что за меня отдал выкуп сам бай Кашкоро и что я предназначена его сыну Жайнаку, который всего на три года старше меня, я в душе обрадовалась, в меня вселилась гордость. Но мама лила слезы, и, чтобы ее не огорчать, я тоже скривила лицо. Один или два раза я видела того, кто был предназначен мне в мужья. Этот мальчик был медлителен и важен. Он казался смешным, но ничем не был противен. Я знала, что наш бай могущественный и богатый человек. Он захотел для своего сына взять меня. Разве это не лучше, чем стать женой бедняка? Но об этом я не спросила маму. Один только вопрос вертелся в моей голове: какой калым отдал бай, во сколько меня оценил? Но я боялась спросить. Мама продолжала плакать. Ее голова склонилась к земле. То и дело она меня сжимала в объятиях. Я стала скучать от столь долгого плача.

Наконец я ей сказала:

— Ты так смотришь на меня, мама, будто я покойница.

Тогда она вытерла свое лицо, и вот какие услышала я от нее слова:

— Ах, девочка моя. Лучше умереть в детстве, чем стать женой бая!

Я видела жену бая Кашкоро, мою будущую свекровь. Она проезжала через наш аил на вороном жеребце, только на сажень отставая от мужа. Народ перед ней склонялся, как и перед самим баем. Я понимала, что старший его сын, в жены которому я предназначена, после смерти отца сам станет баем, к нему перейдут власть и богатство.

— Мама,— спросила я, не удержав своего любопытства,— какой калым отдал за меня Кашкоро? Ты мне часто говоришь, что я у тебя красивая...

Мама улыбнулась сквозь слезы:

— Ежиха дочку свою называет мяконькой... Но ты и правда красивая. Правда, правда! — и она прильнула ко мне и опять принялась плакать.— Уже теперь ты красивая, а потом будешь еще лучше. Но бай Кашкоро засватал тебя еще семь лет назад, в год джута *, когда от голода подогнулись твои ножки и не

---

* Джут — бескормица. В гололедицу скот не может пробить лед и добыть траву. От джута гибли тысячи голов скота.

видно было, какой ты станешь. Он кинул нам мешок проса и сказал отцу твоему: «Можешь не отдавать, а засчитай как первую плату за эту вот кривоногую. Если выровняется — возьму ее в жены своему сыну». Мы думали, бай шутит, но прошло время, и ты стала выравниваться. Кашкоро привозил нам подарки, а мы не имели сил от них отказаться.

Год назад караван торговцев-уйгуров проходил мимо нашего аила. Они разложили на поляне товары: ситец, бархат, иголки, нитки, утюги, топоры, ножи — все, что нужно людям. Как вдруг я увидела среди товаров швейную машину «Зингер», точь-в-точь такую, какая была у старшей жены Салеха. Еще тогда я научилась на ней работать, знала, что в девять раз быстрее можно на ней шить. Так загляделась я на машину, что купец-уйгур это заметил и подпустил меня попробовать. А когда убедился, что машина мне подчиняется, стал уговаривать купить. Тридцать рублей — цена двух рабочих верблюдов и породистого жеребца — вот сколько стоила машина. Юрта и все имущество наше вместе с одеждой и одеялами не потянули бы столько. Но тут случилось подъехать к торговому каравану баю нашему Кашкоро. Уловив, как неотрывно гляжу я на машину, как ласкаю ее взглядом, бай подозвал отца твоего Ыбраима. Мужчины поговорили, бай отдал купцу деньги за машину, и мы отнесли ее в нашу юрту. С тех пор я шью многим, а ты мне помогаешь тем, что крутишь ручку... Бедная Аруке, ты не знала, что эта машина еще с той поры определила твою судьбу?.. А сегодня люди бая пригнали нам трех жирных валухов и телку. Это последняя плата в счет калыма. Теперь ты принадлежишь ему, и в любой день или час он может приехать, чтобы тебя взять.

И снова заплакала мама. А я, не понимая, что такое замужество, не могла с ней плакать. Она обозвала меня бесчувственной и сказала, что я не люблю ни ее, ни отца. Но слова ее были неправдой.

Расплатившись с моими родителями, отдав им все, что пообещал, и став полным моим хозяином, бай Кашкоро не торопился увозить меня и делать женой сына. Юрты бая стояли в другом аиле, далеко от нашего, я только понаслышке знала, как живет моя будущая семья. Кашкоро владел большими стадами овец и тремя табунами лошадей, но не был самым богатым и самым могущественным в нашей волости. Зато славился бережливостью, расчетливостью и хитростью. Отдав заблаговременно весь калым, он ждал, пока я, будущая его невестка, разовьюсь под крылом своей матери, стану крепче и приучусь хозяйничать.

Купив моей маме швейную машину, он и это сделал для своей выгоды: знал, что отец мой Ыбраим с каждым годом слабеет, каменотесное ремесло уже не может его прокормить, а своего скота у нас нет. Мы будем кормиться маминой портняжной работой, и я, будущая жена его сына, около мамы научусь шить.

Тянь-шаньские киргизы жили скотом, земли пахали мало, а если сеяли, то ячмень и просо. Только тот киргиз, у которого было тридцать-сорок овец, три-четыре лошади, верблюд и корова, считался самостоятельным хозяином. Тех, кто не имел своих животных, презрительно именовали б у к а р а. К букаре относились и мы, хотя отец мой и владел ремеслом — умел вырубать из твердого камня жернова для мельниц. Когда-то он неплохо зарабатывал, за большой жернов для водяной мельницы ему давали несколько баранов, а иногда и мясную кобылу, и мы могли безбедно прожить два или три месяца. Но его подломила болезнь, теперь он высекал только маленькие жернова для домашних мельниц, но и их делал медленно; каменная пыль до того доводила, что силы его оставляли и он лежал от пятницы до пятницы. Заказчики уходили ни с чем и громко его бранили.

Да, в те годы даже самые умелые ремесленники из киргизов не могли прокормиться, если у них не было хоть небольшого собственного стада животных. И кузнецы, и сапожники, и шубники, и горшечники стремились держать скот. Иначе им ничего не оставалось, как наниматься в пастухи к баю.

Когда мама стала шить на машине, дела наши поправились. Мы с ней работали с утра до темноты. Раньше в нашей юрте звенели инструменты отца, теперь стучала швейная машина. Понемногу мама стала подпускать меня строчить прямые швы наволочек и одеял. А к тринадцати годам я уже начала соображать, как из куска материи выкроить платье, женские шаровары, мужские штаны, как выложить ватой чапан, как залатать локти рубахи. Я была помощницей маме, и она с тоской думала, что будет, когда бай меня увезет.

Слава аллаху, бая все не было и не было. В аиле уже стали забывать, что я не принадлежу отцу и матери. В свободные часы девочки соседей со мной играли, не боясь, что их за это побьют; у меня было много лоскутов и тряпичных кукол, девочкам было интересно со мной играть, и они старались не думать, что я просватана в байскую семью.

Иногда мама говорила:

— Разве бай не человек? То и дело он присылает мне материю, чтобы я сшила рубашку сыну, платье жене, одеяло, чапан. И все бесплатно. Неужели трудом своим я не возместила ему

цену швейной машины? Не отдам ему свою доченьку! Нет, нет, не отдам!

Мне были приятны слова матери, они казались правдой. Я не понимала, что все это говорилось впустую, так же как молитва или проклятье.

А в аиле смеялись над нами. Разве пара наследнику бая дочь бедняка-букары? Посмеивались надо мной и подружки мои, а я не знала, что и думать. Правда, где это видано, чтобы, отдав весь калым, не увозить невесту?

Бай знал, что делал. Хоть он и не появлялся в нашем аиле, однако через людей осведомлялся о каждом нашем шаге. Когда же ему сообщили, что я подросла и ношу с родника по два кувшина воды, когда стало ему известно, что не только верчу ручку швейной машины, а могу и сама шить и кроить, что сил у меня хватает стирать на всю семью, он послал к нам гонца, и тот передал нам всего одно слово:

— Готовьтесь!

Бай Кашкоро был так скуп, что и слова цедил по одному — не назвал день, когда приедет. И сколько ни расспрашивали мы гонца, тот не мог нам ответить.

С того байского слова «готовьтесь» начались наши беды. Отец совсем перестал работать и заважничал: ходил в чистой рубашке и каждому напоминал, что теперь он не букара-мастеровой, а близкий самому баю. Мама посмеивалась над ним. Однако в душе ее свила гнездо тревога. Она многим пообещала сшить зимнюю одежду. Чтобы выполнить все заказы, невозможно было обойтись без моей помощи. В ожидании того, что бай может нагрянуть и увезти меня, она стала спешить и торопить меня, и я в спешке сломала две машинных иглы. Рассердившись, мама сильно меня побила и села за машину сама. Руки ее дрожали, и она сломала третью, последнюю иглу. Работа остановилась. Мы надеялись, что придет караван купцов с разным товаром и можно будет возобновить запас машинных игл. Но в тот год горные перевалы уже в августе замело снегом, пути не стало. Нам пришлось шить по старинке, руками. Но тот, кто привык к хорошему, плохого брать не хотел. Крик и ругань стояли в нашей юрте, люди забирали свои заказы недошитыми и ничего нам не платили. Запасы пищи уменьшались с каждым днем. Получалось так, что мы проедали наш труд, не откладывая на зиму. Боясь голода и нищеты, мама с нетерпением ждала бая. И сколько бы ласковых слов она ни говорила, я понимала — ей в бедности своей хотелось избавиться от лишнего рта.

Однако бай не ехал и не ехал. У него и в этом был свой расчет: если приедет за невестой в полный людьми аил, не

избежать ему больших расходов: надо будет праздновать, угощать многих, показывать свою щедрость. Этого он не любил, справедливо полагая, что зарезанный баран курдюка не наращивает.

Всего этого я тогда еще не знала. По молодости лет о характере будущего своего свекра не задумывалась. Одно я чувствовала: в нашей семье стало неладно, мы беднеем и чахнем, и за все это вина лежит на мне.

Между тем наступил октябрь, все чаще прилетали холодные ветры. На летнем пастбище, где мы жили, травы пожухли, листья на кустах облетели, а те, что остались, пожелтели и покраснели. Наступила пора откочевывать с гор в низину, где зима не так морозна, где скот может добывать из-под снега свое пропитание. Люди нашего аила спешно укладывали пожитки, разбирали и грузили на верблюдов юрты и угоняли овец. Одни только мы не трогались с места. Нам не на чем было вывезти юрту и свой домашний скарб.

И так в конце концов получилось, что мы остались на оголенном склоне холма, где валялись обрывки кошмы, объеденные бараньи кости и, как пеньки, торчали среди протоптанных дорожек черные от копоти очаги. Только они и напоминали, что тут стояло киргизское поселение.

Разве не знали мои родители, что так будет? Мы ведь не имели вьючного скота — ни лошадей, ни верблюдов, ни волов; даже паршивым ишаком не обзавелся отец мой Ыбраим. У нас и весной не было своих вьючных животных, однако ж мы прикочевали на джайлоо вместе со всеми. В то время отец еще немного работал, а мама с моей помощью шила всем и каждому. Соседи охотно нас перевезли, зная, что если не деньгами — работой мы сможем оплатить их услугу. Теперь же, когда швейная машина стояла без игл и заказы остались не выполнены, перевезти нас могли только родственники, да и те из одной милости.

Из уважаемых людей мы превратились в голытьбу. А так как отец мой Ыбраим и мать моя Асыл выпрашивать и клянчить еще не научились, полагая себя умелыми мастерами и гордясь этим, даже ближняя родня не предложила нам помощи.

Но была и другая причина. Все знали, что в августе гонец бая велел нам готовиться. Значит, и правда семья наша с ним породнится. Бай богат и силен. Разве мало у него верблюдов и коней? Берет дочь бедняка-букары, пусть ему и помогает! Бая боялись, но не любили, а приближенных бая не любили того сильнее. Даже кулов — рабов бая, хотя они были самыми несчастными и бесправными, народ не только не любил, но и ненавидел: руками кулов бай расправлялся с неугодными. Кул по

указке бая, как собака, кидался на всякого, бил и даже забивал насмерть.

Что может быть бесприютнее и тоскливее оставленного людьми жилого места? Будто прошла тут вражеская конница и все вытоптала и сожгла. Площадка среди холмов, на которой осталась одна только наша юрта, была как свалка отбросов. Мама по справедливости считалась самой чистоплотной женщиной во всем аиле. Не перенося грязи, она забилась в юрту, чтобы не видеть, какой развал нас окружает. Отец молчал, и она молчала, никто не мог работать, и только я, чтобы поменьше бросаться в глаза, качала на руках и тихой песней баюкала тряпичную куклу. К полудню заволокло небо и посыпал снежок. Так стало вокруг беззвучно, что отец и мать, услышав мою песенку, оба повернулись ко мне. В глазах их я увидела укор, будто винят меня во всех своих бедах.

— Брось куклу! — закричал отец.— Нашла время играть.

Я сжалась, боясь ругани, но отец забыл обо мне и насторожился.

— Едут! — вскричал он и сорвался с места.

Но то не всадники скакали, а гремели скатившиеся с гор камни. Может быть, дикие козлы пробежали по горному гребню или стая волков подкрадывалась, надеясь чем-нибудь поживиться на брошенном людьми месте. Отец долго вслушивался. Когда же убедился в своей ошибке — на него напала ярость. В гневе он бывал ужасен, а на этот раз нетерпение и отчаяние превратили его в безумного. Он сжал кулаки и принялся ругать все и всех: людей, небеса, горы, камни, снег. Потом он взялся бранить манапов и баев. Кричал, что барсы и волки кровожадности учатся у баев, что змеи и скорпионы в сравнении с ними добрые ягнята, что горный обвал лучше прихода бая...

Мама притихла, она боялась таких вспышек отца. Он мог начать все крушить. Покончив с манапами и баями, он взялся за их слуг — биев и мулл. От мулл он перешел к пророку Магомету и кончил тем, что стал проклинать самого аллаха. Он клял его самыми плохими словами, какие есть в языке киргизов.

— Замолчи,— тихо сказала мама,— замолчи, или накликаешь беду.

Отец не унимался. Он рвал на себе одежду и кричал:

— Пускай идет беда, пусть шайтан заберет меня вместе с моим семейством! Весь свой век я тружусь в поте лица, а нет у меня даже паршивого ишака, чтобы погрузить ветхий алачик... *

---

* Алачик — то же, что юрта.

Мы с мамой были хорошо и аккуратно одеты в ожидании приезда бая. В тот день, когда у нас побывал гонец от бая, отец тоже помылся, надел чистую рубаху и подпоясался новым полотенцем; мама ножницами подправила его бороду. Но с тех пор прошло два месяца, от бая ни слуху ни духу, и отец постепенно во всем разуверился, перестал за собой следить, совсем опустился. Все чаще грудь его сотрясал кашель, от болезни его знобило, и он, чтобы согреться, поверх ватного чапана натянул мехом наружу бараний тулуп. Борода его была всклокочена, старый лисий треух болтался на полысевшей голове.

— Пусть, пусть аллах вместе с шайтаном пляшут на моих костях! — кричал отец, и как бы в ответ на его слова свирепый удар ветра покачнул нашу юрту.

Затишье предвещало бурю. Еще вчера старики, укладывая последние вьюки, говорили, что вот-вот в горах начнется непогода. Но сейчас, когда топал ногами и вопил, дрожа от ярости, наш отец, казалось, это он вызывал вихрь.

— Так, так! — кричал в самозабвении отец.— Пусть все валится, ничего не жалко. Ничего и никого!

Новый порыв ветра сорвал полог, и, будто по зову отца, влетели в юрту пыль, тряпки, обрывки аркана, чьи-то сбившиеся волосы. Обрезки материи взвились в воздух и закружились по нашему жилью. Застучала крышка тундука *.

«Так, так, так!» — повторяла она слово, сказанное отцом.

Желая ее удержать, я изо всех сил вцепилась в веревку, но ветер был так силен, что приподымал меня вместе с крышкой. Тогда мама тоже взялась за веревку. Я думала — хочет привязать ее к кереге **, но вдруг увидела, что лицо мамы покрылось бледностью, и поняла, что она не держит веревку, а держится за нее.

Я стала плакать и трясти мамино плечо. Наконец она посмотрела на меня и, будто проснувшись, сказала:

— Обмотайся веревкой, а я пойду накрою машину.

Слова ее были просты и разумны, и я опять поверила в мамину силу. Но то, что я увидела, еще больше меня напугало. Мама плашмя легла на швейную машину и стала кричать:

— Не дам, не дам! Пусть меня убьет, но с ней я не расстанусь!

Отец то выбегал, то возвращался в юрту. Он что-то кричал, но смысл его слов не доходил до меня. Неожиданно успокоившись,

---

* Тундук — потолочное отверстие в юрте.

** Кереге — деревянный, набранный из тонких дощечек остов юрты, на котором крепится войлочная кошма.

он уселся на деревянное седло, стоявшее, как у всех киргизов, внутри юрты, у выхода. У многих не было своего коня, но седло имел каждый. Так и мой отец — всю жизнь хранил седло своего отца, у которого тоже не было лошади.

Усевшись, отец криво улыбнулся. Он был отходчив, гнев его оседал, как пыль после бури. Оттого, что долго кричал, прочистил грудь, разгорячился и теперь не кашлял. Сколько раз замечала — довольно отцу утихомириться, мать все забывает и солнышком встает ему навстречу. Он слабеет — она видит, что без нее не обойдется, нужны ее силы, пора приниматься за дела. Вот и сейчас поднялась с земли. Минуту назад кричала, что не расстанется со швейной машиной, теперь забыла про нее, кинулась к отцу:

— Приляг, отдохни. Слава аллаху, ветер разгонит тучи, не ляжет снег, не закроет к нам путь. Не все люди в нашем аиле плохи, найдутся хорошие, одумаются, вернутся за нами. Доченька, иди к нам, посидим обнявшись, любовь даст нам тепло, а потом и новые силы.

Ветер продолжал свое дело, раскачивал юрту, уже кое-где оторвал покрывающий ее войлок.

Мать добыла из заветного уголка три ячменные лепешки:

— Давайте, милые, подкрепимся. Буря только начинается.

И буря правда только начиналась. Еще не развалилась наша юрта, не улетела кошма от нее, не посыпались камни с вершины горы и не поднялась луна, чтобы мы увидели, что́ с нами стало.

Так рассказывала старая Аруке, которая почти сорок лет была учительницей, а из них двадцать — директором школы. У нее появилась нестерпимая жажда вспоминать и делиться тем, что вспомнила.

У нее собирались юноши и девушки, и она вечер за вечером вела свой рассказ.

Она так говорила:

— Вас называю детьми. Вам по семнадцать-восемнадцать лет, но ни один из вас не женат и ни одна не выходила замуж. Может, и правда вы еще дети? Пожалуй, что не так. Никто из вас пока не добывает себе пропитание, однако вам так много известно об устройстве мира и жизни народов, что самые старые и мудрые люди киргизов — баи, муллы, бии, жившие и правившие в то время, не могут с вами сравниться.

В то время, о котором рассказываю, мне только-только

исполнилось тринадцать лет. Еще не поднявшись до своего роста, не видев ни одной книги, не зная просторов земли и значения света, я стала женой, и все полагали меня созревшей для этого.

Тогда считалось, что если тебетеем * ударить девочку по голове и она не упадет — значит пригодна в жены.

Вспоминая, удивляюсь матери и отцу, спрашиваю себя: как же они любили меня, если уже за трехлетнюю получали с кровожадного бая? Но и другое себя спрашиваю: почему не бунтовала, не упиралась, не кричала? Если овцу тащат резать, даже овца кричит и упирается.

Но что было бы, если б додержали меня родители до пятнадцати или шестнадцати лет, когда кругом все мои подруги, кроме калек и уродок, отданы были в жены? Я бы от стыда сгорела и спряталась, а родителей своих в душе назвала бы глупыми.

Так шла жизнь. И во многих странах по-прежнему так идет. И в соседнем с нами Афганистане, и в Иране, и в Ираке, и в Пакистане, и в Индонезии. Не бунтуют девочки — идут на заклание.

Но я не начинала бы рассказ, если б не нашла в своей памяти, когда впервые взбунтовались сердце мое и ум мой.

Первый бунт вспыхнул в тот день, о котором уже говорила вам, что началась буря.

Вот что стало дальше. Ветер вырвал из моих рук веревку, крышка тундука оторвалась и укатилась в ущелье. Я хотела побежать, чтобы найти ее, но мама сказала:

— Не ходи, Аруке. Это ураган, мы должны быть вместе.

Она встала, подняла с полу швейную машину и уложила в сундук. Собрала туда же обрезки материи и одежду, которая висела. Одеяла не вместились в небольшой наш сундук, и мама, поглядев на них, махнула рукой, а потом, повернувшись к отцу, весело заговорила:

— Когда ты кричишь, я теряюсь и меня покидают силы. Но вот ты улыбнулся, и опять рождаюсь на свет. Пусть аллах прислал нам бурю, жизнь бедняка всегда буря! Пусть летит все, мы, бедняки, останемся, без нас разве может быть жизнь? Нет, не может! Э-эй, спина букары создана для палок, глаза для слез, сердце для горя, а руки для работы. Не склоняйся перед бурей, муж мой. Счастливее нас никого нет. Бай числом своего скота две жизни не проживет. Толстый живот бая и мое тощее

---

* Тебетей — мужской головной убор, отороченный мехом или бархатом.

тело одинаково превратятся в прах, но после нас останутся высеченные твоими руками жернова и сшитая мною одежда, а после бая — только вонь сытой жизни его.

Мама говорила, и светом разгоралось ее лицо. Ветер скривил юрту, на маму свалилась подпорная жердь, но ей хоть бы что. Подбоченившись, стоит перед нами, и голос ее будит в нас жизнь. Я любуюсь мамой, люблю ее так, что душа подпрыгивает и ликует. Нет красивее и сильней моей мамы.

— Муж мой, данный мне богом,— говорит мама, а ветер уже отбросил одну кошму с нашей юрты, и свет закатного солнца озаряет ее лицо.— Муж мой, данный мне богом! Ты вернул мне жизнь, спас от байской казни, я родила тебе девочку, и мы против беды и непогоды все вместе. Нет гор, которых бы ты не топтал, нет бая, на которого бы ты не работал. Сколько шрамов тебе это стоило. Но ты всегда оставался бесстрашным, не шарахался от проползающей гюрзы, не боялся грома и молнии, не тонул в бушующих реках. Что же ты теперь гнешься к земле? Распрямись, подыми голову!

Ласкающие слова мамы отец слушал, не прерывая, только царапал тростинкой землю под ногами. Лицо его постепенно оживало, исчезла угрюмость, уходила свирепость. Тело, окоченевшее от злости, стало подвижнее. Сгладились морщины на лбу. Тяжелые веки его поднялись, и он одарил маму таким взглядом, что никакие слова не могли бы его заменить. Отец без слов говорил маме: «Нет на свете человека с такой прекрасной душой, как у тебя. Спасибо аллаху, что ты существуешь!» Уголки его глаз наполнились слезами. Он пошевельнулся, как бы желая встать и начать что-то делать. Но не встал, а тихо проговорил:

— Ах, Асыл, разве не понимаю... Крик и ссора ничего не дают. Болезнь меня делает таким. Я теперь прихожу в ярость, даже увидев дерущихся воробьев. Я начинаю дрожать, когда чужая собака еще только подымает голову. Эти дни ходил и просил дать нам хотя бы вола. Отказы подобно иглам впивались в мою грудь... Да вот еще и кашель. От него чуть не падаю. Если б не ты, считал бы себя уже мертвым...

Не успел отец закончить, юрта затряслась как в лихорадке, край ее приподнялся, и пригоршни мелких камней полетели в нас. Вдруг повалились потолочные палки — уук. Защищая руками голову, мы втроем втиснулись в дверь. Перекосившись, она сжала нас, охватила клещами, не пуская ни вперед, ни назад. Палки-уук градом сыпались нам на спину. Похоже было — кто-то огромный творит над нами палочную расправу. Мы корчились под ударами, а буря свистела и грохотала.

Маме удалось выскочить невредимой, нас с отцом привалила юрта. Кое-как выбравшись, мы стояли друг перед другом помятые, избитые, поцарапанные. Огромное багровое солнце провалилось в глубокое ущелье и глядело снизу так грозно и свирепо, что отец мой Ыбраим и мать моя Асыл, не сговариваясь, упали на колени и стали торопливо бить поклоны, согласно повторяя слова намаза.

А я как стояла, так и осталась стоять против злого солнца. Ветер бил меня камнями, отец и мать кричали мне, прерывая слова намаза:

— Молись, Аруке, молись!

Отец вздымал руки и падал плашмя, и мать делала за ним точно, как он. У меня же тело и душа проросли железом и корнями скрепились с землей. Будто давным-давно здесь стою, с той самой поры, как поднялись поднебесные горы. С горами вместе поднялась и стою, держась, как и они, против ветра и злого солнца.

Я в упор глядела в свирепое мутное око солнца. Камни секли мне лицо, а я кричала, не отворяя рта, всем телом и всей душой кричала:

— Уйди, скройся, не мучь нас бурей, злое осеннее солнце! Спрячься, спрячься, приказываю тебе!

И солнце скрылось, и быстро стало темнеть. А я ощутила непомерную силу, будто желанием своим сотворила закат. Вместе с багровым пыльным солнцем пропала и буря, уступив место безветрию и отпустив птиц и зверей из случайных их пристанищ в родные норы и гнезда. Все запищало кругом и защебетало от радости и покоя. Оттого, что пропала буря, я подумала, что моя сила больше силы молитвы. Меня наполнила гордость, и если понадобилось бы лететь, я бы раскрыла руки и полетела.

Отец с матерью поднялись с колен и спросили меня, что со мной. Услышав ласку и доброту в их голосах, увидев заботу в их взгляде, я расслабилась, задрожала, но не заплакала.

— Разве ты не дочь наша? Почему не скажешь, что с тобой? — так, обняв меня дрожащую, спросила мама.

Но я не способна была ответить, что́ было со мной.

— Почему ты не молилась с нами? — продолжала спрашивать мама.— Ты шайтану молилась, стоя спиной к Мекке.

— Нет, мама,— отвечала я ей сухими губами,— я своей силе молилась, желая стоять и сопротивляться.

А быть может, ничего не сказала, только шевельнула губами. Пожалуй, так оно и было... Это теперь мне хочется верить, что и в малые свои годы находила способность говорить умные речи. Одно помню твердо: именно в тот вечер душа моя принялась

крепнуть, обретая свой кристалл. Но не такой, как у матери моей Асыл, и не совсем такой, как у отца моего Ыбраима.

Отец мой Ыбраим, когда на него накатывало, свирепел и кричал, ломая все, что попадает под руку. Он проклинал манапов и баев, горы, ветер, солнце и самого аллаха. Я не хотела и не могла ни свирепеть, ни проклинать, ни молиться. Во мне поднималось и растекалось по жилам железо моей силы. Но как у отца быстро проходила его свирепость, так и у меня от первых же слов заботы и доброты пропало железо. Оно незваным пришло и без спросу ушло.

С той поры я начала догадываться: живет и теплится во мне железный гнев. Испугалась. В глубине же своей крошечной души обрадовалась, сообразив, что будет в моей судьбе помощник.

Мама в третий раз спросила меня, что со мной, и я вдруг рассмеялась, запрыгала и затанцевала перед ней, хотя кругом все было разорено и от жилья остались лохмотья.

Так родился, укрепив меня на земле, первый мой бунт. О нем я вспомнила только через многие годы. А в то время сердце мое надолго смирилось. Снова я стала маленькой и мягкой.



Глава вторая,

в которой тринадцатилетняя Аруке, проданная родителями за швейную машину, покидает родной очаг под плач матери и неистовый вопль отца. Сидя верхом на лошади, она вдыхает неведомый ей запах молодого парня. Спустившись с холмов, караван пересекает каменное поле, где рождаются горы. То место не подвластно ни человеку, ни зверю, ни насекомому, ни траве. Там дышит и стонет первозданная земля, а из трещин ее расползается серое и коричневое.

После бури и до того самого времени, когда короткие сумерки осени сменились темной ночью, отец бродил вокруг развала, как стреноженный конь. Буря не оставила нам одеял, а пух разорванных подушек подняла до вершинного снега. С трудом наклоняясь, отец шарил под остовом юрты, надеясь найти ложки, ножи и блюда. Все, кроме ножей, было в то время деревянным, простые киргизы не могли покупать фарфоровой и фаянсовой посуды. Отец не пошел искать по горам одеяла и постели, но искал посуду для еды. Теперь понимаю: он ждал гостей и беспокоился, что не на чем будет подать им пищу. Да, теперь я вижу связь и объяснения разных поступков моих родителей. Тогда же, по малости лет, могла только удивляться.

— Горе мне, горе,— ворчал отец, не замечая, что мысли его стали словами.— Дождались! Хорошо еще, если найдется на что посадить сватов...

Обнаружив, что услышала его, он насупился и потер ладонью лоб, но вдруг раскрыл мне объятия, и я кинулась ему на грудь.

— Единственная моя! — бормотал он.— Неужели и правда сбудется этой ночью то, чего так боюсь? Не хочу и не верю! — закричал он, закрыл лицо руками и отошел подальше. Качаясь от слабости, он сел на плоский камень.

Если отец думал о плошках и ложках, я, сообразив, что и правда могут приехать, стала себя оглядывать, беспокоиться о своем виде. Отряхнула пыль и принялась вертеться, чтобы обратить на себя внимание мамы. Давно ли как властительница приказывала солнцу и буре, а тут все забыла и знай себе кручусь, как щенок за своим хвостом. А надо сказать, мама умела

так меня одеть, что даже богатые женщины ахали и всплескивали руками, увидев мои наряды. Никто не мог догадаться, что все мои платья сшиты из остатков и обрезков.

Мне хотелось маминой ласки, хотелось, чтобы и она жалела меня, как жалеет отец, но не потому, что мне было страшно. Еще неведомы были страданья разлуки. Замужество и отъезд виделись новой игрой, в которой я буду самой главной. Конечно, хоть и была я малолетней, все же видела, как девочек увозят в жены. Слышала крик и плач. Невесту два и три раза сажали на коня будущего мужа, она соскакивала, снова мать обнимала ее: «Не отдам, не отдам!» А жених спокойно ждал, когда кончится прощание. Никто с ним не боролся, никто его не гнал. И он и другие знали: калым уплачен, сколько бы ни длилось прощание, мать невесты сама же и подсадит дочку, помашет ей платком и, опираясь на руки соседок, уйдет в юрту. Один только раз дело дошло до того, что не только невеста, все провожающие плакали и терзались. То была жестокая свадьба. Пятидесятилетний мужчина среднего достатка похоронил жену, умершую от какой-то болезни. Едва прошло сорок дней, он поторопился присватать себе четырнадцатилетнюю девушку. Родители польстились на калым, хотя знали, что дочку берет старик. Как же она, бедняжка, безутешно рыдала! Когда стали подсаживать на коня и будущий муж протянул к ней руки, она села на землю и, срывая с себя одежду, каталась в пыли. Исцарапала свое лицо, до крови искусала губы; вместе со стонами изо рта ее шла кровавая пена. А кончилось тем же: ее подняли на коня старого жениха, и конь побежал как ни в чем не бывало. Однако, стоило жениху въехать на мост, невеста вырвалась из его объятий и кинулась в реку. Двое мужчин, рискуя утонуть, вытащили ее, полумертвую, всю избитую речными камнями. Долго не могли откачать. Когда ж она открыла глаза и вздохнула, ее опять уложили поперек лошади. Я думала, вернут домой, к матери и отцу. Нет, жених повез ее дальше, а привезя в свой кыштак, лечил молодую бранью и плеткой.

Оказалось же, что дело не только в калыме. Девушка была засватана за молодого. Но умершая жена старика приходилась невесте старшей сестрой, а по обычаям вдовец имеет преимущество перед другими. Родители вынуждены были расторгнуть брачный договор с первым женихом, а дочь отдать старому своему зятю. Как же было невесте не переживать и не сопротивляться! Мало что выдали за старика — ей досталось воспитывать пятерых его сыновей, старшему из которых стукнуло восемнадцать лет. Выходило, что пасынок был на четыре года взрослее мачехи.

Когда я об этом узнала, сердце мое содрогнулось, и я плакала. Однако быстро успокоилась, вспомнив, что мой жених всего на три года обогнал меня в возрасте. В детстве умом трудно представить будущие мучения и несчастья. К тому же, с малых лет зная, что засватана, я привыкала к предопределенности своей судьбы. Бывали даже случаи, что после наказания, полученного от матери или отца, я мечтала поскорее от них уехать. Конечно, такие злые мечты длились недолго, однако ж, признаться, повторялись не раз.

Я не уставала удивляться: почему мама считает, что быть женой бая хуже, чем женой бедняка-букары? Я ее спрашивала, она либо отмалчивалась, либо снова и снова вспоминала свою жизнь с первым мужем.

Я ей возражала:

— Как же ты сравниваешь, мама? Ведь первый твой муж был стариком, от него ты даже не смогла родить ребенка. Он был узбеком, прятал тебя под паранджой, кроме тебя, имел пять жен, и все тебя колотили. У нашего же бая жена одна. Побои одной — не побои пятерых, у его сына я тоже буду одна. Если же возьмет себе вторую и третью — стану старшей, стану байбиче. Ведь правда, мама?

Я была единственным ребенком и привыкла к ласковости и уступчивости. Сыпала вопрос за вопросом, надоедала маме. Она же, вместо того чтобы меня одернуть, только улыбалась и отворачивалась.

Мне обидно было, что мама считает меня несмышленой.

— Почему ты молчишь? — приставала я.— Говори, я хочу знать!

Мама качала головой:

— Я тебе и так слишком много сказала. Готовясь к замужеству, девочки должны приучаться к молчанию. Спрашивать старших — значит навлекать на себя наказания. Старайся смотреть и слушать. В семье, куда ты попадешь, молчание и покорность будут лучшими твоими защитниками и только песня — утешением.

— Разве позволено мне будет петь в юрте при муже, свекре и свекрови, а, мама?

— Тебе ничего не будет позволено,— отвечала она грустно.— Но для киргизских жен аллах всюду создал холмы. Взбеги на холм, когда будет тебе трудно, и спустись на той его стороне, где нет людей. Там можешь петь. До аила песнь твоя будет доноситься, как стон ветра...

...Стало темно. Однако, хоть луна еще и не взошла, можно было разглядеть очертания предметов. На джайлоо свет звезд

сильнее, чем в долине. Когда глаза привыкли, я увидела, что отец сидит и дремлет. Маму я сразу не нашла. Вскоре из-за расплющенной юрты раздался ее бодрый голос:

— Хозяин нашего дома, а хозяин нашего дома! Помоги мне, никак не справлюсь. Эта юрта, стоило ей лечь, подниматься не хочет, сколько я ее ни дергаю и ни толкаю. Наверно, и она устала, как и ты, бедный мой!.. Хозяин, а хозяин! Мудрец сказал: «Чем умирать лежа, лучше умереть стреляя». Э-эй, иди сюда. Тут что-то торчит. Ухватилась, но одна поднять не могу!

Ах, что за голос был у моей матери! Высокий, сильный и такой добрый, что душа тянулась на его зов. Отец стряхнул с себя оцепенение и пошел к ней. Я тоже побежала, чтобы быть рядом. Надо было растащить и распутать то, что осталось от юрты. Арканы, затягивающие купол, сплелись в тугие узлы, невозможно было понять, где начало и где конец. Руки всюду натыкались на сломанные палки-уук. Решетчатый остов юрты — кереге — весь раскрошился и запутался в веревках. В темноте разобраться было невозможно. Занозив палец, я взвизгнула от боли.

— Мама,— топнула я ногой,— зачем ночью? Мы же ничего не видим...

Я и сама слышала, что голос у меня капризный, и мама это заметила, да и отец насторожился. Девочка не должна подвергать сомнению правильность того, что делают старшие. Но я чувствовала, что сейчас мне можно многое.

И правда, ни мать, ни отец не заругались, только переглянулись и продолжали свое: поднимали разные куски, кошму клали в одну кучу, деревянные части в другую. Мама работала быстро, споро, мне даже казалось, что в руках ее появилась ожесточенность. На мой вопрос никто не ответил. Тогда я сказала еще более капризно:

— Боюсь, что порву хорошее платье. Давайте дождемся хотя бы луны...

И опять на мои слова не получила ответа. Еще сильней, еще быстрей заработали мамины руки. Отец, кряхтя и надсаживаясь, старался от нее не отстать. Я встала в стороне и, выдергивая зубами занозу, начала тихонько хныкать. Так может вести себя избалованный ребенок, но не девушка-невеста. Как же хотелось мне, чтобы родители обратили на меня внимание, бросили работать и занялись мной! Кажется, даже брань мне была бы приятнее равнодушия. Пусть мама рассердится, пусть выругает, влепит подзатыльник, только не молчит.

Но с ней что-то случилось. Руки ее тащили, подымали, бросали, укладывали... И вдруг мама запела. Сперва тихо и заунывно,

подобно ветру в щели. Постепенно голос ее усиливался, она пела прерывисто, как и ветер. Слов не помню, может, их и не было. В пении моей мамы я слышала грусть, плач и жалость. Но вместе с тем ее песня звала, требовала, будила. До того я не знала такой маминой песни. Раньше она пела днем, при свете солнца, подзывала меня, чтобы я подпевала и от нее училась. Сейчас, в темноте, не оставляя работу, красивым влажным голосом подбадривала и себя, и меня, и отца. Сколько проживу, не забуду ночную песню мамы. Вот только в разные годы своей жизни вспоминала разное. То мне казалось, что мама плакала надо мной, в другой раз казалось другое: всю меня пронизывал страх тоски и отчаяния; иногда слышала отдельно одну лишь музыку ее голоса. Истинное же понимание озарило меня уже в старости...

Многие люди, думая про будущую свою старость, боятся согбенности и болезней. А я вам скажу: и молодость моя мне открылась с годами. Не потому, что, вернувшись в давнее время, стала бы жить и делать иначе, чем жила и делала. Нет, молодость и зрелые годы подымаются перед мысленным взором, как высокие горы подымаются за малыми, по мере того как от них отъезжаешь. Только тогда и видишь величие их и красоту...

Теперь скажу, что́ недавно меня пронзило при воспоминании о ночной песне моей матери Асыл.

Я озарилась пониманием, что звук и музыка жили в ее душе вместе с заботами, тревогами и любовью. Любовь была ее голосом, голос — любовью. Когда же душа переполнялась, голос не мог удержаться внутри маминого существа, как зрелый плод не удерживается на ветке, и дыханием песни летел к нам. У нас же вырастали крылья силы и совершенство поступков.

А как чувствовала я в ту ночь?

Стояла в своем красивом платье и сперва пропускала мимо ушей и голос и песню. Вместе с занозой в меня вошел дух мелкой злобности и безнаказанности. Хотела обижаться и хныкать, ждала, что подойдут и пожалеют. Но вдруг услышала. Удивилась. Радостно задрожала. Улетучились капризы и боль в пальце. И я кинулась. Но не к маме, а к работе. Так повелевала песня — тащить, переносить, укладывать. Под мамину песню я стала могучей и твердой, перестала себя узнавать. Почему-то вспомнился наш сосед — юркий, как из ремня сплетенный, мужчина. Он часто хвастал перед людьми: «Пусть обрушатся на меня сразу все девять видов нужды — меня не переборют. И это потому, что есть у меня тело, которое не разрубит и топор!» В словах соседа была правда. Тело его на ощупь казалось железным. Но сила маминой песни была тверже. Под мамину

песню я брала на себя любую тяжесть. Пыхтела, как вол, и крякала, как утка, но груз не бросала. Наверно, стала смешной. Заметив мои старания и труды, мама счастливо рассмеялась. Этим чудным ласковым смехом завершилась ее песня.

Тогда и отец взглянул на меня. Увидев, что распутала и свернула веревки от кереге, сложила и увязала целое деление юрты, отец тоже рассмеялся от удовольствия и принялся меня хвалить. Похлопал, погладил, поцеловал.

— Милая доченька,— говорил он,— помощница моя и умница. Ах, мои ловкие рученьки, ах, зоркие мои глазоньки, ах, крепкие мои плечики!

Слова одобрения и ласки рвались из него безудержно. Кончил же тем, что от доброты и нежности заплакал:

— Что без тебя будем делать? Как жить нам без твоего щебета, без песенок твоих и танцев? Как, проснувшись, не услышать твой серебряный голосок?

Если б не мама, не знаю, что было бы с отцом и со мной. Уже и я готова была разреветься. Но когда молоко, закипев, подымается, довольно плеснуть ложку холодной воды, и оно перестает пениться.

— Да-авай шевелись! — перебила мама причитания отца.— Ветер не станет ждать, вдруг снова появится. Эй, родимые, не переживайте! Беду можно смыть, как грязь с рубашки. «Хнычущего раздавлю, а мужественный меня сам раздавит» — так говорит беда Ну-ка, ну-ка, бессмертные мои, беритесь за дело! Ты, отец, укладывай все в связки. А ты, Аруке, тащи дрова, складывай костер. Да не на старом пепелище, а наверху, у пещеры. Хорошо, что держу при себе и огниво и кремень. Разожжем огонь, и опять воскреснет душа. А ну, живо, живо по местам!

И опять загорелась работа. Я собрала раскиданные ветром поленья арчи и поспешила на помощь к родителям. Подумать только, самой не верилось: при тусклом свете звезд все разбитое мы увязали, и подготовили к перевозке, и отнесли в пещеру. Завершенное дело рождает гордость. Мы смотрели, как герои. Когда же мама высекла искру, перенесла огонь с трута на уголек и раздула костер, лица наши заиграли улыбкой довольства.

Сколько лет живу я в городе, должна бы позабыть первобытный костер. Нет, не забыла. Ни телом, ни душой. Светит он мне из детства и юности. Светит и согревает мои воспоминания. Горный киргизский костер не бережлив и не робок, пламенеет высоко и раскидисто, искры летят во все стороны — стреляют, пугают и радуют. Едва займется огонь, разбегаясь дымным ходом по ветвям и корням арчи, с восторгом вдыхаешь острый до дурноты, пряный аромат. Так и хочется выхватить из

костра тлеющую ветку и поднести к носу. Из всех запахов не найду лучше. Дым тлеющих корней вызывает сладкую истому, сердцу дает успокоение, а мечтам простор. Недаром киргизы говорят: пусть добра у тебя не будет, но дрова будут. Хорошо на высокогорном летнем пастбище джайлоо. Лесная крутизна неподалеку, поднимись на двести шагов и уже на опушке соберешь сухой валежник. А не лень наклониться — тяни из-под перепревшей хвои длинные корни. Скручивай, будто выжимаешь белье, и рви. Руки пропитаются смоляным липким соком, ноги задрожат от усталости, но голова посвежеет, и легко станет на душе.

Наш костер горел в ту ночь с такой жаркой силой, так трещал и плевался дымными искрами, будто и в нас хотел зажечь веселую ярость. Ах, костер, костер! Возле жаркого костра и робкий становится смелым, и голодный сытым, и бедняк богатым. Сколько золота в нем, так и пляшут, пылко обнимаясь, языки пламени. У костра жизнь становится непостижимо прекрасной. И хоть ненадолго забываешь горести и печали.

Вот и я забыла, что мучило меня. Сижу в теплом круге света и не нагляжусь на игру черного, красного и золотого. Не знаю, сколько прошло времени, когда вдруг поняла, что костер наш прощальный. Он горит и шумит, а мы, все трое, оцепенели и молчим. Не смотрим друг на друга, боимся слов. В маленькой моей голове бурлили, смыкаясь и размыкаясь, желания, подозрения, страхи, надежды, предчувствия. Я была ребенком, но и ребенок ловит во взглядах и движениях родителей и скрытность и противоречивость.

Долгую жизнь пришлось мне пройти, чтобы увидеть, как это было, и додуматься до значения той ночи. Смотрю в ту даль и вижу: сидят у костра в окружении высоких гор одинокие, разоренные, полуголодные мужчина, женщина и девочка — их дочка. Ждут казни. Страшного удара все трое ждут смиренно и безропотно. Уйти не могут и спрятаться не могут.

Хорошо бы проникнуть в нутро каждого из троих. Они сплетены судьбой и кровным родством. Любят друг друга глазами, руками, взаимоприкосновениями. Любовь их привычна, в ней общая их душа. Но каждый сидит на одной стороне костра, на своей стороне огня и в такую ночь боится смотреть на другого.

Отец, наверно, так думал:

«Наша девочка похожа на меня, без ласки пропадет. Любит молоко, у нас коровы нет, но за работу нам дают. Бай ей молока не даст. Девочка наша радуется улыбке, бежит в объятия — никто ей не улыбнется и рук для нее не раскроет. Эх-хе-хе, завтра же, когда Кашкоро стеганет ее кнутом, удивится и обидится.

Соседи говорили — стегай чаще, но я не стегал и мать не стегала. Правы соседи: девушка, не приученная к побоям, не полюбит ни свекра, ни свекровь... Завтра же удивится и обидится наша Аруке: отец и мать люди, а зверю ее отдали. Правы те, кто говорит: если ищешь улыбку и ласку дочери — ты не мужчина. Я не мужчина! Носил Аруке и на руках и на шее, был для нее лошадью, ишаком, козлом и бараном. Бегал с ней взапуски, бодался и блеял. Кормил, когда лежала больная, щекотал, возился, хохотал вместе с ней. Теперь начнет, пожалуй, бодаться с мужем. Расположена ждать от него веселья и разных игр... Ах, я несчастный! Мужчина дочку отдает — радуется избавлению. Так говорят. Подсчитывай калым — вот отцовская любовь. Так говорят. Дорогого коня холят — жену, за которую много дано, муж любит. Так говорят... Я, несчастный, превратил дочку в сердце свое и задешево отдал. Аруке иголкой уколется — в меня нож вошел. Аруке заплачет — у меня из печени кровь уходит... Аруке ручками шею обовьет — цветок раскрывается в душе моей. Ах, швейная машина, швейная машина, шайтан тебя придумал. Бай приедет — сейчас открою сундук, достану машину и... ему в голову пущу... Да нет, не пущу. Кричать буду, тронуть не посмею. Боже мой, боже мой, как тянется эта ночь! Если бай и сегодня не увезет Аруке — камнем покачусь с горы и навеки затихну. Нет в груди моей терпения. С каких пор обманывает проклятый Кашкоро. Занес топор над головой и держит».

Мать думала:

«Бедный муж мой! Если не умрет от расставания, скоро после того умрет: плачущий мужчина с ливнем в землю уходит. А я должна жить. Ель под березой сильно растет, под рукой слабого женщина сама становится мужчиной. Я мужчина в нашем доме, притом что борода на его лице. Если б знал бедный мой муж, если б знала несчастная Аруке — вопит и стонет душа моя. Одна я виновата. По своим шрамам помню жизнь у богатого, а плод тела моего баю отдаю. Вот гора, за горой гора, и за той горой опять гора. Поднимаемся, чтобы спускаться, детей поднимаем, чтобы одним остаться. От кобылы угоняют жеребчика, а ее на убой, на мясо. От матери отрывают дочку — дальше жить надо. Так говорят. Притворяйся счастливой, что не сама на убой идешь — дочку отдаешь. Так говорят. Притворяйся, что радуешься. Верно, верно — притворяться надо, каменеть надо. Камень стоит — его черви не едят. Горы киргизские все из камней — это мы, женщины. По телу нашему и барс крадется, и змея ползет, и всадники скачут. Стонут камни, и свистит в них ветер. Растут на них леса, и поют на деревьях

птицы. Пой, пой, Аруке! Как птица и как ветер. Ветер бурей становится — пой, Аруке! Буря тучи гонит и новые пригоняет — пой, доченька моя, пой, Аруке!»

Вот как складываю в воображении мысли матери своей. Другого не могу в ней услышать. Так чувствую за нее.

Думала в ту ночь на своей стороне костра и я.

Повторяла одно слово: «Мен, мен, мен, мен». Такое на меня нашло. Душа отрывалась от матери и отца. Все тоньше становились узы, нас сплетающие. Арканы превращались в волоски, а волоски в паутинки. Душа металась и спрашивала: «Я? Я? Я?», «Что это такое и есть ли «я»?», «Есть ли «я» в одиночестве, без матери и без отца?»

* *
*

Душа металась, а глаза смотрели, и слух мой был настороже.

Огонь тянет к себе. В пламени гибнут полуживые осенние бабочки. На краю света и тьмы кружат бесшумные ночные птицы. Как они потешно летают! Не раскрывают до конца крылья, будто что-то держат под мышкой. Вон взмывает над костром белобокая сова: мерцают ее глазищи... Исчезла во тьме, но опять появилась, сделала круг и с разгона кинулась чуть не в самое пекло, надеясь погасить свет. Готова была ради этого вступить с огнем в смертельную схватку. Есть ли душа у совы? Есть ли душа у огня?

Сова исчезла, чтобы возвратиться с ветром. Первым бросился на костер ветер, а за ним — сова. Распахнула крылья, выпустила когти, но огонь прилег и спасся от ее когтей. Раздосадованная неудачей, сова спряталась в гуще тьмы. Вместо себя прислала разведчиков помельче — неуклюжих и кривобоких. Я не знала этих пернатых, они виделись мне прилетевшими издалека и утомленными дальним полетом. Забыв беды и мысли, желая научить их летать, как летают дневные птицы, я взмахнула руками. Эти кривобокие не вступили со мной в игру и пропали. Вместо них появился одинокий бабырган * и приветливо пискнул. Когда он приблизился, я увидела: один глаз его светит огнем, а другой сохраняет темноту ночи.

Не удержавшись, я пустилась его дразнить, как это делают мальчишки:

— Бабырган, бабырган, попадешься в руки нам — мы тебя заколем, на зиму засолим...

---

* Бабырган — род козодоя.

Он стал быстро-быстро летать вокруг костра, попискивая как обиженный. И вдруг упал на землю, будто сбили его из пращи. Может, опалил крыло? Или устал? Обычно не летает быстро, это я его довела своей дразнилкой... Подбежала, подняла бабыргана с земли. Перья рябые, клюв кривой, по краям желтоватый. Глаза ушли под белую пленку, но сердце билось. Я положила его поодаль от костра. Бабырган отворил глаза и так посмотрел, будто удивился, что не колю его и не солю.

Отец, казалось, задремал.

Мама ушла в пещеру и принесла из сундука ветхую, стиранную набело рубашку отца. Как ни в чем не бывало продела нитку в иглу и принялась штопать дыры. Меня мама замечать не хотела или не могла. Работа всегда ее увлекала, но я не верила, что и сейчас она полна своей работой. Догадывалась о ее мыслях.

Не открывая глаз, заговорил отец:

— Эй, Асыл, куда идет человечество? Проклятые дни. Думаешь, скотина, бык или баран, смотришь — похож на человека. Думаешь, человек — перед тобой скотина. Чем отличаемся от животных? Умеем разговаривать? Бай вздумает — продаст, а вздумает — купит. Если кто-то из нас умирает, он даже из нашей смерти извлечет прибыль — сдерет за землю для могилы. Значит, жизнь человеческая только прибыль бая? Это меня гложет. Знай, Асыл, пепелится моя душа,— так говорил мой отец Ыбраим, и слезы текли из-под его опущенных век.

Мама покосилась на отца, и я увидела, что терпение ее на исходе. Она отложила шитье и, ни слова не говоря, принялась швырять в огонь ветки арчи. Потеряла меру. Пламя поднялось такое обширное и высокое, что нам пришлось от него отступить, не удержав домашнего круга. Теперь понимаю: маме наскучили причитания отца, и она захотела нарушить череду обычных стонов.

Большое, шириной в юрту, пламя обильного костра осветило ближние горы, нагромоздило тяжелые тени скал. В неистовом свете мы стали ничтожны и малы. На дальнем камне встрепенулся бабырган, распахнул крылья и поднялся. Но не к свободе полетел, а опять к огню. И, ослепленный, упал. Я успела выхватить его из жара и бережно закутала в платок. Трудно поверить, что девочка может так думать, но я думала: «Он похож на всех нас, не умеет найти свободу, он раб огня». Прижав птицу к груди, я побежала в темноту леса. Спрятавшись за скалой, куда не достигали всполохи костра, я раскрыла платок. Бабырган слегка пошевелился. Я подбросила его, и он, хромая крылом, поднялся над деревьями и скрылся от нас.

Можно ли было верить, что запомнит меня? Всей душой я хотела, чтобы было так. Детским своим умом надеялась: когда-нибудь отплатит за мою доброту.

Долго еще я сидела в лесном безветрии. Душистая хвоя меня усыпляла, кусты прятали от света прощального костра. Какое-то время я проспала, а проснувшись, почувствовала, что дрожу от холода. В просветах между деревьями висела кривая луна. Быстро поднимаясь, она осветила горные льды, и мне стало тоскливо и одиноко. Не могла понять, где я и почему нет матери и отца. К холоду прибавился голод. Так сильно и больно засосало в животе, что я вскочила и тут же все вспомнила. Стало обидно, что мама меня не ищет, что так давно не кормит.

Вспоминая эту ночь, я часто думала: как от душевных переживаний и мук легко перешла к мысли о еде? Неужели не умела терпеть голод? Умела! С малых лет отучена была просить и постепенно приучалась считать это уменье достоинством. Корова от голода мычит, овца блеет, волк и собака воют. Человек же хоть и дрожит, но, глотая слюну, смотрит в сторону.

То была моя ночь. Как же меня забыли? Улетел бабырган — я ведь тоже могла улететь или убежать. Злые слезы повисли на моих ресницах. Я стала тихо подкрадываться к костру, чтобы послушать, что обо мне говорят мои родители.

Костер стал ниже, в нем тлела жаркая куча угля... Мать подала отцу заплатанную рубашку. Он снял шубу и чапан. Обнажившись, стал таким маленьким и ребристым, будто его объели волки и он только чудом жив.

Отец не видел меня и, тихо улыбаясь, говорил:

— Девочка наша спит вот за тем камнем. Видела, как играла с птицей? Куклы и птицы ее забавляют и утешают. Слава аллаху, молодость бездумна. Попрыгала и заснула. А нам с тобой разве до сна? Я таким стал, будто все горести мира наливают мою голову соком слез. Что́ испытал я сегодня, истоптав все тропинки нашего аила! Старшая жена Карпыкбая созвала чуть не сорок женщин, чтобы раскатали шерсть для новой кошмы. За работу пообещала накормить, но зарезала на всех одного барашка — женщины стали драться из-за куска, а я в душе заплакал о них... Пока стоял и смотрел, шесть псов Карпыкбая бросились, чтобы разорвать меня. Я не стал бежать, и псы отошли. Тогда Карпыкбай от злости сам зарычал на меня, а на мой поклон отвернулся... Тентимишева старуха с охапкой дров переходила через реку. Я подхватил ее и перевел на тот берег. Вода залила мои старые чокои *, и люди смеялись надо

* Чокои — обувь из сыромятной кожи.

мной... Как же так, Асыл? Почему люди смеются, если нужно плакать?.. Шесть джигитов бегом хоронили умершего от бедности Нияза. В предотъездных хлопотах никто не проводил почтенного старика до могилы. Один я стоял и плакал: вот бесславная смерть человека, лишенного собственных овец... Пока я стоял, качая головой, на меня кинулся рогами чей-то веселый бык. Я ищу, не могу найти вьючную скотину для перекочевки, а здоровый бык, не зная, куда девать силу, хочет поднять меня на рога. Думая о несуразностях мира, я все больше печалился...

На этом отец, увидев меня, прервал речь. Бедный! Если рассказывал — дальше предметов не уходил. Не помню, чтобы сам по себе запел даже простую песенку. Музыкой звенел для него только молоток по зубилу, когда тесал камни, чтобы получился жернов. Ах, отец мой Ыбраим не летал на крыльях, однако имел мягкое сердце. Мог кричать, драться и плакать, но не способен был говорить стихами.

Я спустилась к костру и села. Отец поспешно натянул рубашку.

В этот момент из нижнего ущелья прилетело ржание коня.

— Вот!

Отец мой вздрогнул, в чистой рубашке вскочил с места... Мать повернула голову и посмотрела в ту сторону мутным взором. Это было для меня уроком: так смотри, когда надвигается беда. Смотри и молчи. Смотри и делай свое дело. Она тискала и протыкала иглой ненужную тряпку, чтобы видно было: она спокойна, ей все это привычно и обыкновенно.

Уже слышен был чей-то голос. Чихнул мужчина. Другой мужчина рассмеялся. Густой голос женщины что-то сказал. Туман сходил с гор, опускаясь в ущелье. По мере приближения голосов меня все сильнее трясло. Горело лицо. Я упорно глядела на отца и мать, ожидая от них успокоения. Они же смотрели вдаль. Они казались мне чужими. Мертвыми и холодными. Я забыла, что хочу есть. Ноги хотели бежать. И отец, и мать, и огонь — все стало желтым. Потом серым. Потом каким-то еще. Приближались тени — плечи и шапки. Я не могла отличить — качаются ли головы коней, или всадники к ним нагнулись, или туман с ними затеял игру. То я вскакивала, то я садилась. Раскрытые глаза отца стали похожи на глаза совы.

Мать, которая умела говорить почти беспрерывно мудрые поговорки, шаталась от боли. Руки ее все еще протаскивали иглу с ниткой через ненужную тряпку...

...Мне шестьдесят лет, я была рабой, я убивала людей, я все забывала и все вспоминала. При мне казнили изменников,

но никогда не забуду, как тянулись вверх и вширь тени приезжих — тех, что должны были меня увезти.

Что случилось? Почему огонь костра и пляшущие тени скал всю меня перевернули? Сколько бы ни скрывали от меня, что этой ночью меня у в е з у т, я знала и была готова. Что же случилось? Неужели бабырган показал своим примером, что лучше улететь?

Когда отец вскрикнул: «Вот!», мать краем глаза оглядела меня, как оглядывают продажную вещь.

О аллах! Я не посмела бы думать, что мать способна была рисовать в своей душе мою внешность, чтобы в глазах приезжих я виделась им дорогой и красивой. Теперь понимаю: ее гордость хотела показать, как может быть нарядна лицом и одеждой дочь бедняка-букары.

Ей приятно было гордиться. Мама не попросила меня поменять одежду. То, что было на мне, считалось лучшим. Единственная кладовая птицы — ее зоб. Так и у нас: все лучшее всегда на нашем теле.

Родные будущего моего мужа приходились мне троюродными дядями со стороны отца. Я говорю о бае Кашкоро и его сыне Жайнаке. Получалось, что и Кашкоро какой-то мой дядя, и сын его Жайнак мой троюродный или четвероюродный дядя. Невозможно разобраться в этом переплетении. Но выходило, что все мы одного племени. Боясь смешения крови, наши люди все же стремились не удаляться от своей крови, полагая в этом силу единства и счастья. Быть может, бай избрал меня в жены своему сыну, чтобы весь род знал — он почитает кровную связь и хочет единства всех кочкорских киргизов.

Выходило, что свадьба состоит из близких мне по крови и что все хорошо.

Это было не так.

Это было убийством для меня и для моих родителей.

Баи приехали уверенные, будто в собственный дом, в собственную семью, и нисколько не стеснялись.

Их одежда и серебро оседланных коней должны были повергнуть нас и покорить.

Они считали нас с в о и м и, но держались надменно и гордо.

Я упоминала, что бай Кашкоро во всем был бережлив, даже в словах. На этот раз, еще не сойдя с коня, пустился говорить:

— А-ай! Что за толстые тени окружили огонь костра? Существуешь ли ты, свет огня? О-о, Ыбраим! Хозяйственный и умный, серьезный и шустрый! Смотри-ка, ты уже и юрту собрал, а? Ты уже и весь свой скот отправил? Ха-ха-ха!

Я смотрела исподтишка. Пышные усы на медном лице бая шевелились от слов.

Разве он говорил? Он издевался над нашей бедностью и над нашей глупостью. Приехал после того, как весь аил откочевал в долину. Приехал, зная, что застанет нас в бедствии и сможет унизить... Зачем ему? Всю жизнь спрашиваю: для чего правящим людям необходимо унижение слабых? Или мало им нашей слабости и бедности? С радостью слушают торжество своего сытого голоса, потешаются над тем, кто ждет доброты и умного правления.

Бай продолжал:

— Надеюсь, ты не помышлял удрать, услышав, что едем к тебе?!

Эти слова бай сказал так громко, что вызвал отголосок гор, которые повторили его последнее слово несколько раз.

Он переждал, пока сойдет эхо.

Он весь лоснился под луной — такая была на нем сытая кожа медного лица.

За его лошадью держалась в почтительном отдалении лошадь байбиче. Сама же она в белом наряде показала нам обилие накрученной на голову и на все тело светлой ткани. Старая, но не забывшая молодость. Я вглядывалась в того, который рядом со своей матерью сидел на черном коне и старался ничем себя не обнаружить. Будущий мой муж приехал как самостоятельный всадник в собственном седле. Родители его ничем не украсили. Он оставался толстым мальчиком и не торопился вперед. Я подумала, что есть и у него переживания. Меня продавали, купили для него, привезли его за мной, но не было в выражении его лица и всаднической посадке ничего торжествующего; он приехал без интереса, скучный, толстый, вялый, сонный.

Опять напоминаю: годы мои разрешают мне видеть подробности, которых от страха и робости в детстве понимать не могла. Но в голове запечатлелась картина их приезда: они — покупатели, я — товар.

Мертвая ночь.

Свекор непрестанно говорил, будто шутник, словоохотливый добродетель, учитель, родственник, старший в роде; сейчас он даст нам сытость и счастье.

— Мы ждали, пока пройдет буря, и боялись, что ты, Ыбраим, уйдешь от нас под грохот ветра. Ну, уехал бы, и ладно. Лишь бы не ускакал в Мекку. Во всех других местах земли я бы тебя нашел. Человек оставляет следы, а мои люди умеют их распознать... О дорогой мой сват! Ты здесь, ты меня дождал-

ся. И, как всегда, ты приветлив! Ну-ка, давай обнимемся. Давно не пожимал твою руку, соскучился по тебе. Эй-эй, родные! Сойдите с коней и обнимитесь со сватом и сватьей! Иначе в воле хозяина прогнать нас. Если он отвернется, как сможем ему угодить, чтобы снова взглянул в нашу сторону? Беда, беда! Вдруг не пожелает нас узнать и принять...

Разве я могу повторить все сказанное баем? При своей полноте, при сверкающей важности медного лица он сыпал словами легко и быстро. Серый его конь неустанно качал головой, отчего звенели колокольчики на уздечке. Кроме того, конь гордо бил копытом и косил на меня сверкающий желтый глаз. Будто и он, как бай, не только силен и сыт, но и богат до отрыжки...

...Милые животные! Я всегда любила вас — собак, овец, коз, но больше всего любила и почитала умных лошадей. Гордый конь! Почему ты, играя со мной, можешь толкнуть и, озираясь диким взглядом, убежать от меня, и вернуться, и задиристо ржать надо мной, как равный и как добрый мой товарищ? Но почему, если сидит на тебе бай, ты выплясываешь под его смердящие слова? Почему не сбрасываешь его? Неужели не слышишь, что, приехав к бедным, он издевается над ними?

— О ненаглядный мой сват! — кривляясь, продолжал Кашкоро.— Смотрите... оказывается, он здесь сидит среди лунных холмов у притихшего костра, выставив свою круглую бородку... Ой-е! Так приятно видеть родного, который и в пламени костра сердцем чувствует, что нет огня горячее, чем любовь близких...

Бай спрыгнул с коня. При лысой его старости, полноте его и сытости не было в нем трудности прыжка. Много дает богатство! Легкость дает, искры глаз дает, жир показной доброты дает богатство.

Ах, как подошел он от коня!

Я вам скажу — годы и годы прошли. А все-таки ласковость его шагов к нашему костру я до сих пор вижу и думаю, что так по своей паутине подходит к мухе паук. Не знаю, как вы, я думаю, что, подходя к несчастной мухе, паук не обнажает пасть, а улыбается ей. Однако возможно, что ошибаюсь. Род пауков не так искушен, как род человеческий.

Бай протянул руки с дружеской нежностью. Благословляя, провел ладонями по бороде. Сделав нужное движение к отцу, он повернулся к матери моей Асыл. Он сказал скороговоркой, что она еще красивее против прежнего. Он увидел, что она выглядит молодо, и сравнил с голубкой. В этом месте своей речи бай произнес молитву. И вслед за тем, все еще улыбаясь губами и кланяясь, произнес такие слова:

— Благослови, аллах: будет, будет невестка моя Аруке точь-в-точь как сватья моя Асыл! О ненаглядная сватья, лоб твой усыпан звездами! Да стану я жертвой твоего нежного воспитания, да стану я поклонником твоей сердечности и сытостью твоей жизни...

Вот бы вам видеть, как приехавший зверь, произнося долгие свои сладости, косил взгляды туда и сюда, и оценивал, и ухмылялся; он держал меня цепким краем своего глаза, готовый все прервать, чтобы не упустить мясо своего приезда.

Я кланялась.

Я стояла отдельно от родителей, и спина моя сгибалась в поклонах. Что это было? Куда пропала гордость? Неужели правда, что где-то во мне и в тот час существовало будущее железо? Я ничего не могла. Я кланялась. Мне в ответ кивал серый жеребец моего свекра.

Будущий муж мой Жайнак все еще не спешился. Он мешком сидел на коне и хотел спать.

А добрый свекор делался все приятнее и теплее. Видно было, что сейчас сядет и всех нас пригласит сесть.

— Ну-ка, дай свою приятную ладонь, милая Асыл.— Так он сказал и нежно обхватил руку моей матери.— Мне снятся сладкие сновидения. Недаром наши предки говорили, что хорошие сны у тех, кто благополучно живет. О ум народных мудрецов! Все, что они предрекали, сбывается!

Бай пристроился на теплом камне и поджал под себя ноги. Обведя нас взглядом, поблагодарил за то, что *его* костер так горяч, давая нам понять: нет места на земле, где он в гостях. Нет, он хозяин, а мы к нему приехали. Огонь — один из рабов его.

Он не шевельнул рукой, глядя, как тяжело сползла на землю белоголовая его жена. Он и на Жайнака не посмотрел, хотя и приехал сюда ради его женитьбы.

Говорил и говорил:

— Каким лютым был ветер, когда мы въезжали вон в то нижнее ущелье. Казалось, нас унесет с коней. Боясь ветра, лошади наши остановились. А песок так и слепил. Откуда взялось столько песка? Чего только не поднял ветер! Мимо нас пролетели одеяла какого-то бедняка. Но летающие одеяла не пугают путников. Все мои думы и мысли были о вас: как удержится дом моих сватов? Вы собрались переезжать? Хорошо, что успели аккуратно собрать и уложить. Ну, сватья, ты, смотрю, предусмотрительная женщина — угадала и ветер и бурю...

Бай всех нас задавил, не давал поднять голову и проронить хоть слово. Каждого похвалил. По его словам получалось, что нет в нас ни малейшего недостатка. Он тараторил и трещал, что нас окружает полное благополучие и со всех четырех сторон лежит вокруг нас священная земля; он дал нам понять, что хотел приехать на прошлой неделе, но его не пустила болезнь; он сообщил о поминках, которые справил вчера в своем аиле; рассказал, как в споре батыров погиб один из всадников, переломив позвоночник; он похвастал, что на конных скачках его игреневый конь взял первое место и получил приз из девяти предметов...

Бай говорил и говорил. Мы стояли молча; я все еще кланялась, но теперь не так глубоко. Понемногу я стала обретать способность видеть и оценивать. Сватья опустилась на землю рядом с мужем. Жайнак робко подошел ко мне. Я от него отскочила. Заметив это, бай покачал головой, но не сделал никакого замечания. Он продолжал рассказывать — хвастал и хвастал. Мама хмуро на него поглядывала: «Если хочешь казаться близким и добрым, зачем хвалишься богатством и силой?» Так можно было ее понять.

Хитрый бай, угадав ее мысли, начал оправдываться:

— Если прославился твой сват, дорогая Асыл, часть славы принадлежит и тебе. Разве не так?

Мать ушла в пещеру и вернулась нагруженная. Она расстелила старый шырдак *, поклонилась и пригласила свата и сватью пересесть с камней на мягкое. Бросив в угли ветки арчи, она усилила пламя. Гости сняли верхнюю одежду и уложили ее себе на спину. Эти приготовления успокоили говор свекра, и он стал ждать. Все смотрели на меня и на Жайнака, а я ничего не могла сделать с собой — хотелось от него убежать, еле сдерживала ноги. Я его не видела. Он был для меня как пятно, которое ко мне приближалось, а я отодвигалась.

Бай громко рассмеялся. Он поманил меня пальцем, взял за руку и все крепче сжимал. Звук голоса его был ласковым, но в словах его была властность:

— Не убегай, Аруке. Да буду я за тебя жертвой. Это наш старший сын, которого мы вымолили у бога. Надев на свои шеи белые пояса, я и жена моя Макмал тысячу раз поклонились могилам святых. Ты рвешься убежать от моего сына — значит, убегаешь от себя самой. Он — твоя жизнь, ты его жизнь. Вы будете счастливы. Рядом с вами и мы будем счастливы. Наш Жайнак везучий. Родившись, он открыл путь и второму нашему

---

* Шырдак — войлочный рисунчатый коврик.

сыну, Белеку, которому теперь уже семь лет. Целый день наш Белек ходит за овцами и кажется маленьким мужчиной. Велика сила аллаха! Слава, слава ему за то, что он нам дал! Когда-то я сетовал, что нет у меня детей, и вот имею не одного, а двух сыновей. С твоим приходом я надеюсь на внуков. Мой глаз тебя видит насквозь. Ты не девочек будешь рожать, а мальчиков. И вот я приехал за луноликой невесткой почтенным сватом... Я приехал... я приехал... я приехал!!! — с каждым разом он все громче это произносил, и я должна была понять, что его приезд означает великое дело. Я уже не существую вне его жизни: не Жайнак, а он, Кашкоро, хозяин жизни моей.

Бай глянул в сторону жены и передернул бровью. Сжатые губы сердито растянулись. Сватья легко, будто платье, поднятое ветром, взлетела с места. Для меня это было удивительно и поучительно: вот как в семье бая от одного движения его брови вспархивает женщина.

Отойдя в темноту, Макмал принесла большой ковровый курджун *. Она держала его, как держат новорожденного, и, передав моей матери, с легким поклоном отошла в сторону.

Бай отпустил мою руку и показал глазами, чтобы смотрела. В курджуне лежали подарки. Мама опустила его к ногам и не торопясь развязала тесемки.

С этого начиналась в те годы киргизская свадьба. Приняв курджун с подарками, мать невесты признавала перед всеми, что дочь ей уже не принадлежит. Она должна была сохранять спокойствие и ничему не удивляться. Обычно вокруг собирались люди и восхищенно качали головой, одобряя приношения. Но бай был хитер и жаден. Он приехал глубокой ночью в покинутый аил, где видели нас только горы и осенний ветер.

Курджун был перетянут сыромятным ремнем. Из верхней его части мама вынула зажаренную баранью голову, конскую колбасу-чучук, завязанные в платке боорсаки **, куски копченого мяса. Разложив эти припасы, мама сбегала в пещеру, и вдруг в руках ее сверкнула большая белая скатерть. Одним движением она разостлала ее на земле и удивила не только нас с отцом, но и приезжих. Белая крахмальная скатерть, освещенная красными бликами пламени, казалась самим великолепием.

Я не знала, что у мамы есть такая скатерть, и отец не знал, глядел, как на чудо. Сватья с нескрываемым восторгом смотрела то на скатерть, то на мою маму, которая ловкими движения-

---

* Курджун — переметная сума.

** Боорсаки — шарики теста, жаренные в бараньем сале; могут храниться, не портясь, очень долго.

ми расставляла деревянные блюда и раскладывала на них угощение.

Усевшись рядом с мужем, будущая моя свекровь заговорила с быстротой щебечущей птицы:

— Ах, я уверена была, что такова моя сватья! Хоть и не терплю ни в чем нужды, нигде не смогла купить такую прекрасную скатерть. И это у вас сохранилось, несмотря на тяжелое ваше положение? Если бы ты была богатой, дорогая моя,— вот бы развернулась! Вай, вай! Посмотри, муж мой, по краю прекрасная вышивка. Это все руки! У тебя золотые руки, дорогая моя Асыл. Слышала о тебе, о твоей чистоте, о твоей аккуратности, о твоем мастерстве, о твоей любви к вкусной пище, о твоем многотерпении...

Она ждала, что мать откроет вторую часть курджуна, где лежали другие подарки. Но мама сделала вид, что забыла о них. Она раздала ножи гостям и моему отцу; ласковым движением обхватив меня за плечи, заставила сесть с Жайнаком. Посреди скатерти мама положила большой белый хлеб. Хлеб был щедрым подарком, и сватья снова затараторила:

— Ничего для вас не жалею, но если думаешь, что сама его испекла,— ошибаешься, дорогая моя. Ах, я не такая мастерица, как ты. Мне бы твое умение... Нет, и умение бы мне не помогло. Люблю поспать. Мой муж иногда ворчит: «Ты родилась женщиной, но в тебе мужские повадки — спишь, когда хочешь». Что ж, он взял меня из семьи богатого бая и вот теперь, с возрастом, понял: любящему хорошую жизнь лучше взять из семьи тружеников. Наш Жайнак счастливей своего отца. Ты, Асыл, наверно, многому научила дочь?.. О, это хорошо! А я, если не разбудит меня муж, могу проспать до полудня. Люблю с вечера со вкусом досыта поесть и забраться под одеяло. Что ж, такая уж я женщина — могу себе позволить... Есть у нас сосед, имя которого не помню. Хоть сто лет буду вспоминать — не найду в своей голове его имени. Да и зачем? Пусть он меня величает по имени. Я обойдусь для него и кличкой. Так-то, родные мои. Одного соседа прозвала Телком, другого Топором, а этому придумала кличку Иленды — Неуклюжий. Прошлой весной, только мы прикочевали на джайлоо, я с приездом так долго и сладко спала, что могла бы, верно, не открывать глаз до вечера. Как вдруг услышала пронзительные крики. От страха вскочила и не поверила глазам. Оказывается, этот самый Иленды сидит верхом на лошади против открытой двери моей юрты и кричит: «О Макмал! О моя дорогая ровесница! На кого ты нас оставила, зачем покинула близких своих в расцвете сил?!»

Сватья громко хохотала и ждала, что мы тоже будем с ней

смеяться. Она была недовольна, что молчим, и, наверно, думала, что мы глупы, не понимаем ее рассказа. Но даже я уловила, как избалована будущая моя свекровь. Не одним тем, что богата и ленива, но и тем, что привыкла получать одобрение каждому своему слову. Она продолжала:

— Я как была в постели, так и выскочила в одной рубашке прогнать его...— Сватья приостановилась, ожидая, что мы удивимся словам ее: спит в рубашке, раздевается на ночь.— Этот самый Иленды — он рыжий и глупый,— хихикая, говорит мне: «Думал, ты умерла — не слышно ни движения, ни звука!» Но это было неправдой. Все знают, как я во сне храплю. Неужели стану скрывать от людей свой сон? Ха-ха-ха!.. Ах, сонливость моя известна всему аилу. После рождения Жайнака я спалила по крайней мере девять одеял. Зимой у огня кормлю ребенка и вместе с ним валюсь в постель. Хоть режь меня — не проснусь. Бедный мой муж, хоть и считается господином надо мной, чтобы спасти сына от ожогов, должен был брать его на руки и качать...

— Да, так было,— прищурившись, проговорил бай.— Для Жайнака я и отец и мать. Разве только грудью не кормил.

— Ой! — вскрикнула сватья.— Вспомни, муж мой, как у человека, который жил от нас за три юрты, невестка, заснув, уронила ребенка в огонь. Я бы, ха-ха-ха, тоже могла сжечь Жайнака. И тогда мы не могли бы справить этой свадьбы.

Понемногу все принялись за угощение. Я была очень голодна. Однако хорошо знала, что, как младшая, не имею права браться за пищу за общим досторхоном *. Я не могла и не должна была показывать себя голодной. Чувствовала на себе взгляды свата и сватьи. Она говорила больше всего для меня, чтобы увидеть, каково мое воспитание. Пока говорит, я не шевелясь обязана смотреть в ее сторону, выдавливать из себя улыбку. Эти испытания я выдержала, хотя запах копчености достигал моего носа, возбуждая во мне нестерпимый голод.

— Будь проклята жизнь киргизов,— продолжала свекровь моя Макмал.— Люблю спать в белье, однако в зимние морозы даже обеспеченный человек напяливает на себя все, что можно, да и то не согревает спины. Но мы крепкие, нас ничто не пугает. Вот и сейчас приехали через бурю и сидим как ни в чем не бывало...

Тут она прямо посмотрела на меня и ласково улыбнулась:

---

* Досторхон — буквально: скатерть. Употребляется в значении «стол».

— Дочь моя, Аруке, не стесняйся, сиди...

Это было сказано как намек. Невеста не должна сидеть в общем круге. Но ведь меня мама усадила.

— Дочь моя, Аруке,— снова заговорила свекровь,— достаточно того, что ты поклонилась нам. Мы не из тех, которые унижают невесток. Сиди, сиди! В нашем роде, если невестки, стесняясь, убегают, мы догоняем их и сажаем возле себя. Некоторым это не нравится. Ну и пусть им не нравится! А для чего убегать? Для чего прятаться? Мы же одна семья!

Это были издевательские слова. По обычаю невеста должна прятаться в юрте и не выходить к пиршественному досторхону. Но куда мне было прятаться? Не в пещеру же, подобно дикому зверю? Я готова была заплакать. Они понимали, что буря разнесла нашу юрту, и теперь потешались. В те времена невесте полагалось до самого отъезда избегать родителей жениха и его самого. Если не исполняла этот обычай — с ней обходились сурово.

Но вот свекровь решила, наконец, облегчить мою участь. Она подвинула ко мне тарелку с грудинкой.

— Ешь, ешь! — сказала она.

Я не знала, как мне быть, и посмотрела на маму.

Ах, бедная моя мама! Она знала, что я голодна. Но ей хотелось блеснуть перед баями воспитанностью дочери, похвастать перед ними единственным богатством бедняка — способностью к терпеливости.

— Ешь, ешь! — повторяла свекровь.— Грудинку мы для тебя и привезли, грудинка готовится для невесты.

Это было так. Но грудинку мне должны были принести в юрту, чтобы я насыщалась в одиночестве.

С баем приехал еще один человек, который охранял лошадей за далекой скалой. До сих пор он не показывался перед нами. Это был кул — слуга и раб бая. Почему я вспомнила о нем? Так устроена была моя душа, жалела несчастных. Правда, я немного хитрила: жалея другого, могла думать, что есть человек, которому хуже, чем мне, и это облегчало мои мученья.

Удивительно, как молчаливы мои родители. Я не знаю, что должно означать их молчание. Думаю: «А вдруг откажутся от всего и прогонят свадьбу?» Нет, отец принялся за еду, придвинул к себе конскую колбасу — чучук. Мама тоже понемногу стала есть. Свекор, казалось, был рожден для обгладывания костей. Он взял одну кость, срезал с нее мясо, бросил в блюдо, а потом до блеска обглодал и обсосал. И сам же сказал:

— Собака не поблагодарит за такую чистую работу.

Тогда свекровь, все еще поглядывая на меня, не понимая, наверно, какие муки я испытываю, достала откуда-то острый, как бритва, ножичек и, отрезая от куска небольшие кусочки, стала потчевать каждого по очереди и так дошла до меня. Я не могла отказаться, держала кусок в руке и долго думала, раньше чем положить его в рот. О господи! — проглотила его, не жуя. Вот когда мне захотелось есть. Готова была схватить грудинку и убежать с ней. Тут я разрешила себе небывалое: обратилась прямо к свекру, поклонившись ему, спросила:

— Скажите, отец, я могу отнести кости и кусок мяса человеку, который охраняет лошадей?

Меднолицый бай прищурился на меня, хлопнул руками по бокам и взвизгнул от восторга:

— Ой-е! Бог наградил меня умной и добродетельной невесткой. Возьми, девочка, и неси. Кул будет рад тебе, ха-ха-ха! Хи-хи-хи! — Он долго хохотал, повизгивая, понимая что-то свое и посматривая на окружающих хитрыми глазами.— Беги как ветер и возвращайся как молния. Ха-ха-ха! — крикнул он.

И я побежала, еще не зная, что меня ждет.

За скалой молча кинулась ко мне собака. Такие высокие тощие собаки с длинной мордой догоняют зайцев. Бай знал, куда меня посылал, и потому смеялся. Он знал безмолвие своего охотничьего пса, знал, что тот может вцепиться мне в ногу и напугать. Одного не знал и не мог знать: с детских лет не было собаки, которая бы меня укусила. Эту особенность я унаследовала у отца. Говорят, только очень добрых людей не трогают собаки. Но я не добрая. Правда, люблю животных, не обижаю и не бью. Вот и эта, кинувшись ко мне и понюхав, легла у моих ног.

Тогда появился из-за коня огромный человек в малахае, подобном казану. Зубы его сверкали при лунном свете, я увидела красное лицо зверя, но, не боясь, протянула ему блюдо с едой.

— Уходи! — тихо сказал человек.— Бай испытывает тебя и меня. Уходи.

Тогда я протянула кость собаке, но и собака отвернулась, хотя живот ее подвело от голода.

Я тихо возвратилась к костру. Бай был удивлен, что не кричу и не плачу. Он сказал моему отцу:

— Что за девушку ты воспитал! Ничего не боится, усмиряет злого пса. Она, пожалуй, и меня усмирит, ха-ха-ха!

Все это было для меня уроком.

Мать смотрела на меня с гордостью.

Я почувствовала в себе силу и радость: удивила самого бая, значит, чего-то стою!

Вот когда моя мама получила свободу движений и обрела легкость победительницы. Она стала говорить с приезжими как с равными, расспрашивала их о жизни в аиле, о родных и знакомых. В огне вскипел чугунный чайник. Она приготовилась заварить в нем сушеный тростник, но тут вскочила свекровь:

— Отложи это подальше, глазок мой ненаглядный! Не подобает в такой день пить навар из травы. Не было бы у меня щепотки чая, неужели приехала бы за невестой? Хоть я и сонлива, однако живет во мне и заботливость. Потому и нравлюсь мужу. Часто сплю подолгу, но если нужно — поднимаюсь вместе с вóронами и гашу звезды... Во-от какой китайский чай есть! — Она достала из маленького отдельного курджуна плитку чая.— Глоток такого напитка и жажду утоляет, и делает человека добрым и веселым. Вскрываешь — аромат сбивает с ног. Недавно проезжал со стороны Андижана путник-купец, я не пожалела за эту вот плитку трех барашков.

— Эх,— прервав еду, проговорил отец.— А для нас тростник — и чай и масло. Настоящий чай бывает у богатых.— Он тяжко вздохнул и повторил: — Да, только у богатых!

Что хотел этим сказать? Слова его были неуместны и жалки. Для чего начал? Мне стало обидно за моего отца.

Свекор прервал его движением руки.

— Оставьте вы эти слова: «богатые, богатые»! — скривив губы, проговорил он.— Если каждого, кто имеет немного скота, называть богатым... Я всегда стоял ближе к беднякам, иначе зачем бы сватал вашу дочь?.. Мы породнились — значит, теперь и вы такие, как я. Нет разницы между моим и вашим. Все мое — ваше! Что на это скажешь, а, дорогой мой сват? — бай ухмыльнулся, и жир потек по его бороде.— Пусть у меня скот — кому и когда овцы и лошади приносили вред?! Прошу не обижать нас, называя богатыми,— он засмеялся густым голосом и кинул взгляд в сторону жены: «Ну как это я их, а?!»

Никогда не приходилось мне сидеть рядом с владетельным баем. Видела его и байбиче только издалека, на красивых лошадях. Народу кажется — жирный, хорошо одетый, охраняемый джигитами бай должен быть рассудительным и умным. Так думала и я. Хитрость и ум тоже почитались наравне. В ту ночь, хоть и была я голодна и дрожала от наступающей беды, все-таки не могла не удивляться — почему Кашкоро и жена его Макмал болтали что попало, не согласуя сказанного раньше с тем, что говорили потом. Вот и сейчас бай ясно дал понять

жене своей Макмал, что хочет называться не богатым, а бедным. И она закачала головой в подтверждение, что слышала его слова. И все же заговорила по-другому. Стала перечислять, как много у них всякого имущества. Сказала, что, кроме юрт, где живут, есть у них сложенные юрты, которые всегда можно поставить для гостей. Начала хвастать тем, сколько у них ковров и разной дорогой посуды.

Бай кашлянул, как поперхнулся. Она не обратила внимания. Тогда он зло посмотрел в ее сторону, и свекровь вскипятилась:

— Не смотри на меня так! Что в моих словах стыдного? Какое дело нашим сватам, что́ есть у нас, чего нет? Им ли нас судить и оценивать?! И что у тебя за привычка своим кашлем пугать жену и о чем-то намекать? Разве не правда, что к нам с тобой то и дело приходят всякие попрошайки с мольбой о помощи? Разве мало вокруг нас бездельников, у которых полы не доходят до колен, а рукава до локтей? Я с того самого дня, как появилась на свет, жила в довольстве, жир с губ моих никогда не сходил. Разве это не дело аллаха, разве не аллах решил, что должны быть богатые, а бедные приходить к ним с просьбой и низко кланяться?! Может, на это скажут, что была я дочерью бая, вышла замуж за бая и дети мои будут баями? Пусть скажут, на это не обижусь, но если кто попрекнет куском — тому будет плохо.

Она говорила без передышки, так и сыпала словами. Прошло время, и я поняла ее поведение, а в ту ночь ничего еще понять не могла. Как я могла оценить эту разодетую и сытую женщину, что она глупее овцы, глупее вороны? Мне казалось, что любое слово ее должно быть жемчугом. И так многие считали в народе. Мой отец, когда кипятился и приходил в бешенство, ругал и манапов, и баев, и биев, и мулл, и самого аллаха. Ругал ужасными словами, называя хитрыми, злобными, жадными, несправедливыми, кривыми, косыми, но никогда, ни разу не слышала от него, чтобы назвал глупыми. Как знать, может, в этом главное рабство народа?

Хорошо ли, что забегаю вперед и приписываю тогдашней девочке сложные мысли? Я не приписываю. Говорила и говорю: детство свое, поступки и речи людей вокруг меня, бедность и богатство, голод и беду — все переживаю и второй раз, и третий, и четвертый, и пятый. Я рассказала, что в тот раз мучилась от нестерпимого желания схватить кусок, убежать с ним и втайне от всех насытиться. Была голодна? Или только проголодалась? Или при виде щедрого досторхона от одной зависти кипело и бурлило в моем животе? Я еще не знала голода, не видела, как от голода рвут зубами мясо околевших животных. И убивают

людей, чтобы съесть. В дальнейшей жизни и это пришлось увидеть. Значит, и беда и муки человеческие имеют разные ступени, по которым можно спуститься до самого ада. И что же? Выходит, в ту ночь беда моя была невелика? Девочку в жены байскому сыну...

Только подойдя к самому краю пропасти, узнаешь глубину ее и черноту. Только увидев жало змеи и страшные глаза ее, начинаешь понимать, что жить с ней в мире, не бояться и не дрожать от нее человек не может.

В чем была суть злобного спора между баем и байбиче? Как могла та самая байбиче, которая вспорхнула от одного движения брови своего мужа, скалить на него зубы и шипеть? О дорогие мои, все это еще только предстояло мне понять и усвоить.

Байбиче была из семьи потомственного манапа, а наш бай Кашкоро сам пережил бедность и возвысился над людьми жестокостью, удачливостью и расчетом. Боясь, что и его раздавит кто-то из поднимающихся, он играл под бедного, сам не понимая, как противно слушать слова о бедности из уст рыгающего обжоры.

Байбиче щеголяла своей знатностью и силой своего имущества.

— Думаешь, наши сваты не радуются, что берем у них Аруке? Зачем кривить душой — на их долю выпало редкое счастье. Ах, да что попусту болтать...

Она подбежала к курджуну, пальцами и зубами распутала сыромятный ремень и вывалила на землю те подарки, которые привезли моим родителям. Там был кусок ситца, и кусок вельвета, и новые ичиги *, и портновские ножницы, и кусок белого полотна, и даже немного бархата, которого хватило бы на жилетку для тонкой девочки.

— Вот это возьми себе,— сказала свекровь, передавая бархат в мои руки,— ведь и у меня дома есть швейная машина.

Я не знала, как быть. Подарки, привезенные родителям, нельзя брать и увозить с собой. Положив бархат в кучку подарков, я бросилась мыть посуду и менять блюда на чашки для чая. У нас не было блестящих фарфоровых пиал, мы их заменяли выдолбленными из дерева, черными от времени плошками — чейчеке. Но даже их у нас было только четыре. Я вымыла их и стала разливать чай. А когда разливают чай, нельзя разговаривать. Это заставило замолчать мою свекровь. Она села и вни-

* Ичиги — кожаные чулки.

мательно следила за каждым моим движением. Смотрел на меня и свекор — не ошибусь ли в чем. Сколько налью чаю, сколько воды, сумею ли удерживать в левой руке тяжелый чогун *, не расплескаю ли чай, смогу ли, подавая, поклониться. Со всем этим я справилась. Дорогая моя мама, как была она мною довольна! Улыбнулся и свекор. Один Жайнак сидел мешком, не поворачивая головы и ничего не замечая. Может, спал с открытыми глазами, а может, в голове теснилась печаль? Ведь и он не по своей воле женился.

Никто не говорит о переживаниях жениха, будто может только радоваться. Шестнадцатилетний парень больше всего на свете любит игреневых скакунов, камчу, свист ветра. Женитьба не мешает его свободе, но не грезилась такому, как Жайнак, двойная постель как радость и счастье... По правде, в ту ночь я не думала ни о нем, ни о его переживаниях. Сидит рядом молчаливый пень, будто не для него берут здесь девушку. Я даже лица его не разглядела. Что-то плоское и бледное. Со смешными пушинками под носом. Сперва он ел, а потом и есть перестал.

Теперь пили чай, но это был только перерыв в еде. Приезжие переглянулись, ожидая, как мы опозоримся. Получалось, что, если не привезли бы они угощения, хозяева ничего бы не могли предложить, кроме ячменных лепешек. И вдруг мама отгребла в сторону большое пламя костра и над пылающими углями поставила таган с казаном. Откуда-то явилось в ее руках вяленое мясо. У бедного моего отца глаза вытаращились в изумлении. Не мог скрыть, что для него это чудо.

— Ой-е! — воскликнул он и радостно хлопнул ладонями.— Откуда?

Мать, улыбаясь, лила в казан воду и держала в руках мясо, как бы показывая, что мы не так уж и плохи: видите, какой тяжелый кусок, всем хватит, и еще останется.

Рот бая скривила усмешка. Он отвернулся и принялся с шумом тянуть чай. Я уже говорила: он был меднолицым, и этот его красноватый цвет замечался больше всего. Приглядевшись же, я заметила: рот его до конца не закрывался, нижняя губа висела, виднелись два передних желтых зуба. Усы и борода разлетались в три стороны, вроде того, как разбегаются испуганные овцы, когда на отару нападет волк. На плечи был накинут белый тулуп, окаймленный бархатом. Как большой холм сидел бай. Когда губастый рот его раскрывался, усы и борода дрожали, как хвост трясогузки. Костюм на нем был желтого

* Чогун — высокий литой чугунный чайник; его ставят в костер на угли.

бархата; поверх он обмотался полотенцем. Заметив, что гляжу на бая, жена его сказала:

— Что за грязное полотенце ты накрутил?

— Эх-хе-хе,— ответил бай.— И у женатого человека так бывает. Ну, да я грязи не стыжусь. А уж коли ты так стыдлива, могла бы и постирать. Подпоясался, чтобы все видели: вот приедет к нам опрятница Аруке, тогда, может, и очищусь от грязи...

Маму мою всю передернуло, и она переглянулась со мной. А я первый раз подумала: им служанка нужна в доме. Обещают, что буду жить в довольстве и ходить в шелках, но вот из бая вылетела истинная мысль его: «Не ты нам нужна, а твои руки».

В то время киргизы не знали спиртного и даже на пиршественном досторхоне богача не было вина. Бывало, что разносили в больших пиалах крепкий кумыс. Где было нам взять кумыс? Но и без вина и без кумыса после еды и чая люди распахивались душой. Свекор, начав разговор о грязном полотенце, пустился в длинный рассказ, смысл которого дошел до меня много позже.

— Ах, Макмал, старушка моя! — Он долго и заливисто хохотал.— Мы с тобой как два сапога — живем и ходим в паре. Ты хвалишься сонливостью и бездельем, а я неразборчивостью. Что попадет — хватаю. Одеваюсь, как на праздник, так и по делу. Мне все равно. Вот ведь, дома остался пояс с серебряной пряжкой. Зачем он мне? Могу подвязываться полотенцем. Такой я человек...

Того, кто говорит длинно, всякий киргиз признает равным себе. С нижестоящим обходятся словами: «здравствуй — прощай», «да — нет», «отнеси — принеси», «подай — прими»... Как было не удивляться словоохотливости бая? Неужели и правда вознамерился считать родителей моих членами семьи? Неужели пожелал отцу моему и матери доверить тайну своего возвышения? Я слушала, отворив уши, и увидела в бае существо с теплой кровью.

Вот что он рассказал:

— Пусть обижается жена — расскажу, откуда вышел и кем был. У моего бедного отца кормилось четверо сыновей, и среди них я — самый младший. Каждый норовил навалить на меня груз. И послать по любой надобности. От этих побегушек я совсем извелся: тронь пальцем — и упаду. Однажды приехал дядя, о котором я только и знал, что одет получше нас и живет в другом кыштаке. Думаю: «Если ходит в хорошем бешмете и в лисьем тебетее — надо к нему подмазаться». Вот и стал бегать

за дядей, как собачонка. Выйдет куда — и я за ним. Сядет верхом — прошусь с ним на коня. Так ластился к нему — и он меня заметил. Тогда стал у него клянчить: «Забери меня, дядя. Буду служить тебе и делать все, что скажешь, а у отца и братьев все равно погибну». И дядя меня взял, за что обозлился на него его брат — мой отец и все мои старшие, для кого я был слугой. Но вот я приехал в тот кыштак, где жил мой дядя, и что увидел? У них беднее и голоднее, чем у нас. Весь кыштак — четыре юрты. Ночью пришлось мне спать не в юрте, а рядом с ней, в снегу. Кинул мне дядя кошму: один конец подложу под себя, другим укроюсь. Однажды ночью крепко заснул. А проснулся оттого, что все стадо овец бежало через меня. Чувствую: если подниму голову — затопчут острыми копытцами, пропаду, погибну. Лежал, пока все овцы не пробежали. Собаки подняли лай, визг. И тут голоса людей: все кричат и бегут на холм. Вдруг затихло. Я приподнял голову — у юрты никого нет. Темно, страшно... А все-таки оставаться, когда все побежали отгонять волков, не годится. Уже собрался я бежать вслед людям и закричал: «Эй, где вы? Ату, ату, ловите!» Так кричу и не спеша иду в ту сторону, где скрылись люди. В тот миг что-то мимо меня проскочило. Чувствую: случилось что-то с левой ногой. Подумал: «Пришел мой конец»,— и сел в снег. Мне показалось — волк вырвал мою ногу, страх одолел меня. А через некоторое время принялся ощупывать ногу и наткнулся на что-то горячее. Ничего не понимаю. Поднялся — цел. А то, что пролетело мимо меня, лежит поблизости и хрипит. Оказалось, что лежит в снегу разорванная волком коза. Когда овцы шарахнулись, матерый волк ухватил козу. У нее вывалились внутренности. Я поднял ее на руки и, расхрабрившись, принялся орать: «Эй, люди, сюда! Здесь хозяйничает волк, а вы где охотитесь?!»

Когда собрались, стали расспрашивать меня, как я отогнал волка от козы. Как хватило смелости вступить с ним в борьбу? Поздравляли, угощали. Так первый раз в жизни я стал героем. С этого началось мое счастье. Меня люди заметили, и я пошел в гору. С глупости началось. Так в жизни часто бывает...

Вы бы видели, как от этого рассказа бая в злости дрожала его жена. Что-то в этом простом его рассказе кровно ее обижало. Будто не кто-нибудь, не простое животное, а сама она с распоротым брюхом попала в руки нашего бая Кашкоро. Не стану забегать вперед. В ту ночь никто из нас не мог понять внутренних раздоров в байской семье. Одно скажу: моя судьба и это сватовство бая с бедняком — все было связано. Ничего, дорогие мои, не бывает слишком просто и слишком сложно.

Насладившись тихой злостью своей жены Макмал и тем, что, задохнувшись от его рассказа, она слова не могла вымолвить, свекор потянулся, почесался и блаженно разлегся:

— Что может быть лучше хорошего костра! Пай, пай! Какое наслаждение лежать у просторного доброго очага! Не надо ни юрты, ни подушек, ни одеял.

Отец по простодушию своему думал, наверное, что бай поверил в нашу хозяйственность, поверил, что мы сложили и спрятали юрту для перекочевки. Поняв, что сват обо всем догадался, отец заговорил дрожащим голосом:

— Не стану скрывать от вас, чего не скроешь перед богом. Нашу юрту свалило ветром.— Начав с таких покорных слов, отец стал яриться: — Кто сел верхом на ишака, у того не останавливаются ноги — все бьют и бьют под бока бедное животное. Кто взял в жены двух женщин — у того нет покоя его ушам. Вдове близка сплетня, а горемычному — беда. Что вы так да эдак намекаете?! Зачем потешаетесь над моим несчастьем? Если не нравится мой очаг — отстройте мне белый шатер. Сказали, что по воздуху пролетели над вами одеяла какого-то горемычного. Я, я этот горемычный! Мои одеяла летают, и мой пух присоединился к снегам Ала-Тоо. Может, ждали, что дадим за Аруке приданое в сто одеял? Если так — лучше уйдите. Бедность рвет мои мысли и думы. Из-за бедности и руки коротки, и язык не шевелится. Откуда найду то, чего нет у меня? Кто с любовью угощает — у того похлебка кажется маслом. Кто с ехидством угощение привозит — у того и масло превращается в прокисший айран...— Вдруг отец расхохотался. Он хохотал повизгивая и непохоже на себя.— Эх, да что говорить — решенного не перерешить. Растяните ноги посвободнее, дышите всей грудью: вся эта лощина — мой дом! И ты, сватья, хлебающая масло, и я, довольствующийся похлебкой из талкана, одинаково помрем. Давайте же лучше помолимся, чтобы смерть пришла попозже...

Отец готовился разбушеваться и уже весь дрожал, но не нашел сил перейти границу. Начав на разрыв, кончил почти что миром. И все же свекор был ошарашен. Как могущественный бай и злобный зверь он не должен был прощать отцу его выходку. Я ждала, что ощерится и покажет клыки, но, видно, уж очень важной сделкой была для него эта свадьба. Раньше я думала: из одной жадности приехал к нам в покинутый людьми аил. Думала, что не хочет угощать людей. Оказалось другое... Конечно, ему было трудно и почти нестерпимо слушать, что какой-то бедняк-букара отвечает на его издевательства. Но бы-

вает, что и могущественный бай терпит из одного того, чтобы получить выгоду...

...Ах, не стерплю — расскажу, что потом дошло до ушей моих... Через год, а может быть, через два, когда уже давно я была женой Жайнака, нашлись люди, прошептали мне тайну бая Кашкоро. Он взял в жены обесчещенную и этим разбогател. Взял дочь богатого манапа, зато... с начинкой. Начинкой этой был Жайнак. И тогда же, шестнадцать лет назад, бай поклялся, что женит сына жены своей Макмал на дочери бедняка-букара. И вот месть его сбылась. Макмал должна была молчать, но не молчала. И он не молчал. Муж и жена перебрасывались злобными намеками. Это и было всегдашней их супружеской жизнью. Даже в рассказе о начале своего везения, в котором Кашкоро простодушно вспоминал, как в темноте поднял козу с распоротым брюхом, слово «брюхо» вызвало в Макмал злобу и ярость.

Вот, дорогие мои, вы и узнали, чего не могли знать в то время ни отец мой, ни мама моя, ни я сама.

Не знал об этом и Жайнак.

* *
*

После того как отец собрался было разбушеваться, а мать опустила голову в ожидании шума, бай, преодолев свой гнев, сильно хлопнул в ладоши и закричал:

— Э-эй, Бекмерген! Где ты? Подай голос!

Издалека донеслось мычанье:

— М-мы здесь!

Услышав ответ своего кула, свекор не сразу его позвал. Как было стерпеть, ничего не сказав отцу? Бай скороговоркой произнес, косо поглядывая на всех нас:

— Слово дай говоруну, пищу — едоку. Так говорят в народе. Считайте, родные мои, что все улеглось по местам. Слушай, сват Ыбраим. Что тебе скрывать, если шило торчит из мешка?! И ты, сват, и ты, сватья, могли бы сразу признаться, что вас настигла беда... Буря, буря... Мы сильнее бури... Э-эй, Бекмерген! Неси то самое, что связано по ногам! — Крикнув эти слова, свекор повернулся к нам: — Если не могу зарезать одного барана — зачем мне ездить за невестой? Дожив до высоких лет, неужели не знаю обычая?! Нет у вас — есть у меня. Берите и радуйтесь!

Он так браво сказал, будто отару овец пригнал к нашему очагу. «Берите!» После этого слова моя мама понимающе улыбнулась, но отец поверил и обрадовался.

Громадный джигит, тот, которого я видела с конями и собакой, принес к костру жирного белоголового валуха и встал в ожидании. От него тянулась и вширь и вдаль черная тень, которая колыхалась как дым. Сам он, оскаленный и красный, виделся нам сказочным чудом, поднявшимся из земли.

Валух пугливо глядел в пламя костра.

Красномордый опустил его на землю. Валух оглядел нас робкими глазами и заблеял.

Может, почувствовал, чтó с ним случится, и прощался с кем-то далеким из своего рода?

Красномордый утер ладонью свой плоский нос. Похоже, таков был его знак хозяину, что приказание выполнено. Потом джигит стал оглядываться вокруг себя, будто искал что-то за светом костра.

Свекор вскинул на красномордого разрешающий взгляд, и тот сразу же раскинул ладони перед своим лицом, прося благословения на убой.

Все мы, глядя на свекра, тоже распростерли ладони.

Свекор пробормотал благословительную молитву в честь святых своих предков.

Когда губы свекра обвисли в молчании, все мы проговорили:

— Аминь!

Джигит, который для того и приехал, обрадованно потащил валуха.

Немного отойдя, он приподнял блеющее животное и, ударив об землю, прижал коленом. Он вытащил из-за голенища длинный нож.

И потекла кровь.

А потом валух захрипел. А потом его ноги раскрылись на все четыре стороны света.

Джигит громадными своими руками тянул шкуру и в мгновение отделил ее от мяса. Он распорол грудную клетку, отделил потроха и спокойно положил их, дымящиеся, у своих ног.

Привычно и ловко он разделал тушу по суставам и только тогда разогнулся перед нами во весь свой рост, понимая, что сделал нужное и приятное.

Забыв о своих обидах, мама выбросила из казана недоваренную копченость, но при этом следила глазами, где лежит выброшенное ею.

Джигит повесил баранью шкуру на ветку арчи, закрепив ее острием ножа, а другим ножом стал соскребать остатки убоя.

Все, что делал он, освещалось костром, и видны были его сверкающие зубы, которые как бы говорили, что так и должно быть и что он для этого существует.

Свекор сказал, ни к кому не обращаясь, что шкуру спасает чистота обработки.

Джигит еще старательней стал скрести и этим показывал преданность баю.

Лошади, почуяв кровь, стали ржать.

Выполнив свою работу, джигит пошел за скалу, не ожидая похвалы бая.

Бай окликнул его, подозвал и в протянутые его окровавленные ладони положил кусок конской колбасы с половиной лепешки.

Рыча и радуясь, джигит жевал на ходу и пятился от нас с поклонами. Так он скрылся за скалой.

Казан над огнем, давно не видевший живого мяса, сам собой расширился, и огонь под ним весело вспыхнул.

— Кровь, мясо! — не сдержав восторга, вскрикнул отец. По простодушию своему он не умел спрятать свои чувства.

— Говори, говори,— с ухмылкой одобрил бай.— Говори, сват, и ни в чем не стесняйся, ибо наступает рассвет.

И правда, часть неба над востоком посветлела.

— Говори, говори! — едва ли не ласково повторили мокрые губы бая.

Отец сказал:

— Хворый конь становится скакуном, если у него хороший присмотр. Благословляю тебя, сильный и могущественный Кашкоро. У тебя есть достаток, и я надеюсь... Надеюсь и верю, что присмотришь за нами. Слышал от тебя слово «берите». Ты привез угощение, радуешь нас этим, спасибо тебе!..

В этом месте мама кинула взгляд на отца, из которого я поняла, что она недовольна и что ждала от него другого. «Где твоя гордость?» — вот что говорил взгляд мамы.

Отец понял. Но, как всякий слабый, не умел мягко переходить от одного к другому и стал кричать:

— Да, ракмат, спасибо тебе! Ракмат, ракмат, ракмат! Словами своими ты сажаешь человека на иноходца, но когда до дела доходит — пересаживаешь на клячу... Ой-е! Сколько ты наобещал! Из казана несется дух твоей доброты, и я готов тебе поверить. Ты берешь нашу дочь и обещаешь ей сладкую жизнь. Ты говоришь, что и мы твои родные. Что ж, не дай аллах случиться тому, что дочь наша будет хороша, а мы плохи. Становятся сватами только те, кого аллах свел...

Как понять сказанное отцом моим?

Вспоминаю и стыжусь за него. Но если б не было такой слабости в людях, разве могли бы покорять их баи?! Никому

не желаю видеть своего отца в немощи его гнева, когда переходит от слез к воплю и от угроз к плачу.

Мой отец как был, так и оставался в белой залатанной рубашке и от этого казался живым мертвецом.

— Сват мой Кашкоро! Ты ведь не можешь не знать: идет зима и с каждым часом все холоднее ветер. Пуще ветра гнет нас нужда...— И тут отец мой, хоть сам и не упал на колени, разрешил голосу своему сделаться скулящим и униженным: — Ради нашего сватовства, Кашкоро, помоги перекочевать до снега. Дай коня, дай вьючного вола, не оставляй нас в пещере...

Услышав мольбу отца о помощи, свекор рассмеялся. Помолчал. Опустил глаза к земле. Потрогал усы. Наконец мы услышали его скучный голос:

— Как не помочь! Надо помогать... Хорошо, когда имеешь, чем помочь... Кому помогать, если не вам! Но... в каждом деле существуют свои претькновения, которые не годится перескакивать... Ах, сват Ыбраим, мы ведь приехали за невестой на свадебных конях, не годных для вьюка... Да пусть бы и годных — неужели нам браться за кочевье, оставив на произвол и бурю женитьбу нашего сына и замужество твоей дочери? Это неразумно. Такое неразумие засмеет народ... О аллах, убереги нас от того, чтобы стать всеобщим посмешищем! — Бай прошептал молитву и снова вернулся к словам: — Подождите денек или два, пришлю вам быков, и вы перекочуете.

...Ах, если б вы, слушающие меня через полвека, могли увидеть и почувствовать слепой холод байского взгляда! Мне показалось — опять все рушится. Снова и снова рушится юрта, снова летят камни. Вот только я не прорастала железом, оставалась слабой и леденела от ужаса.

Тут вдруг заметила лицо мамы. Если б глаза ее были способны к выстрелу, пуля пронзила бы свекра и он бы умер.

Но так не случилось.

Я бросилась к маме, упала на грудь. Я почувствовала, как скользят по ней мои руки, как падаю лицом на землю. Я билась и кричала, прижимаясь к ветхим маминым ичигам. С разных сторон несся ко мне шум голосов, но смысл речей до меня не достигал. Все, что давило, душило и мучило, рвалось из меня вместе с воплем. Я вся залилась слезами, не могли остановиться дрожь и судороги. Кого-то молила и кого-то проклинала... Смешные слова вспомнились мне потом: просила мать и отца не отдавать меня и держать у себя до самой старости.

О господи! Припоминаю себя, как сложилась комочком у ног матери и как она гладит мою голову и говорит, что вырастила меня хорошей дочерью, несмотря на бедность, никогда не остав-

ляла без еды и одежды... Она хвалила мой послушный характер, мою ласковость, и мое трудолюбие, и мое умение... А я слышала, что слова эти не для меня, а для тех, кто сейчас меня возьмет, чтобы помнили и понимали, какую добротную рабу они получают.

Может быть, так и не было. Но мама знала, что отбить меня от приехавших нельзя.

Вот и она села и согнулась надо мной, чтобы скрыть свой плач. Однако ее слезы, горячие и обильные, текли по моему лицу. Сверх того я слышала, хотя и не видела, рыдания отца; разве мог он удержаться?! Может быть, даже первым заплакал, часто шмыгая носом и содрогаясь всем телом.

Вдруг закричал сильным голосом джейрана:

— Не отдам свою дочь! Убирайтесь! Не видать вам даже следов моей дочери! Сгиньте с моих глаз!

Он ударил старым тебетеем по земле и обнажил сверкающую лысину перед Қашкоро.

Светлеющее небо переполошилось и в ответ на крик моего отца принесло ему в помощь тысячи голосов птиц и зверей. Весь этот шум и переполох гнал чужих людей, пришедших к нашему костру.

Топоча ногами и сжимая до белизны свои тощие кулаки, отец подскочил к свекру. Я смотрела сквозь слезы и видела, как отец мой вырос и покрылся узлами: мускулистый, жилистый великан. Я вспомнила его рассказы, как в молодости побеждал в конной борьбе, как разгибал подковы, глотал гвозди и носил на плечах верблюдицу. От этих воспоминаний во мне появилось тепло: смотрела на отца с надеждой, что разобьет врагов.

Мама разогнулась, чтобы помочь ему ободряющим взглядом.

Вы не поверите, но я вдруг почти рассмеялась: мешковатый Жайнак подскочил на своем месте и, весь красный, стал звать к драке:

— Давай, давай, давай!

Кого он подбадривал? Чьей победы хотел? Наверно, и сам не знал. Перестал скучать. Радовался шуму, предстоящей драке.

Свекор затаился; свекровь пряталась за его спиной. Я выскользнула из объятий мамы и уселась в стороне.

Свекор не разгибался, белый тулуп держался на его плечах. Глаз не было — только брови. Борода рассыпалась по груди. Жилы на висках вздулись. Молчал, молчал и вдруг заклокотал, как в казане клокочет густое варево. О, что будет, если сдвинется это чудовище с места? Говорят, в детстве, рассердясь на свою мать, он снял с костра кипящий котел и разбил о камень. Доносилось до нас, что, если одолевает нашего бая жажда, он

выпивает полведра парного молока и запивает чашей кислого молока; говорили в народе, что и камни может глотать. Кто знает, что случится, если такой встанет с места и распрямит плечи!

Пока что сидит, подобно мулле, но что будет, что будет?!

Свекор совсем умолк. Прекратились его шутки и прибаутки. Толстыми пальцами крепко сжал колени и сидит, будто коршун или гриф. Борода, окружив лицо, придала ему грозный вид. Вены на висках взбухли. Посмотрел бы на него незнающий — сказал бы, что перед ним слепец. Что-то он шептал. Неслышные слова его шепота пугали...

О, если сдвинется это чудовище, что будет?

Удивительно, что отец в белой рубахе, залатанной снизу доверху, все еще не боялся его. Глядя со своего места, я подбадривала отца взглядом и всей душой.

И вот он опять стал подпрыгивать перед баем и гневаться слезным голосом:

— Слушай, волк алчный! Слушай, семиглавое чудище! Жри меня, жри и глотай! Что осталось от меня несъеденного?! Режь и коли, разрывай, разнимай на части, но не трогай мою дочь... Туда и сюда твоего жирного валуха!

С этими словами отец подхватил с земли толстое еловое бревно, на котором рубили мясо барана. Окровавленное и скользкое, в руках спокойного человека оно не могло бы удержаться. Тяжелое бревно. Занозистое. Грязное. Отец мой вытащил его из мягкой земли и поднял над собой. Он замахнулся этим мокрым бревном в сторону казана, где варилось мясо для бешбармака.

Долго ли можно замахиваться?

Где-то в середине движения бревно остановилось, и я услышала голос матери.

От одного звука ее голоса руки отца опустились.

Бревно упало на землю.

Мать уговаривала не злиться на безобидный казан и взглядом просила ударить бая.

Жайнак подпрыгивал мешком и повторял: «Давай! Давай!»

Он знал, что голова бая тверже бревна и после удара бревно отскочит.

Отец не повторил замаха и ослабевшим голосом стал говорить:

— Убирайтесь! — он махнул в сторону края лощины и повторил: — Убирайтесь туда... откуда пришли.

Свекор продолжал одно и то же: сидел и бормотал.

Свекровь в своем белом наряде смешно и придурковато

вздрагивала. Она обеими руками уперлась в землю, будто хотела подпрыгнуть, чтобы убежать куда угодно.

Поняв, что его боятся, отец ругался не переставая. Он пересчитал все, что получил в счет калыма. Он поклялся вернуть уплаченное за меня деньгами и трудом. Он назвал свекра холодным как лед мусором.

Свекор оставался в том же положении и напоминал большой камень.

Но вот голос отца притих, снизился и угас в слезах.

Тогда человек под белым тулупом с бархатной каймой по краям чуть-чуть приподнялся и приотворил один свой глаз.

Этот один зеленый глаз смотрел и спрашивал: «Что это здесь говорят?!»

Увидев этот новый кособокий взгляд, отец опять разъярился, принялся бить себя в грудь, плеваться и визжать.

Как же могло случиться, что могучий и сильный здоровьем бай вел себя тихо и такое долгое время отмалчивался на крик, визг и глупые слезы моего отца?

Оказывается, он давно приготовился, что так будет.

Сперва сидел под своим тулупом и ждал, что его ударят. Он прикрыл голову не только малахаем, но и тулупом, а с некоторых пор сообразил, что крик моего отца ни к чему не поведет.

Сообразив, бай стал понемножку похихикивать... Вскоре хохот его стал похабным, откровенным и злым. Руками он зажимал свой трясущийся живот. Иногда раскрывал хмурые глаза и поглядывал на отца.

Отец в своей белой рубашке скакал на одном месте. Слова его были визгом и уже ничего не значили. Слюни текли у него длинными струями, и это значило, что силы его оставили, а пыл его горечи не способен никого испугать.

Отец иногда щупал вокруг светлый воздух рассвета и этим тоже был смешон.

Начался разговор бая.

Начались слова, подобные гвоздям.

Гвозди рассудительности входили в наше тело.

— Я ждал твоей смелости,— с насмешкой сказал бай.

Он слегка высунул свое медное лицо с пушистой бородой, и мы услышали его речь:

— Ой-е, сват! Не тот я человек, которого ты должен ругать. Хочешь обижаться — это право всякого обиженного. Поищи вокруг, кто тебя обидел. Есть судьба, и есть доля. У каждого, кто живет на свете, кроме волос на лице, остался кусок кожи, который морщится от дум. На этом куске кожи отражена вся

его судьба. Обижайся на судьбу, ненаглядный мой сват. На лбу у тебя написана твоя доля, и я не в силах ее изменить. Кто отбирал у тебя скот? Я бы мог силой своей власти взять у тебя овец, баранов, верблюдов, лошадей. Я бы мог взять, если бы они у тебя были. Но у тебя не было ни овец, ни верблюдов, ни лошадей. Я у тебя не отбирал скот... Ой-е! Не будь ребенком, сядь, и поговорим.

Опережая свой ум, я подумала в ту ночь на грани утра, что жирный бай с медным лицом имеет что сказать, а мой отец может кричать, но оправдать ему себя нечем.

— Я хочу быть спокойным,— продолжал бай.— Я хочу тебя убедить. Добрым словом намерен успокоить твой крик и неистовство. Позоришь меня перед людьми, а я не виноват... Я глуп, и ты глуп — мы оба глупы перед существом мира. Не я сделал, что ты отец невесты, а я отец жениха. Кто, кроме аллаха, мог это сделать?! Если бы я отрешился собственным своим именем от сватовства, если б повел тебя к бию и сказал: «Нарушая давний свой сговор, мы хотим того-то и того-то...» — бий бы ответил нам: «Вы недостойны тех, кто почитает коран!» Бий в равной доле уничтожил бы твое тело и мое богатство. Ты, сват, нарушаешь корень и листву. Не может случиться листва без корня, а корень без листвы погибает в той же земле, где он лежит... Сиди передо мной и молчи передо мной, хотя сегодня мы с тобой родня и оба хотим правды. Не кипятись. Если ж ты силен и руки набухли от желания войти в драку, направь эту силу на исправление собственной своей жизни.

Так сказал свекор.

Он сказал как умный.

Его слова определили порядок и ту жизнь, которая перед всеми была, а он, хотя и богатый, тоже был ей подвластен.

...Разве не я сказала недавно, что бай был глуп? Конечно, он был глуп. Глупость не обязательно зла. Глупость может быть и добра и рассудительна. Глупость может быть хороша, как мудрость, если повторяет мир в его пределах.

Закон жизни в то время был глуп. И, повторяя закон, можно было жить в мудрости.

Глупость и мудрость соединились в законе.

Я не могла понимать правоту. Я могла слушать.

Я слушала.

Жирный бай с краснотой своего лица и медностью выражения был силен спокойствием того закона, который стоял за ним. Даже поднимающееся солнце не способно было изменить его мыслей и правоты.

Свекровь, удивленная мудростью мужа, произнесла:

— Это все так!

Ее голос дрожал. Она боялась, что ее убьют...

...Пройденные полвека позволяют мне, старой учительнице, найти в этой безысходности правоту.

Привычная правота бая была от его богатства. Но в чем же лежала истина моей матери? Она слушала. Она плакала и кипела. Я верю, что ей хотелось моего освобождения. Знаю телом и кровью: мать не только меня любила, но и желала мне добра.

Оголилось время, приостановились слова, и стало пусто.

Много позднее я узнала, что киргизы могли слушать женщин. Узбеки, туркмены, таджики, уйгуры — все эти мусульмане женщину никогда не слушали.

А тут, на свадьбе, бай и его байбиче стали слушать мою мать. Как удивительны и ужасны были ее слова.

Вот что она сказала:

— Брани свою судьбу! — она глядела на отца.— Только свою судьбу! Что знает бай — то знает и раб. Но говорить рабу не позволено. Рвутся из моей души тысячи слов. Зачем?.. Горы имеют острые окончания, откуда камень падает и никогда не возвращается наверх. Сколько бы я ни говорила — мои слова не вернут правды. Что скрывать! Грудь и сердце не хотят отдавать дочь. Но руки наши обожжены подачками. Рядом с мужем я продала плод мой — дочь мою, а блага от этого не видела... Она уйдет... Вы увезете... Сердце болит. И вот сижу и рыдаю. Горькая боль сердца рождает яростную злобу. Смерти подобная злоба превращается в накипь, в ненужную пену... Простите меня. Если бы не сказала — боль осталась бы в сердце... Когда мы разорились, у вас не нашлось добра и приветливого слова. Вы напираете, что есть сговор. Мы готовы его нарушить, если вернем вам съеденное нами...

Что, кроме голоса, проникающего сквозь поры кожи, могло заставить бая слушать слова моей матери? Он знал свой закон и свою правоту. Он знал свою тайну, свой замысел, свое решение. Он знал, что может поднять меч или позвать креваволицего кула с его собакой и расправиться с нами.

Однако слушал.

Может быть, и правда, что бедные в своем прошлом могут и в богатстве называться близкими нам. Да, так бывает. Так было с нашим баем Кашкоро. Давняя его бедность, из которой он выбрался, не уменьшала, а увеличивала гордыню его. Посмеиваясь, он причесывал свою бороду в нашу сторону, но ведь расчесывают и хвост коня, который скачет, куда нужно всаднику.

Бай слушал мать.

Мать говорила:

— Нужна невестка, а мать невестки, которая родила, вырастила тебе невестку, не нужна? Эх, сват, сват! Жива буду — душа моя не повернется к тебе. Умру — прах мой не простит тебе.

Когда мать стала поминать свой прах, свекор, который знал шариат и слова проклятья, потерял свою улыбку, приподнялся на месте, но в растерянности сел обратно.

Мама продолжала говорить:

— Довольно! Я та мать, судьба которой решена. Что с того — буду горевать или не буду? Имела бы я скот — ты бы, сват, голову свою подстелил под меня. Скота у меня нет, и ты как хочешь, так и топчешь меня. У тебя все есть. Потому-то слова твои всегда умнее моих и вид твой лучше моего. Забирай свой долг! Коршуну и грифу нужна падаль. Откуда она — это неважно. Мы для тебя не лучше падали... Оставь подкармливать и утешать нас мудрыми словами. Будь сыт сам! Всегда был как труп — думаешь, теперь изменился? Чем надеяться на тебя — лучше на волка...

Свекор краснел и бледнел, бесцельно ковырялся в зубах и отплевывался.

Все-таки нашел слова:

— Ха-ха, просто смех разбирает от твоих речей. Неужели плохо, что я волк? Зато ко мне в отару никто не заберется. Ладно, вот что скажу: я так себя воспитал, и к этому привык, и от этого не откажусь, сватья...— Он повернулся к отцу, он пустил стрелу взгляда и в мою сторону, хотя не положено было считать невестку человеком. Он сказал:

— Сват Ыбраим. Найди в себе терпение, не закусывай узду, как закусывает ее дурной конь. Кричишь «не отдам», ну и не отдавай. Я не стану кланяться с ремнем на шее, чтобы отдал. Ты не могила святого, чтобы я приходил к тебе молиться. Разве забыл, как униженно появлялся перед нами? Ох, не прошло двух лет, а память твоя все утратила. Что, у тебя потерян ум, своего ума нет? Слушаешь жену? В последний мой приезд Аруке было одиннадцать лет. Теперь, слава аллаху, тринадцать. Тогда была жалкой девчушкой, теперь расцвела. Товар поднялся в цене, и ты раздумал? Надо сперва думать — потом решать. Разве не отдал я тебе, уважая бога, жирную кобылицу?.. Э-эй, разве ты не был согласен, да будет пухом земля твоей покойной матери?! До того была швейная машина, которая стоит косяка лошадей. До того была овсяная мука и мешок проса. Потом было еще, когда ты сказал, что надо бы справить поминки по родной твоей матери на седьмой день ее смерти. Разве не окунул

ты свой палец в масло? Твоя почтенная жена, способная говорить, молила меня словами, и я принес в жертву на смерть твоей матери кобылу, которую хотел сохранить... Пожертвовал не тебе, а этой вот сватье, как говорится — блестящей лицом, не плешивой женщине... Прошло время — отдал богу душу и твой отец... да пребудет его душа в раю. Кто оказал тебе помощь? Хотя уже было решено, что швейная машина отплатила до конца... Стыдно повторять, стыдно говорить, сколько выпрашивал от меня... А что? Неужели не отдал тебе ту ожеребившуюся кобылу, мясом которой насытились люди, хоронившие твоего отца? И опять ты не остался в долгу перед покойником... Народ не меня, народ тебя благословлял, говоря спасибо сыну усопшего... Как же так, что ты забываешь все это? Родство этим и проверяется. Проверяется и в хорошем и в плохом. Что ж, теперь хочешь и сам забыть и чтобы я забыл? А может, хочешь, чтобы сверх всего привел бы тебе вторую жену? Ах, если б по просьбе и молитве рождалось богатство! Не довольно ли просить у меня, не пора ли у аллаха?.. Помогали вам и в одежде... Вышла подать — мы тебя вызволили...

Что случилось с Кашкоро? Он подсчитывал перед нами все им содеянное для нас, хотя и мог ничего не считать, зная, что мы и сами знаем.

— Пусть по-твоему: отдай мой скот, а я не возьму твою дочь. Попробуй стать богатым. Все ругаешься, все придираешься! Ты подобен верблюду, который знает, что жует, но не знает, что проглатывает... Как сказал один пекарь: «Когда ешь — очень вкусно. Когда же надо платить — очень горько». Ну-ка, приведи мне две головы крупного скота, и я уеду. Не уважал бы меня — уважал бы свою бороду, постеснялся бы своего ребенка... Не мечтай, что приедут к твоей дочери сваты на украшенных лошадях, с соколами на руках, с девятью живностями и с богатым калымом. Тень такого не видела даже дочь бая, у которого широко раскинулись отары и табуны. Хоть ты и топчешь землю, мечты твои витают в облаках. Эй, Ыбраим, довольно! Мы с тобой наговорились!

Джигит, висевший тенью за дальней скалой, уже стал подавать голос, и было понятно, что сейчас вступит в спор своей невыразимой силой. Он и его собака рычали и скрипели зубами, готовые кинуться.

И вот оказались перед нами.

Бай чуть-чуть посмеивался. Казалось, сам испугался. Будто не его слушался джигит, а сам собою тучей висит и может бросить молнию.

Бай тихо сказал, поверяя нам свой испуг:

— Порази его бог, ну и дурной у него характер. Скажи только «эй», и он тут же зарежет, не успеешь даже вступиться...

Бай крикнул джигиту:

— Уходи отсюда, следи за лошадями!

Нам он прошептал:

— Я откармливаю его пшеницей, пропитанной маслом. Не было батыра, способного его победить. Не знаю, как верхом на коне, но, становясь ногами на землю, превращается в зверя... Если ухватился — кожа остается у него в руке. О проклятый! Боюсь его. Видите, как бесится! Отъелся.

Бай заметил, что над казаном вздулась пена, и закричал:

— Ну-ка, достаньте шумовку, если у вас есть!

Пена вздулась и лопнула. Бульон закипел. Желтые пузыри перешагнули край казана и поползли по его стенам, спускаясь в огонь.

От жира еще пуще разбушевалось пламя.

Свекор, дрожа, следил за кипением казана.

Он отвернулся и успокоился после того, как мать длинной шумовкой сняла пену.

Отец перестал смотреть на бая и перенес свой взгляд на казан. Он хотел бешбармака.

Моя бедная мама принялась подбрасывать в костер полешки арчи. Казалось, кидала в огонь куски своего сердца.

Свет раннего утра разгорался на красном небе, но еще не стал солнцем, а это означало, что длится ночь.

Жайнак сидел с надутым ртом, будто держал за щеками сухой песок. Он хотел драки, а слова для него не существовали.

Пена показывала, что мясо бешбармака почти готово.

За скалой, где скрылся джигит, раздалось ржание испуганного коня.

Там что-то было, какая-то жизнь, кони дрались меж собой, собака рычала, но никто туда не пошел.

Время шло.

Мясо вывалили на блюдо, подали на досторхон. Каждого наделили мослом. Каждый взял кусок и начал есть, отрезая кусочками.

Все было забыто за свежей едой.

Мясо было жирное, и весь шум-гам был успокоен пищей.

Мясо было жирное, мягкое, нежное, вкусное. Бай сказал, что валух пасся на сочных травах, а сватья напоминала, что место, где пасется их скот, очень хорошее и что любая их овца не имеет в своем теле ни куска черного мяса.

Вдруг она схватилась, что нет среди нас того джигита и все острые ножи у него, а пора бы мельчить мясо.

Отец сказал, что два острых ножа у него есть, и подал их жениху, но жених, как стеснительная девушка, не поднял головы.

Крошить мясо свату не годится; и наш отец тоже считал унижением своими руками делать крошево для бешбармака.

— Мало, что отдаю свою дочь? Неужели я слуга вам?

Мясо остывало.

Свекор пришел в недоумение и ярость. Он стрельнул глазами в сторону камней, за которыми ржали кони:

— Ведь знает, что настала пора. Неужели потерял нюх и не чует, что мясо давно уварилось и он должен явиться для услуг?

Э-эй! — крикнул бай, но никто ему не откликнулся.

Отец, делая вид, что все давным-давно кончилось, схватил самый жирный кусок и, забыв свои слезы, забыв свой крик, стал жевать и поспешно глотать, как бы говоря: «Будь что будет, а такая еда случается бедняку раз в десятилетие, и если бедняк наестся — он уже наполовину богач!!!»

Все встревоженно заговорили, поворачиваясь туда и сюда в ожидании джигита с ножами.

Жайнак при своей полноте сбегал за скалу и, вернувшись, сказал:

— Нет двух лошадей.

— Лучше ты пропади, чем лошадь! — закричал свекор, хлопая себя по ляжкам.— Куда девалась эта рычащая громадина?! Куда девалась эта хрюкающая свинья?! Скачи, и если провалился сквозь землю, выдерни его оттуда. Я в клочья раздеру его скуластое лицо! Доставь сюда, и я поиграюсь с ним, как с альчиком! *

Свекровь разгулялась пуще мужа. Как пушинка вскакивала и как пушинка садилась.

— Скачи дальше, еще дальше скачи! — вопила она. А кому вопила — не знала. В руке ее под восходом сверкала обглоданная кость.

Свекор тяжелыми ногами пошел за скалу, где побывал его сын, и, проверив, вернулся. Вернувшись, стал орать:

— Чтоб вы все околели! О черные глаза! О собаки, скачите! О Жайнак, вонючка!

Сбросив тебетей, он хлопал себя по ляжкам.

Отец и мать отрыгали свою сытость, как и полагалось веж-

---

* Альчики — игра, напоминающая бабки.

ливым людям. Гнев бая не касался ни их, ни меня, и они от него отдыхали.

Притих огонь костра, и в свете раннего утра красные угли жили тихой жизнью без пламени и без дыма.

...Невесту положено увезти до восхода, до того, как явится полновесное солнце.

...Нет хмурого джигита с его оскаленными зубами. Нет хмурого джигита, и не хватает коней. Сколько ни кричали, он не откликался. Наконец явилось за горными вершинами темно-красное светило. Оно еще не было солнцем. Только багровый его край вступил в борьбу с тучей и, побеждая, врезался в небо.

Значит, надо меня увозить. Если не увозить — уводить. Пора!

Когда меня подвели к одному из оставшихся коней, мать с притворными и сытыми от мяса рыданиями схватилась за меня.

Слезы, собранные за всю ее жизнь, хлынули, а я не верила в них.

Мелкий голод ходил по моим кишкам: меня забыла накормить моя мать.

Прощаясь, она стала петь:

Дочь — моя душа. Хоть ты жила в нужде
в родном доме,
Дочь моя, ты от души жила при нас
и радовалась счастью!

Сквозь слезы и сквозь злость я отвечала ей песней. Я пела так:

Душа растений в бурлящем роднике,
В сверкающих лучах солнца.
Счастье убегает от девушки,
Прячется где-то вдалеке...

Это была заученная песня, не трогающая души. Я должна была понравиться солнцу и старалась изо всех сил. Мне отозвалось эхо. Оно повторило мой голос из-за каждой скалы. Будто девять девушек ушли по воду, и одна из них я. Казалось, подруги прячутся за камнями и сейчас выбегут проводить.

Зашелестели травы, и загремели родники.

Я пела на чужой лошади, пела громко, но понимала, что никому громкая моя песнь пригодиться не может.

Все чего-то ждали, хотя пора было отъезжать.

Тут-то и явился джигит на коне, а другой конь так и не вернулся.

Тогда бай велел джигиту спешиться. Сложил камчу вдвое и ударил раба своего по лицу. И еще ударил. И еще и еще уда-

рил. Глаза бая стали подобны черным дырам, из которых сверкает огонь. Зубы его шуршали, как шуршат жернова.

И хотя джигит был страшнее его, стоял молча. С лица его брызнула кровь. Сперва она была красная, а потом превратилась в черную. Огромный, как скала, джигит прикрыл ладонями свое лицо, но не сказал ни слова, не закричал, и не заплакал, и не пожаловался.

Он мог растоптать кого угодно, но сжался перед хозяином, как сжимается паук от воды.

Он дрожал подобно буйной лошади, которую сильно отхлестали.

Просачиваясь сквозь пальцы, темная кровь спускалась с его лица на одежду. Однако он не сдвинулся с места и не сдвинулся бы, пока не забили бы его до смерти.

Нанеся сколько нужно ударов, бай дал знак, чтобы поспешно садились на коней. Тогда муж мой Жайнак вскарабкался позади меня. Видно было, что ждет моего крика, знает, что должна я падать на руки своей матери и плакать прощальным воплем.

Но я не вопила и не плакала. Во мне явилось упрямство и нежелание видеть сытые лица матери и отца.

Так в безмолвии тронулся наш караван.

Джигит и собака бежали вровень по нашему следу.

Отец остался на большом черном камне; он зажал маленькое свое лицо меж синими ладонями.

Мать с плачем побежала за нами и плашмя упала на тропу; ветер отнес ее платок, и он повис на арче.

Мне виделось, что куст машет мне платком.

Отец слился с черным камнем, мать слилась с землей.

Явилась тишина.

Потом долго стучали копыта.

Так мы ехали, и я не знала слез, задыхаясь от встречного ветра, от зла души и обиды против сытых родителей.

Я не выполнила, что полагалось, не упала к их ногам с дрожью прощания. Как скотина я оказалась в руках мужа, который мог меня убить без суда, растоптать, или поцеловать, или сделать меня матерью.

Любой встречный по виду моему способен был понять, куда и зачем я еду. Мне было все безразлично, хотя с каждым шагом лошади от сердца моего отлетал кусок и оставался на тропе. Мне все было безразлично, хотя мое маленькое тело дрожало и мокло от пота при холодном ветре. Я задыхалась. Если б заплакала — мне бы стало легче. Я хотела выдавить из себя слезы, но сил для этого не нашла.

Сидя позади меня, Жайнак распахнул свой коричневый полушубок и заключил меня в мех и в тепло, но я не знала, что это тепло, и не знала, что это мех, и не знала, что его грудь касается моей спины. Я знала, что лежит передо мной склон горы, а за склоном одной горы лежит склон еще одной такой же, пустой и скучной.

Руки мужа моего Жайнака то и дело меня обнимали, освобождая узду коня, но ему было скучно и мне было скучно, а он все равно это делал, готовясь к любви, о которой слыхал от разных людей, но сам ничего не чувствовал и чувствовать не мог.

Караван двигался навстречу солнцу, все мы опускали глаза, а лошади часто спотыкались.

Улучив минуту, свекровь повернулась ко мне и, придержав коня, оказалась вровень со мной.

Это значило, что ей надо что-то сказать.

Она сказала:

— Дочь моя, Аруке. Не плачь.— Я нисколько не плакала, но она давно приготовилась меня утешать и не смотрела, есть ли у меня слезы.— Дочь моя, Аруке! Попрощайся со своей землей и со своим очагом. У всех у нас такая судьба.— Что-то в голосе ее изменилось, будто осмелилась говорить правду, будто вспомнила молодость и говорила не мне, а памяти своего сердца: — В жизни самая несчастная доля достается женщине. Так рассудил аллах. Мы созданы для плача и для горя. Счастье, что уходишь от родителей, не зная юноши, который сделал зарубку на твоем сердце.— Она вспомнила что-то из собственной жизни, и глаза ее стали мокрыми.

Сказав свои слова, свекровь ускакала вперед, и снова наши кони пошли след в след, а позади них бежали слуга с окровавленным лицом и голодная тощая собака, которой, равно как и мне, ничего не досталось.

Тепло Жайнака передавалось моей спине, я задыхалась и хотела вырваться, но упрямство держало меня натянутой струной, дрожащей и холодной.

Проехав первую гряду холмов, мы оказались в мире гор, которые жили без людей и без травы: туда не гоняли скот, и только черная тропа от проходивших караванов извивалась по камням. Веки мои потяжелели, я не могла их удержать, и они опустились; в голове стало мутно, тело расслабилось, и если б не руки Жайнака, я сползла бы на тропу...

...Дорогие мои, вы не знаете, как спали киргизы. Только при Советской власти нам вошло в привычку, что ночь существует для сна, а день для работы и остальной жизни. Киргиз спал

на лошади, падал в течение дня у себя в юрте или на пастбище или привычной дорогой на ходу закрывал глаза и этим насыщал желание сна. Так и киргизские женщины, которым было еще хуже из-за детей и мужей, все могли ее потребовать, когда хотели; все дергали, звали, кричали женщину, и она тотчас же отворяла глаза для дела и по безделью. Что с того, что какая-то байская жена спала из каприза — это не закон. Закон жизни был таков, что засыпали и через мгновение просыпались и под луной вели беседу, а в полдень нежданно засыпал весь аил или часть его. Так жила и скотина. Так скотина живет и теперь, если нет над ней крыши. Так живут и поныне многие страны, о которых вам рассказывают, что границы их расположены по берегу реки или моря и что в том месте властвует то или другое правительство, а вы не знаете, что там по-прежнему не спят. Что там только дремлют. Вам говорят о голоде и других бедах, но никто не напишет и не расскажет, как дурно, по мелким клочкам спит человек такой страны...

...Я сомкнула веки и разомкнула.

Разве я знала, где живу и зачем? В мои тринадцать лет тринадцать раз я кочевала со своим аилом от нижней земли, называемой долиной, к верхней земле, называемой джайлоо. Каждый раз джайлоо на сколько-то шагов или сколько-то верст менялось от прежнего, отчего острие скал было одним или другим, но мир оставался прежним, и красоты я не знала и не пугалась природы, хотя и не восхищалась ею.

Я знала дым очага наружного и дым очага внутреннего. Я знала детские игры на зеленом холме и волны окружающих овец. Я знала мычание быка, блеяние овцы и блеяние предводителя стада — козла. Я знала, что есть горы, но не знала, не видела и даже не воображала ровное место, которое называлось степью.

Я говорю: сомкнула веки и разомкнула. Сколько я проспала? Как вдруг увидела при ярком свете, что караван вступил в пределы живых гор. Если предстоит вам путь по родной стране, подойдите с трепетом к этому месту неподалеку от Кочкорки. Я оказалась там.

Удивительно не то, что увидела я тринадцатилетним своим умом, воспринявши окружающее через зрение мое. Удивительно, что никогда не забуду, хотя еще не знала существа голого и существа одетого мира. Обнаженная земля со своими скалами предстала перед взором моим, и я подумала, что такова моя душа.

Не желая говорить лишнего, объясню вам суть вещей простых и ясных. Мне вдруг стало понятно, что люди, лошади, овцы

и растущие для них травы — ничто перед оком бога. Я еще не понимала, как бог-аллах порождается в нашем уме. Я просто испугалась.

Что могло напугать, удивить и подавить тринадцатилетнюю жену, вступившую с караваном на неизвестную землю?

Я кочевала с родителями и со всем своим аилом по землям, покрытым травой, красными цветами, и желтыми цветами, и синими, и всякими другими цветами, которые делали мир красивым и веселым. Так я кочевала верхом и пешком, на быке, на осле, на своих тонких ножках, на руках моей родительницы по имени Асыл.

Лошади, овцы, бараны, верблюды, редкие коровы и быки — все были связаны с травой колючей и мягкой. А если не было травы — скот жевал колючки, и тогда верблюдам было лучше, чем другому скоту. Но были хотя бы колючки. Если не встречали реки, встречали родники. Вода поила наш скот и нашу жажду.

Тут же случилось, что бай Кашкоро, подходя к своему дальнему кыштаку и сокращая путь, пошел через горную пустыню. А я не могла понимать, что он делает.

Это был октябрь — холодный для верхних мест. Но тут жгло солнце. Оно в этом месте выращивало горы. Я сразу так и поняла.

В голом месте, через которое бежал наш караван, маленькие скалы жили, как ягнята, а большие скалы жили, как телки и жеребчики. Они были голые, как лысина старика, и удивляли своей редкой толпой. Они были детьми больших гор. На них ничто не могло зацепиться, и ничто их не кормило — они стонали голосом глубоких трещин, откуда получали желтую и коричневую пищу и серное зловоние. Они питались собственным сухим соком поющего камня. Я сама слышала, что под горячими лучами солнца трещины плакали, как дети.

Так было.

Вы скажете, что мне приснилось, или я не проснулась, или что так не может быть.

Но мне в моем одиночестве было видно, что скалы, мелкие и крупные горы способны жить без человека, без его овец, без его быков, без его трав и без его мыслей.

Так же голо было в моей душе.

А караван, который замыкали кроваволицый несчастный джигит и тощая собака, этот караван бежал среди камней, и чем дальше бежал, тем бóльшие горы возникали за ним, подымаясь гряда за грядой, и в этой пустоте я видела будущую свою жизнь, оскаленную совершенной чистотой, где вершина

всегда ледяная и где низина всегда сухая и не остается ничего для той жизни, которая есть человек.

И снова я уснула.

Руки чужого запаха, грудь чужой шерсти, тепло чужой кислости обнимали меня, и с этим я вступила в громкий кыштак, где стояло триста юрт.

Там мы спешились. Там началась моя чужая жизнь...

...Вам смешно, и вам сколько-то жалко, и вам видно все это далекое, чуждое, неприютное, скучное...

А где правда?

И нужна ли вам правда?

И нужно ли вам знать, что, кроме веселых городов и богатых скотом аилов, где есть новая жизнь, и поныне существует такая голая беда и такое безлюдие души?

Меня ждал богатый кыштак, где царствовал, убивая и подтверждая этим свою власть, меднолицый человек с пушистыми усами и скверной вонючей душой.

Я услышала крик моей свадьбы, общий вопль всенародной радости.

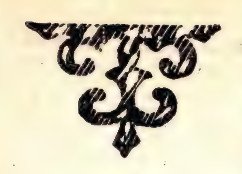
Здесь резали баранов, здесь дымилось сто двадцать семь очагов.

И над каждым очагом стоял таган. И на каждом тагане сидел казан.

Я попала в обширную белую юрту, разделенную занавесками.

Шел пар и запах еды.

А я уснула.



Глава третья,

в которой говорится, как молодая жена, пройдя сквозь тяжкие побои, забыла железо своей души, чтобы научиться у кровавомордого кула и пса Кумайыка правилам достойного поведения раба, когда ум должен угаснуть, заменившись радостями беспрекословного послушания и терпения.

...Вот, дорогие мои... Вам трудно понять, мне трудно объяснить, хотя ради взаимного понимания и ведется разговор. Нет предмета в школе, который назывался бы память. Сколько я училась и сколько учила — не было слова о том, как является и что означает память.

Память может лгать. Память добавляет и убавляет, раскрашивает и обесцвечивает. Мы с вами живем в разное время, с разной правотой памяти. Говорила вам и повторяю: нет разрыва человеческой жизни... Перед вами старуха, которая говорит о детстве. Таком далеком и непохожем на ваше, что даже самое слово «детство» вам не годится. Потому что девочка тринадцати, пятнадцати и даже семнадцати лет понимается вами как ребенок, а мальчик этого возраста не называется мужем, даже юношей.

Все-таки не в этом главное, что хочу сказать и объяснить.

Уже говорила: вам трудно, и мне трудно. Если рассказываю, как ехали, как сидели, как спали, как шел день и труд и какие были кругом вещи — это вы охотно понимаете и видите из моего рассказа.

Настала пора передать вам нигде и никогда на бумаге не сказанное, для чего у историков не нашлось даже дыхания и мелкой заботы. Потому что история предметна. И это так и должно быть. Не было и нет истории чувства, которое живет вне пределов обычного познания. Нет истории памяти, и никто не пожелал об этом подумать и сюда заглянуть.

Сколько раз я с удивленным плачем понимала, как запоздала в развитии моя память и как неверно освещает мою жизнь.

Я повторяла, и вы это слышали, что живу, и поныне живу, теми годами. Вы молоды. Единство жизни не есть для вас единство старости и ранней младости. Это вам недоступно. Но если кто-нибудь из вас пожелает задуматься, он увидит, как непо-

стижимо велика чернотой своей пропасти та жизнь и эта жизнь. Если пожелаете и найдете силы ума, вы обнаружите, как спотыкалась мысль, являясь сквозь гущу событий.

Ложь памяти... Ложь памяти дает нам истину.

Разве не удивительно слияние лжи и правды? Но без этого нет человека.

Знала ли я, тринадцатилетняя жена, что есть память? Могла ли вспоминать? Для меня отец мой Ыбраим застыл в корчах прощания на черном камне. Удалившись от него, я помнила, как уменьшался он и терялся в дальнем следе моего отъезда.

Мать моя Асыл, которая упала на тропе и лежала в пыли, в памяти моей осталось такой, и я не знала, как ее видеть иначе.

Сейчас скажу для вас простые, но для меня в то время неведомые и загадочные слова: «письмо», «почта», «страна», «граница», «мир», «война».

Это немного. Это у вас определилось в раннем вашем детстве. Если кто из вас шестилетним остался в кыштаке, а ваш отец оказался в отъезде, вы просто и обыкновенно ждали, что будет известие. Для вас существуют автомобили и самолеты, провода телеграфа, и речь телефона, и рассказ приехавшего из тех мест. Потребность, желание памяти, охота понимать и узнавать, что делают в далеком отсутствии родители ваши, близкие и дорогие вашему сердцу люди,— все осуществимо, привычно, и это давным-давно стало повседневной жизнью вашей души.

Я умерла для своих родителей. Отъехав от них на тридцать верст и став женой, я прекратилась для них. Счастье, если могли забыть. И все-таки родители мои имели опыт воспоминаний. А я и этого не имела, и ничто не могло мне помочь.

Проходили годы, менялась жизнь, менялось ощущение мира, и менялась память. Я вспомнила то, что раньше вспоминать не умела. По-иному увидела, по-иному оценила. Но ведь эта новая моя память ничего в прошлом моем изменить была не способна. Под влиянием перемен я понимала давние радости, страдания, встречи, рождения, убийства, покупки и продажи, стеснительность, чистоту и грязь, откровенность и скрытность, но... действительность моего существа была совсем иной.

Об этом и хочу сказать.

Это и есть история в голом ее виде...

...Там, где я жила с отцом и матерью, перед глазами моими лежали холмы, от которых начинались лесистые горы, но ведь

и то место, куда перевез меня бай Кашкоро как жену своего сына Жайнака, тоже были холмы и горы.

Наступает пора, когда знающие жизнь лошадей пастухи отгоняют от кобыл молодняк и не дают сосать, не подпуская молодой табун к зрелому. Так кончается совместная жизнь кобылы и жеребенка. Возможна ли революция, которая кобыле и жеребенку даст письмо, телефон, телеграф и охоту совместной памяти?..

...Гораздо позднее, научившись грамоте и обострив свои чувства, я стала приписывать себе память, которой не было. Но не это главное. Главное в том, что я стала вновь жить прожитое. Может быть, единственная такая? Пусть единственная. Хочу надеяться — вы поймете вторую, третью и пятую мою жизнь, повторенную и обогащенную, когда я вдруг понимала, как могла бы поступить в том или другом случае.

Однажды я позволила вам проникнуть дальше, чем сама видела и знала: сказала, что Жайнак был сыном своей матери от девической любви, забежала вперед и тем самым опередила свою память. Без этого я не могла бы сегодня быть правдивой. Злобные взгляды, крики, угрозы, кривые улыбки посторонних, намеки, власть пришлых и внезапная трусость могущественного бая — ничего не было бы вам понятно, а я не могла бы вам объяснить...

...Я уже говорила, что, спешившись в кыштаке бая, оказалась в его большой юрте.

Меня уложили.

А куда девалась длинномордая собака, бежавшая по нашему следу вместе с окровавленным кулом? Я этого не знала, но беспокоилась о ней.

Я проснулась на мягком и вот что обнаружила вокруг себя.

Как начинка в мягком и теплом тесте, лежала я, влажная после дороги и ее тумана. Такой мягкости и такого пушистого тепла я не ощущала за всю свою жизнь. Когда отворила глаза — передо мной склонились молодые настороженные лица. Чужие девочки. Робкие и дерзкие взгляды. Бархатные своей добротой или острые своей завистью.

В родном аиле я играла и бегала с девочками. Но в том же родном аиле жили купленные жены нашего возраста, взятые мужчинами из других мест. По тому, как вижу я теперь, эти привезенные молодухи подругами нам быть не могли. Нас отделяла тайная черта их замужества. Они были для нас чужими, хотя и ходили среди нас с кувшинами и ведрами. Головы этих наших ровесниц были замотаны в белое, что означа-

ло женщину. Такая женщина могла по возрасту быть годом или двумя моложе девушки, но своей белизной она была старше и находилась вне пределов нашей общности: подружества, игр, веселья. Кроме тех случаев, когда праздновал весь аил, и тогда выбирались другие игры.

И вот теперь, высунувшись между мягкими одеялами, я обнаружила, что все девочки, которые ко мне пришли, были в белом.

Их прислали меня утешать.

Уже позднее я узнала, что эти женщины все до одной были ниже меня по богатству их мужей и их семей. Я оказалась на пуховике, укрытой шелковым одеялом именно для того, чтобы бедные утешительницы нашли меня в богатстве и холе.

Увидев, что я проснулась, они наперебой стали говорить, как хорошо в замужестве и как плохо в девичестве. Они хвалили мое лицо — брови, щеки и глаза, они скороговоркой упомянули щедрость и богатство свекра моего и свекрови. Они одобрительно поглаживали сквозь одеяло мои плечи, спину и бедра... Прошли дни, и я поняла, что ласкали не меня, но шелк, которым я была укрыта. Нежность их голосов была притворной. Потребовались месяцы, чтобы я узнала: каждая из них отделена кошмой своей юрты от других, и только случай моего прибытия дал им право уйти из дома и собраться у моей постели.

О боже! Хоть бы одна сказала: «Наслаждайся этим днем, единственным в твоей женской доле. Наслаждайся мягкостью, сном, бездельем, сытостью». Хоть бы одна из них намекнула: «Завтра станешь хуже собаки».

Они щебетали. Радостью для них было одно то, что их пустили под белый войлок байской юрты.

Если коня и даже годовалого жеребенка гладит деревянная ладонь равнодушного, животное чувствует холод такой ласки и убегает из-под руки. Думаю, что в тот день я поняла чувством, что щебет утешающих молодух как деревянный колокольчик, звук которого не способен достигнуть сердца. Утешения не рождали во мне отклика. Не зная обычаев, я испугалась, что мне придется подняться с постели и встать перед ними. Если бы так случилось — они бы увидели, что среди них я самая тощая, самая маленькая и ничтожная. Тогда стали бы смеяться... Но обычай этого не потребовал.

Особенно старалась молодушка с горящими глазами по имени Зейне. Подсаживалась то с одной, то с другой стороны и трещала как сорока: «Мы тоже были такими девочками, как ты, мы тоже, подобно тебе, плакали и убивались». Я не плакала, она могла это видеть. Я лежала каменная. Но ей было все рав-

но. Она не обо мне говорила, но о себе: «Нам было плохо, и мы рыдали. Потом покорились и привыкли. И ты привыкнешь. Слезы твои уймутся. Рубцы души затянутся...» Так старалась, уговаривая меня, но за словами ее я слышала мечту, печаль, будто вспоминает тяжелую свою жизнь. Язык говорил одно, а горящий взор — совсем иное. Ей приказали, и вот делала подневольную работу. Хотелось ей ответить: «Не надо, милая, ты себя выдаешь, а мое горе от твоего голоса становится тяжелей».

Вся юрта пропахла паром сытной пищи. Начал просыпаться мой голод. Это заглушило бормотанье ласковых голосов молодух. Сквозь их трескотню я могла слышать, что творится за пределами занавески.

Там бурлил казан на очаге. Оттуда доносилось хвастовство свекрови, которая пела жирным своим голосом, как нашли меня среди ветра гор. Свекровь, которая насытилась у нашего костра, не останавливаясь, говорила и говорила. Я не сразу поняла, а поняв, удивилась. Она говорила каким-то людям, которые поощрительно откликались, что, приехав за невесткой, сверх калыма пригнали в подарок ее родителям много разного скота: дойную верблюдицу, вола, девятью девять овец и баранов... Тут же сквозь ложь и обман в ее словах являлась и правда. С придыханием стала рассказывать, как пропал конь, которого не устерег кул. Свекровь ужаснулась перед всеми: вдруг бы их слуга, которому исполнилось тридцать лет, захотел свободы и ускакал бы от них на ее вороном жеребце.

Слушательницы свекрови заахали: «Неужели такое бывает?!» И тут же сами подтвердили, что действительно бывает: раб способен в минуту помутнения не только украсть, но и убить.

— Не дай тебе аллах!— прошамкала какая-то старуха.

Я слышала этот разговор сквозь занавеску и почему-то подумала, что, если бы и украл слуга бая что-нибудь в прошедшую ночь, он украл бы и увез меня.

От этого мне стало смешно. И я рассмеялась. Вся юрта затихла, а за мужской занавеской кто-то грозно закашлял. Молодухи сжались от страха. Но ничего не случилось, день моей свадьбы шел спокойно, и вскоре мне принесли дымящуюся на тарелке жирную грудинку. И сразу убежали молодухи. Тогда, высвободив ноги из-под одеяла, я села и стала жадно насыщаться; потом пила чай, потом снова спала, потом ко мне заглядывали, чтобы увидеть меня, все, кто хотел, и даже молодые парни. Я закрывала лицо белым платком, оставляя щелку для глаз, но не сразу усвоила, что белая ткань на моей голове означает переход от девушки к женщине и что больше никогда в прежнюю свою жизнь не вернусь.

Каждый входящий, мужчина или женщина, поздравлял, говоря: «Будьте счастливы!» Кому говорил? Воздуху? Мне эти слова были слышны, как пустые и бездушные. Один входил, другой выходил — в юрте держался бесконечный шум. Кто только не появлялся! Какой-то ровесник моего свекра закричал радостным голосом, что с него следует хорошее угощение за то, что сумел *так дешево* раздобыть красивенькую невестку.

Лица этого старика совсем не помню, но слова его врезались в душу. «Так дешево!»

Не может быть, чтобы тогда я помнила и понимала, что́ за этими словами стоит. Наверно, потом подумалось. Ну, а если бы *дорого*, что тогда? Что было бы, если бы хвастливые рассказы свекрови, как одарили они моих родителей, оказались истиной? Что бы прибавилось? Само определение «дорого», «дешево» гнуло мою душу хуже насилия.

Говорю — шли и шли разные люди, чтобы взглянуть. А муж мой Жайнак куда-то исчез, и весь этот день его не видела. Неужели хотела видеть? Может, по обычаю полагалось, чтобы ушел? Знаете, когда дышишь воздухом обиды, откуда ни понесет — все обида. Приходило в голову: «Я ему ненавистна, как и он мне». Боялась, что, нежеланная ему, стану жертвой его кулаков. Всего боялась.

В сумеречное время вечера исчезли женские и появились у казана с бешбармаком стариковские голоса. Там лилась беседа. Стала слушать и обрадовалась, что не обо мне. Пока варилось мясо, было много переговорено. Каждый рассказывал, что видел и что знал.

Один старик — о состязаниях на конях, другой старик — о борьбе, третий — о бое на копьях.

Какой-то гундосый, уступая просьбам сидящих, повел длинный рассказ о давнем времени. Можно было понять, что гундосый не первый год повторяет историю своего подвига. Однако стоило ему начать, все притихли. Он отхаркался и прочистил нос, делая это столь обстоятельно, что я еле удерживалась от смеха. Слушатели терпеливо ждали. И вот он начал. Тихим, но постепенно возрастающим голосом:

— В ту весну, когда мне исполнилось двадцать семь лет, а старшему моему сыну пошел одиннадцатый год, народ готовился к поминкам по Карыпбаю. Разнесся слух, что от Иссык-Куля приедет Чунаккулак. Донеслась до нас еще и такая весть: из Чуйской долины прибудет старейший боец Кара. У меня сердце вспыхнуло и руки стали наливаться злобной силой: так хотелось победы над ним. О-о, как загорелся!

При этих словах слушатели зашумели:

— О батыр! Ты предчувствовал, что коснется тебя и твоего рода извечная слава.

Я камнем лежала и, казалось, не должна бы вникать в такой разговор. Однако приподнялась и готова была вскочить. Если в юрте самого бая чей-то голос звучит сильней, чем его собственный, хочется взглянуть на такого человека.

Он продолжал:

— Я стал бегать, искать людей, способных помочь. Через именитых баев закидываю слова о своем желании, надеясь, что дойдет до самых высоких манапов и они вспомнят обо мне... И вот в солнечный весенний день открылись поминки, и я в то время пас в горах табун лошадей... Пас табун по ранней весне, когда легко случается беда, но не было у меня больше терпения. Оставил коней на мальчишку, а сам ветром понесся в долину, еще не зная, допустят ли меня к борьбе.

Сын Карыпбая был несметно богат. Чтобы никто не смел забывать и чтобы всю жизнь каждому светился этот день, он поминки по отцу превратил в общенародный той *. Для бойцовых игр заняли поляну среди холмов. На одной стороне гости из Чуйской долины, на другой — из Прииссыккулья, с третьей — люди от берегов Кочкорки. Юрт поставили не меньше пятисот, повсюду пылали костры. Движение всадников со всех сторон. Все кричало, волновалось. Несметное количество верховых джигитов развозило блюда с яствами. Акыны наперебой распевали то на одном холме, то на другом. А люди скачут туда-сюда, стараются выведать, где и какие борцы встретятся... И Кара и Чунаккулак переживали высокую славу непобедимых. В наши места поврозь приезжали не один раз. Но ни тот, ни другой не потерпел от наших даже пустяковой раны. И вот на поминки Карыпбая приехали одновременно. Кто говорит, что станут биться друг с другом, другие твердят, что каждый из них вызовет местного борца. Я мечтал встретиться в поединке хотя бы с одним из них. Знал, что могу быть убит, но не чувствовал страха. В первый день сошлись под общий крик Чунаккулак и наш славный борец по имени Сабырбек. Никто из них не вышел победителем. Не только они устали, но и лошади их покрылись потом: кровавая пена шла из их ноздрей. Тогда пришло решение манапов — приз разделить поровну.

...Судя по голосу рассказчика, он был старый старик и поминки Карыпбая происходили не меньше тридцати лет назад, когда отец мой был юношей, а мать пятилетней девочкой.

* Т о й — празднество, пир.

Как же я в бедственном моем положении могла вникать в его слова и запоминать рассказ о таком давнем? Могла! Я даже ладонью отогнула ухо, чтобы лучше слышать. Тяга к сильному и громкому жила и в моем тщедушном теле. Тянулась, как в сказке, и задыхалась от желания победы неведомому мне горячему молодцу.

Старик продолжал, и голос его молодел:

— Стало известно, что на другой день борец Кара вызывает сильнейшего из рода монолдор. Я пошел к аксакалу* нашего аила Кожошу и принялся его умолять: «Дорогой дядя, добейся, чтобы допустили бороться!» Увидев, как пылает мое лицо от жажды боя, Кожош стал уговаривать охладиться в реке и вернуться к своим табунам. Но потом он спросил, приходилось ли мне участвовать в подобных состязаниях. Я сказал, что дважды был побежден, но в третий раз вышел победителем.

«Над кем ты вышел победителем?» — смеясь, спросил меня Кожош.

Поняв, что он не верит в мою силу, я подошел под его коня и, разогнувшись, держал его на весу, пока старый Кожош не взмолился: «Э-эй! Ты сломаешь ему ребра, хватит! А если есть у тебя, кроме силы, еще и резвость, беги от меня к главному бию состязаний Калкану. Пусть тебя посмотрит».

Я летел как на крыльях и увидел, что Калкан готовит к завтрашнему бою какого-то Калдубета.

Ой, как смеялся бий Калкан! Визжал от смеха, держа руками свой живот. Он толкал локтем Калдубета и говорил, показывая на меня пальцем: «Смотри — это молодой Обжора, известный всему роду Обжора. Ну-ка, ну-ка, Обжора, скажи, сколько ты съел пшеницы с маслом?! Эй, Калдубет! Ты еще успеешь погибнуть от знаменитого Кары. А сейчас уступи свою смерть молодому Обжоре. Ха-ха-ха! Поддержи его, Калдубет, помоги ему словом и делом. Он ведь не уймется, если не прольет свою кровь. Сделай так, а, Калдубет!»

Бий Калкан пожелал послать меня на смех, но мне было все равно — от радости глаза ничего не видели и уши не слышали... Что за душа-человек оказался Калдубет! Отдал мне свою борцовую рубашку, сшитую из шкуры верблюжонка. Ах, верблюжья рубашка! До смерти буду помнить, как легко прирастает к телу. Будто я сам стал прыгающим верблюжонком — такая легкость явилась во мне. «Сквозь эту рубашку,— сказал Калдубет,— не пробьется никакое копье. Ничего больше не надевай, нет пользы в лишнем грузе!» Так говорил он и затя-

* Аксакал — старейшина (дословно: белобородый).

гивал тесемки на моей груди и, упершись коленом, прятал в рубашку мой живот. Он заставил меня крутиться перед ним, прыгать и рычать. Он учил меня яростному взгляду, говоря, что взгляд сильнее копья. И вот вскоре светлая душа Калдубет повел меня и сам пошел. Он должен был выйти на поединок, но честь этого уступил мне. Он дал мне копье, отдал своего коня, хваля каждую его ногу, широкую грудь, уши, ноздри и зубы. Потом стал проверять, как держу копье, как могу замахиваться снизу и сверху, просил не бить куда попало, а спокойно выбирать место и точку на груди соперника. Он говорил: «Борец Кара — яростный враг, опытный, старый. Если обнаружишь перед ним, что ослабел и боишься — тогда ты погиб. Не смотри в его страшные глаза, смотри на то место, где у человека под одеждой левый сосок его груди. Когда откроется от щита — наноси удар. Как он хлестнет коня — так и ты хлестни. Не уменьшай ход своего коня от его хода».

И вот поединок начался. Кара сидел на коне красной масти и сам был широкий и красный, как разлитое в тучах закатное солнце. Хребет коня прогибался под его страшным весом. Появление Кары Непобедимого вызвало бурю шума и крика. Девяносто девять сражений было за его спиной, тяжесть годов и сила долгой славы. Крики приветствий требовали: «Убей глупого, Кара! Убей неразумного, не жалей его крови, Кара!» Я поехал ему навстречу, поддерживая копье ногой. Не успел договорить Калдубет, как мой соперник уже два раза хлестнул своего коня. И я два раза хлестнул, как бы говоря: вот тебе, вот тебе!.. Подо мной был конь Калдубета, черный как ночь и быстрый как стрела. Он понесся так, что из глаз моих ветер выбил слезу. О милостивый бог, как я летел! Хотел проглотить его вместе с конем. Я подъехал, и он подъехал. Я ударил, но попал в ключицу, и Кара откинулся, но тут же и выпрямился. Тогда он меня ударил в ключицу, и я сделал вид, что падаю. Ко мне подлетел Калдубет и перед вторым заходом успел сказать: «Кара хитрый, он понял твой прием. Во второй раз действуй по-другому!»

Мы столкнулись в таком вихре, что я не понял, на что наткнулось мое копье. И вот мы летим в третий раз, но не прямо, а по кругу, и я вижу, что боец Кара исказился лицом, будто он плачет. Но я не стал смотреть на его плач, а поднял копье над головой и силой руки ускорил силу коня. И копье мое вошло ему в грудь. Он вскрикнул и стал склоняться с коня. Еще не упав, повернул ко мне лицо и еле проговорил: «Э х, д и т я!» Он весь напрягся, выдернул из груди мое копье, отбросил его, но сил больше не было, и Непобедимый оказался на земле,

а красный конь его ускакал. И началась смерть Кары. Я еще видел, как хлещет кровь на яркую зелень травы, я еще слышал вопль зрителей и топот бегущих. Когда ж перестал дергаться головой и ногами поверженный Кара, я убежал, оставив коня. А в голове моей повторялось: «Эх, дитя! Эх, дитя! Эх, дитя!»

Потом меня окружили как победителя и подвели к манапам. Я заслужил свой приз и стал знаменитым борцом, но до сих пор помню последние слова погибшего...

...На этом я перестала слушать.

Теряя себя, спряталась с головой под одеяло. В глазах моих стоял давний бой. И хотя не могла видеть лиц и их муки, дрожала от чужой смерти и от ужаса убийства.

Годилась ли я жить?

* *
*

Отгорели костры моей свадьбы, люди кыштака до последней косточки обсосали мясо тех овец, что получили из байского стада. Меня пока в моем углу не трогали, не звали, я дрожала одна, еще не зная, что будет ночью и с чего начнется утро. Так я опять заснула, а потом почувствовала, что под тем же одеялом оказался шумно дышащий и неуклюжий...

Я отодвинулась и оказалась за пределами постели, где притаилась, думая, что начнет меня искать или звать, но вместо этого скоро услышала храп.

Когда я стала женой и женщиной? Может быть, через месяц или через полгода — этого не помню. Потому что к тому времени вся уже была в работе, в суете и беготне, нужная свекрови и свекру, а меньше всего Жайнаку. Покупали жену для сына, а нужна была к е л и н — н е в е с т к а.

Кому заметны ничтожные, жалкие попискивания пойманного птенца?

Что от того, что сжималась, получая удары? Иногда каталась в плаче, иногда пряталась за сундук, но некому было пожалеть, и понемногу тело мое привыкло, ноги стали бегать, руки носить. Молодуха и солнце одинаково трудятся: вместе встают и вместе ложатся. Так говорят. Но и после солнца в байской юрте не остывает жизнь. Люди приходят, уходят... Кто угодно мог сделать из меня кошму — топтать и трепать, как шерсть. Шить — мне, стирать — мне, готовить еду, стелить постели, ставить чай, ходить по воду, доить коров и кобылиц, латать — все это мне... А меж дел — ткать, красить войлок, и вырезать большими ножницами узоры для шырдака, и вышивать.

К тому же не годится забывать, что свекрови, раньше чем ляжет, необходимо почесать спину. При малейшем ослушании на тебя сыплются удары плетки. Никто и никогда не вспоминает, что можешь устать и упасть от этого... Спросите — какое домашнее животное так мучают, как невестку в белом платке? Даже лошади, даже ишаку легче. Не помню, чтобы кто сказал: «Бедняжка, совсем еще молоденькая, неокрепшая, довольно издеваться, пора бы и пожалеть». Готовым должно быть все, что спросят. Не дай бог не успеть. Тогда наступают черные дни. Так тебя изобьют, что не останется живого места...

Первую зиму почти не помню. Спросите — когда было солнце, когда снег и буря, когда ходили над головой тучи? Спросите, кто приходил, кто уходил — не помню. У бая всегда людно, всегда гости. Один приезжает, другой уезжает, с утра до вечера дымит самовар, варится в казане мясо. Дни проходят, беспрестанно готовишь чай, тащишь воду... Иногда к полуночи приходится застилать по десять-двенадцать постелей. Воды не напасешься. Если польешь на руки пятерым — ведро пустое. И опять беги к роднику или ручью с ведрами: два на коромысле и одно в руках. Будто пожар тушишь...

Это общая жалоба на первое время жизни у бая, когда ничего не видела и не выделяла, а только приспосабливала свое тело к чужим нуждам и привыкала к многим большим и малым тяжестям. Опять спросите: где же муж, куда делся для меня Жайнак? Я больше запомнила по тому времени самовар, чем мужа. Раньше такого самовара не видела. В него вливала ведро воды, закрывала крышкой, засыпала трубу щепками и углем... Когда начинал согреваться — сидела возле на корточках и грела замерзшие руки минуту или две.

Как это сказала — «минуту или две»?! Счет времени обозначился для меня, может быть, только через три года. Часов никто не знал, даже сам бай. Солнце и луна, крик ишака, темнота и свет — так протекала жизнь...

...С какой-то зимней вьюжной ночи началось, или я только вспомнила, что со спины обнимаю Жайнака и льются горючие слезы, а он вдруг шепотом приласкал. Слов не помню... Наверно, ему нужно было, чтобы телом своим грела его от студеного ветра. Байская юрта теплее и шире всякой другой, а на земле вокруг очага в два слоя лежит, как ковер, толстая кошма. Откатившись от постели, все равно останешься на мягком. Однако ж морозной ночью и в байской юрте ножи ветра находят щели и от них просыпаешься, чтобы думать и плакать.

Если откатывалась от Жайнака, он звал обратно. Так получалось совместное тепло — тепло темноты и ночи, от которого

днем рождалась улыбка на его лице и родители начинали понимать, что у них не только келин — невестка, но и жена сына. И каждый из старших хмурился по-своему: один — от сочувствия, другой — от досады и злости.

Когда-то пришел день — бай посмотрел на мой живот и плюнул:

— Что толку от такой пустобрюхой! Полтора года прошло, а в ней нет ничего. Яловую кобылу зарежешь на мясо, а невестку все кормишь и кормишь...

Значит, полтора года...

Ой, я вам расскажу, дорогие, что вышло, когда вдруг свекровь вытащила из сундука швейную машину. Оказывается, несколько лет назад, в тот самый день, когда бай купил моей матери, он и своей жене купил. Никто не решался трогать, боялись. Помните, в ту ночь, когда приехали за мной, байбиче сказала, подавая мне бархат: «У меня тоже есть машина». И правда была! Увидев, я обрадовалась, как родной. Можно сказать, встретилась после долгой разлуки с близким и живым. Сразу вспомнились мамины руки, а уж потом и лицо ее, и улыбка, и поющий голос.

Теперь каждый из вас имеет фотографии с самого своего детства. Тогда же ни у кого из киргизов не было такого напоминания. Увидев эту машину, я припала к ней и разрыдалась. Но тут же и вспомнила, что перед тем, как буря свалила нашу юрту, мама тоже легла на машину с криком: «Не отдам, не отдам!»

Тогда не поняла — думала, что плачет о машине. Но плакала мама обо мне, машину никто отнять не мог. За этим вернулись и другие воспоминания из той ночи. Вернулось счастье маминого тепла. Если б знали, как я ужасно разрыдалась, всей грудью упав на чужую машину...

Все прошедшее время меня били, и я думала, что бьют. Но если камчой стегают лошадь, чтобы скакала быстрее, это не значит бить...

...Помню случай, когда бая нашего спросили — правда ли, что в молодости одним ударом камчи убил верблюда?

Вот что он ответил:

— Дело было так. Я шел по аильской тропе, и мне попались навстречу испуганные люди. Они стали говорить, чтобы остерегся идти дальше — там разъяренный верблюд. Но у меня было важное дело в той стороне, и я не послушался испуганных. Как всегда, я хоть и шел пешком, держал за спиной большую камчу. Люди на расстоянии следили за мной. Если б не они — увидев верблюда, я бы от страха убежал. Наверно, он был бешеный.

Ходил на могильнике, подпрыгивая, будто двухлетний, но это был крепкий, сильный верблюд. Заметив, что иду к нему, страшно закричал, повалился и долго катался по земле, но все время следил за мной. И вот вскочил и понесся на меня. А я стоял как столб. И когда оскаленная его морда с пеной слюны и с горящими глазами оказалась на расстоянии длины моей руки, собрал всю свою силу и огрел промеж глаз, думая, что сейчас меня схватит и забьет ногами. Но верблюд от одного моего удара упал мертвым... Это многие видели.

И правда, один старик подтвердил, что видел...

...Каждый раз, когда вспоминаю, как рыдала, упав на машину, вместе с этим вспоминаю спокойный рассказ бая, который одним ударом убил верблюда.

Неужели пятнадцатилетняя девочка способнее к жизни, чем огромное горбатое животное? Свекор нанес мне удар камчой. Наверно, так бывает, если в человека попадет молния. Я сразу же умерла. Но потом узнала, что смерть верблюда — всегда смерть, а смерть женщины может повторяться.

Он меня бил, оттащив от машины уже мертвую и окровавленную, хлестал поперек тела и по голове... Это я узнала потом.

Это мне рассказал Жайнак.

Жайнак в тот раз повис на руке отца, а потом прикрыл меня своим телом.

Неделю я лежала больная. Жайнак приносил мне пищу и воду.

Наконец я стала понимать и слышать. Как-то ночью, когда Жайнак при отблесках очагового света склонился надо мной, шепча какие-то утешения, я услышала, что свекор не спит и топчется по юрте. Я услышала, как он отхаркивается и отплевывается, бормоча проклятья. Повернув лицо к мужу, я предупредила его взглядом, что отец в ярости. Но, поглощенный моей болезнью, он махнул рукой. Отец стал отхаркиваться еще сильней, стал откидывать туда-сюда домашнюю утварь. Меня от его голоса всю колотило, однако Жайнак оставался глухим, и я увидела, что улыбается. Подумала, что сошел с ума.

Какое-то время было тихо, и я сама услышала, как стучат мои зубы. Жайнак приподнялся и протянул к моим губам кружку с водой. Он поддержал мою голову, чтобы я могла попить. Только я сделала глоток, как вдруг увидела, что, изогнувшись, над Жайнаком появилось в красных отблесках лицо Кашкоро. Он не закричал, не затопал ногами, но стал смеяться, закончив смех мелким хихиканьем. Потом разогнулся и подбоченился. Борода его тряслась, ноздри широко раздувались. Сжались кулаки. Он стал трястись всем своим жирным телом,

Он заговорил тихо, но каждое слово дрожало, как у обиженного:

— Если жена родит сына — услышав его голос, отец радуется. Радуется, потому что сын. Сын — стержень жизни. Сын в будущем заменит отца, он наследник жизни, имущества, имени, дел его и работы. Сын продолжает отца...

...Как много могла бы понять я той ночью, если б знала то, что знаете вы. Жайнак не был сыном, но Кашкоро не мог ему этого сказать, как не мог этого сказать никому.

За двумя занавесками, притихнув, лежала и слушала мать Жайнака.

Какие когти у нее были, чтобы столько лет уберегать свое детище?!

Кашкоро ее боялся. Позднее мне стало понятно, что многих боялся и умел бояться не хуже, чем бить. Он и себя боялся — вспыхивающего своего гнева, дрожи, и бешенства, и ужасной своей силы.

— Жайнак, вонючка! — взвизгнул его голос, но тут же и упал.

А в это время рука свекрови подбросила в очаг сухих веток, чтобы вспыхнул свет.

— Э, муж мой, не надо ли зажечь лампу? — спросила она, притворяясь зевающей.

— Не надо,— бросил Кашкоро и продолжал, обращаясь к сыну: — Отец растит наследника, обучая всему, что знает сам, радуясь каждому его шагу. Водит за собой и показывает все прекрасное, чего никогда не покажет дочери. Если сын станет человеком — слава сына озарит и отца. И отец чувствует, как за плечами его растут крылья. И другие это увидят и станут говорить: «О, у него хороший сын, кланяйтесь ему и уважайте его!» А если... если сын, которого растишь с надеждой... если превращается в комок кислой шерсти?.. Или если станет как пустая тыква? Или увидит отец, что сын его вертится у казана? — Голос Кашкоро напитывался злобой, смешанной с плачем души.— Или... или... увидит отец, что сын, как слуга, заглядывает в глаза жены своей?! Тогда горе, горе отцу, породившему его. Но еще хуже будет такому, как ты... Не сможешь жить в своем аиле, счастье покинет тебя, народ начнет насмехаться над тобой. Не только тебя — даже тени твоей будет чураться всякий, носящий тебетей. Дом твой превратится в могилу твою, и душа твоя станет темнее ночи... Сгинь! Сгинь, подбитый! Стоишь на задних лапах перед женой! Женщина — всегда враг. Сегодня она твоя жена, а завтра — в обиде на тебя — все расскажет твоему врагу. Кончит же тем, что вместе с

врагом твоим станет метать в тебя камни. Женщина — это черт! В улыбке ее притаился шайтан. У нее один глаз в твоем очаге, а другой — за пределами очага. Это ядовитая змея, свернувшаяся в объятиях мужа... Эх ты, недотепа! Только камча нужна женщине, иначе схватит за нос и поведет куда захочет. Превратишься в навьюченного бычка... Смотри, смотри, какой ты жалостливый к жене, какой ты для нее добрый. Да чем меньше за женщиной уход, тем быстрее выздоравливает...

Что должна была думать и как себя вести? Я не плакала, и меня здесь не было. Жили одни лишь рубцы, и худые мои плечи, и запавшая грудь. Я старалась не дышать. Но все-таки чувствовала, что не для меня и не для Жайнака все, что говорил Кашкоро.

Он говорил для своей жены, которую ненавидел и страшился, потому как была дочерью манапа.

Он что говорил, то и думал. Ах, он хотел бы, подобно тому как ударил по темени верблюда, ударить свою жену, которая принесла ему богатство и чьего-то сына!

Прошло время, и я поняла — не меня он стегал, не меня избил, а свою женщину, свою жену.

Долго еще в ту ночь клял Кашкоро Жайнака, его доброту и слабость ко мне. Кончил же тем, что дал ему в руку камчу и потребовал:

— Хлестни ее! Хлестни ее сейчас же! При мне хлестни, или ты не сын мой!

Жайнак не знал, как быть, улыбался от жалости ко мне и к себе; страшная камча в руке его повисла подобно ослиному хвосту.

— Жайнак, вонючка! — завопил Кашкоро и вырвал камчу и поднял над его головой.

Тень камчи повисла на куполе юрты. Но Кашкоро не успел ударить. Распластанная и дикая в своей ярости, барсом прыгнула ему на загривок старая Макмал. Она шипела и повизгивала, разрывая ногтями лицо мужа. От этого нападения он растерялся и стал кудахтать и похохатывать, будто вернулась молодость и они с женой возятся от избытка еды и жизни. В конце концов он оторвал ее от себя и швырнул на постель, а сам выбежал из юрты, вскочил на коня, а за ним вскочили на коней три джигита, которые никогда не спали в ожидании отъезда.

И стало тихо.

А потом свекровь отогнала от меня Жайнака, а сама прильнула к моей груди, и мы вместе плакали.

Это было самое лучшее за все мое замужество, но длилось недолго.

Она вдруг оттолкнула меня, сказав, что я худая и недозрелая, что нечего обнять и нечего приласкать. И что всякая другая после побоев встала бы через день, а я валяюсь неделю. Что к утру ничего не готово, и в казане пусто, и в ведре пусто, и мыло не сварено, и стирка не сделана... Что, если я скажу кому-нибудь, как она царапала бая,— сама выдерет мне глаза...

Кончила же тем, что ушла в свою высокую постель, откуда было слышно, что шипит и крутится.

Кашкоро всю ночь не возвращался, а с самым ранним светом Макмал тоже ушла, не сказав ничего ни Жайнаку, ни мне.

* *
*

Внимание мальчишки-мужа, его забота и ласка, его защита — много ли может, надолго ли? Его позовут такие, как он, сейчас же и убежит. Где-то скачет на коне, с кем-то играет в альчики, прибежит запыхавшись, ждет, чтобы накормила.

Все ждали, что я накормлю, постираю, подмету. Пробовала подняться, но еще не могла. Встану на ноги и тут же падаю. Лучший мой друг — длинномордый пес Кумайык. Он видел мою свадьбу, прощание с родителями, потом бежал по следу каравана, а все это время мы с ним делили остатки от байского стола, Привязался ко мне. В прощальную ночь лег у моих ног, но кость не принял. Теперь смотрел с ожиданием. Понимал меня и жалел. Когда болела, приползал к постели, хотя бай мог за это убить. Если приполз — значит, нет ни свекра, ни свекрови.

В тот раз, после ночного выговора, который свекор сделал Жайнаку, он ускакал и к утру не вернулся. Как я спала — не помню. Может, и не спала. Слова Кашкоро о том, что женщина всегда может продать, что она подобна змее, что тот не мужчина, кто жалеет свою жену, поразили меня, как новая молитва. Привычную молитву не слышишь — новая молитва врезается не хуже, чем нож. Утром вспомнила все проклятья, которые посылал Кашкоро женщинам и женам. Вдруг поймала себя, что делюсь мыслями с Кумайыком. Он положил свою грустную длинную морду в мою ладонь и смотрел в душу. Он плакал от моих слов. Оказывается, бай был прав — предала его. И мужа своего Жайнака тоже предала: я вслух говорила собаке, что, кроме нее, никого нет, что она — единственный мой друг, что свекор, свекровь и тот, кто должен быть ближе других, муж мой Жайнак, ненавидят меня, а я их.

Правда ли, что ненавидела Жайнака? Ведь он защитил меня своим телом, а потом приносил воду, поднимал голову, чтобы поить, и я пила, а иногда брала из его рук тайно принесенную

еду. Он отказался меня бить по приказу. Почему же сказала Кумайыку, что ненавижу всех? Жир Жайнакова тела, его грязь, его запах, глупые его глаза — все как было с первого дня, так и осталось. Принимала от него жалость и защиту, но как хотела убежать! Ум говорил: «Смотри, Жайнак лучше, чем отец и мать, может понять твою боль, сделать тебе добро...» А душа и тело знали другое. Душа и тело кричали во мне: «Крепким арканом привязали тебя к чужому и ненужному, к скользкому и вонючему. Что с того, что козел блеет слова утешения?! Вот убежал сейчас и где-то скачет — и пусть скачет, не хочу его возвращения».

Значит, прав Кашкоро? Значит, верно, что жену держат пища и плетка, а если сможет — обязательно убежит?

Кумайык лизал мое лицо, но ответить не мог. Вдруг вскочил на длинные ноги и, поджав хвост, вылетел из юрты. Завизжал от удара, а потом долго скулил в отдалении.

В юрту вошел самый маленький хозяин, я еще о нем не говорила. Вошел и закричал, хлопая себя камчой по голенищу, восьмилетний Белек.

Как я могла до сих пор о нем не вспомнить и не рассказать ничего? Маленький хозяин. Владетельный князь души моего бая. Его надежда и радость. Разодетый и разукрашенный. С пером беркута в тебетее. Перо беркута или бант, привязанный к волосам,— это признак девочки, вы это знаете. Вы знаете, зачем так украшают мальчика в малом возрасте. Только для того, чтобы аллах не забрал. Аллах любит мальчиков, а к девочкам равнодушен. Потому-то, надеясь обмануть аллаха, наряжают мальчика под девочку. Но так делают с маленькими. Восьмилетний смешон с пером беркута. Сам Кашкоро потешался, когда смотрел на сына, но так боялся его потерять, что не велел выбрасывать перо.

Белек весь в бархате, с серебряным пояском, в сверкающих сапожках. Он мог бы стать для меня куклой и радостью жизни. Его красные щеки и черные глаза впитали солнце. Но я не знала худшего мучителя и не встречала за свою жизнь более свирепого существа. Из пойманной и подаренной ему живой птицы он вырывал перышко за перышком. Он отгонял сосущего жеребенка от кобылы. Он вбегал в юрту бедняка и требовал угощения. Меня он пугал тем, что, подкравшись сзади, вдруг повисал на мне и бил сапожками, чтобы скакала.

В нем жили вместе грубая жестокость Кашкоро и ласковая жестокость Макмал.

Бархат его камзола всегда был в жире и в липких пятнах сладких ягод.

Бай гордился тем, что маленький сын его целыми днями бегает за тем или другим чабаном в той или иной отаре, в том или ином табуне. Чабаны не знали от него покоя, боялись его, боялись, что упадет с лошади или окажется на рогах быка. Злые пастушьи овчарки, поджимая хвост, бежали от Белека.

На этот же раз случилось вот что. Белек встал передо мной, в руках его был мешочек красной кожи, наполненный чем-то тяжелым.

— Вставай,— сказал он мне.

— Не могу, я больна.

— Вставай и свари мне вот эти яйца.— Он вынул одно яйцо, маленькое, все в крапинках.— Ты видишь, какой я ловкий. Смотри, сколько набрал. Знаешь чьи?

— Не знаю.

— Эх ты, дура! Это яйцо куропатки, тот, кто их ест каждый день, быстрее других растет. Сейчас же встань и свари мне их. А если не можешь сварить, изжарь или испеки.

Зная, что от Белека можно отделаться только хитростью, я сказала, что сейчас сварю. Но, с трудом поднявшись, вышла из юрты будто по нужде. Он не отставал от меня и кричал:

— Свари, сейчас же свари!

Он кричал так громко, что соседи вышли из своих юрт и стали смотреть. Никто бы не решился защитить меня, никто бы не вмешался, даже если бы мальчишка стал меня убивать.

Он не дал мне уйти за куст. Опередил и, замахиваясь камчой, стал гнать в дом. Я заупрямилась.

— Ах, не хочешь! Ну, хорошо же!

Вынув из мешочка яйцо, он швырнул мне в голову. Яйцо разбилось и разлилось по белому платку. Мальчишка расхохотался, стал кидать одно за другим. Подъехал на коне Кашкоро и, увидев, как я стою вся залитая битыми яйцами, не остановил сына. Он стал кричать:

— Целься в лоб! Ха-ха-ха! Хороший охотник всегда целится в лоб.

Я шаталась от слабости и хотела уйти в юрту, но бай преградил мне путь:

— Стой! Дай мальчишке поиграть! Не убьет же тебя маленьким яичком... Разве не знаешь, что яйца куропатки исцеляют от всех недугов? Разотри по лицу — сразу исчезнут все царапины и шрамы. Стой, тебе говорю! А ну, Белек, запусти ей в лоб!

Тогда я упала и на четвереньках проползла под ногами его коня. Так мне удалось скрыться в юрте.

Бай хохотал, Белек хохотал, и все соседи, которые видели, тоже хохотали.

Я не могла в таком виде вернуться в постель. Воды в ведре было слишком мало, чтобы я осмелилась истратить ее на мытье. Я болела после побоев, и некому было носить воду. Приходилось просить соседок, и они это делали, но свекор и свекровь не любили одолжаться. Поэтому, пока болела, воду старались поменьше тратить.

Схватив какую-то тряпку, я утерлась и легла за сундук. Мне хотелось умереть. Я звала: «Кумайык, Кумайык!» Но разве могла собака войти в юрту, где были два хозяина — самый большой и самый маленький!

Свекор ходил по юрте и бурлил как котел. Бормотал угрозы, а потом вдруг смеялся. Хвалил Белека:

— Ты сам собрал? Где собирал? Кто тебя научил?

— Токтор! — сказал мальчик.

— Токтор волосатый? — с испугом в голосе спросил Кашкоро.— Где ты его видел?

— Вон там! — мальчик показал на далекое ущелье.— Он был верхом на толстой лошади. Он меня сразу узнал, что я твой сын. Научил искать яйца. Обещал, что научит стрелять из ружья.

— А что он тебя спрашивал? — с прежней тревогой говорил свекор.— Ты ему что-нибудь рассказывал? Не смей, никогда не заговаривай с этим человеком. Он сам шайтан. Живет в лесу. Может убить...

Тревога свекра была для меня новой. Неужели кого-то боится?

В это время свет открытой двери загородила лошадь. Какой-то всадник остановился у юрты.

Густой голос проговорил:

— Проклятье!

Кашкоро не откликался. Прижавшись к его ноге, стоял испуганный Белек.

— Проклятье! — ровным голосом повторил всадник.— У кабана плоский нос, этим носом роет землю. Из пасти его ножами торчат два длинных клыка... Нет животного поганее кабана. Жрет всякую гниль и корни растений вместе с червями. Всегда было так, что люди обходили кабанов, а кабаны бежали от людей. Еще не было такого, чтобы кабаны поселялись среди людей и властвовали над ними... Еще не было такого, чтобы могли измываться над людьми, разрывая тело их клыками, а душу отравляя мерзким своим зловоньем...

Так говорил всадник, и голос его гудел, будто били чем-то тяжелым по пустому чугунному казану. Таким голосом сзывают

народ, чтобы повести на битву. Такой голос говорит о владельце его, что он свободен и дик в свободе своей.

На голос сбегались люди, окружая всадника, стоящего у входа в байскую юрту. Я не видела, но слышала людей. Их шепот и тревожное дыхание, их нетерпение и жадное внимание. Все это передавалось мне, и я понемногу высовывалась из-за сундука, охваченная волнением и трепетной надеждой.

— Эй-эй, хозяин! — вскипел голос звонкой высотой.— Ты что же это прячешься, что молчишь? Тут привязан твой конь с разукрашенным седлом, а ты делаешь вид, вроде тебя нет. Хозяин-кабан, а хозяин-кабан, откликнись!

Для меня не было никого сильнее свекра. Может, приехал батыр, который в день моей свадьбы, сидя за бешбармаком, рассказал, как проткнул копьем непобедимого Кару? Нет, то был гундосый, отживший свою силу старик. Может, прискакал волостной гонец или сам манап? Но мне видна была нога всадника в ветхом чарыке; в подобной обуви не бывает ни властных, ни знатных... Смотри-ка, есть, значит, и среди небогатых способные ввергнуть в уныние и робость самого бая. Кто такой? Откуда и зачем?

Любопытство пересилило страх. Высунувшись больше чем наполовину, я увидела всадника во весь его рост. Он был не так велик, как широк. Точки глаз сверкали из прищура презрением и ненавистью. Хотя и стояла теплая весна, одет он был по-зимнему, в залатанный тулуп, перепоясанный патронташем; за плечом торчало двуствольное ружье синего блеска... Сразу же догадавшись, что это охотник, научивший Белека искать гнезда куропаток, я подумала, что нехороший человек: выходит, помог мальчишке собрать яйца и от него началось, что я стояла в позоре под общий хохот людей аила, а теперь прячусь за сундуком...

Уже готова была возненавидеть охотника. Но вот что услышала и увидела дальше.

Свекор прошел к выходу и встал у двери, как стоит медведь, готовый и напасть и вернуться в берлогу. Я думала, сейчас кликнет своих джигитов, а он даже красномордого кула не позвал на помощь, хотя тот был наготове, ожидая сигнала, чтобы стащить охотника с лошади.

Свекор негромко и без угрозы спросил:

— Меня называешь грязным именем кабана? Или мне почудилось? Или ты ума лишился, живя в горах среди снега? Зачем поганишь воздух мерзкими словами? Не произнеся должного привета и не спешившись перед старшим, пускаешься в брань... Что ж, говори, я тебя слушаю...

Всадник долго смотрел в глаза свекра. И свекор молча смотрел в его глаза, но не выдержал и отвернулся. Тогда всадник похлопал рукой по ружью и медленно сказал:

— Смотри, Қашкоро! Смотри как следует и запоминай, что тебе скажу. Из этой вот штуки попадаю в глаз горностая, из нее же стреляю волка, медведя и барса. Қабанов не стрелял, но кабаны обходят меня стороной. Знают, что охотник Токтор их не пощадит. Если ты, Қашкоро, будешь и дальше вести себя, как ведешь,— пристрелю, как взбесившегося кабана, которым хоть и не должен пачкаться человек, но которого необходимо убить, чтобы не терзал людей...

Свекор крепился, стараясь так отвечать, будто перед ним безрассудный задира:

— Откуда ты взялся меня поучать? Грози жене, учи детей, а меня лучше не задевай. Нет охоты с тобой связываться, езжай куда едешь, а меня оставь...

Уже немало народа собралось вокруг. Я хоть и не видела, но слышала возмущенный говор. Қак-то проскользнул в юрту и встал за спиной свекра рыжебородый старикашка. Он принялся громко шептать:

— Не трогай его, не обижай, откупись от него...

Қашкоро отмахивался рукой от старикашки, но не находил смелости для властного разговора. После того как всадник повторил свои угрозы, свекор сказал:

— Не ори попусту, скажи, что тебе надо. Сойди с коня и поговорим.

— Қашкоро, послушай,— в страшном волнении нашептывал рыжий старикашка.— Этот, этот... он свой человек в волости, не задевай его...

Между тем всадник зло рассмеялся. И я заметила, что левый его клык горит золотом. Заметив же, поняла: человек с таким зубом должен быть колдуном и обладать особой силой.

А он смеялся и смеялся и так говорил:

— Зовешь к своему очагу, думаешь заткнуть мне рот салом. Знаю тебя и весь мрак души твоей... Взял невестку, дешево взял. Так? Светлую, как свеча, чужую дочь хочешь извести битьем и насилием? Твой мальчишка все рассказал. Стыдись, владетельный бай! Ребенка учишь хвастаться кровью побоев...

Так вот зачем он приехал! Не было упомянуто мое имя, но я уже захлебнулась радостью от одного того, что нашелся ч е л о в е к. Поняла — говорит обо мне. Поняла, но еще не могла поверить в его силу и способность меня защитить. Встать или не встать? Вылезти из-за сундука на свет дня или держаться в тени, как положено, когда говорят мужчины? Ну, а вдруг он меня

первую застрелит, увидев, что нарушаю закон шариата! Нет, не тронулась с места, хотя душа всколыхнулась горячей волной надежды.

Всадник продолжал:

— Мало, что угнетаешь,— добиваешься умертвить. Она бескровна, бессильна, душа в ней теплится одной лишь волей божьей. Лежит едва живая, а ты проклятым своим языком выжигаешь все, что есть в ней святого и чистого... Э-эй, разве племя монолдор явилось на свет, чтобы лечь под тебя подстилкой?! Разве мы убили твоего отца, чтобы брать с нас такую дань?

Я впитывала каждое слово, хотя и не все могла понять. Кто он такой, если берет под защиту все наше племя, весь род наш? Выходит, что Кашкоро из другого рода? Как же стоит над нами?

Никогда не слышала, чтобы свекор перед кем-нибудь склонялся и оправдывался. А тут залепетал, что мальчишка его Белек не умеет отличить воспитания от побоев; что я лежу больная и муж мой ухаживает за мной; что сама старая хозяйка приносит мне с родника воду; что мулле заказали молитву о моем выздоровлении; что сыта я и одета и есть у меня новая обувь и теплый платок...

Так он бормотал и озирался, вглядываясь в лица тех, кто стоял вокруг и оценивал его слова.

Как мог допустить унижение перед народом? Разве не пойдет слух по всему кыштаку и по другим селениям о том, что простой охотник грозил баю?

Всадник его прервал:

— Думаешь, от одного Белека услыхал о твоем зверстве? Что б ты ни делал, все становится известным и богу и народу...

По тому, как стали сжиматься кулаки свекра, я догадалась: долго не протерпит. Уже топтался на месте, уже задирались плечи и голова откидывалась, как для плевка.

Всадник сказал:

— Заберу с собой Аруке. Если тебе не нужна — найдутся для нее и кров и пища. Думаешь, некому защитить бессловесную? Думаешь, угасли совесть и душа рода? Защищая честь, род монолдор и голову положит на плаху... А ну, выведи и покажи. Когда увижу, что задета хоть ресничка ее — дойду с тобой до самой смерти.

Свекор подскочил, захрипел и затрясся в крике:

— Эй ты, коровья жижа, ослиный хвост... Подумаешь, подвесил ружье! Кто испугается палки на твоей спине?! У тебя одного, что ли? Найдутся и у нас ружья...

— Н-ну! — закричал в ответ всадник, и черное лицо его сверкнуло, как сверкает на солнце новый топор. Он сорвал с плеча ружье.— Ну-ну, плохо ты меня знаешь. Плохо, плохо. Теперь знай! Я Токтор, я людей не стреляю. Но ты зверь и, видно, приспел, чтобы с тобой покончить навеки...

С этими словами он направил дуло в грудь свекра. Вопль ужаса прошел по народу. Ожидая выстрела, я зажмурилась и зажала руками уши. Долго ждала. Потом осторожно открыла один глаз: всадник не выстрелил, и Кашкоро пока что был наполовину жив. Он обмяк на руках соседей. Они ввели его в юрту и посадили. Много приближенных свекра набилось в юрту. Втянув голову в плечи, я попятилась за сундук и теперь не видна была никому. Ой, боялась, вытащат показывать. Нет, обо мне речи не было. Приближенные наперебой уговаривали свекра быть разумным:

— Не трогай э т о г о, не обращай внимания.

— Он сумасшедший!

— Он колдун...

Свекор, задыхаясь, лепетал:

— Свяжите его, свяжите...

Ему отвечали:

— Пусть свяжем — арканы разорвутся сами собой...

— Э, что можно ему сделать — он не шевелится, даже когда падает гора...

— Он живет в лесу близ плоской вершины, где пляшут ночами Сулаймановы дэвы...

Все избегали называть всадника по имени. Но раздался молодой голос из кучки приближенных:

— Этот Токтор — шайтан не шайтан, сумасшедший не сумасшедший, попробуй тронь его: из волости прискачут джигиты и разнесут от имени болуша весь наш кыштак. Слушай, аксакал Кашкоро! Девяносто девять куниц и столько же горностаев, стрелянных Токтором, болуш отправил в Ташкент царскому наместнику. Теперь бьет в лесу медведей, и шкуры их тоже скупает царская казна...

— Откуда знаешь? — со стоном откликнулся свекор.

— Это верно! — подтвердили другие.

— Не гневи, не гневи! — весь извиваясь, повторял рыжий старикашка.

А за пределами юрты все еще бушевал и кричал свои угрозы Токтор.

Свекор замахал руками, чтобы утихомирить советчиков. Он сказал:

— Пусть будет по-вашему. За себя не боюсь, боюсь навлечь

гнев болуша на весь наш кыштак. Надо бы этого отдать собакам. Ладно, не тронем его. Сделаем так: заведите его в чью-нибудь юрту, накормите досыта и отправьте. Видно, и правда за ним сила, если шумит против закона. Упрямый как бык, способен и беду натворить. Успокойте, утешьте, а затем выпроводите. Больше мне не показывайте. Найдете нужным, подарите захудалую скотину — прикройте поганый его рот. Но возьмите с него клятву, что будет молчать, что никому не скажет, какого натворил здесь шума. Делайте все, лишь бы нам не позориться перед другими родами...

Получив приказ бая, рыжий старикашка опрометью бросился за дверь. Слышно было, как умасливает Токтора, как зовет посидеть и угоститься. Но тот не соглашался. Так длилось долго. Но вот двинулись ноги лошади. Всадник поехал медленно. Вдруг закричал сильным голосом:

— Аруке! С этого дня считай, что я тебе родной! Помни, Аруке, пока жив буду — в обиду тебя не дам! В клочки разорву всех этих извергов.

С этим он удалился.

Я тряслась, но молчала, не откликалась ему. Свекру это понравилось. Он громко сказал:

— Видите, моя невестка умнее этого. Могла бы выйти, но не вышла. Понимает закон и свое место, указанное самим богом. Значит, помогают побои, ха-ха!

В юрте еще долго шумели, а потом вышли гурьбой. Свекор подозвал своих джигитов, вскочил на коня и ускакал вместе с ними.

Ко мне подбежал Белек, присел перед моим лицом и стал дразнить:

— Ты змея, но я змей не боюсь. И гюрзу не боюсь, и щитомордника не боюсь... Кричи, кричи своего Токтора — уехал и не приедет...

* *
*

Я сказала — прошло полтора года. И это правда. А что еще правда? Если жила в битье и ученье — значит, умнее стала и взрослее? Может быть, тело стало полнее и красивее? Неужели ничем не изменилась и не начала понимать больше?

Вы меня спросите, а я вас спрошу — где правда в моих словах и где ложь ради правды?

Токтор, Токтор! Он был или не был? Неужели приснился? Кричал, что защищает честь рода, что я ему близкая, клялся убить всякого, кто меня тронет. Перед ним дрожал бай,

приближенные бая умоляли не доводить до драки и убийства. Что означал этот переполох? И какая цена воплям справедливого?

Во всем, что рассказываю, стараюсь держаться того, что жило во мне в те дни. Можете поймать меня: как могла незрячими моими глазами видеть и неразвитыми ушами слышать?! В рассказе моем были слова: «болуш», «царский наместник», «власть», «властный». Да что там, много такого приходится говорить, чтобы дошло до вас, наученных школой и всем ходом нынешней жизни.

Как было?

Пряталась за сундуком. Не вылезла и не вскочила на ноги. Не подбежала и не прильнула к защитнику. Не закричала: «Я здесь, я жива, еще не убита, но вся изодрана. Яйца куропатки, которые ты помог найти мучителю моему Белеку, размазаны по платку и по щекам моим!»

Что удержало меня в тесной щели между сундуком и кереге? Мне трудно вам сказать даже эту правду — так ненавижу трусость свою и робость. Так не хочу помнить себя рабой.

Вспомните, в первом своем рассказе я в ночь прощания проросла железом против бури и солнца. Может, солгала? Может, и про свои капризы перед матерью и отцом тоже выдумала и солгала? Нет, помню, помню! Была сильной, а потом капризной. А потом, слушаясь веления материнской песни, работала от души, легко и весело, получая радость.

Да, время жизни в нещадном битье не сделало меня ни сильнее, ни красивее, ни умнее. Стала как рваная ветошь. Кормилась отбросами вместе с Кумайыком и рабом, имя которого не удержалось в моей голове. Так может ли быть правдой, что способна передать это время забитости и страха и медленного погружения в рабство? Ложь в том, что называю неизвестные мне в то время вещи, понятия, связи. Но эта же ложь — единственная правда.

Прошло время — я объяснила себе, для чего пришел, для чего кричал и почему уехал ни с чем человек по имени Токтор. Вы, слушающие меня, можете думать, что обиделась на его уход и затаила в груди горечь на него? Так было бы с каждым из вас. Иногда я и сама нынешним своим умом и свободой хотела бы толковать свои чувства и мысли так же, как толкуете вы.

Желая доискаться до истинного поведения рабыни, истинных ее мыслей и чувств, я долго копалась, вынимая из земли и обдувая каждый кусочек пятнадцатилетней Аруке.

Нет, не обиделась на Токтора и не удивилась его уходу. Не

знаю, как было, однако всей кровью отвечу, что не мог взять скот у бая или даже поесть в одной из его юрт. И тогда тупым своим разумом тоже понимала: он гордый, свободный, сильный. Он мой защитник. Я себя могла бранить, что не выскочила к нему. Его не обвиняла: даже такой смельчак, готовый застрелить моего мучителя, в юрту войти не мог. Не по трусости и не по рабству, а пропитанный обычаями, которые есть стена внутри нас.

А как же так я говорила, что в первый мой бунт, когда проросла железом в землю и твердо стояла, я почувствовала, что железо станет частью моей судьбы и помощью в ней?

Это мое заключение возникло потом. Предчувствие было, но в годы побоев, хуже которых потом не знала, все-все было мною забыто.

Стоял же кул, которого бай стегал по лицу, смирно стоял, даже не утирался. Не утирать кровь, хлынувшую из тебя от побоев,— в этом доблесть и гордость раба. Возвращался же после истязаний и битья Кумайык. Ах, Кумайык, Кумайык! Быстрый, сильный и ловкий. Стоило подойти к нему восьмилетнему Белеку, пес, если не мог убежать, поджимал хвост, переворачивался на спину и открывал живот свой перед мучителем. Вот у кого в тот год я получала уроки жизни.

Лечь на спину и, закрыв глаза, ждать ласки или удара.

Здесь, здесь ищите признак и суть рабства!



Глава четвертая,

из которой явствует, что любовь отворяет глаза и пробуждает угасшие силы.

Я была ровесницей века, родилась в первый год двадцатого столетия, когда уже во многих странах работали миллионы машин. Земля была покрыта переплетениями железных дорог, появились на свет первые автомобили, потом и самолеты... Но все это — и двадцатое столетие, и машины, и споры государств между собой, и войны, и революции — касалось меня нисколько не больше, чем пса Кумайыка.

Круг моего зрения был столь мал, столь мало я отличала одно от другого, что даже не было у меня нужды в свете дня, радости душистого поля, рокоте горного ручья и парении птиц над головой.

В летнее время мы откочевывали в высокие, зеленые травой горы, ставили там, на джайлоо, свои юрты, чтобы откармливать всей свежестью живых растений наш скот. Там, наверху, наше поселение называлось а и л о м. К зиме возвращались в нижние земли и ставили юрты под защиту холмов, и это называлось, как и теперь называется, к ы ш т а к.

Стараюсь вспомнить, что такое был кыштак, где царствовал Кашкоро. Вот беда — вижу глазами позднего зрения. В первые два года жизни с мужем мой путь дальше родника, ручья или реки не уходил. Конечно, видела, что много юрт, что стоят под защитой холмов; чем богаче хозяин, тем лучшее место для своей юрты он определял. А бедняки, которым ветер и буря страшнее, ставили юрту в свободном месте, где продувало сильнее всего. Отличие от кыштака, где провела детство, было для меня заметнее всего обилием скота. Быки, коровы, верблюды, лошади, козы и овцы тут же и топтались между юртами. Их мычанье, ржанье и блеянье делали жизнь шумной, как на базаре. Понимала ли я, где чей скот? Никогда об этом не задумывалась. Овечьи отары и конские табуны бая паслись под охраной на-

нятых чабанов за пределами кыштака, на тех холмах и горных склонах, где еще с осени было видно, что там гуще травы и скоту легко откопать из-под снега свое пропитание. Но были не только байские стада. Люди победнее, но не бедные тоже заботились о своем скоте, отгораживая одним им известными метками свою отару от чужой. Кто-то находил силы увести в далекие горы, а кто-то держался на скудных местах. Все это порождало споры, а иногда и кровавые драки, которые ни для кого не были удивительны.

Зачем же я сказала, что была ровесницей века, узнав об этом значительно позже? Вроде бы мне было четырнадцать лет, когда разразилась война русского царя с немецким. Ничего об этом не слышала, едва ли что говорилось о войне в юрте бая. Если же и говорилось — мне было непонятно.

Теперь могу сообщить, что война разгорелась в ту пору, когда мы стояли на летнем горном пастбище высоко в горах. В том аиле был случай, о котором рассказала, как ужасно избил меня свекор, а потом приехал на мою защиту охотник Токтор. К тому времени весть о войне никого из глубинных киргизов не всколыхнула и на их жизни еще не сказалась. Но вот мы вернулись в кыштак. Поступки людей стали меняться. Никогда еще не было, чтобы так много резали скота ради шкур. Никогда еще не было такого движения торговых караванов, преодолевавших тяжелые перевалы, уже с октября занесенные снегом. Шкуры продавали приезжим узбекам, татарам и уйгурам, которых нахлынуло втрое против прежнего. Люди стали есть мяса намного больше, чем раньше: из наших глубинных мест, за сотни верст от железной дороги, мясо скота вывезти для продажи не было возможности.

Киргизы не горевали, что где-то стреляют людей и льется кровь. Мало кто был наслышан о России и русском царе, который послал свои войска в неведомую даль против неизвестных нам народов. И все же копошение нашей жизни стало иным. Шум и крик увеличивались. Обычный грабеж, когда джигиты одного кыштака перехватывали табун другого, теперь стал ожесточеннее и чаще. Один бай, как и всегда, стремился обогатиться за счет другого, но, если раньше случалось, что догоняли и находили украденную скотину, теперь, особенно к весне, укравший успевал прогнать табун к Чуйской долине и продать в Токмаке, откуда покупатели гнали его дальше под охраной русских военных скупщиков.

Ну, а что же та Аруке, о жизни которой вспоминаю? Хилая и тщедушная, загнанная и несчастная — разве могла она ощутить на себе перемены, возникшие с войной далекой России?

Оказывается, не то что она, даже пес Кумайык и остальные собаки чувствовали и от этого менялись. От убоя скота на шкуре оставалось так много мяса, что хозяева не старались обгладывать кости. Потроха стали выкидывать, и они гнили вблизи от кыштака. Волки и барсуки прибегали насыщаться безнаказанной пищей; слетались во́роны, грифы и бородачи. Совы перестали ночами ловить мышей, рылись в мясных отбросах.

Но, понимая, что с ней происходит, менялась и та девочка Аруке, которой была я. Стала быстрее расти, наливаться силой, хотя работы нисколько не убавилось и бегать приходилось больше, чем раньше: чаще и чаще собирались в юрте бая торговые люди, которых надо было кормить, и укладывать, и дать им воду для омовения, и потакать их капризам.

Если б только это! Люди стали зависеть от пришлых и приезжих, от удачи и неудачи продажи и покупки, а значит, от каждого купца — узбека, уйгура, казаха, а потом и русского. Манапы из волости то и дело посылали своих людей, чтобы получить налог и взятку... Когда из-за туманов, снегопадов, морозов или разлившихся рек торговля приостанавливалась, все с жадностью подбивали прибыли и убытки. Бранились меж собой, узнав, что съедено и уничтожено столько животных, а получены за них бумажки, по которым покупки можно сделать только в городах. Общая жадность и общий переполох. Кутерьма.

* *
*

Случился такой день, когда увидела себя. Наверно, раньше тоже видела, да не смотрела.

Это было до наступления больших холодов. Может быть, месяц назад мы перебрались с горного джайлоо в низину. Еще ходили караваны, и наша юрта была полна чужими людьми. Для меня это значило коромысло с двумя ведрами и третье ведро в руке. Хоть и было очень тяжело, я привыкла. А может быть, набралась сил. Раньше носила с собой ковш, но, когда много приезжих гостей, надо набирать воду быстрее, и ковш для этого не годился. И вот в тот день взяла вместо ковша чайник — чогун. Он большой — ведра наполняются скоро, но ведь и его надо нести, а он очень тяжелый...

...Как же так вышло? Надо вспомнить. Откуда-то явилась радость. Откуда? Какая такая радость у несчастной, запряженной с утра до ночи? До родника здесь, в кыштаке, шагов пятьсот, он был много ниже нашей юрты. Так что с пустыми ведра-

ми идешь вниз, а с полными — вверх. Тропа извилистая и от осеннего дождя скользкая. Однажды попробовала пойти по траве, но упала и разлила воду. Коромысло надо поддерживать, но поднять руку, когда в ней чогун, оказывается, трудно, слишком тяжело. Решила: делать нечего, придется опять заменить на ковш. И тогда вдруг придумала: спрятала чогун в кустах у родника. Это было просто, но я обрадовалась. Мне стало приятно, что додумалась. Неужели я умная? От такого пустяка могла развеселиться. Поставила ведра, наполнила, а потом услышала, что пою. Свекровь знала, сколько хожу туда и обратно. Ей не надо было часов, умела чувствовать — быстро или медленно я работаю. Значит, я ее провела. Чогуном втрое быстрее наполняла ведра. Смогла передохнуть. Подумать. Отсюда и радость. Вы понимаете? Обмануть хозяина — вот мимолетное счастье раба. Я опустилась на колени и увидела свое отражение в роднике. Удивилась себе. С тех пор как увезли от матери, ни разу не смотрелась в зеркало. У свекрови зеркало было, но от меня прятала... Родник такой чистый, в нем отражалась вся природа — синее небо, и облака, и среди облаков мое лицо. Я увидела, что стала полнее, но глаза от плохого сна все равно красные. Понравилась ли себе? Я испугалась. Поняла, что стала другой. Теперь молодые женщины смотрятся в зеркало по сто раз на день, а я два года с собой не встречалась. Вспомнила, как в день, когда приехали за мной, свекор сказал маме, что, развившись, стану на нее похожа, стану такой же полнотелой и красивой. И правда, я заметила сходство. Показалось, мама глядит из углубления перед горным ключом, помолодевшая мама. Будто пришла потихоньку от всех и сейчас со мной заговорит... Это видение сразу же и кончилось: ветер всколыхнул водную поверхность, отражение исчезло, я вскочила на ноги, спрятала чогун и хотела было, подняв коромысло, отправиться к дому. Не знаю, почему остановилась и прислушалась. Родник говорил. Бежала вода, шелестела среди пожухлой осенней травы, перекатывала камешки, а я слышала — обращается ко мне с человеческой речью. Конечно, должна бы заговорить мама, но я услышала чужой голос, сильный мужской голос. Так хотелось понять слова. Я верила, что чистый родник скажет хорошее, подбодрит и утешит. Может, туча загородила воду от солнца? Она потемнела, от нее повеяло холодом. Скалы, обступившие меня, стали вдруг черными и грозными. Я поняла — это застывшие скверные люди, они мне грозят.

Осенним временем ветры являются нежданно. Вот тепло, а вот подуло, и вся дрожишь. На мне платье и безрукавка. Уходя по воду, хотела надеть жакетку, но свекровь прогнала

в таком виде. Сказала, что от коромысла одежда портится, плечо жакетки быстро протрется, ее надо беречь... Вот сколько слов, а их не было. Слов не было никаких ни в песне родника, ни в угрозах каменных людей, ни в моей голове. Все это мелькнуло — радость, воспоминания, печаль, ожидание хорошего, довольство собой, а потом — страх. Все-все в короткое мгновение. Но никогда ведь ничего не бывает напрасно. Тревога и мысли, которые бурлили в моей голове, означали испытание. Так я тогда поняла: меня испытывает судьба...

...Из-за скалы ветер принес звук кашля. Я вздрогнула. Откуда мужчина? У родника не мудрено встретиться с молодухой или девушкой — мужчины и парни с ведрами не ходят. Но вот голос звонко окликнул отару, и я поняла: это чабан. Правда, с камня на камень прыгал высокий чистолицый парень. Увидев меня, рассмеялся, показав белые зубы, щеки его запылали. Подбежал поближе и встал. Это был чужой чабан, здесь пасти не имел права. Река по осени обмелела, и он перевел своих овец на земли нашего кыштака. За это ему могло крепко попасть. Только не видно было, чтобы такой испугался. Ловкий, с хитрым взглядом, с гордо откинутой головой. Однако самый обыкновенный чабан. Но я уже знала — в нем сидит черт. Знала, что дерзкий и смелый, никого не боится. Догадалась, что, пожалуй, пела не вода родника, а этот быстрый и белозубый. На нем чапан из таара *, на голове боком сидит ушанка, ноги в старых чарыках... Я привыкла видеть в нашей юрте богатых и полубогатых в одежде из фабричной ткани. Давно уж не были для меня в диковинку вельвет и бархат, отороченные лисьим и куньим мехом тебетеи, добротные сапоги, серебряные пряжки. Но этот чабан в простом и ветхом наряде виделся мне богаче наших богачей. Здоровье и веселье от взгляда и улыбки показывают человека с чистой душой и радостью жизни.

Кто не знает чабанов! Вечно скачут, бегут, кричат. Солнце, дождь, снег, буря, трескучий мороз — им все нипочем. Они привычны и к холоду и к жаре. Болезни обходят их стороной. На мелкую хворь внимания не обращают. К тому же не имеют права пожаловаться. Пусть пылает от жара тело — пока не упадут, бегают и скачут. Кружка и мешочек боорсаков, две-три лепешки. С этим запасом чабан водит своих овец неделю, другую. Всегда одинокий. Хорошо, если есть собаки, а то и поговорить не с кем. Я не ошиблась — человек и собака способны понимать друг друга. Про чабанов часто говорили, что они с собаками в родстве. Это насмешка над чабанами. Но они

---

* Таар — домотканая грубая материя.

вольнолюбивые люди, знают себе цену, умеют за себя постоять. Чабаны правдивы, особенно молодые. Вытерпят любые побои, но баю скажут все, что на уме. Если чабан очень голоден — не задумывается о наказании, режет барана и ест. Расплачивается своей шкурой, но случается — на удар бая ответит тем же. Бай знает — хороший чабан редкость. Мало охотников бродить с чужими животными и заботиться о них, чтобы шерсть была хороша и курдюк с каждым днем наливался салом. Вот этот... он перешел водную границу своих пастбищ. Значит, старался для овец. А может, он для себя старался? Может, захотел увидеть меня?

Никогда бы так не подумала в прошлые свои дни. Отвернулась бы и пошла. А тут началось с маленькой радости — с догадки прятать в кустах чогун. Вот и перемена в настроении, вот и ожидание счастливой минуты.

Первых слов чабана я не услышала. Вздела на крючки коромысла полные ведра, будто подыму их на плечо и уйду. Тогда он закричал:

— Эй, молодуха! Опять ты, бедняжка, бежишь?! — Он оперся на свою длинную палку и подбородок положил на верхний ее конец. Смотрел мне в глаза, будто награжденный радостью, будто явилось перед ним диво. Его острый и горячий взгляд что-то напоминал. Мы стояли лицом к лицу, и я всю себя видела в его зрачках. Никогда раньше так не было. Ни в чьих зрачках себя не видела или не замечала, что видела. И я расхрабрилась — голову повернула, как фазаниха, зная, что это меня красит. Как много поняла за короткий миг! Поняла, что стоять надо свободно, что смотреть надо с блеском и легким туманом, что дышать надо ровно и без шума, что коромысло поднять надо как перышко... Я уже знала, как пойду и не обернусь, а он станет смотреть вслед, и ноги мои под его взглядом не ошибутся ни на одном повороте, хотя подъем крут и местами лежит мокрая глина.

Но я еще не ушла. Стояла молча.

— Ты что, глухая? — он грубо говорил, но я знала, какая это грубость. Слова — одно, а душа — другое. Голос души самое грубое слово делает заботой и лаской. Он продолжал:

— Видно, паршивый твой муж так тебя забил, что превратилась в глухаря?

Как-никак слова были дерзкими, отвечать я догадалась тоже дерзко:

— Отстань, лучше займись своими ушами!

Больше ничего не сказала, гордо повернулась, вскинула

коромысло на плечо, взяла третье ведро и пошла к дому. Быстро шагала, легко, не чувствуя тяжести. Злость прибавила силы.

Откуда злость? Была, была! Новая, радостная злость. Так просыпается ликование от своей независимости. Не хотелось его видеть... И опять правда, что не хотелось. Но тоже не так, как раньше. Вряд ли жеребенок, на которого кинут аркан, хочет видеть того, кто кинул.

Уже поднялась на первый пригорок, когда услышала слова, брошенные вслед:

— Слушай, молодуха! Меня зовут Серкебай! Запомни и не смей забывать: это я! Тот самый, которого зовут Серкебаем!

Зачем это сказал? Сердце колотилось от его слов, но не от тяжести ведер. Сердце звенело, как звенят струны комуза, если их тронет рука чужого. А может, и не чужого? Но если не чужой и перешел со своей отарой холодную реку ради встречи со мной, зачем был груб и для чего называл оглохшей, битой мужем? Зачем называл молодухой? Если видит, что в белом платке, и понимает, что женщина, неужели надо напоминать? Он же старше меня, много старше. Может, женатый? Может, детей куча? Нет, чабаны редко женятся смолоду, а ему не больше двадцати лет... Интересно, побеждал ли в козлодрании? А мог бы он, как тот, ныне гундосый старик, вскочить на коня и копьем пробить грудь большого батыра? Интересно. А почему интересно? Почему врезался в память его голос?

Он сильный, но обижает слабенькую — такую, как я. Нет, нет, разве я слабенькая? Два ведра на коромысле и одно в левой руке принесла полными до краев... Когда свекровь увидела, заговорила неожиданно ласково:

— О черноглазая моя, смотрю — навострилась не расплескивать. Сядь, передохни. А еще собиралась одеться. Вижу, вижу, как распарилась. И зачем ходишь по крутой тропе, когда есть пологий спуск к речному берегу? Осенью вода и в реке хороша. Не утруждай себя, ходи по ровному. Столько ведер надо принести, столько забот на тебе...

Эта ласковость, которую впервые от нее слышала, должна бы насторожить. Но я была не в себе. Думала. Я думала, что Серкебай при всей грубости слов пожалел меня. Вспыхнуло в памяти, что неделю назад какой-то чабан с того берега, взобравшись на скалу, махал мне рукой. Но тогда я еще не родилась для заметливости и разговора. Если видела скалу и на той далекой скале кто-то кричал, не могла бы поверить, что мне кричат... О господи, прилетела дурная мысль, что этот Серкебай хочет меня спасти... Как я перед лицом говорящей свекрови

допустила подобную мысль? И что значит «спасти»? Не знала, как себе ответить, засмеялась в душе. Какой чабан имеет силу спасти несчастную?! Его дело скитаться среди камней. Его дело дружить с собаками и заботиться о чужом скоте... А может, от тоски недоброе дело задумал? С этой мысли сразу же появилось к нему отвращение. Но тут же почудилось, как по совету свекрови иду к реке, как Серкебай с того берега зовет меня по имени .. Он-то сказал, как его зовут, а я ему свое имя не доверила. Выходит, не он грубый, а я невоспитанная. Если называется по имени: «Я — Серкебай», надо бы ответить, что я — Аруке. Нет, не надо... Успела еще подумать, что послан охотником Токтором следить за моей жизнью, чтобы не обижали и не истязали...

И опять сквозь гул торопливых мыслей проник в меня голос свекрови:

— ...ты по младости своей не знаешь, как о тебе все думают и сколько глаз на тебе. Сделаешь шаг — и вот уже видна. О тебе перешептываются, что нарочно ходишь покруче. Покруче и подальше, чтобы там вздремнуть, а если подружки придут — поболтать языком... Знаю, знаю — ты старательная и быстрая. Твое счастье в том, чтобы семья жила, чтобы вовремя постирать и приготовить, чтобы муж твой и родители его не имели обиды и не оставались к празднику грязными. Я-то понимаю, но у людей рот не сито, подбирать слова не станут, навалят, что было и чего не было. Кто не порочит семью бая? Каждая женщина смотрит на тебя с завистью, что живешь в белой юрте. Способнее всех к наветам и выдумкам те самые молодухи, которых выглядываешь себе в подружки. Запомни, родная моя, подружество — девичья игра. Замужней же аллах засчитывает в добродетель одни лишь повседневные труды и заботы...

Так это она сыпала и сыпала, а сама зорко вглядывалась, шарила по мне, будто шерсть чесала. Вдруг подбоченилась:

— А ты не видела ли чужого по имени Серкебай?

Я, моргая глазами, промолчала.

— Что ж ты молчишь? Ладно, молчи. По глазам твоим понимаю, что имени этого чабана не слышала. Не отвечай, не надо. Верю, во всем тебе верю... А ты знаешь, что не девушек любит, а молодух? Таков Серкебай. Вот нет его, а вот явился из камня. Он песни поет, а потом, глядишь, пора молодушку привязывать к хвосту кобылы, чтобы покаталась спиной по камням... Это не я говорю, это я слышала, что молодухи на него смотрят и от одного от этого смотрения становятся красными, как теперь ты... Ну вот и все! А ты ходи к реке, бери воду из реки, и мне виден будет весь твой путь. Стану тебя провожать взглядом.

Прослежу за твоим путем, а если кто что скажет, отвечу: «Я сама видела — она чиста!» — Тут свекровь переменила голос на строго домашний: — Теперь, когда отдохнула, пора огонь заводить под казаном. Ты грей воду, а я поднесу тебе белье...

...Так началось с чабаном Серкебаем. Мало было своих мыслей — свекровь добавила. Отсюда пошло и пошло.

Спро́сите меня — много ли слышала о любви? Не слышала. Я любовь видела, когда мама пела отцу, или стирала ему, или клала в рот первый комочек готового плова.

Отец маму спас и похитил. Может, похищение одно и то же, что и любовь?

Может, о любви люди думают, но ее никто не знает?

Есть любовь родителей и детей, но разве чужой чабан такое может?

А если появляются сны, которых раньше никогда не видела, а если появляются силы, которых никогда не чувствовала, а если тайком рука твоя берет гребешок и ты, опасаясь побоев, заглядываешь в зеркало свекрови,— это что такое?

А если тревога становится радостной?

Раньше бы в такое я не поверила.

* *
*

Прошло время, наступила морозная зима.

Как-то случилось, что работы стало куда больше против прежнего, притом что караваны почти не ходили и гостей уже не было. Зато бай, мой свекор, додумался вести торговлю. Непривычный к этому, не умея считать, путался и злился. А как было ему без торговли? Боясь брать бумажные деньги, он за проданные шкуры животных принимал от купцов разный товар. Набрал видимо-невидимо топоров, чугунных казанов, чайников, разных ложек-поварешек... Главный же закупленный им товар — ситец, сатин, бархат и любимый киргизами вельвет. Штуки разных материй сложили в юрте. Одно дело хозяйственная утварь — она может лежать за пределами жилища. Если заржавеет — хозяйка или невестка очистят золой и песком. Материя же от сырости плесневеет и гниет, гибнет даже в юрте. Так бая казнила собственная жадность. Надо избавляться, приходится поспешно торговать, но торговля шла плохо. Никому нет охоты брать материю, если негде быстро сшить одежду. Шили на руках. А много ли наработаешь иглой и ниткой, тем более что зимние дни коротки, к керосину еще не привыкли, освещались сальными плошками. Кроить же на весь аил могли только две женщины.

От всех этих неурядиц свекор стал еще злее. Ему трудно было сдерживать руки, однако, помня угрозу Токтора, меня на некоторое время оставил; легкие подзатыльники не в счет... Столько было стонов и плача о том, что гибнет товар, столько чая выпивал свекор от необходимости думать — целый день торчал в юрте, считал убытки, пыхтел и плакал душой.

Вот тогда-то со мной произошло, что я от ума сделала глупость. Это было для меня новостью. Оказывается, разумные мысли не всегда человеку на пользу. Я напомнила, что могу шить на машине.

Конечно, свекровь сразу же испугалась, что сломаю. Она еще от моей мамы знала, что я научена и шить и кроить, могу работать не одни легкие платья, но и камзолы, жакетки, мужское белье. Свекровь знала, но не могла поверить. Когда от меня услышала, что я готова помочь шитьем, вся затряслась от злости:

— А воду носить я буду? А белье стирать, а пищу варить? Понимаю тебя, понимаю. Очень хорошо тебя вижу — только бы поменьше выходить на мороз. Так? Только бы сидеть весь день в тепле.

Так она говорила, но вскоре поняла — выгодней позвать соседку и, уплатив безделицу, погнать ее за водой, чем держать меня на тяжелой работе и гноить материал. Вмешался и свекор:

— Пусть покажет, на что способна!

Тогда я сказала, что для шитья нужно поставить машину на столик. Сидя на полу, шить невозможно. Вы бы слышали, какой от этого произошел скандал и как все друг на друга кричали. В киргизском жилище столов нет, их не знают и никто делать не умеет. Были в кыштаке мастера по дереву, которые выстругивали палки для кереге, шесты, деревянные дверные рамы, разную утварь, ложки и даже корыта. Эти мастера сделать стол не брались. Под угрозой расправы я взялась шить на полу. А куда ноги девать? А как пропустить материю, где кроить? В юрте лежит на земле кошма, под которой земля притоптана до гладкости. Почему бы на ровной кошме не кроить? Да потому, что кошма — это войлок: материя цепляется за ворсинки — это проклятье, а не работа. Все мои неудачи валили на мое неумение. Позвали портних, которые хотя машины и не знали, крой им был известен. Они кроили без столов, но у них был деревянный помост из подогнанных досок... Моей маме под такой же помост отец подвел ножки. И получился стол. Когда я объяснила портнихам, они согласились, что так лучше. Они же объяснили свекру и свекрови, что на таком помосте, если без ножек, машину крутить и пропускать материю невозможно.

Много об этом говорю, но иначе нельзя. Такие подробности приводили к многодневным спорам — ничто не делалось быстро. Кроме того, такая дорогая вещь, как швейная машина, вызывала у свекра и свекрови дрожь боязни. Пока стоит — ценность ее сохраняется. В работе мало ли что случится... Ночи напролет обсуждали до хрипоты. Но подошло время, поставили передо мной столик с машиной, все вокруг сгрудились, и я провела первую стежку. Вы бы видели Белека! Он весь извивался в крике:

— Дай, дай, дай мне! Хочу! Если не позволите — ударю ногой.

И он правда, но не машину, а меня ударил. Первый раз свекор меня защитил. Оттащил мальчишку и пригрозил, что изуродует.

А потом было так. Я кроила и шила, шила и кроила, и от их жадности к новым вещам уже не было мне ни одной минуты покоя. Требовали, чтобы крутила ручку быстрее. Требовали, чтобы шила для родственников и для покупателей. Болела спина, слезились глаза, совсем не выходила на воздух, не знала, как отдохнуть...

Откуда приходят хитрость и лживость раба? От угроз и побоев, от вечной ненависти хозяев, от их грубости и от их жадности. Не могут остановиться — требуют больше и больше...

Однажды пришла молодуха Зейне. Та, которая в день моего приезда больше всех говорила. Шустрая и бойкая — она меня научила подмигивать и подавать друг другу знаки. Она вот зачем пришла. Надо было сшить ей бархатную жакетку на вате с меховой оторочкой. Эта Зейне принадлежала к семье полубая Музафара, который согласился купить много материи, если я сошью для его семьи разные одежды. Вы бы видели, как исказилось лицо свекра на одно то, что чужая молодуха капризничает в его жилище. Приходит, требует, примеряет. Разозлившись, свекор ей сказал:

— Если приходишь — не распускай голос, говори шепотом, сделай так, чтобы не видел тебя и не слышал!

Я со своей машиной была отгорожена занавеской. Зейне обрадовалась, что можно шептаться. Она стала меня учить. Она сказала, что обо мне спрашивает Серкебай. Она так умно подмигивала, с таким чувством, что я невольно начинала вздыхать. И тогда она смеялась, а вслед за смехом принималась от горячего сочувствия плакать, и обнимать мои плечи, и говорить, что я хорошею с каждым днем, что выросла выше ее, что мой Жайнак сделан из гнилья, что от него воняет... Это было правдой — недаром свекор прозвал его вонючкой...

В конце концов Зейне ко мне так приластилась, что, если раньше я видела в ней только стрекотуху, теперь стала прислушиваться и радоваться ее легкости и способности свободно касаться всего на свете. От нее-то я и услышала, какой существует в народе разговор. Будто наш бай всего наполовину относится к роду монолдор. Что отец его был приисcыккульский киргиз, а мать после смерти мужа вернулась в родной кыштак и тем самым ее сыновья стали как бы монолдорами... Зейне поведала мне и другой, страшный случай, тот, о котором вы, дорогие мои, давно от меня слышали. Этот слух касался свекрови моей, Макмал. Будто в девической любви до того дошла, что уже понесла в чреве своем от какого-то проезжего уйгура. Что покаялась богатому своему родителю, родовитому манапу, и тот вместо строгого наказания принялся за большие деньги подыскивать ей жениха без калыма. Тут-то и подоспел нынешний мой свекор Кашкоро...

Зачем пересказываю уже известное вам? А затем, что я была от этого в страхе и ужасе. Такая новость многое мне объяснила, но ничего не улучшила. Бешеная злоба Кашкоро к женщинам стала мне понятна. Но разве всегда, узнав слух или даже истину, от этого получаешь пользу? Я ничего не получила. Зная, что над головой треснула скала и вот-вот обвалится, нужно убежать. А если привязан? Тогда такой опасности ждешь с еще большим страхом.

Зейне три раза приходила на примерку. Только три раза. При этом успела перевернуть мою душу. Сколько наговорила! Из-за нее я лишилась сна. Дрожали руки, не могла шить. Когда ложился со мной Жайнак и храпел, я вглядывалась в его черты и видела, что лежит со мной уйгур. Разве это плохо? Уйгуры — быстрый торговый народ. Почему же муж мой Жайнак такой ленивый и медленный? Может, от побоев? При мне отец его не ударил ни разу. Но от той же Зейне я узнала, что года за три до свадьбы свекор со злости ударил Жайнака поленом по голове. Он был живым и веселым, но от ушиба превратился в сонного полудурка. Знахарь требовал, чтобы скорей женили, обещал, что, если попадется хорошая девушка, вся дурь из него выйдет. Теперь знахарь говорит, что не такую бы нужно девушку, что я виновата в продолжении его скуки и дури...

Ой-ой, сколько помещалось слов и сплетен в маленькой голове озорной Зейне!

Она сказала:

— Я бы сама бросила все и убежала с Серкебаем, но не меня он любит, а тебя.

— А зачем бы ты убежала?

— Я бы потому с ним куда угодно ушла, что Серкебай никогда никого не унизит.

Эти ее слова, самые серьезные за все время, оказали на меня удивительное действие. Я стала думать. Думала, знаю ли мужчин неунижающих? Унижал ли когда-нибудь мой отец мою маму? И опять вспомнила, как, встретив Серкебая, сказала себе: «Похищение и любовь — может быть, это одно и то же?»

Похищал обычно тот, кто от бедности не мог жениться. Похищали смелые, способные ускакать на украденной байской лошади и увезти за далекие горы девушку или женщину. Таких смелых и дерзких джигитов находилось немного... Вот сказала и задумалась. Правда ли, что мало было смелых и дерзких? Пожалуй, неправда. Джигиты, похищая табуны для своего бая, совершали набеги в далекую местность. Рисковали жизнью, а нередко оставались покалеченными до могилы. Джигиты-рабы! Не получая после набега даже паршивой клячонки, они все ими украденное отдавали баю. Они довольны были угощением и славой диких. Так и собачья свора кидается на длиннорогих козлов. Не щадя себя, с рычаньем и звериной злобой бросаются на могучих теке. Сколько собак гибнет в такой охоте! Сколько остается со вспоротым брюхом, брошенными под солнцем их хозяевами! В мучениях подыхают, оставленные всеми. А разве не смелыми были и не дерзкими? Глупыми были.

Значит, нужна не смелость глупости, а смелость ума, не дерзость раба, а дерзость свободного человека. Вот такого джигита встретить было нелегко. Такие, как потом я узнала, чаще всего находились среди чабанов. Почему? Да все потому, что чабан — одинокий человек, который учится не у бая, бия и муллы, а у ветра, солнца, мороза и свободного звериного царства. Перед его глазами орлы, барсы, волки. Перед его глазами свободные пики гор, где в сверкающей чистоте видна красота и захватывающая душу игра света.

Во сне я стала дрыгать ногами: бежала, куда-то бежала.

Во сне я стала кричать: звала, кого-то звала...

Страшно было, что прокричу имя того, который мне снился...

...В день, когда сдавала готовую жакетку Зейне и ее мужу, она улучила момент, чтобы внушить мне хитрую мысль:

— Скажи свекрови, что швейная машина требует отдыха. Скажи: машина не человек, если не давать отдыха — обязательно сломается.

Я боялась сказать такую глупость. Давно поняла, что свекор и свекровь нисколько не умны, жадны, скупы, но можно ли было думать, что согласятся слушать вздор об отдыхе машины? Мне шитье надоело, машина стала врагом моим. Сама пустила

ее в жизнь и сама же от нее страдаю. Сломать просто. То, что сломано, сразу увидят. Может быть, недоставало смелости и свободы ума — руки ломать не соглашались. И душа не соглашалась. Машина не виновата. Машина в нашем доме виделась мне самым красивым и ладным существом. Любила ее. Ненавидела и любила.

В чем же проявилась моя хитрость, о которой уже упоминала? Выйдя до ветру, я подозвала Белека и сказала ему:

— Дома нет никого — посторожи машину.

Он обрадовался, и, когда я вернулась, сразу увидела, что крутит, строчит, и вдруг что-то хрустнуло... Мальчишка в страхе упал передо мной на колени. Но в нем не было ни ладности машины, ни ума ее, ни красоты. Его я не жалела. Я позвала свекра, который сидел в соседней юрте. Он прибежал, и мальчишка сам себя выдал тем, что закрыл руками голову и повалился в ноги отцу. Не нашел в себе хитрости свалить на меня.

Проверив машину, я увидела, что нет ничего особенного: он крутил ручку влево и слегка погнул то место, где зажимается игла. Исправить было нетрудно. Вот тут-то я и сказала:

— Сейчас ее чинить нельзя. Болеет, как человек. Может, через неделю станет работать. Хорошо бы постегать ее камчой!

Как ни глуп был мой свекор — понял, что издеваюсь. Кинул на меня злобный взгляд, замахнулся, но столько было дано обещаний разным заказчикам, что он понимал зависимость от меня. И не тронул. Он позвал кузнеца. Но когда тот потянулся к машине черными руками, похожими на железные клещи, свекор закричал:

— Не трогай, не смей прикасаться! Тебе молотом махать и подковы приколачивать. Уйди!

— А я и правда в этом ничего не понимаю,— с радостью согласился кузнец.

Так на время я вернулась в прежнюю жизнь, которая показалась мне в сто раз легче и проще. Дорогие мои ведра, милое мое коромысло, горячий мой самовар, славное мое корыто! Я благословляла всех, но больше всех ласки доставалось от меня коромыслу и ведрам.

Свекровь выполнила обещание. В большой мороз нашла место на скале под ветром, чтобы видеть, как я спускаюсь к реке. Сколько я ни оглядывалась — видела закутанную в теплую шаль старательную женщину Макмал. Глядела, сколько могла, чтобы сберечь мою честь, боялась, что не одна она, но и я пожелаю взять радость от жизни. Следила, следила, а все-таки меня отгородил от ее взгляда вьюжный ветер: запорошил ее глаза снегом.

Прорубь на реке затянуло. Я била-била ногой — лед не проваливался. Пошла взять камень — все камни примерзли. Я уже дрожала от пронизывающего ветра, думала, придется возвращаться с пустыми ведрами. Это означало бы не только брань и побои, но и страх перед дурной приметой... Как могла я мечтать, что в первый же мой выход к реке явится мне навстречу Серкебай? Безумная была моя голова — в ней варилась каша. Надежды и пугливые мысли вертелись, как крупинки в кипятке. Я кидалась туда-сюда, озиралась, искала. Была в отчаянии. Наконец удалось оторвать примерзший камень. Опустившись на колени, стала бить камнем. Рука замерзла. Боялась, что, если пробью ледяную пелену, вместе с камнем провалюсь в прорубь. Замерзшие слезы повисли на ресницах. Солнце не могло их растопить, но сквозь них я видела все красным и зеленым. Ветер тащил меня и старался расстегнуть жакетку, сорвать платок, забросать снегом. Мороз усиливался. Я решила — пусть застыну холодным камнем, но не уйду.

Вдруг показалось — что-то шевелится на том берегу. Смотрю — едет ко мне верховой на быке. Толстый от тулупа, но такой же быстрый и веселый.

Он соскочил с быка, подбежал, вырвал камень из моих рук:

— Ну-ка, ну-ка дай! Разве так? Вот как надо бить! Видела? Помнишь, как бьет камчой бай? Всю душу вкладывает в удар. Смотри, смотри! — Он замахнулся, крякнул и так ударил, что пленка льда растрескалась во все стороны, а камень отлетел в снег.

Минуты ему было довольно, чтобы выбрать из проруби осколки льда. Еще минута — и ведра мои были полны. Не произнеся больше ни слова, он повернул от меня, ловко вскочил на быка и скрылся в метели. Я еще увидела, что махал мне на прощанье. Я стояла и смотрела. Я услышала его песню. Я забыла про все. И вдруг рассмеялась: вот бы он взял меня на быка, вот бы мы поскакали за три горы. А он пел. Тут же явились девушка по имени Мейиз и моя Зейне. Хитрая Зейне, подмигнув мне, принялась дразнить девушку, насмехаться над ней:

— Вот уж третий раз ты прибегаешь с ведрами слушать Серкебая. Забудь его! Калыма от него не дождешься...— Сверкнув на меня глазами, она продолжала: — Девушки не должны искать любви. Девушки существуют для продажи. Для любви годятся только женщины. Зачем страдать попусту?! — так говорила Зейне и приплясывала от избытка жизни.

Они еще долго говорили, Мейиз не отрицала, что хотела бы добиться для себя Серкебая.

— А что ты в нем видишь? — стала допытываться Зейне.

— Он не унизит меня,— сказала Мейиз.

Зейне принялась хлопать в ладоши:

— Молодец! Ты, Мейиз, молодец — хорошо заучила мои слова. Но толку не будет. Поспи сперва со старым или кривым мужем. Научись заживлять на своем теле рубцы от удара камчой. Тогда придет к тебе пора любви и счастья...

Тут я заметила, чего раньше никогда не видела. Прилетели две птички. Безбоязненно уселись неподалеку от проруби, пощебетали друг с другом, а потом одна из них вспорхнула и упала со всего размаха в прорубь. Будто хотела утопиться. Долго ее не было. Я в ужасе смотрела на дымящуюся черную воду, как вдруг оттуда выскочила птичка, взлетела и опустилась по соседству с подругой. Тогда вторая, как бы хвастаясь перед неудачницей, тоже нырнула под лед и явилась обратно с рыбкой, которая трепыхалась в ее клюве. Птички тут же принялись клевать рыбку, насыщаться. В мгновенье расправились с ней и радостно зачирикали.

Когда я перестала на них смотреть, оказалось, что ни девушки, ни хитрой моей подружки Зейне нет. Стоят мои полные ведра. Их поверхность уже покрылась молодой чешуйкой льда. Тут я опомнилась, что давно стою. Свекровь меня заждалась, и будет скандал. Схватилась за ведра, а они примерзли.

И снова из метели явился ко мне Серкебай...

* *
*

Надоело рассказывать, как меня били. Захотелось самой кого-нибудь побить.

После того как повстречались у проруби, теперь каждый день видела Серкебая. Он расспрашивал меня, интересовался моей жизнью. Наши разговоры были короткими — я не могла долго стоять на виду, он не мог надолго уходить от своих овец.

Один раз спросил, люблю ли Жайнака.

Я удивилась, как можно спрашивать о любви к полудурку. Серкебай желал, чтобы мне было плохо. Как так? А вот так: не хотел, чтобы привыкала к Жайнаку, на что-то надеялся. Он понимал, что хорошо быть не может, заранее знал мои ответы, давно выведал от людей, какова моя жизнь. Но говорить-то надо, не стоять же с закрытым ртом. Что ни отвечу — Серкебай насупит брови и качает головой. Не в словах было главное, а в том, как мы друг на друга смотрели и как нас друг к другу тянуло.

Видела ли нас свекровь, я не знаю. Иногда казалось — она понимала и сочувствовала. Вряд ли. Но если б донесла свекру — тот бы не выдержал, снова бы начались тяжелые побои. Но тогда б я не могла шить, а неделя, которую положила на болезнь машины, уже кончалась. А может, свекровь рассчитала, что по зимнему времени и по коротким моим отлучкам нет большой опасности в моих встречах с Серкебаем. Но могло быть и третье: от людей не надо ждать, что они действуют разумно. У каждого свое соображение. В эти дни Макмал часто бранилась с Кашкоро, их ссоры больше ее занимали, чем начало моей любви.

Однажды Серкебай принес и подарил мне кусок душистого мыла. Не знаю, где он достал. Запах был такой приятный, что хотелось это мыло съесть. Я боялась брать, но Серкебай долго упрашивал, а потом сунул в руки и быстро ушел. Я принесла домой, стала мыться на виду у всех.

Неужели не понимала, что будет скандал? Со мной что-то такое творилось — хотела скандала. Хотела, чтобы до того довели, когда уже нельзя терпеть и надо убегать или накладывать на себя руки.

Я услышала разговор свекра со свекровью. Он спрашивал: откуда мыло, кто принес? Она ответила, что не знает, но что мыло хорошее. Мог оставить кто-то из купцов. Тогда свекор спросил меня, и я, дерзко глядя ему в глаза, ответила, что не мое дело, знать не знаю, откуда мне знать: лежит мыло, а кто положил — не все ли равно. Свекор взялся за Жайнака:

— Плюгавый вонючка, терпишь, сколько будешь терпеть?! Ждешь, что откажусь от тебя?! Ударь ее хоть раз — покажи, что ты не зловонная жижа, а муж, полный сил!

Свекровь добавила:

— Мы умрем, а ты останешься с ней...

Я стояла столбом, ничего не боялась. Голова больше не свешивалась. Я не пряталась — ничего не признавала и ничего не отрицала. Хотела, чтобы меня убили. Радовалась, что во мне снова рождается железо.

Что за человек был мой муж Жайнак! Он любил смотреть драку, если схватывались мужчины. Тогда кричал от радости, подзуживал, горели глаза. Сам в бой не вступал. Конечно, после удара по голове он стал тупым. Но иногда прояснялся. Он любил слушать смех и сам часто смеялся. Он любил ласку. Мне Жайнак доверял во всем. Теперь могу определить, что в нем жила охота к силе, к человеческой привязанности, к добру. Но все в нем являлось порывами, ненадолго. Если правда, что

и такие способны к человеческой любви, он любил одну только меня. Но любил бы и другую, если б женили на другой.

Мне было жаль его. Помогала глазами: «Ударь меня, ударь! Тогда смогу тебя ненавидеть. Я с первого дня тебя ненавижу, но ты моей ненависти не заслужил. Заслужи, заслужи! Ударь меня!»

И он ударил.

Смешно и мягко ударил. Даже не попал кулаком. А я обрадовалась и упала, будто не выдержала его силы.

— Теперь ногой, ногой! — учил свекор.

Жайнак со слезами на глазах ударил меня по лицу ногой. И убежал.

Ночью, прижавшись ко мне, плакал. Просил прощения. Клялся, что не мог ослушаться приказа отца, но больше никогда этого не сделает. Он не спрашивал, откуда мыло, ни в чем не упрекал. Просил, чтобы поцеловала.

Полная отвращения и злобы, я прошептала в ответ:

— Проси громче! Во весь голос проси! Тогда поверю в твою любовь.

А он опять заплакал. И мне почудилось, что даже слезы его дурно пахнут.

На другой день Серкебай увидел на лице моем синяк и прямо спросил:

— Муж? Да? Зарезать его, что ли? Поганый гнилячок — и он туда же!

Казалось, Серкебай побежит в наш аил, разыщет Жайнака и разделается с ним. Я любовалась его яростью. Мне страшно было, что могу этим любоваться. Ясно видела: вот вбегает в юрту, вот выхватывает из-за пояса нож, вот льется кровь Жайнака... Настолько ясно видела, что первый раз в жизни смогла заглянуть еще дальше: увидела, что Кумайык прыгает на Серкебая, что кул швыряет Серкебая на землю, что все мужчины аила топчут его...

— Уходи! — закричала я Серкебаю.— Уходи и не смей больше приходить... Хочу, чтобы ты остался жив. Чтобы и весной, и летом, и следующей зимой видела тебя живым! У проруби больше не появляйся.

Я кричала и топала на него ногами, стоны и слезы рвались из меня. В том, что делалось со мной, не было никакого железа. Но я представляла, как он лежит мертвый, брошенный в грязь и Кашкоро торжествует над его трупом, сверкая глазами от радости...

Серкебай меня понял. Никогда раньше не обнимал — теперь вдруг обнял, но я его оттолкнула и сказала:

— Я тебя боюсь...

Но я не его боялась, а себя. И он видел и слышал, что не его боюсь, а себя. И он ушел. Всегда уходил быстро, а на этот раз было видно, что каждая нога весит три пуда...

...Весь остаток зимы я послушно шила все, что мне приказывали шить.

А как же так, спросите вы, швейная машина заработала без починки? Я обыкновенными клещами выправила за минуту то место, где закрепляется игла, и машина снова застрекотала, делая все, что нужно. Неужели, видя это, свекор и свекровь не догадались, что я их морочила? Проще всего такой ответ: они закрыли глаза на мои хитрости для одного того, чтобы я шила. Может быть, и так. Такое объяснение годится. Но в нашей юрте, во всей семье Кашкоро что-то такое творилось. В народе говорят: если начало гнить — обязательно отгниет, если все время кипит — обязательно выкипит и сгорит. Наверно, всегда было в семье Кашкоро, что скандал заходил за скандал и драка за драку. Но раньше, пока свекор не торговал, а я не шила, пока не приходили к нам покупатели и заказчики, бай был баем. Теперь все изменилось. Разве могло быть в прошлом году, чтобы в белую юрту самого богатого человека входили женщины примерять свои обновы, чтобы там стоял торг, чтобы осмелился кто-то высказать недовольство? Такого быть не могло. Наш бай опустился до мелкого купечества, об этом заговорил весь кыштак, и над баем стали посмеиваться.

Кончилось вот чем. Трудно поверить, но это правда. Произошел случай, когда я с восторгом и уважением глядела на то, что делал мой свекор Кашкоро.

Настала пора откочевывать к летним пастбищам. Как всегда, за день до отъезда в нашу юрту собрались на бешбармак именитые люди. Они сидели в кругу очага и вели неторопливую беседу, ожидая угощения. Разговор был о деле. Надо спокойно определить путь каравана, наметить нынешнюю летнюю стоянку, разгородить примерными границами будущие пастбища. Такой разговор аксакалов не допускает присутствия женщин. Одна только свекровь хлопотала над досторхоном. Она раскладывала блюда и ножи и следила за казаном... Пока идут приготовления, почтенные гости говорят вполголоса. В те годы не уважались торопливость и деловитость. К серьезному подбирались издалека. Сперва делились разными воспоминаниями, перебрасывались шутками. Обычай запрещал нарушать спокойствие предварительной беседы.

Но было так, что еще не все заказы я выполнила и потому сидела, склонясь над машиной, которая стучала и шумела. Свекровь иногда приоткрывала занавеску и торопила меня.

Свекор недовольно откашлялся, а потом стал отхаркиваться, что было признаком закипающего в нем гнева.

— Эй, женщины! — закричал он.— Прекратите!

А тут свекровь осмелилась сказать:

— Осталось совсем немного. Как же нам быть?

Наступила гробовая тишина. Я не видела, что там, за ситцевой занавеской, но поняла — будет буря.

Жена, если она и произошла из богатой и знатной семьи, обязана помнить свое место. Мало ли что ей позволено, когда остается в кругу семьи. То дело мужа. Разрешает быть разговорчивой или даже драчливой — во внутренние дела семьи никто не вмешивается. Но допускать в присутствии достойных аксакалов словесные возражения мужу — это неприличие, стерпеть которое означает полную потерю своего лица.

Я говорила — такая возникла тишина, что можно было ждать только ужасного... Я увидела на краю занавески волосатые пальцы свекра. В следующее мгновение сжался кулак, и Кашкоро сильным рывком сорвал занавеску. Он вскочил с шырдака. Он весь заклокотал и заплевался. Он не мог дышать — сипел и трясся. Он смотрел на меня, как разъяренный бык. Стрелой я вылетела за дверь. За мной по ветру понеслись раскроенные куски материи, потом ножницы, потом катушки с нитками... Я спряталась за дерево. Бай продолжал бушевать. Схватив машину, выскочил с ней, и я видела, что хочет осторожно поставить на землю; выходит, он еще соображал. Но тут в юрте среди аксакалов возник гул, я услышала чей-то смешок. Бай сверкнул в ту сторону глазом и, не зная, что делать, заплясал на месте. Тогда-то и созрел его гнев: рука с машиной поднялась в воздух, закрутилась над головой, и он шваркнул ее о камень. Посыпались и покатились колесики и пружинки... Кашкоро захохотал и обрадовался. О аллах, как он обрадовался своей смелости и свободе! Влетал в юрту и вылетал. Швырял под ноги куски дорогой ткани и затаптывал в грязь. Визжал, как визжит плачущий верблюжонок, мычал подобно быку и блеял не хуже барана. Это снова был настоящий бай, а не купец-торговец, не ремесленник — не сапожник и не портной.

Аксакалы хохотали и выли от радости. Повскакали с мест и одобрительно хлопали своему баю.

Так вернулись к нему власть и уважение старших в роде.

* *
*

Снова мы поднялись на джайлоо и поставили юрты в красивом месте, близ реки. Я сказала — в красивом месте. Но место было похожим на прежнее, красота его находилась внутри меня. Я ждала, что будут перемены, я дышала глубже обычного, смотрела и вправо и влево, любовалась скалами, ручейками, родниками. Мне даже нравился вольный скот, что пасся вокруг аила. Я часто подымала на руки ягнят и, прижимая к себе, целовала их мордочки. Пес Кумайык чувствовал мое настроение и провожал меня, когда шла к реке. Он играл со мной, заглядывая в глаза. Пролетающие птицы тоже смотрели в глаза и спрашивали: «У тебя счастье, у тебя счастье?»

Так слышалось мне обыкновенное чириканье.

Дома все понимали, что я становлюсь другой. Каждый по-своему видел прорастающее во мне железо, крепость мою и гордость. То, что я выросла и расцвела, подметил даже мой свекор: я ловила на себе его мужской взгляд. Жалела, что камча в его руке, а не в моей. Если б в моей — огрела бы его меж глаз, как он огрел того знаменитого верблюда.

По тому ли, что в глазах его я стала женщиной, или от страха перед охотником Токтором, свекор и после случая с машиной ни разу меня не ударил. Зато не переставал подзуживать сына:

— Боишься ее! Вот погоди, отделим тебя в собственную юрту и, если жена примется бить, не заступимся...

При этом он хохотал и маслянисто поглядывал на меня.

Любил ли, уважал ли Жайнак своего отца? Он не мог уважать, мог только бояться. Вряд ли знал, что Кашкоро не отец. А узнал бы — ничего бы для него не переменилось. Разве только Белек еще больше стал бы презирать. Да, Белек презирал брата. Шустрый, бойкий и злобный, удалью в свои девять лет он был взрослее Жайнака. Мог вскочить на любую лошадь и гнать ее во весь опор. Один раз вскарабкался на молодого бычка и, держась за рога, проскакал по всему аилу. Бычок сбросил его на чью-то юрту, хотел затоптать, но подоспели вовремя люди и спасли мальчишку.

В Жайнака он из-за скалы швырял мелкие камни; если Жайнак торопился на игры. Белек натягивал на его пути аркан, и грузный недотепа с разгона шлепался в траву. Один раз Белек до того дошел, что поставил волчий капкан, а брату сказал, что в том месте лежат под кустом зайчата. Жайнак попался ногой в капкан, исцарапался, изранился, но отцу и матери ни-

чего не сказал — плакал передо мной. Если раньше иногда его жалела, теперь жалеть не хотела. Боясь злобы отца, Жайнак при нем не подходил. Но случалось, мы были рядом, а Кашкоро входил в юрту. Тогда Жайнак торопился меня упрекать, поругивать, а то и замахивался рукой. Совсем извелся: душой сочувствует мне, а делает, что велит отец. То слегка ударит, то примется душить. Он не всерьез душил и не всерьез бранился, но я предпочла бы настоящие побои: сильнее бы зрела моя правота...

...Долго, долго не видела Серкебая. Как-никак их аил на другой стороне реки, верст за десять. Я могла бы и этого не знать — наши аилы враждовали, никто ни к кому не ездил. Раньше ставили юрты поблизости, но после какой-то ссоры располагались в отдалении. Каждый раз, выходя с ведрами, я искала глазами Серкебая. Однажды это увидела девушка Мейиз, поняла, кого ожидаю. Она тоже поглядывала через реку с надеждой. Понимая, что Серкебай выбрал не ее, девчонка меня возненавидела. Говорю «девчонка», но эта Мейиз была моего роста и моей силы. Я видела — готова вступить в драку. Мне было ее жаль. Я не способна была дразнить, как дразнила ее Зейне. К тому же мои чувства к Серкебаю никому поверять не желала. Но Мейиз зашипела, подобно змее:

— Скажу твоему Жайнаку — он тебя убьет.

— Что скажешь? Что он меня любит? Что я его люблю? — я сказала это с горечью в голосе.— Донеси лучше свекру моему Кашкоро! — Я не шутила, и девушка, зная лютость Кашкоро, взглянула на меня с ужасом. Я продолжала: — Помоги мне умереть! Донеси свекру, что видела, как мы с Серкебаем целовались.

— Я этого не видела,— сказала Мейиз.

Она вдруг стала робкой и непонятливой. Пропали злость и ревность. Что с ней случилось? Откуда вдруг робость?

— Ну,— опять начала я,— что же ты? Беги, клевещи... Ах, девчонка, девчонка! Если б знала, как горит все во мне. Ты живешь с любимой матерью, с отцом и братьями, а я отдана в клетку зверей...

Она слушала, отворив глаза. Так бывает с ягненком. В зрачках удивление и нежность — не налюбуешься.

— Почему же ты не плачешь? — касаясь моей руки, спросила Мейиз.— Почему не убежишь, если жить тебе невмоготу?

— С кем бежать? Куда?

Эта большая, широкая в кости девочка, созревшая для мужских ласк, на глазах моих превратилась в дитя. Ее грудь всколыхнулась. Задыхаясь от жалости и слез, она прошептала:

— Хочешь, я найду Серкебая? Не для себя. Хочешь, найду и скажу, что ты его ждешь? Правда, хочешь?

— А увидишь его, и опять твое сердце закипит?

— Нет, нет! — с восторгом вскричала Мейиз.— Я помогу тебе бежать, я приведу вам лучшего коня. Если... Если ты сумеешь все скрыть и никогда не скажешь, кто тебе помог.

Я слушала и не верила ушам. Такого слышать не приходилось. Обрадовалась за нее.

— Милая,— сказала я ей,— дорогая моя подружка...

С этими словами я горько заплакала.

Давно так не плакала. Упала в траву и каталась, ужас жег мое тело. Я рыдала от жалости к себе, оттого, что мир так хорош, что красивы цветы, что сверкает под солнцем река. Зачем я вижу все это? Зачем Серкебай открыл мне глаза?

Мейиз села возле меня:

— Утешься, успокойся! Я сейчас побегу. Завтра он будет здесь...

...Она выполнила свое обещание. Серкебай пришел. Мейиз сторожила нас, предупреждала. Я говорила ей, что не боюсь, но она не верила и каждый раз, если кто приближался, просила нас разойтись.

Я умоляла:

— Коня, скорей достань нам коня!

— Но тогда вы убежите,— отвечала Мейиз,— и я вас больше не увижу. Ни Серкебая, ни тебя. Подождите несколько дней, дайте мне справиться с собой.

Нам надоела эта Мейиз. Она неотступно следила за нами, мешала нам.

Однажды я попросила:

— Дорогая подружка, не мучай нас — уйди. Мы сами решим, как нам быть.

Тогда она сверкнула глазами и опрометью побежала в сторону аила.

И тут же прискакал на коне Жайнак. Он довольно ловко соскочил и сразу же бросился в драку, попробовал свалить Серкебая. Тот, смеясь, его оттолкнул. Сбежался народ. Их разняли. Я успела спрятаться в кустах, но ведра мои остались на берегу, и люди поняли, из-за кого возникла драка.

Тогда еще не задумывалась, гораздо позднее стала удивляться, почему не вмешивался свекор. Не знать он не мог. Когда уже все случилось, я поняла его коварный замысел.

После первой драки с Серкебаем Жайнак стал меня бить по-настоящему. Научился. Попадал куда надо. Свекор этому радовался, а свекровь кидалась из крайности в крайность. Све-

кор радовался по одному тому, что видел: я все сильнее и сильнее разгоралась против нелюбимого его сына. Свекровь, раньше всех догадавшись о Серкебае, сперва допустила до зимних наших встреч, а теперь боялась, что, если не будет Серкебая, поддамся соблазну с Кашкоро. Распутная с девичества, зная сладость измены, она и меня полагала такой же.

Поняв свою семью, я с каждым днем смелела. Поверите ли, с той поры, как Жайнак взялся меня поколачивать, я обрела дар речи. Только он замахнется, я говорила, подражая свекру:

— Вонючка! — кричала я.— Зажиревший козел! Не боюсь тебя! Возьми против жены камень, возьми топор. Хочешь, тебе принесу...

И тогда он плакал. Увидев его плач, свекор хохотал и Белек хохотал, а свекровь убегала куда глаза глядят.

Я начинала догадываться: свирепость и сила — не одно и то же.

Как-то раз, когда в юрте никого не было, свекор подошел сзади и обнял меня. Я думала — будет душить. А когда сообразила, чего добивается, сильно ударила в живот и лениво встала в двери. Повернув лицо в глубь юрты, сказала:

— Еще раз так сделаешь — заору на весь аил!

Набравшись храбрости или отчаяния, я бросала ведра и уходила вверх по берегу в скалы. Туда подводил отару Серкебай. С трудом преодолев бурную реку, он появлялся передо мной мокрый. Я хохотала, глядя на него. А он начинал петь. Пел резко и сильно, птицы не выдерживали, подымались с древесных веток и кружились над нами, как бы прося прекратить песню. Тогда и я присоединялась к Серкебаю. Он пел одно и то же, только на разные мотивы:

Целый день гляжу со скалы...
Ночью лежу, не смыкая глаз,—
У страстно влюбленной красавицы
По ком бьется сердце...

Вот это и называлось песней Серкебая. Эту песню повторяла вся молодежь аила. Вот ведь как — знали, что Серкебай из другого рода, из чужого, враждебного аила, но песню его признавали своей.

Когда случалось подолгу не видеться — весь белый свет казался немил. Какие только мысли не шли в голову, о чем только не думала... С Серкебаем тоже так: он признавался, что, если не встречает меня, в душе растет черная туча.

Сколько раз он говорил, а я за ним повторяла:

— Бежим куда глаза глядят!

Я вам скажу, дорогие, Серкебай был мальчишкой. Сильный,

здоровый мальчишка. Все в нем дрожало от любви. Но знал одно — пел, сколько угодно мог петь. Куда и как бежать — Серкебай придумать не умел. Может быть, и не думал. «Если б был конь... Ах, если б был конь!»

Мейиз обещание не выполнила. Она от нас пряталась. Зейне мне рассказала, что девчонка бросилась на шею своему отцу — просила отдать ее за Серкебая. Отец избил ее в кровь. Она была хорошая, с доброй душой, но с глупой головой... Говорю так, будто моя голова была умней. Нет, нисколько я не была умна. Зато с каждым днем росли во мне дерзость и хитрость. Чтобы чаще видеться с Серкебаем, я позволяла свекру ласкать меня взглядами. До того дошла, что, проходя мимо, покачивалась вроде молодой кобылки. Спиной чувствовала, как горит по мне. Он был сильный, очень сильный старик, но трусливый. Он был бешеный и свирепый, но боялся утратить положение и богатство: этим летом еще больше ходило караванов, еще дороже стали платить за шкуры и шерсть. Жадность разгоралась у всех богачей, а у Кашкоро вдвое больше, чем у всех вместе.

Он был способен взять меня силой, если б не боялся народного гнева и суда бия. Он облизывался, глядя на меня, стал даже обещать щедрые подарки, кончил же тем, что подстроил страшную подлость, которую я предвидеть не умела...

...В один из вечеров, когда много надо было воды на самовары, чтобы напоить чаем купцов, я пошла по воду... Нет, не пошла — побежала. И это увидел Жайнак. Свекор тоже увидел — кивнул и подмигнул Жайнаку. Я заметила, но мне все было нипочем. Еще не закатилось солнце. Серкебай, как увидел меня, сразу же и запел. Недолго думая, и я запела. Было новолуние, и голос мой так звонко и ясно звучал, словно подбодренный ранней луной. Отражаясь от скал, мой голос превратился в хор. Казалось, не скалы со мной поют, а все аильские молодухи. Вода была видна мне более светлой, чем обычно, журчание реки — веселым и счастливым. Все вокруг сияло и грело меня. Сердце билось не только в груди, но и в руках и в голове. Радость жизни вошла в меня. Блеяние овец, ржанье лошадей, мычанье коров, лай собак — все мне слышалось дивной песней. Уже давно шло жаркое лето, но для меня была в тот вечер яркая весна. Это собственная моя весна запала мне в душу, никогда ее не забуду. Это было счастье.

Но я это счастье потеряла.

Нет, не потеряла — проклятое время прогнало, утащило, отбросило, испугало.

Красив не тот, кто красив, а тот, кто красиво любит. Неказистые глаза Серкебая виделись мне озерами любви. Резкий

его голос слышен мне был как ласковый и нежный. Все бы глядела и слушала — для меня весь свет был в нем.

Он перешел реку в глубоком месте, только голова оставалась снаружи. То было время таяния горных снегов, река переполнилась. Серкебая относило течение, он мог разбиться о камни, но все равно шел и все время пел... Когда вышел на берег и постоял с минуту, чтобы стекла вода, я заметила, что на том берегу чем-то испуганная отара метнулась в сторону и побежала. Я показала Серкебаю. Он рассмеялся и махнул рукой.

— Пусть будет что будет!

Кинулся меня обнимать. Мокрый, холодный, но мне показалось — горячий, как солнце.

Вдруг заржал конь. Оглянулись — стоит Жайнак. Когда он спешился? Он стоял бледный и весь трясся.

Он схватил с земли пустое ведро и стал меня им бить. Я упала. Взглянула из-под ладони: вот кинулся на Жайнака Серкебай. Охватил сильными своими руками шею Жайнака, зажал под мышкой, подвел к берегу и толкнул в воду. Сам прыгнул за ним. Только поднимется голова моего несчастного мужа — Серкебай опять сует ее в воду... Так быстро неслась вода, что я думала — оба погибнут... Жайнак пробовал кричать, но Серкебай окунал его лицом, не давая дышать.

Я давно вскочила и смотрела, окаменев от ужаса... Вот вышел Серкебай, вот подбежал ко мне. Я ничего не могла — даже поднять руки не могла.

Серкебай вскочил на коня Жайнака, ухватил меня за шиворот и попробовал поднять. Я не в силах была ему помочь, а он, ослабленный борьбой, дрожал от холода, мокрая его рука соскальзывала, он снова хватал меня... И вдруг, сама не понимая, что со мной сделалось, я закричала, как никогда не кричала раньше, и стала отбиваться...

Со всех сторон бежали мне на помощь люди. Серкебай, обняв шею лошади, кинулся вскачь. Он заставил лошадь прыгнуть в воду. Река понесла его вместе с лошадью.

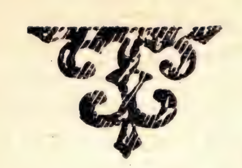
Я бежала и кричала. Платок слетел с головы, ветер растрепал мои косы. Я так страшно кричала, что люди расступались передо мной, принимая меня за безумную.

С диким воем я вбежала в нашу юрту.

Я упала к ногам свекра.

— Убил, убил, убил! — повторяла я, разрывая на себе одежду.

Свекор, свекровь, а за ними и приезжие купцы и все люди аила побежали к реке.



Глава пятая,

в которой джигитов распаляют для кровавой мести, а потом обманывают и предают ради собственного обогащения.

Тело захлебнувшегося Жайнака нашли на другой день. Все избитое, изорванное речными камнями. Привезли и уложили на вершине холма.

Об этом я слышала, но труп своего мужа не видела. Меня так избили, что лежала в полусознании. Голова все-таки работала. Я мечтала, чтобы Серкебай убежал и остался жив. Больше ни о чем не мечтала, не верила, что когда-нибудь увидимся. С меня не спускали глаз. Если бы даже и могла ходить, ни один человек в аиле никуда бы не пропустил.

Крики и шум не прекращались ни днем, ни ночью. Байская юрта стала всем доступна. Кто хотел, тот и вбегал, чтобы плюнуть в меня и оскорбить. Вбегали не только мужчины, но и женщины, даже молодухи. Одни лишь девушки входить не решались.

Я ждала, что меня подвергнут страшной казни. Могли привязать к хвосту кобылы и протащить по камням, могли разорвать вдоль тела или привесить на ветку дерева вниз головой. Находились у меня и защитники — те, что раньше всех прибежали и заметили, как Серкебай, вскочив на коня Жайнака, пытался меня поднять за шиворот. По их словам выходило, что Серкебай готовился меня похитить, а я сопротивлялась.

Эти разговоры шли среди людей невластных и незначительных. Ждали суда аксакалов, но без согласия Кашкоро он состояться не мог. Свекор не имел минуты покоя, его звали, он сам уезжал, возвращался, что-то такое кричал, но при этом я успела понять: ему хотелось оградить меня от расправы. Еще не сообразила, не додумалась, что не кто-нибудь, а он послал Жайнака драться с Серкебаем. Послал одного, зная, что Серкебай сильнее и готов на все... У меня только мелькали

эти подозрения... У меня все мелькало, подолгу думать не могла, надо было отгораживаться от плевков, ударов ногами, надо было слушать проклятья и визг, брань и угрозы...

...Как я собрала и соединила в памяти все, что происходило в те дни у нас в аиле? Конечно, многое узналось потом. Но немало я поняла, еще лежа избитой в юрте. Если собирались мужчины — они забывали обо мне. Лежа, как рваная ветошь, я старалась ничем себя не выдать. Не плакала, не стонала. Могла бы вытерпеть любые муки. Если бы спросили, что было у меня с Серкебаем, я бы ответила: «В с ё!» Я бы выкрикнула кому угодно, пусть бы меня потом жарили в огне. Мое железо в избитом теле пока что было не острым, а тупым. Но железо было. Я его в себе чувствовала. Хотела ли жить? Одно могу сказать — в тот момент наложить на себя руки не мечтала. Приняла бы смерть от людей, приняла бы молча, но и от жизни бы не отказалась. Упорно думала о своей любви к Серкебаю, но любовь найти в себе не могла. Жестокое убийство, которое он совершил на моих глазах, испортило для меня ласкового и любящего Серкебая. Разве нельзя было связать или даже стукнуть, но оставить живым? Мы бы вскочили на коня Жайнака и находились бы теперь далеко, за пределами трех хребтов, где-нибудь в лесу, и никто бы нас не нашел. Неужели и Серкебай такой, как многие? Неужели бьет ради крови, убивает ради ненависти? Так думала. И вдруг озлоблялась. Тогда вместе с Серкебаем убивала Жайнака, радовалась крови и тому, что тело моего мужа никогда не поднимется для жизни.

Ах, что было с псом Кумайыком! Бедный, он совсем потерялся. Он был с нами, давно свыкся с Серкебаем. Когда началась драка, визжал и выл, оглядываясь на меня. Он не примкнул ни к тому, ни к другому, даже не рычал. Злой сторож и охотник — он видел во мне, и только во мне, свою хозяйку. Если б приказала — кинулся бы на того, в которого ткнула бы пальцем. Но я ему там, на берегу, ничего не приказала... Теперь, пользуясь суматохой, то и дело приползал ко мне. Был случай — заметив возле меня Кумайыка, злой мальчишка Белек стал бить его ногами, но пес не огрызнулся и не убежал. Терпел. Белеку надоело — ему хотелось быть среди мужчин, и он ушел.

Вот что помню дальше.

Помню, что до дня похорон свекровь находилась среди женщин в другой юрте и пребывала в долгом плаче. Не знаю даже, винила ли меня в смерти сына, хотела ли мне казни или берегла для более страшного.

В народе вспыхивала и постепенно разжигалась жажда мести и крови. Многие требовали от свекра, чтобы не терял времени и отдавал приказ к началу похода.

— Набег! Набег! — требовали воинственные.— Погибнем все до единого, но уничтожим батыркулов. Они взялись нас губить, неужели оставим им убийство без расплаты!

Наконец свекор, взобравшись на камень, собрал мужчин аила и сказал, чтобы готовились.

Прибежала ко мне Зейне — она сидела за кустом и все слышала. Она мне рассказала:

— Твой свекор о тебе не говорил — ни о любви вашей, ни о встречах. Зато напомнил, что́ в последнее время, за три года, делали с нами батыркулы.

Не только Зейне — нашлись и другие молодухи, которые прятались и слушали. Из их рассказов я собрала картину.

Один за другим подымались джигиты, и каждый вспоминал разное, чтобы разжечь ненависть к батыркулам. Начали выяснять личность и родство убийцы. Кто-то сказал, что Серкебай не только чабан бая Батыркула, но и его дальний родственник. От этого сообщения люди нашего аила расшумелись еще пуще. Кто-то, чуть не сам Кашкоро, повернул дело так, что Серкебай был подослан убить. Что давным-давно искал, кого убить. Вспоминались все раздоры. Высказывались, что наши соседи батыркулы из года в год придираются и ждут причины напасть, увести скот, женщин и детей, а всех мужчин убить. Искали, искали — и вот нашли повод для войны.

Полтора года назад в аиле Кашкоро был большой той, на который пригласили соседей. Во время козлодранья джигит из аила Батыркула плеткой огрел нашего почтенного старца по голове. Из-за этого пирующие разделились, и началось побоище. Если б не налетела гроза с бурей и ливнем, уже и тогда могло быть много убитых. Только улеглись страсти после того скандала, как-то в день праздничных скачек лошадь аила Батыркула вырвалась вперед и была близка к победе. Тогда, как говорили батыркулы, Жайнак подкараулил у выезда из оврага и бросил палку под ноги передней лошади. Она, споткнувшись, упала, перевернулась и сломала себе шею. Наездник, маленький мальчишка, племянник Батыркула, вывихнул руку... Когда мне рассказывали, я не поверила, что Жайнак мог бросить палку, скорее это сделал Белек, но старший брат охотно принял на себя этот подвиг. Он, как только увидел, какая случилась беда, ускакал по склонам гор и, весь дрожа, прятался от преследования. Так или иначе за Жайнаком утвердилась эта смелая подлость, и он был доволен.

Люди из аила Батыркула подняли шум. Они все свалили на аил Кашкоро, заставили через бия выдать им первый приз, отобрали у кого-то из наших породистого коня и только тогда успокоились. Аил Батыркула был побольше нашего. Зато Кашкоро имел в подчинении еще несколько малых аилов, которые поднялись бы по его приказу. До сих пор к этому не было причин. Теперь к ним послали гонцов. Надеясь, что гонцы расскажут и обо мне, я мечтала, что вместе с джигитами дальних аилов прибудет и отец. Мой отец... О господи, за два года ни разу его не вспомнила; может, уже нет его в живых?..

Говорилось у бугра, где собрались мужчины, и о том, что батыркулы слишком занеслись. От гордости своими ничтожными победами в байге * и в козлодранье не знали, как еще себя показать. Вспомнили, что какой-то сумасшедший из батыркулов поджег наши зимовки: едва удалось потушить пожар... В те годы не знали, что такое сенокос, как заготовлять траву на зиму. Скот круглый год кормился на выпасе — поджечь перед снегопадом сухие зимние пастбища было равносильно джуту и могло вызвать всеобщий падеж скота. В ответ на поджог и наш аил подпалил другим годом батыркуловские зимние травы... Раздоры так разозлили оба аила, что любой шорох способен был вызвать битву. Я уже раньше говорила: люди враждующих аилов давно перестали друг друга посещать. Были даже такие крайние случаи — родители, возвращая калым, отбирали у батыркулов своих дочерей, отданных в тот аил.

За день до похорон Жайнака к его телу, все еще лежащему на холме, были допущены женщины. Собрав все свои силы, я поднялась, чтобы пойти для прощания с Жайнаком. Я видела, как мечутся, вздымая руки к небу и выкрикивая проклятья убийце, многие наши молодые и старые женщины. Две из них, заметив меня, подбежали с безобразными ругательствами и уже протянули руки, чтобы изорвать мое лицо. Их обозлило, как до сих пор сама не расцарапалась. Таков был обычай — жена по смерти мужа обязана была рвать на своем лице кожу, чтобы все видели кровь... Не ожидая, пока меня будуть мучить другие, сама себя с большой охотой начала раздирать ногтями; тонкая кожа повисла на лице лохмотьями, и кровь хлынула на грудь. Мне расплели косы, набросили на голову черную шаль и, обведя кругом распухшего и гниющего тела бывшего мужа моего, увели обратно в юрту.

В тот предпохоронный день у нас творился такой громадный шум, что редко были слышны отдельные голоса. Только один

* Байга — скачка.

голос возвышался над всеми. А может быть, когда он появлялся, другие затихали. Это был знакомый мне голос, который два года назад, в день моего приезда, донесся сквозь занавеску,— гундосый голос старика, убившего на состязаниях Кару Непобедимого. Теперь я увидела его. Безобразный, с провалившимся носом, сгорбленный, редкобородый — он был слаб и жалок, но и теперь воинственность его не знала удержу. Казалось, щелчка довольно, чтобы свалить этого крикуна, однако ж давняя слава делала его уважаемым и властным. К нему прислушивались, от него ждали советов, многие его поддерживали.

Заскочит в юрту, побранит меня, выскочит за дверь и там тоже бранит. Гнусавым своим голосом требовал от свекра:

— Эй, Кашкоро, огради нас от этой твари! Все знают ее вину, никто ее не простил. Нельзя, чтобы в день похорон тучей темнила память погибшего твоего сына. Остриги ее, посади на коня спиной вперед и отправь к родителям в знак позора! Таков обычай наших предков. Не смей обходить обычай! Не смей!

Как бы соглашаясь, свекор кивал головой, но ничего не делал. Он стонал от боли утраты или притворялся, что стонет. Гундос не успокаивался:

— Сегодня доконала твоего сына, завтра примется за тебя. Это ведьма, это сестра всех змей — она причина всех наших бед...

Свекор отмалчивался. Но от слов Гундоса другие люди начинали вскипать, требовать для меня наказания. Был момент, когда уже тянулись руки, чтобы схватить и разорвать. Как вдруг у нашей юрты появился охотник Токтор. Проехал, вернулся и еще раз проехал. Ни слова не говорил, но ружье держал наготове. На него было кинулись, но Токтор не испугался. Постоял молча, а потом спокойным голосом предупредил:

— Кому надоела жизнь — нападайте! Мне все равно, как помирать. Смерти не боюсь. У кого есть желание уйти из жизни вместе со мной — лезьте на меня, тяните!

Обрадовалась ли я защите Токтора? Нет, я другому обрадовалась: он меня не забыл. Рискуя собой, приехал с дальних гор для одного того, чтобы защитить несчастную.

Тогда вскочил со своего места Кашкоро, в два прыжка оказавшись перед охотником. Думала — начнется потасовка. Но вышло по-другому. Свекор приказал людям отойти подальше, а сам громким голосом стал рассказывать Токтору, как люди Батыркула убили Жайнака. Стал говорить, что сын его — жертва за всех...

— Я знаю, Токтор, ты всюду ходишь, везде тебя уважают. Сам болуш не прогонит тебя, если захочешь с ним говорить...

У нас кое-кто требует суда и расправы над Аруке. Батыркулы были бы рады. Добившись среди нас кровавого бесчинства, в час переполоха они бы всех нас истребили. Скажи, Токтор, не можешь ли поехать к Батыркулу и потребовать возмещения за сына?

Свекор принялся уговаривать Токтора, хвалить его, как самого меткого стрелка, способного загнать в норы людей целого аила.

— Поезжай и напугай их, а, Токтор! Надо будет — застрели за моего Жайнака сына и внука Батыркула...

В ответ на слова Кашкоро Токтор так сказал:

— Не будь смешон, бай! Ты хочешь убийства нагромождать на убийства. Я не волен остановить вашу вражду. Не гожусь я и в судьи между вами. Люди опаснее зверей. Хочешь, чтобы не ты в своем аиле убил меня, и посылаешь за смертью к Батыркулу? Ха-ха-ха! Не так глуп Токтор, чтобы идти по твоей указке. Кто более виноват — тот, кого послали убить, или тот, кто, защищая, убил нападающего?..

Общий гул прервал слова Токтора:

— Уходи, убирайся, пока цел!

Но, помня силу его заклинаний, не тронули. Не тронули, но и не захотели слушать. Жажда боя с батыркулами разожгла людей, и даже Кашкоро их бы не остановил.

Когда немного утихомирились, Токтор сказал:

— Еще раз повторяю: ни ваши дела мне не нравятся, ни дела батыркулов. Помирить вас нет у меня сил. Ни на вашей, ни на их стороне драться не стану. Но тот, кто заденет Аруке, будет сражен моей пулей. Эй, Кашкоро! Кто бы ты ни был, запомни это! — с этими словами Токтор не спеша уехал из аила.

Стоило ему исчезнуть из глаз, снова Гундос принялся измываться надо мной. То одних подбивает, то других. Его остановил Кашкоро:

— Что за врага нашел, а?! Неужели одна молодуха все дела наделала? Не она враг наш, давний наш враг — батыркулы. Вот и ты, проклятый аллахом, вместо того чтобы подбивать моих людей на междоусобицу, вместо шакальего визга, который от тебя остался, лучше бы нашел подход к Токтору и привлек нам в помощь. Кто не знает его влияния у болуша!

Гундос задохнулся от гнева, однако, поняв, что Кашкоро не допустит расправы, не решался больше подзуживать против меня...

...В одну из ночей способные к сражению, лучшие джигиты аила стали совещаться. Два кузнеца с подручными до утра ковали наконечники для копий. У всех по юртам собрали ружья

и привели в порядок. Понаделали дубинок, палок с висящими на ремнях свинцовыми шарами. Уже стали собираться к нам бойцы из подчиненных Кашкоро аилов. Среди них моего отца не оказалось. Я не решилась спросить у приехавших, как живут мои родители. В общей суматохе никто бы мне и не ответил... Напившись кумысу, самые крикливые, поплевав на ладони, хватались за дубинки и крутили над головой, разжигая в себе ярость и предвкушая победу. Молодых учили сражаться пиками. Гундос отстал от меня и охотно показывал приемы боя с пикой... Несколько человек послали в разведку к аилу Батыркула. Они вернулись ни с чем: будто там тихо. Но им не поверили.

Из соседней юрты поднялась и дошла до моих ушей протяжная женская песня. Это был хор плакальщиц, среди которых возвышался тонкий и сильный, неведомый мне, чужой голос молодой женщины. Как положено по обычаю, плакальщицы касались в словах своей песни не только жизни и смерти джигита — моего мужа, но и меня. Тот высокий сильный голос, который пересиливал всех, упомянул страшную жестокость ко мне со стороны свекра моего Кашкоро. Приближенные бая стали на это роптать. Один из них, подойдя к женской юрте, прикрикнул на плакальщиц. Они стихли, пошептались, но через минуту принялись петь еще громче...

Уже много было пропето едких и обвинительных песен. Разойдясь и разохотясь, плакальщицы намекали, что царственный бай превратился в злодея. В плаче говорилось, как меня, слабую и ничтожную, терзали и угнетали, не подпуская к ясному свету жизни; как я оказалась в безвыходном положении и полюбила добрый и хороший нрав Серкебая; как осталась без него, утонувшего в реке...

Я не знала, никогда не надеялась, что женщины станут жалеть меня и сочувствовать мне. С упоением и слезами слушала я, как оправдывают каждый мой шаг, но, когда донеслось, что Серкебай утонул... что со мной стало, чуть не вскочила: откуда они знают? Правда ли это? Может, и его труп лежит где-нибудь на холме?

Я не могла об этом думать долго, меня привлекали все новые и новые песни голосистой плакальщицы. Понемногу другие женщины из хора замолкали перед ней. Наверное, хотели вдоволь насытиться ее смелостью и бунтарством. Песни рождались в ее устах сами собой. Нельзя было не дивиться — откуда все знала. Даже знаменитые акыны не способны были столь широко захватывать жизнь нашего народа, как делала это в своем долгом плаче неведомая женщина. Она коснулась всей истории

киргизов: плакала, что маленький народ разделился на многие племена; что племена эти грабят друг друга, совершают набеги, кровавые побоища, убивают мужчин, оставляя толпы женщин вдовами, а детей — сиротами... Потом стала открыто петь о разных несправедливостях и мерзостях, творимых во имя Кашкоро. Она упомянула тех, кто стал палачами над женщинами и девушками. Не побоялась назвать имена самых жестоких. Кто-то из аксакалов ворвался в женскую юрту и ударил главную плакальщицу ногой.

— Прикрой свой рот! — заорал он.

Однако, распалившись от самозабвенных песен, женщины вытолкали старика, а незнакомка, протянув руки в сторону холма, где еще лежало тело Жайнака, стала петь:

— Подбитый отцом жестоким, познавший его свирепость, зачем, о зачем, несчастный, ты взялся судить счастливых? Зачем, не имеющий силы, зачем, никому не милый, ты взялся судить счастливых, ввязался и разлучил их?.. Тебя провожаем плачем о тех, кого гонят в битву, чтобы мстить за твою ошибку, за то, что ты был убит... А ты был убит не ныне, тебя убивали с детства, тебя убивал отец твой, как неродного сына. Народ тебя будет помнить, как помнит убогих братьев, гниющих еще при жизни, пасущих свои болячки... Слушай, как матери плачут, слушай, как сестры плачут. Один лишь не плачет палач твой: он алчет новых смертей...

Кашкоро вздулся от ярости. Он приказал джигитам избить эту пришлую. Два кула схватили и потащили ее. Плакальщицы пробовали отбить запевалу, царапали кулов, плевали им в лицо, но те скрутили голосистую и куда-то поволокли. Ей заткнули рот, и все-таки изредка доносился страшный вопль, в котором слышно было не столько страдание, сколько возмущение.

Все затихли, ожидая, что будет дальше. Люди переглядывались. Нельзя прекращать плача по убиенному, музыка плача должна продолжаться, пока не унесут покойника. Разъяренные женщины молча ждали справедливого решения; в их молчании жил дух бунта, их молчание было страшнее крика. Кашкоро, тяжело вздыхая и потеряв себя, смотрел в потолок, будто решение должно прийти с небес. Понемногу начал нарастать шепот недовольства, и приближенные бая все громче и громче вели между собой спор. Одни говорили, что за оскорбления, которые плакальщица наносила мужчинам и самому баю, ее надо примерно наказать. Другие выразили сомнение: если в соседних аилах узнают, как измывались над главной плакальщицей, хорошего не будет. Кто-то вспомнил, что есть святое правило и давний обычай, который нарушать не пристало: в плаче над

покойником женщины могут свободно изливать свои мысли и правду жизни. Слова плача приходят с неба. Нарушение обычая может повлечь скверный слух и презрение в других аилах. Это рассуждение вызвало среди аксакалов длительное раздумье, которое в конце концов принудило Кашкоро изменить прежний приказ. Он распорядился вернуть пришлую плакальщицу. И вот женщину ввели к нам в юрту. Лицо ее было окровавлено, и я не могла понять, сколько ей лет. Но, судя по одежде и по тому, как держалась, можно было догадаться, что сил в ней много, она молода и побои нисколько ее не сломили. Тут же узнали от нее и от других женщин, что незадолго до убийства она приехала в аил погостить. Это все, что узнали: никто из женщин не пожелал сказать, чья она гостья. Можно было понять, что нарочно запутывают. Конечно же, голосистую певунью кто-то пригласил, а теперь боится сказать.

Никогда еще я не видела, что женщины могут держаться против мужчин столь дружно и ожесточенно. Это была борьба за свободу под предводительством приехавшей, на которую все наши женщины смотрели с надеждой и гордостью. Ею восхищались. Это было заметно по восторженному общему одобрению каждого ее слова и движения.

Кашкоро, пошептавшись с аксакалами, дал им какие-то распоряжения, и вот все наперебой принялись обхаживать и успокаивать главную плакальщицу. В знак признания ошибки на нее накинули богатую шаль и одели ее в бархатный чапан. Один из аксакалов, кланяясь перед ней, сладким голосом заговорил:

— Не следует ошибку принимать за нашу дикость и неуважение к обычаям. Тот, кто признал свое недомыслие, неужели не достоин прощения?

Забыв все свои горести, я с восторгом души смотрела на гордую и сильную. Почему ее не убили? Почему даже сами аксакалы признают ее победу? Неужели обыкновенная женщина с обычной кровью и обычной плотью может противостоять грозной силе мужчин? Если так... Если так...

Я не могла додумать свои мысли, но чувствовала, что поведение этой женщины рождает во мне небывалую решимость. Правду сказать, еще не понимала, на что надо решиться, для кого и для чего.

Плач этой женщины слышен мне был сильнее, чем ружье Токтора, его заклинания, обещания и угрозы. Токтора боялись, его считали неприкосновенным, но никто им не восторгался и от его слов не зажигался дрожью свободы. В этой женщине был дух, воспламеняющий слабых и угнетенных. Дух бунта.

Такой сильный, что аксакалы предпочли как-нибудь утихомирить плакальщицу, только бы не возмутить против себя слитную силу своих жен и невесток.

Говорю так, однако мои объяснения ничто в сравнении с тем, что видела и слышала. Поведение и поступки людей нередко бывают столь удивительны, что найти их стройность не сможет и мудрец. Труднее всего поддается объяснению ход действий людей темных и безграмотных.

Лучше буду говорить, как было.

После поклонов и просьб о снисхождении к ошибке старцы умоляли женщину продолжать плач. Но при этом хоть не приказывали, но просили обойтись без обвинений бая и его приближенных.

— Кроме правды, петь ничего не могу! — ответила пришлая и долго стояла молча.

Тогда свекор, как главный, стал уговаривать сам. Он предложил женщине чаю, он стал мягким голосом расспрашивать, откуда она родом, когда и где вышла замуж, где муж ее. Женщина угощение отвергла, напомнив, что плачущие должны соблюдать строгий пост, иначе святость плача будет нарушена. Быть может, Кашкоро стремился вызвать нарушение — тогда была бы причина выгнать приезжую. Его озадачила ее догадливость. По лицу свекра заметно было, как удивлен и обескуражен.

— Меня зовут Акзыйнат! — блеснув глазами, впервые назвала свое имя плакальщица.

Волна удивления и шепот страха и восхищения прошли по всем, кто был в юрте.

Сказав свое имя, Акзыйнат сбросила дареные одежды и властным голосом сказала:

— Пусть два джигита проводят меня до перевала. Петь я больше не стану!

Ее не пробовали задержать. Кашкоро склонился перед ней и приказал лучшим джигитам сопровождать гостью. Ей подвели коня, на котором приехала. Оказалось, что конь этот в прекрасном седле с серебряной чеканкой. Оказалось, что в курджуне у нее богатый чапан на меху. Быстро одевшись, Акзыйнат вскочила на коня. Я увидела, что с лица ее исчезли кровоподтеки и какие-либо следы побоев. Красота ее была нестерпимой для глаз, как красота солнца. Конь Акзыйнат мгновенно опередил коней провожающих, и джигиты, смущенные, вернулись.

Может быть, это сказка, примешанная к моей правде? Но так было или так осталось в моей памяти, я сказать не могу...

Кроме того, узнала, что известная всем в народе Акзыйнат много раз была убита оскорбленными баями; девять, а может, и девяносто девять раз она была убита, но всегда возвращалась в жизнь и являлась туда, где ее ждали все женщины до единой, и это больше всего пугало не только баев, но и всех злобных мужчин.

Все женщины до единой — лишь при этом условии Акзыйнат являлась по зову.

Если в это верить, надо верить и в то, что моя свекровь Макмал звала ее вместе со всеми и вместе со всеми хотела правды.

Как могло это быть?

* *
*

На поминки Жайнака свекор не пожалел скота. Поставили много юрт для гостей со всей округи. Под видом поминок он пригласил всех, кто способен был помочь ему в отмщении. Откуда только не прибывали люди! Три дня аил кишел всадниками из разных мест. Всюду кипели казаны с мясом, специальные джигиты верхом развозили бешбармак. В одном месте колют скотину — коров и кобыл, в другом — колют баранов. После исчезновения Акзыйнат свекор дал приказ привезти из разных аилов лучших плакальщиц; никто из них превзойти исчезнувшую не смог. Так много в разные стороны было разослано гонцов на поиски пропавшей, что жены посланных собрались отдельной кучкой и громко молились о благополучном их возвращении, боясь, как бы не случилось, что таинственная и несравненная Акзыйнат навсегда увлечет их в неведомые пучины.

Меж тем кипела подготовка к большому набегу. Подбирали коней, каждый джигит навешивал на себя снаряжение. Бойцов определили в отряды по роду оружия. Отряды развели по юртам и принялись усиленно кормить. Каждой группе назначили командира и дали ему строгую задачу делать то или иное. Одни, испытывая коней, скакали вокруг аила. Другие, назначенные для связи, везли куда-то и кому-то письменные донесения. Мулла — единственный знающий грамоту человек — совсем измучился, составляя послания и читая ответы.

И вот наступила ночь.

Возле нашей юрты собралось множество всадников. Все тут были из нашего рода.

Свекор, облачившись в расшитый халат, опираясь на точеную палку, величественно вышагивает перед всадниками, на-

морщив чело и раздуваясь от воинской спеси. То и дело он осведомлялся, кто прибыл и кого еще нет. С вновь прибывшими он говорил, одобрительно и льстиво склоняясь.

Когда, наконец, стало известно, что главные силы в сборе, свекор велел стать кругом и, поднявшись на высокий камень, принялся держать долгую речь, возбуждая в каждом ненависть и бесстрашие. Он напомнил о многолетних кознях Батыркула и каждую минуту требовал общего вопля, доводя джигитов до исступления. Наконец он кивнул стоящему возле него громадному широколицему джигиту непомерной силы. Тот повернулся лицом на восток и в торжественном молчании ждал команды.

Тогда Кашкоро возвышенным голосом произнес:

— Мы клянемся!..

Он кивнул широколицему, тот выскочил из круга и тут же приволок черного барана.

— Мы клянемся,— повторил Кашкоро,— и всякий, кто нарушит клятву, пусть будет зарезан, как этот черный баран. Аминь!

Вслед за этим всадники спешились и нестройным хором повторили:

— Клянемся, клянемся, клянемся!

Значение клятвы было всем известно: под угрозой собственной смерти не щадить врагов.

Повторяя клятву, каждый боец проделал мусульманское омовение.

Я не могла этого видеть, и ни одна женщина не могла видеть. Однако вездесущая Зейне, не боясь божьего гнева, подсматривала в дырку сквозь кошму. Думаю, что в каждой юрте в ту лунную ночь женщины и дети сделали маленькие отверстия и смотрели.

После молитвы и омовения широколицый, высоко подняв над головой, чтобы все видели, живого черного барана, с размаху кинул его о землю и, подобно зверю, прыгнул с ножом, ловко попав в нужное место. В одно мгновение он перерезал горло барана и подставил под хлынувшую струю крови широкий таз. Когда кровь перестала течь, джигит с глубоким поклоном протянул Кашкоро таз с дымящейся, горячей кровью.

Владетельный бай в знак того, что принимает клятву, опустил руку в кровь, брезгливо тряхнул пальцами и отошел в сторону. Вслед за ним один за другим стали подходить джигиты, и каждый опускал руку в кровь.

Когда все прошли, из тени выбежал тот Гундосый, в прошлом именитый батыр, который был все время впереди, а сейчас

прятался. Видно, не смог удержаться в своем убежище и выскочил на свет. Он стал оправдываться, что замешкался с омовением.

Презрительным голосом Кашкоро сказал:

— Что ты можешь сейчас другое! Болтаешь оправдания... Не толкись среди храбрых и не мешай храбрым... А вы, краса и гордость нашего рода, помните — кровью черного барана все мы дали клятву сплоченности и бесстрашия. Если помирать — быть нам в одной яме, если жить — быть нам на одной вершине. Никто не смеет отступать, всякий уклонившийся будет проклят навеки и казнен позорной казнью! Трусу уготована смерть черного барана. Предателям пощады нет!

Я слышала его, а потом узнала от Зейне, как красив и велик свирепостью своих восклицаний был в ту минуту свекор мой Кашкоро.

С блеском в глазах Зейне шептала:

— Он помолодел, стал красивей всех джигитов, властность сделала его высоким и могучим...

Я оттолкнула Зейне.

— Джигиты! — слышала я голос Кашкоро.— Готовьте коней! Расходитесь по своим отрядам и во всеоружии ожидайте приказа.

В юртах каждый отряд получил казан с бешбармаком. Насыщались поспешно, зная, что это не ужин, а лекарство сытости, нужное для подъема сил.

И вновь по приказу собрались у нашей юрты. И вновь Кашкоро стал говорить. Он сказал, что сейчас будет совершен набег на Батыркула. Он протянул руку к отряду в двенадцать всадников и приказал командиру:

— Отправляйтесь, но скачите не по тропам и не по камням, а мягкой землей и травами. Встретив любой табун или косяк лошадей Батыркула, заворачивайте и гоните сюда. Нам надо обезлошадить батыркулов раньше, чем проснутся... Коров не трогать! Овец не трогать! Если окажут вам сопротивление табунщики — не жалея, убивайте. За убитых вы не в ответе. Отвечать буду я! — Он распростер руки.— Да не пронзит вас смертная пуля, да минует вас неудача! Пусть наградой вашей станет победа! Аминь!

В знак счастливого ознаменования и как бы присоединившись к благословению бая, туча закрыла свет луны, прикрывая чернотой своей черное дело...

Вооруженные джигиты рванули с места в сторону аила батыркулов. Сколько-то времени еще виднелись фигуры всадников, но вот они исчезли за скалой, и потом стало слышно, как

забурлила вода реки в том месте, где лежал высокий брод. Свекор долгим взором провожал свой первый отряд. Когда не стало ни видно, ни слышно, он неожиданно для всех схватился обеими руками за ворот и, задыхаясь, тонким голосом призвал дух предков, чтобы пришли на помощь его силе. На виду у джигитов вождь и военачальник всех монолдоров стал звонко и бешено рыдать. Его рыдания были непременной частью исступления и ярости; все это так и понимали. В голосе рыдания звучала мольба перед аллахом о даровании победы над родом батыркулов.

Вой и крики всадников поднимались к небу грозным рокотом. Как вдруг невесть откуда прогремел по камням восточного ущелья цокот копыт какого-то всадника.

Сразу же стало тихо.

Тогда из темноты, обгоняя коней, пришел звучный и стенающий голос — голос, оплакивающий утрату, голос страждущего и тоскующего,— так вступает в поверженный горем аил всякий друг этого аила. Таково требование киргизского обычая.

Влетел на разгоряченном вороном жеребце сверкающий украшениями седобородый всадник в богатой зеленой чалме. Одетый в бархат и красные сапоги, благородный всадник ловко спрыгнул на землю, не заботясь о том, где станет его конь. Под стать всаднику и конь его красиво застыл и, задрав морду, громко заржал, как бы присоединяясь к плачу своего хозяина.

Когда конь замолк, царственный великан заговорил протяжным плачем:

— О-о! Как смотреть мне на тебя... О-о! Не смогу теперь поднять свой взор к твоему взгляду, великий и сильный брат мой Кашкоро!

Он долго пел слова траурного привета, всем видом своим и всей слезливостью речи вызывая почтение джигитов.

Вряд ли и свекор сразу определил в полутьме, что за гость перед ним. Поняв только то, что знатный и почтенный, он в ответ склонился и присоединил к его плачу свой плач о сыне, то и дело утираясь от набегавших слез и тем самым все еще не способный разглядеть представшего перед ним.

Богатому гостю спешно поднесли воду для омовения, а потом аксакалы под руки ввели его в юрту.

В юрте же успели засветить большую керосиновую лампу и тут вдруг увидели, что перед ними сам великолепнейший Батыркул.

Тот самый Батыркул, на чей народ готов был набег, готова была война, готово было убийство и кровавое уничтожение.

Тот самый Батыркул, который уже девять лет не выходил ни на одно пиршество, где мог бы встретить человека из рода монолдор.

Тот самый Батыркул, которого проклинали и которого считали злейшим врагом и лютым ненавистником нашего рода.

Теперь уже я сама видела и слышала: каждое слово и каждое движение, камешек к камешку, укладывались в моей памяти.

Этот большой седобородый красивый старик сидел, склонившись с выражением истинной грусти и тоски... Скажу вам, дорогие, я почти не видела его одежд — настолько сильное чувство шло от его фигуры и лица. Как-никак за годы жизни в байской юрте я повидала многих почтенных по тому времени людей. Нередко приезжали из волости. Однажды оказался среди гостей даже и сам разукрашенный всякими пряжками и браслетами болуш. Он пугал пристальным взором и важностью, но мне был смешон тем, что перебирал ногами, как женщина, и говорил писклявым голосом. Такого же человека, как Батыркул, встречать не приходилось. Теперь способна определить: лицо его виделось умным и значительным; в то время понимать этого не могла. Однако каждый замечал не только по одежде, но и по тому, как держался, что человек родовитый и знающий себе цену... Забыла упомянуть: зеленая чалма на голове Батыркула означала хаджу: он трижды совершил паломничество в Мекку.

Вот удивительно — не зная грамоты, никогда не видев ни одной книги и не получив сведений о странах мира, даже не разбираясь в том, где лежит наш Киргизстан, каким-то образом я со слов людей впитала, какое большое, интересное путешествие по дальним странам совершал каждый паломник к святым местам. Не со страхом смотрела я на Батыркула, а с уважением. Вот слово, которое употреблять не приходилось.

Незначительным умом своим я догадывалась, что и все люди, перед которыми явился глава враждебного рода, не сразу решатся оскорблять его: и им Батыркул внушал своим видом уважение, преодолеть которое не просто...

...Когда-то в добрый час муж мой Жайнак схватил меня за руку и повел в обход кустарника, а я не понимала, куда ведет. Оказалось, что на полянке дрались два фазана. Фазаниха, серая и некрасивая, шагала неподалеку с безразличным видом. Петухи становились друг перед другом, грозно распушив перья. Долго топтались, пугали соперника криком и даже не замечали, что мы стоим и смотрим.

Вот и Кашкоро принял вид разгневанного фазана. Еще не

клевал и не пускал в ход когти, но был ошеломлен и не знал, что делать, притом что не желал всерьез принимать слезы Батыркула. А я верила — мудрый старик, который нашел в себе смелость войти в логово врага, действительно горюет о случившемся. Знал ли Батыркул, что подданный его, а может, и родственник Серкебай убьет? Мог ведь и не знать. Разве известно заранее предводителю стада, почтенному козлу, что среди идущих за ним баранов найдутся два драчуна и сцепятся рогами?

Напыжившись и раздувшись, наш бай Кашкоро не в силах ничего сказать. Конечно, был удивлен, но ведь нелегко решить, надо ли оскорбляться приходом такого гостя или ласково принять, чтобы хитростью выманить богатое возмещение. Подумала я и о том, что вряд ли Батыркулу следовало являться в столь роскошном наряде, намного превышающем красотой воинские доспехи Кашкоро. Может быть, для целей мира следовало (а зачем бы ему приезжать, как не для примирения?) надеть на себя одежду попроще и с признаком траура?

В юрте стало тесно, хотя народу и не прибавилось: допущены были одни аксакалы. Отчего же тесно? Да оттого, что все раздулись. Казалось, сейчас лопнут. Каждый, подражая своему баю, стремился придать взгляду свирепость и непримиримость. У каждого от гнева ходил по шее кадык, топорщились усы и бороды, краснела шея.

Начинать должен был Кашкоро.

— Ой-е! — взвизгнул он для начала.

Это был грозный, не предвещающий хорошего визг мужчины.

Батыркул поднял на Кашкоро скорбные глаза. Догадываясь, что визг перейдет в крик, а может, и в нападение, он небрежным движением отшвырнул к выходу из юрты свою богатую камчу. Это должно было означать: вот, мол, я остаюсь без всего, нет у меня плетки против вас, нет оружия, намерения мои самые что ни на есть мирные.

Чеканная серебряная ручка камчи привлекла взоры многих. Так поступает умный путник, отбрасывая от себя свой посох, чтобы собаки на него кинулись. И верно, один из сторожевых джигитов схватил камчу пришлого бая и быстрым движением заткнул себе за пояс. Другие джигиты злобно на него посмотрели. И даже аксакалы, которым не к лицу было обращать внимание на такой ничтожный предмет, глухо зарычали: каждый из них охотно бы завладел красивой вещью.

Начав с визга, Кашкоро переменил намерение — не стал кричать. Значит, хватило ума: не лучше ли и правда выслушать того, кто пришел?

Тогда, начав с глубокого вздоха, медленно и трудно проталкивая сквозь горло печальные слова, заговорил Батыркул:

— Кашкоро! Хотел бы назвать тебя братом. Хотел бы разделить твое горе. Но случилось так, что принадлежащий мне неразумный букара, глупый и злой, принес тебе и мне тяжкие переживания. Услышав, я, не слезая с коня, направился к тебе. Прости, что не переоделся в подходящий для случая траурный костюм. Я был в Джумгале, час назад вернулся и потрясен горестной вестью. Собака свершила гнусное свое дело, и чудесные черные глаза сына твоего сомкнулись навеки. Не знаю, куда себя деть. Ах, жалею, что земля тверда и не пускает в нее провалиться... Слушай, Кашкоро, отдаю свою голову во искупление, весь скот свой отдаю! Пожелаешь — руби мою голову, которая и без того глядит в могилу! Я не тот, который поднимет на тебя руку. Разве моя жизнь дороже, чем жизнь сына твоего Жайнака?!

Все, кто был в юрте, оцепенели, как цепенеют змеи при звуке свистульки. Готовые кинуться по первому зову, не могли не слышать разумности и почтительности речи великолепного бая. Но даже почтительность эта и уничижительность, вложенные в округлые фразы, не только не успокаивали, но и раздражали приближенных Кашкоро, вызывали зависть, так как никто из них гладким слогом не обладал.

Между тем Батыркул, не замечая враждебности или желая ее смягчить, продолжал, как начал:

— И правда, Кашкоро, если положишь отсечь ради справедливости виновную мою голову, тотчас же сниму ремень и повешу себе на шею. Согласно обычаю опущусь перед тобой на колени... Ах, лицо мое покрылось черным налетом позора. Хотя и не было меня в аиле — должен был предвидеть. Что за дело тебе, кто из нас убил — мой букара или я сам? Выбирай любую кару... Наши табуны и отары в давние годы паслись на одних землях, мы были единым народом, жили соединенным аилом. Не смотри как на врагов, смотри как на родственников. Не считая, что несчастье произошло преднамеренно, поверь — собачье дело совершено собакой. Жайнак твой сын, он и мне сын. Когда вру или обманываю — не пережить мне эту ночь. Как могу скрыть от тебя, что не скрываю от самого аллаха?.. Мы давно приметили Жайнака, и моя старушка поговаривала, как было бы хорошо, если б выдали свою дочь за старшего твоего сына. Но достается не тому, кто ищет, а тому, кому суждено.

Зачем он это сказал? Я болела за него душой, так хотелось верить, а теперь поняла: хитрит, оттягивает время. Как мог

сказать, что отдал бы свою дочь за полудурка? Кто в такое поверит?

Сладкоречивый Батыркул продолжал:

— Слушай, Кашкоро! Нет на всем белом свете существа, способного к вечной жизни! Владевший всем миром Сулайман и тот давно похоронен. Не только Сулайман, но и Манас ушел. А что было с Джаныпом?* Если с такими великанами случается, что говорить нам?! Одного смерть настигает в воде, другого — в огне, а третьего — от рук убийцы. Кого минует предначертанное судьбой?.. Чтобы пережить горе вместе, не как бродяга, не как враг, я как родич приехал. Предки наши не близки, но зато аилы стоят по соседству. Не касалась моя рука, но коснулась рука моего чабана. К тому же убийца не из дальних мест, не приблудный, сознаюсь — он даже приходится мне дальним родственником... Потому я никого и не стал посылать, а явился сам. Наказывай меня, и только меня! Не трогай моих людей — они ни в чем не виновны...

Он еще долго говорил и готов был продолжать, не понимая, что и красивая песня должна иметь конец. Первым нарушил течение его речи тот самый Гундосый, плешивый и дурной, грязный и безобразный, который славен был прошлым, а теперь приносил вместе с собой зловоние.

— Хи-итрец! — закричал Гундос.— Словами думаешь отделаться, словами?! Не верьте этому разодетому шакалу! Чего смотрите! Даете время на разговоры, когда кровь его, нам нужна кровь его. Нам нужны кости его, жилы и поджилки! — Он подбежал кривобоким шажком и рванул с Батыркула его шелковую чалму. Все ахнули, увидев такое святотатство. Но Гундосу показалось мало. Он напялил чалму хаджи себе на голову, а свой рыжелисый тебетей зажал под мышкой.

Это-то и спасло Батыркула от расправы. Гундос виден был в богатой чалме, как корова под седлом. Сколь ни страшен был час, сколь ни напряжены были все, кто тут собрался, не смогли удержать смеха. Поняв, что совершил глупость, Гундос тут же и скинул чалму, да еще и поддал ее ногой. Но поделать ничего уже было нельзя. Люди рассмеялись, а когда смеются, не могут убивать.

Так первый сигнал к расправе и убийству сам собой отпал, и это дало Батыркулу силы говорить дальше. Кажется, он сообразил, что пышность речи может так же вредить, как и пышность костюма. Теперь принялся искать выход.

---

* Сулайман (или Сулейман), Манас и Джаныл — герои киргизского эпоса.

— Моя голова опозорена,— тихим и приниженным голосом заговорил он.— Теперь ты старший. Пришел и жду суровой встречи и спокойных проводов. Если, главы двух аилов и родов, мы с тобой не договоримся — смерть сотен и сотен последует за нашей ссорой. Слушай, слушай внимательно, Кашкоро. Найди в себе нарушенную гневом мудрость. Времена бывают разные. Сейчас нам, киргизам, уничтожать людей своего народа — значит совершать дело, ослабляющее и разрушающее общее единство близких по крови... Если же ты и твои приближенные аксакалы найдут путь к примирению во славу предков и на пользу современникам нашим, потомки подымут твое имя как имя великого миротворца, и ты достоин будешь всенародных почестей. «Если приходят с повинной, прощают даже смерть отца» — так говорят. Эти мудрые слова завещали нам предки...

Батыркул расстегнул пряжку и повесил пояс себе на шею. Медленными движениями он опустился на колени перед Кашкоро и опустил седую голову.

Кашкоро подал чуть заметный знак, и кровавомордый джигит, телохранитель его и кул, снял с шеи пришлого бая богатый пояс, принадлежность человека, облеченного властью, и застегнул на себе. Это было высшим оскорблением. Раб в поясе повелителя...

Видно было, что Батыркул при всей своей широко известной важной пышности решил стерпеть что угодно. Не знаю, как другие, я восхищалась его умом и благородством. Пожертвовать жизнью ради народа — не всякий бай на это способен. Значит, оставались и среди них люди. Разве не знал он низкой свирепости соседа? Знал, не мог не знать. И все же решился.

Опять выскочил Гундос. Как же хотелось ему возродить былую свою славу, как старательно высовывался, чтобы аксакалы отдали ему честь первого среди жестоких!

— Хочет взять языком — отрежем ему язык! — завопил он.— Посмотрим, чем возьмет болтливый! Дайте его мне, дайте, дайте! Я от безделья в старости своей позабавлюсь, бритвой разрезая на мелкие лепестки.

Кашкоро сидел без движения, отвернув взгляд от Батыркула. Одному богу известно, что творилось в его смрадной голове. Одно было ясно — Гундос, сам того не желая, помогал Батыркулу: зависть к давней славе гундосого батыра, ненависть к нему и боязнь, что тот возьмет верх над ним, заставили Кашкоро вести себя против собственных желаний. Если по призыву Гундоса люди кинутся и растерзают Батыркула — конец и ему, Кашкоро, как вождю рода. Это будет означать, что не его приказ, а приказ Гундоса действует на людей.

Хорошо помню: Кашкоро сидит, крепко обхватив колени, и поглядывает из-под бровей на одного, на другого, на третьего — проверяет. Он должен, должен сохранить власть. Иначе придется покинуть свой народ и уйти, как уходят нерешительные.

Аксакалы помнили, как только что был смешон и жалок Гундос. Встать под его власть, выполнить его волю, признать главным?.. Они раздумывали и ждали.

Поняв, куда перевешивает, Кашкоро с едва заметной злобной улыбкой начал:

— Вот что скажу тебе, Батыркул. Братом не назову, в объятия не кинусь, мира от меня не жди. Запомни: если погибнет джигит из вашего аила, если потеряется скот, с нас не смей взыскивать. Не успокоимся, пока не получим кровь за кровь. Не смиримся без большого возмещения... Ты оставил своих телохранителей за скалой, думая, что за цокотом твоих копыт мы не услышали мягкий ход неподкованных лошадей...— От этих слов Батыркул передернулся, но, не сказав ни слова, еще ниже склонил голову.— Хитрость твою мы разгадали,— продолжал Кашкоро,— джигиты, которых взял себе в охрану, давно связаны... Смотрю на тебя, и кровь во мне пламенеет от жажды отрубить поганую твою голову! — Он заскрипел зубами, и тотчас же, как по сигналу, кровавомордый джигит в поясе Батыркула встал за спиной пришельца.— Едва держусь,— говорил Кашкоро,— одной только властью ума одолеваю нож свой и руку. Ты пришел сам — одно это останавливает казнь над тобой. Это, и только это! А что, если б не пришел? Твой аил окружен моими людьми, нет щели для бегства, тебя бы поймали и привели. И тогда... и тогда отрезал бы болтливый твой язык и бросил собакам, отрезал бы голову и насадил на копье, чтобы торчала пугалом для всех, кто осмелится коснуться волоса хоть бы одного из монолдоров... Счастлив твой бог, Батыркул,— видно, смерть еще не пришла к тебе. Все муки, которые ждали тебя, помог отвести вот этот! — Он ткнул пальцем в Гундоса.— Знаменитый батыр, победитель Кары, заживо сгнил и страшное сделал смешным. Он, он, как шут, разбавил наш гнев дурацким хохотом... Что ж, Батыркул, на этот раз дарую тебе жизнь. Но... этим не кончится. Я не тот, кто поднимает руку на вошедшего в мой дом. Жажду по-настоящему померяться с тобой силами, жажду отмщения. Ты видишь — мы готовы ко всему. Расскажи своим родичам!

Батыркул подхватил его слова и принялся переиначивать на свой лад. Он бормотал, что самая страшная казнь не в том, что могло быть, а в том, что уже было; что, как только узнал о

гибели царственного Жайнака от руки преступника, связанного с именем собственного его аила, черви совести извели его душу; что в словах Кашкоро, столь жестоких по значению, содержится милосердие и мудрость; что остаток своей жизни посвятит молитве за счастье Кашкоро и его народа.

Довольный собой и приниженностью великолепного Батыркула, Кашкоро размяк. Заметив это, Батыркул поджал под себя ноги и сел на колени. Его осенила полезная мысль — внезапно принялся бить поклоны и громко читать молитвы.

Согласно шариату, когда читает кто-либо молитву, все находящиеся вблизи должны умолкнуть. Вот и у нас в юрте после долгого шума стало тихо. Батыркул поднял голову, чтобы с выражением и с благостью звучали слова его молитвенной мольбы. Временами он не только говорил, но и пел подобно мулле. А так как люди помнили его духовное звание, они слушали с приличествующим случаю выражением; нашелся благочестивый человек, подобрал с пола зеленую чалму хаджи и водрузил на голову молящегося. Один лишь Гундос отплюнулся и заворчал, но и это ему не сошло: бородач, стоявший с ним, так ткнул его кулаком в бок, что Гундос всхлипнул и задохнулся от неожиданности.

Батыркул, закончив одну долгую суру из корана, принялся за другую и, только окончив вторую, трижды возгласил: «Кулку воллаху!» * После чего он распростер руки. Держась подобно изваянию, он стал перечислять имена предков Кашкоро. Голос его то подымался до верхних тонов, то переходил в шепот...

Душа моя ликовала. Так радостно было видеть и слышать человека истинного ума.

Как бы в ответ на мои мысли один из аксакалов не удержался и громко воздал должное находчивости и мудрости Батыркула. За ним и другие признали талант бая-хаджи: им редко приходилось слышать такое благолепное чтение корана... Кашкоро же сразу уловил, как вредна ему подобная перемена в приближенных. Чтобы умерить их пыл, он диким криком завопил:

— Мой Ры-ыжий! Где ты, мой Рыжий?! Режь для Батыркула жертву!!! — с этими словами Кашкоро так страшно расхохотался, что лица всех, кто тут был, вытянулись и покрылись смертной бледностью.— Э-эй, Бекмерген, где твой самый длинный нож, где твоя самая сильная рука, где смерть в твоей руке?

Кровавомордый только и ждал этого приказа: сейчас он пригнет кого угодно, зарежет кого угодно, выплеснет богу любую кровь, распутает кишки и сделает из них аркан.

---

* Молитвенное заклинание.

— Мой Ры-ыжий! Выбери самую хорошую лошадь и зарежь!

При этих словах уже выходивший было из юрты кровавомордый обернулся и выдернул из-за голенища нож.

Уже начинался рассвет.

Яркая синева дальних гор обнажилась перед глазами людей.

Кровавомордый двумя шагами и одним прыжком оказался возле призового коня Батыркула. Схватив его за узду, подвел к двери юрты. Он попросил благословения на убой.

Желая позлить Батыркула, Кашкоро сказал:

— О гость! В юрту не введешь такую большую скотину, выйдем и произнесем благословение.

Маленький старик с раздвоенной бородой, что сидел неподалеку от моей постели, почесал затылок и так сказал:

— Ну-ка, ну-ка, поднимайтесь! Посмотрим, что поднесет нам Батыркул!

Старцы, которые всю ночь сидели без движения, поднимаясь, охали: «О моя поясница... О мои колени!»

Гурьбой они повалили за дверь.

И тут Батыркул, который не мог не переживать ожидаемого оскорбления и ужаса, улучил минутку, чтобы приблизиться к Кашкоро и что-то ему шепнуть. Я услышала только, что он снова упомянул свою поездку в Джумгал. И еще поняла: он хочет поговорить с Кашкоро с глазу на глаз.

Кашкоро на мгновение задумался, во взгляде его сверкнула алчность... Что это могло означать?

Я не способна была найти объяснение тех или иных поступков, не знала даже подходящих обычаев и законов. Однако не могла не удивиться, как за спиной аксакалов преобразился Батыркул. Лицо его стало подобным лицу Кашкоро. И в нем я тоже подметила хитрость и алчность.

Вспоминая позднее, через годы и годы, я уяснила себе, каковы были отношения между владетельными баями и народом. Каждый бай считался полновластным царьком, однако ж во всех крупных решениях должен был опираться на старейшин — аксакалов. В тот раз Кашкоро испугался: а вдруг кто-либо из стариков заметит его перешептывание с лютым врагом? Он решительно двинулся вслед за всеми к двери; самым последним пошел Батыркул.

Обо мне забыли, считая, верно, что крепко сплю. Но я не могла спать, притаилась как мышь. Оставшись одна в юрте, прокралась за сундуками к щелке, из которой все было видно.

Как только вышел Батыркул, вороной его конь заржал и глубоко вздохнул. На нем было нездешнее кожаное седло и

богатое снаряжение, он выглядел среди себе подобных, как царственная особа, он был красив и гладок; все знали, и, верно, он сам знал, сколько призов выиграл на бегах и скачках. Теперь конь чувствовал, что дело неладно. Его ноги были уже связаны.

И тут вдруг старичок с раздвоенной бородой, который только в последнюю минуту произнес несколько слов, а до того сидел тихо, заюлил, запрыгал и, как бы заменив Гундоса, пустился дразнить Батыркула.

Заходя то с одной, то с другой стороны коня, он так говорил:

— О, может быть, ошибаюсь, но похоже, рысистый этот конь принадлежит Батыркулу Великолепному... Э-эй, Рыжий, как не боишься ты зарезать эту скотину? Ну, а вдруг Батыркул рассердится? Что тогда станешь делать? Ах ты, баловник! Как же оставишь живого Батыркула без коня? Пешком, что ли, вернется на свои земли владетельный бай? Как, как пойдет пешком, если с детства отвык? Что скажет народ, увидев его пешим? Ах, Рыжий, Рыжий, всегда-то ты был баловником и вот опять решил побаловаться. Ну что ж, принимайся, все равно тебя не уговоришь!

Конь, моля о пощаде и помощи, еще раз заржал. Батыркул стоял бледный как труп, но голову держал высоко. Один только раз искоса поглядел на Кашкоро, напоминая, что им надо поговорить. Свекор резко отвернулся и подал знак маленькому старичку. Тот сказал, кривляясь и гримасничая:

— Батыркул, оказывается, приехал нарочно, чтобы принести эту жертву... Он любит нас и хочет попотчевать свежей кониной...— После этих спокойных слов старичок внезапно закричал голосом высоким и сильным: — Режь, Рыжий, режь! Аминь!

И он сделал жест благословения.

Кровавомордый кул и такие же, как он, резким движением сшибли коня. Несчастный вороной, поваленный в полном снаряжении, бился на земле и полными слез глазами молил о пощаде. Здесь не было ни одного человека, который не знал бы его. Он не уступал приза ни в одном состязании. У некоторых джигитов от жалости исказились лица. Другие напустились на них с криками и угрозами.

Кровавомордый вытер нож о штанину и подошел к шее коня. Батыркул не выдержал:

— Неужели виноват конь, а, Кашкоро?! Чем резать такое изумительное животное, лучше режь меня.

Эти слова не подействовали на Кашкоро.

— Ну, Рыжий, чего ж ты ждешь?! — поторопил он кула.

Кроваволицый с глазами, подобными камню, никогда никого не жалел, но тут заметно дрогнул. Однако ослушаться бая не посмел. Сильно ударил и еще раз ударил в горло коня. Чувствуя, что этот неловкий двойной удар потом на нем отзовется, кул старался работать так, чтобы все время оставаться спиной к баю. Из раны с шумом потекла кровь, ноздри коня затрепетали, глаза покрылись смертной пеленой; забившись в судорогах, конь затих. Кровавомордый развязал ему ноги, кинул нож на его брюхо и, засучив рукава, принялся разделывать тушу.

— Хоть бы сняли седло,— сказал Батыркул дрожащим голосом.— В народе говорят: будешь измываться над травой — возмездие получат твои глаза...

— О могила моего отца! — не вытерпев, подскочил Гундос.— К этому возвращается дар речи! Может, и тебя прикончить с твоим конем, а? Может, настало время вспороть твое брюхо и приготовить жратву для стервятников, а? Стал подымать голову... может, пора голову твою зажать меж двух камней и выпустить из нее всю жижу, а? Дай-ка, Рыжий, твой нож!

Его удержали, не дав дотянуться до ножа.

Кашкоро вернулся в юрту. Вслед за ним вошел и Батыркул. Его трясло, зуб на зуб не попадал, и все-таки, преодолев себя, сказал еле слышно и торопливо:

— Ты делаешь, чего не мог не сделать. Я не виню тебя. Найди, найди, Кашкоро, случай уединиться. Русский царь ведет войну... Сегодня в Джумгале заключали выгодные сделки с военными поставщиками... Ах, дьявол, торговые дела не терпят лишних ушей, а сюда идут старики...

Всем видом показывая оскорбленность и униженность, Батыркул, как бы обессилев, сел на шырдак.

Аксакалы входили не торопясь и тихо переговариваясь. Никто из них не заметил перешептывания баев. Все они полагали, что славно поиздевались над своим врагом...

...Как удивительно, дорогие мои, устроена память. Готова поклясться: в то раннее утро я, избитая и несчастная, умом своим проникала во все хитрости. Да, готова поклясться, что быстролетное сообщение о сделках в Джумгале было мне уже и тогда понятно. Конечно, это не так. Но я видела, что баи сговариваются за спиной народа и его старейшин. Одно то, что поверженный в горе благородный Батыркул мог, преодолевая страх и отчаяние, преодолевая кровь любимого коня и ужас возможной расправы, говорить о тайнах торговли, повергало меня в недоумение.

Старики — народ беспокойный, один надрывно кашляет, другой чихает, отхаркивается, некоторые выплевывают остатки

насвая * на пол возле шырдака, многие вертятся так и эдак, чтобы найти удобное положение. Главным было то, что Батыркул повержен, это веселило каждого.

Видно, уверенный, что Кашкоро не пропустил мимо ушей его сообщение о торге в Джумгале, Батыркул заговорил менее пышно и слезливо, чем раньше:

— Ваше право ругать меня и бить, вы могли бы снять шкуру не только с любимого моего коня, но и с меня, но если не примем во внимание будущее жизни нашего народа — твоего, Кашкоро, и моего,— если не обсудим и не примем решение...— Он приостановил свою речь и оглядел аксакалов, чтобы узнать, слушают ли, а потом продолжал: — Давайте не станем сообщать о происшедшем волостному болушу и бию. Неужели не хватит ума наших двух аилов? То, что дóлжно уплатить волостным правителям как дань за убитого, не лучше ли получить вам?..

...Это была хитрая сделка, которая связывала жадностью всех, кто тут сидел. Батыркул звал аксакалов обмануть волостную власть и тем самым делал старейшин нашего аила соучастниками противозакония. Да, недаром его называли хитрейшим из хитрых. Начал с того, что защищал жизнь своего народа и ради одного этого пришел с повинной головой, готовый к смерти и расправе, а кончил торгом. Конечно, он был на волоске, мог расстаться с головой. Смелость его несомненна, но так ли была благородна его смелость, какой виделась вначале?

— Давайте справедливо решим,— продолжал Батыркул,— справедливо и умно. Испокон веков существует у киргизов обычай: за убийство полагается платить к у н **... Я готов заплатить — требуйте!

Стало тихо. Все жадно переглядывались. Говорить должен был Кашкоро, называть величину куна и определять дальнейшее. Однако он сказал так:

— Мера моего горя необъятна, душа моя горит и не находит покоя. Пусть скажет Музафар,— и он ткнул пальцем в старичка с раздвоенной бородой.— Пусть назовет и перечислит!

Маленький старичок, напустив на себя непомерную важность, поднял руку:

— Первое, чего требую, найди, кто убил Жайнака, свяжи арканом и привези нам. Второе — уплати кун животными, число которых назовем после. Третье — у изголовья могилы Жайнака зарежь кобылицу для народа. Об остальном еще будет разговор.

---

* Н а с в а й — измельченный жевательный табак.

** К у н — выкуп, дань, возмещение.

Решение маленького старичка поддержал Гундос.

— Пусть будет так! — проговорил он и заложил за губу насвай.

Кашкоро продолжал сидеть, свесив голову и насупившись. Этим он показал, что слова Гундоса еще не общее решение. Тем временем вошел молодой джигит. Он принес таз, чогун с водой и принялся поливать всем поочередно на протянутые над тазом руки. За общим шумом о чем-то поговорили Кашкоро и Батыркул, и это опять осталось замеченным одной только мною.

Никогда еще во мне так быстро не мелькали мысли. Внимание мое обострилось. Когда маленький старичок потребовал поймать и привести связанного Серкебая, я сразу же поняла — прошедший слух о его гибели в реке неверен. Значит, Серкебай жив? Ах, а я надеялась на его смерть, надеялась, что смертью искупил убийство. Теперь нужно было снова думать — люблю его или ненавижу...

...Принесли мясо. Огромную груду в огромном блюде. Почетную тазовую кость его собственного коня преподнесли Батыркулу. Неужели будет есть? Я с ужасом смотрела, как спокойно вонзились зубы красивого старика в мясо. Взяв в руки острый ножичек, он отрезал куски у самых своих губ, а потом деловито и бесшумно жевал. Похоже было, что следивший за ним исподлобья Кашкоро с восхищением и завистью оценивает поведение врага. Скорей всего признавался себе, что не сумел бы так держаться, и это его злило.

Среди богатых киргизских баев того времени было еще очень мало способных к хитростям торговли. Купеческие ухищрения узбеков, уйгуров, русских осуждались как что-то низкое и недостойное. Однако в последние два года, когда стремительно возросла цена шкур и шерсти и жадные скупщики проникали в глубь гор, так часто они обманывали владельцев стад и табунов, что баи, почесываясь, начали соображать: в торговом деле кто-то обязательно остается в дураках. Им не хотелось слыть дураками, обогащать других, а самим подсчитывать убытки.

Менялось поведение баев. Стали цениться выдержка и терпеливые раздумья. Стало цениться умение скрывать ярость. Достоинство бая всегда было в крике и несдержанности, в скорой расправе. Жестокость более почиталась, нежели справедливость. Долгое раздумье все понимали как нерешительность или глупость. Но пришло время больших перемен. Яростные и жестокие вдруг заметили, что их обходят в богатстве спокойные, способные к притворству и долгому торгу. Кашкоро был жаден,

хотел приумножить свои богатства. Наверное, понимал, что Батыркул человек новой жизни и новых приемов обогащения. Я говорила — Кашкоро был глуп. Но Гундос и ему подобные были много глупее. Их делали глупыми ярость и поспешность.

Раньше чем сказать последнее слово о размерах куна, Кашкоро долго думал, скрывая это и прячась за тем, что жует, а потому и откладывает разговор.

Внезапно за пределами юрты возник сильный шум. Ржали лошади, кричали люди, кто-то куда-то бежал, визжали и плакали дети. Повелительные голоса требовали остановить косяк, чтобы кони не свалили чьи-то юрты. Догадавшись, что произошло, свекор посмотрел на Батыркула. Тот передернулся, но сумел сохрани спокойствие.

— Вернулся наш отряд! — первым вскричал Гундос, поднялся с костью в руке и побежал к выходу. За ним поднялись все, кроме баев. Теперь они могли поговорить, но очень недолго. Я заметила, что коротким кивком головы Кашкоро дал согласие на как е-то предложение Батыркула. Вслед за тем и они вышли, а я снова прильнула к дырке в кошме.

Кашкоро вскарабкался на камень и закричал:

— Джигиты! Вяжите всех коней косяка! Тех, что годятся к верховой езде, седлайте, и они будут ваши. Я отдаю их вам! Держите у своих юрт. Остальных, незрелых и несильных, режьте, режьте, режьте! Насыщайтесь до полной сытости. Пусть будет ваш праздник. Для вас не только скот — жизни своей не пожалею. Делайте так!

После слов Кашкоро возле него не осталось никого, кроме самых немощных стариков. Но и этих аксакалов он подбодрил идти и хватать лошадей в свою пользу:

— Цепляйтесь за гриву и говорите, что по моему велению этот конь ваш.

Тогда и немощные вошли в гущу косяка.

Всеобщий вой и крик бешеной радости сделали безумным весь аил. Каждый стремился захватить себе лошадь или две, привязать к своей юрте. Безлошадные бедняки-букара старались больше всех. Ни одного коня еще никто не зарезал — желание захвата в собственность увлекло каждого.

Кашкоро сказал Батыркулу, и я это слышала:

— Уходи, и, если спасешься, все будет в наших руках.

Надев поверх своего богатого наряда старый чапан, данный ему Кашкоро, Батыркул, провожаемый собаками, ушел краем селения. Собаки рвали чапан, кусали красные сапоги, но Батыркул шел спокойно, и они по одной отставали.

Охрипнув от долгого лая, собаки откашливались и рысцой возвращались в аил.

Многие люди видели, что Батыркул уходит, но даже не подбежали плюнуть в него — так были заняты растаскиванием косяка. Пришлому баю кричали вслед:

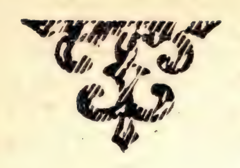
— Получил, подлая собака!

— Будь проклят, убийца!

— Показали вам и еще покажем!

Начались драки между захватившими здоровых и сильных коней и теми, кто получил хромых и увечных, слабых и нездоровых.

Вступил в силу сговор двух баев.



Глава шестая,

из которой становится известным, что слабость и сила женщины могут сливаться в душе и переплетаться, о чем с удивлением и дрожью узнает Аруке. Ее насильно выдают замуж за десятилетнего Белека, после чего в ней снова рождается железо бунта.

Светлое утро началось в общей драке, когда нельзя было различить, где люди и где скот. Я уже говорила: после набегов на чужие табуны джигитам обычно ничего не доставалось. Бай вознаграждал их щедрым угощением, а пригнанных лошадей и всякий иной скот присваивал. На этот раз произошло необычное: Кашкоро, одаряя своих подданных, позволил расхватать весь пригнанный косяк. Все понимали — он так сделал потому, что был не просто набег, а война против ненавистных батыркулов. Сперва обрадовались справедливости бая, и каждый кинулся тащить себе. Однако лошади в косяке были неравноценны. Всякий хозяин желал привязать к своей юрте сильного жеребца, но не трехлетку и не старого мерина. Спор увлек не только джигитов, в него пустились и жены, и недозрелые подростки, и даже дети и старики. Дележ осложнился еще и тем, что в него ввязались люди хоть и родственные, но прибывшие из дальних аилов. Они тоже тащили, тоже хватали за гривы. Им кричали, что кони взяты в отмщение за нашего убитого, а у них никто не убит... В диком переполохе вооруженные отряды расчленились и потеряли свое лицо, наступил общий беспорядок, ослабивший войско. Все позабыли, что настоящий бой еще впереди.

Батыркул ушел. В суматохе ускакали и его телохранители. Они нашли своего повелителя и доставили его домой.

Всего этого я не видела и видеть не могла, но в памяти тот день живет во всех красках и страстях. Готова поручиться, что нет и слова лжи в моем рассказе.

Вскоре разнесся слух, что батыркулы огромным войском вышли напасть на наш аил. Слух был распространен неведомо кем: разведчики посланы не были.

Начальники отрядов давно позабыли, кто состоит в их под-

чинении, подчиненные потеряли своих начальников. Теперь каждый боялся, что придется не только вернуть захваченного коня, но и расплатиться жизнью за неправый набег. Общая сутолока и взаимные укоры привели к отчаянию. Женщины стали молить во имя спокойствия и сохранения жизни младенцев вернуть батыркулам захваченный косяк. Даже некоторые аксакалы, испуганные возможностью быстрой мести, стали убеждать народ:

— Мы поторопились, разделили нам не принадлежащее; мы потеряли сплоченность и воинскую доблесть; мы навлечем на себя страшную ненависть; взаимная резня из-за Жайнака охватит сотни и сотни; погибнут лучшие люди, киргизов станет меньше. Хватит междоусобиц! Бросать надо гибельную привычку требовать кровь за кровь!

Среди всех голосов возвышался голос, принадлежащий тому самому старичку с раздвоенной бородкой, который издевался над пришлым баем. Прежде воинственный — теперь он сеял сомнения, и, что удивительно, Кашкоро ему не препятствовал.

Гундос оставался на прежнем.

— Не трусь, Кашкоро! — вопил он.— Аллах дает жизнь и аллах забирает. Пусть идет своим войском Батыркул — я сам распорю его брюхо, а внутренности кину собакам!..

Может, и правда Гундос стремился погибнуть, но среди остальных аксакалов преобладало сомнение. Беспорядок, рожденный поспешной дележкой, пугал их, крики женщин и детей показали, как ослаблялась общая решимость. Один полуаксакал, который только входил в старость, но уже был в том возрасте, когда к его мнению прислушивался народ, вскочил на скалу и оттуда закричал сильным голосом:

— Эй, проклятый Гундос! Что тебе, кроме крови и вопля! Если двое повздорят — один из них ты. Не слушаясь собственной старости, зовешь в драку, а сам прячешься. Подумай хоть раз: отряд пригнал косяк из табунов Батыркула. Пригнать-то пригнал, но сумеем ли уберечь? Неужели враги наши не смогут повторить содеянное нами? Есть и в аиле батыркулов неудержимые джигиты — дай только команду, и рванутся. В давние времена мудрый сказал: «В пылу ярости срубил чужую голову, а сам свалился в яму и жду казни!» Не лучше ли, джигиты, найти умное решение?..

...Видно, в то утро верх взяли женщины. Их вдохновили Акзыйнат и общий дух рассудительности, дошедший до единения и бунта. Они стали кричать:

— Отдайте чужое, но сохраните нам и нашим детям жизнь! Не хотим страдать за погибшего в глупой драке вонючку

Жайнака! Отдайте коней, иначе все передеремся, иначе отберут не только свое, но и принадлежащее нам.

Кашкоро ходил согнутый и хмурый. Кончил тем, что сорвал с себя военные доспехи и закричал:

— Мир, мир! Пусть батыркулы заберут свой косяк — выгоните его на пограничное пастбище. Возмещение мы получим, а сейчас утихомирьтесь!

Воинственные и горячие пробовали воспротивиться, но женщины, поднявшись толпой и взяв на руки младенцев, стали наступать. Гундоса затоптали. Еле живой он приполз в свою юрту.

Хотела бы я знать — был ли в тот день хоть один, кто мог верно понять случившееся.

Батыркулово воинство, забрав свой косяк, не пошло на мстительный набег. Их джигиты обошлись возвращением захваченного.

Никто, кроме меня, не подозревал сговора двух баев. Народ всегда радуется миру, а на этот раз, хоть и был крик, что причина в общей ненависти к батыркулам, все чувствовали, что дело завязалось по одному лишь байскому вздору: никто не видел в Жайнаке джигита, близкого роду монолдоров. Женщины же после плача Акзыйнат стали говорить мужьям:

— Если она сказала, мы должны верить. Она все знает и творит справедливость.

Мир не мир, но перемирие установилось. Дети стали бегать по тропинкам, и скот пасся, и солнце горело над головой не красным, а белым светом.

А я лежала.

Я думала о любви и не могла додуматься, как быть с моей любовью к живому и нелюбовью к мертвому.

И вдруг откуда-то явилась потерявшая себя свекровь моя Макмал, распатланная, в рваной одежде, в синяках и рубцах от арканов.

Она когтями вцепилась в лицо Кашкоро:

— Ты, ты убийца Жайнака! Один ты убийца!

После чего принялась хохотать, и каталась по земле, и кричала во весь голос.

* *
*

Наступило успокоение, аил стал жить прежними привычками, но я чувствовала глухую вязкость слов, все как бы чего-то недоговаривали.

Свекровь бушевала недолго, как и раньше, она спала до середины дня, потом кое-как одевалась, но в отличие от того, что было раньше, не звала к себе подруг и сама не уходила. Я заметила: смотрит на меня боковым взглядом и что-то вполголоса говорит, не ожидая от меня ответа. Мы с ней почти всегда были вдвоем. Бай часто уезжал. Так часто, как никогда за все лето. Возвращаясь, он ни с женой своей, ни со мной ни о чем не говорил. Наскоро насыщался и снова садился на коня, чтобы исчезнуть до глубокой ночи. Следы царапин на его лице быстро зажили, и тем самым забылся страшный крик жены его Макмал, которым обвиняла его в убийстве Жайнака.

Это особое дело, оно требует долгих объяснений. Слишком много позволила себе жена бая, слишком громко кричала, чтобы он мог ее до конца простить... Я не знала, жив ли отец ее — могущественный и богатый манап, пользуется ли хозяйка нашего дома расположением своего отца и защитой... Конечно, если б она была из простых, Кашкоро забил бы ее насмерть. Однако оставим до будущего...

После побоев и переживаний я поднялась довольно скоро и не могла не дивиться тому, как мало распоряжений получала от свекрови. Делала все сама. Когда хотела — стирала, варила обед, ходила к реке. Вроде бы не свекровь, а я хозяйка в доме. Удивительно, что и мальчишка Белек, которому к тому времени исполнилось десять лет, перестал меня дразнить. Дома он бывал редко, а в те часы, когда приходил поесть, большей частью помалкивал и поглядывал на меня особенно.

Дней через пять после поминок к нам приехал мулла Барктабас. Я говорю — приехал, хотя он жил в одном с нами аиле. Однако столь часто по обязанностям своим разъезжал, что казался далеким и малознакомым. На этот раз дома были и Кашкоро, и Макмал, и мальчишка Белек. Вскоре быстрыми шагами деловито и торопливо вошли и, поклонившись, уселись за общий досторхон два сверстника моего свекра. Поев, старики стали перешептываться, после чего мулла велел Белеку переодеться в чистое. Мальчишка, спрятавшись за занавеску, нарядился с помощью матери в свой лучший костюм. После чего его усадили среди взрослых. Все это казалось мне странным. Сердце сильно колотилось, я переводила глаза с одного на другого. Никто не отвечал на мои взгляды, никто ничего не объяснял.

После обильного угощения свекровь убрала скатерть и подала мулле — почему-то одному только ему — пиалу с чаем.

Мулла, развалясь на подушках, пил не торопясь. Лицо его было много важнее обычного. Кашкоро смотрел на него с нетерпением.

Не могу не заметить, дорогие мои: свекровь хоть и принимала участие в обряде, движения ее были как бы принужденными и вымученными. Похоже, что ее тяготили назойливые мысли.

Прервав молчание, Кашкоро властно произнес:

— Ну-ка, ну-ка, дорогой мулла, не пора ли начинать?!

Дрожащими руками свекровь протянула мулле пиалу с водой. Тот не спеша взял, недоверчиво оглядел посуду и содержимое, как бы проверяя чистоту. Потом принялся бормотать и трижды подул на воду. Так же медленно и торжественно он вернул пиалу свекрови, и она сделала шаг в мою сторону. Глядя мне прямо в глаза, она заговорила:

— Аруке, дочь моя, обижайся не на нас, обижайся на свою судьбу. Жизнь Жайнаку дана была короткая, и вот уже прахом лежит он в земле. Хоть тысячу раз будем плакать — к нам не вернется. Его смерть тяжела для нас, но для тебя должна быть еще тяжелее. Ты уже взрослая, знаешь, что никому не дано быть вечным. Однако испокон веков киргизы говорят: «От перекочевавшего остаются дрова, от умершего остается жена». Мы привязались к тебе, полюбили тебя и не хотим, чтобы досталась чужому. Ты могла убежать, но осталась с нами. Значит, и ты полюбила нас. Лелеем надежду, что в загробный мир меня с мужем отправишь ты. Мы посоветовались с родственными и с мудрыми людьми, и все пришли к одному решению — надо обвенчать тебя и Белека. Вот каким он стал — он уже стал человеком. Как говорят, если гора видна — она недалеко. Так и мальчик — не заметишь, и превратится в стройного джигита... Мы не сами это придумали, таков давний обычай: жена переходит по наследству к брату... Да и зачем нам отдавать хорошую нашу невестку и заглядывать в глаза какой-то паршивой девчонке... На, милая Аруке, пригуби и отдай обратно,— с этими словами свекровь протянула мне наполненную водой пиалу.

Вы спросите, как могла я не видеть, что делают со мной? Ведь прошла уже через этот обряд. Да, когда выдавали меня за Жайнака, я прошла через это. Но в тот раз столько было шума и переживаний... Тогда, кажется, и муллу не приглашали. А может, приглашали, а может... Ах, я ничего не могла и ничего не понимала. Меня будто камнем ударили — все перед глазами зашаталось, потеряла сознание, но через мгновение пришла в себя и, сообразив, наконец, что делают со мной, вскочила и попробовала убежать. Но свекровь ухватилась за мой подол. Теперь не уговаривала — яростно шипела и кричала. Свекор

обхватил руками мою голову, а мулла, зажав мои ладони вокруг пиалы, поднял и заставил сделать глоток.

Свекровь вопила:

— Пей, чтоб тебе сдохнуть! Чем лучше к ней относишься, тем меньше от нее уважения! Плачет... Чтоб вытекли твои глаза вместе со слезами... Проклятая!

На дне пиалы я увидела несколько изюмин. Значит, правда. Значит, это брачная пиала... Я взмахнула рукой, желая выбить посудину из цепких пальцев свекрови. Но та, оттолкнув меня, поспешно велела младшему сыну своему Белеку допить оставшуюся воду. Мальчишка, не задумываясь, опорожнил пиалу до последней капли, высыпал в рот изюм и разжевал его...

Вот так, дорогие, я стала женой десятилетнего мальчика... мальчика...

Не было ни свадьбы, ни торжества, будто вещь передали. Вы скажете: почему не жаловалась? Куда? Кому? Да и могла ли я жаловаться в тупой жизни моего воскрешения? Ах, когда б вы знали, как человек воскресает после тяжких побоев! Гораздо раньше воскресают руки и ноги, а голова висит, подобно тяжести, не принадлежащей ни телу, ни сознанию. Я рвалась убежать, но, если думаете, что понимала ужас своего положения, это неправда. Догадалась, что меня сделали женой ребенка. Оскорбительность этого и, может, даже глупость вам видны хорошо, а мне стали понятны только позднее. В тот момент удивительней всего были слова свекрови, которые она сказала, еще не сердясь: «Ты могла убежать, но не убежала». Как, как я могла убежать? Была слаба телом, не знала, куда убегать и зачем. Не знала, что горы могут спасти. Давно забыла, что есть жизнь за пределами нашего аила и той семьи, в которой пребываю. Мелькали в уме и другие бранные слова свекрови.

Еще раз с досадой спросите: почему не жаловалась? Вам привычен закон. Частью вашего существа стал порядок, нарушение которого вызывает к действию суд, власть, возмущение и наказание. Со мной было так: поняла, что сотворила мерзость. Но и поняв в тот момент, что снова стала женой, восприняла *тупо*. Однако пиала с изюмом, мулла с его пришептываниями, сидящие свидетели, богатый наряд Белека — все виделось мне признаком законности. Значит, и в те годы был порядок, который определял судьбу. Порядок этот наравне с бедными почитали сильные и богатые. *Был обычай*, преступать который никто не решался. Но как же я, темная и безграмотная, могла ужаснуться рабству, не понимая сущности обычая? Это меня

удивляет и поныне. Одно ясно — привязали к Белеку до конца дней моих. Уже не вдова, но ж е н а ребенка.

...Белека, которого обвенчали со мной, по утрам одеваю, по вечерам раздеваю и укладываю спать. Он капризен. Он вдвое капризней против прежнего. Он очень избалован, ничего не желает делать сам. Если упрекнуть в непослушании — валится на землю, бьется и ревет. Не могу его принуждать. Умоляю, ласкаю и кое-как успокаиваю. Бывает, ночью, как ребенок, подпустит под себя. Тогда, встав с рассветом, обмываю его, стираю белье, глажу... Похоже, была ему не женой, а матерью... В дни, когда приезжали гости и купцы, у нас кололи барана. Пока сварится мясо — пройдет половина ночи. Теперь Белек сидит у огня, как муж, как взрослый. Он клюет носом, он засыпает. Берешь его на руки и несешь в постель. Это ужасное мученье: незнакомые и малознакомые купцы смотрят с презрением. Почему, почему, зная обычай и право того времени, мужчины все равно глядят, как на дуру? Но так было — смотрели и посмеивались.

Вы уже знаете, Белек был мальчик неспокойный, очень дерзкий, очень своенравный, любимец отца. Раньше он издевался надо мной. Став моим мужем, изменил отношение. Остался капризным, но видел во мне уже не просто члена семьи, но свою игрушку. Ему доставляла радость собственная резвость и способность быстро бегать. Он знал, что теперь стал главным надо мной и я обязана его сопровождать. Хоть привяжи — все равно улетит. Только что был здесь, и вот, глядишь, взбирается на дальнюю гору. Этот сорвиголова ничего не боится. Если дерется с мальчишками — хватается за что ни попало и бьет. «У отца-заступника слезливые дети». Так говорят. Стоит кому-нибудь ответить Белеку ударом на удар — он своим ревом поднимает всю округу. Свекор или свекровь тут же посылают меня, я преследую мальчишек, чтобы наказать того, кто побил Белека. Черта с два поймаешь, возвращаешься ни с чем. Девушки и молодки смеются надо мной. «Вот тот мальчик поколотил т в о е г о м у ж а! Беги за ним, беги!» — дразнили они меня. Я была унижена, как никогда, не могла смотреть людям в глаза. Что же до свекрови — кажется, она была довольна: есть кому приглядеть за сыном. С утра до вечера только и знала, что лежать на шкуре медведя. Если какую минуту Белека нет, а я дома, спрашивает:

— Эй, женщина, куда делся твой муж? Позвала бы, а то еще кто-нибудь изобьет!

С утра до вечера только и заботы следить за ним. От переживаний пожелтела, как солома. Если иду по воду — со мной

посылают Белека. Что-то шепчут ему на ухо. Но ведь он ребенок. Иногда, играя, убегает. В другой раз ни на шаг не отойдет от меня. Мне хочется побить его, прогнать, но... руки коротки. Отскочит от меня и принимается дразнить:

— Ты моя жена, ха-ха-ха! — Он и сам не понимает, что говорит, повторяет, чему научили...

...Теперь расскажу, что было со мной в один из дней, когда уже не верила, что существую как человек. Я пошла с ведрами на родник... Это был не тот родник, где когда-то встречалась с Серкебаем. Это был похожий родник, среди таких же обомшелых и страшных скал. Спокойный, с чистой водой и грустным журчанием. Я не смотрелась, не искала своего отражения, но разрешила себе лечь отдохнуть. Это значило, что упала от слабости. За немногие дни, прошедшие со дня гибели мужа, бегства Серкебая, подготовки к смертному бою двух аилов и успокоения на том, что стала женой ребенка,— за эти немногие дни я превратилась в жалкую скотину. Если б в то время кто-нибудь сказал: «А помнишь, как рождалось в тебе железо? Помнишь, как полагала за счастье душевный бунт?», я бы единственно могла ответить: «Завядшая трава не поднимается. Я — завядшая трава, и нет во мне сил».

Так я лежала у холодного родника, радуясь тишине и щебету птиц. Сюда могли прийти девушки или молодки и нарушить мой покой, но я и этого не боялась. Все было мне темно и безразлично. Как вдруг услышала шорох. Едва подняв голову, я увидела, что передо мной предстала незнакомая сильная молодка — яркая и веселая. Я так ее определяю потому, что цветом лица она не походила на известных мне молодых женщин и девушек. Горела свежим румянцем высоких гор, улыбалась свободно и легко. Сравнить ее можно было разве что с плакальщицей Акзыйнат, когда та уезжала. Такая же легкая и неприкосновенная, будто никогда никто не стегал ее камчой, будто не знала унижения и плача.

Я удивилась. Молчала, ждала. Она спросила:

— Правда ли, женщина, ты ж е н а С е р к е б а я? Если ты и в самом деле Аруке, я давно тебя жду. Я пряталась и многих перебрала, но ни к кому не обратилась с этим вопросом. Только ты можешь быть женой Серкебая.

Я была смущена и удивлена, ужаснулась прямоте разговора. Мне в голову не могло прийти, что ж е н о й могут назвать по одному лишь тому, что любила и лежала с ним. Меня поразило, что Серкебай кому-то рассказал. Не знала — удручаться и плакать или радоваться.

Я спросила пришедшую молодку:

— Откуда ты явилась? Что знаешь о Серкебае? Почему ждала меня и зачем?

Она ответила просто:

— Серкебай прятался у Токтора. Перед уходом попросил, чтобы нашла тебя и все объяснила.

— Он тебя полюбил? — спросила я с криком души.

— Он меня полюбил, я его полюбила, но ты этого не поймешь.

— Не пойму? — с тревогой спросила я.— Значит, считаешь меня, как и все вокруг, глупой? Он полюбил тебя позже, чем любил меня, как же не понять: бросил меня и забыл, ушел в горы и встретил тебя, сильную и красивую?..

Эта молодка так смотрела и говорила, что я в смятении не знала, чему верить, что считать хорошим и что плохим. Одно то, что ждала меня и хотела поговорить, рассказать и довериться, было удивительно. Неужели ее полюбил, а меня разлюбил?

— Ты обещала объяснить,— желая ее исцарапать, но изо всех сил сдерживая сердце, сказала я.— Где мой Серкебай? Зачем послал тебя, а не пришел сам? Мне говорили — он погиб. Потом я слышала — его ловят...— С этими словами я вскочила перед пришедшей и вся дрожала в ожидании ее ответа.— Погоди,— добавила я,— не отвечай. Объясни прежде всего, что́ означают слова твои: «Он меня полюбил, я его полюбила, но ты этого не поймешь»?

В ответ молодка сверкнула нежданной улыбкой, снисходительной и мягкой. Она была старше меня, сильнее и свободней, говорила как с девочкой, мягко и нежно:

— Если можешь, ответь раньше: думала ли когда-нибудь о других? Страшила ли тебя когда-нибудь судьба подобных тебе? Приходила ли когда-нибудь на помощь плачущим и страждущим? Понимала ли хоть один раз чужую муку и чужую беду?.. Ты слышала плач Акзыйнат, но спросила ли себя, почему поминает о твоих бедах, почему приняла на себя побои за твою судьбу?.. Подумала ли ты, почему далекая тебе Акзыйнат, сильная женщина, красотой превзошедшая всех, кидается на помощь никому не нужной и несчастной? Люди должны помогать друг другу. Вот и я пришла тебе помочь. Я полюбила Серкебая, как брата, а тебя готова полюбить, как сестру. Любя правду и справедливость, к тебе являлся Токтор, защитил от побоев и убийства. К Токтору прибежал Серкебай, спрятался у него и, убегая дальше, заклинал меня повидаться с тобой. Он хороший и честный. Жайнака убил в угаре любви и жалеет

об этом. Я полюбила его душу, полюбила е г о л ю б о в ь к т е б е. Пойми, дорогая подружка, мучения людей, а не только свои мучения могут волновать и беспокоить... Теперь слушай и постарайся понять. Баи сильны тем, что мы слабы и неразумны. Батыркул и Кашкоро...

— Я знаю, знаю: они сговорились! — вскричала я.

— Они спелись,— сказала незнакомая мне молодка.— Батыркул ищет убить Серкебая, чтобы не было больше препятствий к его торговому сближению с Кашкоро. Теперь вместе продают военным скупщикам русского царя лошадей, овец, жир и шерсть, шкуры животных и труд людей. Серкебай хотел тебя найти и убежать с тобой, но его окружили, и один лишь Токтор способен был его спасти... Вот и все. Я должна уйти. Если меня поняла, знай, баи сильны своей силой, а свободные люди должны любить друг друга и поддерживать. Так мне сказал мой отец, а Серкебай прибавил, что никогда не забудет тебя, и просил передать: «Жди и надейся!»

— Покажи мне, где живет твой отец! — воскликнула я.

И тут раздался воинственный возглас десятилетнего моего мужа:

— Вот она, я ее нашел!

Исчезла за кустом неизвестная мне молодка, но успела показать рукой, в каком направлении идти, чтобы обнаружить лесное пристанище Токтора.

А я так посмотрела на Белека, что он от меня убежал. Кричал и плакал, хотя я его и не ударила... В душе я его избила... Это было первое существо, которое хотела бить, но сдержалась, и самой стало стыдно... В испуге он бежал столь стремительно, что на крутом месте споткнулся и упал. Потом пожаловался своей матери, сказав, что я сшибла его палкой. К тому времени я пришла домой. Белек злобно рыдал, уверенный, что мать сейчас же меня накажет. У него были разбиты колени, у него краснела ссадина на щеке, текли всамделишные слезы.

— Моя жена хотела меня убить! — кричал мальчишка.

И тут случилось необычное — свекровь его прогнала, а меня стала голубить...

Я не приняла ее теплую ласку, не поверила, но в этот раз лицо ее было так тревожно и печально, что я невольно прислушалась.

— Ты его не била? — спросила свекровь.— Ты не бросала ему под ноги палку? Этого не могло быть — так я понимаю... По твоему лицу вижу — в тебе живет счастье. Счастливые не дерутся.

За пределами юрты продолжал кричать и плакать обиженный ребенок — мой муж.

— Не слушай его, не слушай! — досадливо отмахнулась свекровь.— Поревет и успокоится, а мне с тобой пора поговорить... Пора, пора,— задумчиво повторила она и заплакала.— С того дня, как погиб первенец мой Жайнак, исчезло время в моей голове. Я и раньше любила поспать, находя в этом радость. Во сне могла видеть свою молодость и радостное свое счастье, подобное тому, что видится мне сейчас в твоих глазах.

Свекровь меня уговаривала, чтобы не жалела Белека, но я сама не жалела, понимая пустячность детского крика и капризных слез... Может быть, помните, я задавалась вопросом: как так ленивая и злобная байбиче вызвала для плача вместе с остальными женщинами сказочную Акзыйнат? Ведь та являлась исключительно в случае, когда ее звали все женщины аила.

И вот началась исповедь свекрови моей Макмал...

Она шептала, и глаза ее наливались слезами жалости к себе.

— Девочка моя,— она положила мне горячую ладонь на плечо.— Помнишь, когда ехали сюда на твое замужнее поселение в нашу семью, я утешала тебя в далеком каменном поле, говоря, как ужасна судьба всякой женщины. Потом ты видела т меня капризы, слышала хозяйский окрик, упреки и всякое недовольство. Это было. Но ведь я тебя ни разу не ударила. Вспомни, вспомни, доченька, ведь не ударила. Не защищала от Кашкоро и его побоев, иногда вместе с ним, входя в запал и в раж, поддразнивала тебя. Такова заразность издевательств... Скажу тебе правду: по богатству жизни, распущенности безделия с детских лет существую так, и переделать меня нельзя. Мой отец был много богаче Кашкоро. Он меня баловал. Прощал капризы, а потом простил и распутство. Он был богат, но слаб духом и добротой. Узнав, что сошлась по любви с красивым и глупым кулом, он в ярости казнил его, а я долго плакала, и он меня утешал. Можешь не поверить, родной мой отец — богатый и славный среди многих племен манап — в тишине юрты рыдал надо мной и моими страстями. Моя мать — любимая его жена — умерла, а другие его жены никогда меня не ласкали. Узнав, что в теле моем живет плод любви, ребенок презренного кула, отец мой не убил меня, но принял решение скрыть от всех свой и мой позор. Он обогатил нынешнего мужа моего и твоего свекра Кашкоро, сделал его баем, и с той поры я отца своего не видела. Может быть, и сейчас жив... Свободный человек и самый уважаемый из всех мне известных — охот-

ник Токтор — все знал и, когда я была молода, сочувствовал мне, как теперь сочувствует тебе. Я родила Жайнака, потом от Кашкоро появился Белек. Я настоящая потомственная богачка, потому-то Кашкоро всегда меня ненавидел и боялся. Теперь я не тебя обвинила в гибели Жайнака. Смерть его — дело рук страшного моего мужа. Должна бы молчать, но не могу. Знаю, ясно вижу — теперь Кашкоро решил меня извести. Он готовит мне смерть. Если не зарежет — отравит. Моей жизни остались считанные дни, он больше не простит. Я сама слышала, как приказывал одному из джигитов привезти иссык-кульский корень... Знаешь, что это такое? Высушенный и растертый в порошок иссык-кульский корень довольно распылить по моей постели, и я через кожу впитаю смерть... Мой муж давно не ложится со мной, давно пропадает в поездках. Не позволено его спрашивать, куда ездит и зачем. Милая, дорогая моя Аруке, не верю, что любишь меня, но верю в твою доброту и надеюсь, что после смерти моей не оставишь Белека... Знаю и другое: выдав тебя за мальчика, полный мужской силы Кашкоро надеется, что со временем пожелаешь его в темной ночи, когда сил не станет бороться с вожделением крови. Такова его хитрость. Это хитрость зверя. Иной хитрости и другого ума нет в моем муже, и в этом беда его, моя и твоя. Запасись ножом, ножом, длинным ножом!

Она хохотала, она меня долго гладила, она меня целовала. Я видела ее обреченность. Я верила ее словам. Но тело мое, и душа, и все существо не принимали страхов. Я жила другим. Теперь, познав всю простоту и глупость жестокости, я кровью угадывала, что жизнь так же случайна, как и смерть.

Говорю вам: мрак исповеди свекрови моей Макмал виделся мне простым и будничным, а ужас ее воспоминаний — скукой пустой души.

Мне было пятнадцать лет. В одном месте своего рассказа назвала себя ровесницей века. Позднее стала считать. Вроде бы и правда так. Но ведь я была нисколько не девочкой. Напрасно называла меня так горячечная от безумства одиночества свекровь. Какая ж была я девочка, если познала жизнь в ее неисчислимой свирепости?! Однако в тот день ничто не могло убить во мне радость открытия: жив, жив и любит меня Серкебай!

Нож, очень длинный и острый, тот, которым рубят бешбармак, по настоянию свекрови я положила к себе в постель, но в душе смеялась. Наш разговор в семейных делах ничего не переменил. Жизнь шла, я стирала, варила обед, ставила самовар. Но радость мне приносили коромысла и ведра. Ах, с какой

легкостью бежала к роднику! Там ни разу больше не было румяной молодки, но я ее видела в отражении воды. Смотрела — и видела. Забыла, что отражаюсь в своем великом счастье я сама. Приближалась осень, все ниже ложился на вершинах яркий снег. А кругом бушевали цветы. Не знаю, как случилось, но в ту осень верхние луга цвели для меня великолепным ковром, и каждый цветок смотрел мне в душу. Пристально смотрел, убеждая в силе жизни. Это чудесное видение прогоняло печаль. И все время где-то рядом жил Серкебай. Вот он бежит, вот хватают его люди, вот связывают и бьют, и сердце мое тяжело скачет, но я знаю, что бояться не надо — все равно он их одолеет. И правда, он перебарывает, он исчезает, его песня звучит в пространстве и летит вместе с веселыми облаками... Я горжусь, что есть на свете такой джигит, как Серкебай, горжусь, что был близок мне, что был моим мужем. Иногда мне кажется, что он продолжение казненного за любовь раба моей свекрови, и тогда жалею и понимаю несчастье ее ленивого богатства, несчастья темной ее души. Во мне все другое. Во мне свет. Верю, что в один из дней здесь окажется Серкебай на громадном светлом коне, и мы полетим через горы. Какая сила у этой надежды, какая великолепная душистая сила! Я впиваюсь глазами в скалу, что стоит против меня. Я всматриваюсь в каждую складку темного камня. Мне кажется — кто-то скачет по ней. Я слышу, как запевает резким своим голосом Серкебай. От его песни скала тает, как свинец на огне. А иногда кажется, что не одна эта скала, но вся гора живет как песня. И все состоит из любви, и что любовь никогда не остынет. Я слышу, как громадная гора поет: «Смотри на меня, слушай меня, будь такой же стойкой в любви, как я, будь такой же высокой, как я! Будь такой же широкой, как я! Так же, как я, сохрани любовь, научись ценить ее, научись защищать ее! Люби не только сердцем, но и всем существом, люби умом, люби костями своими, коленями и пальцами!» И тогда я пою в ответ, что никогда не забуду. И тогда говорю, шепчу или молчу, не умея сказать — это блаженство... Чувствую на каждом своем плече солнце. И я иду, освещая все кругом. Иду и наделяю счастьем всех обездоленных. Оба солнца на моих плечах светят и днем и ночью, никогда не угасают. И вот я поднимаюсь на высочайшую вершину, и крылья неба несут меня в великой синеве... Как вдруг страшный голос свекра возвращает меня на черный камень моей жизни. Его проклятья режут мою душу и вонзаются в меня, как мерзкие когти страшного стервятника. Тогда я убегаю в черноту... Но вот мой родник, и вот моя скала, и вот мое дыхание, и вот опять моя радость.

* *
*

Однажды случилось, что свекор мой Кашкоро, лицо которого в тот день светилось не медью, но темным цветом расплавленного чугуна, сказал Белеку:

— Эй, сын, седлай пегого жеребца и в трех шагах скачи за мной... Мы поедем далеко. Пусть ж е н ы побудут без нас...

На прощание свекор оглянулся на меня, и в его тусклом взоре я прочитала ужас будущего и вспомнила о ноже.

Кашкоро уехал, а свекровь улеглась, поджав колени и закрывшись одеялом с головой. Ее одолел сон...

...В то утро корова изжевала вывешенное мною для просушки белье.

А я не испугалась.

Я скомкала изжеванное мокрое белье и швырнула в яму с нечистотами.

Так велика во мне была свобода и радость любви, что я пошла по тропам аила, заглядывая в каждую отворенную дверь.

В то время не было привычки и обычая стучать в притолоку. Если кто хотел говорить с хозяином дома или с хозяйкой, вызывал или ждал, пока сами выйдут, заметив у выхода тень пришедшего. У меня была охота стать похожей на ту румяную посланницу Серкебая, которая внушала необходимость любви к людям. Румяная сказала, что бедняки должны друг друга любить, и вот я пошла к ним...

Разве не была я дочерью портнихи и каменотеса — наследственной беднячкой? Разве мало получила побоев от свекра за мою работу? Разве все в аиле не видели, что с восхода и далеко после заката беспрерывно что-нибудь делаю?

Я шла веселая, с охотой дружбы и любви. Шла к равным.

Все эти годы встречалась с молодками и девушками на роднике или на берегу реки, к ним же в гости не ходила; да и не принято являться без приглашения. Но восторг души толкнул меня, и я пошла. Живя в маленьком бедном аиле с матерью и отцом, я свободно прибегала к своим сверстницам и сверстникам поиграть и повеселиться. Все мы много смеялись, легко восторгаясь пустяками, бегая, прыгая и резвясь. Вот и сейчас я слышала, что в юртах бедняков душевно смеются, чего у нас, в богатой нашей юрте, никогда не бывало. Да, это правда, бедняки в простоте беззаботности смеются и ласково одаривают друг друга шутками и подзатыльниками — это и считается обыкновенной жизнью. Мужчины и женщины бедного сословия не

столь строго держатся в семейном кругу обычая взаимоизбегания.

Я была уверена — меня примут и со мной заговорят так же, как в моем детстве... Но к какой бы юрте ни приближалась — всюду возникал холод тишины и настороженности. Никто не выходил и не звал меня в дом. И некого было спросить, почему так. Даже в юрте подружки моей Зейне меня принять не захотели и не отозвались на мой зов... Я уже упоминала: обычно ни одна собака на меня не лаяла и даже не ворчала; этот талант общения с животными я унаследовала от своего отца Ыбраима. Однако в тот день сторожевые псы смотрели на меня с неудовольствием и как бы предупреждая, чтобы не переходила границу, иначе должны будут меня обижать и кусать. Взгляды животных откровеннее людских, они показывают настроение хозяев. Так как же быть? Как говорить о необходимости любви бедняков друг к другу?.. Почему меня избегали? Неужели видели во мне убийцу Жайнака и за это казнили презрением и равнодушием?..

Я так бы ничего и не узнала, если б из самой крайней закопченной полуюрты не вышла ко мне согнутая старуха, которую давно считали выжившей из ума. Вечно голодная, неспособная себя прокормить и вычесать из волос насекомых, старая Кынсылу тусклым взором оглядела меня и сразу же принялась подпрыгивать. Она заскакала на месте, захлопала в ладоши и завопила:

— О душенька, о луноликая, явилась к нам из белой юрты. Люди! Люди, сбегайтесь — невестка бая снизошла до нас!

Никто не откликнулся на ее зов, никто не сказал, хотя бы издалека, чем плох мой приход, почему издевательски подпрыгивает передо мной вшивая старуха.

Вот ведь как — обозвала ее в душе «вшивой старухой». Самую бедную, которую, по словам румяной молодки, должна бы любить больше всякой другой... Но я не могла ее любить и не могла не видеть, как велика разница между моей сытостью и ужасной ветхостью голодного ее, сморщенного тела. Давно ли я выбросила жеваное белье, помня, как дурно умеет считать моя свекровь. А теперь увидела, что пляшущая старуха не имеет на своем грязном теле ничего, кроме истлевшего овечьего меха.

И все-таки мы поговорили. Я нашла в себе мужество войти в ее прокопченный алачик. Преодолела вонь и гниль, закрыла глаза на ее застарелые язвы, села рядом и спросила:

— Ты радуешься или издеваешься? Я ведь тебя не обижаю — почему встречаешь криками и насмешками?

Полубезумная старуха сказала:

— Ты дура.— Она долго смотрела на меня, ожидая, что обижусь, а потом повторила четырежды: — Дура, дура, дура, дура! Убирайся и никогда больше не приходи. Слава аллаху, не принесла мне пищи. Иначе швырнула бы тебе в лицо. Невестка бая, будущая властительница — неужели не знаешь, что к таким, как я, подходить опасно? Есть подданные, которых даже убивать поздно, наказывать невозможно и ничего невозможно лишить. Такие, как ты, не должны дышать смрадностью нашей...

Но я не хотела успокоиться и напомнила старухе, что родители мои так же черны, как и она, что меня бай купил, что сейчас я насильно выдана за ребенка... Я думала, что старуха поймет ужас этого насилия над пятнадцатилетней вдовой. Но она навзрыд хохотала:

— Если всего лишь зайчиху, серую зайчиху, зайчиху связать арканом со щенком... со щенком, со щенком — ха-ха-ха! Или с бычком, или с козленком... Скажи, умница, скажи, чистенькая и сытенькая, если даже кормить зайчиху, и одевать, и голубить — выдержит ли хоть день такой жизни? Доживет ли до первой ночи? Она выскользнет и ускачет, а если не сможет ускакать — задохнется от собственных слез о свободе... Уйди, глупая! Уйди и забудь, что есть такие, как я... Уйди в свой жир, в свой шелк, в свое молоко, в свой каждодневный дым сытого очага...

И я ушла.

И на всем пути от крайней черной полуюрты до серединной обширной белой юрты бая, где спала в одиночестве свекровь моя Макмал, никто меня не окликнул, будто заранее зная, что ходила не с коромыслом по воду, но искать их любви и дружеского общения.

Никто не пожелал моей доброты и ласки.

Тогда я поняла, что́ надо делать. В тот день я поняла и в ту ночь решилась.

* *
*

В тот год осень легла рано. Говорю, как принято в горных местах: осень ложится белым мокрым снегом, сгоняя к аилу табуны и отары. Если бай и аксакалы сами не дадут сигнала к откочевке в низинные теплые места, им напомнят ржание и блеяние скота, замерзающего на высоких лугах. Хоть и не принято было у нас определять год по русскому календарю, теперь я уже позабыла наши давние названия месяцев и лет.

По книжной же истории, которую я усвоила позднее на курсах и в педагогическом училище, шел 1915 год. Какое мне в моей жизни было дело до летосчисления... Конечно, сама не понимала и собственных наблюдений не имела. Все пришло позже. Но вы уже знаете: далекая и страшная война коснулась и нас в ужасной нашей глубине. Связь событий и кровавых деяний всеобъемлюща — мы их невольно ощущали как в большом, так и в малом...

...Могла ли, к примеру, я догадываться, что баи задерживали откочевку не по забывчивости, а с целью? В прошлые годы переход с джайлоо в низину происходил постепенно и спокойно. Чабаны перегоняли отары и табуны, народ в аилах не торопясь укладывал имущество и увязывал вьюки, чтобы в последний день разобрать юрты, не страдая от осенних дождей. Во всем существовал привычный порядок. Случалось, конечно, что непогода могла налететь внезапно. Но приметы редко бывали ошибочны — старики умели задолго предсказывать, как сложится осень и даже зима...

...Кашкоро уехал с сыном, не дав распоряжений начинать откочевку своих овец. Оказывается, хотел собрать их воедино и еще здесь, наверху, подсчитать. И все это ради торговли. Батыркул вовлек его в громадную п р о д а ж у. Научил запутать стада собственные, байские, и стада, принадлежащие небольшим хозяевам. Не могу во всех подробностях объяснить, в чем состояла хитрость. Одно знаю: чем больше беспорядка, тем легче было байским джигитам захватить вместе со скотом повелителя небольшие отары полубедняков...

...Я ушла вперед и в рассуждениях о делах общих стала забывать свои поступки и свою решимость...

Не бывает, чтобы за случайностью не следовали другие случайности. В куче бед и в общем народном шуме хитрецы и преступники ловят удачу не капканом, но сетью, загребая во сто раз обширнее обычного... Когда бай берет с собой в дальний путь своего наследника — быть беде или переменам. Если ж берет сына незрелого, а мать его с собой не зовет — это не к добру...

Я узнала потом и вам расскажу позднее...

...Холодный дождь обрушился на аил со страшной силой. Юрты сделаны не из камня или глины и не имеют крыши из железа. Кошма, даже самая лучшая и плотная, через несколько часов промокает, капли нависают над головой, падают в очаг — юрта наполняется паром и желтым дымом. В такое время, если не грозит горный обвал и нет урагана, люди сидят по домам, ежась от холода и ожидая, что будет дальше.

Как уже говорила, сошлись стада к аилу. Многие чабаны пришли греться к родным очагам. Даже пастушьи собаки и те стремились залезть под скалу или же забиться в гущу низких зарослей... Не могу сказать, не знаю в точности, как живут и как действуют волки. Но если баи богатеют от общего беспорядка, как же не хотеть и не любить того же и волкам?!

А я не была ни волком, ни волчицей, хотя народ меня связал со зверями. Нет, довольно, не хочу, пора! Решайся, решайся, решайся!

Уже совсем стемнело. Надо мной гудело мокрое небо, очаг почти затух и только пускал дым... Свекровь спала... Ах, я сильна стала и могуча от жажды свободы и от железа, наполнившего руки и ноги! Во мне явился ум поспешной рассудительности. Я отыскала спички. Я взяла нож. Я надела на себя теплую жакетку и повязалась платком. Я выбрала лучшие галоши свекрови, которых у нее было много; взяла не кожаные, а резиновые... Я догадалась натянуть на ноги носки белой шерсти... Знала ли, что уйду? Знала, что хочу уйти и что не уйти невозможно!.. Чего же я ждала? А я еще долго ждала. Спросите — была ли во мне дрожь? Откуда я могу помнить? Говорят, дрожь в человеке появляется от страха. Но если в ту ночь я и дрожала — только от ожидания. Если б свекровь кинулась меня держать, ударила бы ножом. А может, и не ударила бы... К тому времени всей меры своих сил еще не изведала... Собралась перед уходом помолиться, но слова молитвы не шли на ум. Напомнила себе, что свекровь просила воспитывать малолетнего ее сына и мужа моего Белека. От этого напоминания не только не уменьшилась, еще и увеличилась охота покинуть белый шатер... А он уже и не был хоть сколько-нибудь белым. Прокопченный изнутри, вонял жестокостью и кровью. Сильный дождь просачивался сквозь кошму и обильно капал черными слезами, которые мне были видны кровью и по́том.

...И вот дождалась. Аил переполошился. Топот, блеянье, ржанье лошадей, мычание сгрудившихся быков и тьма, тьма... И дождь, дождь. Напали волки. Сами — не дожидаясь команды — сплотились в стаю аильские собаки. Лай, рычание, визг боли, вой, беспорядочные крики и стрельба...

— Э-эй! Здесь распорота овца!

— А здесь свалены две козы...

Никто никем не руководил. Кто-то куда-то бежал, все кричали, а я... Меня уже не было в аиле...

Сперва шла, потом стала бежать. Все быстрее и быстрее. Чем круче гора, тем торопливее поднимаюсь. Как так? А вот

как: чем выше, тем больше кустов и деревьев, есть за что хвататься, они помогают, они меня поддерживают и прячут.

А дождь льет, и мне хорошо от него.

Мне хорошо от холода, и оттого, что руки мои мокры, и оттого, что по лицу струится вода... вода, а не слезы.

Мне хорошо было даже оттого, что не было звезд и луны, а я могла бежать, привычно понимая весь путь, который давно продумала..

Я, оказывается, жила этим побегом, лелеяла в себе темноту его и непроглядность.

Может ли так быть?

...Уже не слышны были крики, а только общий шум разбуженного аила, бушующего в беспросветной толкотне и свалке.

Я слышала сильное и глубокое свое дыхание, неустанное и ровное. Значит, не боялась, а радовалась. Значит, жила всей душой.

В темноте мне светила рука той румяной молодки, которая показала путь к охотнику Токтору...

Но не думайте, не надейтесь, что первая радость и первая сила долговечны, а счастье и смелость беспредельны...

Нашлась и для меня яма.

Ох-хо-хо!

* *
*

Я легко начала рассказ о своем бегстве и нисколько не солгала, сказав, что ноги мои несли меня без затруднения. К побегу я подготовилась настолько, что перед уходом даже поела. Была предусмотрительна. Мало, что запаслась спичками, я заготовила мешочек боорсаков. Не имея верного представления о том, где живет Токтор, не зная даже, захочет ли он меня принять, не понимая, как объяснить ему мое бегство, я шагала и шагала...

Недавно я похвасталась, а может, и погоревала, что вот, дескать, в моем малом возрасте испытала тяжелые удары судьбы, а потому и должна считаться зрелой многопонимающей женщиной. Однако ж моя глупая самоуверенность очень скоро стала сникать и гаснуть. Действительно, холодный дождь, ветер, мокрая, скользкая земля, крутизна гор и полная темень из союзников превратились во врагов. Уверенность, что взяла нужное направление, постепенно утрачивалась. Дрожь восторга легко перешла в дрожь озноба... Единственно правильным было идти вверх и вверх. Но ведь каждая гора как на востоке на-

шего аила, так и на западе начиналась с подошвы и завершалась острием. Все горы изогнуты — это не холмы, это хребты. Идешь, идешь и, пожалуй, что завернешь в ненужную сторону... Кроме того, радость ухода еще не радость прихода. А ну, как меня оттолкнут? Я при всей своей глупости была достаточно умна, чтобы понимать: никто никого без надобности не кормит. Пастуху нужен подпасок, хозяйке нужна помощница для стирки и готовки. Но ни тому, ни другому лишний рот не нужен. Румяная молодка в ответ на мой вопрос протянула руку, указав, где искать жилье своего отца. Но если я покажу, где небо — значит ли это, что приглашаю в рай?!

А кто сказал, что у чернобородого заготовщика шкур нет ножа для такой, как я? Страшно подумать — он ведь колдун, так говорят; он знается с шайтаном и дэвами, которые выплясывают ночами на плоской вершине у его дома, так говорят.

А кто и когда объяснил, чем шайтан и дэвы хуже людей?..

Понимаете, какая сумятица творилась в моей голове.

С подъемом дождь становился снегом, и уже видно стало, как все кругом одинаково и нигде нет признаков пути. Все же я упрямо шагала, а потом и ползла к вершине. Снег стал жестче, мельче, злей. Ветер в редких елях жил свободнее и рвал меня, как хотел. Его голос — полусвист и полувой — напомнил, что делалось в нашем аиле: будто не ветер, а испуганные голоса достигали моих ушей... Чем дальше, тем хуже. Много раз была я избита людьми, страдала от этого, но ведь в тепле и в безветрии. Не лучше ли побои, чем такая холодная свобода?.. Ах, раб легко ложится к ногам повелителя. И чем дольше он раб, тем привычнее, а иногда и радостнее плетка... Не пора ли вернуться?

Теперь к ветру и снегу присоединился мороз. Моя мокрая одежда заледенела и гремела, как панцирь. Ноги в галошах скользили, и, что ни шаг, я зарывалась носом в землю. Я до крови натерла пятки. Думала — хорошо бы запалить костер, но понимала (еще не потеряла понимания): как высоко засветится факел моего огня, любой и каждый в нашем аиле воскликнет:

— Это костер беглянки Аруке!

В нынешнее время на склонах Ала-Тоо людей с их домашними животными и стадами много больше, нежели всякого дикого зверья. В дни моей молодости стоило на двести шагов углубиться в горный мир — там всюду кишели его дикие обитатели. Не только олени, козлы, архары, кабаны, но и страшные в своей хищности когтистые существа — медведи, рыси и

манулы, барсы, а сверх того ширококрылые огромные орлы, способные поднять на прокорм своим птенцам не только ягненка и козленка, но и человеческого детеныша. Ходил слух: орел-ягнятник из простого озорства бьет с разгона потерявшегося путника и сбрасывает в пропасть... Самые же опасные хищники — волки. Правда, на людей почти никогда не нападают, но зато охотятся ночами и не любят, если кто им мешает.

Я так окоченела, так хрустела ледяной коркой одежды, что уже и не понимала, та ли я Аруке, которая жила в аиле Кашкоро. Голова мутилась от усталости, руки и ноги тряслись. Но печальней всего была моя растерянность. От снега посветлело, но это не делало окружающий мир лучше. Я стала всего бояться. Плач совы и ухание филина слышались мне угрозами смерти. В довершение всех бед я поскользнулась на скальном выступе и, изловчившись повернуться на живот, долго ехала в таком виде круто вниз. Уже попрощалась с жизнью, ожидая, что сорвусь в пропасть. Как вдруг скольжение мое остановилось на дне глубокой горной впадины; тут не чувствовалось ветра, а кусты и деревья казались добрее.

Может быть, я даже уснула. Но если и спала, то совсем недолго. Открыв глаза, увидела все ту же ночную темень. Ощупала себя — руки и ноги целы, хотя и побиты. Одежда кое-где порвана, лицо исцарапано. Подняться, чтобы шагать дальше? А куда? В этой впадине все стороны почти равны.

Снег здесь валил медленно, опускаясь большими и тяжелыми хлопьями. Он уже накрыл меня тонким одеялом — вот так бы и уснуть навеки.

А правда, почему бы не расстаться с жизнью?! Мама в моем возрасте хотела, облившись керосином, себя спалить. Разве не лучше исчезнуть под снегом? Если началась зима, меня до весны не найдут, а может, и никогда не найдут!

Тогда в голове молнией блеснуло: значит, и Серкебай не найдет!

Какая радость — нежданно обнаружить в душе своей имя человека, которому нужна!

И тут же я вспомнила другое, очень страшное: вспомнила, что нужна как воспитательница и охранительница законного мужа — мальчишки Белека... Не знаю, как до сих пор не приходила мысль о преследовании... Вроде бы подготовилась к побегу, но нисколько не подготовилась спрятать следы. Даже лиса заметает хвостом, даже зайчиха петляет и путает свой след. Я ни о чем не подумала, не предвидела погони. Теперь принялась рисовать картину: проснулась свекровь, на весь аил завопила — нет ее любимых галош, остыл очаг, никто не приго-

товил еду и питье... Еще хуже, если вернулся из поездки Кашкоро с Белеком. Ведь непогода могла их повернуть домой...

Что же мне делать, что делать?

Но, не согревшись, начинать ничего не могла. Слишком закоченела. Тогда-то и придумала: начну шевелиться и готовиться к спасению во имя Серкебая.

Я вытащила из глубин одежды нож. Лежа стала рубить ветки можжевельника и складывать крест-накрест. Только так можно воспламенить мокрое дерево. Пошарив, я нашла в кармане коробок спичек... Моя мама, когда-то промочив спички, перестала держать их в доме, пользовалась огнивом и трутом. Я в семье бая испортилась — высекать искры давно разучилась. Однако хорошо помнила урок мамы, спички всегда держала в сухости...

Как легко и весело вспыхнул мой костер! Как я обрадовалась маленьким рыжим язычкам и смолистому дыму! Уже протянула руки, размяла окоченевшие пальцы... Когда была у вершины, все-таки думала об опасности стать заметной. Здесь, в яме, решила, что никто не увидит.

Первой на мой след прилетела белобокая сова. Пропищала четыре раза и подмигнула, будто предупреждала.

— Не пугай меня, сова! — сказала я ей.— Без огня жить не смогу.

«Смо-ожешь, смо-ожешь!» — прогукал с дальней ветки филин.

Потом стали кружить какие-то неуклюжие и вроде б даже хромые пернатые. Все они писком своим требовали загасить огонь, но я и их не послушалась.

Тогда-то и прилетел бабырган. Он не стал ни пищать, ни ухать — сразу же принялся за дело: с размаху кинулся на мой крошечный костер, стараясь затушить пламя крыльями. Когтями он расшвырял горящие веточки и снова взмыл в воздух. И сделал круг, чтобы еще напасть.

Тут только я поняла: передо мной тот самый, знакомый мне бабырган, который в день моей свадьбы уже пробовал тушить наш костер, ожегся и чуть не погиб. Тот самый бабырган, которого я унесла в гущу леса и выпустила на свободу. Зачем же вместо благодарности мешает теплу моей жизни? Ему свет вреден и враждебен, а мне без него плохо и морозно. Как объяснить глупой птице? Как сказать ей, что в благодарность не делают зла?

А он в третий раз ринулся на мой огонь и зашвырял его снегом, и костер погас, не оставив даже дыма...

Тогда-то я и услышала топот погони. Наверху, на краю глубокой впадины, появились всадники, и я услышала гневный голос Кашкоро:

— Она где-то здесь, она убийца. Ищите, ловите убийцу моей жены!.. Э-эй, Бекмерген, спустись в воронку, там в снегу видна проталина. Спустись и посмотри, что там чернеет!

К тому времени тусклый свет зимнего утра стал пробиваться сквозь тучу.

Я все еще была почти до плеч накрыта пеленой снега. Мой крошечный костер я зажигала у самого лица, нарубив веточек, не подымаясь с земли.

Захрустел валежник, и тяжело захлюпал мокрый снег под громадной тяжестью кровавомордого джигита. Сейчас увидит меня, схватит, как хватает овцу и поднимает перед очами бая.

Еле трепещущий от ожогов, полумертвый бабырган поднялся, чтобы кинуться когтями в лицо кула. Но тот легко отбил птицу и сразу же нашел своими глазами мои глаза.

Он смотрел и не смотрел. Не умея подмигивать и не зная хитрости, стал шептать:

— Тебя нет, и я тебя не вижу. Помню, помню твое добро, прощай!

Сверху донесся нетерпеливый голос Кашкоро:

— Что там? Поторопись, Рыжий!

— Одна только дохлая птица,— ответил кул.— Дохлый, растерзанный филином бабырган.

— Брось его и подымайся! — приказал Кашкоро.— Нам нельзя терять ни минуты. О проклятый, сколько можно возиться с какой-то дохлятиной!

Так ушел страшный Бекмерген, оставив теплую птицу на моем лице.

* *
*

Предвижу, что скажете: «Учительница выжила из ума и кормит нас небылицами. Кто не знает, что преданный баю кул был рад всякой крови, а женской более, чем иной. Трудно поверить, что и птица бабырган помогла человеку, поняв, что на огонь идут преследователи. Неужели всерьез принимать подобные выдумки? Мы не согласны. Мы хотим правды!»

Что могу на это вам, дорогие мои, ответить? Ночные птицы, как и ночные бабочки, не любят огня и готовы пожертвовать собой, лишь бы его загасить. Но мне приятнее думать, что было именно так: бабырган, спасая меня от байской погони, раста-

щил и забросал снегом мой костер. Так он отблагодарил за мой добрый поступок... Да и могла ли я в свои пятнадцать лет жить без сказки?

Буду говорить то, что было, а вы, если не хотите, не слушайте.

Снег все падал и падал, и, уткнувшись лицом в еще не остывшее тело бабыргана, я решила хоть сколько-нибудь переждать погоню и притаиться в этой воронке, как таится любой зверь, чтобы его не нашли. Поджав ноги, я немного пригрелась...

Как вдруг громкие голоса:

— Веди сюда! Убей дуру! Раздень ее догола! Бей ее колючками арчи.

Несколько всадников окружили меня. Как могли они спуститься в крутостенную горную воронку? И вот прямо передо мной разъяренное лицо свекра. Он вцепился в мои плечи и плюнул мне в глаза. Он стал пинать меня коленями. Изо рта брызжет слюна и течет по усам, по бороде, спускается на грудь; он похож на бешеного верблюда. Он чередует ругательства со словами проклятья и молитвы. Он не подпускает ни единого человека:

— С этой бессовестной разделаюсь своими руками. Отойдите! Судьба этой подлой в моих руках!

Его голос уже осип от крика. Подбежала было его жена — свекровь моя Макмал... Я вспомнила, что раньше он кричал, обвиняя меня в ее убийстве. Но вот же она, она живая, и тоже хочет меня ударить, протягивает ко мне руки с отросшими кривыми когтями. Свекор оттолкнул ее. Ухватившись за живот, она согнулась от боли, но глаза ее по-прежнему свирепы и жаждут крови. Свекор отбивался камчой от всякого, кто пробовал подойти. Он бил направо и налево, слюна на его губах пенилась от непомерной ярости. Народ испуганно притих. Все шепотом осуждали моего свекра за то, что никому не дает поживиться моим мясом. Тогда все сплотились вокруг него и приготовили толстый шерстяной аркан.

— Скрутим его, свяжем, он взбесился, его надо прибить камнем, а то еще укусит кого-нибудь из нас, а потом мы перекусаем друг друга...

Нашелся благоразумный и закричал:

— Не подходите к нему, спасайтесь, бегите от него, все равно он всех нас предаст и разорит. Видите, издалека скачет сюда новый друг его Батыркул!

Многие попятились, однако трое или четверо все-таки пробовали связать моего свекра. Но он такой здоровый и такой при-

лёжный в драке, что всё перед ним валятся, а он торжествует и хохочет, он плюется ядовитой слюной и радуется, что может заразить бешенством все больше и больше своих соплеменников. Он рвался, кричал, ревел:

— Бекмерген, брось нож! Ты сильнее, но ты глупее, без меня сгинешь! Брось, Бекмерген!

Свекор стал плакать, и лицо его раздувалось темной синевой. Он плакал, но, вцепившись в мои руки, принялся выворачивать их из плеч. Казалось, сейчас раздробятся мои кости. Он прыгал на меня с разгона. Нацелившись, ударил коленом в сердце. Он сдирал с меня одежду, и она кусками летела по ветру. Совсем голую ухватил меня за ноги и, как старательный вол тащит соху, протаскивал мое безжизненное тело сквозь гущу арчовых игл. Кожа моя превращалась в кровавые лохмотья. Ни один из стоящих не помог мне освободиться, все в смирении ждали, чем кончится.

— Пай, пай, пай! — Он втащил меня на ледяную вершину горы, и я вскочила против него. Мы ненавистно глядели друг на друга, еле удерживаясь на скользкой вершине. Он хотел проглотить меня, а я — его. Изо рта свекра вылетали клубы зеленого дыма. Каждая волосинка в его бороде сделалась толщиной в мизинец. Он так трясся, что гора под ним дрожала, готовая обрушиться. Он зарычал, как собака, превратился в черную собаку и стал облизываться. Потом лизал ледяную поверхность горы и что-то жевал. Потом опять принял человеческий облик и зашептал голосом мертвой жены своей Макмал:

— Беги! Скройся! Откажись от нашего дома! Ищи себе счастье в другом месте!

Я не знала, как его понимать, и дала угаснуть своей злобе, тогда он снова вонзил свои когти в мое тело. С каждым рывком отделялся кусок моего мяса. Он отбросил меня далеко с горы, и я полетела без единого взмаха, как летит в высокой синеве беркут. Я увидела сверху, как бредет спотыкаясь голодный и рваный Серкебай. Я жалела не себя, а его. Что с ним случи- 10
лось? От всей души хотела, чтобы остался жив и чтобы его не разыскали. Задумавшись о нем, я потеряла направление и со всего лёта ударилась плечом об острую скалу.

— О, умерла я! — так я кричала.— О Серкебай, не появляйся здесь! Если появишься — пропадешь! Беги в неведомый край! Не забудь меня!

Поясница разрывалась, не давая сдвинуться. Ухватившись за арчовый корень и собрав все свои силы, я подтянулась, еле-еле сдвинувшись с места. В это время подул сильный ветер, он подхватил меня как пушинку и понес. Я билась о камни и

стволы деревьев. Так мчалась, бестелесная и пустая, подгоняемая ветром, пока не достигла местности, где горел большой огонь, и закричала:

— Пожар! Пожар!

Оказывается, у меня снова появились ноги и они стали горячими. Я испуганно открыла глаза и увидела, что на моих ногах лежит, согревая их, Кумайык.

Так вот оно что — старый мой друг, длинномордый и длинношерстый, нашел меня под снегом. Он согрел мои ноги, он лизал мои руки, он требовал, чтобы я проснулась, он скулил и слегка выл. Увидев, что смотрю на него, он подскочил и принялся весело скакать, а потом долго бегал большими кругами, проваливаясь в снегу...

...Я поднялась и прислушалась. Нет ни свекра, ни свекрови, ни злой толпы, а есть только солнце и сверкание бесконечного снега.

Я была мокрой почти до костей, судорога сводила руки и ноги. Пес все больше сердился на меня.

«Гав, гав!» Он лаял на меня, показывая этим, что здесь нельзя оставаться. Он требовал, чтобы скорее уходили. Он тянул меня зубами за край моей жакетки.

— Куда ты меня тянешь, Кумайык? Ты хочешь домой, в прежнее рабство?!

Я достала из мешочка несколько шариков боорсаков, дала ему и поела сама.

Разрывая снег, мы ползли вверх, оставляя за собой глубокий след. Мы скользили и падали на дно впадины, а потом опять ползли, и это меня согрело. Мы выползли к тому месту, где начинался лес и где была тропа. Полузанесенная, но все-таки заметная. Я хотела идти тропой, но Кумайык потащил меня в гущу крутого леса... Знаете ли вы, дорогие мои, как на крутизне гор весело живут тянь-шаньские ели?! Каждое дерево, касаясь ветвями друг друга, даже и в полном безветрии переговаривается с соседками. Бегают по древесным стволам горностаи и ласки, являются из нор и смотрят любопытными глазами хорьки, корсаки, барсуки; показываются на мгновенье и, взмахнув огненным хвостом, исчезают лисы... Солнечные лучи прорезают весь склон и, натыкаясь на обледеневшие стволы, всюду разбрасывают искры.

Лес говорил мне:

— Побудь в моей гуще, поживи в моей радости, забудь о людях, отдохни!

Мы нашли с Кумайыком глубокую теплую пещеру, и какой-

то зверь выскочил из нее, чтобы мы могли пользоваться его жилищем и спать, спать...

Мы так далеко ушли от человечьих троп, что я снова решилась разжечь костер. Теперь ничто не было мне страшно: меня оберегал лучший мой друг — он ходил, принюхивался и прислушивался, я смогла разложить свои мокрые одежды перед огнем, просушить их и как следует согреться.

Уняв дрожь, разморенная счастьем тепла, я стала в хорошей дреме думать о будущем, лаская себя надеждой, что жизнь повернется ко мне таким же ясным и радостным огнем, какой дает мне костер в пещере.

Тут я вспомнила свой ужасный сон и то, что было перед этим. Все смешалось, я не могла здраво рассудить: неужели не было первой погони, и не было бабыргана, и не выручил меня страшный кул? Нет, он был, он был! И Кашкоро кричал, что я убила жену его Макмал, а потом молил раба своего Бекмергена бросить нож.

Теперь поняла: он нарочно вернулся этой ночью, зная, что отравленная порошком иссык-кульского корня старая его жена больше не встанет. Он и Белека увез для этого.

Может быть, так, а может быть, и по-другому. Мне было все равно...

...И опять я проснулась от голоса. Говорил человек. Говорил хорошими, ласковыми словами:

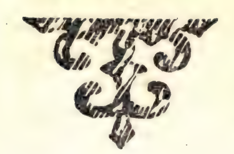
— Ах, Кумайык, славная моя собака! Как же ты состарилась! Тебя и не узнаешь...

Я увидела большого мужчину с черной бородой, и он увидел, что я его вижу.

— Ну вот ты и пришла в мои владения. Долго же я тебя ждал. Что ты так смотришь, не узнаешь?.. Я — Токтор. Опасности миновали, и мы сейчас отправимся ко мне... Хочешь, возьму тебя на руки? Ведь ты совсем маленькая... Маленькая, еще незрелая бунтарка! — Он рассмеялся.— Нет, нет, ты уже взрослая, хотя до взрослости тебе еще очень далеко...

И мы пошли.

Я во всем ему верила, хотя на плече его висело ружье, за поясом у него был длинный нож и в руке он держал тяжелую камчу-треххвостку.



Глава седьмая,

которая завершает рассказ старой учительницы о своем детстве и заглядывает в будущее.

Я долго и тяжело болела. Сильно кашляла, готовая вывернуться наизнанку. Надолго теряла сознание, и всплывали передо мной зубастые и клыкастые морды. Пытались схватить меня, но обжигались и, урча, терли лапами подпаленные носы. Так была я горяча, так горела внутренним огнем, что все вокруг меня светилось и в темно-красном моем свете рождались видения. Сперва тревожные и страшные, но постепенно их отодвигали добрые, склонившиеся надо мной лица. Лица женщин и детей, а потом и мужчин, бородатых и бритых. Наконец наступило время, когда стала понимать слова. Ни разу не услышала я проклятий, брани и угроз. Никто на меня не замахивался, никто не дразнил. И вот я встала, и ноги мои оказались на дощатом полу, какого никогда и нигде не видела. Я качнулась и пошла, держась за гладкую стену... В тот момент никого возле меня не было, я пошла в сторону света, с удивлением замечая, что оттуда не дует, хотя и виден был яркий, светящийся под солнцем снег... Воздух вокруг был теплым, ничуть не дымным, и я увидела странную, похожую на сундук печку с чугунной плитой, на которой стояли горшки и кастрюли, выпуская из-под крышек вкусный пар, круживший голову и рождающий нестерпимый голод...

Потом было вот что. Распахнулся со скрипом кусок одной из гладких стен и снова закрылся, и передо мной явилась молодуха. Та самая молодуха, что когда-то, в прежней моей жизни, встретилась мне у родника, чтобы рассказать о Серкебае и показать рукой, где находится дом Токтора.

— Аруке! — воскликнула она, улыбаясь, подбежала ко мне, обняла и поцеловала.— Ты жива, и ты будешь жить! Ой, какая худенькая и легкая, от тебя почти ничего не осталось! — Она подняла меня и закружила, и все перед глазами моими

помутилось — так сладко мне стало и радостно...— Ой, ой! — закричала молодуха.— Я слишком здоровая, а ты еще слишком слабая...

Она уложила меня и принялась хлопотать. Она причесала меня, как в далеком детстве причесывала родная моя мама. Она принесла таз с водой, вымыла мое лицо и утерла полотенцем. Она говорила, что-то рассказывала, с лица ее не сходила улыбка. Усадив меня и подложив под спину подушку, молодуха принялась кормить меня с ложечки чем-то очень вкусным. При этом утешала, обещала, что снова стану сильной. Такой же, как она и как Акзыйнат...

— Акзыйнат тоже здесь? — спросила я.

Это были первые мои слова, от которых молодуха весело расхохоталась.

— Нет, нет! — воскликнула она.— Тут не по кому плакать. Акзыйнат приходит туда, где надо оплакивать покойника... У нас все живы и здоровы... А теперь и ты здорова... И тот, кто живет в тебе, тоже здоров...

Я ничего не поняла и даже испугалась. Тогда глаза молодухи заискрились, она захлопала в ладоши, пустилась гладить меня и ласкать.

— Не сердись,— говорила она.— Я смеюсь, потому что душа моя скачет от радости, мне хочется петь от счастья: ты спаслась, нам удалось тебя выходить теплом и вниманием. Как ты кричала, ах, как ты плакала и тряслась, но когда затихала — было еще страшнее. Казалось — вот-вот испустишь дух. Если б не старуха... Помнишь старую-престарую Кынсылу из своего аила?.. Да, да, ту самую Кынсылу, которую многие считают безумной и которая прогнала тебя в день, когда ты решилась на бегство?.. Она, она лечила тебя от горячки наварами трав и корешков! Тебя и вместе с тобой твоего мальчика...

— Какого мальчика? — вскричала я и невольно бросила быстрый взгляд на свой живот.

Заметив это, молодуха стала смеяться еще пуще:

— Да, да, этого самого мальчика! — Она нежно коснулась пальцами моего живота.— Кынсылу известна как самая лучшая повитуха во всем роде монолдор. Она и знахарка и повитуха... Когда отец мой Токтор привел тебя горячечную из леса и ты упала в беспамятстве на пороге нашего дома, муж мой Кадыр оседлал лошадь и помчался в аил. Он тайно пробрался к старой Кынсылу и привез ее к нам... Ты спрашиваешь — почему тайно? Да потому, что к тому времени уже все знали об убийстве Кашкоро, а еще раньше, в юрте, жены его Макмал.

Я не удержалась и прервала молодуху:

— Кашкоро?! Неужели и правда он мертв? Он гнался за мной, искал меня, желая казнить... Кто его убил, когда? — Я вся тряслась от возбуждения.— Рассказывай, скорей рассказывай! Но знай, дорогая сестричка: мою свекровь Макмал отравил порошком из иссык-кульского корня ее муж, мой свекор Кашкоро. А потом кричал... это я помню... он кричал, что ее убила я. Может быть, мне показалось?.. А где Кумайык? Он был со мной, приполз ко мне в горную впадину... Милая сестричка, ты позволишь так тебя называть? Я ведь даже не знаю твоего имени... У меня пухнет голова. Не могу различить сны и явь... Неужели Кынсылу узнала, что у меня будет мальчик? Как могла определить? А где Серкебай? Я видела, как его искали в лесу. Летела над ним и видела... Прости меня, прости, сестричка, я как безумная...

Молодка испугалась и захлопотала: снова уложила, укутала с ног до самой шеи.

— Успокойся, тебе нельзя волноваться. Вот опять тебя лихорадит. Лежи тихо. Побудь одна...

— Нет, не уходи, или я побегу за тобой. Говори все, не бойся. Обещаю лежать смирно и слушать. Не бросай меня, мне страшно! И не молчи. Надо же, наконец, понять... Прошу тебя...— С этими словами я закрыла лицо и разрыдалась.— О боже, что было со мной и что будет?!

Молодка села ко мне на постель. Она была встревожена. Стала говорить тихим и нежным голосом, как с ребенком:

— Меня зовут Бюбюсар, я дочь Токтора. Моя мама, узбечка Дильбар, погибла в прошлом году, когда возила в Андижан драгоценные шкурки. Мой муж носит имя Кадыр. Он казанский татарин. У нас трое детей: Сафар, Сафуан, Сираджи. Муж мой год назад ушел на войну, чтобы скрыться от властей, которые собирались запрятать его в тюрьму. Моего Кадыра послали на передовые позиции, и он, попав под обстрел, потерял ногу. Теперь вместо ноги у него деревяшка. Но и я и дети все равно его любим. Что тебе еще рассказать? Ведь ты ничего, ничего не знаешь, кроме того, что касается твоей жизни, и думаешь, наверно, что нет страшнее пережитого тобой... Ах, как хотелось бы раскрыть твои глаза! Вот уже второй год народы многих стран стреляют друг в друга каждый день и каждую ночь. Тысячи и тысячи умирают в страшных муках. Снаряды рвут их на части, ядовитые туманы покрывают их тело язвами и волдырями, они задыхаются от зловонья, они падают в грязь, их затаптывают вражеские солдаты, кони и железные чудовища. Счастье мое и трех моих сыновей, что Кадыр вернулся живым...

Я невольно воскликнула:

— «Счастье»? Ты говоришь «счастье», но ведь он без ноги? Как может жить без ноги? Как ходит и ездит верхом?

Бюбюсар горько улыбнулась:

— И как работает? Ты ведь, наверно, и это хотела спросить?.. Дорогая сестричка Аруке, мы счастливы, и он счастлив. Мы вместе, мы любим друг друга... Только нам этого мало. Хочется, чтобы люди нашего народа отказались от вековечных междоусобиц, научились грамоте, научились думать, защищаться от баев...

Я вздохнула и задумалась.

Дорогие мои, вы слушаете старую учительницу, которой давно уже минуло шестьдесят лет, и, наверно, поражаетесь: «Как может она столь горячо воспринимать далекое и давнее? Как может сегодня переживать и плакать?» А я плачу. Да, плачу! Потому что потеряла и не могу найти маленькую нарождавшуюся душу. Вновь смотрю на себя, какой я попала в дом Токтора. Бежала, чтобы обрести свободу, но слушать о других не могла и не хотела.

— А где мой Белек? — спросила я неожиданно для себя.— Если правда, что Кашкоро и Макмал погибли, а он жив...

Бюбюсар посмотрела насмешливо:

— Твой Белек? А зачем он тебе?.. Ах, я и забыла, что передо мной законная жена байского наследника, одиннадцатилетнего богача, владельца несметных отар и табунов... Скорей на коня, Аруке! Может, еще удастся тебе спасти сундуки с фарфоровой посудой, кусками материи, деньгами и драгоценностями...

Я чуть не заплакала.

— Зачем ты так? Я не ищу богатства. Белека я боюсь. Он ведь и правда мой муж, а я его жена. Белек мал, но мулла сотворил брачный обряд, люди знают, будут искать, преследовать... Ты смотришь на меня с недоверием...

Бюбюсар сразу оттаяла.

— Хорошо,— сказала она,— глаза твои правдивы, и я тебе верю... А хочешь знать, как мой отец и все мы стали врагами богачей?

Я молча кивнула.

Бюбюсар была лет на девять старше меня. Она казалась очень молодой, но была уже матерью трех сыновей, сложившейся женщиной, грамотной и много пережившей. Вот что она успела вкратце рассказать.

Ее деда Алжана — отца Токтора — сорок с лишним лет назад проиграл на скачках манап Ташпай. Вся семья попала

в рабство к богатейшему казы Рахиму. Мать Токтора Каным была красавицей. Влюбившись в нее, Рахим подослал к ее мужу наемных убийц, и они его уничтожили. Каным не пережила смерти любимого, отказалась стать женой своего повелителя Рахима и повесилась. Двенадцатилетний сын ее Токтор все видел и все понимал. Он бежал из владений Рахима и нашел себе прибежище в городе Андижане. Сильный и решительный мальчишка пристроился учеником к узбеку-оружейнику. У Токтора была мечта отомстить за родителей. Став прекрасным стрелком, знатоком пистолетов и ружей, несколько лет он подстерегал казы Рахима. И вот, наконец, устроил ему засаду на дороге. Однако узбек, владелец мастерской, выведал намерения своего молодого мастера и предал его. Полиция схватила Токтора, суд сослал его в Сибирь на каторгу. Там Токтор познакомился с русскими революционерами. Они научили его грамоте. Он пристрастился к чтению бунтарских книг и понял, что убийство одного кровопийцы ничего не даст. Надо свергнуть власть царя и богачей... Отбыв пятнадцатилетний срок, Токтор вернулся в Андижан и там нашел свою любовь — узбечку Дильбар и на ней женился. От этого-то брака и родилась румяная Бюбюсар... Все годы городской жизни Токтор занимался оружейным ремеслом и был связан с рабочим людом, помогая бунтовщикам деньгами и вооружая их. Когда же преследования полиции стали невыносимы, он бежал в родные киргизские горы, где построил дом, похожий на те, что стоят в Сибири. Под видом охотника, выделывателя шкур и собирателя трав Токтор вошел в доверие волостных правителей. Сам же наладил связи с теми из киргизов, которые смертельно ненавидели царские и байские порядки. Он поддерживал отношения с революционерами Андижана, Ташкента, Верного, Пишпека...

Я прилежно слушала, но плохо понимала. Прощалась, но еще не простилась с детством. Ни бунтовщики, ни полиция меня не пугали и не задевали души. Кто такие революционеры, я понимать не могла и спрашивать о них не хотела.

Я боялась погони, расправы, но хотела знать все о Серкебае — ведь он был отцом моего еще не рожденного ребенка.

Заметив мое невнимание и тупое равнодушие к тому, что касалось прошлого ее семьи, Бюбюсар себя оборвала и, глядя мне в глаза, так сказала:

— Ах, подруженька, что-то не о том я говорю. Коснусь лучше твоих дел. Так вот, знай, богатства Кашкоро сгинули и пропали: их захватил хитрый из хитрых — сосед ваших владений Батыркул. Он завлек твоего свекра в торговые сети и обманул.

А как только погиб Кашкоро, несметные толпы Батыркуловых воинов кинулись на ваш аил, захватив его врасплох. Многих увели в плен и в рабство.

— Правда? Правда?! — мечтательно проговорила я.— Серкебай родственник Батыркула, он может спокойно вернуться. Только... Ой, как я боюсь, что Батыркул пожелает и меня, как жену Белека, сделать своей рабыней. Наверно, он меня ищет... Расскажи, объясни мне все... А можно мне остаться с вами?.. Я буду стирать на всю вашу семью и готовить пищу, буду послушной и молчаливой, буду топить вот эту чудесную печку, штопать одежду твоих малышей... Вы добрые и справедливые. Лучше быть вашей рабыней и прислугой, чем вернуться туда, где все меня ненавидят...

Бюбюсар мягко улыбнулась.

— Мы враги рабства,— сказала она,— и боремся с ним всеми силами. Ни прислужницей, ни рабой ты больше никогда не станешь. Конечно, ты еще долго должна лечиться, чтобы окрепнуть и возвратить свои силы. Ты проболела больше месяца. Уже зима. К весне научим тебя грамоте, а потом родится твой мальчик...

— А если родится девочка, вы меня прогоните?

— Глупая! Ты и сама еще девочка, а ведь мы тебя не прогоняем... Нет, неправда — ты смелая и сильная, мой отец назвал тебя бунтаркой...

— Это я помню. Мы шли с ним по лесу, и он мне сказал. Но почему, почему?..

В ответ на мои слова Бюбюсар рассказала все, что было ей известно:

— В ночь твоего бегства вернулся Кашкоро. Один, без Белека. Еще не подъехав к своей юрте, стал кричать: «Люди, ко мне! Моя жена отравлена, убита!» Был дождь, и народ не сбегался. Люди только-только успокоились после нападения волчьей стаи. Подняв кошму и войдя в юрту, Кашкоро увидел мертвую Макмал у тлеющего очага и завопил: «Аруке, Аруке, проклятая тварь, где ты?!»

Поняв, что ты сбежала, он сразу же позвал верного своего кула Бекмергена и помчался в погоню. Они прискакали к нам. Ведь отец звал тебя, и твой свекор об этом помнил. За ними увязался и пес Кумайык...

Я вмешалась в рассказ Бюбюсар.

— Кумайык меня очень любил, был самым моим лучшим другом,— проговорила я.

— Да, это так. Но будь благодарна случаю. Из-за своей любви к тебе Кумайык чуть тебя не погубил... Слушай, слушай!

Прискакав к нам, Кашкоро с Бекмергеном увидели по нашим лицам, что мы ничего не знаем. Все-таки они обшарили все кругом. Кашкоро кричал Кумайыку: «Ищи, ищи!» Но пес не нашел твоего следа. Это-то и убедило бая в том, что ты прячешься в другом месте. Обратно они поскакали иным путем...

Прервав Бюбюсар, я рассказала, как соскользнула в горную впадину и меня засыпал снег, как потушил мой костер бабырган и как Бекмерген спускался ко мне; Кашкоро его торопил, а он сделал вид, что меня не нашел...

— Это мне известно,— сказала Бюбюсар.— Ведь Бекмерген к нам возвратился.— Она сделала страшные глаза.— Мы все испугались и удивились — любимый кул бая, преданнейший из преданных, прискакал к нам, держа под уздцы коня Кашкоро. Еще только подъезжая к дому, он уже кричал во всю мочь: «Я убил, убил проклятого! И еще бы сто раз убил!» Едва придя в себя, Бекмерген стал дико озираться и умолять моего отца указать тайный путь через гору... Конечно, отец помог ему уйти...

Рассказ меня ошеломил.

— Подожди, сестричка!.. Неужели Бекмерген?.. Ведь с детских лет... Он... Я сама видела, какие страшные побои терпел от Кашкоро. Заливался кровью и гордился, что может терпеть любое наказание, не вскрикнув и не застонав. Как же так? Разве рабы когда-нибудь бунтуют?

— Ты, ты подала ему пример! Своим бегством пробудила в нем жажду свободы. Так он сам объяснил моему отцу Токтору... Потому-то отец и назвал тебя бунтаркой...

— Раньше ты говорила, что меня чуть не погубил Кумайык. Как могло это быть?

— Да, чуть не погубил тебя, но вызвал гибель Кашкоро! Вот что бывает, дорогая сестричка. Сейчас увидишь, как много означает в жизни с л у ч а й. Кумайык родился в отцовской своре. Обучив пса выслеживать и догонять дичь, отец продал его Кашкоро. Прошло несколько лет... и вот, прибежав вместе с хозяином и рабом, Кумайык вспомнил всех нас. Ласкался и прыгал. Когда же твой свекор повернул обратно, пес не сразу послушался его зова. Ах, как не хотелось бедной собаке уходить от нас! Можно сказать, взбунтовалась... Всадники отъехали уже далеко и все кричали и свистели. Отцу пришлось прогнать Кумайыка; пес очень обиделся, но не способен был ослушаться. Он догнал своего хозяина уже после того, как Бекмерген поднялся из горной выемки, где пряталась ты. И они уехали дальше. И Кумайык, настигнув их, принялся лаять, всем своим видом показывая, что надо вернуться. Понимаешь — он тебя

учуял. Учуял и звал хозяина к тебе. Разве мог бедняга знать, что стал предателем?.. Кашкоро понял: пес набрел на твой след. Тогда он повернул коня. Поравнявшись с выемкой, Кумайык побежал вниз. Бай сразу же догадался, что Бекмерген его обманул. В дикой ярости он поднял камчу. Но, видно, еще не до конца знал силу и ловкость своего раба. Быстрым движением Бекмерген выхватил из рук Кашкоро плеть, сложил вдвое и так ударил своего повелителя между глаз, что тот упал замертво...

— Как верблюда! — воскликнула я.

— Почему как верблюда? — удивилась Бюбюсар.— Как изверга и всеобщего мучителя! Нет человека, который пожалел бы о смерти Кашкоро. Может быть, один лишь Белек. Верблюд — хорошее животное. Любой, даже самый злобный, приносит пользу. Баи и манапы ничего, кроме бед и несчастий, не дают.

Тогда я рассказала, как хвастался мой тесть, будто убил одним ударом бешеного верблюда.

Бюбюсар сказала:

— Такие, как он, ничем иным не хвалятся, только убийствами, обманом и богатством...

На этом и закончился наш разговор. В комнату ворвались мальчишки — Сафар, Сафуан и Сираджи. Вместе с ними влетело облако морозного пара.

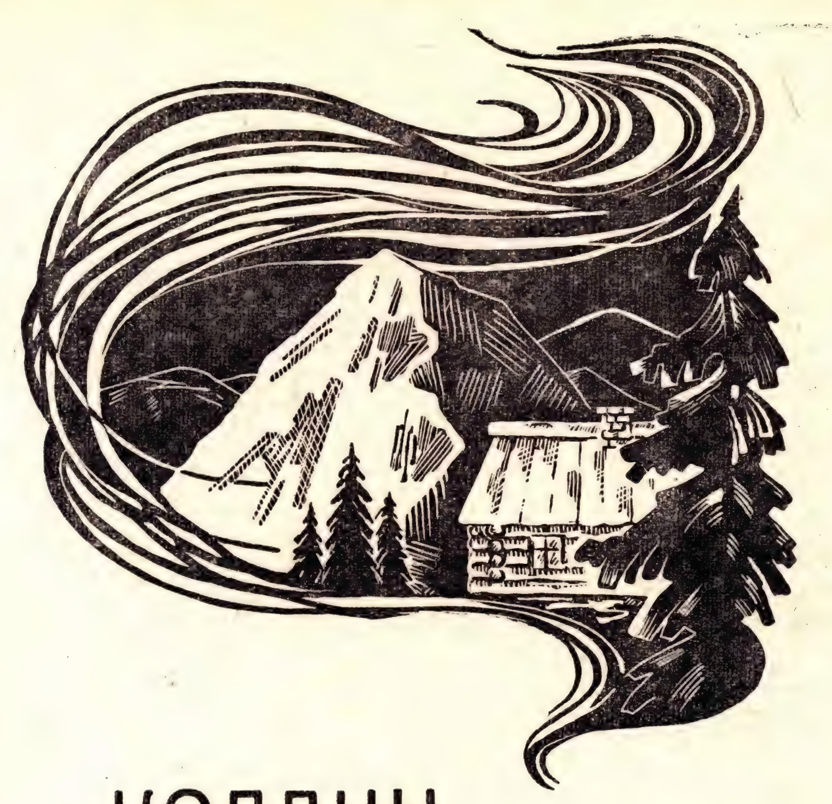
— Эй вы, паршивцы, закрывайте дверь! — закричала и строго глянула на своих ребятишек Бюбюсар.— Смотрите, простýдите нашу сестричку Аруке. Видите — она выздоровела. Неужели хотите, чтобы снова заболела?..

— Нет, нет, нет! — закричали мальчики хором, но сразу же и смолкли, уставившись на меня.

И тут я увидела, что все трое прибежали с мороза босые. Снег и лед этим крепышам были нипочем. Так же как и мать их Бюбюсар, они были румяными и загорелыми. Они были веселыми и радостными. А на меня смотрели как на пришелицу с того света. Я уловила в глазах их доброту и участие. Все это виделось мне так же ново, как дом с гладкими стенами и дощатым полом, как похожая на сундук горячая печь с плитой, как застекленное окно, не пропускающее злого ветра.

Все-все было мне ново и необычно.

А когда пришли Токтор и муж Бюбюсар Кадыр с деревяшкой вместо ноги, когда сели они против меня, не прячась за какой бы то ни было занавеской, когда каждый пожал мне руку и каждый проговорил слова утешения и ласки, я не смогла удержать слез. И все поняли, что это слезы радости.



КОЛДУН

КНИГА ВТОРАЯ



Глава первая,

в которой Аруке, ослабнув от болезни и боясь быть обманутой, подозревает всех, топчется и вязнет в робких мстительных мыслях, не дающих ни радости, ни покоя. Не зная мечты и цели, забыв мать, отца и народ своего аила, она полагает бунт и свободу в одном лишь упрямстве, готовая ради этого принять смерть.

— Вот и опять мы встретились, дорогие мои, после долгой разлуки. Я обещала вам продолжение рассказа о пережитом и вижу, с каким нетерпением заглядываете вы в дупло моей жизни, надеясь найти там пищу для ума и скорее добраться до сути. Не торопитесь! Не будьте медведями, которые в неистовой жадности к сладкому меду разрушают тонкие переборки восковых сотов, давят личинки и крушат сложную и мудрую постройку пчел...

Так, усаживаясь в тени урючины, начала старая Аруке. Нетрудно было заметить — она чем-то недовольна, сердита, легко может обидеться и обидеть. Молодые ее слушатели смущенно переглядывались, не решаясь спросить, чем провинились перед ней.

Разливая чай и предлагая скромные угощения, старая Аруке повторяла:

— Не будьте, не будьте медведями! Если же кто-либо из

вас пожелает меда истории, пусть, подобно пасечнику, приглядится к движениям пчел, которые только кажутся глупыми и суматошными. И ведь не только пчел, даже злых и коварных ос несправедливо считают бестолковыми. Их действия подчинены порядку, в котором хоть и мало смысла, однако он есть...

Какое-то время просидев в задумчивом молчании, Аруке вздохнула и с улыбкой прибавила:

— Если думаете, что про вас говорю,— ошибаетесь. Себе даю наставление! Вспоминая и перебирая прежний рассказ, вижу с досадой, как, стремясь к признанию ума своего, торопилась и перескакивала, рвала и мяла недозрелые побеги мысли и памяти.

* *
*

Я много и долго думала, как случилось, что, говоря вам о страданиях и радостях бежавшей от бая девочки-женщины Аруке, обрисовала ее столь разумной и речистой.

Слова. Во всем виновны слова.

Слова, которые необходимы в нынешней жизни, для описания далекого прошлого непригодны. Речь людей была иной, и понимание друг друга происходило не так, как теперь. Та забитая девочка, о которой вам рассказываю, хоть и была нежна и восприимчива к ласке, от простого непонимания могла одеревенеть и, подобно жучку, поджать лапки. Хуже, чем барсы и медведи, пугали ее непонятные слова и хитрости речи.

Приведу пример.

В том же году, ближе к весне, когда уже долго я прожила у Токтора, он однажды спросил, как я вижу будущее и чего жду от продолжения жизни. А я, хоть и многое успела узнать, научилась чтению и первоначальному счету, ответила по-глупому:

— Хочу, чтобы родился сын и чтобы никогда не чувствовал голода и побоев, чтобы много у него было скота и конь его был бы резвым, а жена добрая и дети здоровыми...

Я весело ответила. И вы, пожалуй, скажете, что нет в этом глупости. Но Токтор полагал иначе. Он хотел от меня, чтобы сказала о народе, каким он станет счастливым и свободным в радостях равного для всех труда и всеобщей грамотности.

Постепенно я это усвоила — стала говорить и думать, как Токтор. Переламывая себя и украдкой озираясь на прошлое, старательно заучивала слова, за которыми для меня еще ничего не было. Учитель мой и кормилец хвалил, говоря, что я спо-

собная — легко впитываю, легко повторяю. Но, довольная похвалой, я огорчалась, что не вижу то, что впитываю и повторяю. Не видела — значит, принимала на веру. Так приученная лошадь не задумываясь поворачивает, понукаемая рукой всадника, так по первому зову садится на руку охотника ученый беркут. Ему не надо ничего, кроме слова хозяина.

Я же не была ни лошадью, ни беркутом. Когда не понимала и не видела, душа моя сворачивалась ежом и выставляла колючки.

Не в этом ли проявлялось железо души, о котором так часто упоминала в первом своем рассказе?

Слова. Они пугали меня пустотой более страшной и далекой, чем шайтан и аллах, ад и рай. Я пряталась от них, закутывала голову и уходила в сны, где возвращалось ко мне то, что знала не только слухом и зрением, но и руками и телом...

О телесной памяти еще буду говорить. О ней ни в одном своем труде не поминают историки. Напрасно. Телесная память живет в человеке и в звере, передается потомству, пугает и прижимает к земле, а бывает, что веселит и вдруг подымает на крыльях, которых душа не знает и с удивлением подчиняется телу.

Тело может визжать, и плакать, и нестись вскачь, и сжимать душу, туманить ее и разрывать на части.

Могу многое сказать о телесной жизни и телесной памяти, но раньше слушайте, что я пережила, вернувшись из болезни; как увидела и ощутила жизнь на плоском, окруженном лесом, горном выступе в доме черноволосого свободного охотника Токтора.

* *
*

Помните?

Как только очнулась я от болезни, со мной говорила румяная дочь Токтора — молодка Бюбюсар. Мать трех сыновей, она была не по летам быстрой и шустрой. То и дело хохотала, обнимала меня и целовала, пугаясь, что так легка я и худа. Помните, подняв на руках, уложила в постель и подоткнула одеяло, а потом гладила по голове.

От нее я узнала, что во мне наливается соками жизни еще не родившийся человек. Это было правдой: я чувствовала его в чреве своем.

А что еще было правдой?

Бюбюсар твердила, бодря меня взглядом, что радуется моему выздоровлению и хочет петь от счастья по одному тому,

что, поборов тяжелую болезнь, удалось меня выходить. И в этих ее словах я не усомнилась, хотя и непонятно было, почему выздоровление чужой и ненужной пришелицы должно ее радовать и вызывать желание петь.

Помните, она поведала, как взбунтовался кул Бекмерген и пришиб сложенной камчой свекра моего Кашкоро. После чего Токтор помог беглому рабу и преступнику скрыться. Этому я всей душой поверила, переживая казнь Кашкоро как дело рук своих. Дрожа от страха и ненависти, и я в уме убивала мучителя своего. Говорила вам, что от этого известия разрыдалась? Так оно и было! Кровь и смерть врага могут возбудить до крика и даже до исступления...

...Много позднее я спросила себя: хорошо ли восторгаться от крови и смерти врага?! И усомнилась, что хорошо...

Вижу, вы удивляетесь. Ведь кровь и смерть врага должны радовать все живое и сущее всегда и везде. Неужели не так и будет когда-нибудь иначе?..

Не усмехайтесь и не пожимайте плечами. Догадываясь, что загорелись войти в спор, я охотно бы вам ответила. Только не сейчас, тому еще придет случай. Что же сейчас? Да то, что надо продолжать, пока не забылось.

Помните, румяная молодка Бюбюсар с ревностью принялась допытываться: жажду ли я совместно с малолетним и ненавистным мне Белеком вступить в наследство и получить сундуки с золотой утварью и несметные стада Кашкоро? Я в ужасе отказалась. Обрадованная Бюбюсар кинулась меня целовать. После же поцелуев и сестринских ласк стала шептать, что батыркулы, прослышав о гибели главы нашего рода и пользуясь этим, напали на монолдоров. Многих наших людей уничтожили, многих разорили и увели в плен, а принадлежащие Кашкоро богатства захватил хитрейший из хитрых сосед наших владений Батыркул; мужа моего Белека он превратил в пожизненного раба, и тем самым я ему теперь уже не принадлежу как жена и могу себя считать свободной.

Так говорила Бюбюсар, и я слушала в оба уха и всему верила. Верила... Но для чего ей было спрашивать: хочу ли наследовать богатства, когда сама же сообщила, что они захвачены Батыркулом?

Я не хотела разбираться и не могла. Во мне жарко вспыхнула тяга к Серкебаю. Услышав такие новости, я сразу же с восторгом вспомнила, что мой Серкебай родственник Батыркула и может безбоязненно вернуться из того места, где он прячется. «Как и когда он возвратится? — спрашивала я.— Найдет ли меня, догадается ли, где искать?»

На эти вопросы молодка не откликнулась, но, утратив связь с предыдущим, стала превозносить отца своего, который, не жалея сил и жизни, борется за народное счастье. Слова ее были непонятны и чужды, значение их от меня ускользало.

Слова, слова, слова.

Можно ли взять руками и приблизить к себе счастье народное, посмотреть его, понюхать и попробовать зубом? Можно ли счастью народному заглянуть в ласковые его глаза? Оно соткано из слов, а не из плоти. Безграмотный человек знает землю, скот, вещи, знает любовь. Нужно долго учить, как учили вас, чтобы слова могли предстать перед разумом предметно. Я знала запах и вкус Серкебая, слышала его песню, чувствовала сильные его руки, тепло взгляда и тела. Вот и тянулась к нему, и он обозначался как живой в уме моем.

Мне стало обидно, что в ответ на мою просьбу поскорей найти Серкебая румяная молодка хлопочет передо мной о счастье народном и говорит об отце, которому надо помогать в этом деле. Тут-то, наверно, и мелькнуло во мне, что дело непросто и молодка что-то готовит. Я стала смотреть и слушать по-другому. Вспомнила, что, приехав за мной к отцу с матерью, о счастье твердили и бай Кашкоро, и жена его Макмал, что счастье и удачу прилежно сулят и купцы и муллы...

Страх и недоверие стали прокрадываться в душу, обида разрасталась.

Телесные обиды — побои и синяки от них — я помнила подолгу. Неспособна была понять сладость рабства, зубами скрежетала на обидчика, всем существом желала ответить кровью за кровь и зубом за зуб... Но и словесные обидчики бросали меня в озноб. Может, еще сильнее кипела против них, не находя ума достойно ответить.

Неужели и правда затаилась против Бюбюсар, которая столько добра мне сделала и носила на руках?

Да, я обиделась и замкнулась в молчании. И это стало моей новой болезнью.

Послушайте же, как глупость может зайти за глупость и довести до тупого упрямства и злых судорог.

Возвращусь к тому, что уже говорила в прошлом своем рассказе. Тогда я перескочила, теперь же, подумав, решила открыть затаенное и стыдное. Напомню, что после разговора с Бюбюсар в комнату вошли Токтор и зять его Кадыр с деревяшкой вместо ноги. Я, как полагается по обычаю, не смотрела. Должна бы вскочить, но была еще больна, и Бюбюсар меня удержала. Вбежали и мальчишки. Все уселись за стол, и мужчины по очереди пожали мне руку, чего со мной никогда раньше не делали, да

и не принято было подавать руку женщине. Сверх того, они меня утешали, что снова стану здоровой и веселой; от этих слов я расплакалась слезами радости...

...Говоря с вами, я особо отметила такие слова, как комната и стол. Четырехногий стол я знала и раньше — в юрте Қашкоро мне его сколотили для кройки и шитья. Тут же большой стол окружали меньшие его братья — табуретки. Мне странно было видеть, как, согнувшись пополам, на них садятся. Перед каждым, кто сел, и перед детьми тоже, молодка поставила по деревянной миске с дымящимся шурпо, от которого пришел ко мне вкусный запах.

Я лежала. И мне стыдно было оттого, что лежу в том месте, где мужчины обедают.

Но и возле моего изголовья Бюбюсар поставила на табуретку особую миску и, дав в руки ложку, сказала: «Ешь!» — и улыбнулась.

Молитвы никто не произнес.

Я во все глаза смотрела на главу дома Токтора, ожидая, что проведет ладонями у бороды, как делает всякий, кто сидит за обедом на почетном месте. Однако Токтор молитвы не сотворил, и благословения на еду от него не было.

«Қапыр,— мелькнуло у меня.— Қапыр — иноверец!»

Сразу же я похолодела душой, не зная, как быть мне дальше. И тут только дошло до меня, что лежу на возвышении, подобном жертвенному помосту... что стены, печь и все предметы ничем не похожи на киргизские. Стол, и то, на чем сидели и то, на чем лежала,— все, все ногастое. Что должно это означать в безмолитвенном доме? Тут я еще заметила, что головы мужчин небриты и волосы из-под тюбетеек сливаются с бородой. Вспомнилось испуганное восклицание Қашкоро, когда он услышал от Белека, что тот встретился с охотником: «Токтор волосатый?!» Вслед за тем вспомнила, что люди называли Токтора лесным колдуном и боялись его.

А плоский потолок над головой вместо купола юрты?!

А то, что часть стены вырублена и через нее струится свет, и видны деревья, и не проходит сюда мороз?!

Колдун, колдун, колдовское логово, в котором, я — жертва!!!

Надо бы вскочить и бежать, надо бы вопить от ужаса. Но я не вопила и не бежала, а взяла ложку и потянулась к еде.

Наверно, привыкла еще в полубеспамятстве. Не могло же быть, что все время долгой болезни нисколько не ела. Похоже, что на этом топчане я всю свою болезнь и пролежала. И тут, у печи, собиралась к обеду семья. Вот и занавеска, за которой вторая комната. Вспомнила, вспомнила — туда мужчины и

мальчишки к ночи уходят спать... Узнавались и голоса: будто сквозь пелену я и раньше говорила с мальчишками и с Кадыром... До этого дня я, значит, видела и слышала как сквозь воду и подлинное мешалось со сновидениями, а теперь все прояснилось.

Обжигаясь, я хлебала шурпо. Глаз не поднимала — от стеснительности глядела только вниз... Вдруг среди ног стола и табуреток увидела толстую, обтянутую кожей заостренную ногу. Не сразу догадалась, что принадлежит она не предмету, а человеку: Кадыр будто нарочно ко мне протянул. А я вытаращилась, как девчонка. Мне было интересно, другого я не думала. Увидела ремни и пряжки, которыми нога пристегивалась к поясу. Посмотрела ниже — там к деревяшке прибит был кусок толстой кожи. Захотелось прикоснуться. Но спохватилась, что творю неприличие, и отдернула руку...

Поздно!

Что такое?

Да то, что было нехорошо, а стало еще хуже.

Я поймала на себе тяжелый взгляд Кадыра и с перепугу вскрикнула. А он быстро-быстро яростно заговорил, брызгая слюной и почти что рыча. В злобе его голоса таились тоска и боль: вроде бы сильное животное попало в капкан. Слов брани я не разбирала. Но дошло до меня, что, разглядывая казенную ногу калеки, оскорбила мужчину в его достоинстве, напомнила ужас его безобразия, нарушила вежливость и закон отношения к старшему, унизила себя и его...

Ах, дорогие мои, до смерти не забуду, как ожег меня стыд. Рывком я закопалась в одеяле и сжалась. Страшно стало, что ударит? Нет, я была бы рада побоям. Готова была просить прощения. Ни у кого и никогда не просила, но тут бы от души повинилась...

Случилось же другое и непонятное.

Побоев не дождалась. Вместо них начался смех. Сперва тихий, а потом все более громкий. Смеялся Кадыр, хохотали мальчишки — Сафар, Сафуан и Сираджи. И даже Бюбюсар, которая должна бы воздерживаться от смеха среди мужчин, звонко заливалась, будто ее щекочут.

«Капыры, колдуны, так только они могут! Смеются надо мной, как над зверушкой, как над дикаркой». Закипая в обиде и решившись быть смелой, я откинула с головы одеяло, а захватила и платок. Не знала, что от горячки половина волос вылезла, а те, что остались, торчали во все стороны. Не знала, что была худа как смерть. Увидев меня, увидев пылающие мои глаза, все попадали со смеху.

Все, кроме Токтора.

Хохот гремел надо мной, подобно адскому грому над беззащитной грешницей.

И я потеряла себя, началась трясучка всего тела, соскользнула на пол и пробовала убежать.

Смех оборвался, и Токтор сказал, я это услышала:

— Держите ее, не пускайте!

Меня стали отпаивать, но зубы так стучали о край пиалы, что я захлебывалась и обливалась. Все хлопотали вокруг меня, держали за плечи, уговаривали. Но я видела только черноволосое лицо Токтора. Он взял пиалу, и мне привиделось, что хочет пить. Откуда явились силы — я ударом выбила из рук его пиалу, и она со звоном разбилась на дощатом полу. И снова меня схватили и держали, а я как бешеная отбивалась.

Думаете, не сознавала, что делаю? Нет, в горячечном уме всплыло, что точно таким обрядом меня обманули, выдавая за Белека, а теперь силой вяжут с Токтором. Вспомнилось, что молодка хвалила своего отца, и голос ее слился с голосом Макмал, хвалившей малолетнего своего сына. Трясучка моя перешла в неистовый вопль. После того я одеревенела.

Стало тихо-тихо.

Одно лишь сердце колотилось: тук-тук, тик-тик!

Застыв на руках людей, я уткнулась не моргая в бревенчатую стену. А там на стене увидела домик, под которым что-то качалось: тук-тук, тик-тик.

Завороженная я смотрела на это новое колдовство, когда в настенном деревянном домике откинулась деревянная дверца и оттуда явилась деревянная птичка. Деревянным голоском она трижды повторила:

«Ку-ку, ку-ку, ку-ку!»

Я была деревянной, как и домик и птичка. Кроме деревянности, не помню ничего.

Неправда, помню — всем телом ждала, что выбросят за дверь, в лес, в снег.

И верно, меня взяли за руки и за ноги, вынесли на мороз и прилежно стали растирать снегом.

А я молчала, надеясь, что мертва.

* *
*

Вам смешно и непонятно, зачем это рассказала, опровергнув прежний рассказ. Теперь и мне смешно.

Что может быть смешнее дурочки и дикарки, которая про-

стое и разумное не принимает и по глупости обижается до судорог. Но то было деревянное время, когда без глупости не существовало жизни.

После тяжелых переживаний и долгой болезни случился нервный припадок — так вы объясните происшедшее со мной. Все мы стали учеными даже в самых глухих аилах. Но я о нервах ничего не знала. Зато знала ход обычной жизни, испугалась, что опять обманывают, опять выдают замуж.

Но разве только от этого... я от всего пугалась.

Когда-то, через многие годы, додумалась: больше всего пугалась оттого, что искала и хотела понять. Я искала причину того, и другого, и третьего, что происходит со мной и вокруг меня. Почему так делают, почему говорят. И почему деланье и говоренье не совпадают.

Желая понять, пугалась? Да, конечно же, так!

В деревянное время надо было жить не спрашивая. В своем детстве до замужества я могла спросить маму, задать ей вопрос. Помните, добивалась от нее, что такое жизнь и смерть, почему плохо попасть в жены байскому сыну, как мама моя жила сама и как ее нашел мой отец. Мама отвечала, но ей было страшно за меня: вдруг стану спрашивать у мужа и свекра. И строго-настрого предупредила: «Забудь эту свою привычку. Жену спрашивающую муж в ответ колотит, а свекор и свекровь колотят вдвойне. С тебя будут спрашивать, а ты молчи и делай, пока сама не станешь байбиче. Доживешь — тогда научишься спрашивать с других!»

Вы слышите разницу: спрашивать с кого-то, но не кого-то? Вас, нынешних, с детства хвалят за любознательность. Вы приучены поднимать руку и спрашивать. И родители и учителя, даже прохожие незнакомцы ответят вам, не удивляясь, что обращаетесь к ним. А я за все время жизни у бая ни за чем не обращалась ни к нему, ни к жене его, ни к двум мужьям своим — Жайнаку и Белеку.

Стараюсь вспомнить: спросила ли хоть раз у Серкебая, как, что и почему? А пожалуй, что и его не спрашивала. Но в голове моей всегда крутились вопросы и догадки. Кипели, как в казане под плотной крышкой. Такой плотной, что даже запах моих мыслей не доходил ни до кого.

Сколько приказывала себе: «Не смей думать, не ищи объяснения непонятного, живи как другие! В народе говорят: «У голодного бурлит в животе, у глупого — в голове». Не будь глупой, не вари вареного».

Стремилась не думать, не искать, не спрашивать, но опять

и опять являлись мысли и вопросы, и рисовались в голове картины.

Вот по этой-то причине и случился припадок, о котором вам рассказала.

Напомню, что в ночь бунта и бегства я тоже думала.

Уже и тогда внушала себе, что радость ухода еще не радость прихода. Румяная молодка протянула руку, указав, где искать жилье охотника. Но если я покажу, где небо, значит ли это, что приглашаю в рай?!

Эта Бюбюсар еще раньше, в тот день, когда выследила у родника, вовлекла меня против моих правил в разговор, и я стала ее расспрашивать о Серкебае, а в ответ услышала, что он полюбил ее как сестру, а она полюбила его душу, и что надобно любить людей. По ее наущению я попробовала пойти с сестринской любовью к людям, и вы уже знаете, что получилось.

И теперь после пробуждения моего от болезни она опять заговорила о счастье народном, и я уже окончательно ей не верила.

А для чего Бюбюсар кормила меня и лечила, для чего носила на руках? Недоверчивость моя и тут подсказала: «Больную лошадь и больную собаку, если нужны в хозяйстве, выхаживают».

Скажете — топчусь на месте. Нет, не топчусь, а мешу тесто до полной готовности. Я не только обижалась на Бюбюсар, но и злобилась на нее, додумавшись, что она от калеки мужа повернулась к веселому Серкебаю, а меня готовит для кого-то.

После припадка я ушла в себя и, лежа в постели, не брала ни пищи, ни воды. Молчала. Ни на кого не смотрела. Ждала, что изобьют до смерти. Бюбюсар подходила с ласками — я отворачивалась. Мальчишки стали бояться моего взгляда. Одного только калеку Кадыра я в душе своей жалела, хотя вид его мне не нравился, стук деревянной ноги пугал до дрожи, а запах табачного перегара вызывал недоумение.

Все же, если б остались с ним вдвоем, я могла бы ему от одной ревности наговорить на Бюбюсар и на Серкебая.

Чаще всего лежала в комнате одна. Засыпала, просыпалась. Проснувшись, смотрела на деревянный домик, откуда выпрыгивала птичка, ждала ее с нетерпением.

«Ку-ку!» — говорила птичка и пряталась.

Тогда и я засовывала голову под одеяло в духоту своих страшных мыслей.

Однажды увидела.

Бай Кашкоро не умер. Бай лежал сраженный и ждал, что к нему возвратится власть над собой, над руками своими и ногами, что возвратится к нему сила. Он дышал и глядел в небо, желая найти в высокой его синеве всегда послушного ему бога. Бай ждал, что бог даст силу подняться; вернет голос, чтобы кричать; вернет руки, чтобы снова он мог бить, душить, резать и колоть; вернет ноги, чтобы топтать врагов и друзей. Так он лежал, неспособный шевельнуть даже крючковатым мизинцем. В тяжелой тоске неподвижности распластался бай Кашкоро, почтенный своей свирепостью. Он давно привык к неизбывным милостям аллаха и с нетерпением ждал этих милостей. Он шарил живыми еще глазами по бездонности неба и нашарил черную точку. Искал бога и нашел его. Точка плыла в синеве кругами все ниже и ниже, пока не стало видно оперения широких, как небо, крыльев.

Это был гриф — бог неподвижного, бог дохлого и вонючего. Он спустился к голове бая, сложил крылья и прицелился холодным своим глазом в живой и теплый глаз бая.

Бай хотел, но не мог кликнуть своих джигитов, не мог взмахом руки поднять грифа в небо. Бай знал: неторопливый гриф одним движением вырвет ему сейчас правый глаз. Знал, но не переставал надеяться, что к тому сроку, когда захочет гриф вырвать и левый его глаз, он воскреснет от боли. И поднимется. И снова будет над людьми, как был он раньше. Потому что одноглазый бай не добрее двуглазого.

Однако от боли не родилась сила, и левым своим глазом увидел бай Кашкоро, как из кривого клюва скользнул его тусклый правый глаз в горло царственного грифа. И еще он увидел, что спускаются другие грифы, а вслед за ними стервятники. Но и оставшись слепым, бай хотел жизни и не умирал, и жаждало мести его полумертвое тело. Полуразорванный, полупроглоченный, бай все еще убивал в уме своем.

Это был мой сон. Значит, видела через его взгляд, через его боль. Как могли пропитать меня мысли бая, как достигли моего разума? Этого и сейчас не знаю. Но так было, я все понимала в нем. Хотела увидеть и увидела. Потом закричала и в неистовстве ударила ногой то, что осталось от него. Била и мучительно плакала.

Значит, желала жестокости над врагом и самой ужасной его гибели. Неужели не только казнить и умерщвлять, но и терзать и мучить полуживое? Неужели могла?

Я была ребенком и к тому еще женой двух мужчин и мальчика. Я уже знала и чувствовала в себе дитя Серкебая, а душой слышала голос его. Значит, думала о будущем.

Как же так? Не хотела жить и думала о будущем?

Как же так? Худая, как плеть, девчонка, источенная болезнью, способна была кипеть в крови убийства?..

...Я слышала, что кричу и плачу, задыхаясь в своем одиночестве и в безысходности мысли.

Пересилив себя, открыла глаза и увидела: надо мной стоит Токтор.

Зажмурилась, опять открыла глаза — стоит Токтор. Одетый в шубу, с ружьем на плече. Стоит, смотрит в глаза и чего-то ждет. И я вижу — он добрый. Может быть, колдун, но колдун добрый. Должна же быть доброта на земле.

Он сказал:

— Не надо кричать. Весь дом полон твоим криком.

Я молчала, смотрела. Он был один. Пришел один, а я его не боялась. Настолько не боялась, что, еле шевеля губами, спросила... а может, не произнесла, только подумала:

— Ты колдун?

Он улыбнулся и покачал головой:

— Нет, нет!

Помолчав, он сказал:

— Уже неделю не пьешь, не ешь. Так дойдешь до смерти. Хочешь этого? Не надо, Аруке! Душу твою гложет обида и ярость...

— Обида и ярость,— повторила я за ним.

— Против кого?

Я не ответила. Смотрела и думала: «Он все знает». Но это не пугало меня. Снова я видела того самого Токтора, который грозил баю, защищая меня ружьем и силой колдовства.

— Э, Аруке! — сказал он.— Спрячь злость, побереги. Зреет время...— Увидев, что не понимаю и отдаляюсь от него, Токтор себя остановил. Вздохнул. Потом спросил: — Себя знаешь? Догадываешься, какая ты?

— Деревянная,— ответила я.

— А была железная?

— Была.

Он засмеялся и сел на табуретку, снял с плеча ружье, поставил к ноге. Сделался мягким.

— Хорошо! — воскликнул он весело.— Будешь, будешь железной! А сейчас пока еще все мы деревянные. Время деревянное. Не понимаешь? Поймешь!.. Видишь — солнце в окне, лес, небо над ним, птицы, звери. Это жизнь. Станешь жить?

Я кивнула.

— Хорошо! — повторил он.

* *
*

В один из вечеров старая Аруке сказала:

— Вы любите приключения, вас влекут опасности, резвый ход коней, бегство и преследования. Торжество справедливости вызывает в вас ликование. Читая книги и впиваясь глазами в экран кино, вы радуетесь, если удается вам заранее угадать, кто из показанных вам людей преступник, и бежите в уме своем по его следу, чтобы поймать и наказать. Почти безошибочно определяете: вот тот косоглазый и прыщавый таит свой взгляд и ходит стороной — он, он виноват в убийстве или краже, в распутстве или в предательстве. Гладколицый и хорошо подстриженный тоже способен вызвать ваше подозрение, если он слишком любезен и чаще обычного заглядывает в глаза власть имущих...

Что хочу я сказать?

Упрекнуть в любви к приключениям? А может быть, собираюсь похвалить за постоянную охоту во всем разобраться и понять?

Часто слышу от вас и подобных вам: этот человек симпатичный, а этот неприятный и скорей всего злой. Красивые нравятся всем, но щедрость и доброта перевешивают красоту, а ловкость, сила и смелость увлекают каждого. Но превыше всего вы цените ум и широту знаний.

И все эти качества вы ищете, встречаясь с увиденным не только в кино, в театре и на книжных страницах. Каждый день почти каждый новый встреченный вами человек находит в вас тот или иной отклик.

Однако и вы часто ошибаетесь. Притом что с самого раннего детства читаете, пишете, слушаете и смотрите, встречаетесь с сотнями и тысячами своих и чужих...

Вы любите приключения, вас влечет необычное. А я только боялась, и только в боязни проявлялся мой ум.

Когда же сопротивлялась и шла против — ума не было. Одно упрямство. Если правда, что в молодости всякий человек жаждет приключений, у меня эта жажда являлась в виде упрямства. Ничего другого не знала.

Упрямство означало мою борьбу. Мой первый бунт против злого солнца и бури был в том, что не хотела бояться и встала против них.

Так бунтует против плетки, против боязни боли хорошее и прилежное животное — осел. Он бунтует упрямством и так переживает свои приключения.

Молодые ослы чаще бунтуют. Молодые ослы убегают и прячутся. И в этом тоже их бунтарство и приключения.

Вот и мой второй бунт — он был в том, что убежала. Редкая жена могла на это пойти. Отыскав беглого осла, его не убивали, а потяжелее грузили, чтобы бежал в нужном хозяину направлении. Беглую жену казнили, хотя и ее можно бы нагрузить вдвойне. Но обычай требовал казни и смерти. Потому что женщины не ослицы и пример одной мог увлечь многих.

В этом отличие людей и животных. Зверь убивает для пропитания, может убить соперника в любви и даже способен отомстить врагу за обиду. Но для примера другим судилища и казни животные и звери не творят.

Да, мой второй бунт был в том, что убежала от бая и поступком этим показала небывалую смелость. Но от вечной своей боязни я не ушла.

Боязнь как была, так и осталась моим умом.

Я напомнила вам, как вы, богатые опытом прочитанного и увиденного, богатые встречами с бесчисленными людьми, по разным признакам определяете: тот хорош, а этот плох. Тот преступник, а этот охотник за ним во имя закона и справедливости.

Ну, а если закон оказался бы плох и вы бы до этого додумались? Если б справедливость была жестока без ума и определялась жадными? Пришлось бы вам смотреть по-другому. Ведь так?

Еще хуже, если б не знали закона. Тогда пришлось бы и вам решать по-ослиному: я справедлив в своем упрямом бунте по одному тому, что мне делают больно. Меня нагрузили и куда-то гонят, а я не хочу. Хочу свободы, если даже хозяину плохо без моей силы и моего послушания.

Вы, дорогие мои, ищете в моей жизни приключения. Я их не знала и не искала.

Не могла определить и не определяла, где преступник и где справедливый преследователь. Боязнь была во мне, и против нее я боролась, хотя и понимала, что в ней ум. И одна была у меня смелость — упрямство. Понимала, что в упрямстве глупый бунт, но, желая сопротивляться несправедливости, по-другому бунтовать не умела.

И вот еще о чем надо задуматься. На скачках лошадь бежит, чтобы прибежать, торопится к цели и к победе. А я убежала только, чтобы избавиться, а цели не имела. Тех, к кому прибежала, остерегалась и кончила бунтом ослицы.

Могла ли довести себя до смерти?

Когда б не колдовство Токтора, пожалуй бы, смогла. Будь

бы он не колдуном говорящим, а простым мужчиной, который против женского упрямства имеет одно средство — побои, молча вытерпела бы и, неспособная к бегству, умерла.

Почему называю Токтора колдуном? Ведь уговаривать меня пробовала и румяная его дочь Бюбюсар. Ее не слушала. От каждого ее слова твердела в своем упрямстве и закипала от ревности.

Чем же победил меня Токтор? Слова про солнце в окне, про небо и птиц — разве могло их значение дойти до ума и души? Не знала, но чуяла, что он хороший. К нему сама собой располагалась моя душа.

Я слишком мало видела людей. Отличала по росту, одежде, осанке. И еще по запаху. Как зверь. Правду говорю: запах чужого чуяла издалека. Улыбка меня не трогала, не подкупала — невестка бая много получает улыбок от входящих в дом гостей. Улыбка приветствия не означает привета души.

Спросите: какие знала запахи, означающие опасность или располагающие к доверию? К нам в юрту заходили только богатые, от них всего сильней пахло лошадью. Но сквозь привычный запах лошадиного пота достигали моих ноздрей собственная вонь человека и благовоние его. Запах доброты киргиза держался в нем от детей, которых носил на руках и прижимал к себе, от хвойного леса, где рубил дрова, не обременяя жену этой заботой. Травами и цветами часто пахло от ленивого, который подолгу мог валяться в безделии. Жадный пахнул бараном: весь день щупал каждое животное в отаре своей, оценивая жир и шерсть. Злодей приносил с собой вонь тухлой крови, от хитреца несло мышами, а труса выдавала молочная кислость.

Откуда я почерпнула эти приметы? Что-то восприняла от мамы, а что-то жило врожденное.

Смелость и честность какой издавали запах? А я их не ощущала, пока не встретила Серкебая.

Мой отец был честен, хотя и не смел. Притом запах отца близок родственностью и столь сложной своей определенностью, что ни с чьим посторонним его не сравнишь и не спутаешь. Я и сейчас, в свои шестьдесят с лишним лет, учуяла бы отца с расстояния полета стрелы, а запах мамы донесся бы до меня даже из-за горы. Какой он был? Не отвечу. Да и вы, дети нынешние, сквозь душистое мыло, одеколон и пудру не забываете неповторимый запах вскормившей вас матери.

Выходит, значит, что смелость и честность пахли Серкебаем?

Для меня так и было.

А потом?

Потом научилась грамоте и стала стыдиться прежних примет и привычек.

Но я забыла определить запах Токтора. Начала с вопроса: чем он победил мое упрямство? Нет, не словами, не их значением. Неужели и правда особым каким-то колдовским своим запахом?

Вижу, что смеетесь. И правда, это смешно. И все-таки скажу. Запах Токтора был запахом чистоты, и леса, и многих зверей и зверушек, на которых он охотился, и собак, встречающих его преданной ласковостью, и смолистым духом постоянного тепла его дома.

Уж не тут ли искать побеждающее колдовство волосатого охотника?

Да и вряд ли хочется вам, чтобы взамен толковых объяснений повторяла: «колдун, шайтан, капыр, иноверец». От чудес и колдовства отвернулись уже не только верующие мусульмане, но и сами муллы, стремясь слово божье — коран согласовать с наукой. Вот и выходит, что одна только я, старая учительница, бывший директор столичной школы, продолжаю твердить про чудеса и колдовство.

Не только твержу — верю!

Не в то верю, что чудеса и колдовство есть, а в то, что в ту пору были.

Сила плакальщицы Акзыйнат была в правде надгробных песен. И чудо ее появления и исчезновения, многократное чудо воскресения были чудесами истинными. Так нужно было женщинам, и они ее воскрешали.

Сила Токтора была в колдовстве его жизни, в том, что приходил и уходил, а его не решались трогать ни баи, ни бии, ни казии, ни муллы.

О его колдовстве и чудесах, которые творил на удивление многим, я еще расскажу. Но как же он меня-то околдовал?

Его слова о небе и птицах не обозначали почти ничего и упрямства моего не сломили. Но голос и вид, одежда и ружье, его взгляд, доброта взгляда...

До Токтора из всех мужчин, которых когда-либо встречала, один Серкебай смотрел мне в глаза, и я не отворачивалась. Но там было определенное: глаза его отражали небо и меня. Я открыла, что живу в нем, и догадалась, что он живет во мне. Догадавшись, поняла, что пропала — без него нет жизни. Если в раздумьях над ним и судила его, браня за ненужную жестокость над Жайнаком,— тем самым и себя я судила. Он был со мной одно, и глаза его были для меня зеркалом.

Иное дело — Токтор. Он тоже долго смотрел в мои глаза.

Вам бы хотелось услышать, что в нем была сила гипноза; о таком теперь болтают даже младшие школьники. Вы уже знаете — есть народы, у которых глазной гипноз часть их веры. Киргизы гипноза не ведали. Однако я на себе убедилась — открытый взгляд чарует и покоряет. Мужчина, глядящий открыто в глаза женщины без угрозы и без зова любви... это было для меня ново. У Токтора глаза лучились и смеялись. Такое я тоже впервые видела.

Если нравится — называйте гипнозом, мне все равно. Я называла чудом и колдовством по одному тому, что не было в ту пору других мужчин, которые смотрели бы прямо в глаза женщины, полагаясь на ее разум и молчаливое понимание.

Взглядом Токтор говорил:

«Мы равны — ты и я. Смотри мне в душу, она чиста перед тобой. Спрашивай меня глазами, а если захочешь, спроси и словами, я тебе охотно отвечу. Я старик,— говорил он ласковым взглядом,— ты девочка. Не бойся, не пожелаю тебя ни женой, ни рабой. Не бойся меня, а больше ничего мне не надо. Никогда не бойся, ничего не бойся, нет, нет, в боязни ума».

— В чем человеческий ум? — неожиданно спросила я громко, поражаясь смелости, которая родилась от его глаз.

Токтор, будто ждал вопроса, сразу ответил:

— В том, чтобы знать, куда идти, и время, чтобы идти.

— А что такое время? — спросила я, оглушенная своим незнанием.

Опять же он сразу ответил:

— Мой господин, которому я раб. Но не люблю господ и хочу, чтобы они мне подчинялись. Хочу победить его. Хочу, чтобы время стало нашим, работало на нас...

— Есть ли мое время? — спросила я.

— Оно и мое,— ответил Токтор.

И я все поняла, притом что ничего не понимала.

* *
*

После долгих мук пришла череда радостей.

Не только не били, но и не замахивались на меня.

Я окрепла, стала ходить. Бюбюсар поделилась одеждой, какой мне не хватало. Но при этом я не находила в себе добра к ней.

Я старательно училась в тишине и тепле дома, узнала карандаш, бумагу, книги. Быстро обогнала мальчишек, которые боль-

ше хотели играть и убегали во двор и в лес. Бюбюсар дивилась моим способностям и в награду за успехи целовала. Она не упрекнула, что после припадка я избегала смотреть на нее и неохотно ей отвечала.

Токтор уехал, взяв с собой на медленную лошадь Кадыра, чтобы учить его стрелять бурундуков и горностаев. Несколько дней мы с Бюбюсар оставались без мужчин, то и дело она принималась расспрашивать и сама была готова рассказывать, но я от нее сжималась во всем, что не касалось ученья.

Румяная, сильная, свободная в движениях, все она делала как бы играя. Научила меня топить печь, вывела и показала, где лежат дрова, где надо подвешивать, пряча от собак и других мясоедных животных, тушки стреляных зайцев, которыми мы кормились. Все для меня было ново, бесчисленные вопросы толпились в моей голове, а я старалась спрашивать мальчишек, лишь бы не ее.

Раньше, помните, когда я спросила о Серкебае, она отмолчалась. Теперь она говорила — я не слушала, делая вид, что разговор о нем далек душе моей.

Притворялась. Притворяться я привыкла еще в байской семье, когда жив был Жайнак и все меня ловили, чтобы проговорилась о Серкебае. Или хотя бы обнаружила досаду или от стыда выбежала за пределы юрты. Однако мое притворство было только ограждающей стеной во мне, но не ложью. Придумывать ни о себе, ни о других я не могла и не умела. Как бы я сказала, что лил дождь, если все знали, что светило солнце? Как бы я, не увидев сама, наговорила на кого-нибудь, что болен или умер? Не могла бы соврать даже, что мышка отгрызла от сахарной головы, если отгрызла сама. Пусть меня в наказание изобьют, но скажу правду.

Всегда ли нужна правда, всегда ли полезна — об этом я в то время по простоте не задумывалась. Если не спрашивали, могла молчать. Спрашивали — тоже умела молчать, только не сочинять, чего не было.

Вот я и дошла до слова «сочинять». Я его такого не знала. Если б мне сказали, что сказки сочинение, а значит, они ложь, я бы обиделась. Сказкам я верила. А может, не спрашивала себя, где в сказке истина — в жизни шайтанов и говорящих животных или в том, чему сказка учит. Сказка не обман уже потому, что не нужна для пользы того, кто рассказывает. Сказка верна красотой, а в обмане красоты не бывает.

Я сказала, что не находила добра для Бюбюсар. Неужели не простила?

Как ответить и не отклониться от правды?

Бюбюсар в моем прощении не нуждалась и не могла себя чувствовать виноватой. В ней жила вера, что для хорошего дела годится и обман. И она мне в своей такой вере призналась, улыбаясь веселыми глазами, ожидая, что кинусь благодарить за науку.

Случился час, когда мальчишки ушли на лыжах, у нас белье было постирано и развешано, обед тихо кипел в печи без присмотра... Я должна буду особо коснуться уклада жизни в доме Токтора и предметов, которые меня удивляли. Помню, я села со спицами, привыкая вязать, когда ко мне тихо подошла Бюбюсар:

— Подружка, хочу перед тобой повиниться. Вижу, что отвернулась от меня, хотя и помогаешь по хозяйству и прилежно повторяешь, что тебе показываю и чему учу...

Я сидела на полу, на шырдаке. Бюбюсар, как и муж ее, сидеть на своих ногах не умела. Им подавай табуретку или скамью; во дворе, если хотели отдохнуть, искали пень. На этот раз Бюбюсар прилегла к моим ногам, стала заглядывать в глаза:

— Не дуйся, сестричка! Я не хотела тебе зла... Отец мой пронзительный человек, проникающий в мысли каждого — скрыть от него нельзя и малого проступка. Уезжая с Кадыром, он мне сказал: «Ты небось не удержалась и наболтала Аруке всяких страхов, а она восприимчива после болезни. Пойми, дочка,— девочка из байской юрты не знает душевного смеха. Вот и вошла в припадок из-за дурацкого вашего хохота и могла дойти до упрямой смерти. Исправь, что напортила». Я во всем слушаюсь отца, но скажи, Аруке, как не смеяться, когда смешно? — Она расхохоталась, а потом скосила голову набок и, подетски заглядывая в глаза, попросила: — Подруженька, прости меня, моя милая...

Никто и никогда не искал у меня прощения. Разве что Жайнак. Так ведь он был полудурок. А Бюбюсар... Мне ее странно было слушать. Ведь не я старшая перед ней — она предо мной. Пусть бы зашипела или ударила — я бы смолчала и приняла как должное... Подумав, догадалась: ей, веселой и болтливой, деревянная моя отчужденность хуже брани.

Не улыбнувшись и поджав губы, я так ей ответила:

— Ты здесь хозяйка, неужели тебе не смеяться, когда хочешь? А если связываю тебя — прикажи, и я уйду. Не стану ждать твоего отца, не стану жаловаться. Позволь только взять с собой Кумайыка...

Она поняла мою злобную кротость, улыбка сошла с ее лица. Долго молчала, перебарывая обидность моих слов. Тяжело вздохнув, сказала:

— Будь по-твоему, не надо прощать. Но внимательно выслушай.

— Это урок? Взять бумагу и карандаш?

— Делай, что хочешь, только слушай. Ты, Аруке, молода и людей не знаешь, не любишь и для них ни на что не способна... Не перебивай. От старой Кынсылу я слышала, что ты приходила к ней со словами любви и заботы о бедных. Признайся, переняла от меня? Переняла, да не так. Что ты ей говорила? Что родители твои бедные, и что бай тебя купил, и что над тобой творят издевательства. Слова любви к старухе были в твоих устах для одной лишь видимости: кроме как о себе, ты ни о ком не думала... Не смотри так, я не обвиняю. Кто мог тебя научить другому? Да ведь и правда, если стегают, больно тому, кого стегают. Детей у тебя еще не было, материнской боли за своего ребенка ты не знаешь. Узнаешь! Такую боль понимает и корова, и дикобраз, и маленькая мышка. У женщины, как и у животного, боль за свое дитя сильней собственной. А бывает у животных боль за своих родителей?..

...Дорогие мои, не хвалясь скажу. Я была удивительно способна слушать и впитывать всем существом. Новая мысль вонзилась подобно шипу, раздирая сердце и ум. Меня насквозь пронзило сказанное Бюбюсар. Верно, верно, я совсем не беспокоилась, как живут мать и отец, и я стала тужиться умом, чтобы представить родителей: вдруг больны, умирают с голоду, вдруг отец похоронен, а мама осталась и ее взял в жены или в батрачки какой-нибудь полубай. Я торопила и дразнила свое внутреннее зрение, чтобы поскорее увидеть сквозь годы, во что превратились те, кто кормил меня и растил, к кому я льнула душой и телом. А получилось, что увидела мать на пыльной тропе и отца на камне, услышала их прощальный плач надо мной... А моего плача над ними не было...

Дико посмотрела я на Бюбюсар:

— Хочешь сказать, что я не выше животного? Если жеребенка отогнали от кобылы, поплачет день и забудет. С жеребенком хочешь меня сравнить или с теленком?

Не подумайте, что в этих вопросах я высказывала новую обиду против дочери Токтора. Нет. Восприняла как неизвестное слово и понятие. Как русскую печь в доме Токтора, как сушеную траву — сено, заготовленное для скота и сложенное 2
в скирду. То, что отношусь к оставленным родителям, как относятся животные, я приняла как новое открытие. Приняла упрек, но одним лишь умом, не душой.

А призналась ли я Бюбюсар, что она меня задела?

Полупризналась.

Я вот что сделала — отложила вязанье. И стала ее слушать не отвернувшись, а полуглядя в лицо.

Выходит, я хитрила, не признаваясь даже себе, что правота говорящей затронула меня. Пожалуй, тут другое. Жадный мой ум давно ждал пищи и воспринимал все, что получал. А душа за умом не поспевала.

— Говори, говори! — стала я тормошить Бюбюсар.— Я не обижусь. Говори, но только правду. Секи, если надо, правдой!

От этого моего восклицания Бюбюсар вспыхнула светом.

— Ах, милая,— сказала она и погладила мою ногу.— Ах, умница!

Я ногу отдернула. Не потому, что брезговала ее лаской, а потому, что ласка была не к месту.

Она перетерпела и это. Я подумала: «Значит, сильно тебе попало за меня от отца». Стала искать на ее лице и руках следы побоев. Тихо спросила:

— Тебя учил отец? — Она не поняла.— Бил за меня?

Она недоуменно посмотрела:

— Что же с тобой делали всю жизнь, если не можешь без битья понимать ученье? Я учу тебя, а хоть раз ударила?..— Но мгновение спустя, подумав, сказала:— Знаешь, Аруке, в школе ведь тоже бьют. Учитель бьет мальчиков палкой, сечет прутьями.

Я спросила:

— А что такое школа?

— То место, где учат грамоте.

— Ты училась в том месте?

— Для девочек школы нет.

— Где же ты научилась читать?

— У отца. Дома.

Так, в разговоре, незаметно для себя я позабыла отчужденность, размягчилась и оживилась.

На этом урок не кончился. Терзая свежую рану, Бюбюсар продолжала:

— Вижу, ты потеплела ко мне. Так? Вот и задам тебе вопрос: знаешь ли, что медведи, если один попадает в ловчую яму, другие его вытаскивают?.. Смотришь и ждешь, для чего заговорила о медведях? Вспомни, какой был у нас разговор. Я тебе рассказала, что батыркулы истребили твой аил и поработили твой народ, а что ты?

— Я?

— Вот видишь, краска залила твое лицо. Значит, есть в тебе стыд и понимание... При том нашем разговоре ты ни о ком

не вспомнила и никого не пожалела, ни богатых, ни бедных. Один Серкебай пришел на ум. Сразу же явилась в тебе догадка, что он может, как один из рода победителей и близкий по крови самому баю, безбоязненно вернуться. Было это или я на тебя наговариваю?

— Было.

— Бранила ли тебя, поймав на слове?

— Нет, не бранила,— остывая душой, тихо ответила я.

Бюбюсар справедливо меня колола, и я стала вспоминать, кто был мне дорог в погибшем аиле, о ком хорошо бы поплакать. Вот Зейне. Что она для меня сделала? Научила подмигивать и хитрить. Первая открыла мне, что Серкебай меня любит. А вот глупая девушка Мейиз. Однажды разыскала Серкебая и привела... и сидела вблизи, пока мы ее не прогнали. Она сама только и думала что о Серкебае. Умоляла отца отдать ее за Серкебая без калыма и была за это жестоко избита. Вспомни, вспомни — Мейиз обещала нам коня для побега. Обманула или не смогла выполнить своих посулов, однако пожертвовала своей любовью ради нашей. Как же о ней не тревожусь, не лью слез? Вдруг и правда в рабство попала или погибла...

Бюбюсар не подгоняла. Видела, что я задумалась и во мне что-то меняется. Мысли мои бежали дальше... Неужели больше некого оплакивать? А как же весь народ? Пусть не мужчины, далекие мне, пусть только дети и женщины. Да, да, женщины! Как-никак они ведь позвали для плача сказочную Акзыйнат. И она и они сами обличали в погребальных песнях мужскую жестокость, жалели меня в моей виновности и печали... Какая ж я все-таки своекорыстная — не их воскресила в памяти, а прежде всего Зейне и Мейиз по одному тому, что помогали мне и моему Серкебаю... И еще я додумалась... Вот до чего додумалась, кляла себя и ругала: все измеряю тем, как относились ко мне. Если же спросят о других, о жизни людей аила... Я ведь никого не знала, нисколько не страдала за них. Права, права Бюбюсар — я своекорыстна и тупа в своем одиночестве.

Я быстро глянула на нее: проникает ли в мои мысли? Она значительно смотрела, но не торжествовала. А могла бы воскликнуть: «Дуешься на меня, а ведь я к тебе справедлива!»

— Говоришь, я хуже медведей? — спросила я, уже готовая разрыдаться, сознавая свою бесчувственность.— Знаешь, как трудно признаться, но ведь ты, сестричка, и правда показала мне рытвины и ямы моей души... Ты, ты...

Бюбюсар уже приготовилась заключить меня в объятия полного примирения и дружбы, когда во мне сверкнула молния и я отстранилась Вот что пришло на ум: «Если виновата я, по-

чему Токтор бранил ее? И зачем она пришла с просьбой о прощении? Уж не в насмешку ли?»

Увидев, что хмурюсь, Бюбюсар заговорила быстро-быстро:

— Ты безысходно и жарко любишь Серкебая. Потому и не помнишь ни о ком другом. Такая любовь — радость. Такая любовь расцветает, может быть, раз в сто лет и обжигает души яростным пламенем. И все же в испытании, которому я тебя подвергла в первый день после возвращения твоего из болезни, ты меня знаешь чем обрадовала?.. Ах, сестричка, этим ты мне и полюбилась.

— В испытании?! — вырвалось у меня.— В каком испытании? Разве ты меня испытывала, когда, в чем?

— Да, сестричка, испытывала! И на вопрос: «Хочешь ли наследовать богатство Кашкоро?» — ты тем ответила, что побледнела и затряслась. Отвергла все байское и сказала, что лучше стать рабыней, чем...

— В испытаниях?! — в третий раз воскликнула я, начиная все понимать и с ужасом глядя в глаза Бюбюсар. Ах, у меня еще в тот раз явилось подозрение: как могла говорить о байском наследстве, притом что все разграблено и аил наш погиб? Теперь же я не сомневалась — она выдумщица. Сжав в тоске ладони, я вскричала: — Как же ты могла, а, Бюбюсар?! Значит, сочиняла и про набег батыркулов, и про гибель монолдоров? Только чтобы меня испытать, сочинила смерть сотен людей?

Она еще не потеряла своей улыбки, но больше меня не учила ни взглядом, ни словами. Гладила по плечу и повторяла:

— Успокойся, уймись, все прошло, и меня уже бранил за это мой отец. Не плачь. О чем ты? Тогда, узнав про гибель людей, не плакала, а теперь, когда выяснилось, что всего лишь шутливая выдумка, не радуешься, а ревешь... Прости меня, ну прости же!

— А что же там? Что в аиле?

— Я тебе расскажу, но ты сперва успокойся и подтверди, что окончательно простила. Ведь я сочиняла для хорошего. Чтобы ты не боялась преследования, забыла о Белеке как о муже. Мне было радостно узнать, что не ищешь байского наследства. Вытри, вытри свои слезы... Вижу — ты умна и допытлива. А я... я выдумщица, но не злая. За выдумки мне часто попадает. Ведь ради хорошего, ради хорошего...

— Что же у нас в аиле?

— Мне отец приказал ничего от тебя не таить. Он сам туда спускался, он видел откочевку и слышал похоронный плач над твоей свекровью... А теперь там вот что: драка и драка. Опре-

деляют, кто должен стать главой рода на месте Кашкоро. Но его труп не нашли, никаких следов не обнаружили. Пропал он, пропал его кул. Там еще неизвестно...

— А знают они, где я? Ищут ли? Хотят ли по-прежнему ловить Серкебая? О я несчастная! Серкебай не вернется, не может вернуться!

— В аиле разнесся слух, что ты бежала с кулом Бекмергеном. Аксакалы не ищут вас. Рады, что тебя нет и что Белек остался у Батыркула. Аксакалы передрались за власть.

— Ты ведь говорила, что твой муж привозил ко мне Кынсылу. Значит, старуха меня здесь видела...

— Она-то и распространила слух, что ты сбежала за горы с Бекмергеном.

— А ты не выдумываешь, не сочиняешь? Лучше самая страшная правда, чем выдумки... Ведь если я сбежала с кулом... Ах, тогда получается, что мы с ним оба... что я тоже убивала свекра своего Кашкоро. Ты меня запутала. Как теперь жить спокойно?.. Почему не идут сюда, почему не тащат меня на казнь? Потому что твой отец колдун, да? Неужели так его боятся, что не станут здесь искать? Но если наши боятся, разве джигиты болуша тоже не решатся затронуть твоего отца по одному тому, что он колдун? Я не верю тебе!

— А веришь тому, что жива? Что выздоравливаешь и крепнешь с каждым днем? Веришь тому, что мы относимся к тебе с лаской и участием?

В ответ я, схватившись за голову, воскликнула:

— Горе мне! Теряюсь и путаюсь. Где ложь, где правда? Зачем я живу? Кто друг мне и кто враг?

— Ах, подожди ты! — Бюбюсар велела мне молчать и слушать, а сама пробовала объяснить. Я понять не могла. Три или четыре раза она повторяла сказанное, пока добилась, что я стала видеть с ее слов, как все было.

— Ну, слушай. Повторю с начала. Твой свекор уехал с Белеком к Батыркулу...

— Я не знаю куда.

— Люди говорят, что Белек и сейчас у Батыркула...

Я решилась перебить:

— Ты говорила, что отец твой Токтор был на откочевке нашего аила и слышал похоронный плач над моей свекровью Макмал... Значит, ее не предали погребению в аиле, а повезли хоронить в кыштак. Зачем?

— А затем, что никто не знает, где Кашкоро. Как же хоронить вдову без мужа? Батыркул клянется, что твой свекор уехал от него с Бекмергеном, но домой они не вернулись. Ты

знаешь — они погнались за тобой. Но случилось так, что Кашкоро никто не видел, а Бекмергена заметили. И тогда пошел слух, что Батыркул держит у себя живым или мертвым давнего своего врага Кашкоро, а Бекмергену даровал свободу и подвел к мысли тебя похитить. Ведь никто не видел твоего бегства. Да и зачем бы тебе убегать, когда осталась единственной наследницей? Так рассуждают люди. Некоторые считают, что Бекмерген нарочно тебя прячет, чтобы предъявить, когда в дело вмешается болуш. Вот почему тебя у нас не ищут.

Я думала. Голова моя вздувалась от мыслей и догадок. На Бюбюсар я смотрела со страхом и с надеждой. Зачем она просила прощения? Зачем одно, потом другое, потом третье? Как мне быть дальше? И как быть им? Сейчас в кыштаке неизвестно, где я, но вдруг Кынсылу проговорится — вся семья может пропасть из-за меня... Да ведь не только из-за одной меня. Токтор спрятал Серкебая, вывел тайной тропой Бекмергена. Об этих двух нарушителях закона я знаю. Но ведь не только ради Серкебая и Бекмергена поселился на горе вдали от людей охотник Токтор. И разве в том дело, что он охотник? Мало ли охотников киргизов. Живут не по-колдовски, а среди людей. Их люди не боятся, но и закон их не обходит стороной, ничего не прощает... А разве не может быть, что Бюбюсар не простодушная выдумщица, а хитрая змея?

Ой, сколько надо понимать, чтобы жить равной среди колдунов!

Душа моя говорила — верь Токтору. Душа мне подсказывала: много, много справедливого сказала тебе Бюбюсар. Ни в ее глазах, ни в ее повадке нет хитрости. Испытывала? А как же. Разве не могла оказаться я глупой? Или подлой? Или жадной на богатство? Разве не могла их предать? А может быть, жизнь человеческая всегда испытание?

— Что же ты не отвечаешь? — перебила мои мысли Бюбюсар.— Посмотри в окно — сюда бегут мальчики, а следом за ними едут наши охотники.

— Бюбюсар! — воскликнула я и не таясь заглянула ей в глаза.— Я тебя поняла и хочу, чтобы и ты меня простила. Хочу с тобой дружить. Но скажи одно: почему твой отец не одобрил, что ты меня испытывала, зачем послал просить прощения?

— Затем, что он в тебя верит с самого начала. Затем, что полагает тебя одной из народа, ради которого он здесь; без веры в народ, говорит он, жить нельзя.

— А ты — народ? А муж твой Кадыр — народ?

Она рассмеялась, поцеловала меня и побежала встречать своих.

*   *
*

Я же продолжала думать, но не о себе, а о ней. Как мне открылась в простоте и сложности. И как открыла мне меня. То был мой первый урок в познании людей. Вскоре узнала Кадыра. Отдельно и вместе с женой, с той же румяной Бюбюсар.

У супругов характеры могут быть разными, чаще так и бывает, но вырабатывается и общесупружеский характер, в котором обе стороны равны.

А как же, если у мужа пять или семь жен? Неужели все могут сливаться в одном характере?



Глава вторая,

в которой Аруке, постигая вместе с грамотой сложность общения с людьми, узнает, что смелость может совмещаться с пороком, сказка идет об руку с правдой, а свет с тьмой. Обманутая, она в отчаянии останавливает время и солнце, отчего ненадолго слепнет, чтобы прозреть для нового понимания жизни.

Пообещала вам радостей, а где они? В учении вы радости, конечно, не видите. Не видно вам радости и в том, что я могла сидеть и рассуждать как большая, думать и не пугаться, что схватят и забьют до смерти, или прирежут, как овцу, или разорвут вдоль тела, как я в своем бреду рвала Кашкоро.

Ладно, пока о побоях и убийствах не думайте. О погонях, о розысках тоже забудьте. Я-то не забыла. Долго еще вздрагивала и оглядывалась. Ждала, что отыщут и поведут нянчить Белека. В иные ночи Белек мне снился громадный, как гора, на щеках его росла колючая арча. Раньше я от такого сна плакала, а тут, в доме Токтора, научилась смеяться. Поднявшись с постели, рассказывала всем, а раньше всего мальчишкам, и начинался хохот.

Неведомо как, только я опять превратилась в девчонку, и мне Токтор сумел втолковать, что в моем возрасте нужно играть, бегать, кидаться снежками. Смешной был дед. В черной с проседью важной бороде, в большом лисьем треухе, тяжелый как скала, он шел на тебя тучей. Говорят же про иного человека, что он тучный. Токтор — если попадешь к нему в охапку, себя не видишь, теряешься в медвежьей шерсти его шубы. Иногда старик выворачивал шубу и рычал по-медвежьи. Он умел выть по-волчьи, тявкать под красную лисичку, стрекотать по-сорочьи. Он собачью свору сводил с ума, когда подлаивал им издалека или начинал по-щенячьи скулить...

А как же колдовство? Разве не колдовством жил Токтор?

Он жил Временем, а время это и есть главное колдовство.

Не зря он однажды сказал, что раб Времени. Это было так. И я потом додумалась, что такой господин хуже бая.

Вам пока не понять, а я хуже вас не понимала. К этому еще подойдем.

Кроме Времени было и другое, что в глазах киргизов делало Токтора колдуном, близким шайтану.

Нет, сначала расскажу, что такое было владение Токтора на высокой горной площадке среди леса. Не знаю, нашлось бы еще где в Киргизии. Быть может, русские казенные лесники так жили, но их поблизости не было. А если и существовали, с Токтором они дел не имели.

Не хочу вам надоедать рассказом, как понемногу открывала разные давно известные чудеса... Я никогда раньше не видела, но многие простые киргизы уже знали, что такое бревенчатый русский дом со всем его внутренним убранством: печью, припечком с чугунной плитой, столами, скамьями, табуретками, полками на стенах. Даже мой отец немало ездил по Киргизстану, бывал в русских селах на Иссык-Куле и близ Пишпека. Наверно, он мне рассказывал, да я не запомнила. Скоро я привыкла, что в окнах прозрачные стекла, перестала любоваться на морозный узор. А когда впервые заметила — не могла оторвать глаз... Помню, еще мама говорила, что узбеки и русские держат животных в закрытых помещениях под крышей. У Токтора я увидела, что лошади и коровы стоят в тепле. И даже овцы — а их у Токтора было всего с десяток — не ходят по горам в поисках подснежных трав, а толкутся в загоне, где и для них был густо оплетенный от волков и покрытый дерном сарай.

Все это я разглядела, как только начала ходить. Быстро привыкла. Труднее было привыкать, что мужчины обращались и с Бюбюсар и со мной, будто с равными, случалось, спрашивали совета, как лучше поступить, отчего мне делалось смешно или я в ответ тупо молчала. Я обомлела, увидев, что Токтор может сам нести с ключа ведра на коромысле.

Но не это чудеса и не в этом колдовство. Пусть бы кочевой киргиз увидел Токтора с коромыслом или что он может идти рядом с женщиной, а не впереди — плюнул бы и стал презирать. Какое уж там колдовство в том, чтобы распустить женщину. Так и лошадь можно освободить, а вьюк повесить на свой горб... Не знаю, не видела, но думаю, что Токтор при чужих не стал бы так делать.

Непривычно и обидно было, когда при мне говорили, а я не понимала. Токтор с Кадыром, да и Бюбюсар, а иногда и мальчишки, забывшись или желая от меня что-то скрыть, заговаривали по-русски. Чаще всего начиналось с Кадыра. Он почти год пробыл на войне и там, находясь вместе с другими солдатами, привык и отстать уже не мог. Кадыр по-киргизски плохо говорил. Он был казанский татарин. У татар речь другая, понять их трудно. К тому же родители Кадыра переехали из Казани

в Андижан, где и узбеки, и киргизы, и таджики, и русские. Кадыр с молодости жил при базаре, где слышал всегда разноречивый гомон. От своего отца унаследовал точильное ремесло и бродил с ножным станком по всему городу.

...Вам рассказываю, дорогие, самое необходимое, стараясь поскорее миновать начало моего приспособления к дому Токтора. Считайте, что привыкла и все поняла. На это понадобилась неделя, может, чуть больше. Помню, не засыпала ночами от тонкого писка, который несся отовсюду. Что-то скреблось и царапалось, было страшно. Когда же решилась и спросила — все стали смеяться. Оказалось, зимой живут под домом лесные мыши; их там набралось видимо-невидимо...

...Не помню, говорила ли. По особому свисту являлся к Токтору из лесу молодой и сильный барс. Красивый и ласковый, он терся об ногу охотника или клал передние лапы на плечи, прося погладить. Если же Токтор гладил — барс мурлыкал, как домашняя кошка. Удивительно, что собаки к нему все, кроме Кумайыка, привыкли. Да и барс на них не рычал, а бывало, что затевал игру, катался с ними по снегу в притворной драке; любил побегать и с мальчишками, но Бюбюсар им не позволяла: зверь был уже взрослым, с длинными когтями и нечаянно мог поранить. Как-то раз Кумайык, не поняв, что барс с ним заигрывает, ощетинился и, прижав уши, стал лаять, вызывая на бой. Зверь рассердился и так ударил бедного пса лапой, что тот взлетел на полсажени, перевернулся и долго потом скулил, зализывая рану.

Мальчишки мне рассказали, что дед взял этого барса год назад из пещеры, где его братья лежали издохшие от голода, а этот был еще жив. Видно, его мать подстрелил пришлый охотник или попала на рога козла теке, и она, не дотащившись до своего логова, подохла от ран. Токтор принес барсенка домой, мальчишки выкормили молоком, а потом и мясом; он стал совсем ручным, даже лошади и овцы его не боялись. И все-таки месяца два назад, повзрослев, ушел в лес. Иногда приходил погостить, а если Токтору было надо, он его звал.

Я слышала и раньше, что барса и медведя можно приучить — звери становятся домашними, но в аиле их держат на цепи, и они от тоски дохнут. Меня больше, чем барс, удивило, когда узнала, что неподалеку, в лесу, Токтор сколотил деревянные кормушки и закладывает туда сено. К ним прибегали неприученные, дикие косули и архары и охотно кормились. Токтора они подпускали себя ласкать. Он их гладил и с ними говорил. Увидев и услышав, я себе не поверила. Он стоит, говорит — они жуют и на него смотрят. Он им советует присмотреться к вол-

чьим следам — уж очень этих следов стало много. На его слова косули качают головой, благодарят.

Но и это не колдовство. В те годы кое-кто из киргизов способен был переговариваться с мирными лесными животными. Лучше послушайте, что рассказал мне Токтор.

Он пошел охотиться и встретил в лесу старушку. Такую тщедушную и легкую, что можно подумать — родилась из тумана. Человеческий облик был для нее непривычен. Как облако принимала она разные очертания, напоминая то одно, то другое. Облако плывет по небу — старушка плыла по травам леса. Кусты и деревья не мешали ей, она двигалась, не обходя их, а пропуская сквозь себя, и зовом руки манила Токтора, чтобы шел за ней. И вот подвела к пещере, которую серым занавесом закрывали крылатые когтистые упыри. Старушку они встретили радостным писком, а против Токтора устремили кровавые глаза и клыкастые пасти.

Тогда старушка повернула к нему доброе бородатое лицо и сказала, что ружье надо оставить за пределами ее владений. Раздираемый любопытством, охотник снял с плеча ружье и положил на землю.

Тотчас зашумела страшная буря: ломая кусты и ветви деревьев, по зову старушки неслись сюда бе́гом, прыжками и лётом живые звери и птицы. Заяц и медведь, орел и лиса, олень и барс, козел теке и волк, горностай и фазан... Не трогая друг друга, они в одно мгновение собрались, окружив старушку и лежащее у ног ее ружье. На Токтора звери не обращали внимания, будто был он им невидим: старушка укутала его колдовским покрывалом, сквозь которое не проникал ничей взгляд и ничей нюх.

И вот она обратилась к диким обитателям леса:

— Я мать Кайберена, повелителя и вождя всех копытных и рогатых: оленей, яков, архаров, козлов теке, джейранов и сайгаков. Знаете вы меня?

На это ей ответил хор рычащих, гавкающих, свиристящих, певучих и воющих голосов:

— Знаем, знаем и уважаем!

Все признали ее над собой старшей.

— Перестройтесь! — приказала она, недовольная тем, что впереди оказались одни самцы, и подождала, пока звери-мужья пропустили в первый ряд зверей-жен.

После того, показывая рукой на ружье, облаковидная старушка начала речь. Все, что говорила, значение каждого ее слова

было понятно Токтору, хотя нигде и никогда он не учился звериному языку.

— Вот ружье,— сказала она.— То самое ружье, которого все вы боитесь. Это чудо сотворил человек, чтобы убивать вас и насыщаться вашим мясом или носить ваши шкуры. Человек — такой же зверь, равный с вами в жизни и смерти. Как и вы, жил он в лесу, на полях и у рек, кормился, как и вы, силой зубов и когтей. Потом придумал лук и стрелы, капканы и силки и стал сильнее, но все же остался не самым сильным зверем. Теперь же он подружился с громом и молнией, заключив их в ружье, поражающем любого из вас. Вот, смотрите, я добыла для вас ружье. Подойдите. Можете нюхать, можете подымать и прицеливаться, я разрешаю вам.

Ни один зверь не тронулся с места, ни одна птица не шелохнулась, хотя слушали старушку с вниманием и переглядывались, подталкивая плечами друг друга.

— Возьмите и стреляйте! — сердито требовала старушка.

Но все топтались на месте, потупив взоры и смущаясь, как девочки. Сколько ни упрашивала их старушка, сколько ни грозила им, сколько ни убеждала, что только стреляя могут они вернуть себе равенство с человеком, никто не нашел в себе смелости поднять ружье, отговариваясь тем, что неспособны.

Наконец самый мудрый и старый бурый медведь, который умел стоять на задних лапах, а в передних держать любой предмет, сказал старушке:

— Рахмат тебе, мать Кайберена. Спасибо, что заботишься о нас. Мы знаем человека и его ружье и хотели бы научиться защищать себя от стрельбы против нас. Но, понимая свою дикость и внутренние раздоры, можешь ли поверить, что, овладев ружьем, не против человека, а против друг друга обратим ружье? Постарайся увидеть умственным своим взором, что будет, если каждая птичка и каждый барсук или дикобраз начнет палить из ружья по другим. Да мы истребим весь животный и пернатый мир за несколько дней. Нет уж, мать Кайберена, не толкай нас на такое. Оставь нам копыта, когти и зубы, но не давай нам огонь и гром. Оставь нам нашу способность прятаться и убегать, и мы переживем человека с его громом и молнией!

То, что сказал медведь, понравилось зверям, и они разлетелись и разбежались, оставив старушку в тяжком раздумье.

Вернув Токтору видимое существо и отдав ему его ружье, старушка небрежным движением отбросила живую занавеску, набранную из шелестящих упырей, и ввела Токтора в свое мягкотравное жилище. Желая быть радушной хозяйкой, она стала

ему подносить настои различных растений, от которых улучшается здоровье. Учила распознавать листки полезных кустов и злаков, а потом и тех, которыми можно привораживать и веселить, под строгим секретом назвала навары, убивающие или способные изменять облик.

— Давай вступим в договор,— предложила она охотнику.— Ты видел, звери и животные не захотели взять ружье и учиться стрелять, боясь всеобщего самоистребления. Что ж, они правда живут тем, что поедают друг друга. А вы, люди, охотитесь и поедаете нас. Значит, таков неминучий круговорот вещества. Даже самые мирные, к племени которых отношусь и я и сын мой Кайберен, уничтожаем беззащитные травы и листы, чем поддерживаем жизнь нашу. Но смотри, как мудро мы это делаем. Одна лишь саранча губит все живое, обрекая на голод и смерть таких, как мы. Мы же с выбором рвем траву, не трогая цветы, в которых зреют зерна будущих кормов. Ты охотник. Научись стрелять с выбором, помня, когда размножается наше племя. Щади маток, несущих в чреве своем, щади малых наших детей. Не мешай птицам гнездиться, высиживать птенцов, а потом выкармливать до полной зрелости...

Так учила она Токтора, и он старался запомнить. И если верить ему, запомнил не только ее наставления, но и всеобщий язык зверей и животных, которым старушка говорила.

Значит, в этом было колдовство Токтора?

Однако раньше я говорила, что главное его колдовство в глазах и в прямом взгляде, а потом сказала, что в понимании Времени, а потом еще что-то сказала, не помню что. Не пора ли расстаться со сказками, и начать серьезную речь, и вспомнить жестокую правду, какой она была?

Пора!

* *
*

Постепенно я стала понимать, чем живут здесь, на горе. В чем совместны действия старших мужчин и в чем различны. Каков их труд и каковы устремления.

В прошлом своем рассказе упоминала, что Кадыр лишился ноги на войне с немцами. Где-то ему смастерили деревянную ногу взамен живой. Он был здоровый, широкоплечий мужчина средних лет, когда-то веселый, а когда-то унылый, когда-то распевающий песни, а в иной раз бранящийся до страшного крика и повторяющий одни и те же крепкие слова, от которых жена его зажимала уши, а мальчишки разбегались в разные стороны.

На мое счастье, значение бранных его слов я в то время не постигала... Позднее кое-как стала понимать русский язык и запомнила из бранных слов Кадыра такие, как «мать», «бог», «царь», «черт» и «дьявол».

Самое непонятное, что с ним бывало,— он скучал. Что это такое, я уразуметь не могла. Он проклинал горы и тишину, страдал, что нет с ним друзей-однолеток, с которыми мог бы повеселиться и выпить. Вы, слушающие меня, сочувственно киваете. Мне же его жизнь казалась необъяснимой. У нас в изобилии был кумыс, коровье, козье и овечье молоко как в свежем, так и в кислом виде. Бюбюсар мастерски варила просяную и ячменную бузу, от которых стучало сердце и тянуло петь. Но Кадыр требовал неизвестной мне водки. Он хотел вспоминать и повторять в словах им пережитое: огонь и смрад войны, грязь окопов, голод и вшивость, зуботычины офицеров и старших солдат, смену городов и сел, пожары и кровопролития, гибель сотен и тысяч, страдания женщин и детей, лишенных жилья и пропитания.

На Токтора Кадыр ничем не походил. Вроде бы молодой, но серый, с серым взглядом водянистых прищуренных глаз. Он меня видел и не видел, безмолвно спрашивал: кто ты и зачем здесь? Запах его почти ничего объяснить не мог. Раньше я курящих не знала, а Кадыр начинал утро с того, что запаливал бумажную самокрутку и до вечера от нее не отставал. Киргизы в те годы пользовались только табачными шариками, которые закладывали под губу, а потом плевались; дымом от них не пахло. От Кадыра же сильно несло горелым, сперва я даже искала, не начался ли пожар. Но это не все. От его солдатской гимнастерки, когда стирала, било в нос чем-то незнакомым и резким. Много позднее я узнала, что такая вонь въедается в одежду людей, долго пробывших на излечении в лазаретах...

Всего этого не стоило бы говорить. Кадыр мною не интересовался. Его существу было противно, что Бюбюсар возится со мной, учит грамоте, может переживать за меня. Не только мне он был чужой, но и всему, что здесь на горе видел и чем дышал. Значит, я должна бы его чувствовать, как постороннего и недоброго. Кроме того, по-женски я отвергала его за телесную искалеченность. Стыдно признаваться — я тогда додумалась, что, если б Серкебай остался без ноги или руки, не смогла бы его любить. Жалела бы и плакала над ним, а к себе бы прикоснуться не дала... Где ж моя мысль, которой хотела поделиться?.. Вспомнила: от Кадыра прилетало иногда что-то родное и будило в моей памяти воспоминание об отце. Вдруг пахнёт сильно и приятно железными искрами и кремнем. И тогда

мне хочется обнять его и заплакать. Что ж это было? А то, что отец мой Ыбраим занимался высечением каменных жерновов, а Кадыр в довоенной своей жизни был точильщиком. Вот, значит, как сильна память обоняния. И от нее душа делает к человеку тот или иной поворот. И получается ошибка.

Нет, ошибки пока не было. Словесно или действием Кадыр ко мне прямой враждебности не выказывал. Только один раз обругал. Помните, когда рассматривала его деревянную ногу. Разозлился, но тут же и забыл. Зато он в дни моей болезни съездил по просьбе Токтора за старухой Кынсылу, чтоб та меня лечила... Потом я узнала, что этим он был недоволен и встревожен.

Еще скажу о Кадыре.

Он очень печалился, что не может крутить ногой точильный станок и лишен своего городского ремесла. Ослабленный тяжелым ранением и долгой болезнью, вынужден был уехать из Андижана в дальние киргизские горы. Оказалось, что даже и представить не мог, что это такое. Токтор всей душой стремился сделать его своим помощником и равным в их жизни. Учил охотиться, но в горах зимой глубокий снег, коня надо оставить на тропе, а самому уходить в чащу леса. У киргизов не было в те годы лыж. Кадыр лыжи узнал на фронте и привез из России тестю, жене и мальчишкам. Сам же пользоваться не мог и от этого страдал и переживал... По его рассказам выходило, что на войне был смелым, пробирался в гущу вражеских войск, но здесь, в лесу, становился робким и боялся нападения барса или медведя-шатуна.

У Токтора и во дворе было немало разных занятий, к ним он приучал всех нас. Надо было снимать и распяливать шкурки бурундуков, горностаев, куниц. Но Кадыр и к этому оказался неспособным: ему опротивела кровь, которой слишком много повидал на войне. Кончилось тем, что стал из дерева резать ложки, а из рога архара выпиливать гребни и частые гребешки. Иногда помогал Токтору в кузнице. Сперва увлекался, говорил, что вот наконец дело и он его полюбит, но вдруг повисали руки, он садился, уронив голову, и тогда запевал протяжные песни, а потом принимался длинно и тоскливо браниться.

* *
*

Один раз, темным вьюжным вечером, когда вся природа стонала, я услышала непонятный мне разговор, а может, и спор, часть которого коснулась и меня.

Мальчишки давно спали, улеглись и мы: Бюбюсар в ожидании мужа в соседней комнате, а я там, где всегда,— неподалеку от печи. Мужчины сидели против открытого жара, как бы у костра, и оба курили. Я раньше не замечала, чтобы Токтор жег табак, а в тот вечер взял у Кадыра и набил в деревянную трубку.

Они долго молчали, как бы слушая песни ветра, когда Токтор сказал:

— Над нами нет крутой вершины — иначе в эту ночь и я бы прочитал молитву. Прислушайся: слева и справа грохочут обвалы. Ах, и скверно же путнику в такую лютую погоду.

Кадыр не ответил. Тикали часы на стене; я к ним привыкла и от них слаще засыпала. Их значение все еще было мне темно и непонятно, хотя все в этом доме то и дело на них поглядывали.

— Смотрите-ка, девять вечера,— продолжал Токтор.— Не знаю, идти ли сегодня встречать Мукаша. Скоро потеряю надежду на его приход... Страшный путь, а в эту зиму особенно страшный!

Простые слова, но произнесены были не просто. И уже не хотелось спать, а хотелось слушать. Одно то, что сидят и кого-то ждут... В такую вьюгу, на такой высоте, в многоверстном безлюдье горной крутизны... Я уже знала, что Токтор, надев медвежью шубу, давно выходит ночами кого-то встречать. Иногда пешком, а бывало, что и верхом, с собаками. И всегда одинокий его уход меня тревожил. Боялась, что приведет самого шайтана. Но сегодня было сказано имя, человечье имя Мукаш.

Я замерла, ожидая, как откликнется Кадыр. Он весь день злобился и ко всем придирался. И вот действительно заговорил, будто долго к этому готовился:

— Мукаш, Мукаш! Вижу, надоело вам... Да и правда, кому не надоест встречать для одной видимости того, кого нет и не может быть. Хотите меня успокоить? Надеетесь приучить?.. Что вы за человек, отец, никак вас не пойму. Перетянули из города жену мою Бюбюсар и с ней мальчишек, а потом и меня...

Он тоскливо говорил и вроде бы не ждал ответа. Я прикрылась, показывая, что сплю, но сквозь щелку смотрела. Кадыр качал большой своей головой, светлые его глаза, отражая пламенеющие синевой угли печи, вспыхивали и гасли. В душе его жила тоскливая, долгая ночь. По серым щекам, по широким скулам спускались дорожками рыжеватые волоски, образуя острую бороденку, не показывающую возраста и не вызывающую уважения. Давно ли стал калекой, но будто всегда им был.

Вдруг он возвысил голос:

— Город! Я хочу в город! Чтобы люди были вокруг, а не лес и не звери. Люди в чайхане, и на базаре, и на улице, и в лавке суконщика, и на железной дороге, и в мастерской... Вот только возьмут ли куда-нибудь?.. Ах, не нужен я никому. Был точильщиком, ходил по базару и по городу, кричал: «Точу ножи-ножницы!» Меня брадобреи знали, и мясники, и разбойники, которым тоже нужен острый нож... Я слышал смех и песни, брань и веселье, входил в жаркий спор, что ни день, вникая в жизнь мира, читал газеты... А что теперь! На фронте в стрельбе и взрывах жил среди товарищей лучше, чем тут на горе... Отпустите меня, отец, не хочу больше ждать проводника, а вы нас не поведете — вам и тут хорошо. Отпустите, слышите!

Токтор не отвечал зятю. Сидел, глубоко задумавшись. Порыв ветра залетел в трубу и разбросал по полу искры. Старик вскочил и стал затаптывать мелкие дымящиеся угольки.

— Вот так вы всех топчете, губите, лишаете жизни! — проворчал Кадыр.

Токтор глянул на зятя из-под бровей, вздохнул. А Кадыр стал кричать, брызгая слюной:

— Я ждал и молчал. Приглядывался. На то мне и глаза, чтобы видеть. Приехал летом, а сейчас половина зимы. Был я слабым и больным. Вы говорили: «Не уезжай, останься, пока окрепнешь». И я остался, притом что двух старших моих сыновей надо бы определить в школу. Прошла осень, началась зима... Э-эх, отец, я распознал вас: дела ведете с власть имущими и с богачами и сами что ни день богатеете на шкурах, которые продаете, на оружии, которое покупаете и, обновив, тоже продаете... В городе говорили: «Токтор, вернувшись из Сибири, хоть и женился на узбечке, якшается с урусами...»

— Говори, говори! — откликнулся Токтор.— Ты был мальчиком, сыном холодного сапожника Юсуфа и жил в бедности. Разве плохо тебе было, когда приходил к твоему отцу, разве делал семье вашей зло? Может быть, наживался на вас? Ты был мальчиком, а потом юношей, встретил мою дочь и полюбил ее. Говори, что было дальше. Разве ты не якшался с урусами на железной дороге и не от них учился понимать жизнь? А женившись на Бюбюсар — ты хоть и взял ее в свою семью,— не отвергал и меня с женой моей Дильбар. Был нам как сын. Разве не так?

— Вы хитрый и слишком ловкий человек! — воскликнул Кадыр.— Я много глупее вас, но в конце концов добрался до черной вашей сути... Хотите — буду говорить, хотите — замолчу навеки, но своего добьюсь!

— Продолжай,— сказал Токтор.— Ты попрекнул меня, что якшался с русскими...

— Опять ваша хитрость. Я не попрекал. И не мне вас за это попрекать: на фронте я плечом к плечу в той же серой шинели, что и русские, дрался с врагами. Нет, я другое подметил. Десять лет назад, в 1905 году, когда железнодорожники бастовали, вы были им другом и давали кое-кому из рабочих людей оружие для защиты от полиции. Я тогда со всех сторон слышал: «Бывший каторжник Токтор, хоть он и киргиз, ради бедняков идет на все!» Но вы скрылись в горах, взяв с собой только жену. Даже Бюбюсар долгое время не знала, где вас найти.

Токтор ухмыльнулся.

— Выходит, тайну удалось сохранить. Слава аллаху, полиция меня не нашла...

...Давно ли в страшной ночи, когда люди нашего аила по наущению Кашкоро разжигали себя против соседей, я подслушала, как Батыркул втайне от аксакалов договаривался с моим свекром о торговле? Тогда я додумалась, что богатые ради выгоды охотно предают своих подданных. Теперь Кадыр упрекал Токтора за то, что ведет дела с богатеями, продавая им мех и шкуры. Кому же продавать? Бедняки не покупают, а если им даром отдать, продадут тем же богачам. Видела, что Токтор, как оружейник, чинит в своей мастерской старые ружья и пистолеты, но не замечала, чтобы продавал баям. Обвинения Кадыра слышны были как вздорность калеки. Разговор мне прискучил, глаза стали слипаться, как вдруг в устах Кадыра прозвучало мое имя, сказанное с ненавистью:

— Эта Аруке, наследница бая. Опекаете ее, прячете да еще и учите грамоте. Делаете вид, что защищаете бедняков, а кормите и лечите богачку, замешанную в убийстве... Зачем? Вы как хотите, а я не желаю подвергать себя и жену с детьми опасности быть растерзанным в драке богачей.

Кадыр потел и дрожал от мелкой ярости.

Токтор просил остановиться:

— Подожди, постой!

Кадыр торопился сказать:

— К черту! Слишком долго я терпел, слишком долго думал. Что б вы не сказали, вижу одно: за эти годы превратились в скопидома. Видел, видел, сколько тут накопили. Самое время превращаться в бая... Отпустите меня. Не верю в ваши обещания, не верю, что приедет проводник. Дайте нам с женой двух коней — мы без проводника найдем тропу...

Тут я увидела, что, накинув вязаный платок, стоит в двери

Бюбюсар. Глаза ее в испуге обратились к мужу, но не успела произнести ни слова. Токтор спросил ее:

— Ты... Ты слышала?

Бюбюсар прошептала:

— Отец, расскажи ему... Мой бедный муж — он ведь и правда здесь жить не может, тоскует. Расскажи и объясни. Тогда станет тебе другом и помощником.

Токтор нахмурился:

— Ты ничего ему не говорила?

— Говорила, что ты велел...

Вот когда вскочил на своей деревяшке Кадыр. Замахал руками:

— Я был кавалеристом, мчался в атаку, врезался в гущу турецких янычар и всегда оставался мужчиной. А здесь моя жена в сговоре с отцом. От меня скрывают, не доверяют какие-то секреты... Ты всех подмял, проклятый колдун. Скоро напустишь на калеку диких своих зверей. Хотите избавиться... Я сам уйду, не увидите меня никогда. Возитесь с байской наследницей, меня на свалку... С рассветом уйду. Не надо мне никого и ничего...

— Уйдешь? Тогда и я с тобой! — твердо сказала Бюбюсар.— Но разве забыл — в прошлом году на зимней тропе погибла моя мать. Она шла с провожатым и все-таки погибла.

— Он, он ее погубил! — вскричал Кадыр и ткнул пальцем в грудь Токтора.— От одной жадности погубил жену, а в помощь себе взял дочь, отняв у мужа.

Бюбюсар схватила его за руку:

— Зачем, ничего не зная, чернишь отца?! Я тебе обещала — уйду с тобой. Прикажешь — и уйду. А сейчас отдохни, ляг. Я все-все тебе расскажу. Утром.— Она показала взглядом в мою сторону.

Я сжалась: «При мне говорить не хочет. Значит, есть тайна и касается меня».

Кадыр оттолкнул жену:

— Отговариваешься, кивая на овцу. А я при ней выложу как на ладонях весь сговор и всю тайну... Меня укоряешь взглядом, на отца смотришь как на бога, а я от проводника, от того самого Мукаша, который привел меня... Он простой и честный... Он мне рассказал, как при нем погибла, замерзнув на перевале, твоя мать Дильбар. Почему погибла?..

Токтор его грозно прервал. Такого голоса у него еще не слышала!

— Замолчи! Ты не солдат, а болтун. Ты глуп и неразумен.

— А, испугались! Вы знаете, но и я знаю. Дильбар была хорошей женщиной, а вы довели ее до страшной смерти...

Бюбюсар закричала:

— Нет, нет! Отец не виноват! Клянусь!

Кадыр брезгливо отвернулся:

— Чего стоят клятвы женщины, забывшей мужа и повторяющей за отцом!..

...Крик и вздор, теперь уже с участием Бюбюсар, длились долго. Из них я поняла, что Мукаш, проводник и доверенный человек Токтора, сопровождал прошлой зимой Дильбар. Она погибла, а он остался жив. И после такой страшной беды Токтор не лишил проводника своего доверия. Мукаш продолжал ходить между городом и охотничьим домом: он привез к отцу Бюбюсар с детьми, а полгода спустя — слабого, еле живого Кадыра. И этот самый проводник вместо благодарности за доверие наговорил зятю на тестя. И зять его слушал...

Что же такое люди после этого?!

И что такое Кадыр, если, живя в семье, так долго таился, чтобы вдруг напасть на тестя и собственную жену?

Я была встревожена, душа моя плакала. И не по одному тому, что грозили новые опасности. Страшны были мне люди, которые виделись одними, а в сути своей оказывались другими.

То я склонялась в мыслях, что Кадыр слабый человек с взъерошенной душой, то смотрела как на смельчака, противостоящего могучему Токтору. Ведь Токтор не то что камчой, пальцем мог его опрокинуть, мог за оскорбления избить и убить. Разве не так? Если Кадыр идет на брань с ним — надо понимать, что смел и прямодушен. Но как это совмещается с вздорностью?

Подобных колебаний раньше испытывать не приходилось.

Наслушавшись обвинений против Токтора, я все же не могла поверить ни в то, что хочет стать баем, ни в то, что из жадности обрек жену на гибель. Сомневалась и в том, что Токтор держит меня ради выгоды, желая хитрым способом завладеть моим наследством.

Однако он хоть сперва и грозно кричал на Кадыра, требуя, чтобы тот замолк,— на главные обвинения ответить не захотел и обходил стороной. Начал с грозности, а перешел к тихим уговорам. Кончил же таким рассуждением:

— Ты, Кадыр, выступаешь судьей, обличаешь меня в семи страшных грехах: хочу богатства и ради этого ушел в горы; завязал сношения с власть имущими и с торгашами; отнял у тебя жену, заколдовал и наживаюсь на ней; обманываю тебя; воспитываю байскую невестку, чтобы выгодно сбыть или самому

встать на место Кашкоро... Наконец, обвинил меня, что ради жадности и наживы послал свою хорошую жену на погибель и виновен в ее смерти... Ты говорил это?

Кадыр не смотрел в глаза охотника, но, подумав, подтвердил:

— Говорил и могу повторить!

— И еще — ты обвинил меня в измене андижанским друзьям — беднякам и рабочим людям... И это подтверждаешь?

Кадыр кивнул головой.

— Как же так, а? Кадыр? Как солдат ты знаешь, что измена должна караться смертью. А тут, кроме измены, убийство, сношения с врагами. Как же ты, Кадыр, просишь после этого, чтобы отпустил тебя уехать. Судья, а бежишь от осужденного? Нет, сперва сверши казнь!

С этими словами Токтор распахнул свою грудь и, взявшись за лезвие, протянул Кадыру длинный нож.

Мы с Бюбюсар смотрели молча. Ни она, ни я не вскрикнули. Кадыр не взял нож из рук Токтора, и мы понимали, что не примет.

Говорю не о себе, а о нас двоих. Могла бы сказать и о троих — я и Бюбюсар жили одной душой с Токтором.

Может, и правда, Токтор был колдуном?

Кадыр сидел свесив голову. Это тянулось вечность. Нож не дрожал в руке Токтора. Грудь его оставалась открытой для удара.

Наконец, выждав сколько хотел, Токтор отложил нож и заговорил.

— Кадыр! — сказал он.— Зная твою честность и справедливость, я доверился тебе как справедливому судье. Ты не казнил меня, значит оправдал. Но ведь должен быть виновный. И мы с тобой его знаем. Верю, что в долгом пути от Андижана ты услышал от проводника, что я виновен в гибели своей жены. Рахмат тебе — спасибо. Ты открыл мне темную душу человека, которому я так долго доверял. В суде надо мной оправдал меня, значит должен осудить клеветника. Возьми нож. Мукаш придет — казни его! Иначе, оговорив меня, оговорит и тебя и других.

Кадыр не взял нож. Смелый воин ронял слезы и молчал. Плечи его дрожали.

— Ну вот и все, Кадыр,— сказал старик.— Ты болен. Не только тело твое, но и душа искалечены войной...— Он протянул зятю руку: — Давай кончим миром!

Кадыр заметался. Хотел вскочить, но не смог. Оглянулся на меня, ошпарил взглядом:

— Зачем ты здесь? Зачем смотришь? Зачем слушаешь внутрисемейное наше дело?

— Уймись! — сказала Бюбюсар.— Куда ей деваться?!

Кадыр продолжал:

— Вы, отец, и ты, жена, говорите, что подозрительность моя от болезни. Но когда взяли и спрятали замученную Аруке, разве я был против? Теперь вылечили, выкормили, она окрепла — для чего она здесь? Любит Серкебая, носит от него — отдайте ему! Где бы он ни был, найдите и отдайте. Тогда она будет женой бедняка, а не вдовой и женой байских сыновей. Пусть где угодно живут — помогите их счастью! У вас тропы в любую сторону, можете найти... Не-ет, держите при себе, учите. Для Серкебая учить не надо...

Только что обжигал меня взглядом, как вдруг взялся обо мне хлопотать. То ли хотел меня выгнать, то ли сравнять с собой, говоря, что у каждого свое счастье: у него в городе, а у меня в аиле?

— Учить для Серкебая не надо! — повторил он.

— Почему для Серкебая? Мы учим для нее, как ты учился для себя,— ласково проговорила Бюбюсар и попробовала подойти к мужу с доброй улыбкой.— Неужели тебе плохо, что я грамотная? Ее научим мы — она будет учить Серкебая.

— Слышал. Хотите, чтобы все киргизы стали грамотными...

— Сперва свободными — потом грамотными,— сдерживая себя, проговорил Токтор.— Свобода нужна не только русским, узбекам, татарам. Надо, чтобы и наши киргизские бедняки поднялись с другими народами. Ради этого я здесь. Ради этого погибла Дильбар... А Мукаш так же мало знает, как ты...

— Мы все мало знаем, все никуда не годимся! — опять закричал Кадыр.— Ни ему, ни мне полностью не доверяете. В этом, в этом все дело! Да и что́ вы можете доверить, кроме проклятых своих мехов и шкур, из-за которых по одной вашей жадности погибла Дильбар...

Все заводилось сначала. Опять он полез на вершину мелкого гнева.

Токтор стукнул кулаком по столу:

— Довольно. Хочешь уходить — уходи, хочешь уезжать — уезжай. Я не господин тебе и не слуга. Больше не называй меня и отцом. Слышишь!

— Ах, так! — Кадыр проковылял к выходу, выскочил, хлопнув дверью, во двор, тут же вернулся, хотел что-то сказать, но речь ему не давалась. Наконец, закрывшись от нас локтем, тяжелыми шагами добрался до постели и упал вниз лицом.

* *
*

В ту ночь я долго не могла уснуть. Слышала тяжелый храп Токтора. Невнятно доносился горячий шепот Кадыра и Бюбюсар. Они о чем-то спорили; слова до меня не доносились. Потом Бюбюсар плакала, и Кадыр ее утешал. Так длилось долго, но смолкли и они, а я ворочалась с боку на бок и думала, думала.

Сравнила себя с Кадыром. Тоскуя о городе, он превратился в бессмысленного крикуна. Плакал, как женщина. Еще немного, и стал бы, подобно мне, биться на полу и визжать. Неужели Бюбюсар со своей женской силой и красотой способна такого любить?.. Потом вспомнила, как он советовал Токтору соединить меня с Серкебаем. Сказал, что найти можно. И правда, к Токтору приходят разные люди, даже из далеких аилов. Говоря с ними — всех нас выгоняет. Через них он мог бы разыскать Серкебая. Ему даже искать не придется — кликнет по лесу, и подчиненные ему животные побегут на своих быстрых ногах во все стороны. А разве нет у него почтовых голубей?.. Ах, это было для меня чудом. Один раз я увидела, как Токтор привязывает голубю на лапку бумажку... Он рассердился, что я смотрю, а когда, спросила, ответил: «В бумажке лекарство». Больше ничего не сказал, но я увидела, как серая птица поднялась над лесом, сделала два круга, а потом повернула в сторону Андижана. Тогда я пристала к Бюбюсар, и она по простодушию своему рассказала: «Голуби летают с письмом и находят место, куда их доставить. Но иногда их бьют беркуты, и тогда известие может пропасть». Потом, испугавшись, что наговорила лишнего, потребовала от меня клятвы молчания.

Вот бы послать голубя к Серкебаю. Теперь я и сама напишу все, что надо. Беда, что неграмотный. А кто грамотный? В любом киргизском поселении только мулла сможет прочитать Серкебаю. А мулла всегда друг бая и бия. Они узнают наши секреты, и будет худо и ему и мне.

Перебирая в уме одно, другое и третье, пришла к мысли, что утром начну молить сперва Бюбюсар, а потом и Токтора выдумать, как мне уйти к Серкебаю. Пусть мы будем вместе голодать — я голода не боюсь. Пусть даже станет меня бить — побои любимого не страшны... А почему обязательно бить? Не все мужья бьют. Есть такие, которых держат в кулаке жены. Тут я невольно рассмеялась. У нас был сосед по имени Тюлемыш. Если в юрту к нему приходили гости, он находил причину кричать на свою жену и даже бил по голове. От этого все смеялись, и сама его жена смеялась, хотя никто не говорил

вслух, в чем причина смеха. А причина была в том, что при гостях жена ему ответить не смела и он этим обычаем пользовался. Зато стоило гостям разойтись, она брала в свою руку скалку для раскатывания теста и загоняла мужа под кошму, где он сидел все время, пока она была в гневе. Через несколько дней все повторялось. Приходили гости, и он при гостях ее учил.

Нет, Серкебай хороший. Он бить меня не станет. Буду терпеть его громкие песни, все буду от него терпеть. Только не позволю, чтобы заводил себе вторую жену.

Может быть, на этой, а может, и на другой мысли уснула; было это поздно, и я бессовестно проспала, опоздав к дойке коровы. Киргизы в зимние месяцы коров не доили, но я у Токтора научилась. Никто меня не заставлял, эту обязанность я на себя приняла и никогда не опаздывала. А тут, подумать только, проснулась, когда уже вовсю светило солнце. Вскочила и увидела, что в помещении уже никого нет. Поскорее оделась и побежала во двор.

Меня встретили мальчишки и стали вокруг меня прыгать:

— Смотри, сестричка, что придумал наш ата. Он сколотил санки, мы будем кататься с горы. А ты когда-нибудь каталась? Знаешь, что это такое? Полетим быстрее птицы, быстрее самого быстрого коня! Наш ата в детстве катался, а теперь хочет порадовать нас. Смотри, смотри, как льется вода на тропу...

Я была удивлена и обрадована: все веселые, никто не ругается, дети, одетые в праздничные, подпоясанные меховые камзолы, в теплые шапки и в сапоги поверх толстых валяных чулок, метались и кричали, как вороны весной. Бюбюсар была тоже разодета, будто собиралась на далекую свадьбу. Но больше других меня поразил Кадыр. Скакал на своей деревяшке по всему двору, подправлял лопатой снег! В одном месте отбрасывал, в другом лепил невысокий сугроб. Он был красен лицом, весел и необычайно тороплив. Увидев меня, закричал:

— Э-эй, красавица! Насмотрелась снов? Хорошо спала! Ну скорей, скорей — берись за дело. Мы такое устроим веселье — позабудешь земные печали, Кашкоро забудешь, всех баев забудешь! Ах, какая ты проснулась — когда б не Бюбюсар, послал бы к тебе сватов... Бери лопату, помогай!

Такого Кадыра мне видеть не приходилось. Куда девался вчерашний печальник? Даже бородка расцвела на ярком солнце, а глаза сверкали будто масленые.

Я вбежала в дом за лопатой и потеплее одеться. Хоть и не было сейчас ветра — мороз пробирал до костей. Тут я на столе заметила бутылку с прозрачной жидкостью на дне, а рядом

кружку. За мной вошла Бюбюсар и, заметив, что разглядываю, предложила:

— Хочешь попробовать? Это водка. От нее человек вдвое смелеет и в душе является праздник. Выпей, подруженька!

Молодка достала стаканы, налила себе и мне. Мы выпили, и она, глядя на меня, расхохоталась. Я хлебнула и задохлась, весь рот обожгло.

— Не бойся, не отравимся! — хохоча, говорила Бюбюсар.— Пей, есть еще. Отец уехал, и мы достали из подпола. Он прячет для урусов, нам не дает. Много пить не надо, а немного очень хорошо.

По всем кишкам у меня полилось горячее, а скоро и я стала веселой, попросила еще. Бюбюсар, как была в шубе, спустилась в подпол и вынесла еще бутылку и опять налила, но себе мало, а мне побольше.

И вот что было дальше. Вы-то понимаете — я опьянела, разгорячилась, потребовала себе работы. Мы вышли во двор с лопатами, и тут только я поняла, что делается. По снегу к тропе бежала вода и широким потоком неслась вниз, замерзая по краям, а потом и в середине.

— Что это? — спросила я Бюбюсар.— Пробило плотину?

— Мы сами ее пробили! — весело закричал Кадыр.— Хотим кататься. Радости хотим. Не понимаешь? Куда тебе понимать! Смотри, какие сбил санки. Длинные, крепкие. Все поместимся, все полетим по горе. Быстрее ветра, быстрее бури... Поправляй, сестричка, поправляй берега, чтобы речка бежала куда надо!

Он меня сестричкой раньше не называл и в разговоры со мной не входил, а тут вдруг такой дружелюбный и такой красивый от жизни, которая в нем закипела от водки; я на него залюбовалась.

— Зачем пробили запруду? — спрашивала я, а сама подравнивала берега и гнала воду лопатой.— Так нужно? Так приказал Токтор?

Кадыр свободно отвечал, с задором:

— Дался тебе Токтор! Уехал на встречу с Мукашем или охотиться, или за тем и за другим... кто его знает. Мы будем радоваться и веселиться! Вот так, вот так, радоваться и веселиться! Вы, киргизы, не знаете катания с гор. Поучитесь-ка у татарина. У нас с берега Волги в каждом ауле не только молодые, но и взрослые всю зиму катаются...

К дому Токтора с севера шла всего одна тропа, пригодная для подъема или спуска на лошадях. Другая, скрытная, неизвестная людям, очень узкая тропа, шла к перевалу, а за ним

соединялась с дорогой на Андижан. По ней-то и уехал с рассветом Токтор.

Со школьной скамьи вы знаете, дорогие мои, что высокие горы несколькими хребтами отделяют юг Средней Азии от севера. Даже в нынешние дни, хоть и построена дорога, и пробиты сквозь горы туннели для движения автомобилей, в зимние месяцы случаются такие заносы и снежные обвалы, что путь закрывают, не решаясь рисковать жизнью людей.

Город Андижан теперь один из самых людных и развитых в соседнем с нами Узбекистане. Но уже и в те годы, при царе, Андижан, хоть и не был таким обширным и красивым, как при нашей власти, все же привлекал многих. Летом собирали большие караваны и проходили по крутым тропам через тяжелые перевалы, чтобы делать в южных городах закупки. Везли оттуда разные товары: изделия искусных гончаров, кузнецов, оружейников, а главное — всевозможные шелковые и хлопчатобумажные ткани. Андижан был от нас не так близок, как доступен. На караванном пути всюду была в изобилии вода и тень, а тропы не столь круты и опасны, как на пути к Джалал-Абаду.

Зимой же редкие смельчаки способны были, пренебрегая снежными лавинами, лютыми ветрами и морозами, решиться на подобное путешествие. Путники должны были каждый раз понимать, что жизнь их на перевалах, а того хуже в тесных ущельях, висит на волоске. Значит, могли идти только по крайней надобности. В одиночку купцы не ходили и летом, зимой же при всей выгоде торговли никто бы из них в такой путь не пустился. Найти нужную тропу под снегом способны были только очень опытные и осторожные. Были такие среди военных проводников, служивших при войсках губернатора. Были и среди отчаянных охотников, которые в высокогорье промышляли куницу, архаров и козлов теке.

Вы спросите: зачем диким баранам и козлам в зимние месяцы взбегать на острия хребтов, где и летом-то не растет ничего, кроме лишайников? Они ведь кормятся подснежными травами. Так вот, знайте: почуяв теплый ветер, вызывающий таяние льдов, снежные и каменные обвалы, вожаки диких стад уводят их не прятаться под скалой, которая может рухнуть, а на гребень горы. Там лютый ветер, но зато нет опасности всеобщей гибели. Однако в такую погоду за копытными взбирается на гребень и барс, а по следу барса — охотник. Привязав лошадь у тропы, карабкается по заснеженным и обледенелым скалам, чтобы подстрелить животное или зверя...

Но продолжу объяснения, касающиеся главной тропы — той, которая вела к нашим кыштакам, а от них в стороны Кочкорки

и далее к озеру Иссык-Куль, где дорога разветвлялась и уходила к разным городам. Так вот, эта главная тропа была устроена хитро. Она была прежним руслом горной речки, а потому хоть и крутой, но гладкой (Токтор убрал с нее камни и валуны). По бокам ее стояли отвесные скалы. Выбирая место для дома, Токтор стал строиться на плоском выступе, окруженном лесом и густыми зарослями арчовника. Конного пути туда не было. Вот он и додумался отвести воду плотиной, а по старому руслу ездить. Речка была не сильной, а потому и плотина тонкой. За ней накопился довольно глубокий пруд, не промерзающий насквозь. Оттуда мы брали сквозь прорубь воду для себя и животных.

Что же сделал Кадыр? Он, выпив и осмелев без Токтора, забавы ради проломал плотину. Вода нашла старое русло и заморозила до блеска всю тропу до низу на расстояние в четверть версты.

— Э-эх! — кричал Кадыр.— Глядите, глядите, схватывается. Не пускайте больше воду. Довольно. Эй, жена, сыновья, Аруке — ко мне! Сыпьте, сыпьте снег в пролом плотины. Сейчас замерзнет и будет стоять. Давай, давай, давай! Видите, видите, уже останавливается... Стой тут, Аруке. Смотри, чтобы не просасывало, а мы сядем на санки и поедем. Когда усядемся все впятером, ты нас подтолкнешь...

— А я? Мне тоже хочется кататься.

Бюбюсар сказала:

— Что ты, подруженька! Тебе нельзя. Ты же носишь, у тебя в животе маленький. Вдруг перевернемся... Вот, посмотри, отцовский бараний тулуп. Он с воротником, волоски цепляются. Брошу, а он не остановится.

И в самом деле бросила... Она хоть немного, но тоже опьянела. Ах, как звонко хохотала, когда тулуп поехал по льду и, задевая за выступы скал, размахивал рукавами.

— Будто живой, совсем живой! — кричали мальчишки.

— Им тоже дала выпить для веселья? — спросила я Бюбюсар.

— Что ты, разве я дура. Детям нельзя, они от водки плачут.

Потом они с Кадыром вытащили на край горы полный курджун и тоже пустили. Он был тяжелым и летел прямо, не трогая скал. Важно летел, как толстый бай. Но при всей важности быстрее тулупа.

Сквозь плотину вода все-таки просачивалась, и мне Кадыр велел бежать туда — сыпать снег и поленья. Пока я этим занималась, вся семья — мальчишки с матерью впереди, а Кадыр

последним — усаживались верхом на сани. Кадыр взял в руки веревку, привязанную к переду.

— Ну айда! — крикнул он.— Беги, толкай нас.

Я подбежала, чтобы толкнуть, а он попросил:

— Сбегай в дом. Принеси бутылку со стола...

Я сбегала. Он сунул бутылку за пазуху, натянул поглубже малахай. Тут я заметила, что Бюбюсар держит в руке клетку с почтовым голубем. Птица металась недовольная, что отсадили от ее родителей, которые жили в большой клетке. Я хотела спросить, зачем голубю кататься, но тут Кадыр скомандовал:

— Нажимай, нажимай на меня сзади!.. По-ехали! Прощай, Аруке!

Мальчишки и Бюбюсар завизжали со страху, и я тоже визжала, но солдат хорошо вел сани. Не перевернулся и не задел за выступы скал. Правда, уткнулись в курджун, и дети ушиблись. Но тут же вскочили на ноги. Стали кричать мне:

— Аруке, Аруке! Так хорошо — садись и съезжай к нам!

Бюбюсар погрозила им пальцем, а они хохотали и манили меня.

Но Бюбюсар нисколько не смеялась. Она не смотрела на меня, взялась за угол курджуна и оттащила со льда в сторону. Потом подала Кадыру тулуп. Он на себя натянул, поднял воротник и заковылял в сторону от тропы, в лес. Он привел оттуда за уздцы двух уже навьюченных коней. Мне стало страшно, я ничего не понимала. Кадыр с женой подняли на коня и крепко притянули курджун. На коня с курджуном уселась Бюбюсар, взяв с собой старшего сына, а младших двух поднял Кадыр и ловко вскочил сзади...

Я смотрела как во сне. Думала, сейчас повернут на тропу, чтобы подняться на конях. Но как же поднимутся, если тропа вся ледяная? Поднявшись на пять шагов, скатятся обратно.

— Эй, эй! — кричала я.— Эй, эй!

И больше ничего. Больше ничего не кричала. Не находила, что им кричать. Ведь и слева и справа крутой лес, и снег, и скалы под снегом, и на каждом шагу трещины. Не то что лошадь — косуля не проберется. Тут только бурундукам скакать или барсу, который умеет пробираться по снегу, где только захочет.

— Эй, эй! — вопила я.

И только мальчишки — Сафар, Сафуан и Сираджи изредка откликались на мой крик своим криком. Они бились в руках матери и отца, желая сойти с лошадей. Кончилось тем, что родители стали их привязывать. А они кричали:

— Аруке, сестричка!

Самый старший, Сафар, кричал:

— А-ру-ке! Зови деда, беги за дедом!

Куда я могла бежать? Металась по краю горы, боясь поскользнуться и улететь вниз.

И тут я увидела, что, уложив поклажу, увязав детей, натянув поводья и направив коней в сторону аила, Кадыр и Бюбюсар, полуповернувшись ко мне, помахали руками и пустились рысью, так и не крикнув ни слова.

Нет, Бюбюсар что-то кричала, но за воплями мальчишек ее голос ничего не значил.

— Эй, эй, эй, эй! — продолжала я звать, хотя уже поняла, что обманута.

Кто меня обманул — только муж с женой или вместе с ними Токтор?

Может быть, и его обманули? Родная единственная дочь и безногий калека — ее муж? Неужели оставили, ограбили, бросили с чужой и слабой?

А вода из пролома в плотине сочилась, леденея буграми на поленьях.

Я пошла по ним и упала.

Может быть, пьяная была? Может быть, мне приснилось? Бывает ли так, чтобы снилась тишина и яркое солнце с игольчатым лесом по краям?

* *
*

Пора вам напомнить, дорогие мои, что, хоть и слушаете вы старую Аруке, изведавшую жизнь многих пластов и миновавшую девяносто девять смертей, я и сейчас кружу по тем же тропам, что стелились перед глазами детства, юности, а потом и зрелости. Кружу и топчусь в надежде отсеять зерна от плевел.

Когда я постигла умом, что убийства творятся не от одной злости, но чаще для корысти и наживы? Когда это уложилось и укрепилось в душе моей?

Не зная удержу своей силе и своей ненависти, Серкебай убил Жайнака. Имел ли он корысть в убийстве? А была ли нажива в том, что Бекмерген пришиб своего господина?

Ненависть Серкебая была любовью ко мне. Может быть, и в любви есть корысть? Бекмерген убил, желая свободы. Может быть, и в свободе корысть?

Я думала. Искала истину. Когда началось это во мне?

Терпела от Кашкоро долгие побои, после чего телесная память рисовала тяжелый мужской кулак и камчу-треххвостку.

Телесная память пугала и предупреждала, мешала говорить и думать, гасила желания и мечты.

И все же мысль копошилась, росла вместе со мной и не давала покоя.

В школе вам не говорили, а я сама открыла, что человек является в мир не рожденьем и не чувством своим. Не собственной болью и не собственной радостью. Этим и отличается от скота.

Человек рождается с того дня, когда встревожится болью и радостью многих: своего народа, а затем и народов всего мира. Первый шаг к этому — мысль о встречном, если предупреждаешь, что он к яме идет, где может погибнуть. Встречный не нужен тебе, от него не ждешь ни подарков, ни похвалы. Но тебе все-таки страшно, что лишится жизни или покалечит тело и душу.

Вот такое беспокойство и есть начало сознания и свободы.

Как же соединить понимание убийства для наживы с пониманием боли за чужого тебе? Не запуталась ли я? Притом что рядом упомянула еще и телесную память о побоях, и боязнь перед новыми истязаниями?

Ска́жете: «Вместо повести о жизни старая Аруке предлагает нам загадки, чтобы подсластить нравоучения. Уйдем от нее петь, играть и веселиться!» Что ж, уходите! Так и Кадыр покинул Токтора, не желая доискаться до истины.

Вы уйдете — я одна буду говорить, не боясь прослыть помешанной. Потому как мысль невысказанная — что росток под камнем, а высказанная — сдвигает камень и цветет.

Прошли годы, и все, что случилось со мной, улеглось в стомиллионный ряд близких судеб. Это вы понимаете и в умственном споре со мной говорите: «Не могла пятнадцатилетняя жена, едва коснувшись грамоты, задавать себе загадки о существе жизни, о причинах беспокойства и движения людей, о смысле убийств, несущих месть или наживу».

А я вам отвечу: «Могла!»

Осмелюсь на большее и скажу. Почти все, даже самые темные, искали и терзались мыслью. Но были довольны, получая ответ муллы или сказку. Зачем варить, если можно пожирать сырое. Вареное и жареное вкуснее? Что ж, тогда хорошо, если б овца под шкурой несла готовый бешбармак, а жеребенок — колбасу-чучук! Вот вам и проповедь муллы, вот и сказка из святого корана — ответ на любое терзание мысли.

Прошли годы, и я узнала: пока дурные и ленивые питались ответами муллы и услаждали свой слух сказками, сваренными за тысячу лет до них, деятельные и дерзкие умом нарушали

Время отцов и дедов, чтобы готовить Время сыновей и внуков...

Опять упоминаю Время, которое к моменту моего рассказа еще не постигла. Но так нужно — иначе не поймете.

Было же вот что. Когда стали мне доступны газеты и книги, я вычитала из них, что жила и училась у Токтора в предпоследний военный год, беременный бунтом народов, восстаниями и революциями. На фронтах среди солдат, на фабриках и заводах среди рабочих, в деревнях среди бедных крестьян тысячи мятежных людей будили сознание угнетенных и звали за собой, чтобы свергнуть царя, фабрикантов и помещиков.

Нет, не в пятнадцать лет я это усвоила, а много позже, в зрелом возрасте — лет в семнадцать. Тогда уравняла в уме русских властителей и богачей с киргизскими баями и манапами, тогда-то и поняла значение слова «революция». С опозданием поняла, о чем жалела. Ведь раскатистое это слово мелькало в разговорах бывшего каторжника Токтора и дочери его Бюбюсар. И слово «восстание» звучало в их беседах, ничуть меня не затрагивая.

Значит, приписываю себе сознание и мысль? Нет, не приписываю. В ту ночь, когда Кадыр обвинил Токтора в смерти жены его Дильбар, я только чувствовала неправду обвинения, только догадывалась, что здесь корысть не в смерти, а в обвинении.

А вот догадывался ли грамотный точильщик ножей Кадыр, что, хвастаясь смелостью в бою против турецких янычар, хвастает убийством для корысти богачей? Понимал ли, что отрезанная его нога была мясом их наживы?

Нет. Он всем сердцем ненавидел богачей, даже меня ненавидел за одно то, что считал наследницей бая. Ненависть в нем кипела, но революции он не знал.

Вы смотрите, поджав в недоверии губы! «Забитая раба, слезливая девчонка, бунтовавшая по упрямству, оказалась прозорливее городского мужчины, прошедшего фронт. Этого быть не могло!»

Не вступлю с вами в спор. Поддавшись поздней памяти, начитавшись и наслушавшись, я пожелала увидеть в Токторе не просто бунтаря, но едва ли не большевика-подпольщика. Известен ведь из истории рабочий-киргиз, принявший русскую фамилию Пудовкин. Его революционные подвиги воспеты, он прославился на всю нашу республику. Жизнь Пудовкина во многом сходна с жизнью Токтора. Почему бы не быть им вместе? Память моя их соединяет.

Однако память рисует мне Токтора не только борцом за народное дело, но и колдуном. А может, то и другое в нем совмещалось?

Это нельзя решить сразу. Надо сперва рассмотреть всё и во всех подробностях.

* *
*

«Ах, я обманута!» — так начались мои слезы. Плакала, валяясь на скользких поленьях, под солнцем, в морозном безветрии. Кумайык подбежал и уставился на лежачую. Послушал, как рыдаю, послушал тихий лес и, задрав морду, принялся выть. И вся свора, все десять псов затянули песню плача.

Если днем воют собаки — будет трястись земля или погаснет солнце.

Пусть трясется земля, пусть гаснет солнце: Аруке обманута и рыдает!

— Кумайык! — позвала я, хотя он был рядом и плакал вместе со мной.

Он между делом скосил на меня глаз, как бы говоря, чтобы не мешала, и прося не отставать от общего плача.

Заржал и забился на привязи единственный оставшийся конь по кличке Шамал, что значит Ветер.

Замычала корова, и заблеяли овцы, запищали мыши под домом, громко треснула ближняя ель, скатился вприпрыжку большой камень, не начав обвала.

Тогда-то и расхохоталась сова, которой молчать надо при солнце. Услышав ее, вся свора насторожилась. Рядом с совой застрекотала сорока, где-то затявкал корсак, белое солнце зажелтилось сквозь слезы.

Скатился камень, не начав обвала, и затаился в снегу, как бы стыдясь бездельных прыжков. Он разбудил сову, и она рассмеялась над ним. Собаки стали прыгать и лаять, щелкая зубами, будто перекусывали солнечный луч. Из всей своры остался надо мной Кумайык и теперь не выл, а смотрел в ожидании, с немым вопросом:

«Что случилось, хозяйка? От тебя началось. Ты обманула меня, я обманул свору, свора обманула жеребца, жеребец обманул корову и овец, овцы обманули камень, камень разбудил сову, и она расхохоталась. Так не должно быть. Что случилось, хозяйка? Ушел Токтор — он знает, что делает. Уехали молодые — к этому давно шло. Мы с тобой пережили их, как пере-

жили Жайнака, Макмал, Кашкоро и Белека. Токтор вернется домой, и мы с тобой его встретим. Разве не так?»

Я вытерла слезы и поднялась на ноги. Тогда Кумайык подпрыгнул и лизнул меня в лицо. Будто не легче ему было лизнуть, пока лежала.

— Но ведь для них, для Кадыра с женой, беда, что ушли,— сказала я Кумайыку.

«Ты о них плакала? Не поев сама и не покормив меня, плакала о сытых?»

Глаза Кумайыка, движение его тела и хвоста подобны человеческой речи. Наверно, и я, день ко дню живя в лесу, научилась языку животных.

Я вошла в дом, и Кумайык со мной. Как он узнал, что можно? Как догадался, что молодые не вернутся и калека не ударит?

Свора подбежала к крыльцу и, теснясь в ожидании, урчала и тявкала. Все девять собак, кроме Кумайыка, знали, что ему позволено войти, а им нет.

Но и мне была удивительна моя свобода. Я не то что при Кадыре, даже при Бюбюсар не впустила бы Кумайыка в дом. Сразу же задумалась: «Если вернется Токтор — станет ли ругать? Ударит ли Кумайыка за дерзость? Или поймет, что пес вошел на правах утешителя?»

Глупая — я не о том задумалась, как отнесется Токтор к бегству зятя, дочери и внуков, а стала измерять его доброту ко мне. Гордилась его добротой и своей догадливостью о его умной и сильной доброте и ко мне и к собаке.

Как только мы вошли, отворилась дверца на часах, и деревянная кукушка прокуковала сколько-то раз. Кумайык поджал хвост и встал у моей ноги. Он еще не бывал внутри дома. Робко нюхал воздух, вспоминая всех, кто тут жил, и от этих воспоминаний тихонько повизгивал. Мальчишки таскали его за хвост и катались верхом, а он уже был в летах; никогда их не кусал, но ворчал, как старик, и просил пощады. Он заглянул в соседнюю комнату, где их запах чувствовался сильнее, чихнул и попятился. На деревянном полу его когти гулко стучали, Кумайыку было неловко передо мной, что производит шум в пустом 10
доме.

Надо было покормить его и других собак. Надо бы и самой поесть и посмотреть, оставила ли Бюбюсар сено овцам, корове и жеребцу. Надо было подбросить поленья в печь и завести в чугунном горшке мясную похлебку с пшеном и картошкой — любимую пищу Токтора. Киргизы в те годы картошку не знали и не выращивали, только здесь увидела. Постепенно привыкла и

ела с удовольствием, но чистить не любила: в каждой картофелине угадывала лицо человека; приходилось ножом срезать нос или губы, выковыривать ростки, которые казались глазами.

Я собралась отдельно покормить Кумайыка, налив ему в глиняную плошку остатки вчерашней похлебки, но по глазам поняла, что ему тут неприютно: повиливая хвостом, он поплелся к двери, иногда оглядываясь на часы, как бы ожидая от них нападения. Маятник качался, и часы тикали. Такой равномерности звука в природе не бывает, это может напугать любое животное. Притом, что я привыкла, лучше бы этого тиканья не было.

И вот я решилась в угоду старому другу остановить время. Рукой задержала маятник, и наступила тишина. Только мыши пищали и скулил Кумайык. Я думала, обрадуется, но ошиблась. Ему в доме было нехорошо.

Ну что ж, я намешала в горшке похлебку с просяной кашей, добавила молока с водой и вынесла всем собакам в их дворовое корыто.

Кумайык есть не стал. Возвращаться в дом не захотел, но и от двери не отходил, показывая, что надо чего-то беречься и ждать врагов. Иногда он взлаивал и поглядывал по сторонам. На этот раз, сколько ни старалась, проникнуть в его мысли не сумела.

И спросить было некого.

Спросить было некого. Не осталось ни добрых, ни злых. Никто не приказывал, не советовал, не учил. Кумайык не мог мною распоряжаться. Помню, когда спасалась от Кашкоро, он меня тянул за подол в нужную сторону. Это было раз, и больше не повторялось.

Оставался еще бог, и где-то прятались сулаймановы дэвы во главе с шайтаном. Как всегда, бог был незрим, притом что ждал моих вопросов и моей мольбы. Шайтаново племя тоже оставалось бессловесным. С тревогой я приглядывалась к каждому дереву, ожидая, кто выглянет.

Обратившись к западу, я сотворила неумелую молитву. Солнце посмеялось надо мной и ушло за тучу. Бог ничего не сказал, молитва не помогла.

Я вернулась в дом и на пустом столе увидела пустую бутылку, из которой пробовала веселящую жидкость. Откинула крышку люка в темноту подпола: сейчас опущусь, нашарю, где стоят бутылки, выпью и стану смелой. Разбегаясь от света, пронзительно пищали мыши. Шагнув пять раз по скользким сту-

неням, я подождала, пока привыкнет зрение. Никогда не спускалась в этот мрак и не знала, что там. Вся дрожа, оглядывала полки, ящики и мешки. Висели капканы. В углу были навалены черепа архаров, маралов и козлов теке: рога завитые, ветвистые и ступенчатые. Мешки и мешочки стояли завязанные и открытые, с завернутым краем. В них насыпаны были зерна разных трав. Я позабыла, для чего спускалась,— так захотелось все разглядеть и понять этот мир мешков, старых костей и паутины. Ощущалась затхлость, но не было сырости — вроде бы и не яма, а скалистая пещера. Любопытство мое пробудилось, опять я стала девчонкой и обрадовалась, что одна могу смотреть без спроса. Побежала наверх, запалила фитильную моргалку и опять спустилась. Мыши замолкли, я видела сверкающие бусинки их глаз. В одном ящике был белый порошок, в другом — сера, в третьем — желтая соль. В больших бутылях настаивалась трава. Я увидела и бутылки с водкой — их было пять или шесть, но уже не хотелось пить. Хотелось смотреть и смотреть, проникать в Токторовы тайны.

Зачем?

Если Токтор настоящий колдун и застанет меня здесь — должен убить.

А я не боялась. Ходила по большому подвалу и всюду заглядывала. Вот стоят ружья — жирно смазанные и завернутые в тряпку. Как я узнала, что ружья? Отвернула тряпку и посмотрела. Вот тяжелый ящик, забитый гвоздем,— попробовала сдвинуть и не смогла. Вот топор. Отодрать, что ли, крышку?

Откуда взялась дерзость любопытства? Скажу вам, хоть вы и не поверите,— даже дрожь унялась. Я холодным умом понимала: Кадыр с женой вернуться не могут, а если Токтор вернется и меня тут увидит... Пусть вернется и пусть увидит. Скажу, что прячусь от врагов. Или нет. Скажу, что шарил тут Кадыр, а потом, нагрузившись, уехал. Нехорошо. Так годилось лгать злому Кашкоро, но не годится Токтору. Скажу правду.

Какую правду? В чем правда?

Скажу, что санки со всем его семейством сама столкнула на ледяную крутизну. Скажу, что хохотала сова. Скажу, что я плакала и, не сделав дела, спустилась в подпол. Собиралась выпить водки, чтобы не бояться дэвов, но, увидев разные чудеса, от любопытства осмелела.

Пока так думала, глаза мои увидели в открытом мешочке крупинки зеленого золота, тысячекратно отражающего пламя мигалки. Подошла ближе и наклонилась, чтобы зачерпнуть рукой, и вдруг поняла: это были жучки или златокрылые мушки —

полный мешочек сухих зеленых мушек, сверкающих золотом. Я закричала и, уронив свет, очутилась в темноте. Я так кричала, что услышал Кумайык, а за ним и другие собаки. Они залаяли и кинулись лапами на дверь, но открыть не смогли. Выскочив в комнату и захлопнув за собой люк, села на пол и закрыла лицо руками:

— Колдун, колдун, ужасный колдун! — причитала я.

А что, если и всамделишный колдун? Может, и меня научит колдовству?

* *
*

Когда сидела на полу в полубеспамятстве от глупых мыслей и ждала, что будет дальше, боясь подземелья, а равно и гор, и леса, и солнца, когда прислушивалась, выскочит ли птичка со своим «ку-ку», не зная, что, остановив маятник, остановила и птичку, когда металась в безысходности одиночества, под сердцем у меня сильно и властно толкнулся человек.

Я не сразу поняла. Прислушалась. Он опять толкнулся, а может, перелег на другой бочок. Этим сказал: «Я здесь. Ты не одна!»

Медленно я поднялась в полном и ярком сознании.

И мне стало весело от жизни.

* *
*

Тянулся день. Не зная, когда вернется в свои владения Токтор, я все же сочла долгом готовиться к его приходу. Дочь изменила отцу, ушла с мужем, оставив на меня заботу о доме. Ушла не просто, а с обманом. Для чего? В самом деле, не лучше ли было сказать: «Аруке, нам с Кадыром невозможно тут жить. Муж оскорбил отца, отец не выдержал и показал на дверь. Пусть в споре я согласна с отцом — жить-то надо с мужем и детьми... Прощай. Увидишь отца — поклонись ему, а до его возвращения делай то-то и то-то!» Так бы поступила разумная. Я бы поплакала с ней, поблагодарила за учение и за все ее добро, благословила бы в путь-дорогу...

Сколько ни ломала я голову — постигнуть не смогла. Для чего понадобилось сперва тайно от меня сводить по тропе навьюченных лошадей, потом сколачивать санки вроде бы для веселого катания, сталкивать шубу, курджун?.. Так делают, забавляясь с детьми.

А вдруг и правда забаву придумали, чтобы обманом завлечь мальчишек? Поняв, что их увозят от деда, они бились и кричали. Пришлось связать... Так-то так, но связать можно бы и заранее, наверху, а с горы съехать спокойно... Пришло и такое соображение: зять и дочь прихватили им не принадлежащее и, остерегаясь погони, заледенили спуск. Да ведь если Токтор всамделишный колдун, пошлет вдогонку диких животных, и те опередят самых резвых коней.

Ладно, думы расслабляют, а толку не дают. Пора приниматься за дело.

Я подбросила в печь дрова, поставила вариться обед и взялась было за стирку. Тут-то и пришла новая печаль: нет воды. Проломав запруду, Кадыр спустил воду на тропу, и выше в таком ужасном холоде речка промерзла до дна. А ведь надо было не только стирать, но и напоить корову и жеребца. Пришлось им дать в ведрах снег. Пришлось и для стирки колоть в ведра лед и ставить в печь...

Об этом не стала бы упоминать. Работа меня не страшила, не страшило и то, что осталась на весь дом одна, хотя никогда без людей не жила. Дальше же было вот что. Сварилась похлебка, постиралось белье. Я задала корм животным, ходила и бегала, стараясь ни минуты не молчать: говорила и пела на ходу и на бегу. Работала горячо и сделала много, как вдруг заметила: солнце по-прежнему высоко и не прячется за гору.

От этого я вздрогнула — как же так? И тут припомнилось, что в угоду Кумайыку остановила часы. Увидев, что солнце неподвижно, я вбежала в дом, чтобы толкнуть маятник и пустить время, да так поторопилась, так сильно ударила, что маятник соскочил на пол. Птичка появилась и сказала одно «ку», и все! Обратно не спряталась.

Ах, я уже твердо усвоила из объяснений Бюбюсар, что часы и время крепко связаны, что стрелки должны ходить по кругу, как ходит по кругу солнце. И вот поднялась до понимания вещей: Токтор — колдун, часы есть у одного у него. Он, он владетель Времени и пускает его в ход при помощи часов! А я часы поломала — значит, солнце отныне будет стоять и день не кончится. Худо мне, худо. Натворила бед!..

...Вам смешно. А вы побудьте одинокими в лесном колдовском доме, где хозяин разговаривает с животными и даже с матерью Кайберена, а голуби по его приказу летят с письмами куда ему надо... А если из зеленых мух делает золото... если я сама слышала из его уст, что Время работает на нас... Работало, но я его остановила...

Опять я выскочила во двор смотреть солнце — движется оно среди ледяных вершин или остановилось навсегда. Долго смотрела. Так долго, что из ярко-белого оно стало красным, а потом растеклось по небу, как кровь. Я отпрянула и повернулась от него бежать, оказавшись на краю ледяной крутизны. И наверно бы, соскользнула, но чья-то рука схватила и оттащила.

— Что с тобой, Аруке? — спросил голос Токтора.

Его самого не увидела. От солнца ненадолго ослепла, и передо мной было пятно.

Токтор мягко втолкнул меня в дом и снова задал вопрос:

— Что с тобой?

Мог бы спросить о животных: здоровы ли, накормила ли, напоила ли? Мог бы спросить о зяте и дочери с детьми. Мог бы поругать, что поломала часы и остановила Время. Нет, спросил обо мне.

Кто я такая, чтобы занимать ум хозяина-колдуна?

Я сказала ему, что в печи обед, но не могу вынуть горшок из-за слепоты. Повинилась, что нечаянно остановила Время.

Токтор стал смеяться. Я слышала, как налил себе в плошку, потом налил мне и велел сесть за стол. Я начала прозревать, хотя и видела все в красном свете.

— Так, так! — воскликнул Токтор.— Значит, ты остановила время и проверяла, движется ли солнце? Ах, как хотели бы иметь твою силу царь и его губернаторы, наши ханы и баи.— Он долго хохотал, но при этом не забывал обедать.

Он хвалил мою похлебку и сказал, что от такой еды отогревается не одно лишь тело, но и душа. Теперь я видела спокойный взгляд его глаз и его улыбку.

Что за человек — не спрашивает о детях и внуках? Что за удивительный колдун, если даже задержка Времени его не пугает?

Утерев рот после еды, Токтор нашарил маятник на полу, повесил на место и, заглянув в окно, посмотрел солнце, передвинул стрелки, дав кукушке откуковаться.

Он сказал мне, что ездил зря: видно, Мукаш, не преодолев ночную вьюгу, вернулся в Андижан. А может, и погиб — вьюга закрыла все следы, невозможно понять, был ли конь на тропе.

Токтор говорил спокойно, будто гибель человека для него ничто. Однако слухом души я понимала — нет в нем покоя, а есть способность не кричать и не беситься.

Я не спрашивала ни о чем, боясь разбудить в нем гнев. Ждала его вопросов, но не дождалась.

Он заглянул в другую комнату, долго стоял на пороге и только один раз тяжело вздохнул.

Повернувшись ко мне, сказал:

— У тебя белье в корыте, не вывешивай во дворе, а просуши в комнате поближе к жару печи. Детей нет, у нас просторно, а я бы хотел помыться и переодеться.

Я пожаловалась, что Кадыр проломил плотину и в пруду нет воды. Для мытья придется растапливать лед или снег. Токтор на это сказал:

— Я велел ему и его жене лить воду на тропу ведрами. Но упустил, что Кадыр на своей деревянной ноге не осилит такой работы. Ничего! Запруду мы с тобой починим, скоро будет оттепель, вода накопится.

Сказав это, он опять вздохнул, а потом стал неудержимо зевать, устав с дороги.

Я выскочила во двор с ведрами, торопясь наколоть лед для его мытья. Во мне все кипело от желания узнать, что же такое было. Выходит, Токтор знал об отъезде и сам распорядился залить спуск. Он не обманут, обманута я одна, и он участник обмана. Как ни доверяла я Токтору, старые подозрения вернулись ко мне с прежней силой: отправив семью, он сделает меня своей женой. Если же и не будет этого, молва за него сделает. Рано или поздно до людей, а с ними и до Серкебая узун-кулак донесет, что мы вдвоем в колдовском доме.

Как же мне быть, как быть?

Значит, тропу заледенили, чтобы я не сбежала...

Вернувшись в дом с ведрами и поставив их к огню, я услышала, что в другой комнате храпит Токтор. Подкошенный усталостью, он уснул.

Разве могла бы я спать, если после тяжелой ночной ссоры ушли мои родные.

Холодный камень — вот кто этот Токтор. Холодный и бездушный.

На меня накатила ярость. Распрямилось железо души и подступило к горлу комом. Не боясь ничего, я подбежала к спящему и вцепилась в его плечо. Таскала, била кулаками, кричала, звала — он не просыпался. На мгновение открыл глаза и опять закрыл.

Наконец добудилась.

Он выпучился:

— Ой-е, ты с ума, что ли, сошла? Зачем бьешь старого человека? Лучше бы пожалела... Ах, готова для меня вода? Мыться, мыться! — потягивался он, стряхивая остатки сна...

Разбудить-то я его разбудила, но, когда поднялся медведь с красными глазами, спросить ни о чем не решилась.

Дождавшись в соседней комнате, пока Токтор помылся и

переоделся, я попросилась войти. Ярость моя приутихла, но железо подпирало мою голову, и я вошла смело.

Токтор, видно, понял, что я не в себе, велел сесть к столу и сел напротив. Он не был весел, но не был и грустен. Час сна и купание в корыте вернули ему бодрость.

— Вот что, Аруке,— сказал он, беря быка за рога.— Мы с тобой вдвоем, никто нас не слышит. Я тебя давно знаю, рад твоим способностям в учении, хотел бы и дальше тебя учить, но боюсь скверных слухов от скверных людей. Все, что кипит в твоей душе, все твои вопросы у тебя на лице. Я ничего не подстраивал, а получилось из-за Кадыра, глупые обвинения которого ты слышала прошлой ночью. Мог я терпеть?.. Ты отвечаешь взглядом, что не мог. Мог ли Кадыр после того, что наболтал о Мукаше, встретиться с ним? Кадыр стыдлив и отходчив. Больше скажу — смелые на войне и в мире, подобно джигитам, действуют наскоком: налетают и сразу же отступают. Кадыр хороший человек, но слишком верит своим словам. Даже тем, которые являются на свет без мысли. Потом жалеет, что наболтал пустого, стыдится, плачет, а вслед за тем стыдится своей жалкости и вновь идет в атаку... Ты слышала, что было прошлой ночью. Сгоряча, от недовольства мною, что не даю ему жить весело и прячу от него водку, Кадыр наговорил на честного и преданного мне проводника Мукаша...

Я слушала и не слушала. Почтительность не позволяла прервать старшего. Что мне были Кадыр, Дильбар, Мукаш? В страхе за себя хотела спросить: «Для чего заледенили тропу? Зачем меня пленили, оставив одну с вами?»

Догадавшись по виду моему, что пропускаю мимо ушей, Токтор сказал:

— Ладно, оставим. Будет у тебя охота и время — расскажу, что такое была моя Дильбар и чем заслужила от многих людей и память и любовь... Ты кипишь в ожидании и хочешь напасть на меня: как посмел Кадыра с женой отпустить, а тебя задержать... Вот что, Аруке. Скажу тебе, как взрослой и умной. У меня много врагов. Даже слишком много. Но друзей больше. Друзья не опасны и полезны. Однако и они становятся опасными, если теряют над собою власть. Я не мог допустить новой встречи Кадыра с Мукашем. Кадыр бы потребовал: «Отпусти меня в Андижан. Пришел проводник — отпусти меня с ним». Но как отпустить болтуна в город, где власти стремятся меня разыскать и убить? Как отпустить пьяного человека? Ты не знаешь ужаса пьянства и во что превращается болтун от водки... Ранним утром, когда ты спала, я сказал своему зятю: «В Андижане вам делать нечего, а в Пржевальске вам будет хорошо.

Пржевальск меньше Андижана, но и там есть карусель, есть пиво и водка, есть татары и русские, а среди них найдутся и фронтовые друзья. Захотите с Бюбюсар мне помогать — пришлите весточку с голубем!» Они взяли голубя?

— Взяли,— сказала я, еще не все понимая, но понемногу просветляясь.

— В Пржевальске есть школа для мальчишек,— продолжал Токтор,— немало там и торгового люда, а Кадыр человек грамотный, может заняться толмачеством. По нынешнему деревянному времени толмач везде дорог...

Я не выдержала и прервала Токтора:

— Не сердитесь на меня. Слышу, что все хорошо и всем хорошо. А что же я? Я-то что?! Зачем меня задержали и заледенили против меня тропу?

Токтор помрачнел:

— Ты дура, что ли? Не против, не против тебя, а против врагов моих, которые, прискакав в отсутствие хозяина и застав одну, схватили бы и увезли. А так им не подняться...

И опять у меня вырвалось:

— А зачем же зять ваш и Бюбюсар от меня-то скрыли? Для чего обман, если так просто объяснить?

Токтор горько рассмеялся:

— Таков мир, Аруке, таковы люди. Ты молода еще и неопытна... Я не велел скрывать... но... знал, что скроют: способен ли такой, как Кадыр, говорить прямо? В его прямоте ищи хитрость. Он и жену свою — дочь мою Бюбюсар — обучил скрытности и обходным приемам. Кадыр — городской базарный человек и видит ум в хитрости. А теперь вот что. Я вернулся и могу не только тебя отпустить, но и провожу куда захочешь. Стремишься уехать? К кому? К родителям или к Серкебаю?

Вот, значит, могу уехать... К кому же я хочу? Об этом не думала и не готова была к ответу. Смутилась:

— А как к Серкебаю? Где Серкебай?

Токтор покачал головой и усмехнулся:

— Есть, есть, существует твой Серкебай. Где он, мне тоже известно. Другое дело — какой он. Был человеком достойным, хотя и натворил глупостей. Люди меняются, Аруке. В деревянное время легко деревенеют — до их душ не доскребешься.

— А что такое деревянное время?

В тот вечер Токтор ответить не захотел.

— Тебе нелегко объяснить. Потерпи до утра. А сейчас ложись и смотри сны, дочка.

Он меня дочкой назвал.



Глава третья,

в которой Аруке становится капризной и несносной, отчего сама же и страдает. Выслушав рассказ Токтора, она ожесточается и вновь обретает силу и мужество. Вдвоем они решают скакать на помощь невинно осужденному.

В доме Токтора висело на стене зеркало в раме. Такого не было даже у Макмал. Я в него беспрепятственно смотрелась и заметила, что в последнее время сильно пополнела и разрумянилась. С отъездом Бюбюсар зеркало пропало: значит, она увезла.

В эту ночь, как и в прошлую, сердце мое сильно стучало, и в голове творился беспорядок. Я опасалась, что Токтор, овдовевший более года назад, подождет, пока усну, и окажется со мной под одеялом.

Разве не знала, что горный колдун хороший человек и добрый? Разве не знала, что порядочный? Перед тем как велел идти спать, назвал меня дочкой. Он ласково сказал и погладил по плечу. А я по своей подозрительности додумалась, что нарочно успокаивает родственным словом. По возрасту я годилась ему не то что в дочки — подходила и во внучки. Однако помнила: старые мужчины, если у них хватало богатства, брали себе и шестую и седьмую жену. Моя мама была у старого Салеха шестой. И когда расцвела, он стал брать ее в постель. Салех был плохой и злой, а Токтор нисколько не зол. Но кто сказал, что добрые и ласковые не замечают красоты молодых женщин?

Утром, после ночных снов, мне захотелось посмотреться в зеркало. Токтор меня не тронул, он храпел с дороги, но ведь мог и проснуться. Зато я во сне увидела Серкебая. Он подошел к ледяной тропе и разулся, чтобы горячими босыми ногами пробежать скользкий путь и найти меня под одеялом. Он бежал и пел, и глаза его горели красными углями любви. Я подумала: если б стал за это время деревянным, от жара очей весь бы вспыхнул, как сухое полено.

От мудрых людей я слышала, что в снах мыслей не бывает, а только видения, в которых все и всегда движется и действует.

Во сне можно убегать и за кем-нибудь гнаться, сопротивляться или терпеть, можно говорить и кричать, но нельзя молча думать. Я, наверно, отличаюсь от других: во сне много думаю. Конечно, если мысли путаются и одна отталкивает другую, а глаза полуоткрыты, вполне возможно, что не спишь, только воображаешь себя спящей.

Чем кончилось у меня с Серкебаем? До меня не добежал. Я проснулась в горячем поту, но успела прошептать, что мы тут в доме не одни и чтобы он обождал меня трогать. Я сообщила ему, что во мне от него младенец. Я повинилась Серкебаю, что о матери с отцом у Токтора не спросила, а сразу же вспомнила его. Глаза Серкебая потухли, и сам он пропал, а вместо него принялась куковать деревянная птичка, запищали мыши и залаяли собаки.

Потом я стала думать в полусне — хороший я человек или плохой. Филин с ветки сказал, что я д о ч ь колдуна; оживший бабырган пожаловался, что растерял своих детей и с той поры, когда я в день своей первой свадьбы его спасла, он ждал, что освобожусь от мужа и пойду к нему в дочки; Кумайык жалобно скулил: «Если б ты была доброй колдуньей, превратила бы меня в человека. Для этого существуют в мешочке золотые мухи. Разотри их и скорми мне. Пятнадцатилетний пес стар, а пятнадцатилетний юноша может ускакать с тобой и сделать счастливой!» Я думала. Это были мои ночные мысли. А утром, проснувшись раньше Токтора, побежала к стене, желая увидеть себя при свете, идущем из печи.

Но вместо зеркала и себя в нем увидела пыльные бревна-стену, ограждающую от мороза и от всех людей, живущих в мире. Тут-то я и посмотрела на деревянные ходики и прислушалась к их тиканью. Мне хотелось увидеть, как идут по кругу стрелки, приближая нашу встречу с Серкебаем. Мне хотелось расспросить живущую в деревянном ящике деревянную кукушку, много ли осталось до счастья с любимым. Но тут рядом со мной оказался Токтор. Он подошел босыми ногами по гладкому полу. Я его не слышала, пока не появилось на моей щеке его жаркое дыхание.

Не поворачивая лицо, я сказала:

— Отец, ты обещал мне Серкебая. Ты сказал, что он от времени мог одеревенеть. Пусть будет деревянный, но без него я не могу.

Вздохнув, Токтор отошел от меня.

Отойдя, стал натягивать рубашку. Потом я слышала, как, тяжело кряхтя, наклонился за сапогами. Я поспешила пододвинуть к огню горшок с похлебкой и побежала доить корову.

Пока доила, небо посветлело, но солнце из-за горы еще не вышло. Сильно выл ветер. В горах всегда по утрам ветер: солнце прежде всего прогревает низинные плоские земли, и холодный воздух ущелий стремится к ним. Это знает каждый киргиз и, если надо ему в лес по дрова, собирается до восхода. А потом попутный ветер подталкивает его с ношей в сторону дома.

Я задала корм овцам и лошадям. Токтор ездил на встречу к Мукашу, оседлав кобылу. Она устала и только скосила глаз на сено, а есть отказалась. Ее голова лежала на шее жеребца, он тихонько ржал, довольный кобыльей лаской.

Только что я сказала, что Токтор ездил на кобыле. Многие киргизы его бы за это стали презирать: настоящий джигит кобылу не седлает и на ней не ездит. Но кобылы в труде и беге не уступают жеребцам. Токтор не делал между ними различия, а на людское мнение смотрел снисходительно.

Мои мысли были о Токторе. Я догадывалась, что в мудрости своей он понимает, что как мужчина для девочки стар. И не могло от него ускользнуть, что, назвав отцом, я ставила ему преграду, а попросившись к Серкебаю, хочу тем самым покинуть его старого одного в горах, где ему без помощницы будет плохо. Жестокость моя должна была поселить в сердце Токтора печаль, но, сильный добротой, он не захочет нарушить обещания. Я спросила себя: неужели брошу старика и позволю ему делать всю женскую работу? И вдруг развеселилась и выбежала во двор, зажегшись новой и светлой мыслью.

— Отец, отец! — кричала я и бежала ему навстречу. Он как раз выходил с крыльца уже одетый.— Отец! — повторила я, понимая, что слишком часто его так называю и этим могу рассердить.

— Что, дочка?

Он не глядел на меня, а глядел в синеющее небо, где барахтался, борясь с ветром, сизокрылый голубь.

— Я придумала! — заглушая восторгом смущение, кричала я.— Пусть Серкебай придет сюда, к нам. Не хочу покидать вас, а он родственник Батыркула — ему здесь со мной и с вами будет не страшно. Он сильнее и лучше Кадыра — станет вам добрым помощником в охоте! — Я трещала как сорока и не могла понять, почему старик не отвечает.

Он смотрел в небо.

Голубь против закона птиц летел не по ветру, а навстречу ему. Он поднялся выше обычного и попробовал сделать круг над домом, чтобы спуститься, но его опять отнесло.

Тогда появился в небе дикий беркут, а за ним и второй. Оба вылетели в неурочный час из высоких своих гнезд и устремились за голубем.

Токтор вбежал в дом и вернулся с ружьем.

Голубь терял силы в борьбе с ветром. Его несло все дальше, с подветренной же стороны за ним гнались беркуты.

Свора собак следила за движением ружья.

И вот раздался выстрел. Подбитый голубь упал в лесу, и собаки побежали его искать.

Беркуты недовольные возвратились в гнезда.

Голубь не был диким — я это видела. Он был из нашей стаи и возвращался домой. Меткость выстрела меня поразила. Но при такой меткости не лучше ли было убить беркута, а голубя оставить жить? Зачем Токтор застрелил добрую птицу, а хищную отпустил?

Я обиделась на Токтора.

Собака принесла к его ногам серо-голубую, истекающую кровью птицу.

Я узнала голубя: он вчера бился в клетке, которую увезла Бюбюсар.

Токтор присел и снял с лапки мертвой птицы бумажку.

Сидя на корточках, он читал.

«Не буду жить с этим противным стариком!» — подумала я в злости.

Токтор стал мне говорить: ему и самому досадно, что пришлось убить хорошего своего гонца. Не поборов ветра, голубь был бы занесен далеко. Беркут бы его догнал, а догнав, унес в свое гнездо. К тому же беркутов было два. Если б даже и подстрелить одного — другой бы догнал голубя.

В письме оказалось важное сообщение от Бюбюсар. Какое — Токтор не сказал. Я видела: он заряжает ружье не дробью, а пулей. Между делом Токтор объяснял, как действует голубиная почта. Но не успел досказать, как я стала просить послать другого голубя за Серкебаем, чем вызвала у старика снисходительный смех. Не узнав причины его смеха, я опять обиделась. В те дни я часто по-глупому обижалась. Мне снова подумалось, что, желая понемногу приучить меня к себе, не хочет видеть в своем доме Серкебая как моего мужа.

Слышите, сколь своекорыстна была моя душа. Думала о себе и о своей любви — больше ни о ком и ни о чем. Даже не задалась вопросом, что́ сообщают моему хозяину Кадыр и Бюбюсар. Я за голубя больше переживала, чем за них. Такова была раньше с

матерью и отцом, а теперь с ними. Зато Серкебая выкинуть из головной и телесной памяти не могла.

Я видела — Токтор жалеет меня. Должен бы изругать за глупые обиды, за невнимание и за бесконечные мольбы о Серкебае. Вместо этого по-доброму улыбался. Сказал, жалеет, что я глупа:

— Ты говоришь первое, что приходит на ум, не спросишь себя — не лучше бы раньше, чем сказать, еще и еще подумать. Умея кроить и шить, неужели не слышала пословицы: «семь раз отмерь, а потом отрежь»? Объясняю тебе, как действует голубиная почта, а ты просишь отправить голубя за Серкебаем. Пойми: голубь не летит куда прикажут, но возвращается домой от того, кто его увез...

Я не хотела понимать и твердила свое:

— Серкебай умеет охотиться, он сильный и ловкий, будет вам послушным помощником...

— Значит, подай тебе Серкебая, а домой не хочешь? К матери и отцу не хочешь?

— Так ведь они...

— Что они? — оборвал меня Токтор.— Не заменят тебе Серкебая? Это хочешь сказать?

— Родители примут меня хорошо, порадуются надо мной и поплачут. Но ведь потом опять примутся подбирать мне мужа. Так ведется с давних пор: молодуху в покое не оставляют... Серкебаю меня не отдадут. Против этого восстанет весь кыштак. Серкебай убил Жайнака, он другого рода, он...

Чтобы окончательно разжалобить Токтора, я заплакала.

Тогда старик показал свой нрав:

— Перестань реветь. Надоело! — Со злости он плюнул.

Что ж, я прекратила слезы, и сразу же во мне явилось железо упрямства. Токтор что-то рассказывал, я слышала, понимала каждое его слово, но понимать не желала. Правду скажу: была уверена, что старик дрожит надо мной — я ему желанна. «Сколько бы ни капризничала, простит». Так я думала.

Он говорил, что Бюбюсар собиралась отправить голубя из далекого Пржевальска, куда по зиме две недели пути. Но, узнав важные новости, отправила из Кочкорки:

— Такие творятся дела, при которых надо забыть любовные и своекорыстные думы, а вместо этого готовиться к нападению!

Я надула губы и сказала:

— Ну и нападайте, если вам надо!

— Дура! — закричал он.— Не я и не ты будем нападать, а хотят напасть на меня в моем доме.

На что я ответила:

— Мне все равно. Так и так нет у меня жизни. Отец моего

ребенка где-то в неизвестности, и вы не желаете нас соединить. Пусть я дура, но и вы поступаете нечестно: сказали, что знаете, где Серкебай, обещали с ним соединить, но, обозвав деревянным, отказываетесь выполнить обещанное. Догадываюсь, почему так делаете...

С этими словами я отошла, принявшись кое-как за домашние дела, не обращая внимания, что старик топчется по двору мрачный и злой. Молча накормила его обедом. Швыряла на стол, ожидая с нетерпением, что сейчас ударит. Если бы ударил — я бы оказалась права и стала бы ему кричать, что он такой же, как Кашкоро, бай и свирепый зверь, не знающий пощады, что Кадыр его разгадал...

Мало ли что я могла высказать в своей упрямой и капризной злости. Потеряла благодарность, стала строптивой и мелкой. Мое железо не стержнем жило во мне, а колючими стружками...

...Когда-то, дорогие мои, в начале первого своего рассказа я говорила вам, что капризничала с отцом и матерью в ночь моего отъезда. Уверенная в их любви ко мне и вине передо мной, я хныкала и отворачивалась. Позднеее часто видела: жены, любимые мужьями, поступали также — разрешали себе капризы, придирки, пустые слезы. А нынешние дети, не знающие нужды и голода, до того доходят, что падают на землю и орут, взбрыкивая ножками. Глупые родители их нежно обнимают и успокаивают, когда лучше бросить и отойти или серьезно приструнить. Но какое может быть сравнение моих капризов перед Токтором с отношениями родителей и детей? Пусть бы он и правда полюбил меня как родную дочь или как мужчина. Тут дело не в нем, а во мне.

Присмотритесь внимательно к той беременной девчонке, которой было едва шестнадцать лет, а может, еще и не исполнилось. Как хотела свободы, как бунтовала для свободы и как ее истолковала!

Меня не понукают, и я свободно хожу и делаю, если хочу. Меня не бьют и не истязают — значит, любят. Выходит, что желают моей любви. Дочерней или женской — не все ли равно. Я с ним одна — нет ни жены, ни родной дочери, ни внуков — только я и осталась у него для радостей общения. У меня рождаются желания и хотения. Где же свобода, если хотенье не удовлетворяется по желанию? Свобода — это мое счастье. Мое, мое, больше ничье! И пусть тот, кто любит, делает, как я хочу.

А старик мне говорит, что на него собираются напасть. Твердит, что надо оставить своекорыстность во имя чего-то и кого-то. Вот еще! Что мне эти другие и что я им...

Скоро услышите, какой я получила урок. После того урока и до нынешнего времени повторяю: любовь опасна. Не только любовь женщины к мужчине и мужчины к женщине, но и любовь к ребенку; даже любовь к животному.

Она как порох, сгорающий во мгновение. Сгорающий и опаляющий неумело и безмерно любящего, а еще больше любимого. Но любовь, как и порох, может быть полезной, отваливая глыбы и расчищая путь.

Я и раньше, говоря с Бюбюсар, кляла живущее во мне своекорыстие, сознавая, что забыла думать о народе аила. Ну и что? Телесный ум все побивал и загонял в дальние кладовые души.

* *
*

В час заката, после обильного снегопада под горой появилось двое важных на красивых конях — волостной бий Айдыралы в черном чапане на меху и в богатом тебетее, а рядом с ним мулла, о котором из прежнего моего рассказа известно, что он сотворил обряд моего венчания с малолетним Белеком.

Позади них, сидя боком на мохнатых лошаденках, жались друг к другу три джигита нашего рода.

Токтор мне приказал спрятаться за куст и сам до времени держался у дома.

Был стук подков, потом брань, а потом голос муллы завопил:

— Токтор, а То-октор!

Накинув для свирепости вида медвежью шубу и спрятав под нее ружье, Токтор вышел к верхнему краю заледенелой тропы.

— Ток-то-ор! — по-другому затянул мулла.— Расколдуй гору, мы не можем к тебе подняться.

Освещенный закатным солнцем, могучий Токтор в ответ рассмеялся, а потом зычно произнес:

— Нет бога, кроме бога и Магомета, его пророка! Все сотворяется милостью его, и я стою на горе под защитой божьей. Мне вы не нужны, если же я нужен для чего-нибудь вам, понукайте резвых своих коней, дайте им шпоры!

Тогда вступил в переговоры бий — выборный судья, которого каждый киргиз нашей волости обязан был бояться.

Он состоял из сплошного жира, прикрытого черной одеждой. Лошадь ему подводили сильную и широкую в кости, способную выдержать тройную тяжесть против обычной. Голова, прикрытая куньим тебетеем, держалась на плечах без шеи. Джигиты нередко спорили меж собой, можно ли клинком срубить такую

голову, не задев жира спины; охота к расправе над ним жила в девяноста девяти из ста.

Эта бочка на коне изрыгнула проклятье и повелела Токтору именем закона сообщить местонахождение убийцы Кашкоро Бекмергена:

— Я достану тебя не то что с этого пригорка, а с любой ледяной вершины. Не вздумай играть со мной! Под моей властью вооруженные джигиты, и стоит мне поднять палец, они взлетят и схватят тебя.

На это с поклоном ответил Токтор:

— Достопочтенный и мудрый, я плохо слышу тебя и почти не различаю. Отсюда, ввиду расстояния, ты кажешься мне букашкой, хотя голос твой подобен дальнему грому. Если ты и правда судья, разве не знаешь, что власть имущие обращаются к подчиненным и подданным не снизу, а сверху. Когда приезжает ко мне болуш — сажаю его на почетное место и слушаю, как повелителя...

Пока шел разговор, я сперва боялась, что буду обнаружена. Потом гордиться начала Токтором, дерзостью отвечавшим на угрозы облеченного правом не только наказывать, но и лишать жизни любым доступным способом. Гордость за Токтора горячила меня. Хоть и против солнца, но я смотрела вниз, а внизу никогда и никто еще передо мной не копошился.

Хочу другое сказать вам, дорогие мои. Проверьте на себе, как вспыхивает память, как способна поднять и возбудить до ярости. Сперва я сказала себе: «Вот мулла, силой связавший меня с Белеком. Бойся его». Потом, послушав Токтора, наполнилась к мулле ненавистью и презрением. Потом желанием мести и едва ли не убийства. Вслед за тем, глянув на жирного бия, я внезапно просветилась памятью давних, младенческих своих, кривоногих лет. «О аллах!» — закричала моя память, и я увидела, как наяву, содеянное жирным всадником над моим отцом. В голодный год, лютой зимой, к нам зачем-то прискакали волостные джигиты, главным над которыми был вот этот самый Айдыралы. Теперь понимаю — жирный Айдыралы приехал собирать налог или местную подать. А у нас оставалась одна только овечка, которую я любила и потому ее не резали. Жирный стал эту овцу забирать, а я заплакала. Я безутешно рыдала, и народ кругом кричал, но волостные охранные джигиты не хотели ничего слышать. Они всех разогнали плетками. Тогда бедный мой отец вошел в неистовство и вырвал животное из рук жирного. Жирный во мгновение свалил моего отца. Свалил моего отца наземь и прыгнул на его грудь всем своим весом, отчего из горла моего родителя хлынула кровь. Жирный был

доволен и хохотал. К нам на защиту кинулся народ. Началось побоище, началась общая свалка, где и меня придавили. Вдруг все исчезло. Как поленья лежали на земле тощие люди нашего кыштака, а жирные с отобранными овцами скакали на своих конях прочь...

...Это воспоминание вспыхнуло во мне через много лет. И я возненавидела бия, который тогда еще и бием, наверно, не был, а всего лишь сборщиком податей... Я его возненавидела всем кипением души вдесятеро сильней, чем муллу. Хотя мулла обижал меня, а нынешний бий обидел отца и народ, его защищавший.

«О аллах!» — вскричала я и нагнулась к земле за камнем, чтобы кинуть в жирного бия. На счастье, камень примерз, и я его не успела оторвать от земли. Токтор все понял и так глянул на меня, что я не посмела больше сдвинуться с места.

В то же мгновение джигиты по приказу бия погнали своих коней на ледяную тропу, укрытую снегом. Там уже были следы копыт и полосы от их скольжения. С гиком и свистом помчались джигиты на гору, но с трети тропы съехали обратно. Одна лошадь упала и придавила седока, и он, стеная и охая, с трудом выбрался, но тут же покатился на спине.

— Э, Токтор, ты кончишь плохо! — завопили бий и мулла слитным голосом.

— Приезжайте с болушем, и я расколдую гору,— ответил Токтор.

— Болуша Тентемира скоро переизберут,— ответил бий.— Теперь его покровительство тебя не спасет.

— Тогда передайте военному губернатору, для которого я стреляю горностаев и соболей, что не выполню его заказа.

Мулла и бий стали между собой неслышно переговариваться и вдруг обратились к Токтору с мирной речью.

Мулла спросил:

— Верно ли, что беглянка Аруке в руках разбойника Бекмергена?

— Правду ли говорят,— спросил жирный бий,— что на выборах болуша ты силой своих связей станешь поддерживать Тентемира?

— Слушайте, вы! — ответил Токтор.— Если б сразу пришли без угроз, как приходили раньше,— расколдовал бы для вас гору и пустил в свой дом. Я раньше вас знаю ваши мысли. Хотели разграбить мой дом. Взяли вперед трех джигитов, а двадцать прячутся за ними. Уйдите, или напущу на вас всех зверей леса!

С этими словами он засвистел страшным своим свистом, и

огромными скачками приблизился к нему приученный барс и, рыча, лег у ноги.

Джигиты, не слушая увещеваний бия и муллы, круто повернули в обратный путь.

Бий же и мулла, давно зная, что барс ученый, сдерживали своих коней и пытались продолжать переговоры.

— Дай мне три шкурки куницы,— сказал мулла,— и я забуду о тебе.

— Брось мне мешочек с золотыми мушками и бурдючок с желчью быка марала! — попросил бий.— Я женился! — крикнул он.— Моей младшей женой стала Мейиз, и мне нужна твоя помощь в любви к молодой. Неужели я тридцать верст по морозу ехал без толку. Мир, мир, обещаю тебе мир между нами!

Токтор не успел ответить. Барс поскользнулся, сперва поехал по льду, а потом скачками понесся дальше. За ним сразу же кинулась с лаем вся свора собак. Мулла и бий повернули в ущелье и дали шпоры своим коням.

Взмахнув на прощанье камчой, бий крикнул:

— Берегись, Токтор!

— Бере-гу-усь! — отвечал Токтор всей силой своего голоса и так расхохотался, что скалы шевельнулись в основаниях своих, а верхушки деревьев закачались, как от бури.

* *
*

Буря в горах не может начаться без причины. Но как причину распознать и найти? Из рассказов родного своего отца я помнила: в гневе против людей аллах насылает на них мор, бурю, камнепады и многоструйные ливни. Владения аллаха — небо и вся поверхность земли. Он может шепнуть простой красношерстой лисичке: «Взмахни хвостом!» Она взмахнет и даст сигнал буре. Аллах может приказать орлу: «Очерти круг над лесом!» Орел послушается — и все деревья, кусты и травы в очерченном круге ветер вырвет с корнем и свалит в кучу, как для костра... Иное дело шайтан. Стихия и место шайтана под землей. Недовольный людьми или зверями, шайтан и сулаймановы дэвы трясут землю и рушат скалы. Шайтан способен покрывать землю большими трещинами, поглощая аилы и города, захватывать в подземные глубины реки и озера или порождать новые. В иных местах шайтан плюется пламенем и зловонной огненной жижей. Сила его плевков так велика, что зажигает небо, подпаливает крылья господних ангелов, и они, разлетаясь, рождают громы и долгопламенные стрелы молний.

Токтор расхохотался, и началась буря. Снега леса взвились крученым столбом вместе с многими елями. Столб шел сперва вверх, как бы желая захватить солнце, но красный шар успел спрятаться за горой. Тогда столб повернул по следу муллы и бия, скакавших от нашей горы, но я не могла увидеть, достиг он их или рассыпался, не покарав за грехи и бесконечную злобу их душ.

Буря длилась недолго, я успела укрыться. Наш дом не пострадал, но двор был весь завален сломанными ветвями деревьев, шишками и старыми вороньими гнездами, которых оказалось у нас видимо-невидимо; они, как черные чалмы, катались по гладкому пространству между кузницей и крыльцом дома.

Я не знала, с кем вступил в союз мой хозяин Токтор — с аллахом или с шайтаном. Но если взмахом хвоста красношерстой лисички может начаться буря, почему хохот колдуна не годится для этого?!

* *
*

В горах с закатом солнца быстро темнеет.

— Запали лампу! — велел мне Токтор. Он что-то делал при свете огня из печи.

— Керосиновую лампу? — спросила я, вся дрожа от не унявшегося после бури страха.

Он в ответ кивнул.

Я знала, где стоит лампа со стеклом, и умела ее зажигать. Точно такая была у Кашкоро. Сберегая керосин, он только для важных гостей вешал ее посреди юрты. За время жизни у Токтора ни разу не светилась лампа. И это было понятно: керосин в такой глуши считался драгоценностью. Его привозили купцы из далеких городов.

— Керосиновую лампу? — переспросила я, не зная, верить ли его словам.— Вы ждете к ночи гостей?

Раньше говорила вам — женщина не должна была задавать вопросы мужчине. Тем более хозяину дома, старику, аксакалу. Однако Токтор мне давно разрешил. Даже приказывал: «Спрашивай, спрашивай обо всем, иначе останешься темной. Спрашивай — любой из нас тебе ответит». И вот сейчас в ответ на мой переспрос он с сердцем воскликнул:

— Делай, что велят, и поскорей!.. Проклятье! — завопил он и швырнул на стол нож.

Тут только я заметила, что голова его в крови.

— Что с вами, отец? — вскрикнула я в испуге.— Вы ранены? На вас упала сломанная ветка?

Токтор вскочил, снял с полки лампу, запалил фитиль, ловко надел стекло. Комната озарилась ярким светом.

Тут только я поняла: старик брил голову. Перед ним стоял прислоненный к кувшину осколок зеркала.

Постаравшись овладеть собой, он сказал:

— Аруке. Ты не должна быть здесь, когда я бреюсь... Проклятье! — вскрикнул он опять.— За многие годы я отвык от ножа. Узбеки бреются ножами, поливая голову водой, а я в Сибири привык бриться с мылом. Напрасно тебе говорю — все равно ничего не поймешь. Но не говорить не могу. Нужно многое тебе сказать и объяснить. Сядь за стеной в другой комнате и слушай. Времени мало, я тороплюсь...

— Какого времени? — спросила я, прячась за стеной.— Деревянного или железного? Или есть еще какое-нибудь время. Вы говорили когда-то «наше время»...

...Вам, дорогие мои, может показаться, что я подсмеивалась над стариком. Нет, чувствовала, что надвигается беда: это было слышно по его голосу. Помните, перед приходом бия и муллы прилетел голубь с известием от Бюбюсар? А потом я капризничала, желая поскорее соединиться с Серкебаем.

Теперь Токтор говорил, что мало времени, а я и правда не могла по торопливости его речи постигнуть, чего от меня хочет и какого времени ему мало.

Токтор, хотя ему было и не до того, рассмеялся:

— Помню, помню — пообещал тебе рассказать, как понимать деревянное время. Это значит — время глухое и дикое, когда народ не способен сопротивляться топору владык, когда закон в руках такого вот бия и он может зарубить, кого вздумает. Невинный будет стоять под его топором, как стоит карагач, или ель, или осина, которая одна из всех деревьев умеет хотя бы дрожать листьями... Аруке! Ты меня слушаешь?

— Я вас слушаю,— отвечала я из-за стены, дрожа подобно осине.

— Понимаешь?.. Если что будет непонятно — спрашивай. У нас еще есть часть ночи. Луна сейчас поздняя, а совсем без света ехать нельзя... И нельзя уезжать, если ты чего-нибудь не поймешь. Иначе погибнешь. Ты понимаешь?

— Понимаю, что погибну... Можно, я спрошу?.. Хочу вас спросить — почему, имея ружье, заряженное пулей, не застрелили бия или муллу? Пришли к вам, как звери, а вы... вы отпустили их с миром. Даже барс догадался, что это враги, и погнался за ними... А вы, вы только бурю послали, чтобы

напугать. Их не напугаешь, а нужно истреблять и рубить, как и они делают с нами.

Продолжая бриться и время от времени покряхтывая от боли, Токтор отвечал:

— Аруке! Что делать с тобой? Как проверить твою голову и научить пониманию вещей? Я вижу — ты боишься меня, как колдуна и как мужчину, думая, что не везу тебя к Серкебаю, желая завладеть, как женой. Было это в твоей голове или нет?

— Было,— призналась я.

— Я тебя дочкой назвал, и все-таки было?

— Да... Но я прошу объяснить, почему не застрелили бия, а вы не ответили. Почему оставили жить муллу? Он соединил меня с Белеком, а теперь злобного Айдыралы с моей подружкой Мейиз. Что она должна испытать от такого! Я в ужасе, отец. Бий хуже бая Кашкоро... Не могли застрелить потому, что в ружье одна пуля, а их двое? Тогда уничтожили бы их силой колдовства...

Видите, на что осмелилась я, хотя и тряслась в страхе. Токтор спешил, он собирался уйти, а я о себе не спрашивала — так хотелось понять его поступки и кто он. Для чего держит ружья в подполе, а сам не стреляет врагов? Для чего ему золотые мушки, если они служат злодеям против девушек и женщин?

Токтор попал в затруднение. Стал клясться, что не колдун, а самый обыкновенный человек. Бурю не вызывал и не умеет вызывать. Но бывает и так, что стихия нечаянно является на помощь добрым или, как было в день моей свадьбы с Жайнаком, злым...

— Значит, вы добрый? — спросила я.

— Смотря для кого,— ответил Токтор.

— Для меня добрый?.. Не отвечайте, я знаю — для меня вы очень и очень добрый. Но тогда почему не уничтожили хотя бы только бия? Я сегодня вспомнила — он плясал на груди родного моего отца, он мучил народ, отбирал последнее...

— А ты, если бы владела ружьем, выстрелила бы в бия?

— Научите — и выстрелю! — закричала я.

— Научу,—сказал Токтор.— Клянусь, научу!

После чего я вбежала в комнату, где был он,— так хотела поблагодарить за обещание. Могла даже поцеловать, как отца, или же лизнуть в лицо, как делал со мной пес Кумайык. Я без разрешения вбежала в комнату и... увидела другого человека: Токтор не только побрил, как полагается мусульманину, голову, но сбрил и бороду.

Это меня напугало.

Потому напугало, что черные и седые, слипшиеся от мыла

волосы валялись на столе и на полу. Токтор не собрал их, и многие могли потеряться. Я кинулась их подбирать и говорила:

— Хорошо еще у вас в доме деревянный пол, а не земляной. Каждый волос, упавший на землю после бритья, рождает в земле опасное, пьющее человеческую кровь насекомое. Как же так — вы колдун, а этого не знаете?

Токтор рассмеялся:

— Вот видишь, ты и сама подтвердила, что я не колдун... Ладно, брось волосы в огонь печи, а потом внимательно посмотри на меня.

— Волосы — в огонь! — воскликнула я в ужасе.— Ни в огонь, ни в воду человеческие волосы бросать нельзя.

— Что же с ними делать? — развеселившись от моих слов, спросил Токтор.— Уж не прикажешь ли проглотить? Кто научил тебя подобным премудростям?

— Учила мать, учил отец, а потом втолковывала свекровь. Один раз так избила за потерянный волосок, что я на время оглохла.

— Куда ж их девать? — все еще смеясь, спросил старик.

Я была недовольна тем, что он смеется над серьезным делом. Но все-таки рассказала, что мать моя Асыл копила их в мешочке, а весной шла в лес и вешала на ветку, за что ей были благодарны птички, которые вьют гнезда наподобие рукавиц. Они хватали волосы из мешочка и бережно несли в клюве на ту ветку, где хотели строить гнездо. Но мой отец, а потом свекровь, как люди из другого рода, считали, что нужно относить в муравьиную кучу.

— А почему жечь-то нельзя? — не унимался Токтор.

— Потому, что каждый сгоревший волос на день укорачивает жизнь. Смотрите, отец, насколько бы вы ускорили свою смерть, когда б я бросила в печь сбритые волосы!

Токтор, довольный, ухмыльнулся:

— Вижу, не хочешь скорой моей гибели. Что ж, делай посвоему, смерти не ищу, и дел у меня впереди еще много... А теперь огляди меня: можно ли узнать Токтора?

Он оставил усы. Черные, как крыло галки. Он стал моложе на двадцать лет, и никто бы не назвал его аксакалом. Но доброта с лица ушла, стал виден белый оскал зубов с одним только желтым клыком. Калмыки, которые бывали в гостях у бая, говорили, что люди с белыми до старости зубами в предыдущей жизни были волками, белизна зубов которых не сходит до самой их смерти.

Этого я не сказала Токтору. Но мне трудно стало называть его отцом. Потупив взор, проговорила:

— Теперь вы много моложе и красивее, но Серкебай все равно лучше.

Видно, сказав так, сильно уколола Токтора. Он замолчал надолго. Я накрыла на стол для ужина, считая, что пора поесть и ложиться спать. Ничем не показывая, что по-прежнему его остерегаюсь, я ходила к печи и обратно спокойными шажками. Он все молчал. И вдруг тяжело опустил кулак на стол, отчего я вздрогнула.

— Аруке! — воскликнул он низким голосом.— Можешь ты слушать без мыслей о Серкебае и без сравнений с ним?..— Я кивнула.— Мне нужна помощь твоя в важном для народа и для справедливости деле. Еще раз спрашиваю: изменился ли я настолько, чтобы люди моего народа меня не узнали?

— Если в лицо не узнают, узнают по всаднической посадке. По лошади узнают и по ружью.

— Я сяду на жеребца Кашкоро, а ружье возьму из запаса, который ты видела в подполе; всадническую посадку изменю, шубу надену другую.

— А ваш собственный запах? Куда вы его денете?

— Ах, черт, ты права! Но я близко не стану подъезжать. Собаки, если и узнают, сказать не смогут, а среди людей не так-то много способных к тонкому обонянию.

— Если будет, как вы сказали,— вас не узнают. Но как осмелитесь въехать в наш кыштак на жеребце Кашкоро? Вас растерзают, как убийцу бая.

Токтор подумал и сказал:

— Если все будет в согласии с замыслом, не растерзают. Ты встанешь рядом и защитишь меня.

От этих слов я обомлела. Глянула быстро в его глаза и увидела, что не шутит. Не только это уяснила из его взгляда, но еще и то, что сбрил бороду не для того, чтобы омолодиться. До меня дошло, что Токтор действительно хочет от меня помощи и защиты, нуждается в этом, верит мне, надеется на меня.

— Мне железо твоей души нужно,— сказал, впиваясь глазами, Токтор.— Железо против бия и против бая. Если поклянешься, что будешь делать, как я скажу,— сейчас же стану учить...

— Стрелять из ружья? Будете учить ночью? И я смогу попасть в бия, сразить его пулей?..

— Не спеши, Аруке,— ответил он.— Ружье я тебе дам, и ты повесишь себе на плечо. Я переодену тебя, станешь джигитом. Поняла? А потом откроешься перед людьми, как Аруке. Согласна?

— Этим защищу вас от расправы? — Во мне возликовала

душа, и я воскликнула: — Клянусь делать все, как вы прикажете! Клянусь не щадить своей жизни!

Токтор сказал:

— Верю тебе. Я не о себе хлопочу. Мы должны спасти невинно осужденного и научить народ справедливости. Теперь садись и поешь. И пока будешь есть, я все тебе объясню и расскажу, а потом ты поспишь. Под утро, когда деревянная птичка прокукует четыре раза, мы с тобой поедем на конях обходным путем.

* *
*

Я поклялась, подобно тому как клялись на крови черного барана джигиты нашего аила, когда Кашкоро звал их мстить за убийство Жайнака. Загорелась местью против бия и желанием помочь Токтору. Тут же мне вспомнилась ночная птица бабырган, которую я спасла от огня и выпустила над темным лесом в ночь моей свадьбы. Через два года, в ночь моего бегства, она мне отплатила добром за добро — загасила крыльями костер, чтобы не заметила меня погоня. Если в благодарность за помощь готова идти на смерть птица, неужели я хуже?! Неужели могла забыть, что Токтор со своим ружьем встал против могущественного Кашкоро и с той поры свекор не истязал меня камчой?.. Когда я убежала, Токтор взял меня в свой дом, избавив от мучений жизни с Белеком и от ложных обвинений в убийстве Макмал. Вытерпев долгую мою болезнь, он дал мне окрепнуть; всю осень и половину зимы кормит, поит и одевает; он дал мне тепло и кров, он велел дочери своей Бюбюсар учить меня грамоте. Наконец, он защитил меня от нападок зятя своего Кадыра. Так неужели ж не отвечу добром на его добро?..

...Слышите, дорогие мои? Даже в жажде помочь благодетелю своему Токтору я мысли его не прочувствовала. Готова была в благодарность за содеянное *для меня* пойти на жертву. Еще хотела отомстить жирному бию за то, что плясал на груди моего отца. Но главную цель Токтора — спасти невинно осужденного и научить народ справедливости — незрелый мой ум воспринял едва ли наполовину.

Но вот хозяин мой принялся мне втолковывать, что, как и почему.

Помните, как возбуждал Кашкоро свой народ против соседнего? Накормил джигитов пшеницей с маслом, потом бешбармаком, потом напоил кумысом; он нарядился, как фазан, и, вскарабкавшись на холм, вытягивал шею и закатывал глаза;

он, желая разгорячить джигитов до исступления и свирепости, визжал и плевался; он первым сунул руку в горячую кровь черного барана. Мудрых мыслей не было в его речи, только крик и вой.

В ночь перед походом я у Токтора была единственным его «джигитом». Мы скромно ужинали картошкой с зайчатиной и запивали молоком. Токтор не рычал и не рыгал, не рвал белыми зубами, подобно волку, мясо с костей. Спокойно ел и спокойно говорил.

Вот что я от него услышала:

— Раньше, чем поймешь, что и как мы станем делать, необходимо рассказать тебе, Аруке, о происшедшем с твоим народом до откочевки и после нее. Я воздерживался от прямого разговора с тобой, да ты и не привыкла, чтобы мужчина обращался к тебе с рассказом о своих делах. Ты не привыкла, и я не привык. Правду говоря, хоть и жил я многие годы среди урусов, хоть и присутствовал при том, как их мужчины почтительно выслушивают женщин, а некоторые даже советуются по своим делам не только с женами, но и с дочерьми, я этого не умел. Обычаи киргизов стеной стояли в душе моей. Только после гибели жены моей Дильбар я и умом и чувством пережил, как плохо приказывать, не поясняя сути приказа. Если же дело общее и равное, надо тому, кого посылаешь, не только объяснить, но и дать ему или ей возможность выговорить свою мысль и свое отношение к делу... В бою невозможно обсуждать то или иное движение, тот или иной приказ. Однако до боя надо искать в каждом его сознания и понимания.

Что же до женщин... Существует в народе поговорка: «Слушаясь советов женщины глупой, проживешь только девятую часть своей судьбы. Слушаясь советов женщины умной, помрешь на девять дней после назначенного судьбой срока». Разве девять дней жизни мало? Что скажешь на это, Аруке?

Захотелось спросить у Токтора, как отличить умную от глупой. Но я не спросила, а только кивнула головой в знак того, что внимаю ему с почтением и прилежанием. Он мягко улыбнулся и горестно вздохнул, после чего продолжал:

— Надо успеть рассказать многое. Потому не стану вспоминать верную свою жену Дильбар. Если останемся живы и ты пожелаешь узнать ее судьбу, расскажу с радостью. Если же я погибну, помни, Аруке, что голубой пик вблизи перевала Джан-Тош я назвал «Пик Дильбар» в честь своей жены и это привилось в народе...

Ты с нетерпением ждешь, что скажу об аиле Кашкоро. Слушай. Ты знаешь со слов Бюбюсар, что с гибелью бая на твой народ напали батыркулы и разграбили весь аил. Но потом она же тебе призналась, что многое для твоего испытания сочинила. Как же было в действительности? А было так: батыркулы хотели напасть и уже поднялись для этого. Как вдруг подоспел наказ генерал-губернатора в зимнее время произвести переизбрание болуша. Хитрый бай Батыркул смекнул, что, напав на кашкоринцев, вызовет не только их ненависть, но и страх многих других родов. Желая стать болушем, Батыркул, чтобы не прослыть жестоким, запретил нападать и притворился справедливым и добрым.

На этом месте рассказа я вся вспыхнула и подалась вперед. Токтор спросил:

— Хочешь что-то сказать?

Сбиваясь и торопясь, я передала Токтору подслушанное мною в ночь прихода Батыркула. Как он, рискуя жизнью, прискакал в стан Кашкоро молить о прощении и мире. Перетерпел ужасные издевательства и вдруг стал шептаться со своим главным врагом.

— Я своими ушами слышала: он сговаривался за спиной у аксакалов и втягивал моего свекра в торговлю и выгоду.

Токтор от моих слов осветился:

— Молодец, Аруке!

Такой похвалы я не слышала ни от кого, и не было при мне, чтобы молодцом называли женщину.

— Что особенного я сказала?

— О, ты настоящий молодец! — повторил Токтор.— Ты проникла в суть вещей: подслушав баев, подслушала, в чем душа и дерзновение богачей и властителей. Ради прибылей готовы жертвовать жизнью народа. Знаешь, как помогла ты мне своим сообщением! Вот это и расскажешь, когда приедем в кыштак. Пусть узнает народ, как покупают его и продают... Теперь не перебивай.

Я раскрыла глаза и уши. Не могла есть, расхотела спать. Вот что я узнала от Токтора.

Утром после моего бегства люди увидели, что Макмал в своей юрте мертва. Стали звать меня, но не докричались. Стали друг друга расспрашивать, где Кашкоро, и узнали, что уехал с Белеком и кровавомордым кулом Бекмергеном. Кто-то сказал, что ночью был слышен шум. Кто-то добавил, что видел скачущим на коне Бекмергена, за которым бежал Кумайык. Нашлись

и такие, которые говорили, что Бекмерген вез меня связанную и я звала на помощь. В тот самый час дождь сменился снегом, подул холодный ветер, начался мороз. В окружении аила, куда согнали с гор все стада и табуны, травы были частью съедены скотом, а частью вытоптаны. Голодный скот мычал, блеял и ржал. После ночного набега волков многие недосчитались баранов и овец, а некоторые из владельцев обнаружили своих животных в чужих загонах и затеяли драку. Аксакалы потеряли голову. Как хоронить жену владетельного бая и главы рода без него и без наследников? Где искать бая, жив ли он? Не желая унижаться перед Батыркулом, долго не посылали к нему гонцов. Поставив охрану у юрты и распорядившись обмыть покойницу и созвать плакальщиц, аксакалы вошли в яростный спор — кто в отсутствие Кашкоро будет считаться главой рода. Выясняли весь день под ропот людей и голодный рев животных.

В брани, драках и криках подошла и прошла следующая ночь. Снег падал тяжелыми хлопьями, пряча дороги и тропы. Утром недосчитались трети людей: они ушли со своим скотом. Кто-то стал захватывать отары, принадлежавшие Кашкоро. Начали бунтовать чабаны бая: оставшись без пищи и без платы за труд, принялись разжигать костры и резать баранов. К тому же им надо было собрать свои семьи, сложить юрты и скарб для откочевки. Наконец решилось, что бая заменит Гундос. По суетливости не было хуже него. Он всех задергал, давая противоречивые приказы, он страшился за свой скот, о собственных отарах заботился прежде всего. От Батыркула прискакало несколько воинственных джигитов. Их испугались и стали умиротворять угощением и лаской. Они поклялись, что Кашкоро гостил у них, но уехал, оставив Белека. Пронесся слух, что кул Бекмерген убил Кашкоро и вместе со мной бежал к Иссык-Кулю. Почему-то все охотно поверили, что бай их убит, но в суматохе не знали, как и где искать его труп, кто должен это делать, а кто охранять его имущество и заботиться о похоронах байбиче.

Погнали гонцов в волость за бием, а пока что мулла взял верх над Гундосом и созвал весь народ для молитвы, после которой призвал всех именем аллаха не визжать, не кричать и не драться. Он убедил народ совместить откочевку с похоронами байбиче.

Токтор так описал свой приезд в аил и все, что там увидел:

— Ох, Аруке, прожив пятьдесят семь лет, я такого не видывал. Когда приехал в ваш аил — на меня кинулся Гундос. У меня голос громче, и я его перекричал, народ стал ко мне прислушиваться. Что я говорил народу? Сказал, что услышал молитву

муллы и прискакал для помощи в откочевке, как проводник по заснеженному пути. Охал и ахал, слушая рассказы о внезапной кончине байбиче и о твоем исчезновении. Постарался успокоить окружавших меня тем, что такие батыры, как Кашкоро, не так-то просто умирают. Скорей всего уехал в Джумгал или в Кочкорку по своим делам. «А куда же делась Аруке? — стали меня спрашивать.— Мы видели ее после отъезда бая». Что я мог ответить? Не говорить же, что ты лежишь в моем доме без памяти от горячки. Я отговорился незнанием и сделал предположение, что, увидев смерть свекрови, ты села на коня и помчалась на поиски свекра. Кто-то крикнул: «Она сама убила Макмал, чтобы убежать к Серкебаю!» — «А разве есть следы убийства, кровь или ножевая рана? — спросил я.— Разве не может быть, что разорвалось сердце или угорела от дыма очага?» На эти мои слова Гундос завопил, что я давно защищаю Аруке. «Кто она тебе, что ты рисуешь эту распутницу святой? Э, люди! Надо подняться в его владения и проверить, не у него ли прячется бесстыжая, не взял ли себе вместо жены!» Раздались голоса в поддержку Гундоса, и я уже бранил себя в уме, а вслух говорил: «Поедем хоть сейчас всем аилом». Но тот же Гундос заорал: «Нет, нет, сперва проводи нас до кыштака, а когда перекочуем — поедем к тебе!» От этого при всей тягостности и печали народ расхохотался... Все поняли: Гундосу важней собственный скот, чем истина о твоем местонахождении. Еще не успел затихнуть хохот, прибежали молодые табунщики с плачем, что чуть не погибли. И правда, лица их были иссечены в кровь и одежда изодрана. «Скорей по коням! — требовали они.— Кул Бекмерген с шайкой одичавших кедеев налетел на нас и угнал табун лошадей в девяносто голов». Кто мог, погнались в направлении, указанном табунщиками, долго искали следы, но по такому снегу и вьюге разбойники скрылись и догонять их означало самим пропасть и потеряться.

Токтор продолжал:

— Было удивительно, как, уйдя от меня три дня назад на южную сторону хребта, чтобы искать пути к Джалал-Абаду, Бекмерген успел собрать шайку для нападения на табуны Кашкоро. Либо табунщики, желая поживиться, разыграли нападение, либо Бекмерген оказался много хитрее меня и не по бешеному нраву прикончил Кашкоро, а заранее все обдумав. Я смекнул, что так и так мне выгодно: пусть аксакалы видят, как может действовать взбунтовавшийся кул. «О! — воскликнул я, обратившись к мулле и Гундосу.— Этот Бекмерген со своими кедеями может повторить набег и не раз, и не два. Раб, ушедший от повелителя, теряет в душе своей бога. Вьюга усиливается,

торопите откочевку, иначе не смогу найти тропу под снегом. До вашего кыштака тридцать верст, а в непогоду от каждой версты рождается еще три!»

Аксакалы поспешили к своим уже сложенным юртам, чтобы погрузиться на верблюдов и быков. Женщины, посланные обмывать и готовить тело Макмал к погребению, получили от муллы новый приказ: одеть покойницу в лучший ее наряд, украсить золотыми браслетами руки и золотыми кольцами пальцы, на шею повесить сверкающие камнями ожерелья, а поверх элечека цепочки с золотыми монетами; на седло, чтобы мягче было сидеть, он велел уложить сложенный вчетверо текинский ковер, а перед глазами усопшей притянуть к крупу коня-иноходца курджун, наполненный золотыми чашами аяк-кап.

Доверенные люди муллы следили, чтобы не было грабежа. Они же увязали на верблюдах все сундуки, скрученные ковры и кошмы, а белую обширную юрту уложили тремя частями на трех белых как снег быках. Потом приступили к главному. Подняли грузное, неподатливое тело байбиче, стараясь не видеть ее лица, и усадили верхом. Под животом коня ноги покойницы стянули арканом. Под голову, чтобы не склонялась, подставили спереди ивовую рогатину, а со спины, не зная, чем в спешке заменить полагающуюся в таких случаях упругую плетенку, приспособили свежесрубленные еловые ветви. Работу сделали на славу. Когда б живую женщину подобным образом прикрутили к коню, она бы выла от боли, но, как говорится, уста мертвого смердят беззвучно.

Гундосу не понравилось, что мулла обрядил покойницу драгоценностями. Курджун с золотыми чашами он потребовал для сохранности переложить на своего коня. Но обряд предпохоронного пути, кроме муллы, определять не может никто. Пришлось Гундосу смириться. Поблизости от каравана с имуществом Кашкоро крутился и аксакал Музафар, которого знаешь. Подвижный и бойкий на слово, он не молчал ни минуты, высказывая разные подозрения и требуя, чтобы непременно дождались из волости бия. Но солнце, подымаясь к зениту, всех торопило, холодный ветер подталкивал в спину, а крутящийся снег грозил бураном. Бия решили не ждать.

Вот как выглядела откочевка, совмещенная с предпохоронным шествием. Впереди всех, на расстоянии видимости, как проводнику, велели ехать мне. Мулла вел под уздцы черного иноходца с мертвой всадницей. По бокам шли чередой плакальщицы в серых одеяниях. Их слезный вопль должен был достигать ушей каждого, но ветер нес песню вперед, и слышали ее мулла да я. Идти старались быстро, однако ни сам мулла, ни

плакальщицы пешего движения долго не выдержали и взяли себе коней. Овечьи отары скоро не шагают. Да и весь скот, как только мы на несколько верст отошли от аила, учуял под тонким слоем молодого снега траву и с жадностью принялся насыщаться. Это надо было предвидеть — скот давно голодал, и гнать его, пока не насытится, было невозможно ни конями, ни собаками. Тут-то и начался всеобщий переполох. Рогатый скот и табуны обогнали не только похоронное шествие, но и меня, как проводника, и теперь, загораживая путь, паслись. Табунщики, сколько ни старались, не могли собрать разбредшихся лошадей в косяки, а чабаны свести в единый порядок подвластных им овец. Мычание и блеянье заглушило плач, да и плакальщицы разбегались. Как-никак и они были матерями и их мужья, оставленные с детьми, плелись где-то в хвосте каравана... Мулла крепился. Ему не хотелось отходить от обряженной драгоценностями покойницы. Однако надо было собрать аксакалов и принимать новое решение...

...Так рассказывал Токтор. На последних его словах из дверцы часов выскочила кукушка и прокуковала один раз.

— Ах, Аруке,— покачал головой старик.— Мне еще столько говорить, но время не терпит.

— Можно остановить часы! — воскликнула я.

На этот раз Токтор даже не рассмеялся. Он поднял крышку сундука и бросил мне лисий малахай, велев заложить под него косы. Потом дал штаны, сапоги и подбитый мехом чапан для джигита-подростка.

— Иди за стену и переодевайся, а я буду говорить только самое важное.

Пока я переодевалась, он, торопясь и комкая, продолжал рассказ:

— Слушай, Аруке, слушай! Тут такое случилось, чего за долгие годы жизни я не видел и увидеть не ожидал. Спасаясь от пастушьих собак, большая овечья отара силой протиснулась поперек каравана и оттеснила нас с муллой и привязанной к коню покойницей от всего народа. Я говорил тебе: мулла держал под уздцы иноходца, а сам ехал рядом. Желая помочь чабанам поскорее прогнать отару, я стал нажимать своей лошадью на овец. Мулла думал, что не вижу его, а я боковым зрением видел. Он крепко стеганул иноходца с телом байбиче. Тот взвился на дыбы и, вырвавшись из рук муллы, сильным ходом поскакал в сторону. С воплем, подобным крику ишака, мулла ринулся в погоню, а сам кричал: «О аллах, она ожила! За мной, скорей, за мной, байбиче ожила!» С этими криками он гнался и гнал иноходца в ущелье и вскоре скрылся.

Подозревая, что дело нечисто, я повернул своего коня за муллой. Никто другой поспеть за ним не мог — овцы плотно заткнули вход в ущелье. Это было то место, где течет Ак-Су...

— Ак-Су?! — вскричала я.— Значит, ожившая свекровь поскакала в кыштак моих родителей?

— Подожди, не перебивай. Нисколько она не ожила, но конь ее, не привыкший к мужской руке, от удара муллы напугался и понес. Там, ты знаешь, горный поток катит большие камни. Иноходец сгоряча перепрыгнул, мулла показал себя хорошим наездником и провел своего коня сквозь стремнину. И я проехал было благополучно и уже поднялся на крутой берег, как вдруг лошадь моя поскользнулась и мы с ней оказались в воде. Лошадь-то я поднял и кое-как вскочил в седло, но мулла уже был далеко...

Неспособная к терпению, я опять помешала рассказу Токтора:

— Не томите... Вы догнали? Вы видели моих родителей, и как встретились они с ожившей сватьей? Они помогли ей? Они спасли ее от муллы? А как они сами? Вспоминали обо мне или навсегда забыли?.. Не томите, отец, я вся горю...

Я видела — Токтор от злости вспыхнул. Видела, но все равно дергала его за рукав:

— Говорите, говорите!

Он оттолкнул мою руку.

— Ты совсем, что ли, дикая? Хочешь верить, что свекровь твоя ожила? Я тебе мешать не стану — верь. Верь и молчи. Если ожила — значит, вспомнила единственных своих живых родичей и поскакала под их защиту... Не знаю, как началось. Я еще в ущелье успел заметить, что мулла поймал иноходца и стаскивал с него курджун с золотыми чашами аяк-кап. Потом вскочил на лошадь, а коня покойницы опять стеганул, и тот помчался вперед и вскоре въехал в ваш кыштак. Его там поймали. И конечно же, позвали твоих родителей. Тут же объявился скакавший сзади мулла и стал орать: «Где драгоценности?! Где курджун с чашами? Где браслеты и головные украшения?!»

Прервав Токтора и терзая свою грудь, я кинулась ему в ноги.

— Ой-е! Не надо о золоте и драгоценностях! Расскажите о родном моем отце, расскажите о маме! Вы говорили с ними? Как могли столь долго скрывать? Безжалостный и жестокий — три месяца прошло, а вы не рассказывали!.. Неужели родители не соскучились по мне и не велели что-либо передать?

Я залилась слезами. Вспомнила, что была маленькой и мягкой, вспомнила мамины глаза и ее песню надо мной, вспомнила доброго отца с его нежными ласками...

Toктор ждал, пока успокоюсь. Ждал и кипел. То и дело смотрел на часы. И вот терпение его истощилось, закричал на меня:

— Встань! Стой и молчи! Или завязать твой трясущийся рот? Э-эй, Аруке! Мужества требую от тебя. В штанах и малахае джигита будь мужчиной. Учись достоинству и терпению!

Всхлипывая, я встала перед ним, утираясь рукавом. А он спокойно сказал:

— Объяснить твоим родителям, где ты и что с тобой, я не мог... На них орал мулла — не при нем же говорить. Вслед за нами прискакал Музафар. Неужели ж признался бы при всех, что прячу тебя. Теперь понимаешь?

— П-понимаю,— все еще дрожа от обиды и рыданий, проговорила я.— Но как постичь, что вы все это время от меня скрывали?

Токтор махнул рукой:

— Э, спроси лучше другое: как спас отца твоего и мать от обвинений в ограблении мертвой Макмал? Только мулла начал орать свои обвинения — я схватил его за рукав и отвел в сторону: «Молчи, или убью на месте! Я видел, как ты снимал курджун, сдирал с покойницы драгоценности и прятал за большой камень. Ты, ты загнал ее коня в ущелье!»

Мулла гадюкой извивался в моих руках. Тогда я взял его, как берут змею, за горло, и он прошипел: «Молши. Шоглашен ш тобой ражделить!» Я отпустил его горло, и он прибавил: «Скажем всем, что конь с Макмал свалился в воду и поток унес драгоценности...» — «Но ведь она даже не мокрая,— возразил я.— Если врать...» Не успел я договорить, из ущелья выскочил на площадь кыштака Музафар. Недолго думая, он схватил под уздцы коня с покойницей и потащил за собой в обратный путь. Мы с муллой повернули за ним. Ни твои родители, ни другие люди кыштака не могли понять, что произошло...

На обратном пути Музафар дал нам приблизиться и стал кричать: «Я сразу понял вашу уловку. Говорите тотчас же, где спрятали краденое!» Мулла, не отвечая, стал пригоршнями лить на покойницу и на ее коня воду из реки. «Скорей помогайте! — вопил он.— Скажем, что конь понес и свалился, а все имущество утонуло... Скорей, скорей, лейте воду. Золото поделим на троих!» Музафар ответил: «Придется делить на четверых: за мной скачет сам бий». И верно, навстречу нам ехал толстый Айдыралы. Он согласился с выдумкой муллы и сразу же стал помогать ему обливать мертвую байбиче и ее иноходца. 2

Я во все глаза смотрела на Токтора.

— И вы... вы согласились на дележ награбленного? Согласились взять четвертую долю?

Токтор ответил.

— Надо бы не четвертую и не пятую брать долю... Тут прискакал Гундос, и ему тоже пообещали... Нет, надо бы отбить у этих воров все золото с Макмал, которой уже ничего не нужно. Да, я хотел вступить с ними в бой и уже снял с плеча ружье, чтобы забрать то, что тебе положено, как наследнице. Но тут же подумал: лучше поступить иначе. Я заставил их прекратить крик и спор, а потом высказал им такое требование: «Доли вашего грабежа я не возьму. Считайте, что не видел ничего. Но за это все четверо поклянитесь не обвинять в воровстве родителей Аруке и не обижать их. Поклянитесь также, что во веки веков не станете трогать меня. Тогда обещаю молчать, а если понадобится — подтвержу перед болушем, что драгоценности погибли в реке. Клянитесь! Когда же нарушите клятву — найду вас и перед народом обвиню!» Они поспешно поклялись и тут же стали избивать камнями лицо и тело мертвой байбиче и живого ее коня, чтобы им была вера, когда станут рассказывать, как вытаскивали из бурной реки.

Немного успокоившись, я спросила Токтора:

— Почему же все-таки вы мне до сих пор не говорили?

— А я никому не говорил. Ни Кадыру, ни Бюбюсар, никому из друзей своих. Я дал клятву молчать взамен их клятвы не трогать твоих родителей и меня на моей горе. Бий и мулла нарушили клятву, и я заговорил... Тебе доверяю первой, даже не взяв с тебя обещания молчать.

* *
*

Токтор осмотрел меня, одетую как джигита, и остался доволен. Кукушка прокуковала дважды, и он велел мне лечь не раздеваясь, чтобы хоть ненадолго уснуть.

— Я не все тебе договорил,— сказал старик.— Договорю в пути.

— Отец! — взмолилась я.— Не заставляйте ложиться. Сон ко мне после ваших рассказов не придет: стану думать и думать. Я все поняла, но не все усвоила. Боюсь за отца и мать — не станут ли их теперь преследовать. Подбираясь к вам, много легче подберутся к ним...

Он подумал и так сказал:

— Да... Верю, что не уснешь... А что я позабыл и не договорил? Напомни мне, подтолкни мою память.

— Вы не описали, каков мой отец, какова мать — здоровы ли.

— Я видел их три месяца назад... Да, конечно, надо бы тебе сказать... Но ты... Пообещай, что будешь держаться. Еще столько придется терпеть! Бедная Аруке. Твои несчастья и тяжелая твоя доля не кончились. И никогда не кончатся, если будешь думать, что боль у одной у тебя, и станешь лечить свою боль, не заботясь о боли других людей своего народа... Отец твой был плох. Он не спрашивал о тебе и не мог спросить: откуда бы знать ему, что живешь в моем доме? Ты в то время умирала в горячке... Отец твой умирал в кашле, плевался кровью и держался за плечо Асыл, чтобы не упасть. Увидев мертвую сватью верхом на коне, решил, что ему привиделось и что он в аду. Потерял сознание, но пришел в себя от яростных обвинений муллы. Народ вашего кыштака собрался, и его загородили, а тут подоспел я, за мной Музафар, и мы вскоре ускакали...

— Он умер?.. Прошу вас, не томите — отец мой жив или умер? Говорите, я выдержу...

— Больше я в ту сторону не ездил. Но от людей знаю. Твоя мать, Асыл, хоть и здорова, но сильно исхудала: она продала швейную машину и на это живет и кормит умирающего... Значит, не умер еще твой отец Ыбраим. Вот почему я так хотел, чтобы не к Серкебаю поехала, а к ним. Одного боюсь — ты им не в помощь. Власть имущие тебе жить при них не дадут... Вот что, Аруке. От удачи или неудачи нынешнего утра зависит и жизнь твоей матери, и спокойная смерть отца... Все от тебя, от твоей крепости.

После этих его слов железо во мне пробудилось и окрепло как никогда. Стволом поднялся мой позвоночник, а руки и ноги стали его железными ветвями. Железо души разлилось по всему телу. Я почувствовала, что ногти на пальцах превращаются в железные когти, зубы скрипят не костяным звуком, а железным. Нос превращался на лице моем в железный клюв. На моей спине пробились железные крылья, чтобы скорее лететь по приказу Токтора. Не осталось во мне мясного, деревянного и костяного. Мой младенец под сердцем кричал мне железным голосом: «Не щадя меня и себя, иди в бой и побеждай!»

Токтор посмотрел в мои глаза и сказал:

— Теперь ты другая. Не-ет, теперь ты другой! Ты джигит с копьем. Ты стальной клинок. Ты летящая пуля. Глаза твои ищут цель. Иди за конями, веди их к крыльцу. Видишь, луна подняла над горой косматую красную голову. Она знает, что́ будет, и вступила со мной в союз.

— И со мной! — воскликнула я, узнав в своем голосе голос призывной трубы.

* *
*

По приказу Токтора я побежала седлать коней. Сердце в предвкушении боя стучало подобно молоту. Не только одежда джигита была на мне — душа смелости заменила во мне робкую женскую душу. От избытка сил бежала вприпрыжку. Вдруг тявкнула одна собака, за ней другая... Вся свора поднялась в злобном лае и понеслась к верхней тропе. Остановившись в недоумении, я вглядывалась в полутьму леса. И вот, окруженная скачущими собаками, явилась в свете луны большая белая лошадь с белой же гривой и белым хвостом. Лошадь без всадника.

Белая лошадь без всадника и с белым же горбом на спине. Горб закричал писклявым голосом:

— Отгони собак! Я не люблю, я боюсь собак, отгони их!

Услышав цокот копыт, на крыльцо выбежал Токтор.

— Мукаш! О, ты приехал... Значит, жив, я тебе рад!

— Проклятый старик! — завопил горб.— Зачем тебе столько злобных псов? Мало тебе злобы своего сердца?! Отгони их, отгони!

Токтор знаками мне показал, чтобы загнала собак в сарай и закрыла. Пока загоняла, слышала визгливую речь горба и грохочущий радостью голос Токтора. Прибежав обратно, увидела, что из-под белой попоны выскользнул на землю плюгавый человечек — не то юноша, не то безбородый старичишка — в белом полушубке и в белом же заячьем треухе; лицо его даже при красном свете ранней луны казалось зеленым. Увидев, как его разглядываю, приезжий спросил Токтора:

— Что за слугу ты взял? Откуда? Нерасторопный мальчишка, хотел меня отдать на растерзание своре. Ну да ладно. Здравствуй, джигит! — Он протянул мне руку и крепко пожал.— Друзья Токтора — и мои друзья! Меня зовут Мукаш, а тебя?

Токтор поспешил с ответом:

— Это не слуга и не друг, пришедший погостить,— это сын мой. Родной мой сын. Его зовут Шертай...

— О-о! Шертай. Как хорошо. Скажи, Шертай, не бойся. Ты ему родной сын, а кем приходится тебе этот старый колдун, сбривший бороду? — Он расхохотался точь-в-точь как сова.

Я ответила, стараясь придать своей речи мужественность:

— Отец мой Токтор выковал меня из стального клинка, чтобы разить врагов!

— Смотри-ка, смотри! Такое наступило время — только родившийся уже храбрится... Ты выше меня на голову, а не хо-

чешь ли ты, выкованный из стали молодой Шертай, сразиться с Гороховым Стручком? Горох цепкий, а если мои пальцы вопьются в шкуру...

— Ну хорошо: пошутил — и хватит,— сказал Токтор.— Идем скорей в дом. А ты, Шертай, готовь что приказано. Лошадь Мукаша напои и накорми, всему скоту оставь сена с запасом, чтобы не голодали.

Я побежала к сараю, но уже не вприпрыжку. Пока взнуздывала и седлала наших коней и кормила белую гостью, вспоминала, где могла видеть этого Мукаша. Из разговоров знала, что он проводник из Андижана и в Андижан, знала, что Токтор ждет его. За месяцы моей жизни в доме Токтора он не бывал тут. Где же я с ним встречалась? Прикидывала так и этак и наконец вспомнила: болуш Тентемир, которого я видела у свекра... Нет, не он, еще меньше, чем он, еще писклявей. Такой же вихлястый, но не такой важный. Брат или сын...

Подведя к крыльцу наших коней, белую лошадь я оставила у сарая. Не зная, можно ли войти, я мерзла во дворе. Токтор приказывал готовиться к бою, обещал мне ружье, торопил и сам торопился, а теперь... Как же мне быть? И говорить ли ему, что́ думаю о Мукаше?

Но вот они вышли готовыми на крыльцо. Вдвоем несли знакомый мне сверток с ружьями. На плече у каждого был карабин. Токтор, одетый в медвежью шубу и великолепный куний тебетей, похожий на байский, велел подвести Мукашу белую лошадь, а сам сел на жеребца, оставив мне кобылу.

— Аруке,— сказал он.— Я поговорил с моим андижанским другом и все объяснил. Он поедет с нами.

Достав из свертка двустволку с ремнем, Токтор протянул ее мне, и я, давно приметив, как делает охотник, накинула ее себе на плечо. Мы уселись каждый на свою лошадь, но приказа к отъезду Токтор не давал.

Мукаш спросил меня:

— Узнала, на кого я похож?.. Все сразу же узнают, этого скрыть нельзя. Я брат Тентемира от пятой жены общего нашего отца. В народе знают, каков мой могущественный и богатый брат. Он ограбил всех нас, младших. За это я пробовал его прирезать, чем вызвал к себе его ненависть. Если найдет меня — прикажет схватить, и я не избегну смерти. Но если увижу его я... О, если первым увижу, застрелю, как собаку!

Голосок Мукаша в свирепости звенел тонким звуком натянутой струны. Я поверила в его ненависть к брату, но не знала, верить ли в добро к Токтору и ко мне.

Токтор сказал:

— Проверьте себя перед походом. Мы все не спали, утомлены, как бы чего не забыть.

Он смотрел на меня долгим взглядом, и я поняла: хочет что-то сказать, но при Мукаше не может. А я не знала, что проверять в себе и на себе. Из всех сил стремилась прочитать посланную Токтором мысль и вдруг спросила:

— Аруке я или Шертай? Если решено, что Шертай,— дайте мне нож на пояс и патроны, чтобы зарядить ружье.

Токтор был доволен моим ответом. Он протянул мне со своего коня нож в ножнах. Он подтвердил, что я джигит по имени Шертай. Потом сказал:

— Ружье заряжено двумя пулями. Мукашу я говорил, теперь слушай ты, Шертай: нельзя стрелять без приказа. Заметив опасность, дай знать мне.

Я повторила его слова, поклявшись, что не выстрелю до приказа. Как перенеслось от Токтора ко мне, что нельзя признаваться в неумении не то что разить врага, но даже держать ружье? Как догадалась я повторить, подобно солдату, им сказанное. Этого и поныне понять не могу.

Токтор похвалился перед Мукашем:

— Видишь, какого бравого аскера я воспитал из женщины! Назвав Шертаем, научил стрелять не только стоя и лежа, но и на полном скаку.

Осклабившись зеленым своим лицом, Мукаш обратился ко мне:

— Многих ли врагов поразило твое ружье?

Я ответила не задумываясь:

— Учась счету, я дошел только до тысячи!

Поняв шутку, Мукаш рассмеялся и уже рот раскрыл, чтобы говорить дальше, но Токтор взмахнул рукой:

— Вперед, Мукаш! Держись своего следа, а когда одолеем перевал, дальше поведу вас я.

* *
*

Мы подымались шагом. В тени деревьев белая лошадь проводника и белый его наряд сливались со снегом. Горный лес чем выше, тем реже. Вершина хребта всегда голая. Никогда я не бывала у голого острия хребта. В кочевье выбирают для перевала не крутое место горы, а закругленное. Или идут по скальным выступам над пропастью, но не по самой высоте. Женщины к горным остриям не взбираются ни верхом на лошади, ни пешком. Им не надо. Там пусто. Нет деревьев, кустов и трав. Выехав за

пределы леса на белизну высоты, мы уже не понукали своих лошадей. Все чаще встречались неровности, все чаще спотыкался жеребец под Токтором, тогда как кобыла, на которой он уже здесь ездил, шла подо мной со спокойным усердием. Белая лошадь Мукаша восхищала меня зоркостью и чуткостью. Я видела — она дружит со своим легким наездником, оберегает его, как бы зная, что ноги у всадника коротки и плохо обнимают ее бока. В лесу и на горе наш проводник ни разу не натягивал повод и не останавливал лошадь перед трещиной. Она сама считала, сколько шагов ей нужно для разбега, и легко перескакивала опасное место. Всадник полностью ей доверился, чем меня очень удивил. Вдруг я заметила, что на таком крутом и страшном пути он... спит. Лошадь и это понимала, как бы даже одобряя, что седок до поры отдыхает, и вела себя, будто нет на ней никого. «Вот так проводник! — подумала я не без страха.— Выходит, что вслепую ведет...» Я оглянулась на Токтора, и он мне шепнул:

— Не буди его. Он еще дольше, чем мы, не знал сна.

«Да,— подумала я.— Значит, лошадь многое может!» Уже и раньше вам говорила — из животных более всех других люблю лошадей. Теплота лошади становится и теплотой всадника. Обнимаешь ногами круп лошади и чувствуешь, как общая наша кровь переливается от нее к тебе и от тебя к ней. Всадник и лошадь — одно. Это и четырехглазое животное, и четырехглазый человек. Это двухголовое существо, у которого думают обе головы. Если лошади больно, всадник должен чувствовать боль. Если болен всадник, или голоден, или плачет от тоски, или поет у него от веселья душа — своя лошадь, которая друг хозяина, обо всем об этом догадывается: пританцовывает под веселую песню, а в печали опускает голову.

Мудрая белая лошадь Мукаша, задыхаясь, лезла все выше. Передние ноги ставила на камень, а задние подтягивала обе вместе. Кобыла, на которой ехала я, во всем повторяла движения передней лошади. Токтору пришлось хуже. Он мало и редко ездил на жеребце, доставшемся ему от Бекмергена. Это был конь Кашкоро по имени Шамал, что означает Ветер. Серый в яблоках иноходец давно возил бая и, привыкнув к его злости, сам стал злым. Меня, когда его кормила или поила, пробовал кусать. В Токторе конь чувствовал силу и властность, но плохо понимал, почему новый хозяин редко его стегает. Этот Шамал требовал к себе строгости. Он хорошо знал меня по общей нашей жизни у бая. Я бы посоветовала Токтору ехать на своей кобыле, а мне отдать жеребца. Но советовать не смела. К тому же догадывалась: он нарочно хочет приехать в наш кыштак на

лошади убитого бая. Я еще не понимала, для чего, но ему это было нужно.

И вот на последней крутизне Шамал стал упрямиться. Недовольно ржал и даже попробовал сбросить седока. Может быть, боялся препятствий и новизны места. Или привык гарцевать, а тут надо было напрягаться... Хорошо еще, я ехала впереди него на кобыле. Шамал привык к ней ласкаться и, чувствуя запах подруги по конюшне, отставать от нее не хотел. Неудачно перепрыгнув через трещину, чуть не скатился вместе с Токтором. С того случая начал дрожать. Его дрожь передалась моей кобыле, а от нее ко мне. Я гладила ее рукой, нежила, но успокоить не могла.

Я еще не говорила, какая тихая и безветренная стояла ночь, как была она светла и радостна. Не знаю, что чувствовали другие,— меня мороз не трогал. Беспокойная дрожь, идущая от тела кобылы, радости не мешала. Беспокойство не всегда страшно. Беспокойство и дрожь являются и перед мгновеньем счастья. Жеребец Шамал только поскользнулся, но не скатился вниз. Может быть, задрожал не от испуга, а от радости спасения. Я душой чувствовала — Токтор погибнуть не может, смерть его далека, людям он нужен не мертвый, чтобы вспоминать о нем, а живой и справедливый.

На счастье, белая лошадь Мукаша достигла расселины в вершине хребта. Удивительно, как мы под яркой луной до сих пор эту расселину не видели. Она была как свежая рана — по внутренним своим краям черная: там снег не держался. Похоже, что аллах или шайтан или оба вместе поработали топорами и вырубили, чтобы мы проехали на южную сторону горы.

И мы проехали.

Южный склон горы, как всегда безлесный, простирался в бесконечность до края неба. Мы остановились, чтобы оглядеться. Круглая луна веселила нас ярким светом. Низкие звезды перемигивались и перешептывались. Ветер затаился в ожидании. Он еще не знал, каким будет наш путь, и приготовился помогать. Луна, извечно холодная, попросила тепла у солнца и принялась сперва тихонько, а потом все сильнее обдувать нас дыханием оттепели. Я вспомнила, что еще вчера Токтор обещал оттепель, и подивилась доброй сговорчивости небесных сил.

Дальние высочайшие пики, будто всадники в сверкающих шлемах, ждали приказа, чтобы вместе с нами вступить в бой против зла всего мира.

Мукаш, который назвал себя Гороховым Стручком, был на своей лошади так мал, что можно бы его и не увидеть в обширности верхнего простора. Он вдруг встрепенулся и вытащил

откуда-то из глубин мехового одеяния нечто круглое на цепочке. Нажал пальцем; круглое раскрылось, как сверкающий цветок,— легкий и нежный звон пробежал короткой песенкой колокольчика, а потом отсчитал пять раз.

Я испугалась.

Душой приготовившись к нападению и к стрельбе, не готовилась к нежному чуду.

Послушав, Токтор как ни в чем не бывало сказал:

— Пять часов. Скоро они выедут от Батыркула к кыштаку Кашкоро. Нам пора двигаться дальше.

— Подожди,— пропищал Гороховый Стручок,— дай налюбоваться. До беспамятства люблю поднебесный круг земли, чистой в своей первозданности...

Токтор расхохотался:

— Что ты несешь! Первозданная чистота безлюдна и пустынна. Без людей, животных и растений нет жизни!

— Хо-хо, хи-хи! — задребезжал Гороховый Стручок.— Едешь убивать, а говоришь о любви к людям. Лучше бы их не было — они все портят. Смотри, как сияет луна, ей весело в своем круглом безлюдье. На смену круглой луне явится круглое и жаркое солнце. Оно тоже безлюдно. И ему хорошо в бесконечности небес...

— Из всего круглого люблю только землю. Теплую, человеческую землю! — сказал Токтор.

— Хо-хо, хи-хи! — ответил Гороховый Стручок.— Земля не человеческая. Она царская, байская и купеческая... Я поэт, говорю стихами. Говорю стихами с ослами.— Ткнув в меня пальцем, он продолжал: — Вот осленок бежит за ослами, чтобы жизни лишиться с нами... Хо-хо-хо, хи-хи-хи — вот какие пою стихи!

Из всего, что пропищал и протрещал малыш на белой лошади, меня более всего удивило, что всем нам обещает смерть. Я ехала побеждать, но не умирать. Мне было не смешно его похоронное веселье и противно, что восхваляет безлюдную пустоту. Но слух мой был напряжен и ум впитывал с жадностью. Дурацкие стихи Горохового Стручка обозначали для меня его трусость. А как же так трус мог одиноким ездить на большие расстоянья и безмятежно спать, переходя хребет горы? Одно с другим не соединялось... Было подозрительно, что, назвавшись Гороховым Стручком, Мукаш распространял вокруг себя душный запах птицы. И тут я в тишине услышала, как что-то трепыхается под попоной его лошади. А потом что-то пискнуло, и я поняла, что везет с собой голубя.

Отлегло от сердца. Значит, он, как и многие, говорит одно, а делает другое. Людей не любит, и при этом возит с собой

голубя, чтобы связываться с людьми. Пророчит всем нам ослиную смерть и все-таки едет с нами.

И еще одно меня поразило в речах старших. Как один, так и другой называли землю круглой. Я ее видела местами плоской, местами гористой, но нисколько не круглой...

Мы пробыли тут долго, не знаю сколько. Лошади стали дышать ровно и уже склоняли головы, чтобы лизать снег; травы под снегом не было.

Токтор свистнул и понесся на жеребце Кашкоро вдоль горного хребта, который с южной стороны был не так крут и не так опасен. Я опять поскакала второй; Мукаш замыкал наш караван.

Подул теплый попутный ветер.

* *
*

Токтор мне давно велел ему и всем близким его, не боясь, задавать вопросы. И вот, чуть приотстав, я спросила на полном скаку у Мукаша:

— Скажи, Гороховый Стручок, что за чудо ты вытаскивал на цепочке из-за пазухи? Оно играло и звенело... Что это такое?

— Старинные карманные часы. Урусы называют их луковицей! — ответил он мне.— Понравились? Проработав сто лет, и сейчас показывают самое точное время. Если меня убьют, возьми себе. Сними с меня и повесь на грудь. Они отсчитают все минуты твоей жизни.

* *
*

Тайной расселиной, известной лишь Токтору, мы проникли в другое ущелье, а затем и в третье. Наши лошади задыхались, их спины покрылись потом. Легконогая белая лошадь Мукаша тихим ржанием пожаловалась ему, что устала. Мы оказались в знакомом мне лесу.

Луковица Мукаша показала шесть утра. До восхода оставалось немногим больше часа.

— Разожги большой костер! — приказал Токтор Мукашу.— Пусть Бекмерген со своими одичавшими кедеями нас увидит. Пусть он к нам приедет, а не мы к нему.



Глава четвертая,

в которой Аруке говорит народу и народ ее слушает.

Возвращаясь в будущее, которое для вас, дорогие мои, настоящее, а для меня смесь всех времен, я беру большую бутыль, наполненную днями моей жизни, и взбалтываю. Смотрите — вот мелкая пена, а вот большие прозрачные пузыри. Они легко лопаются, их место занимают другие. Смотрите, смотрите, в них отражаетесь вы и в тесном общении с вами я. И в том же пузыре отражается солнце. Все целиком, с лучами. А вот в том же пузыре и карагач, с темными пыльными листьями, с тысячами листьев, которые опадут к зиме. Весной тот же карагач родит на ветвях новые тысячи, не знающие своих павших братьев. «Это будет не скоро, лето в разгаре!» — скажете вы, но смотрите, смотрите, вот лопнул пузырь, а вместе с ним исчезли мы, исчезло солнце, исчезло дерево... Было всего лишь мгновенное кривое отражение, подобное моему рассказу.

Мой рассказ я веду сегодня о годах, опавших с древа моей жизни. О годах зеленых, желтых и красных, пожухших и сгнивших подобно листьям, о годах, удобривших землю.

«О аллах!» — восклицаю я, забыв, что, никогда не родившись, бог умер. Умер, а я по стародавней привычке поднимаю к нему лицо и спрашиваю: «О аллах, что мне делать с Временем? Оно живет в моей памяти спутанное и взбитое, размельченное и слитное, бегущее и торчащее, как кол. Деревянное Время и железное; мое, наше, чужое, опасное и счастливое. Время, которое стоит и которое работает; Время поторопиться и Время повременить; Время войн и Время мира; Время далекое, близкое и Время точное.

Что есть Время и для чего оно?

Говорю вам, у которых свое Время, а я в нем неумершая и неумирающая.

И вот смотрю вашими глазами, чтобы вашим зрением увидеть.

Могла ли я знать, что, войдя с Токтором и Мукашем в густой, далекий лес, пройдя по кругу, окажусь над кыштаком кашкоринцев. Проскакав сколько-то верст южной стороной гор, проникли на северную.

В тепле костра я повторила в уме слова Токтора: «Земля круглая». И если б тогда сказал мне, что мы проскакали весь круг Земли, замкнув его здесь, я бы поверила. Поверила бы легко и просто, хотя уже наслышана была о войне русских с немцами и о том, что много других стран кипят в крови всеобщего убийства.

Вещественно я этого не понимала.

А сегодня, глядя в сторону леса, где наш высокий костер призвал Бекмергена с его кедеями, я вижу мир большим и круглым, мир с общими для всех глазами океанов, мясом континентов и позвонками горных хребтов. Горят костры Африки, Индокитая, Бразилии, Тасмании — костры мести и справедливости. Я их вижу на общем теле Земли. Вижу и понимаю их свет и их жар.

Тогда не знала, только чувствовала.

Не знала, что на южной стороне наших гор, в каменноугольных шахтах Кызыл-Кии и Сулюкты, рабочие — русские, киргизы, узбеки и татары — объединялись против хозяев, чтобы спасти своих детей от каждодневного голода. Не знала даже, что́ есть шахта и как выглядит каменный уголь. И если б мне сказали, что рабочий люд этих рудников, железнодорожники Андижана, Ферганы и Ташкента, фабрично-заводской народ городов и вся бедная букара, измученная, подобно моему отцу, непосильным трудом и голодом, все джатаки, топоры, томояки, байкуши, малаи и прочие кедеи связаны со мной и так же, как я, желают гибели баям, биям, казиям и манапам... Если б мне это сказали, я бы тоже не поняла.

И они бы не поняли.

Нет, кто-то уже понимал. Кто-то скручивал ту нитку, чтобы стала крепче, чтобы из тонких волосков свить аркан нашей общности.

Было начало 1916 года. Теперь-то я знаю — февраль. Теперь-то я знаю — генерал-губернатор издал указ досрочно переизбрать волостных правителей — болушей и волостных судей-биев. Потому как новая метла хорошо метет, а старая захочет обновиться и покажет небывалое рвение в том, чтобы проникнуть в самые глубокие щели и выбрать оттуда все спрятанное, все укрытое, все, что можно есть и чем можно укрываться и что

можно на себя надеть и под себя подстелить, оберегаясь от лютого холода. Начался **год великих поборов**. Для измученных русских армий — кожа, кожа и шерсть, шерсть. И шкуры — любые шкуры, любой мех. Пусть даже от зайца, от корсака, от лисы и от волка, от вонючего хорька и от шакала. На подметки к сапогам годится кожа лошади, а на голенища — кожа коровы. И ослиная шкура пойдет в дело, и собачий мех пойдет на шапки.

Давай, все давай!

Сборщик податей, а над ним бий, а над бием и болушем — участковый пристав. Они берут деньги, бумажки и монеты, даже те монеты, которыми украшена грудь невесты и элечек жены. Чем беднее люд, тем его больше. Много, очень много бедного люда, а баев и манапов очень мало, и с каждым годом их меньше. Сильный давит того, что послабей, чтобы увеличить число бедняков. Для власти нет лучше народа бедного, слабого, больного, голодного. Потому как, желая выбиться из голода,— работают. День, вечер, ночь — работают. Для детей и для себя. Для муллы и для бая, для губернатора и для царя.

Много, очень много бедняков и батраков, которые работают. С каждого две монеты — миллион монет. С каждого две овцы — миллион овец. Баи столько дать не могут. Их мало. Скота у них много, но их-то мало. Байских юрт в кыштаке — две, три, десять, а бедняцких — сотни.

Идет сборщик налогов с медной бляхой. С каждой юрты — поюртный сбор. Два рубля, в другой год — четыре, в третий — десять, а в 1916 году уже дошло до двадцати рублей с юрты. И военный налог. И местные подати. А бию тоже надо. Для прокорма. А как жить болушу и участковому приставу? О, им надо жить, надо хорошо жить!

А как брать с бедных и неимущих налоги и подати? Битьем по спине — вот как! Можно и по голове. Можно плеткой, можно камчой, а можно и палкой. Все хорошо — и палка, и кнут, и метла, которая выметет все до последнего зернышка.

Неужели бедняцкая дочь Аруке не знала? Неужели за шестнадцать своих лет не видела?

Видела: кобылу доят, корову доят, верблюдицу и стригут и доят, овцу доят и стригут. Так бедняки поступают с животными, а богатые с бедной букарой, руками самой букары. Не доят — значит, выжимают, как масло из конопляного семени. Или выкручивают, подобно тому как делает это женщина, выстирав белье. Бедняк бедняку выкручивает руки, а сборщик податей или бий прыгает ему на грудь и ждет, когда брызнет из горла кровь.

Для исполнения приказов бия есть нанятые охранные джигиты, которые тоже бедняки, только хорошо кормленные.

Да, все это Аруке тех лет видела: лошадь стегают, быку крутят хвост, у осла рану прорезают на холке и острой палочкой в нее тычут, чтобы не упрямился и бежал с грузом в нужном хозяину направлении. Так всегда было, и мулла говорит, что мучения жизни открывают путь к блаженству в раю. Сколько же скотов попадает вместе с букарой на небо! О господи, там, пожалуй, и люди научатся блеять и мычать. Но сомневаться нельзя — мулла поет суры священного корана, в которых все это утверждено, как закон вседержителя.

Та Аруке, которой я была, вспомнила кровь отца своего Ыбраима и от этого проросла железом. Кровь других бедных людей тоже видела и тоже помнила, однако не чувствовала как свою...

...А что за одичавшие кедеи у Бекмергена? Откуда они?

Откуда берутся разбойники на дорогах и на лесных тропах?

Кто отбивает и угоняет табуны?

Все, все разбойники — один бай крадет у другого бая и для этого кормит джигитов, годных для бешеной скачки и способных к зверскому воплю.

Так я, Аруке, знала, так понимала.

Теперь услышала, что кровавомордый кул Бекмерген, убив господина своего Кашкоро, собрал каких-то диких или одичавших кедеев, оставивших родные поселения и свои семьи, чтобы налетать из леса на табуны баев и угонять их не для других богачей, а для себя.

Быть может, сами захотели стать баями? Но какие ж они баи, если нет у них муллы, нет бия и нет волостного болуша?

А много ли в Киргизстане таких вот сбежавших кулов и одичавших кедеев, прячущихся в горах? И если сильны, почему не баи и не власть имущие прячутся от них по горам в пещерах? Будет ли когда-нибудь так?

— Будет, будет! — сказал Токтор.

* *
*

Когда взвилось пламя щедрого костра и заплясали длинные тени, Токтор велел нам сесть.

— Пора вам выслушать, что прислала жена Кадыра — дочь

моя Бюбюсар, уехавшая с мужем и сыновьями в далекий Пржевальск. Вот что она пишет:

«Отец!

Да будет аллах милостив к тебе!

Нельзя терпеть с посылкой голубя до приезда нашего на место. Мужу моему и мне от людей, тебе верных, стало известно, что Батыркул, задумав стать болушем, скупает голоса выборщиков, льстит аксакалам кыштаков, а народу обещает справедливость и добро. Волостной бий Айдыралы, надеясь остаться при власти Батыркула, предал нынешнего болуша Тентемира и собирает голоса против него. Тебя тоже предал, болтая повсюду вместе с муллой и Гундосом, что ты снял золото с мертвой байбиче Макмал. Уже собирает джигитов против тебя, но рады будут и переманить на свою сторону, полагая, что не рано расправиться с тобой и после выборов новой власти. Если станут тебя, отец, спрашивать, где убийца Кашкоро Бекмерген, знай — это хитрость для отвода глаз. Они сами разведали больше тебя: примкнув к одичавшим, ушедшим от податей кедеям, Бекмерген поднялся над ними главарем. Их сорок клинков. Охранные джигиты встречи с ними избегают и ловить Бекмергена не хотят. В то же время случилось, что сборщики податей делали обыск у недоимщика из кыштака Батыркула, бедного из бедных, отца шестерых детей, капканного охотника Мадияра. Перерывая тряпки в юрте этого несчастного, сборщики наткнулись на богатый куний тебетей и взяли в счет долга. Принесли к Батыркулу, а тот сразу же узнал шапку Кашкоро. Тут же оказался бий. К ним привели Мадияра, который признался, что нашел в лесу: верно, ветер снес с головы убитого. Понимая, что Мадияр виноват в одном том, что скрыл находку, Батыркул не только не взял под защиту своего подданного, но сам же присоветовал новоявленному своему другу бию Айдыралы повсеместно объявить, что не Бекмерген убил, а Мадияр.

Желая перед выборами подластиться к нашему народу, Батыркул, плача и стеная об утрате друга и соседа, согласился уплатить кашкоринцам большой кун, и, якобы желая мира, он потребовал суда «по справедливости». Мадияра пытками заставили признаться не только в убийстве Кашкоро, но и в отравлении байской жены Макмал. Бию же было выгодно, что преступление раскрыто и преступник пойман. Под его нажимом суд аксакалов признал невинного убийцей и приговорил к казни через ташбаран * руками обиженных. Завтра с восходом солнца

---

* Ташбаран — казнь, побитие камнями при участии всего народа.

приговор должен быть приведен в исполнение в кыштаке кашкоринцев. Этим Батыркул надеется обрести мир с обиженным народом монолдоров и получить их голоса в свою пользу.

Еще сообщаю: муж мой — зять твой Кадыр и сыновья наши Сафар, Сафуан и Сираджи дорогой не болеют и всем были бы довольны, когда б не скучали по тебе и по сестричке нашей Аруке. Передай ей, что Серкебай в Пишпеке.

На этом заканчиваю.

Да будет тебе, отец, радостью каждый день; да будут к тебе благосклонны звезды неба!

Дочь твоя Бюбюсар».

* *
*

Все время, пока Токтор читал, он поглядывал то на меня, то на Мукаша. В том месте, где говорилось о болуше Тентемире и о том, что его предал бий, Мукаш радостно подпрыгнул, но тут же совладал с собой и прилежно слушал дальше. Когда же речь зашла о Серкебае, выдала себя я. Сердце мое застучало громче звона серебряных часов Горохового Стручка, а лицо вспыхнуло. Понимая, что мы прискакали сюда, чтобы в союзе с Бекмергеном и его кедеями помешать исполнению казни, я нечаянно подумала: «Серкебай не близко... А если я, а если мы?..»

Одно мгновенье жила во мне эта мысль, одно лишь мгновенье. Я устыдилась ее, и под пристальным взглядом Токтора лицо мое налилось краской.

Токтор ничего не говорил, только смотрел на меня. А я уже знала: колдун прочитал мои мысли.

— Что ты скажешь, а, джигит Шертай? — обратился он ко мне.

Вскочив на ноги, я так отвечала:

— Отец... Я поклялась... Я поклялся мстить бию по имени Айдыралы и готова... готов стрелять в него. Но...

Сразу же отвернувшись от меня, Токтор сказал Мукашу:

— Я солгал тебе, Гороховый Стручок. Это не джигит, а слабая женщина, несущая в чреве своем. Женщина, не победившая в себе рабства и неспособная к справедливости.

Мукаш спросил:

— Ну, и зачем тебе, старый колдун, понадобилось брать ее с собой, для чего ты выдумал ее как джигита?

— Я верил в нее и хотел передать свою веру в нее и тебе.

— Ты мне, старый колдун, сказал, что у этой молодухи железная душа против баев и биев, сказал, что научил ее стрелять.

— В этом я тебя обманул.

Мукаш подмигнул мне:

— Ха-ха, хи-хи, вот какие пошли стихи: с железной душой не умеет стрелять.— Сказав это, он подошел и снял с моего плеча ружье.— Смотри, Шертай. Вот это приклад — его надо сильно придавить к правому плечу. Вот спусковой крючок, который, чтобы ружье выстрелило, нужно потянуть пальцем. Вот мушка на стволе и вот мой правый глаз, который направляет мушку на врага. Видишь, видишь — левый мой глаз закрыт. Никого и ничего, кроме врага, для меня не существует. Прицелившись во врага, я ни жены, ни детей своих левым глазом не вижу. Если ж буду смотреть по сторонам, убийца во имя справедливости из меня не выйдет.

— Хотите сделать из меня убийцу?! — вскричала я.

— Ах-ха-ха! Да ты, джигит Шертай, чувствителен. К словам ты очень чувствителен. Это хорошо! Так, так, так! Различать значение слов необходимо. Ты прав. Мы не убийцы. Убийц во имя справедливости не бывает. Убийцы те, кто истребляет людей во имя лжи. И нет им пощады!

— Разве и вы колдун? — спросила я Мукаша.— Вы тоже умеете читать мысли?

— Довольно! — остановил нас Токтор.— Я слышу в двух полетах стрелы коней всадников. Держите ружья наготове. Я не встречался с Бекмергеном со дня его бегства и не хочу, чтобы сразу меня узнал. Пусть сперва узнает жеребца Кашкоро.

Вскочив на коня, Токтор отъехал в тень густой ели. Оттуда он обратился ко мне:

— Джигит Шертай, отбросил ли ты женскую слабость и сомнения?

— Отбросил!

— Забудешь ли хоть на час, отпущенный нам для свершения нашего дела, мечты о Серкебае?

— Забуду! — воскликнула я и обрадовалась свободе своего ответа.

— Поклянись быть верным и преданным, не щадящим жизни за правду.

— Клянусь! — откликнулась я, умом побеждая сердце.

* *
*

Бекмерген и раньше был великаном. С той поры как его в последний раз видела, он вырос. Кровавый цвет лица при поздней, загороженной деревьями луне виделся темным. Он забыл

меня настолько, что не узнал. Или не захотел узнать. А может быть, боялся узнавать при своих одичавших кедеях.

Мы встретили подъехавших не у мирного костра, а верхом на конях, держа наготове ружья.

Токтор прятался за толстой елью, оставив впереди себя разодетого во все белое крошечного человечка на белой лошади.

Бекмерген въехал в свет костра, и я увидела на лице его выражение свирепой важности. Он заметил наши ружья и хотел бы ими завладеть: эта жадность к ружьям читалась в его глазах.

Не все пещерное войско сопровождало его, а только малая часть.

Бекмерген, перекатывая в горле камни, проговорил:

— Кррасным костррром вы нас рразбудили. Рразве надоело вам жить?

Кедеи расположились полукругом за его спиной. По их лошадям да и по самим всадникам скакали отблески беспокойного пламени. Кедеи были хмуры, как хмуры всякие мужчины, поднятые ото сна после обильной пищи.

Мукаш протрещал своим стручковым голоском:

— О великий бек, князь из князей! Нам нужна ярость твоя и сила твоей справедливости.

— Я не князь,— ответил Бекмерген,— не болуш и даже не брат болуша.

— О великий охотник! Рад, что ты меня узнал. Нам нужна зоркость твоя и правдивость твоей мстительности против баев, биев и против моего брата болуша. Мы пришли вступить с тобой в союз и повести на доброе дело.

— Повести?! — Бекмерген рассмеялся, оголив зубы.

Он приказал своим кедеям въехать в свет костра:

— Ближе, ближе! Вам оттуда не видно, кто приехал. Этот чирей на белой лошади хочет куда-то нас за собой вести. Никогда раньше не случалось, чтобы гнойные чирьи вступали в союз с людьми. Никогда ни от кого не слышал, чтобы прыщи могли вести людей на доброе дело.

Кедеи пододвинулись к костру. Вместе с Бекмергеном — девять всадников. Они громко рыгали от сытости, руки их повисли от лености. В рваных, нигде не заплатанных халатах, с торчащей из дыр белой ватой или в чапанах. Кто подпоясан тряпкой, кто — старым полотенцем, а кто и вербной лозой. Они пугали своей лохматостью, но не воинственностью; может быть, не проснулись, я не знаю. Кони под ними были веселыми и удалыми, готовыми к долгой скачке. Сами же кедеи, казалось, дер-

жатся за рукояти своих клинков и ножей для одного того, чтобы не свалиться.

Тут-то и выехал вперед мой приемный отец Токтор на сером в яблоках иноходце Кашкоро. Он был черен в своей черной медвежьей шубе. Его зубы сверкали лучше зубов Бекмергена, а высокий куний тебетей был виден на нем шлемом воина.

— Кто ты? — спросил Бекмерген, не узнавая Токтора и вкладывая в голос всю злобность взбунтовавшегося раба.— Как посмел в байской одежде явиться в мой стан?!

— Я пришел к тебе с подарком,— ответил Токтор, протягивая Бекмергену карабин.— Бери, у меня еще есть... Что ты смотришь? Мукаша узнал, а меня узнавать не хочешь? Подъезжай, и обнимемся!

Бекмерген дрогнул. Он вспомнил голос своего спасителя Токтора, и радость, как луч, пробежала по его каменному лицу. Он раскрыл было руки черному старику, но вдруг отпрянул от него, поднялся на стременах и протрубил высоким голосом джейрана сбор всего пещерного воинства.

От его зова стоящие вблизи проснулись, а дальние, гремя по камням, полетели сюда свободным и яростным скоком всадников без седел. Их табунные кони были не подкованы, и я невольно в уме своем отметила, что в далекий горный путь непригодны.

Что же случилось с Бекмергеном? Зачем отпрянул от Токтора, как от вонючего? Зачем собрал всех?

О, это был хороший сбор необузданных, неподкованных, неоседланных коней и полуголых на ветру всадников.

Молодые и старые, сытые до одури полусырым лошадиным мясом, они жевали недожеванное в пещере. Их бороды были красны от крови и черны от копоти. Кто с копьем, кто с ножом, а кто и с острым камнем; кто с арканом, кто с камчой, а то и со скрученной из корней плетью... Обутые и разутые, в сапогах, в ичигах и в сочащихся, сплетенных наскоро из свежесодранных ремней чарыках, в голенищах без головок, с торчащими снизу портянками. Давно не бритые головы украшены были разноцветными чалмами из всякого рванья или же лысыми от старости малахаями; и вдруг на ком-то новый, отороченный бархатом тебетей.

Я смотрела на лица и не понимала, зачем смотрю. Они жгли меня убогой радостью дикой свободы, дикой звериной свободы и тоски. Их глаза искали, кого убить. В них светились жар ненависти к богатству нашей одежды и жажда предстоящего. Уже брезжил по краю неба серый отблеск нарождающегося солнца. Луна, подобно пряжке на поясе бая, блестела прощальным тем-

ным серебром. Одна только луна да Бекмерген по одеянию своему в чем-то могли сравниться с нами.

Бекмерген был атаманом пещерных людей, и ему собрали от всех самое лучшее. На нем хорошо сидела подпоясанная патронташем желтой кожи шуба; патронташ с патронами без ружья — как же мог он отказаться от подношения Токтора?

— Мои кедеи! — прижав ко рту ладони, прокричал Бекмерген.— К нам пожаловал лесной охотник Токтор, известный могучей силой и справедливостью. Он ждет нашего союза и помощи, чтобы пошли за ним на доброе дело. Можно ли мне идти за ним не борясь? Будем ли слушать его и слушаться без борьбы?

Выскочил вперед молодой и статный:

— Эй, Бекмерген! Я поборол в честном бою девятерых раньше, чем пришел ты. Ты победил меня. От этого стал атаманом. Получил власть над нами, как самый сильный. Пусть поборет тебя охотник — тогда примем его команду над нами, будем слушать и слушаться. Так я говорю?

— Так, так! — общим голосом прокричали кедеи.

— У нас нет времени, погибнет несчастный...— начал было Токтор, но голоса его перекричали:

— Пусть гибнет!

— Сбрось шубу и ружье!

— Эй, батыры, деритесь за богатую шубу и за ружье!

— И за тебетей!

Токтор пустил в дело свой могучий хохот, но не придал ему сокрушающей злобы. Отхохотавшись, сказал Бекмергену:

— Мальчик, мне жаль твоих костей. Жаль мне и мяса твоей жизни. Возьми нож и сперва зарежь этого вот меньшего брата болуша Тентемира. Попробуй схватиться с ним на ножах. Одолеешь его — пойдешь против меня. Но если одолеет он — без промедления последуете за нами.

— Бороться с этим вот чирьем? Ха-ха-ха! С этим вот зеленым прыщом, не видным на своей лошади? Ха-ха-ха!

Все до одного кедеи попадали с коней в корчах смеха.

Токтор сказал:

— Раздевайтесь, чтобы не портить хорошую одежду!

И один боец, рослый, как богатырский конь, и другой боец, по прозвищу Гороховый Стручок, спешились, чтобы вступить в поединок. И тот и другой скинули сапоги, шубы, малахаи, а потом и штаны и рубашки. Оставшись в исподнем, Мукаш вспрыгнул на высокий пень, но и с пня не достал бы головой до плеча Бекмергена. Может быть, думал расслабить и победить смехом? При всей своей суровости бывший кул не мог удержать

улыбки, увидев такого противника. Но вдруг в каждой руке малыша оказалось по два кинжала. Могла бы поклясться, что и в пальцах ног были зажаты острые ножи. Не знаю, как могло случиться — на безбородом лице Мукаша и на кончиках ушей выросли волосяные кисти. Он безобразно взвыл, подобно лесному коту или рыси. Он присел для прыжка, и не успел Бекмерген мигнуть, как над самой его головой пролетела длинным прыжком седая рысь, а может, и просто Мукаш в своем нательном белье; мне стыдно было смотреть. Смотреть мне было стыдно, но, вспомнив, что не женщина я, а джигит — смотрела. Я увидела, как, схватившись одной рукой за ветку ели, маленький борец другой своей рукой сорвал с неба луну и замахнулся, чтобы швырнуть ее в Бекмергена...

...Я проснулась, когда мы в числе девятки кедеев, лошади которых были подкованы, скакали по лесным тропам. И уже не было над нами луны и еще не было среди горных вершин утреннего солнца.

* *
*

Я проснулась на широкой тропе и обрадовалась, что моя кобыла не хуже белой лошади Мукаша могла хранить мое спящее тело на полном скаку. Мое тело уснуло и проснулось, а я не спала, и все, что видела, осталось во мне как правда. Рядом со мной в черной медвежьей шубе и в великолепном куньем тебетее по широкой тропе скакал Бекмерген. Я спохватилась, что не видела его победы над Токтором. Однако Токтор в желтой шубе Бекмергена скакал впереди. Значит, поменялись одеждой. Почему? Для чего?

Бекмерген склонился надо мной и прошептал:

— Сестричка, не вздумай снимать с головы малахай, пока не будет тебе приказа от меня или Токтора. Ты хорошо спала, и я поверил в тебя, как в истинного джигита. Но если в лесу скинешь малахай и покажешь косы... нас, кедеев, шестеро. Самому младшему — двадцать лет, а самому старшему — сорок. Ни один из нас по своей бедности и рабству не знал женщины. Увидев в лесу, забудем справедливость и передеремся за тебя, а самый сильный возьмет на свою лошадь и ускачет с тобой для радости общения.

Взглянув на Бекмергена, я поняла, как величав, красив и во всем собою хорош давно знакомый мне кул в меховом одеянии. Сравнила с Серкебаем, но тут же испугалась, что нарушаю клятву, данную Токтору. Поклялась забыть и забыла, что клялась.

Но ведь не клялась не смотреть на другого джигита. Смотрела и любовалась, притом что холодным умом понимала: он далек от моего сердца и ни на что не нужен, а только красив и молод. Назвал меня сестричкой. В бытность нашу у Кашкоро Бекмерген ел из одной со мною глиняной плошки, подбирая остатки от байского досторхона. Он был беспредельно преданным рабом, а я была келин — невесткой бая для стирки, шитья, уборки и поочередно женой двух его сыновей. Никогда не думала, что братом моим станет тот самый кровавомордый кул, что приезжал за мной к родителям моим вместе с баем Кашкоро. Потом мы с ним ели из одной плошки, но я была байской наследницей, а он тряпкой для вытирания ног, убийцей для нужд бая. Колол баранов, резал лошадей и по первому приказу зарезал бы старика и ребенка. Он был для меня ужасом, притом что в день моей свадьбы говорил, предупреждая об издевательстве надо мной. Преследуя меня, когда я взбунтовалась и ушла после нападения волков в темный лес, он обманул своего господина: найдя меня под снегом, крикнул баю, что никого нет. Часом позже, когда бай попробовал его наказать, Бекмерген вырвал из руки господина камчу, ударил бая меж глаз и свалил в снег. Потом бежал. Токтор говорил, что Бекмерген поступил так, заразившись от меня жаждой свободы. Действительно — взбунтовался после меня. Токтор указал ему тайный путь на южную сторону хребта и спас ему жизнь. Бекмерген спас меня, а Токтор — Бекмергена.

— Брат,— так назвала я скачущего рядом.— Что случилось? Как ты оказался в шубе Токтора?

— Разве ты не слышала его приказа? Ах да — ты спала. Токтор приказал не называть его по имени. Теперь он вроде бы один из кедеев. Мы скачем к твоему кыштаку, чтобы остановить казнь невинно осужденного. Видишь — под Токтором жеребец Кашкоро. Видишь — на мне точно такой тебетей, какой был на голове бая. А ты, когда откроешься перед лицом народа, будешь говорить, что живешь у меня, похищенная мною...

«Зачем? — хотела спросить я, но вспомнила о клятве.— Что же подумает Серкебай, от которого во мне плод его?» Так думала я.

Отсюда следует, дорогие мои, что поклявшийся не способен остановить мысли. Что же тогда делать? Продолжать думать или остановиться? Можно задержать на полном скаку буйного жеребца. А как задержать и взнуздать мысль?

Бекмерген заметил на моем лице облако. Он был заметлив ко мне. Его огромный стан не держался в седле, как положено всаднику, а склонялся в мою сторону.

И это увидел Токтор.

О, как он захохотал! Как задрожали горы от его хохота! Как зашумели деревья! И сразу же сузилась тропа, чтобы мы с новоявленным моим братом не могли ехать рядом. И сразу же оскалились каменные выступы, чтобы голова береглась от них и не бурлила кипением ненужных мыслей.

Теперь мы двигались караваном, и никто не мог никому говорить.

Солнце, сперва красное и длинное, рождалось в теснине, подобно жеребенку. Еще не верилось, что станет высоким и круглым. Еще не родилось, однако весело ржало над нами и над тем, что мог сделать с нами старый колдун.

А зачем колдуны добиваются безмыслия?

В вопросе моем опять слышался отзвук упрямого бунта ослицы.

Дорогие мои, вам с детства известно слово, которое раньше в языке киргизов не существовало. Слово это — «дисциплина». Подчиняясь общему замыслу и приказу командира, надо изгнать из себя упрямое бунтарство, потерять себя для дела. А разве не умели киргизы подчиняться главе рода и власть имущим? Разве в войне рода с родом не шли по приказу старшего?

Шли, шли! Со времен Чингисхана, а два века спустя и по приказу Тимура.

Но ведь тогда не думали.

Сам Токтор учил меня думать. Учил спрашивать.

...Но вот и опушка леса, и перед нами кыштак: многоюртный и тесный стан кашкоринцев.

О, как я его ненавижу!

Опять солгала. За что бы ненавидеть мне кыштак с его народом, где девять из десяти беднее меня, а десять из десяти не знают свободы?

Токтор приказал спешиться и спрятать коней в лесу, надежно их привязав и оставив для их охраны двух вооруженных.

Солнце явилось во всем блеске своем.

Утренний ветер погнал из ущелья снег и толкал нас в сторону кыштака. Такой сильный ветер, что пришлось хвататься за колючие кусты арчи и барбариса.

В такое время никто из кыштака в лес не ходит. Зачем ходить против утреннего ветра?

Поведя нас цепочкой в сторону большого скального выступа, висящего над кыштаком, Токтор уложил каждого на расстоянии сажени друг от друга. Он приказал нам приготовить ружья к стрельбе, однако стрелять не позволил. Отныне мы, не шевелясь, должны привыкнуть, что снег будет нас заметать и прятать. Мы

должны лежать тише горного камня и смотреть зрением беркута, заостряя его на всяком, кто движется.

Снег, как и предвидел Токтор,— а может, не предвидел — приказал ему,— надежно нас укрыл, после чего работа утреннего ветра прекратилась и все стало спокойно.

Луковица Мукаша отзвенела в тиши восемь раз.

На Тянь-Шане случается среди зимы теплое солнце и дневное безветрие. Это радость для людей и для животных. Когда же такая погода соединяется с праздником — расцветают души. Я не сразу поняла, какой может быть праздник у кашкоринцев. Вроде бы не пятница — мулла не собирает верующих для проповеди. Что за праздник сегодня? Почему из юрт степенно выходят мужчины в лучших своих одеждах в сопровождении детей и жен? Почему не выпускают для пастьбы скот из загонов, хотя солнце уже высоко? Почему на юрте муллы висит зеленый флаг Мухаммеда, а на обширной юрте Гундоса полощется бело-красно-синий царский флаг?

И вдруг я догадалась. Вдруг ужаснулась от понимания радости кашкоринцев.

Их праздник — казнь над невинно осужденным, которого должны привезти.

Смертная казнь через ташбаран — побитие камнями руками обиженных.

Ой-е! У каждого мужчины, и у каждой старухи, и у каждой молодухи, и у каждого сына, и у каждой дочери в руках камень. Они ждут. Ждут радостной казни над убийцей главы своего рода и его байбиче.

Они жаждут отомстить кровью за кровь всему роду батыркулов, роду враждебному и яростному в своей вражде.

Большой праздник! Им сказали, что батыркулы руками Сербая утопили в реке наследника Кашкоро и первого мужа моего Жайнака; что батыркулы руками капканного охотника Мадияра подсыпали отраву в пищу байбиче — бывшей свекрови моей Макмал. Теми же руками того же Мадияра они будто бы лишили жизни самого́ главенствующего над родом бая Кашкоро.

Народ ненавидел своего повелителя, презирал неродного сына его, с отвращением и гадливостью терпел байбиче. Но в законе сказано: одной лишь кровью можно ответить на кровь убитого. В законе сказано: мир меж двух родов только тогда истинный мир, если за убиенного будет с рода убийцы получен щедрый кун и возмещение кровавой казнью. Если же не отплачивают — тогда месть! Тогда — война! Тогда смертоубийство не остановится до полного истребления обидчиков или до полного поражения обиженных.

Казнь — праздник. Казнь по велению бия... Как же не радоваться ей? Она предвестник мира и успокоения.

И люди от велика до мала празднуют. И каждый хочет убить.

* *
*

Кашкоринцев, как я понимаю, заранее известили, что был суд, и выборный судья — волостной бий Айдыралы — резал лозу, подтвердив этим приговор аксакалов.

Мне видеть не приходилось, но знаю по рассказам — это делалось так. В байскую юрту торжественной цепочкой входили и усаживались на возвышенном месте аксакалы рода, а то и всей волости; тогда это называлось съездом судей. Аксакалы допрашивали обвиняемого, а бий, который сидел посредине, молчал. Слушал и важно смотрел. В левой руке держал лозу, а в правой — острый нож. Обвиняемый с ремнем на шее и со связанными сзади руками стоял перед судом на коленях. Ему не позволено было поднимать глаза на вопрошающих. Если поднимет — охранные джигиты сразу же бьют по спине палками. Если же обвиняемый был дерзок — били по голове. Бывало, что слишком дерзкий, позволяющий себе не только отвечать на вопросы, но и кричать судьям оскорбления и ругать за несправедливость... такой излишне дерзкий мог не дождаться решения бия и умереть под палками... К тому времени, когда начинался судебный допрос, обвиняемый был уже обработан охранными джигитами. Бывали выкручены руки или вырваны ногти; иногда же случалось, что перед судьями представал уже слепой, с вытекшими от пыток глазами... В байской юрте и возле юрты ждал решения народ. Я слышала, за многие годы суд бия оправдал обвиняемого только два раза. Аксакалам скучно, аксакалы дремлют, им лень добывать истину. Истина в правой руке бия, которая держит нож, чтобы разрезать лозу и молча подтвердить приговор...

...Мы лежали и смотрели с каменного выступа на кыштак. Вот несколько всадников поскакало по дороге к кыштаку Батыркула: видно, терпение истощилось и ожидание наскучило. Обещано осужденного привезти к восходу, но вот уже солнце поднялось над горами, а шествия не видно.

Лежащий вблизи Бекмерген, как и я, укрытый слоем снега, забыл смотреть вниз и повернулся ко мне. Всегда в уме своем и в рассказе вам я называла Бекмергена кровавомордым. Таким видела его с того дня, когда, помните, Кашкоро бил его камчой по лицу и лилась кровь, а он, понимая, каким должен быть раб, гордо терпел удары и не утирался. Потом видела его и не окро-

вавленного, однако ж, как у ярко-рыжего, кожа лица Бекмергена была подобна обожженной и усыпана веснушками. И все же редкой среди киргизов голубоглазостью он виделся необычным и красивым. Я говорила, что, встретив нас, показал себя свирепо-важным. Теперь же лицо играло приветливостью, а может, и нежностью. Он не сразу меня узнал, но только он один и узнал. Один он видел меня раньше. Один он был посвящен в то, что́ я должна сказать и сделать.

Кашкоро имел четырех кулов, кроме тех джигитов, которые обязаны были по первому же его зову оставить семью и скакать за ним. Кулы держались возле юрты, их жизнь походила на жизнь цепных собак. Никто их не называл по имени, бай да и все аксакалы кидали через плечо: «Эй, ты!» Одного лишь Бекмергена, как самого преданного, самого яростного в исполнительности, бай звал прозвищем Рыжий, а в редкие мгновенья благосклонности обращался по имени.

Не принято было задумываться над прошлой жизнью кула. Он раб. Значит, ниже всех. Раба не судят, а убивают как собаку. Бай милостью своей мог отпустить кула и даже одарить скотом и юртой, чтобы тот, уплатив калым, женился и произвел на свет потомство. Но и потомство от кула оставалось клейменым своей принадлежностью к низшим из низших. Если от кула у жены его рождалась дочь, отец не был над ней хозяином, и когда подрастала для замужества, калым за нее получал бай. Сын кула был тоже собакой бая. Но это редкость. Почти не бывало, чтобы хозяин женил своего раба. Если ж раб не годился от старости или болезни, бай мог его прибить и закопать в землю.

Я говорю о тех законах, какие действовали в нашей местности. Может быть, на юге или в Прииссыккулье существовали другие порядки. Этого не знаю.

Не приученная к вопросам, я никогда не помышляла расспрашивать так хорошо мне известного Бекмергена о том, как и когда он появился у Кашкоро. Прожив три месяца в свободе, я стала любознательной и любопытной. Если б можно, у каждой зверушки, у каждой птички и у каждой травинки спрашивала бы, откуда они. Жажда спрашивать пекла меня и торопила. Это не от ума. Это от голода к знанию и от радости выяснять и понимать. И вот я в нарушение приказа тоже повернулась к Бекмергену, слушала его шепот и смотрела в живые его глаза... Вдруг вспомнила, что в девичестве своем дочь богатейшего манапа, свекровь моя Макмал понесла от кула. Значит, и она смотрела в глаза такого вот несчастного, в глаза, обращенные к ней с любовью и вожделением. Вот ведь как — дочь бедняка-букары, я все же откуда-то впитала, что кул не человек, и мне было

противно, как могла сойтись знатная девушка с рабом... Токтор лежал в нескольких саженях от нас и мог не слышать начавшегося разговора. А я так много хотела узнать. Справа от меня уснул под снегом и не трещал Гороховый Стручок. Как-то все стало обыкновенно, будто отдыхаем после долгой скачки. За все время нашего лежанья ни один из кашкоринцев не посмотрел в нашу сторону. Лица их были обращены к противоположному ущелью, откуда ждали приезда всадников.

Бекмерген рассмешил меня, сказав, что отбитый его кедеями табун лошадей в девяносто голов он собирался пригнать ко мне, как к наследнице бая. Что бы я с ними делала? Еще больше рассмешил тем, что кедеи с голодухи набросились на табун и резали сперва по три, потом по две и, наконец, по одной лошади в день. У них не было казанов, они жарили мясо в костре и пожирали без соли.

— Сорок кедеев за месяц съели пятьдесят лошадей — больше половины по праву принадлежащего тебе табуна.

— А теперь доедаете остальных?

Бекмерген сказал:

— Нет, угоняем у других баев. Эти кедеи, которых ты видела,— они в большей своей части не томояки, не байкуши и не малаи. Когда я выехал от Токтора на южную сторону хребта и поскакал в направлении Джалал-Абада, мне встретился отряд из шести всадников и девяти пеших, которые все оказались бежавшими от поборов и осужденными за буйство против своих хозяев. Это были южные киргизы, наполовину одетые как узбеки. Голодный люд, перешедший три хребта и падавший от усталости. Мое пещерное войско пополнилось, правда, и северянами, но основой были южные чайрикеры и мадрикеры. Они думали на севере найти спасение, как я думал обрести свободу на юге. Тогда я, вспомнив, что после убийства Кашкоро начнутся беспорядочная откочевка, скандал и дикость, предложил беглецам с юга пройти с ними через расселину к этому вот лесу и отсюда совершить нападение на табунщиков мертвого Кашкоро... Нам помогла вьюга. Когда б преследователи были упорны, поймали бы нас и убили...

...Я готова была слушать и слушать... Вдруг нашла себя в его глазах и рассмеялась своему виду. Рассмеялась тому, что Бекмерген видит мальчишку, каким я отражалась в его зрачках. Нельзя было смеяться. Он вспыхнул злобой. Наверно, так же, как я в первые дни жизни у Токтора обижалась на каждое слово, подозревая насмешку, так и он в смехе моем услышал, что вот, мол, разговорился презренный кул. Не знаю, чем бы это кончилось — внизу возник шум. Кыштак зашевелился.

* *
*

Со всех сторон, от каждой юрты, неспособные удержать степенность, люди побежали к тому свободному месту, которое лежало за кыштаком. Площадь не площадь, а точнее всего пустырь. Там не ставили юрты, потому как встречные ветры из двух ущелий извечно вели в том месте борьбу, вздымая песок и мелкие камни. На этом пустыре нерадивые хозяйки сваливали нечистоты, в них копошились собаки, играли, гоняясь друг за другом, ребятишки. Но там же собирались перед походом, творили суд, устраивали скачки и борьбу, благо не надо было далеко ходить — кыштак стоял рядом.

Вот на этой-то площади и образовалась толпа. Пока молчаливая, но готовая начать крик и выть в остервенении.

Во мне явилось напряжение всех членов: как туго перекрученные арканы, сами собой стали шевелиться руки. Голова потянулась вперед. Я забыла о ружье — к нему еще не привыкла. Мне так хотелось оказаться в толпе, сжимая в руке камень!.. Против кого? Ах, если б годом назад случилось подобное, я, не раздумывая и не рассуждая, поспешила бы швырнуть камень в приговоренного — виновного, а равно и не повинного ни в чем. Хотела бы оказаться первой... Неужели и правда так? Откуда является жажда убийства? Невозможно поверить, что передалась ко мне от доброй матери моей Асыл или от сострадательного отца моего Ыбраима.

Нижнее шевеление народа откликнулось и в нас. Мы приподнялись, желая увидеть Токтора и получить от него знак к тому или иному поступку. Вспомнив о ружье, я прилежно, подражая Мукашу, давила прикладом свое плечо, закрывала левый глаз, а правым искала поверх мушки толстого бия. Его еще не было. Первыми прискакали из ущелья гонцы Гундоса. Посреди площади оказался мулла. По движениям его рук можно было понять, что требует очистить площадь и объясняет народу, в каком порядке должна происходить казнь,— кто швырнет камень первым, кто вторым и кто третьим. Конечно же, в таком празднестве должно проявиться и показать себя сословное право, возрастное право, мужское право и всякое другое право на лучшее и удобнейшее место для обозрения происходящего и радости швыряния камней.

Мы ждали приказа Токтора, а тем временем из ущелья выползла медленная змея плотного шествия. Первым шел гнедой иноходец с восседающим на нем большеголовым и седобородым, великолепным своим одеянием Батыркулом.

Дрогнуло мое сердце: царственный бай и он же родственик отца моего ребенка — значит, родственник и мне?!

Значит, родного своего держу на мушке?

Что только не крутится в голове! В дурной голове, забывшей, что и Кашкоро, убивавший направо и налево, терзавший каждый клочок моей живой кожи... и он мне приходился родным и близким. Ой-е! Как быстры мысли! Как плохо подчиняются уму! А разве мысли не от ума? Может быть, ум от мыслей? Может быть, хороша и глупость, если способна рождать мысли пустые и скверные?..

...За торжественным иноходцем Батыркула, не желая опережать его, шел мохнатоногий, тяжелый, подобный быку, желтоглазый жеребец, на спине которого восседала многопудовая бочка Айдыралы. Мушка моего ружья сама потянулась к тому месту, которое у людей именуется головой. У судьи надплечный его бугор венчался тебетеем, край которого лежал на жирном горбе спины.

Я искала, где в жире его лица глаза, но увидела узкие щелки, похожие на складки разжиревшей от старости собаки...

А ведь за двенадцать лет до того эта груда жира скакала на теле моего отца Ыбраима. Вспомнив то страшное дело, я чуть не спустила курок ружья, но удержалась и обрадовалась, что могу собой владеть.

По бокам судебного шествия следовали друг за другом охранные джигиты с саблями наголо. Где-то между их рядами, привязанный к крупу тощей кобылки, сидел, опустив голову, осужденный. Без шапки, в одной рубашке: как потом узнала, он вымолил у судьи, чтобы единственный в семье кожух был отдан старшему его сыну; ах, это была большая радость для мальчишки — кожух отца...

В хвосте, понурившись, ехали на разномастных конях аксакалы Батыркулова племени. Их участие в казни не определялось законом. Въезжать в чужой, враждебный кыштак как виновные... О, как это им было мерзко! Значит, подчинились воле Батыркула. Подчинились по уму понимания, но не по охоте своей. Знали, что глава их рода устроил все это для самовозвышения перед выборами нового болуша...

...Встрепенулся Мукаш. Потеряв себя, стал трещать:

— Токторр, Токторр! Где обещанный тобой бррат мой Тентемирр? Ты сказал, что будет. Я хотел застрелить. На что мне все другие, если не могу убить бррата?!

Я думала, все, кто внизу, повернутся сюда, но если и услышали голос Мукаша — посчитали, что стрекочет сорока.

...Я бы так хотела вам, дорогие мои, рассказать, чтобы ясно увидели все происшедшее в то февральское утро на площади кыштака кашкоринцев.

Не забывайте, что охранные джигиты для того и держат сабли наголо, чтобы рубить народ, если кому придет намерение вмешаться в дело правосудия и повредить исполнению казни.

Эти кормленные пшеницей с маслом, специально обученные жестокости джигиты кровь полагают молоком своим. Им ничто жизнь другого, а для себя смерти не ищут. На счастье, огнестрельное оружие им не доверяли: такова была воля военного губернатора, который хотел бы отнять ружья даже у охотников.

Что сказать об их конях? Приучены были гарцевать, но годились и для джигитовки. Бий старался держать у себя красивый отряд, чтобы и кони и наездники были украшены, однако жалованья им не платил и все снаряжение, кроме сабель, они должны были добывать себе сами. Грабеж и резня — вот что их кормило и одевало. Избалованные сытостью, они привыкли к неуязвимости и ждали, чтобы народ склонялся перед ними, как перед баями. Аксакалы племени Батыркула, хоть и намного более богатые, перед этими джигитами казались едва ли не бедняками.

Вот и поймите, что это такое. Торжество судейской «справедливости» или же торжество во имя пышности и устрашения.

Еще об одном не должна забыть. Да нет же, нет, такое забыть невозможно. Капризный и разукрашенный побрякушками и лентами, носился на жеребчике-трехлетке то к голове шествия, то к хвосту небольшой и ловкий, который забыл, на какое страшное дело приехал, забыл мать и отца. Джигитенок с лицом веселым и радостным. Это был муж мой, которому по закону принадлежала,— одиннадцатилетний муж мой Белек. Чему радовался? Уж не думал ли с помощью Батыркула вернуться в кыштак отца малолетним повелителем? Въехав в ущелье, стал оглядываться, а на приветливые улыбки и поклоны своего народа отвечал презрительным кивком и все искал, что-то искал...

А я и сама искала того же самого: где в сердце кыштака белая байская юрта. Ах, не могли кашкоринцы додуматься, что недоросток по имени Белек явится к ним под рукой лютого врага, хитрейшего из хитрых — Батыркула. Гундос и Музафар, которые правили, еще не утвержденные высшей властью, увидев Белека, кинулись в ноги его коня. Я не видела раньше, чтобы кидались так даже перед лицом самого Кашкоро. Но и это мой быстрый ум схватил и объяснил. Так падают ниц виновные. Как же им было не чувствовать себя виновными, если похоронили останки матери его Макмал в отсутствие сына? Как же не быть

им виновными, если имущество разграблено, а золото с покойницы исчезло? Да ведь и юрту — белую байскую юрту — не годилось при жизни наследника прятать где-то в сложенном виде.

Может быть, так, а может быть, иначе. Допускаю, что надеялись на смерть этого последнего представителя владетельной семьи. Не обо мне же хлопотали. Хлопоты обо мне означали бы погоню за Бекмергеном и мое освобождение из рук кедеев. Но и Гундос, и Музафар с радостью предпочли такое решение суда, по которому получалось, что убийца Кашкоро не кул его, а несчастный из враждебного племени. Его кровью они мстили и за Жайнака, и за Кашкоро, и за Макмал.

Как же было дальше? Смотрите и слушайте.

Вот как было дальше.

Охранные джигиты, обогнав Батыркула, расположились на своих конях просторным кругом. По правой стороне площади, если смотреть с нашего выступа, лежал удобный для проповедей и речей черный камень. Первым на него взобрался бий. О, на это стоило взглянуть! Ему помогали, а он все скользил, и кончилось тем, что вкатили, как вкатывают на подставку большую бочку. Вкатили, а потом помогли утвердиться на ногах. Никто не смеялся, потому как было страшно. Раньше я сравнивала его с бочкой, сейчас сравню с приготовившимся к удару огромным быком. Он привез кашкоринцам радость мести над представителем враждебного рода, а держался так, будто хотел всем, кто стоял с камнями, гибели и смерти. Он сказал:

— Убийца найден!

Сказав эти два слова, запыхался или не знал, чем еще порадовать.

Хотела бы я понять: неужели такие вот жирные и окровавленные делами своими властители не чувствуют всеобщей ненависти, окружающей их!

Нет, не чувствуют! На то им и жир. На то им и богатая одежда, и соболья шапка.

Отдышавшись, бий продолжал:

— Убийца главы рода и его байбиче, презренный из презренных, глупый из глупых, надеялся спрятаться от всевидящего ока аллаха и нас, представляющих Мухаммедов закон на земле... Эй, джигиты, поставьте его перед народом. Пусть лижет землю!

Джигиты развязали под крупом лошаденки ноги осужденного, и сейчас же упал с нее полуживой и полуголый Мадияр. Упал и потащился на коленях к тому месту на площади, которое удобней всего было для ташбарана. Никогда здесь не бывав, он сам выбрал свое место для смерти. Он не молил о пощаде, не плакал

и ничего не говорил, только жалобно подвывал: может быть, и не знал, что подвывает.

Согласно закону ему принесли в большой глиняной плошке дымящиеся паром куски мелко рубленного мяса, и он, много дней голодный, забыв о человеческом своем облике, упал лицом в мясо и, обжигаясь, жрал.

Бий произнес:

— Вот, смотрите, кашкоринцы, что нашли мы в юрте Мадияра.

Он выдернул из-за пазухи и, расправив на руке, поднял перед народом великолепный куний тебетей Кашкоро, известный тут каждому от мала до велика. Народ криками возмущения подтвердил, что видит тебетей царственного владыки. Бий продолжал:

— Подданный бая Батыркула капканный охотник Мадияр признался перед судом аксакалов, что убил вашего господина и, убив, взял. Признался он и в том, что незадолго до того, в час нападения на ваш кыштак стаи волков, пробрался в байскую юрту и подсыпал в питье спящей байбиче горсть смертельно ядовитого порошка. Э-эй, Мадияр, подтверди, что слышал и что признался.

— М-м-м! — промычал, не забывая жевать и глотать, осужденный.

После того рядом с бием оказался на черном камне величественный своим одеянием и красивой бородой великолепный Батыркул.

Кашкоринцы встретили его угрюмым ревом. Ах, они бы хотели, чтобы этот бай спустился на место Мадияра и жрал сейчас предсмертное варево.

Однако ж звонкий и едва ли не веселый голос Батыркула привлек всеобщее внимание:

— Кашкоринцы, волостной выборный судья привез вам долгожданный мир наших народов. Сколько было раздоров и взаимных обид! Сколько лет я и люди мои не хотели видеть вас, а вы не хотели знать ни меня, ни жен моих, ни родного мне племени! Все от аллаха, кроме того, что делает шайтан. Шайтан прокрадывается в наши незащищенные души, чтобы поднять руку с ножом, с ядом или с камчой. Вы знаете все, как виноваты мы были тем, что кто-то утопил сына Кашкоро Жайнака. За это получили от нас кун — возмещение, но кун без крови не годится для мира. Сегодня привез вам кровь виновного, стыжусь за него и, как стыдливых и кающихся, привел к вам на поклон аксакалов нашего рода. Что может быть выше божьей справедливости? Что может быть лучше мира в стане киргизов, когда кру-

гом плещут волны громадной крови многих народов царя русского, над нами стоящего? Сплоченные в своей слитности, мы отныне — как батыркулы, так и вы, кашкоринцы,— скрепим этой казнью над одним из наших подданных, казнью правдивой и доброй, дружбу во веки веков. Я слышал, вы стенаете о пропаже дорогого наследника вашего бая. Вот он. Под рукой моей резвился и рос. В знак полного доверия мне оставил его на время отъезда отец и повелитель ваш Кашкоро. А уехав — пропал. Вы откочевывали, и я откочевывал. В хлопотах откочевки, хоть мы и старались искать пропавшего бая, но сил было мало, и только счастье, посланное рукой аллаха, помогло обнаружить... Сегодня праздник. Большой праздник, небывалый праздник, и мягкое солнце сопутствует делу божьему.

...Он изливался в высоком и радостном плаче торжества справедливости божьей. Он так говорил, как говорит, вытянув шею, глухарь на ветке. Говорение ему было слаще еды и питья, слаще женщины и слаще детской любви... О нас, лежащих на выступе, никто не знал, а мы все видели и слышали. Между тем Мукаш все трещал понемножку, жалея, что нет среди приехавших самого болуша — его брата и кровного врага. Тогда Токтор нам всем приказал отползти назад и подобраться к своим коням. Мукаша он оставил на выступе с ружьем и сказал:

— Сейчас мы сюда подъедем верхами и встанем. Как только встанем — ты должен пулей сбить тебетей с головы этого петуха, который еще долго собирается кукарекать. Одним выстрелом собьешь? Но только так, чтобы испугался, а не умер. Нам его труп ни к чему, пока не завершим своего дела.

— Ах, старый колдун, старый колдун! — протрещал Гороховый Стручок.— Подсовываешь вместо болуша шапку жалкого кула... Ладно, ладно, идите, возвращайтесь, становитесь, где надо, Мукаш свадьбы не портит. Голова так голова, шапка так шапка.

Как сказал Токтор, так и произошло. Меня он поставил на моей кобыле, как джигита самого младшего, с левого фланга. Бекмергена, как могучего ростом, сделал правофланговым и всем велел взять ружья наизготовку.

По нынешнему своему представлению могу определить высоту нашего каменного козырька над площадью примерно такой, как плоская крыша трехэтажного дома. Это значит — мы все
слышали и отчетливо видели, но для охранных джигитов на их 10
конях были недоступны. Однако ж справа сюда вела отлогая тропа и дальше поворачивала к лесу. Конечно же, только потому, что народ был поглощен предстоящей казнью, нас до сих пор не увидели, хотя мы стояли верховым строем. Один Мукаш

оставался лежать — его белую лошадь мы подвели, и она смирно ждала, пока хозяин пожелает на нее сесть. Он не желал. Он знал, что сейчас понадобится Токтору. Он уже перестал трещать и прилежно целился.

В великом нетерпении ждал народ завершающих слов примирительной песни Батыркула. Уже и судья толкал его под бок, уже и мулла показывал ему взглядом, что речью своей надоел и замучил. Не тут-то было! Этот сильный и мудрый дождался пули Мукаша.

Я помнила, что Токтор спросил Мукаша, сумеет ли тот сбить пулей тебетей с головы Батыркула, и Мукаш ответил: «Голова так голова, шапка так шапка». Быстрая моя мысль усомнилась в возможности такого выстрела. Пуля — не стрела и не удар плетью. Пуля не собьет, а насквозь пробьет тебетей, а вместе с ним и голову. Тебетей не папаха и не высокий колпак. Все забыла. Как ребенок, впилась зрением своим, выбирая поверх мушки, куда надо попасть. Над тебетеем бая возвышались перья фазана. Так ведь пуля, если бить по ним, срежет их, как тростинки. Только одно место, одна точка годилась для пули — вправленный в бархат над мехом большой самоцвет, сверкающий на солнце. Однако ж камень разобьется, а шапка останется на голове. Теперь все зависело от того, как подготовился бай Батыркул к празднику — с уважением или небрежно. Если с уважением — значит, несмотря на раннее время выезда, тщательно обрил голову и намазал маслом. Если же сохранились волоски — это хуже: шапка будет цепляться и останется на голове. Как я могла сообразить все эти условия до выстрела Мукаша? Бог мой, я даже выстрела не услышала, прежде всего следила за головой говорящего бая. Но зато весь народ услышал и сразу же повернулся к нам. Нет, раньше, конечно, увидели сверкающую маслом голову Батыркула и то, как летел тебетей, а потом уж обратили свои взоры в нашу сторону.

Выстрел в кыштаке.

Выстрел в кыштаке был редкостью в те годы. Недаром же так боялись баи ружья Токтора. Помните, когда приезжал защищать меня — наставил дуло на Кашкоро, и тот испугался. Ружья были, но только у очень немногих. Пулей заряжали, желая убить медведя или барса или же в тех случаях, когда в глухом лесу подстерегали лютого своего врага. Уже говорила: охранные джигиты вооружены были саблями. Но что сабля против пули!

Нас было девятеро на конях с наставленными на кыштак ружьями. Такого отряда не видели кашкоринцы. Я думала услышать всенародный рев, а вместо него услышала тишину. Еще

миг — и услышала цокот копыт. Нашелся смельчак среди охранных джигитов и понесся, размахивая саблей, по тропе в нашу сторону. Что ж, двадцати шагов не проскакала его лошадь и была сбита меткой пулей Токтора. Сразу же перевернулась и дико заржала в предсмертных судорогах. А джигит с саблей нырнул в снежный сугроб и, живой или мертвый, там остался. Так началось долгое молчание, как бы всеобщее окоченение. Не знаю, сколько бы продолжалось, но тут заплакал ребенок.

Заплакал ребенок годовалого возраста на руках у матери. И случилось удивительное. Батыркул со сверкающей головой, не подбирая с земли свой тебетей, быстрыми шагами оказался возле этой матери чужого для него племени и вырвал младенца из ее рук, как бы желая объятиями своими защитить от стрельбы. Этим он показал народу доброту и просвещенность. А между тем устроился так, чтобы аллах спасал от выстрелов не одного, а двоих. Неужели догадался, что разбойники берегут детей лучше, чем охранные джигиты?!

Бий, оставшись на камне без поддержки, согнул под собственным грузом колени, а потом и вовсе лег, но и в лежачем виде был нисколько не ниже, чем в стоячем, и поторопился скатиться на землю.

А дальше было вот что.

Не Токтор, как я думала, поехал к народу, а Бекмерген. Он спускался медленно и степенно. В куньем тебетее виделся святым шейхом. Его сразу же признали. Токтор стоял у переднего края выступа, красуясь на гнедом жеребце Кашкоро. Этот жеребец учуял родное свое поселение и, неохотно подчиняясь властной руке всадника, стремился едва ли не спрыгнуть с высоты. Он бешено вращал глазами, ржал и визжал лошадиным голосом, как бы призывая народ вмешаться и освободить от разбойника.

А Бекмерген ехал. Конь его задирал ноги, понимая, что делает. Танцевал почти на месте. Радовался радостью хозяина в черной шубе.

Долго так продолжаться не могло. Бекмергена узнали, и народ на него смотрел угрюмо. Я уже говорила —всем было известно, что кулы бесправны и несчастны, однако любить их было не за что. Подчиняясь воле бая, кул способен был и ударить, и придушить, и даже рассечь надвое. Бекмерген был известен как старательный, как любимая плеть Кашкоро. И хотя знали, что взбунтовался, на хорошее от него не надеялись.

Начал не Бекмерген. Началось речью Токтора. Без бороды, в чужом кожухе он был не похож на себя, и его принимали за чужого. Но я за него боялась. Ведь голос его слышали во всех

кыштаках. Голосом он сотрясал скалы и держал в страхе власть имущих. Заговорит — и его узнают. Тогда для чего было переодеваться, брить голову и лицо? Однако ж он, как колдун, умел многое. Мы услышали высокий и резкий звук никому не известного голоса, звук, подобный щелканью бича:

— Э-эй, охранные джигиты бия! К вам обращаюсь. Бросьте на землю сабли!

Джигиты поспешили выполнить приказ.

— Э-эй, кашкоринцы! К вам обращаюсь от имени пещерных кедеев. Держите и вяжите бия и муллу, не выпускайте Батыркула. Следите за всеми аксакалами и полубаями, как за своими, так и за приехавшими! Сейчас услышите суд — новый суд избранного нами лесного атамана. Говори, Бекмерген!

Раньше, чем говорить, Бекмерген подъехал к осужденному, который, покончив с предсмертной пищей, ждал казни. Он не понимал, что мы приехали его спасать. Может быть, оглох, а может, и поглупел от пыток. Бекмерген наклонился с седла, поднял осужденного и положил перед собой. Своей волей он перерезал на руках несчастного путы, но тот остался скрюченным, не решаясь расправить руки и ноги. Бекмерген с лежащим подобно мешку осужденным подъехал к черному камню и принудил коня подняться на него. Это был хороший конь, понимающий любой приказ. Он удержался бы четырьмя ногами не то что на плоском камне, но и на круглом валуне.

Наученный Токтором, Бекмерген сказал:

— Люди, выберите троих самых злобных и несправедливых. Поставьте передо мной. Буду. Их. Судить!

Он хорошо сказал. Голосом тяжелым и внушительным. А сказав, покосился на меня, и я догадалась, что научился важности за минуту до этого. Поняла, что говорит меньше для народа и справедливости, чем для меня... Душа моя вспыхнула. Опять сравнила Бекмергена с Серкебаем, который не смог бы так сказать. Он умел только, пугая птиц, громко петь.

Взгляд Бекмергена заметил Токтор, заметил и народ. Ведь всем было известно, что бежавший кул меня похитил. Неужели узнали в наряде джигита?

Бекмерген ждал, кого поставит народ для суда. Произошло замешательство. Сперва схватили самых ненавистных из своего кыштака: Гундоса, Музафара и муллу. Тут же поторопились прикатить бия, а Батыркул — хоть и был он владыкой враждебного рода и самым заметным из всех — укачивал чужого младенца и едва ли не баюкал. Лицо его источало мед нежности. Лысина его повторяла в круглости и блеске небесное светило. Удивляюсь, как не выросли за плечами его белоснежные крылья.

Тогда нашлось бы, за что его хватать и тащить, не задевая младенца.

— Дурачье,— домашним голосом сказал Бекмерген.— Не знаете самых мерзких.

— Знаем, знаем! — закричали из народа и приволокли еще шестерых полубаев, и доносчиков, и палачей, и жестоких к женам.

— Не смешите меня,— сказал Бекмерген.— Я разбойник, разбойники не должны смеяться... Поставьте в первый ряд жирную бочку Айдыралы, муллу и Гундоса. Батыркула поставьте отдельно и оторвите младенца от его груди. Если дитя насосется — умрет от злобности и хитрой желчи.

Все было исполнено: ребенка отдали матери, а Батыркула схватили и держали.

Тогда Бекмерген сорвал со своей головы тебетей и показал народу:

— Смотрите — вот тебетей Кашкоро!

— Лживый пес! — взвизгнул под рукой народа волостной бий Айдыралы и поднял тот тебетей, который показывал раньше.

Бекмерген велел принести ему и теперь держал в двух руках два тебетея, отличить которые было невозможно.

Волостной судья моргал глазами, не понимая, как могло такое случиться.

— Разве две головы было у бая Кашкоро? — спросил Бекмерген, вызвав смех народа.— Не этот несчастный, которого довели пытками,— я сам снял с вашего бая его тебетей. Взял тебетей и увел коня. Взгляните вверх и увидите серого в яблоках иноходца Кашкоро. Кто взял шапку, тот взял и коня! Теперь иноходец под лучшим моим мюридом Юсуфом.

Серый отозвался громким ржанием, как бы подтверждая, что все видел и это правда.

— Теперь взгляните направо! — продолжал Бекмерген.— Кто взял шапку и коня, тот взял и невестку-наследницу. Эй, джигит, сбрось малахай, пусть увидят кашкоринцы, кто ты есть!

Я покосилась на Токтора, и тот взглядом дал мне знак занять его место у края выступа. Я подъехала так близко, что кобыла моя от страха заржала.

— Неужели джигит оседлал кобылу? Разве так может быть? — продолжал Бекмерген.

В народе начался шум. А я сбросила малахай, и все увидели, как разметались мои косы.

Что тут стало! Народ забыл подсудимого и казнь. Раздались голоса:

— Аруке!
— Ой-е, смотрите — невестка бая!
— Тьфу, позор, женщина в одежде джигита!..
— У пещерных кедеев она растолстела...
— Стала румяной...
— Сытой...
— Красивой и рослой...
— Проклятая, сойди с кобылы!

Кто радовался, а кто плевался. Гул толпы мешал начатому делу. Стало слишком шумно, и нарушился порядок. Обративши лица ко мне, отвернулись от Бекмергена.

Мукаш выстрелил в воздух, и еще кто-то из кедеев выстрелил. Толпу охватил страх. Как вдруг, не задетый страхом, проскакал через площадь небольшой и ловкий, разукрашенный побрякушками и лентами, дерзкий и бешеный. Он стороной обошел на своем жеребчике толпу, вырвался к подъему на выступ и вскричал ликующим голосом:

— О моя жена! О, моя Аруке! Ты ко мне вернулась! Ты меня не забыла!

Это был Белек, связанный со мной таинством брака — малолетний мой муж и сын главы рода. Он смешон был мне, и я не понимала, для чего кричит, зачем скачет. Даже Токтор не ожидал такого: не выстрелил и позволил мальчишке взлететь на скалу, где мы стояли.

Сколько раз после бегства видела я этого капризника и мучителя во сне! Видела волосатым и огромным, с камчой и с ножом. Боялась и ненавидела... Но есть различие между ненавистью к взрослому и к ребенку. Конь его споткнулся, и он на всем скаку вылетел из седла: видно, поспешил.

Белек вылетел из седла, покатился через голову и сразу же заревел истошным голосом, подобно тому как делал при жизни матери и отца, ревом и капризными судорогами призывая на помощь.

Что делает привычка! Ах, что делает привычка!

Я привыкла лелеять Белека и успокаивать. Вот и сейчас, не знаю как, повернула свою лошадь, чтоб приблизиться к малолетнему и поднять с земли. Токтор смотрел в удивлении. «Неужели так глубоко пропитало тебя рабство?» — спрашивал его взгляд.

Это видели кедеи, видел Мукаш, видел Бекмерген, видел и слышал народ. Белек визжал, будто его режут.

— Эй, Аруке,— приказал мне Бекмерген,— пристрели байского щенка.

Помня о клятве, я прижала ружье к плечу. И уже поймала

спусковой крючок и прищурила глаз... Но... выстрелить не смогла.

И никто из кедеев в байского сына не выстрелил.

Тогда нашелся умный. Вскочив на свою белую лошадь и подняв ее на дыбы, Мукаш сделал вид, что сейчас перепрыгнет мальчишку. Он затрещал своим стручковым голосом:

— Вот сейчас перепрыгну. Перепрыгну, перепрыгну и не будешь расти! Не будешь, не будешь! Останешься таким, как я!

Белек тут же оказался на ногах, вспрыгнул на коня и под смех народа ускакал к лесу.

Эта глупость с Белеком длилась недолго. Однако вредное для торжественности веселье расслабило решимость и ужас происходящего.

Чтобы вернуть тишину, надо бы снова стрелять. Но сколько можно пугать стрельбой в воздух?! Так что же делать? Неужели уходить ни с чем? А может быть, гнаться за мальчишкой? Понурившись, я вернулась на свое место у обрыва. Теперь по мне скользили небрежные взгляды.

Бекмерген же, находясь перед народом, на судейском месте, хоть и жестокий с виду, в новой своей должности потерялся. Бий, мулла и другие, всей жизнью своей привыкшие к важности, раздувались в надменности. Я заметила, что подают знаки охранным джигитам, и те наклоняются за саблями.

Подъехав ко мне сзади, Токтор прошептал:

— Говори! Говори громко! Как можешь громче!

— Что?

— Что хочешь: кричи и беснуйся, рви на себе волосы, вопи, царапай лицо!

А я не сделала, как он велел. Не расцарапала щеки, не завопила и не стала драть волосы. Я заплакала самым высоким голосом, какой помнила — голосом Акзыйнат. Не знала, что так могу. Еще не исчерпала силы справедливости, живущей в моей душе.

* *
*

— О-о родные мои! — плакала я, поднимая очи горé.— О-о кашкоринцы! Слушайте байскую невестку, битую поперек тела и вдоль тела, по голове, по рукам и по ногам! Рубцы мои проросли вглубь и сделали душу мою железной... Бай, купив дешево, отнял меня у бедного моего отца, бай оторвал меня от матери, чтобы уложить с полудурком Жайнаком... Все вы знаете, все вы видели — не Серкебай утопил Жайнака...

— А кто?

— Кто?..

— Кто?! — трижды выдохнул народ.

И я поняла: меня слушают. Поняла и стала петь в плаче не одним только голосом, но и всей остротой и твердостью железной своей души:

— Не был и никогда не жил на свете сын Кашкоро Жайнак. Он был зачат от кула, презренного и жалкого, однако великого своей любовью к дочери манапа Макмал... Все это знали, и вы знали. Однако ждете за кровь сына кула, как за кровь сына наследника главы своего племени. Как же так, а? Разве не говорит коран устами Мухаммеда, что дело богово — справедливость?..

— Эй, женщина! — возопил оскорбленный мулла.— Кто и когда позволил тебе обращаться смердящим своим голосом к слову корана?! Кто и когда?!

А я и не говорила как женщина. Мой голос шел из меня, но значил гораздо больше и жил во мне, рожденный всем народом.

— Ты не мулла! — закричала я, не зная, как это явилось в моей голове.— Ты не мулла, а скверный вор и гнусный растлитель. Девяносто девять грехов влачатся за тобой, как выпавшая кишка. Слушайте, люди, слушайте! Говорила о приемыше бая Кашкоро, взятом им в чреве и признанном сыном по имени Жайнак, о приемыше для богатства и власти. Рожденный Макмал, сын кула — значит, был он и сам кул... Вам ли не знать, как с детства поленом убивал ненавистного приемыша ваш и мой бай? Вам ли не знать, что доведен был до тупой дурости и бессмысленности взгляда? Где правда? Где ваша, от бога вам данная, правда и почему боитесь ее? Когда возьметесь за ум истины и мысли? Я спрашивала, кто убил Жайнака, и вы спросили: «Кто?» Если пошлете на рога быка младенца, тупого и неразумного, и скажете младенцу: «Убей быка!» — будет ли так? Или будет, что младенец окажется на рогах быка, а вы назовете разъяренное животное убийцей? Кашкоро мечтал, чтобы ненавистный ему наследник, рожденный от связи жены с рабом, умер и не наследовал ему. Бил, но не добил по одной только трусости... Вы многое знаете и еще больше слышали, однако ж не могли слышать клятву Кашкоро, данную им семнадцать лет назад: за унижение, принятое им женитьбой на обесчещенной, женить наследника своего на дочери букары. Спросите: «Как можешь ты, которой сейчас шестнадцать лет, знать, что было перед рождением твоим?» Вы спрóсите, а я отвечу: «Мне свекровь моя рассказала, плача жирной кровью бездельной жизни.

Свекровь, которая тоже была девушкой и, как я, любила, терзаясь любовью. Она, она мне исповедалась, сохранив в скверном теле своем крохотный кусочек живой души!» Так я вам отвечу, чтобы и ваши души хоть когда-нибудь просыпались для правды и чистоты... Вам Акзыйнат пела, и вы запомнили: «Жайнак был убит не ныне, его убивали с детства, его убивал отец его как неродного сына!» Кто такая Акзыйнат, если не волшебная душа всех киргизов?! Акзыйнат плачет — значит, народ плачет. Акзыйнат бессмертна, как правда нашей общей души. Бай послал своего наследника, чтобы умер под рукой любящего меня Сер-кебая. И Жайнак умер. Умер кул, рожденный от кула, и... не надо за него крови!

Так я сказала и услышала в ответ всеобщий ропот. Люди собрались на праздник всенародной казни, а я у них отнимала им обещанное. Толпа возроптала, желая остановить меня, но можно ли остановить поток и ливень? Я была потоком и ливнем, я была каменным обвалом и знала, что никто меня не перегрохочет. И я продолжала:

— О кашкоринцы! Не надо больше крови ненависти к несчастным. Если ж виновата любовь и от нее убийство — это означает, что раньше всех других виновата я. И вот я перед вами. В ваших руках камни. Рву на себе одежду и раскрываюсь грудью, налитой для новой жизни. Бейте меня и того, кто в чреве моем! Бейте, если сочтете виновной. И пусть свершится ташбаран!

Нашлись, которые замахнулись на меня. Но другие удержали их руку:

— Говори, говори, Аруке!

— Именем закона! — взвизгнул бочкообразный бий, но захлебнулся в визге: кто-то зажал его поганый рот.

— Продолжай, Аруке!

И вот как продолжала моя душа. Продолжала, не зная устали и страха, грохотала, пела и плакала свободным голосом, легким, как полет птицы, и тяжелым, как полет птицы, несущей в клюве своем птенцам их пропитание:

— Э-эй, люди! Бий визжит о законе. Каков закон бия Айдыралы? Всем грузом своим, мясом и костями своими он скакал на груди отца моего Ыбраима, чтобы за недоплаченную подать бедный мой родитель выдохнул ему кровь. А на ком из вас он не прыгал? Кого из вас не давил и не доил? Подручный шайтана, мертвящий всё и вся. Вор, призывающий закон. Он перерезал лозу на смерть невиновному. А что он знает и что хочет знать? Кашкоро тридцать лет убивал раба своего Бекмергена и дождался, что преданнейший его раб, бунтуя против

смерти, сам убил. Вот Бекмерген. Он перед вами и вам подтвердит!

— Так было! — сказал Бекмерген. И еще что-то хотел сказать, но я ему не дала:

— Так было, но так и не было! — сказала я, удивляя народ.

— Убив господина своего,— продолжала я,— Бекмерген человека не убивал. Потому как давний ваш и мой мучитель Кашкоро не жил, а гнил. Был ножом, был плетью, был страшным ядом, но все человеческое утратил... Нет, нет, не убивал Бекмерген, а рукой самого аллаха отдал смерти ей принадлежащее... Жена смердящего бая, ныне почившая свекровь моя Макмал за несколько дней до кончины говорила мне. Мне, мне вот в эти уши мои горячим шепотом обреченной доверилась: «Я ненавистна мужу своему, и он послал за страшным ядом. Любимого своего раба Бекмергена он посылал за иссык-кульским корнем...» Так мне сказала байбиче. А теперь спросите Бекмергена. Он ездил, и он привез, а сам Кашкоро растер в ступе.

— Так было! — подтвердил Бекмерген, сверкнув при этом на меня взглядом, показывающим восторг передо мной и моими словами.

Этот короткий взгляд успел обнаружить страстность души и самозабвенное стремление подтверждать все, что я скажу, и делать, как захочу.

В неистовстве моего говорения, грохота и крика железо моей души плавилось и кипело. Уже сказала: разорвала одежду на груди. Уже сказала: не было устали речи моей. Получив подтверждение Бекмергена, что тот привез иссык-кульский корень и видел, как сам Кашкоро растирал его для убийства Макмал, я перешла к дальнейшему.

— Вы, слушающие меня,— воскликнула я,— помните ли, как в ночь похорон Жайнака глава нашего рода подымал вас для набега против племени Батыркула?

— Помним! — единым голосом ответили мне кашкоринцы.

— Помните ли плач Кашкоро по убиенному и требование мести и клятвы на крови черного барана?.. Вспомните, вспомните! В ту ночь сердца ваши воспламенились жаждой боя. Руки ваши схватились за оружие, сами же вы были готовы и на великое убийство, и на собственную смерть ради... ради чего? О кашкоринцы, ради чего и ради кого?! Я лежала в юрте бая, полумертвая от побоев. Лежала, как тряпка для вытирания нечистот. Но уши мои слышали и глаза видели. Приехал вот этот великолепный бай, которого сейчас держите, чтобы не убежал. Святой ходжа и великий говорун, песнопевец справедливости и мира. Он и сегодня держал перед вами речь, прося убить

камнями подданного своего, ни в чем не повинного Мадияра — отца шестерых детей. Батыркул молил о крови, говоря, что кровь эта скрепит на вечные времена дружбу соседних родов. Этот Батыркул — он наружностью своей, одеждой и повадкой видится красивым и мудрым. Он не только богат, но и храбр, и не только храбр, но и хитер в своей храбрости. Приехав к нам в день отмщения, рисковал жизнью... Эх, кашкоринцы! Эй, Батыркуловы аксакалы! Зачем приезжал в похоронную ночь Батыркул? Зачем оказался в белой юрте Кашкоро, зная, что тот способен подвесить его вниз головой или, отрубив голову, насадить ее на кол? Он приехал, как благородный, говорил с ремнем на шее, чтобы добиться пощады своему народу и отвести набег и братоубийственную войну... Так или не так?

Народ, а вместе с ним и аксакалы соседнего рода ответили невнятным гулом. Кто говорил «так», а кто говорил «не так».

Тогда я сказала:

— Ах, вы не знаете, и я не знала, что и смелость может быть ради подлого дела. Батыркулу не мир был нужен и не братство наших народов. Наши аксакалы, уважая бесстрашие приехавшего бая, обошлись тем, что зарезали и съели его призового коня. И он сам ел, а я смотрела на него с восторгом, поражаясь величавой его мудрости и спокойствию. Но потом услышала, что было сказано за спиной аксакалов...

— Что?

— Что?..

— Что?! — снова трижды выдохнул народ, понимая, как много могу сказать.

Я не сразу ответила, давая раскалиться народному ожиданию. Я впилась всей силой своей в глаза бая. И он тоже смотрел в глаза мои. И все видели наш поединок. Батыркул под моим взглядом покраснел, как плод шиповника, на нем в мгновенье выросли длинные колючки, подобные тем, которыми защищается шиповник. А я не испугалась и не отвела глаз. И стало тихо. И с большого расстояния долетело до меня, как Батыркул шипит, не открывая рта. Но даже змея, если не отводишь от нее глаз, долго шипеть не способна. Перестав шипеть, отворачивается и уползает в траву.

Батыркул отвернулся, но уползти не мог. Я видела, и народ видел. Он побледнел, а потом и позеленел, напомнив лицом своим молодую и липкую еловую шишку. Может быть, хотел бы закричать и завизжать, но от долгого шипения весь выдохся и повис на руках тех, кто его держал. Ибо при всем могуществе богатства и при всей его хитрой смелости и он не был бессмертен.

Затих на руках державших его Батыркул великолепный. Тогда я, торжествуя победу, рассказала народу, как за спиной аксакалов приехавший бай ненавистного племени шептался с нашим баем, как предложил ему участие в большом торге, как ради большого торга свекор мой Кашкоро предал дело мести: отменил набег и даже на то пошел, что отдал бедной букаре захваченный косяк лошадей, чем вызвал дележ и расстройство в рядах наших воинов.

— Вот, братья и сестры, как на крови нашей сговариваются баи...

Сказав эти слова, я прислушалась к народу.

Знаете ли вы, что в каждой ярости народной свой, особый голос?

Ярость как в отдельном человеке, так и в массе людей не одинакова. Может быть высокой в своей воинственности и может быть низкой в своей жадности. В народе от благородства его вспыхивает ярость вдохновенного мужества. Но какова ярость обманутых и обиженных?

Я смотрела и слушала.

Все кашкоринцы в слитном существе своем вместе с аксакалами и полубаями, вместе с женами и детьми узнали от меня о таком обмане бая и повелителя, который кощунственностью превышал все содеянное за всю его кровавую жизнь. Не только голытьба, не только полубаи, но и правящие аксакалы выли с народом одним голосом. Охранные джигиты бия, знающие подлость в любых ее гранях, услышав мои слова, примкнули к общей ярости и вопили с народом.

Я подняла руку.

Движение, которого не могла знать, явилось само собой. Подняла руку, призывая слушать дальше. И от одного этого бешеный крик сотен глоток остановился.

Такова была власть приоткрывшейся правды.

Я дала людям мгновенье, чтобы остыли и могли понимать, дала им окоченеть в молчании. И они окоченели.

Солнце ярко отражалось на снежных склонах горной выемки, как бы ликуя и подтверждая спокойным светом, что есть величие правды и голубая небесная его высота.

Я не взглянула ни разу на избранного судьей и стоящего на черном судейском камне Бекмергена, хотя и знала, что он любуется мною. Половина души моей стремилась увидеть его пылающие глаза. Но сколько бы ни стремилась, не видела. Не было Бекмергена. Исчез Бекмерген. Исчезли отдельные лица, а на месте их возникло одно общее для всех лицо ярости, и внимания, и удивления, и еще чего-то... Одно общее лицо, на котором,

как гнойная болячка, виделся мне Батыркул; даже ненавистный мне судья и тот слился во всеобщем выражении.

Отсюда заключаю, что хуже Батыркула не было никого. Тогда я спросила:

— Что надо бы сделать с Кашкоро?

— Казнить! — произнес единый голос народа.

— Но как казнить уже казненного? — спросила я и продолжала: — Грифы, сипы, коршуны и стервятники разорвали нашего повелителя, унеся в гнезда все, что осталось от тела его. Кашкоро нет, но есть Батыркул, который живой перед вами, хотя и мертвый в душе своей. Спросим судью на камне, что делать.

Сказав так, я повернулась к Бекмергену.

— Казнить! — произнес оживший для меня и вновь явившийся глазам моим Бекмерген.

— Казнить!

— Казнить!

— Казнить! — подтвердил народ, а вместе с народом и бочкообразный бий Айдыралы, который надеялся смертью Батыркула остановить свою смерть или отдалить ее.

И уже поднялись руки с камнями против поверженного Батыркула и отошли от него державшие его, а он лег на снег, обхватив сверкавшую под солнцем голову ладонями. Но я остановила казнь и крикнула Бекмергену, чтобы приказал еще троим — мулле, Гундосу и Музафару — выйти вперед и встать рядом с бием Айдыралы.

Бекмерген приказал, и они подошли и встали.

Как вдруг мулла в своей грязной чалме воздел руки к небу, как бы призывая к молитве, и сказал:

— Велик аллах...

Больше он не успел сказать — я перебила его, зная, что голос мой сильней:

— Не аллаха зови, а шайтана. Не мулла ты, а хитрый вор. Не смотри в голубые небеса, а смотри в землю. Там, в пучине адовой,— твое место. Лучше я взгляну в небеса и спрошу, где золотые запястья с рук умершей байбиче, где монеты с ее элечека, где чеканные золотые чаши аяк-кап? Скажи мне, голубое небо, скажи мне, великий аллах, а я скажу народу.

Сколько-то подождав, пока дойдет до меня голос сверху, я вернулась взглядом к народу и, показывая на муллу, произнесла:

— Небо мне сказало — золотые чаши в сундуке у муллы. Запястья с рук у Музафара, кольца у Гундоса, а драгоценное ожерелье из жемчуга и рубинов ищите в доме волостного бия Айдыралы.

И сразу же после моих слов народ побежал к юртам муллы, Гундоса и Музафара. С криками и дракой открыли сундуки и нашли драгоценности. Нашли и вынесли на площадь.

И тогда началось такое, чего предвидеть я не могла... Вместо праздничной казни пошла потасовка. Не стало народа, возникла толпа. Я потеряла голос, и обо мне забыли. Колотили муллу, Музафара и Гундоса. Били, но не швыряли камни, потому, как все сгрудились, а Гундос плашмя лег на драгоценности. Гундоса стали оттаскивать, а тех, кто оттаскивал, били. Женщины и дети подняли крик и побежали кто куда. Охранные джигиты стегали плетками налево и направо. Четверо кедеев с нашей скалы спустились в толпу, чтобы отбить драгоценности. Забыли свои ружья и ввязались с охранными джигитами в конную борьбу. Кого-то кололи ножами, а кого-то стягивали с коней, и они оказались под копытами.

Бекмерген догадался бросить суд и судное место. Кое-как отбившись от наседавших на него охранных джигитов, он вырвался на тропу и поднялся к нам. Мы увидели, что верхом на коне уходит в дальнее ущелье Батыркул. И в тот же миг увидели, что широким махом бежит по краю горной выемки, минуя кыштак и дерущуюся толпу, белая лошадь с белым всадником на ней: Мукаш погнался за Батыркулом, и они скрылись в ущелье.

Бекмерген призывным свистом позвал своих кедеев, но из четверых поднялись на скалу только двое. Двоих кедеев и Мукаша мы стали ждать в лесу и, что было в кыштаке, не знали.

Мы поднялись выше и увидели, что площадь пуста, а посреди нее лежит подобное бочке одинокое тело бия Айдыралы. Даже сверху было видно, что снег вокруг него черен. Но были откуда-то слышны крики и вопли: это в противоположном ущелье дрались наши кедеи с охранными джигитами.

— Поскачем им на помощь! — приказал Токтор и стеганул своего иноходца, но тут же и остановился.

Мы услышали два выстрела. Значит, кедеи вспомнили о ружьях и пустили их в дело. А еще минуту спустя высоким полукругом по краю снегов стал приближаться к нам один из вооруженных кедеев. Он подъехал и, запыхавшись, остановился.

— А где второй? — спросил Бекмерген.

— Убит,— ответил кедей.

— Где Мукаш? — спросил Токтор.

— Поскакал за Батыркулом.

— Едем на выручку,— сказал Токтор.

— Поезжай, если хочешь,— ответил Бекмерген.

Он глаз не мог оторвать от меня, он ничего не слышал и не

видел. Он сбросил на землю полумертвого, спасенного от казни капканного охотника Мадияра.

— Садись ко мне на лошадь,— сказал Мадияру Токтор.

— Не могу,— ответил охотник.— У меня вывихнуты руки и ноги. Застрелите меня.

— Я тебя вылечу,— сказал Токтор.

— Убейте, убейте меня! — молил Мадияр.— Я никому не нужен. Свой кожух я отдал старшему сыну и не хочу его отбирать. Убейте, застрелите меня, я никому не нужен...

Токтор поднял Мадияра и посадил перед собой.

Я видела все это, но видела и то, как смотрит и ест меня взглядом Бекмерген, как примеривается захватить меня вместе с кобылой или хотя бы одну, без кобылы.

Понимая его намерения и боясь, что нападет, я в то же время хотела, чтобы напал.

В это мгновение опять повернулся в чреве моем неродившийся ребенок Серкебая и напомнил, кому принадлежит моя любовь и мое будущее.

Услышав, как живет и движется во мне будущий человек, я сказала Бекмергену:

— Уйди!

И он послушался и ушел со своими кедеями, а Токтор поскакал со мной старым кружным путем к своему дому. Впереди его седла лежал и стонал капканный охотник Мадияр, не мертвый и не живой, неспособный двигать руками и ногами.

Мы проехали тайным путем и оказались в деревянном доме Токтора. После чего спали подряд двое суток, не думая ни о пище, ни о жизни.



Глава пятая,

в которой Аруке узнает, как сложны люди в боязни друг перед другом. В ней пробуждается понимание ненависти слепой и ненависти зрячей. Она узнает, как много жадностей может жить в человеке и что есть не только плохие, но и хорошие жадности, равно как и хорошая боязнь, которая не чернит душу.

Снова и снова, дорогие мои, я перед стеной затруднений памяти.

Вспоминая, что было по возвращении в дом Токтора, вижу спокойствие белых снегов тянь-шаньской зимы. Слышу глухую горную тишину, сквозь которую даже полет птицы проникает в уши и заставляет поднять лицо.

...Это мне только казалось. Вернее, кажется теперь, в старости моей. Потому как не было для меня в моей дореволюционной жизни более тихого месяца. Но если журчит тонкоструйный родник, рождая движение воды среди камней, значит вольется в реку — станет частью потока.

Нас было в деревянном горном доме трое: хозяин наш Токтор, полумертвый Мадияр и та Аруке, какой вы еще ее не знали. Вы не знали, и я не знала. Все во мне бурлило и кипело, но, подчиняясь Токтору, я ничем своего беспокойства не проявляла. Он был недоволен и удручен или утомлен; думаю даже, что в нем возникла повседневная раздраженность, которую он хотел в себе подавить и подавлял.

Мадияр лежал в доме полутрупом. Не говорил и не спрашивал. Редко открывал глаза. Нас принимал как чужих и непонятных. Я никогда не ухаживала за тяжелобольными, тем более за мужчинами, а теперь пришлось. Он стеснялся, и я стеснялась, но Токтор мне приказал, и я делала, как он приказывал, терпя вонь и преодолевая отвращение.

— Так делают урусы в своих больницах,— сказал мне Токтор, но не объяснил, что такое больница, а я не знала.

Не зная, не спрашивала. У Токтора лицо было такое: «Не спрашивай меня ни о чем. Молчи! Делай, что велят».

Ах, я хотела бы, чтобы он сказал мне, какой я была в тот день на каменном выступе перед народом своего кыштака,

чтобы оценил мое поведение и мою речь! Не решалась спросить. Боялась.

Иногда мне думалось: все случившееся — сон. Но ведь вот лежит спасенный нами невинно приговоренный капканный охотник Мадияр. Я его кормлю и обмываю.

Да, был случай ложной тревоги, когда взбунтовалась свора, и Токтор уже приготовил два ружья с пулями, чтобы встретить непрошеных гостей.

Тревожно было в нашем доме. Токтор не был Токтором. Он походил сейчас на странствующего дувана́, на юродивого, который, как вы знаете, бороды не отращивает, а держит ее недоросшей, чтобы иметь вид жалкий и растрепанный. Могучий Токтор, похожий на дувана́!

В тот год сложность жизни мне была еще недоступна. В нынешнее же время, рассказывая вам, боюсь другого: получив образование, познав историю, написанную учеными, я то и дело воображаю, что и в молодые свои годы способна была охватить разумом действия властей, но так не было. Я все еще пребывала в невежестве.

...Ушли и пропали Кадыр с детьми и жена его Бюбюсар. Один голубь был у них с собой. С этим голубем они прислали первое и последнее свое письмо. Тут бы и задуматься: взяли голубя, чтобы, приехав в Пржевальск, сообщить отцу, как устроились жить в чужом месте. Нет, услыхав о несправедливом приговоре судьи, они послали сообщение об этом, зная, что Токтор все сделает для спасения невиновного. Ах, мне хотелось бы верить, что не одна Бюбюсар, но и Кадыр с нею вместе посылал письмо... Хотелось. Значит, и меня захватило дело справедливости. Но если так — значит, и без подсказки Токтора я могла сказать свою речь?

Когда-то теперь будет у Токтора известие о дочери и внуках? Он молчит, о них не вспоминает. Жестокий он или равнодушный?

Я не спрашиваю об отце и матери. Жестокая я или равнодушная?

Но у кого могли мы спрашивать?..

...Росла борода у Токтора, росли волосы на его голове, и так тихо было кругом, что иногда казалось — слышно, как растут. Токтор возвращался к привычному своему виду.

Росло дитя в моем чреве, и я становилась другой. И так тихо было кругом, что мне казалось — слышу стук его сердца.

Текла жизнь. Токтор лечил Мадияра примочками из разных трав. Разминал ему руки и ноги, добиваясь крика. Но Мадияр не кричал, только стонал.

Ни слова не сказал спасенный нами человек за долгий, тихий зимний месяц. Пугливо озирался, а когда не видел никого из нас, пугливо отплевывался. Сперва не знал, кто перед ним. А Токтор мне велел не называть его именем, и я обращалась к нему, говоря, как и раньше, «отец». Но пришло время, борода подросла, и Мадияр узнал Токтора и сказал:

— Токтор!

Сказал — и ужаснулся. И захотел убежать. И встал на ноги. И ноги его удержали. Но, сделав два шага, упал. Мы опять подняли его в постель, и тогда он заплакал.

Токтор не стал спрашивать, почему плачет отец шестерых детей, капканный охотник Мадияр, спасенный нами от казни. И опять шли дни. Я поила Мадияра молоком нашей коровы. Слышите, слышите? Я осмелилась корову назвать нашей. Так я и дом Токтора назову своим. Так и небо над головой окажется моей собственностью.

А была ли у меня когда-нибудь собственность, кроме куклы, сшитой матерью моей Асыл из обрезков материи, даваемой ей заказчицами. Был ли у меня свой скот?

Был, был! Собственностью моей было животное по имени Кумайык — длинноногая, тощая, рыжеватая, длинношерстая собака. Пес, который смотрел мне в глаза и лизал меня в нос, жалел меня, спасал от смерти. И я его любила.

Кумайык. Где ты, Кумайык? Нет тебя и никогда не будет: собаки не попадают ни в рай, ни в ад. Там собираются одни лишь люди, без животных и птиц. И некого им будет есть, и не на ком ездить, и никто их не будет сторожить, и никто не подпрыгнет и не лизнет в нос...

Ах, Кумайык!..

На обратном пути, когда после всего происшедшего скакали мы с Токтором из нашего кыштака по огромной подлунной равнине южной стороны гор, я увидела клочья рыжей шерсти и разбросанные кости, а потом увидела и обглоданную волками собачью голову...

И Токтор все это увидел, но не сказал ни слова. Равняясь по нему, промолчала и я.

Вышло же скорей всего вот что: мы уехали, оставив животных. Собачья свора без нас выла, корова мычала, овцы блеяли... Всего этого я не слышала, но ведь не могло быть иначе. Никто из животных, ни одна из собак по нашему следу не побежала. Только Кумайык. В любви ко мне не выдержал разлуки и побежал по моему следу. И встретился с волками. И погиб...

Так случилось с Кумайыком. Токтор ничем не показал, что о нашем друге надо плакать, и я не заплакала.

Но Токтор не заметил, как я переменилась, как научилась сдерживать слезы. Ведь всего этого я добилась для него, я для него не плакала, надеясь на похвалу.

Как часто учителя забывают, что не только ясность изложения нужна ученику, но и похвала, без которой он чахнет!

Все это так. Но зачем я вспомнила о Кумайыке, зачем рассказала? Затем, что не могу забыть преданность, верность и любовь.

Однако столько смертей было вокруг, что надо было собачью смерть не замечать.

Токтор, пребывая в тоске, однажды сказал:

— Ах, Аруке! Мукаш ускакал догонять Батыркула и где-то запропастился. Мы не успели с ним поговорить. Приехав из Андижана, он не привез мне газет и даже не рассказал, что происходит на фронтах. Где русские войска, где немецкие, где турецкие и австрийские; где французы и где англичане; на чьей стороне дерутся американцы; что творится на морях и что делается в российских деревнях и селах, как ведут себя рабочие на фабриках и заводах...

Проговорив это, Токтор глянул на меня, махнул рукой и чуть только не плюнул — увидел, наверно, тупость моего выражения, понял, что я больше думаю о смерти четвероногого своего друга Кумайыка, чем о тысячах и тысячах погибающих под снарядами и пулями неизвестных мне людей, неизвестных мне народов.

Такова жестокость темноты.

В другой раз я вспомнила, что бочкообразное чудовище, волостной судья Айдыралы остался мертвым на снегу посреди площади нашего кыштака. Вслед за тем я вспомнила, что он был мужем соперницы моей Мейиз и теперь она вдова... одна из семи его вдов.

Ну и что? Ну и вспомнила! А когда сказала Токтору, старик недобро ухмыльнулся.

— Помнишь, Аруке, мулла и бий грозили мне из-под горы? Тогда ты бранила меня — почему не пристрелил хоть одного из них. Неужели не понимаешь, что́ мы сделали? Ты говорила перед народом и не пулей, а речью своей умертвила неправедного судью. Ты, ты умертвила! Хотела этого?

— Хотела! — с неожиданной для себя пылкостью ответила я. — Хотела! Хотела!..

*   *
*

Что-то было неладно в доме Токтора. Но каждый час деревянная птичка открывала деревянную дверцу и деревянным голосом говорила свое «ку-ку».

Шло время. Какое оно было? Чье оно было?

*   *
*

После оттепели, которую в день спасения Мадияра вызвал Токтор, опять установился мороз без ветра. Вы помните тропу, ведущую с севера к дому Токтора? Кадыр ее заледенил, и ни один всадник подняться к нам не мог. Теперь мокрый снег перемешался со льдом, и хороший конь был бы способен одолеть крутизну. Токтор попробовал снова пустить воду, чтобы сделать тропу недоступной,— он не хотел незваных пришельцев. Но вода из запруды побежала тонкой струйкой, ледяная поверхность подъема осталась шершавой.

Старик проклинал все на свете. Был недоволен собой, недоволен морозом; он рассердился оттого, что я услышала, как ругается. Увидев меня, отвернулся. Ничего не объяснил, но я и сама сообразила — ему неприятно было, что замечаю его беспокойство.

«Как же так,— думала я,— если может управлять погодой, зачем бранится? Не лучше ли приказать теплому ветру и тот сделает нужную работу?» Всей душой я верила в бесконечное могущество Токтора, и мне было удивительно, что колдун не колдует.

Однажды пришлось прятать Мадияра. В тот раз Токтор переполошился. Впервые я заметила в выражении его лица страх. Подумала, что, оставшись без бороды, он лишился колдовской силы. Но ведь по пути к кыштаку он, уже безбородый, пускал в ход заклинания, мешая мне скакать рядом с Бекмергеном и выращивая на пути острые выступы скал. Значит, не в бороде его колдовская сила. Я сопротивлялась своим мыслям, но они подсказывали: Токтор боится. Чего? Кого? Озирается. Смотрит то вверх, то вниз, ждет врагов отовсюду. Уходя на охоту, берет с собой два ружья: одно заряженное дробью, другое — пулей. Верхом выезжать на охоту старик теперь не мог: спускаться по такой неверной тропе не решался. Если уходил в лес, возвращался не позднее чем через два-три часа. Приносил зайцев, иногда подстреливал рыжих лисиц. Но ни разу не добыл горно-

стая, соболя или куницу. Однажды притащил на плечах тяжелого самца элека. От этого устал, покрылся потом. Мне его стало жаль. А он, увидев в глазах моих жалость, поспешно ушел в дом.

Иногда казалось, что и на меня Токтор смотрит со страхом. Может, заболел? Может, вызвал недовольство аллаха или шайтана и они перестали ему помогать?

Потом — вы помните — его узнал Мадияр, пробовал уйти из колдовского дома, но не смог и, зарывшись в постель, отвернулся к стене.

Что ж это такое? Я боюсь Токтора, Токтор боится Мадияра, а Мадияр, поняв наконец, где находится и кто его лечит, испугался своего спасителя и исцелителя.

Однако особого ничего не случилось, и хотя шел, как я теперь понимаю, март — месяц горных бурь,— в том году день за днем сияло солнце, перемежаясь густым и мягким снегом, после которого возвращался солнечный мороз. Я работала. Как всегда, разметала снег перед домом, потом отправлялась за дровами, потом топила печь, готовила пищу, ходила по воду, прилежно, как научила меня мама, убирала в доме. Я содержала в чистоте и окаменевшего нашего гостя, который, хоть и держал глаза открытыми, меня не видел... Вот ведь как — обозначила Мадияра гостем. А кем он был в доме Токтора? Как его определить? Для чего его лечили, для чего кормили? Он был бесполезной колодой, истуканом, от него шла вонь, хоть я его и мыла. Иногда мне казалось — зловонье источают его мысли. Хотелось спросить у Токтора — бывают ли мысли у колоды, способен ли думать истукан? Но я не спрашивала, а Токтор избегал ненужных разговоров и даже приостановил обычные уроки чтения.

Бывает же так, природа спокойна и ласкова, а люди не хотят жить и действовать, как она. И чувствуют бурю в душе, не зная, откуда берется и куда пригонит...

...Однажды Токтор, который, как и я, чувствовал разнобой дней и дум, обратился ко мне с прежней лаской и добром. Он меня остановил во дворе, когда кормила собак, и так сказал:

— Аруке, дочка. Вот, смотри, я смастерил тебе чарыки тайтуяк для крутого хождения. Точно такие, как у меня. Примерь. Их затягивают ремнями под сапогом. Нравятся?

Я и раньше видела у него такие: к подошвам прибиты мягкие копытца — на каждый чарык по два. Тайтуяк придуманы, чтобы ходить по скользкому: они присасываются к обледенелому камню. Получив подарок, я захлебнулась от радости, и Токтор улыбнулся. Давно так не улыбался.

— Заряди берданку патроном с пулей, набей сумку патро-

нами и собери запас еды, возьми чайник и кружки — мы на весь день пойдем с тобой охотиться.

Я поторопилась сделать, как он велел, но задумалась.

— Ты что? — спросил Токтор.— Беспокоишься о Мадияре? Сколько нам его сторожить? Может, и правда стал камнем от испуга и потрясений. Мои лекарства лечат его тело. Но в душу не проникают. Каменная душа от лекарств не смягчается. Я видел таких... окаменевших, замолкших навеки. Видел и каменную смерть потерявших себя. Это было в Сибири. Ты не знаешь Сибирь — каторжные работы и каторжное убийство...

Сказав это, старик вздохнул и уныло посмотрел на дом, где лежал непонятный человек. Я побежала за ружьем, набила сумку патронами и боорсаками, натянула и заплела чарыки против скольжения, а когда проходила мимо Мадияра, заметила на себе его злобный взгляд. Остановилась, посмотрела. Нет, наверно, привиделось — глаза были стеклянными, и в них отражалось пламя печи.

Ничего не сказала Токтору, а потом жалела. Но что я могла сказать? Что мне страшно? Что Мадияр не окаменевший и не больной? Что души у него нет и быть не может? Ни разу я не описала, какой он был. На площади кыштака видела его сверху. Тогда он стоял на коленях, оборванный и полуголый, жадно пожирающий предсмертную пищу. Не могла определить ни возраста его, ни роста. Истерзанный и окровавленный, со слипшейся кисточкой бородки, он виделся мне ветхим старцем. Потом на лошади Бекмергена лежал подобно переметной суме. В лесу, когда Бекмерген свалил его на землю и он молил о смерти, я на него не смотрела. Тогда Мадияр еще мог говорить, но уже по пути к дому замолчал, будто откусил язык. Когда же приехали и Токтор обмыл его, обнаружилось, что лет ему не более сорока. И был он не только избит, не только выкручены были у него руки — горный колдун сказал, что тело спасенного сильно обморожено, а хрип в груди показывает, что в легких началось воспаление. А потом был жар, и был бред — бессловесный бред скота мычащего, и больше ничего...

Нет, было и еще кое-что — запах тухлой крови и псины, но не такой, как у собаки, а как у шакала. От этого запаха было тошно и боязно и возникали дурные предчувствия: мне страшен был Мадияр. Но я видела, что лежит несчастный, и старалась не показывать к нему своей гадливости.

...Я вернулась к Токтору и весело сказала, что готова в поход и хочу учиться стрелять. Не только вижу красоту природы, но и дышу ею. Мы пошли и ушли далеко, и я много раз стреляла, отбивая себе плечо прикладом. После каждого выстрела

дитя в чреве моем вскрикивало, или мне так казалось. Я попадала в сучья, указанные Токтором, а потом убила корсака и наконец подстрелила большого пушистого зверя; но собака принесла жалкого хоря. Токтор смеялся моему удивлению.

Токтор смеялся, громко смеялся. Это меня радовало, я тоже смеялась, заглядывая ему в глаза. Он хвалил меня. Учил целиться и говорил, что женщин-охотниц во всей киргизской истории было две или три. Он назвал мне защитницу народа Сеилкан, которая поражала без промаха одной стрелой медведя, безжалостно убивала жестоких баев и даже поразила в сердце волостного имама, когда тот принародно поклялся, что войско хана далеко, а оно стояло за ближней горой. Токтор вдали от дома стал прежним — простым и добрым. Услыхав от меня, что дитя в чреве моем вздрагивает и кричит после каждого выстрела, старик расхохотался и сказал, что повивальная бабка Кынсылу ошиблась: у меня не сын родится, а дочка — при выстрелах и взрывах только девочки плачут в животе у матери; мальчики от воинственных звуков должны петь и кувыркаться.

За все время нашей охоты мы не вспоминали Мадияра и не говорили ни о чем плохом. Но вот из одной лощины сверкнул ясным светом ледяной пик, названный Токтором именем жены своей Дильбар. Старик остановился и долго, не щадя зрения, смотрел. И я смотрела вместе с ним. Не дождавшись от меня вопроса, он сказал:

— Удивляюсь тебе, Аруке. Сколько учу спрашивать, а ты вопросы свои, думы, надежды и сомнения прячешь. Самой доискаться до всего нельзя. Не грабь себя — спрашивай. Знаю, что беспокоит тебя. Читаю мысли не только по глазам, но и по движениям или неподвижности твоей. Сколько бы я ни отрицал, ты почитаешь меня колдуном. Хорошо, пусть по-твоему, пусть я колдун. Человек, имеющий глаза и уши, для того и видит и слышит, чтобы понимать увиденное и услышанное: ненужное выбросить, а важное для опыта, для распознания, объяснения и предсказания копить и держать наготове. Колдовство родилось с человеком. И первое содеянное им чудо — власть над зверями и животными. Не бык едет на тебе, а ты на быке, не жеребенок взял твои ноги и обулся в них, а ты взяла копытца жеребенка, чтобы не скользить на горе. Нет зверя, носящего шкуру человека, но есть человек в звериной шкуре и оттого живой среди холодной зимы.

Я открыла рот, чтобы возразить, но не решилась прервать старика, помня, что мама учила меня молчать перед старшим. Токтор сказал:

— Подними руку. Так в русской школе делает ученик, если хочет спросить учителя.

Я подняла руку, и он разрешил спросить. Тогда я стала спрашивать, не дожидаясь ответов; держала руку и сыпала, сыпала, сыпала вопросы:

— Разве бай не зверь в шкуре человека?

— Разве хитрость и ум не то же, что зубы и когти?

— Разве капканы и силки, стрелы и ружейные пули не удлинившиеся зубы и когти?

— Разве, снимая с нас шкуру, не то же делает бай, что делаем мы со зверями и животными? Он одевается и кормится от нас, как мы одеваемся и кормимся от убитых нами или прирученных животных. Аллах отдал нам на пропитание и для тепла зверей и животных, а нас отдал баю. Мы взнуздали лошадь и осла, а бай взнуздал нас вместе с лошадью, быком, ослом и верблюдом.

Тут я заметила, что от вопросов сама же и перешла к ответам, но так много я еще хотела спросить и сказать, что рука моя не опускалась. Токтор видел, как я смущена, и, кивнув, подбодрил меня.

Но я запнулась и, боясь, что не туда забралась и не о том спрашиваю, стала перескакивать. Неожиданно у меня выскочил вопрос:

— Если мы победим, разве не станем мы баями над баями и не будем делать с ними, что делают они с нами и что мы делаем с животными? Баи жадны до безумства, хватают и подгребают под себя и драгоценные шкуры лесных зверей, и золото, и серебро. Но я видела, что́ стало, когда богатство Кашкоро вынесли на площадь и народ кинулся за них в драку. Чаша аяк-кап стоит трех табунов лошадей. Кому она достанется — тот станет богачом, станет баем. Как разорвать одну чашу на всех?

Токтор смотрел на меня, чуть склонив голову и слегка улыбаясь, будто наблюдал за полетом бабочки; он слушал меня, как слушают лепет годовалого младенца. Я даже боялась, что погладит по головке. Почему боялась? Хотелось, чтобы отвечал серьезно, чтобы я все поняла. Замолчала, но и он не говорил. Тогда я топнула ногой. Но в том месте, где мы находились, лежал снег, и старик не услышал моего сердитого топания. Он спокойно сказал:

— Золото можно переплавить. Из одной чаши получится много зубов для тех, у кого испортились природные.

Я не знала, что бывают искусственные зубы, и подумала: «Он шутит»,— и стала смеяться. Тогда Токтор, опустив губу,

обнажил свой сверкающий клык и сказал, что он сделан из золота и что из одной чаши аяк-кап можно сделать двести или триста подобных зубов, но золото так дорого, что беднякам не по карману.

— Значит, вы не бедняк? — спросила я.

Токтор промолчал, ожидая, что́ спрошу еще. Он не со злостью смотрел, а так, будто удивляясь, что козявка заговорила. Этот взгляд меня распалил, и я сказала, что видела в подполе мешки с травами, и мешочки с золотыми мушками, и ящики с патронами, и связки ружей, и много разных мехов и шкур, которых довольно, чтобы одеть и согреть многих. И я воскликнула:

— Вы не бедняк!

Говоря это, я глаз не могла оторвать от его золотого клыка. Разве не видела раньше этот зуб? Видела и удивлялась, думая, что он, как колдун, родился с таким зубом. Сейчас под горным солнцем ледяной пик Дильбар и золотой зуб Токтора сверкали с одинаковой силой. Но пик был белым, а зуб был желтым. А кто не знает, что цвет белый — это цвет крыльев ангела, цвет чистоты и благородства, а цвет желтый означает измену и предательство. Но как могла я подумать такое о Токторе! От подозрений противна стала себе самой. И все же дерзко смотрела в лицо Токтора, ожидая, что́ мне ответит.

Он отечески улыбнулся, протянул к моему плечу ласковую руку, но я увернулась.

Тогда он сказал:

— Ах, маленькая беднячка! Я любуюсь тобой!

На это я ответила:

— Может, вы и любуетесь беднячкой, но сами не бедняк!

Токтор покачал головой:

— Аруке, ты бедна и несчастна. Но разве этим можно гордиться? Я не тем любуюсь, что ты бедна, и даже не красой твоей, а умом и пытливостью. Не растеряй их. Ищи, всегда ищи истину! Знай, Аруке, бедность я не люблю и даже ненавижу, и почитаю за долг свой бороться с бедностью своего народа. Говоря, что я не беден, тысячу раз ты права. Но разве я запрягаю людей, разве езжу на них, разве деру с них шкуру? Все, что ты видела,— дело рук моих и повседневного моего труда. Этим отличаюсь от баев...

К сказанному Токтор прибавил, что каждый человек, если он не малый ребенок, не хилый старик и не калека, мог бы жить своим трудом безбедно. Но его грабят такие, как Кашкоро и Батыркул, как бий Айдыралы и мулла Барктабас. Грабят с помощью налогов и поборов, за счет которых кормятся тысячи и тысячи бездельников в шелковых чалмах и халатах, в мунди-

рах с эполетами и всякими побрякушками. И над всеми этими ханами, эмирами, генералами — сам русский царь с золотой короной на голове. Им всегда и всего мало. Требут все больше и больше. Их жажда новых и новых одеяний, драгоценностей, громадных дворцов, забитых роскошной мебелью, никогда не может утолиться. Чтобы захватить больше и больше, затевают войны и посылают свой народ против соседнего. Жадность и жадность — вот что есть главное в их жизни.

Не успел старик договорить, я вдруг вспомнила, как вернувшийся с войны без ноги зять его Кадыр кричал тестю в исступлении, что сам он от одной жадности погубил хорошую свою жену Дильбар. Вспомнив это, я прервала речь Токтора и, пугаясь своей смелости, спросила:

— Скажите, отец, вы бы хотели, чтобы все ваши зубы от первого до последнего были золотыми?

Сказала и ужаснулась, потому как в голосе моем дрожал вызов, дрожало обвинение в богатстве и жадности.

Вижу, дорогие мои, вам смешно, и вы не верите, что могла быть так злобна. Я же гордилась своей удалью. Задрала голову и смотрела в глаза кормильцу и учителю, с нетерпением ожидая, что мне ответит.

Он не спешил. Дерзость моя его не обидела и не возмутила. И все же вглядывался в мое лицо, как бы желая додуматься, кого взрастил под рукой своей. Наконец заговорил. Но не упомянул ни словом о золотых зубах и на мой глупый вопрос не ответил. Он так сказал:

— Понимаю, Аруке. Увидев горный пик, названный мною в честь жены моей Дильбар, ты вспомнила Кадыра, его слезы и крик. Он сравнил меня с баем, а ты, увидев в подполе запасы, поняла, что одному до смерти не износить меха и шкуры отстрелянных мною зверей. Вот и решила, что жадность — свойство всякого человека. А я человек. Не колдун, а человек. Это запомни... Кадыр меня в том обвинил, что из жадности я погубил свою жену Дильбар... А я... я подтверждаю — это так!

Я с ужасом на него посмотрела, но Токтор резанул перед своим лицом рукой, запрещая вопросы. И я подумала: хочет сказать мне правду, доверить мучения души.

— Собери хворост, разведи костер, повесь чайник над огнем, пей, ешь и слушай.

Я умела быстро собрать и разжечь костер, на этот же раз сделала все молниеносно. И села в ожидании. Но старик на своей стороне костра не сел. Ходил и ходил, запахнувшись в шубу и подперев голову кулаком. Изредка бросал на меня острый взгляд, как бы проверяя, гожусь ли для понимания.

Уже вода закипела, уже заварился чай, уже вынула из сумки куски мяса и боорсаки, но Токтор ходил и молчал.

Но вот он остановился и тяжело вздохнул. А потом сказал:

— Ты умнее Кадыра и лучше Мукаша — тебе я могу доверить: да, была жадность! Сперва моя, а потом жены моей Дильбар. От общей нашей жадности она погибла...

— Я не умнее и никого не могу быть умнее! — вскричала я, но Токтор меня оборвал:

— Молчи! Иначе все забуду и упаду в рыданьях. Мне тяжело, Аруке, потому что я человек и душа моя терзается от одиночества неразделенности...

Токтор говорил на высоком месте над горным лесом, под ярким небом, прорезанным сверкающими пиками, один из которых носил имя Дильбар. Он не на меня смотрел, а на этот пик, как бы молясь и плача. Говорил, что наполнился до края слезами дум... Так он говорил, а я в его голосе слышала не страдание, но певучую важность. И даже слово «жадность» стало звучать в его устах гордо.

От этого всего во мне возникла двойственность. Я не знала, способна ли понять своего учителя. Только что проклинал баев, ханов, эмиров и самого царя за жадность, как вдруг, сжимая кулаки, закричал:

— Люблю жадных!

Своим криком так меня напугал, что я заледенела перед пылающим костром.

Я заледенела, а собаки, поджав хвосты, спрятались за камнем.

Заметив, что́ натворил, Токтор перестал ходить и опустился на землю. Сложил на коленях руки, зарылся лицом в рукава, молчал. Все вокруг притаилось. Орел в небе перестал махать крыльями, прислушиваясь к молчанию Токтора. И деревья зимнего леса тихо склонились к нашему костру, чтобы угадать его молчание. И все покойники от всех битв, которые были на этой горе, повернулись под землей широкими глазницами к Токтору, ожидая, что скажет.

Тогда он встрепенулся и открылся нам свежим лицом мысли. В глазах его была синева неба, свет солнца и пылающий в нем пик Дильбар.

Налив себе чаю, старик втянул губами горячий напиток, пополоскал рот, выплюнул, а потом спокойно стал пить, но не ел ничего.

Выпив до дна, перевернул кружку и поставил на землю. И только справившись с этим делом, посмотрел мне в душу и сказал:

— Байскую, ханскую и царскую жадность ненавижу, но жадность умной души благословляю. И если есть аллах, молю его: не отними у меня силы жадности и дай ум для нее!

Орел полетел, взмахнув крыльями, деревья с шумом разогнулись, собаки завиляли хвостами, подползая к моим рукам за пищей. И только покойники, убитые на войнах, смотрели из-под земли широко открытыми глазницами на Токтора.

Им мало было того, что он сказал.

И мне мало. Я ждала.

Просветленным и чистым голосом Токтор сказал:

— Ну вот, Аруке. Я понял. Надо, чтобы и ты поняла. В жадности чистой души — ум дерзновенья, радость силы и самоотверженность добра для людей.

Снова налив в кружку чаю, Токтор разрешил себе поесть. Но мяса есть не стал — только боорсаки. Жевал и смотрел на меня в ожидании, когда умом своим постигну трудную его мысль.

Мне было трудно. Не нашла что сказать. Колебалась: вдруг это не мысль, а уловка ума?

Не дождавшись от меня слов, Токтор заговорил, обращаясь к пустоте неба:

— О жена моя Дильбар! Надо бы о тебе песни петь, да я не умею. Была ты быстра и нежна. Красива была без колец и браслетов, щедра была до глупой простоты, готовая отдать любому, кто попросит... Ах, Дильбар, Дильбар, сон мой и вечная явь моя!.. И все-таки погибла ты от жадности. От самой лучшей из всех жадностей...

— А много ли жадностей на свете? — решилась я перебить учителя, забыв все прежние свои вопросы.

Он сказал:

— У тебя у одной — сотни. Пошарь в уме и найдешь.

Я долго шарила и не нашла.

— А разве нет жадности у тебя к Серкебаю? — спросил он и рассмеялся.— Не с жадностью ли смотрела ты на Бекмергена, когда он стал красивым на судейском камне? Две жадности я нашел. Хочешь еще? Хочешь, лучшую твою жадность назову, которая радует меня? Торопясь и не разбираясь, впитываешь все, что влетает тебе в уши и попадается на пути зрения твоего. Это грех молодости — хороший грех... Ты непомерно жадна к свободе. Это было бы хорошо, когда б ты знала, какой свободы ищешь.

Я рассердилась и сказала, что знаю. А старик покачал головой и попросил ответить:

— Если знаешь свободу, значит знаешь мечту свою и то,

чего хочешь от продолжения жизни. В чем видишь будущее счастье? Ответь!

Этот вопрос я поняла, и он мне был приятен. Помните, в начале рассказа я приводила свой ответ? Повторю, чтобы вы лучше усвоили:

— Чего хочу? Чего жду? — Невольно я стала улыбаться, надеясь, что Токтор хоть немного, а все-таки колдун и, если выскажу от чистого сердца свои мечты, поможет их осуществить. И я воскликнула: — Хочу, чтобы родился сын и чтобы никогда-никогда не чувствовал голода и побоев, чтобы много у него было скота и конь его был бы резвым, а жена доброй и дети здоровыми!

Токтор с грустью сказал:

— Так я и думал. Ты счастье видишь в обилии скота, жадность твоя дальше тебя самой, сына твоего и внуков не простирается...

— Пусть и правнуки мои будут счастливы! — прибавила я, еще не понимая, чего ждет от меня Токтор.— Скажите, отец, если позабочусь о своих правнуках, хорошая это жадность?

Токтор покачал головой:

— Значит, все, чему от меня учишься, копишь для детей, внуков и правнуков своих? Нет, не хороша твоя жадность! Не такую жадность я благословляю...

Раздосадованная, я вскричала:

— Так скажите же наконец, какой такой жадностью гордитесь вы? Той, которая убивает любимую жену и делает вас одиноким? Почему гордитесь? Пусть слушает орел, пусть слушают деревья и склон горы, на которой они стоят? И пусть павшие на этой горе узнают, чего не знали при жизни!

Я смотрела с торжеством: не верила, что колдун сумеет ответить.

* *
*

Токтор стал говорить. Ему было трудно, мне же вдевятеро трудней. Теперь должна пересказать вам. Мы у костра сидели долго, вам столько не усидеть. Утомился парить над нами орел, утомились склоняться деревья, уснули собаки, и даже солнце, отяжелевшее и усталое, попросилось на покой.

Слушайте же — вот что было. Вы уже знаете, что, вернувшись после сибирской каторги и ссылки, женился Токтор по любви на узбечке Дильбар и долго жил с ней в городе Андижане, где она должна была скрывать свою красоту под паранджой. Но не только согласно обычаю прятала лицо. Эта самая

Дильбар под влиянием мужа своего, бывшего каторжника Токтора, носила под паранджой листовки и прокламации. А в 1905 году таскала рабочим-революционерам гранаты и бомбы, которые секретно производил в своей мастерской ее муж. Он хорошо таился, без устали работал. И даже после того, как первая революция не удалась и многих арестовали, остался невредимым. Мог бы безбедно жить на заработки от редкого своего оружейного мастерства. Однако не успокаивался и на место арестованных и посаженных в тюрьму стал готовить новых, молодых и сильных революционеров. Их он учил, а потом вооружал, и они шли в бой. И так случилось, что сыщики напали на его след и надо было прятаться. У них уже дочь Бюбюсар выросла, и вышла замуж, и родила трех сыновей. Токтор с женой своей Дильбар дошли чуть не до старости. Им бы покой да ласку, однако ж задумали бежать на родину Токтора, в Центральный Тянь-Шань. И преодолели три хребта... О том, где они скрылись и где построили новый свой дом, не знал никто, кроме товарищей по подпольной работе. Среди этих товарищей оказался один ловкий человек — торговец пушным товаром и знаток разных троп и путей, брат крупного бая Тентемира — Мукаш.

...Это место в рассказе Токтора в малые свои годы понять мне было нестерпимо трудно. Вот уже я сообразила, кто такие рабочие, и понемногу подбиралась к сути того, какие есть среди них борцы за свержение царя и богачей. Но если все так и они творят революцию, как же принять могли в свои ряды байского выкормыша, да еще по каждодневному делу своему — перекупщика мехов? Но вот же, смотрите, уехав из Андижана, Токтор дочери и зятю не сказал, где он, а от ловкого человека скрывать не стал. Позднее же дал ему своих почтовых голубей, чтобы в случае надобности переписываться.

Тут мне и объяснил Токтор, что против царя вели борьбу не только бедняки. Оказывается, находились и среди богачей союзники бунтовщиков. Одни добивались революции, чтобы освободиться от царских налогов и от русских купцов, другие думали обмануть рабочих и крестьян: царя свергнуть, а самим править государством. Были и настоящие идейные борцы, которые входили в партию. Что же до Мукаша, Токтор знал его историю. Тентемир своих братьев ограбил, обделил, Мукашу же за строптивый характер совсем ничего не дал. Избил и выгнал на мороз. Мукаш пережил многое. Одно время пристал к узбекам-канатоходцам и с ними пришел в огромный город Ташкент. А так как был почти что карлик, но ловкий и бесстрашный и, главное, легкий, как перышко, его взяли наездником на скачки, где он

быстро получил известность под прозвищем Гороховый Стручок. Этот Стручок был удачлив — брал приз за призом; был хитер и оборотлив — сам участвовал в игре; был бережлив — копил из года в год. Когда же накопил достаточно, решил, что пора ему осуществить мечту жизни — разорить старшего брата и стать сильнее его. С этой мыслью приехал в Андижан, где нашел Токтора и стал учиться у него меткой стрельбе. Они подружились как земляки-киргизы.

Слушая речи Токтора, Мукаш и сам пожелал стать революционером, чтобы вести борьбу против угнетателей народа — манапов, баев и биев. Однако при этом не лишен был торговой смекалки и взялся скупать у горных киргизов меха и шкуры диких животных. Тут-то он и узнал, что узбекские и русские купцы захватили всю меховую торговлю и обманывают бедных охотников, платя им вдевятеро меньше против настоящей цены. Узнал еще и то, что в мерзком этом деле участвует брат его — волостной правитель Тентемир. Тогда разжегся против него сильнее, чем когда бы то ни было, и окончательно решил, что его убьет. Пока же, войдя в торговую игру, Мукаш стал отбивать у Тентемира и торговцев мехами лучший товар, платя охотникам дороже и все же оставаясь в прибыли. Разбогатев, он не порвал с Токтором и его друзьями, даже, бывало, помогал им деньгами, прятал тех, кому надо было скрыться от полиции, а если требовало дело, и жизнью рисковал, только бы насолить власть имущим.

Шли годы... Токтор перебрался на свое новое поселение, а Мукаш то и дело скакал по горам между Андижаном, Джалал-Абадом, Ошем и Кочкоркой. Случалось ему попадать и в Пишпек и в Пржевальск. И всюду о нем заговорили как о купце и как о разбойнике, ненавидящем баев. Однако ж было известно, что с некоторыми баями имел дела — обманывал их, а иногда и сам оставался обманутым.

Токтор мне объяснил, что Мукаш — во всем игрок, любящий ловкостью и хитростью обойти врага. Но хорошо ли это? Всегда ли хорошо?

— Помнишь, говорил тебе насчет зятя своего Кадыра, что нельзя ему доверять из-за склонности к пьянству? А у Мукаша недостаток не лучше — бахвальство и дерзость сверх нужды. А если вызнает через узун-кулак, что брат его Тентемир куда-то едет и можно против него устроить засаду — этот самый Гороховый Стручок затрещит как полоумный, бросит товарищей и поскачет убивать брата...

А дальше Токтор, взяв с меня клятву, что никогда никому не скажу, поверил мне тайну гибели своей жены Дильбар.

Весной прошлого года он узнал через голубиную почту, что на угольных шахтах Кызыл-Кия полиция винтовочным огнем разогнала забастовку рабочих и многих зачинщиков арестовала. Среди этих зачинщиков были партийные люди — руководители подполья. Им по военному времени грозила смертная казнь. Оставшиеся на свободе решили устроить двенадцати своим арестованным товарищам побег и нашли путь к подкупу тюремщиков. Но не было денег. И тогда Токтора попросили прислать как можно больше денег или товару, который можно легко продать. Горный охотник имел в запасе девяносто шкурок куницы, за которые мог бы получить немалые деньги. Трудность была в доставке. Старика предупредили, что и в городе рыщет полиция и на всех дорогах выставила посты. Если он, Токтор, попадется — сам погибнет и провалит все дело. В том же письме партийные товарищи предупреждали: Мукаша хорошо использовать как проводника, однако предлог для его поездки следует придумать такой, чтобы не заподозрил свое участие в подготовке побега.

Получив письмо, Токтор долго задумываться не мог. Вызвал из Андижана Мукаша; а когда тот приехал, попросил: «Поезжай в город с женой моей Дильбар. Зятя моего Кадыра взяли в армию. Бюбюсар осталась с детьми без кормильца. Дильбар поможет ей продать городской дом, а потом ты всю семью привези ко мне в горы. Но помни: ехать надо тайными тропами, чтобы полиция по вашему следу не нашла меня!»

И вот Дильбар с Мукашем поехали на его белой лошади. Девяносто шкурок — невелик груз. Жена положила их в курджун, где над перевязью лежала пища и кой-какие подарки внукам, а под перевязью — драгоценные шкурки, желчь марала в трех пузырьках и разные дорогие лекарства для продажи.

Рассказывая, Токтор то и дело спрашивал:

— Тебе понятно?

— Понятно, понятно! — торопила я его.

И он продолжал:

— Когда выезжали, было солнечное утро. Всюду расстилались ковром яркие весенние травы. Я хотел было проводить жену до перевала Джан-Тош, где всякое бывает не только весной, но и летом. Мукаш сказал: «Не надо. Твоя жеребая кобыла за моей не угонится, одни же мы к вечеру не только преодолеем высоту, но успеем доскакать до теплых низинных мест». Я хотел, чтобы Дильбар потеплее оделась, но Мукаш и от этого стал отговаривать: налегке, мол, скакать способнее, а главное — при въезде в Андижан, если увидит стража тепло одетых киргизов, сейчас же поймет, что переваливали горы и

прибыли издалека. Начнутся ненужные расспросы... Все-таки я распорядился, чтобы Дильбар закуталась в пуховый платок и под сапоги надела не ичиги, а войлочные чулки...

...Ах, Аруке, Аруке! Как меня беспокоил в то утро вид солнца! Я вроде бы приметил на его правой щеке багровость и предупредил Мукаша: будет буря! А он мне ответил: «Нет, солнце хорошее и ничего не предвещает». Стал надо мной смеяться, что я старею и от плохого зрения вижу багровость там, где яркая белизна. Он ведь моложе меня на восемь лет. И я поверил ему, а себе не поверил.

В тот день, оставшись один, я полагал вскопать землю под огород. Поверишь ли — кетмень мой ударился о большой камень там, где осенью была мягкая, унавоженная земля. Наклонился, вижу — камень желтый и круглый. Поднял его, а он легкий. И вдруг на нем проступили черты человеческого черепа. И будто бы все зубы того черепа белые, как у собаки. Тогда я в испуге отбросил его и поскорее стал взнуздывать свою кобылу. Всегда смирная — вдруг стала ржать и лягаться, давая понять, что ехать не годится. И в самом деле, тут же стал дуть ледяной ветер. Значит, тем более надо ехать — догонять и выручать Дильбар и Мукаша. Если в лесу ветер — на перевале буря. Я собрал все, что было в доме теплого: две шубы и чапан на меху. Укладываю на кобылу — она сбрасывает, как бы говоря: «Не грузи, хозяин, погоди!» Стал я ее ласкать, успокаивать, пробовал незаметно подойти, чтобы сразу со своим узлом вскочить в седло, но, как нарочно, она от меня отскакивала, будто шпарю ее кипятком. Что ж ты думаешь! Вдруг небо чернеет, бьет круглая молния и катится вверх по горе. И только она взорвалась со страшным грохотом, на тропе появился Мукаш. Один на своей белой лошади.

— Скорей, скорей, твоя Дильбар с ума сошла от жадности и сейчас погибнет! Там снег, там все крутит. Буря нас повалила вместе с лошадью. Ее курджун ветер вырвал из рук, ударил об острый камень, разорвал... Лошадь вскочила и ждет, вся дрожит и тревожным ржанием предупреждает: «Бежим, будет хуже! Я жду вас, что же вы!» Но в снежной мгле что-то летает, какие-то шкурки, и Дильбар кричит: «Лови их, лови!» А я кричу: «Брось их, забудь, спасай жизнь!» Ветер такой ледяной, что я сразу окоченел. Твоя Дильбар втрое меня больше и толще, но и ее пронял мороз. Платок сорвало, но не идет к лошади, ползает по снегу и ловит шкурки... Ловит, ищет, копается в снегу... Едем, скорей едем, Токтор! Я бы с ней остался умирать, но она там бегает, я ее не догоню, справиться не могу!..»

Токтор, вспоминая, чуть не плакал:

— Ты понимаешь, Аруке? Погибало тринадцать человек!

— Как так тринадцать? — спросил я.

А он в ответ рассердился, ударил кулаком по колену, а меня обдал взглядом, в котором я прочитала презрение к моему глупому переспросу.

— Ты глухая, что ли?! К чему тащил тебя? Чтобы поняла жадность. Ты умнее Мукаша — должна бы сообразить: двенадцать арестованных в кызыл-кийской тюрьме, а тринадцатая — родная моя жена Дильбар... Она ловит шкурки. Гоняется по заваленной снегом высокогорной седловине... А Мукаш меня торопит ехать. Он не знает, что и я буду гоняться по тому же снегу за теми же шкурками. Но разве можем мы поймать и найти, даже если станет нам помощником в этом деле Гороховый Стручок, которому ничего нельзя объяснить... Я свистнул всю свою свору — всех девять собак. И кобыла пустила сесть в седло, будто раньше меня знала, что без собак ехать незачем. Кобыла знала, но Мукаш нисколько не понимал и решил, что мы на пару с женой сделались от жадности полоумными. И вот мы поскакали. Белая лошадь Мукаша была далеко впереди. За ней впритирку бежали собаки, а моя жеребая кобыла, сколько ни старалась, сильно отставала. Тогда заржал жеребенок в чреве ее и стал бить копытами изнутри, прося мать не бояться и для доброго дела его не беречь. И она послушалась. И мы нагнали собак и нагнали Мукаша, но перегонять не стали, потому как один он умел разглядеть тропу под снегом и под бурей.

Не могу сказать плохого про Мукаша. В маленьком его теле жила большая свирепость, и он стал свирепствовать против меня за мою возню с собаками, не понимая, зачем собаки путаются в ногах его лошади. Он стал кричать на них и отбиваться камчой, отчего они катились через голову, визжали и жаловались мне, но разве мог я объяснить им, если и перед Мукашем обязан был молчать. Тогда от ярости он и меня стеганул и закричал: «Стреляй своих собак, бешеный старик! Стреляй, чтобы не мешались, иначе не догоним смерть и она морозом застудит твою хорошую жену!»

Но я не мог стрелять собак, потому что они были нужны.

Майская буря — у нее недолгая жизнь. Буря ушла, пустив на небо солнце, чтобы мы увидели, что моя жена Дильбар лежит в снегу, поджав колени к лицу и обхватив руками сколько-то шкурок и сколько-то подобрав под себя. Тело ее стало жестким и звонким от лютого холода. Собаки завыли, уставившись мордами в небо, но я не мог им позволить долгий плач над покойницей.

...На этом месте своего рассказа Токтор задохнулся, как задыхается немощный после долгого бега. Он хотел говорить — и не мог: слова не пролезали сквозь горло. Он рыдал молча.

Я понимала, что надо бы и мне молчать, разделяя его тоску, но не выдержала и спросила:

— Шкурки... Как же куньи шкурки? Их удалось доставить и обратить в деньги? Вы спасли товарищей?

Токтор кивнул головой.

— Вы сами доставили эти проклятые шкурки или доверили Мукашу? Доверили? Ведь правда же, вы не могли отойти от погибшей жены? Ведь правда, Мукаш оправдал ваше доверие?

Мне хотелось, чтобы Мукаш оказался хорошим и во всем чистым, и я молила глазами Токтора: «Пусть будет так, как я хочу!»

И Токтор сквозь молчаливые рыдания выдохнул для меня одно слово:

— Йе! *

Но потом, когда вернулась к нему речь, он сказал, что, хоть передал с Мукашем шкурки и назвал имя человека, которому надо было их передать, суть дела Мукашу не объяснил.

— Я не имел права! — сказал Токтор, а потом ему пришлось объяснять, что это такое — право сказать или не сказать.

— Я сказал Мукашу, что наша жадность была для нас самих. И он был удивлен и возмущен и сколько-то времени не хотел со мной дружить. И даже сказал Кадыру, что я из корысти погубил собственную жену.

— А потом-то вы ему объяснили?

— Только после того, когда побег благополучно завершился и все зачинщики забастовки ушли от казни. А он мне ответил, что и сам все понял, но злился, что ему не доверяют. И с тех пор я сам стал ему во всем верить и всем товарищам сказал, что он достоин этого.

— Значит, и он узнал, что жадность бывает хорошей?

— Наверно, так, скорей всего узнал, — проговорил Токтор и пожал плечами.

* *
*

Мы поднялись от костра, когда солнце уже завалилось за горный хребет и перестал сверкать остроконечный пик Дильбар. Шли медленно и молча. Токтор впереди, а я за ним. Собаки

---

* Й е — да.

намного обогнали нас — они знали, что охоты больше не будет. Но я в уме своем охотилась за мыслями Токтора, гадая, зачем он мне столько сказал, зачем я ему и почему мне верит.

Говорила вам: с того дня, как оказался в доме нашем спасенный нами Мадияр, Токтор был в беспокойстве и в тоске. И то и другое передавалось мне. Я стала бояться Токтора и в страхе смотрела на Мадияра; и мне казалось, что сам Токтор полон больших и малых страхов. Могучий Токтор и вдруг боится.

Меня убеждает, что не колдун, а простой человек, но тут же говорит, что без колдовства нет жизни и что колдовство — это ум и способность находить такое, чего другие еще не знают и не умеют. И тогда возникает чудо. Для тех, кто не понимает мысли, всякий, сделавший чудо, видится колдуном. И правда, сидя с Токтором у горного костра, я увидела: он может жалеть и любить, может плакать. Плачущий колдун... Нет, такого не должно быть. Значит, обыкновенный человек? Он мне сказал, и я поверила, что жадность может быть хорошей. И мне захотелось спросить: может ли быть хорошей боязнь? Ведь она от слабости. Неужели бывает, что и слабость хороша?

Я окликнула Токтора:

— Отец!

Он обернулся. Ему не хотелось говорить. Лицо его было задумчиво, я его отвлекла от мыслей.

Я подняла руку, как для вопроса, но мой указательный палец торчал вверх, будто призывая к тишине и молчанию. Вслед за мной поднял палец и Токтор. Ах, как в полном безветрии под темно-синим небом поздних сумерек шумела тишина! Шумела и гудела, и гул ее то нарастал, то стихал.

— Слышишь? — спросил Токтор.

— Что это? — спросила я, чувствуя приближение страха.

А Токтор сказал:

— Народ. Его дыхание. Его тревога. Его злость. И его отчаяние. Это вечерняя молитва, которую мы с тобой забыли. Но с каждым днем молитвы народа все страшнее, а в мольбах, с которыми люди обращаются к аллаху, все меньше и меньше веры.— Он сам себя оборвал: — Хватит об этом! Говори свой вопрос.

— Скажите, отец, может ли быть хорошей боязнь?

— Ах, девочка! — ответил он с горьким смешком.— Я научил тебя присматриваться и прислушиваться, и думать и замечать. И я учил тебя смелости и свободе речи. Теперь я наказан: ты уловила во мне страх. И не знаешь, каков он — хорош или плох. Ни то и ни другое. Когда барс видит косулю и хочет на

нее прыгнуть, в нем нет страха. И если смотреть на него со стороны, он ничуть не страшен, а только внимателен и напряжен: крадется, прижимаясь к земле, готовится к прыжку, и деловито подгибает лапы, и вовремя выпускает когти. Но если встречается с медведем — ах, как страшно рычит барс, как изгибает дугой спину и как подымается шерсть вокруг его головы! Потому что боится. И от боязни хочет стать больше и ужасней и напугать врага. Ты заметила, что я чего-то боюсь? Это правда. Волосы мои подымаются — хочу быть страшным. Боюсь из-за того, что ты натворила.

— Я? Натворила?

— Да, это так!.. Но говорить не время и не место. Смотри, что происходит с собаками...

Наши собаки, которые ушли вперед, бегали теперь по кругу, принюхивались и тревожно взлаивали. Потом остановились, ожидая, что подойдем.

Мы всё осмотрели — нигде никаких следов не было. Но я учуяла запах Серкебая, а вместе с ним и зловонный дух Мадияра. Сказала Токтору. Он пожал плечами:

— Да нет, быть не может...

Однако к дому он подходил крадучись и резко рванул дверь. Все было, как и раньше,— Мадияр лежал на своем месте каменный и молчащий, с открытыми глазами, в которых не было жизни.

* *
*

Да, все было, как и раньше, а в чем-то даже и лучше. Токтор, рассказав мне о гибели жены, посвятил в тайное из тайных. Он теперь учить стал меня не только по книгам, но то и дело выводил в сторону от дома, чтобы стреляла из разного оружия по цели. Я узнала короткий казачий карабин, обрез военной винтовки, револьвер «наган» и даже штуцер. Значит, не только охотничьим снаряжением был богат мой приемный отец!.. Я стреляла прилежно и с большой радостью, понимая, что, может быть, одна только из всех киргизок постигаю мужское искусство убивать врагов. А он зачем меня учил? Значит, считал нужным, но вполне возможно, что и от простой скуки.

...Несколько дней спустя произошло вот что. Мадияр из молчаливого превратился в говорящего.

Он сел на постели и огляделся, будто впервые поняв, где находится. Попросил Токтора подать ему воды, попил, откашлялся и, повернувшись ко мне, строго прикрикнул:

— Зачем ты здесь, среди мужчин? Выйди!

Я тихо ушла в другую комнату и услышала из-за стены, что он выпытывает у Токтора:

— Для чего ты меня спас и для чего привез к себе?

Токтор сказал, что спас во имя справедливости.

— Что такое справедливость? — спросил Мадияр.

Токтор подумал и на вопрос Мадияра ответил вопросом:

— Сколько детей у тебя?

— Шестеро.

— Всех шестерых ты бьешь или только старших? Можешь ли ударить годовалого или двухлетнего? Часто ли от злобы одной и недовольства жизнью стегаешь плетью жену и детей?

Я не поняла, а Мадияр понял. И первый раз рассмеялся в нашем доме.

— Спросив меня о жизни моей с женой и детьми и отвечая этим на мой вопрос о справедливости, ты, хоть и колдун, показал, что сам не понимаешь. Да и что́ может понимать колдун в жизни обыкновенных киргизов! Колдун, ищущий справедливости. Ха-ха-ха!

Он долго и крикливо хохотал. Он плакал от хохота. Он упал лицом в подушку и трясся. Он вскочил с бешеным лицом.

Я видела это через щелку приоткрытой двери и заметила: Токтор потерялся от его вопля. А Мадияр, отъевшись и поздоровев, нашел в себе силы кричать вопросы:

— Справедливость дело аллаха, а не человека! Ты раб шайтана, если идешь против воли аллаха. Ответь мне, как могу жить дальше? Как приду к жене и детям, которые знают, что именем аллаха меня приговорили? Как примут меня, приговоренного, в народе и как станут называть? Ожившим мертвецом? Выходцем с того света?.. А если узнают, что спустился с твоей горы, спустился здоровым, разве не поймут, что я перешел в твою веру?

— Ты слепой крот! — закричал Токтор в тоске и печали.

Тогда я подумала: «Нет в горном колдуне прежней силы, он потерял свое лицо перед несчастным и темным, не зная, что ему ответить и как с ним расстаться...»

И тут мне вспомнилось, как два дня назад старик сказал, что боязнь явилась в нем из-за меня. Что-то такое я натворила. Но что, что?..

...В это мгновенье за пределами дома раздались рев и вопль. Мы услышали страдающий голос зверя. Токтор кинулся к выходу, а я прильнула к окну. Через двор, еле волоча свое тело, полз, плача от боли, ученый барс. Я увидела его скорбные глаза и поняла — этот зверь отравлен и умирает.

Судорога свела его тело у ног Токтора.

Собачья свора уселась полукругом с немым вопросом к Токтору: «Что с ним и почему ты ничем ему не помогаешь?»

Притащился на нетвердых еще ногах Мадияр. Увидев труп барса, завопил:

— Скорей снимай с него шкуру! Снимай, пока теплый. Шкура в барсе самое дорогое. Шкура! Шкура! Если опоздаешь, мех будет сыпаться. Что же ты медлишь, а, колдун? Всюду ты известен как хороший охотник. Теперь вижу, ха-ха-ха, каков ты.

Этот Мадияр стоял на крыльце в белом исподнем белье, босой и дикий. Чего ради он хохотал?

* *
*

Вскоре Мадияр совсем поправился. Токтор нашел для него ветхий, однако пригодный к носке полушубок, подарил войлочные чулки и пару каких-то сапог. Прямо в сапогах и в полушубке наш спасенный валялся целыми днями на постели. Когда кончилось мясо элека, Мадияр вытащил из теплого сарая жирного барана и самовольно зарезал его. Дело было в отсутствие Токтора. Старик ушел охотиться. Он звал с собой Мадияра, но тот сказал, что идти не может, все внутри у него болит, руки и ноги не слушаются. Но стоило хозяину скрыться за деревьями — гость объявил мне, что зайчатина для него не еда, и, взяв нож, отправился в сарай. Услышав хрип барана, я побежала к сараю. Мадияр разделывал тушу, кидая собакам внутренности и подкупая их щедростью. Меня он встретил с окровавленным ножом в руке и так сказал:

— Женщина, не вздумай мне мешать! Делаю то, что нужно.

— Ты обидел своего спасителя! — воскликнула я.— Токтор тебя выхаживал — лечил и кормил...

Не успела я договорить, он заломил мне голову и приставил к горлу нож.

— Молчи, проклятая! О тебе давно все знаю. Думаешь, не слышал твои бунтовские речи?.. Все-все слышал, все-все видел!

Он бросил меня на землю и прижал ногой. Свора кинулась было мне на защиту, но, швыряя собакам жирные куски мяса, Мадияр сбил их с толку: никогда им не перепадала такая обильная пища. Они забыли обо мне, дерясь за каждый кусок.

— Лежи тихо! — злобно шипел Мадияр.— Я бы тебя прирезал и только потому дарую жизнь, что твой Серкебай — племянник Батыркула. Не будь дурой, не мешай мне. Сейчас оседлаю жеребца, возьму тебя с собой, и мы приедем к баю с хорошим известием о том, каков Токтор. Сбрив бороду, он

надеялся, что никто его не узнает, но сдуру взял меня к себе. Он, он во всем виноват! Вооружил и привел кедеев. Тебя покорил своей дьявольской силе и принудил поднимать народ на убийство и резню. Все это мы скажем Батыркулу, и в награду он нас помилует. Едем — или прирежу тебя и ускачу один!

— Нет, не прирежешь! — нашла в себе силы ответить я.— Тебя не пощадит Серкебай, тебя найдет Бекмерген... Знала подлых, но таких, как ты, еще не видела!

По моим глазам он понял, что смерти не боюсь. И тут оказался в его руках аркан. Значит, все продумал и приготовил заранее. Я попробовала кричать, тогда он заткнул мне рот тряпкой. Как я ни билась, с силой его совладать не смогла. «Токтор вернется не скоро. Что мне делать, как спастись?» Так думала я, корчась на притоптанном снегу двора. Больше всего боялась, что возьмет меня на лошадь.

А он и правда оседлал иноходца по имени Шамал и вывел во двор. Но жеребец, чуя в нем запах враждебного племени батыркулов, не желал ему подчиняться. Дико ржал, подымался на дыбы и даже пробовал кусать. Тогда, бросив жеребца, Мадияр пошел за кобылой, но жеребец догнал его и так лягнул, что гость наш взвыл от боли. Он подбежал ко мне с криком:

— Дура, дура! Я видел твоего Серкебая. Это он отравил барса. Останови коня. Я тебя развяжу. Остановишь? Поскачем вместе, и ты обретешь счастье. Дура, дура — я не мог сделать иначе, теперь Батыркул знает, что я здесь. Дура, дура, едем со мной, и Серкебай простит тебе Бекмергена.

Но я мотала головой, не веря ни одному его слову. Я знала Серкебая и не верила, что, спасенный Токтором, мог отравить его барса.

— Дура, дура! — вопил Мадияр, а жеребец подбегал к нему, рвал его зубами и бил копытами.

Кончилось тем, что Мадияр упал недалеко от меня весь окровавленный; и если б не громкое ржание, на которое прибежал из лесу Токтор, жеребец затоптал бы его до смерти.

Так Мадияр второй раз избежал смерти, а тем самым и я миновала еще одну свою смерть, получив новый урок жизни и познания людей.

* *
*

У меня были разорваны и кровоточили уголки рта, осколок зеркала показал мне страшное лицо с перепуганными и злыми глазами. Я не хотела плакать, а хотела бить и готова была взять против Мадияра камчу.

Токтор притащил спасенного от яростного жеребца Мадияра в комнату и, швырнув на пол, стал меня расспрашивать. Я рассказала все, но до поры утаила, что барса отравил Серкебай. В ознобе ужаса я смотрела на распластанного, всего израненного копытами и конскими зубами неведомого нам человека.

Так его называю потому, что и правда он был нам непонятен и чужд. Жил с нами в одном доме, спасенный от казни, одетый и обутый, сытый и поздоровевший. Как же могло быть, что пошел на мерзкое дело против того, кто жизнью рисковал ради справедливости для него и всего народа?

Израненный и окровавленный Мадияр лежал без движения, но глаза его оставались живыми и злобными. Он не раскаивался и всем выражением показывал ненависть против Токтора.

— Все понимаешь? — спросил его Токтор.

— Понимаю, что убьешь,— ответил Мадияр.

— А если оставлю жить и отпущу, что тогда станешь делать?

— Не уйду. Буду у тебя жрать и спать. Все равно за нами придут и всех нас прикончат. Я знаю, как закон расправляется с бунтовщиками. Солдаты по приказу волостного старшины сожгут за убийство судьи кыштак кашкоринцев, пойдут в горы и поймают Бекмергена с его кедеями. Тебя же, как зачинщика, расстреляют при всем народе.

— Никто, кроме тебя, не знает, что я был там.

— Кедеи знают и под пытками скажут. А я и без пыток скажу. Скажу, что кормил и одевал, надеясь переманить. Потому как ты не киргиз по жизни своей и безбожию. Ты капыр — иноверец, я плюю на тебя. Умирая, буду проклинать каждое слово твое и воздух, которым дышишь.

— А знаешь ли ты, Мадияр,— сохраняя спокойствие и холод речи, спросил Токтор,— как поступают со взбесившимся животным?

— Знаю: убивают без жалости. Ты раньше взбесился, чем я, и тебя раньше меня убьют или после меня убьют, но уже теперь ты меня боишься, хоть я и полумертвый перед тобой.

Токтор помолчал в раздумье, как вдруг лицо его осветила усмешка и он с удивительными словами обратился ко мне:

— Слушай, Аруке. Этот Мадияр, спасенный нами, предал нас, предал себя и заслужил страшной кары. Он бил тебя, разорвал тебе рот и хотел похитить, чтобы отдать в руки лютого врага на растерзание. Так вот, подумай и скажи, что делать с ним. Скажи, Аруке, и я поступлю с ним по твоему приговору.

В ответ на эти слова Мадияр потерянным взглядом выпучился на Токтора. Он был готов принять любые муки и смерть: знал, что не будет ему пощады, а речами своими торопил расправу над собой. Но того, что сказал горный колдун, он предвидеть не мог. Никогда не было, чтобы судила и приговаривала женщина.

Уж не радость ли хотел мне доставить Токтор? А может быть, смеялся надо мной? Или издевался? Правда, на площади в кыштаке, обращаясь к народу, я обвиняла уже погибшего своего свекра, Батыркула, неправедного судью Айдыралы, Гундоса, Музафара и муллу. Но, обвиняя и рассказывая об их преступлениях, я не казнила их и не миловала. Спрашивала народ и Бекмергена, стоявшего на черном судейском камне, как быть с этим и как быть с тем. Но я их не судила и не приговаривала. Я и тогда понимала, что женщина не вправе резать лозу: никто приговора ее не исполнит, и всевышний бросит в нее молнию даже из голубого неба. А теперь одно то, что Токтор обращался ко мне в ожидании моего решения, означало, что нисколько не уважает святой коран и его предписания.

Мне стало тяжело и стыдно. При Мадияре много раз называла Токтора отцом, тем самым признавая его полную над собой власть и единомыслие с ним. Но как могла я приговаривать? Неужели не понимал Токтор, что не только моя душа, но и душа любой женщины не созрела для судейства?

...Забегая вперед, скажу вам, дорогие мои. Побывавший в Сибири на каторге и деливший долгие годы свой труд, хлеб и досуг с русскими, среди которых были и революционеры, Токтор по жизни и понятиям забежал далеко вперед от своего народа. Он знал наши обычаи, знал коран и шариат, был много грамотнее среднего муллы. Однако, победив в себе богобоязнь, воображал, что и другие легко могут отступиться от веры. Мало того — он стремился так сделать, чтобы те, кого воспитывает, сознательно рвали с исламом и отказывались от бога. Отдав на мой суд Мадияра, он не только его оскорблял в предсмертный час, показывая презрение к корану,— нет, он и меня испытывал, чтобы понять, сколько во мне свободы. Эту ошибку повторяли после него многие: слишком торопили полный разрыв с обычаями и религией. Только тех признавали своими, кто легко отходил от предписаний предков.

...Чего добивался Токтор и чего добился? Только того, что я замкнулась перед ним. Не ответив на его вопрос ни единым словом, я закрыла руками лицо и убежала во двор.

Стояла во дворе, мертвая от ужаса, уверенная, что сейчас раздастся выстрел или крик Мадияра под ножом старика.

Ждала, но не дождалась.

Пока ждала, с северной стороны прилетел сизый голубь и уселся на жердочку перед голубятней. Уселся и заговорил со своими родными, которые тоже заворковали, обрадованные возвращением давно исчезнувшего.

Тут-то я и вспомнила, что голубь был у Мукаша. Если послал — значит, жив. Больше месяца не было ни слуху, ни духу. И вот прислал голубя.

— Отец, отец! — стала я звать Токтора, забыв, что сержусь на него.

И он прибежал, и взял с жердочки птицу, и снял с ее лапки письмо, и стал читать.

Токтор читал про себя, не делясь со мной, но я уже привыкла понимать, как меняется он в своем выражении от хорошей или плохой вести.

Я поняла: он в недоумении и не знает, что́ можно мне говорить и что́ надо скрыть. Он в растерянности и печали. Должен что-то решить, но не может.

Сколько-то он простоял в молчании, как бы оцепенев: наверное, прислушивался.

Ворковали голуби, под легким ветром шелестели сучья деревьев, славное морозное солнце держалось в голубом небе, как бы притворяясь, что не замечает происходящего на земле; не было туч, а воздух был так прозрачен, что я отчетливо видела сверкание далекого пика Дильбар, названного им так в честь своей погибшей жены.

В доме не шевелился и не стонал избитый копытами жеребца Мадияр. «Уж не умер ли он?» — спросила я себя. По взгляду моему Токтор догадался, о чем думаю, и так сказал:

— Тело этого человека сплетено из стальных нитей, я осмотрел его — он будет жить. Двух казней он избежал. Даже подкованный жеребец не сломал в нем ни одной кости.

— Почему он молчит? — спросила я.

— Почему? Наверно, потому же, почему говорил...— Посмотрев на меня долгим взглядом, Токтор вдруг заговорил отрывисто: — Спрячься! Но спрячься так, чтобы все слышать. Сюда идет Батыркул. Давний и упорный враг добра и людей, он идет ко мне с миром... Всегда и всюду он идет убивать со словами мира. Коварство его не знает границ. Но вот старый и верный мой друг Мукаш пишет, чтобы я Батыркула не боялся и слушал внимательно. И еще он пишет, что вступил с Батыркулом в союз... Ты видела, как Мукаш метким выстрелом сбил с голо-

вы Батыркула тебетей... Ты видела, а я приказал ему это сделать, и он послушался. Зачем он погнался за Батыркулом?

— Затем, чтобы убить,— ответила я.

— Я тоже так думал... А теперь Мукаш мне пишет, что Батыркул может быть полезен и приезд его нужен нашему делу. Пишет он, почерк его. Но письмо не закончено, и на нем следы крови. Думай, думай, Аруке!..

— Думать или прятаться?

— Возьми заряженное ружье, лезь на чердак, разгреби уложенную там листву, найди меж досок щель: смотри, слушай и думай! Но пусть ружье не стреляет до моего крика. Поняла?.. А если поняла — торопись. Мой слух ловит стук копыт.

Мне о многом хотелось спросить, однако ослушаться не посмела. Вскоре и до меня донесся тревожный сорочий стрекот. Это означало, что в лесу появился чужой.

Я сделала все, как велел Токтор,— вскарабкалась по приставной лестнице на чердак, разрыла листья, нарушив покой мышиных семей, и, преодолевая отвращение, улеглась среди них, ожидая, что будет дальше.

* *
*

Чердачное окошко на зиму было заколочено, и я не могла видеть приезд Батыркула. Не знала — один он поднялся или с телохранителями. Не было слышно громкой речи, но не было слышно и гостеприимного приветствия Токтора. Однако подкованная лошадь скользила и хрипела на тропе, а потом стучала подковами по нашему двору. Голос, дрожащий от усталости, проговорил: «Салам-алейкум», и голос Токтора настороженно отозвался: «Салам».

От несметных мыслей голова моя шумела, подобно пчелиному рою. Давно ли обличала перед народом кыштака грязную мерзость и предательство Батыркула? Он был повержен и приговорен к казни. Я и сама, не боясь адского пламени, пристрелила бы его, или придушила, или пришибла камнем. Любое убийство такой ядовитой твари виделось справедливым и полезным для народа. Еще раньше, услышав сговор двух баев, я догадалась, что Батыркул торгует людьми — их душами и состоянием. За эту догадку, помните, меня похвалил Токтор. И, когда месяц назад я говорила перед кашкоринцами, самые горячие слова моей речи касались того, как богачи обманули народ, как святое дело мести обратили в торговую сделку.

Показывая на Батыркула, спросила: «Как быть с ним?» — и все, кто был на площади, единым голосом приговорили: «Казнить!» Даже бий Айдыралы требовал Батыркулу казни. Тепер же Мукаш хочет союза, а значит и дружбы, с тем, кого сам же видел подлым преступником. Как понимать, что Мукаш просит Токтора связаться с лютым врагом? А что будет, когда Батыркул найдет здесь Мадияра? Вот он лежит на полу, он виден мне через щелку. Человек Батыркулова рода. Бедный из бедных, а в подлости своей близкий хозяину. Вот он лежит, свернувшись в комок, не желает подняться или не находит для этого сил. Лежит, не стонет. Неужели уснул? Или копит силы для прыжка?

Зная, что сейчас в комнату войдет Батыркул, внезапно я потеряла ненависть к Мадияру. С жалостью подумала: «Мы его спасли от казни, ухаживали за ним и лечили. Мы столько сил на него потратили, а придет бай... что с ним сделает? Правда, правда — что он с ним сделает?!» Я готова была крикнуть Мадияру: «Спасайся, идет Батыркул! Ты не привез ему доказательства своей преданности — жеребец не дал тебе пленить меня и отвезти своему повелителю. Как теперь станешь оправдываться в том, что тебя спас и вылечил капыр — иноверец и ты живешь в его доме?..» А знает ли Батыркул, сказал ли ему Мукаш, что среди кедеев на жеребце Кашкоро сидел сам Токтор, обритый и переодетый? А правду ли сказал Мадияр, что сговорился с Серкебаем и что отец моего ребенка отравил ученого барса Токтора? Откуда узнал? Как мог с Серкебаем встретиться и обо всем условиться?.. Выдумал и солгал! Ну, а вдруг не солгал, и в тот раз, когда мы с Токтором вернулись с охоты... Помнишь, помнишь — собаки ежились и щетинились, да я и сама учуяла запах Серкебая.

Как выбраться из всего этого? Как уложить в стройный ряд свои мысли? Как мне, шестнадцатилетней, судить стариков? Давно ли твердила, что не созрела для суда, и, когда Токтор спросил, казнить или миловать Мадияра, зажала уши и выбежала. А разве сейчас, в ожидании встречи спасителя своего с грозным повелителем соседнего рода, я не сужу их — того и другого? Что я и кто я? Одна из серых мышек, населяющих влажную и теплую листву над потолком дома. Может быть, и мышки судят нас, поглядывая в потолочные щели? Наверно, судят! Наверно, думают о нас: какие мы и зачем мы. И недовольны тем, что плохо уложили для них листву, что мало оставляем им крошек для пропитания, а чуть что — безжалостно убиваем.

А зачем нужны мысли? Не лучше ли без них? Не лучше ли

не смотреть и не слушать, а закрыть глаза и заснуть, а поспав и отдохнув, убежать?

Куда? К кому? Для чего?..

* *
*

Вошел человек, которого, если б встретила пешим на дороге, назвала бы старым, изможденным, хотя и гордым в бедности своей. Батыркула бы в нем не узнала. Был светлый день. а я и правда увидела вроде бы никогда не виданного. Но тут же и разглядела: подпоясанный платком поверх серого чапана человек в ветхом барашковом тебетее не скромен и не беден. Под чапаном бекеша с меховой оторочкой, а на ногах простроченные шелком по голенищам сапоги на высоких каблуках. Сметенная ветром на сторону длинная прозрачная борода пришельца, чистая и белая, легла на груди, как знак привычной властности.

Может, и хотел быть неузнанным и казаться простым киргизом, но каждый шаг его обозначал презрительную важность владыки, а каждое движение руки выдавало желание быть снисходительным и сдержанным.

Токтор следовал за ним в двух шагах. Войдя, они впустили морозное облако, в котором их можно было принять за добрых друзей, а пожалуй, что и братьев. Но облако развеялось, и стало видно: не друзья встретились и не братья. Черноволосый с проседью Токтор, широкий в кости, сильный и злобный, не радушным хозяином вошел в свой дом и не ввел нежданного гостя, а привел. Не было аркана, которым бы держал его, но была незримая плоть аркана, которую чувствовал гость.

Я не слышала глухого рычанья и клокотания взаимоненависти, но вроде бы запах серы достиг ноздрей моих, а в пламени открытой печи засверкала ядовитая желтизна, а потом и зелень. Пламя арчовых поленьев стелилось и с трудом сдерживалось, чтобы не выползти наружу и не растечься струями по полу.

Не дождавшись приглашения хозяина, Батыркул пододвинул ногой к стене табуретку и сел, опершись локтем на стол, а спиной прижался к стене.

Как и в тот раз, когда в ночь похорон Жайнака явился к Кашкаро, Батыркул бросил к двери камчу и пронзительно посмотрел на Токтора, ожидая, что и тот поступит так же. Но хозяин дома свою камчу держал за спиной, крепко вцепившись в нее обеими руками; этого Батыркул видеть не мог, но я видела

и понимала: душа его вцепилась в камчу. Только так и мог сдерживаться — не задавать вопросов, не кричать и не бить.

Усевшись, бай показал всем видом своим, что нет здесь ничего удивительного. Он знает стол, знает табуретки, печь, окно, гладкий потолок, уважает голую бедность стен, привычен даже и к тому, что никто не подает ему ни чая, ни угощения. Он сидел на табуретке вроде бы даже с удовольствием и удобством.

— Пай-пай! — воскликнул пришелец и вытянул ноги, желая этим сказать, что ему хорошо в тепле и никуда он не спешит.

Тут же в комнате лежал подданный его Мадияр, весь избитый и окровавленный. Лежал на полу и следил за каждым движением своего бая. Заметив, что Батыркул вытянул ноги, полуживой Мадияр поспешно пополз, обходя Токтора, как обходит каждый зверь дерево, и, приблизившись к баю, трижды стукнулся головой об пол. Он не смел поднять глаза на своего бая, не смел плакать и стонать, но сейчас же обхватил сапог Батыркула и стянул его. Поторопившись стянуть и второй сапог, не подымаясь с колен, отнес сапоги к порогу и аккуратно поставил их там. Потом вернулся к ногам повелителя и стал прилежно целовать его красные сафьяновые ичиги. Ни слова не сказав, не плюнув и не скривив лица, Батыркул уперся мягкой подошвой ичига в лицо Мадияра и оттолкнул его, хоть и сильно, однако без злобности.

Мадияр лег невдалеке, свернувшись, подобно тому как сворачивается на земле собака. Он не заскулил, но я понимала, что, робко повиляв несуществующим хвостом, поджал его и так застыл, не мигая глядя на владыку своего.

Токтор молчал.

Молчал Батыркул.

Молчал и Мадияр, не смея изменить положения тела.

— Убери эту падаль,— негромко сказал Батыркул Токтору. Это были его первые слова в доме охотника.

Стало сердиться и шипеть пламя в печи. Два уголька выпрыгнули и задымились на полу.

Токтор ответил:

— Сам убери. Это твоя падаль!

Батыркул через силу рассмеялся. Ах, он хотел бы чувствовать по-прежнему свободу своей властности, но, поглядывая в печь, видел: там много пространства для огня и много поленьев, способных выпрыгнуть на него, повинуясь приказу колдуна.

Рассмеявшись, бай сказал:

— Токтор, я пришел к тебе, как к равному, а ты стоишь

передо мной — значит, нет в тебе силы преодолеть страх перед байством моим, перед властью моей, перед высотой владыческого имени моего. Говоришь как бунтарь, а стоишь как раб... Народ всех поселений Тянь-Шаня полагает тебя колдуном и верит, что царствуешь над зверями леса. Вот только попался на приманку с ядом твой любимый барс. Как же так, а? Как мог посланный мною простой чабан Серкебай преодолеть твои заклятья и отравить защитника твоего?

Токтор молчал.

Тогда Батыркул, поблескивая глазами и слегка ухмыляясь, прибавил к своим словам:

— Может быть, сердишься, что убит ученый зверь? Но ведь и я ученый, а сколько людей стремится меня убить. Каждый зверь и каждый человек должны знать, что на него всегда ведется охота, и если начнет бояться — плохо ему. Я ничего не боюсь и никого. Рано или поздно смерть придет ко мне. Об одном молю аллаха: пусть будет гибель моя для пользы киргизского народа.

Токтор молчал.

Он держал за спиной камчу. Это была камча страшного Кашкоро. Та самая камча, которой мой свекор убил, ударив промеж глаз, верблюда. В ручку ее, обернутую листовым серебром и чеканенную киргизским орнаментом, было залито четыре фунта свинца. Этой же камчой бил мой свекор по лицу Бекмергена, и Бекмерген терпел. Эта же камча гуляла по моему телу, оставив на память рубцы телесные и рубцы души. Этой же камчой взбунтовавшийся раб Бекмерген, вырвав из руки бая, ударил его и убил. Вместе с конем Шамалом Бекмерген оставил Токтору знаменитую камчу, и я ждала, что гордый колдун в ответ на злобные насмешки пришельца пустит ее в ход и еще один бай кончит свою жизнь под ударами ее.

Ждала, но не дождалась.

Токтор молчал. Он знал: не годится в доме своем убивать кого бы то ни было.

Батыркул продолжал начатое:

— Народ всех кыштаков и аилов верит в колдовскую твою силу и в дружбу твою с шайтаном. Говорят — можешь управлять погодой, вызывать снежные обвалы и камнепады. Говорят — огонь подчиняется тебе и ты способен зажигать все вокруг себя. Говорят — меняешь по желанию свой облик и можешь переместиться не то что в шкуру архара, но и в шкуру прыгающего тушканчика... Я читаю русские книги, Токтор, газеты и календари. И я вычитал в отрывном календаре, что тушканчики, которых видимо-невидимо на Тянь-Шане, плодят блох, а блохи

плодят чуму... О, страшно мне, Токтор! Если способен воплотиться в тушканчика — значит, нетрудно тебе превратиться и в чумную блоху. Скажи, правда это или сказка? Все умрут, опустошатся горы, а ты — ха-ха-ха! — один будешь летать по воздуху, повелевая зверями и птицами. Не делай этого, о Токтор, молю тебя, не делай!

И он опять рассмеялся. На этот раз громко и почти свободно.

Дерзость этого человека была нестерпимой, но не могла не вызывать удивления и уважения. Не иначе где-то вблизи прятались его телохранители, и, когда б Токтор убил бая, возмездие наступило бы незамедлительно. Но Батыркул был умен и понимал: страхом перед возмездием не удержать руку Токтора. Пусть не верил он в колдовскую силу горного охотника — в силу ярости его и честности, в способность пожертвовать собой для исполнения казни по народному приговору он должен был верить. Как же осмелился прийти? На что надеялся? Явившись полугодом раньше в стан Кашкоро, он делал ставку на торговую выгоду, и ему удалось соблазнить моего свекра, хотя и в тот раз доверился не одной лишь корысти, но и счастливой своей звезде. Однако, если действительно умен, как может надеяться купить деньгами Токтора?

Я не видела лица Токтора, зато и сейчас передо мной стоит как живое лицо Батыркула — насмешливое и упрямое.

Не получая ответа на свои издевательства, он стал подступаться к Токтору с другой стороны:

— Не придавай значения тому, что подшучиваю над тобой. Шутка помогает мне в беде и поддерживает силы. Знаю, что можешь убить, но не убьешь. Тебе народная казнь нужна, а не убийство. Разве не так? Догадываюсь: ошибкой было называть тебя и себя равными. Этим оскорбил твое свободолюбие и долгую борьбу с богачами и властителями. Мне и таким, как я, ты враг. Гордись, Токтор,— полагаю тебя самым страшным из врагов моего сословия. В колдовство твое не хочу верить, но столько о нем разговоров, что и в мою душу прокрадывается иногда сомнение: вдруг и в самом деле есть у тебя таинственная сила, подобная той, что живет в плакальщице Акзыйнат? Не верю, что можешь повелевать зверями, зато верю в твое бессмертие и завидую ему. Я мог бы напасть на тебя со своими головорезами — зарубить или застрелить. Но если б народ узнал — а скрыть от бога и народа ничего нельзя,— что я убил Токтора, киргизы подняли бы тебя в памяти своей как святого народолюбца, а меня придавили бы черным камнем вековой ненависти и презрения... А я к славе неравнодушен. Но и не

хочу славы душителя и убийцы... Чем же мы равны? И почему ты не станешь убивать меня, а я сочту за лучшее, содеянное в моей жизни, если поймем друг друга, найдем общий язык и подружимся? Полагая меня коварным и мстительным, думая, что пришел к тебе хитрый искуситель, ты заблуждаешься. Мы должны взаимно открыться и действовать сообща. Узнав от Мукаша, каков ты, я поверил в тебя...

Произнеся эту долгую речь, Батыркул поднял свой взор на хозяина дома, и я увидела, что нет в нем ни страха, ни злости, ни слабости. Даже коварства не заметила в его глазах, но не могла не заметить ум и наслаждение своим умом. И вот что я подумала, лежа среди листьев на чердаке: смелый и спокойный ум и презрение к смерти способны совмещаться как с добром, так и со злом. Если б только с добром совмещался ум — зачем Батыркул оттолкнул ногой подданного своего Мадияра? Знал, не мог не знать, что тот, помня заповеди пророка, всей душой верен ему и сто раз умрет за него. И такого преданного он оттолкнул...

Ах, дорогие мои, тряпка для вытирания пола верна мне и сто раз готова сгнить за меня. Но если не нужна и мешается под ногами — отброшу, не подумав о верности ее и готовности умереть за меня. Не только тряпка, если не ко времени попадет под руку нож — и нож отброшу. Подданные бая — орудия его: сабля, топор, нож, тряпка — не все ли равно. Пусть бай бережлив и добр к своим вещам — не может же он, придя в дом к равному, чистить или гладить собственность свою.

Так я думала. Но от холодных рассуждений кипучая ненависть ничуть не остывала. С нетерпением ждала я призывного крика Токтора, чтобы пустить пулю в голову бая. Хотела бы горящей смолой облить... Неужели и правда хотела? При том, что я умом своим понимала тряпичную ничтожность Мадияра, до удушья злобилась на Батыркула за одно то, что не видит разницы между живым существом и вещью. И ждала, все ждала, что Токтор скажет Батыркулу: «Ты в доме моем оскорбил человека. Могу ли тебя слушать?!» А он молчал.

Но вот речи пришельца достигли Токтора. Вот он пододвинул ногой к другой стороне стола табуретку и, положив перед собой камчу, так заговорил:

— Слушай, бай! Ты смел и нагл в своей смелости. Однако ж небезрассуден. Назвал меня самым страшным врагом. Но ведь врагов уничтожают. А мне друг мой Мукаш из рода Тентемира прислал голубя с запиской, что идешь сюда для союза и дружбы. Зачем это слово? Ты не переменился, и я не переменюсь. Может быть, Мукаш ошибся и должен бы заменить

слово «дружба» словом «расчет»? Если так, не теряй времени. Жду прямого ответа: в чем для нашего дела может быть расчет в союзе с тобой и что объяснил тебе Мукаш, говоря о нашем деле, как ты понимаешь нашу цель?

...Мне было невыносимо смотреть на то, как два столь разных, кровавовраждебных человека сидят за одним столом. Раньше я видела только лицо Батыркула, теперь окно осветило и лицо Токтора. На нем я тоже не прочитала ни страха, ни хитрости — только ум.

Батыркул приготовился отвечать. Я уже знала, что коротко говорить не может. Будет юлить. Будет выставлять себя благородным. Нет, он заговорил хоть и не коротко, но прямо приступив к делу:

— Ты прав. Не думай, что зря назвал тебя колдуном. Если дойдем до общего дела и сойдемся в нем, хоть и не верю в истинность твоего колдовства, оно-то и нужно. И мне, и Мукашу, и тебе. Таков расчет. Но я и до дружбы дойду. Тогда увидишь, что дружба моя нужна будет и для вашего дела, которое способно стать также и моим. Месяц у меня гостил Мукаш, и мы многое обсудили, а потом, когда случилось...

Я слушала, и Токтор слушал, но оказалось, что слушает и тот, кого обозвали падалью. Нежданно приподнялся с полу Мадияр и рыдающим рычаньем прервал речь своего бая. Он указал дрожащей рукой на Токтора:

— Кровь, кровь, вся кровь на нем... Он владыка разбойников, он был с Бекмергеном... Он взял меня и лечил, чтобы сделать капыром... О повелитель! Этот Токтор — он слуга шайтана и никогда не молится. А перед тобой я не виноват ни в спасении от казни, ни в жизни своей. Кровь жизни моей на колдуне. Ты слышал, о повелитель, плачущую со скалы женщину Аруке? Ее устами он, он произносил! Потом отнял у Бекмергена и привез сюда. Она здесь. Вместе с брюхом от Серкебая, вместе с грехом Бекмергена. Здесь, здесь! И жеребец Кашкоро Шамал тоже здесь. И тайные травы, и ядовитые мухи, и ружья с припасами, и зимнее молоко. О зимнее коровье молоко — жирное и сладкое!.. Но я и за него не продался, не покорился. Дай мне, святой ходжа, в мою руку нож. Я доползу до горла капыра и зарежу его в твою честь. Не торгуйся с ним, повелитель, режь его, режь! И благословенно будет имя твое в череде святых защитников ислама. Режь его, режь!

Глаза его были красны, а рот был полон кровавой пены. Начав с рычанья, он кончил воем. И под собственный вой упал, забился в корчах, а потом вдруг заснул.

Может быть, умер? Нет — заснул.

* *
*

От всего этого я испугалась, думая, что Батыркул тотчас кликнет своих телохранителей, чтобы схватить Токтора и меня. Мадияр был как безумный, но ведь говорил почти правду: видел меня с Бекмергеном, слышал, как тот, признаваясь в убийстве Кашкоро, сказал всему народу кыштака, что похитил тебетей своего бая, коня Шамала и меня. Он слышал также, что я обращалась к беглому рабу, как к судье. И потом видел, что не с Бекмергеном уехала, а с неведомым кедеем, безбородым и безусым, поднявшим его на своего коня.

Только много позднее, когда отросла борода у Токтора, Мадияр его узнал. И понял, что не с Бекмергеном я живу среди его пещерных кедеев, а в доме горного колдуна. Конечно, он скорее всего решил так, что Токтор отнял меня у Бекмергена в свою пользу... В этом ошибся. Однако все остальное знал, как и весь народ. Знал неправду, которую мы выдумали, чтобы его спасти.

Однако ж знал он еще и ту правду, что Токтор пытался отучить его, равно как и меня, от дикости мусульманских обычаев и от веры, а он такого не желал.

Вспомните: ведь и я в то деревянное время видела в приемном своем отце, целителе и кормильце, капыра-иноверца, который хочет всякого переубедить и обратить...

Мадияр пылкой своей речью так много открыл Батыркулу, что уже нельзя было перед баем оправдаться. Я думала — вот-вот начнется между ними борьба. Думала — наступил момент стрелять. Вскочила на ноги и прижала ружье к плечу и дулом уперлась в потолочную щель. И конечно же, шумом обнаружила себя. Не мог же Батыркул поверить, что домашние мыши топочут на чердаке, подобно лошади.

Теперь я не видела, что делается в комнате, а ружье направила наугад. Замерла. Но так гремело мое сердце, что мыши стали от этого пищать и в страхе разбегаться.

Тут-то и раздался голос Батыркула:

— Э-эй, джигит Шертай! Хватит тебе подслушивать, спускайся к нам. Узнав начало, узнай и конец!

Быстрый мой ум сразу же ухватил: «Если называет меня Шертаем, ему рассказал Мукаш. Никто другой под этим именем меня не знал. Хорошо это или плохо? Радоваться или еще больше злобиться? Неужели Мукаш предатель? Или... или Батыркул не врет, что пришел с дружбой. И как я, женщина-девчонка, приму равное участие в разговоре?»

Не расставаясь с ружьем, я спустилась по наружной лестнице и, проходя через двор, увидела: одна только лошадь привязана к крыльцу. Телохранители не стерегут дверь. Если и есть они — прячутся под горой.

Преодолевая страх и робость, я отворила дверь и вошла.

* *
*

Бай сидел, развалясь и опустив губы в скорбной брезгливости. Глаза его смотрели и не смотрели на Мадияра или на то, что было когда-то капканным охотником Мадияром, а теперь расплющилось на деревянном полу, шумно дышало и хрипело.

Войдя, я прижалась спиной к косяку двери. Старики не могли не видеть, что вошла вместе с морозным облаком, но вроде бы и не было меня с моим ружьем, которое могло выстрелить в любого из них. Я ждала, что Батыркул станет смеяться надо мной, но этого не случилось. И пришлый бай, и хозяин считали нужным, чтобы я слышала и слушала, но помнили, что не годится мне быть там, где говорят меж собой мужчины. Я должна бы уйти в другую комнату, но злое упрямство держало на месте. Меня не спрашивали, не гнали и не замечали. Могла бы закричать или стукнуть прикладом об пол, но вместо этого присела у косяка двери, держась обеими руками за ружье.

Я искала глазами, кто бы меня понял в моем упрямстве и пожалел в бремени быстрых и страшных моих дум. Искала союзника и нашла. Моим союзником стал огонь печи, рассерженный не меньше, чем я. Он шипел и плевался искрами, требовал, чтоб подошли к нему и успокоили, грозился сжечь дом, однако ничего не добился. Огонь шумел, а я сидела тихо, но посылала ему привет и прибавляла к его силе силу кипящего своего взгляда.

Батыркул коснулся ногой Мадияра, стал расталкивать; убедившись же, что тот не чувствует и не может слышать, скосился на Токтора и так сказал:

— Эх, Токтор! Ты знаешь меня врагом, но другом не знаешь. Спрашивал, что хотел сказать Мукаш из Тентемирова рода, когда написал, что могу быть полезен в а ш е м у делу. Вот оно, в а ш е дело,— он небрежно кивнул в сторону лежащего на полу.— Спасенный вами во имя справедливости, он по мановению мизинца моего убьет любого из вас, разрубит или растопчет. Потому как ваше дело темно ему и непонятно. Я называю падалью, толкаю в лицо ногой, а он лижет мои сапоги. И спасителей своих предает. Ради чего? Думаешь, любит меня? Думаешь, надеется на жизнь? И разве жизнь то, на что он на-

деется? Ты, сильный и умный колдун, охотник, оружейник, борец за счастье народное, не ведаешь, что делать с ним. Именем пророка клянусь — и я теряюсь перед такими, как он. Даровал бы ему жизнь, вернул бы жену и детей, если б не был он падалью. Годится в палачи, но не годится даже к малой свободе и пониманию. Откажется от свободы по одному тому, что надо мыслью познать ее, думать и проникать. Он нашел в лесу ветром унесенный с головы Кашкоро тебетей, который в капкан к нему попал вместо лисицы, а он понял, что ему аллах подарил, и туда же спрятал, где хранились у него обработанные шкуры. Ему сказали, что убил бая и отравил байбиче, и стали крутить руки, и он согласился: «Да, убил, да, отравил!» Согласился по одному тому, чтобы скорее уйти от боли. А услышав, что судят его именем аллаха, упал, как от молнии... Ты и сподвижники твои хотят дать таким, как он, власть. Власть без аллаха. Что, скажи, будет тогда, кроме вони? Изгони из Мадияра аллаха — богом его станет водка и плетка. Ты и вот эта Аруке казнить меня хотели именем народа. Меня и еще четырех, подобных мне, а когда я сам без охраны поднялся в ваш дом, не способны тронуть и оскорбить. Потому как такой Мадияр, хоть он и молится пять раз на день,— он только раб аллаха. А вы не молитесь, но аллах в душе вашей...

Все больше распаляясь и возвышая голос до молитвенного песнопения, Батыркул сам верил во все, что говорил. Как же любил себя и свою смелость, как радовался, что слушаем его! Я стала думать: «Нет, он не хитрый из хитрых и не подлый из подлых, а святой из святых. А если так — значит, святость вместе живет с подлостью и хитростью». Хотела его слушать, хотела думать и побеждать его мыслью. Глянула в огонь печи — оказывается, и он притих во внимании. И Токтор прижал руку ко лбу. Неужели покорился сладкоречью? Но тут я заметила: губы его дрожат в улыбке — вот-вот расхохочется.

Заметил это и Батыркул. Быстро сунул руку за пазуху. Я вскочила с ружьем, а Токтор — с камчой. Но Батыркул не нож вытащил из-под бекеши и не пистолет, а длинную серебряную цепочку, на конце которой повисли толстые серебряные часы.

— Эй, джигит Шертай,— повернувшись ко мне, проговорил Батыркул,— узнаешь, что это?

В дрожи испуга и печали, спотыкаясь языком, я ответила:

— Эт-то, эт-то л-луковица М-Мукаша...

— Да, это часы Мукаша,— подтвердил бай.— В предсмертные мгновения он заклинал меня отдать тебе. Сказал, что завещал еще давно.

Батыркул поднялся, сложил молитвенно руки и проговорил:

— Да пребудет он в раю, да будет ноша души его легка, да будет он принят в сонм ангелов божьих. Аминь!

Помолившись, он нажал на что-то, крышка луковицы откинулась, раздался нежный звон, и в тот же миг, будто по приказу господа нашего великого аллаха, раскрылась деревянная дверца, выскочила деревянная птичка и прокуковала столько же раз, сколько прозвенел серебряный колокольчик, показывая, что время Мукаша и время Токтора едино.

И я поверила, что умер не враг, а друг, а поверив, горько зарыдала...

* *
*

Я упала в рыданиях, но тут же и вскочила, чтобы застрелить Батыркула.

Нельзя убивать в своем доме, но разве это мой дом?

Пока я рыдала, оказалось вот что. Батыркул и Токтор склонились над Мадияром. Я не сразу поняла. В руках у них был длинный и толстый аркан: оба вместе притягивали руки Мадияра к телу, а потом вертели и крутили спящего и так его замотали, что не мог бы ни вскочить, ни шевелиться. Токтор насунул на его голову треух, после чего бай и колдун подняли спящего, а мне приказали открыть дверь, и вынесли этого лишнего им человека во двор, и отнесли подальше в мягкий сугроб.

«Как же так,— думала я,— как же так?!» Нет, ничего я не думала, не способна была думать и понимать. Мелькнуло еще удивление: неужели так крепко спит Мадияр? А вдруг не спит, вдруг все понимает и размышляет над происходящим? Какие же хорошие мысли должны у него крутиться! Разве мог когда-нибудь представить, что владыка рода, царственный бай поднимет его на руках!

Я осталась во дворе, а старики ушли в дом. Мадияр лежал без движения. У крыльца стоял привязанный иноходец Батыркула, переминался с ноги на ногу, звенел удилами, косил жарким глазом. Хороший конь!.. Вдруг я спохватилась: где же собаки, где вся свора? И только сейчас дошло до меня, что они не встречали Батыркула лаем и не кинулись на него.

Был яркий день. В прозрачной синеве неба плавали, наблюдая сверху за всем происходящим, большие и малые стервятники — грифы, сипы и бородачи, вóроны и коршуны. И так их было много, будто собрались на обширный пир, где столько мяса, что не нужно драться из-за куска.

Вся свора — все девять собак валялись, скрюченные смертью, в разных концах двора. Все до одной были отравлены...

Я ходила среди них, окликала, пробовала будить. Нет, все были мертвы. Тогда мне пришло в голову, что Мадияр, бросая им куски зарезанного барана, сыпал на мясо яд. Откуда мог взять? Неужели ему принес племянник Батыркула Серкебай?.. Слышите, слышите! — не говорю — муж мой, любовь моя, не говорю — отец моего ребенка. Называю племянником Батыркула. В тот час только таким он был для меня.

Я ходила, топталась среди околевших псов и старалась не видеть Мадияра в его сугробе. В руках моих все еще было заряженное ружье. Почему не подошла и не прикончила его спящего или притворяющегося? Скажу вам правду — была сама не своя и могла только вздыхать, ежиться и стонать. Не забыла я и того, что бай и колдун дружно несли Мадияра. Лютые враги, действующие вместе.

Долго ли, коротко ли я так бродила, полумертвая в беспомощности своей,— вдруг меня позвали, чтобы вошла в дом. Не Токтор, как хозяин, и не Батыркул, как незваный пришелец,— оба вместе окликнули и единым голосом потребовали:

— Иди сюда!

Что-то будет?!

Мертвое будет дело или живое?

— Пора и меня отравить,— сказала я, входя и затворяя за собой дверь.

* *
*

На столе перед Батыркулом стояла деревянная миска с дымящимся, приготовленным мною, шурпо. Он хлебал жадно, обжигаясь и сопя. Кивнув на Токтора, сказал мне:

— Выслушай его!

— Садись, Аруке,— сказал Токтор.

А я не могла сесть. Так была взъерошена и душой и телом, что не сгибались ноги.

Батыркул продолжал поспешно насыщаться, следя за мной и суя ложку в рот не глядя; шурпо растекалось по его бороде. Я отвернулась к Токтору и в отчаянии крикнула:

— Т-там от-травлены все собаки! — Зубы мои стучали.

— Знаю,— хмуро откликнулся Токтор.— Мадияр нашел в подполе мешочек с порошком...

Я его перебила:

— Так почему же ни вас, ни меня не накормил отравой? В своей дикой ненависти давно мог бы это сделать. Скажите же,

отец. Вы меня лечили и спасали, от вас я училась, послушная вам во всем. Объясните мне.

— Крепись, Аруке! Надо жить, надо понять все, борьба только начинается... Сядь, прошу тебя... И возьми часы, которые принес бай... Ты уже знаешь: Мукаш умер...

— Он его убил? — спросила я, кивнув на Батыркула.

Бай утер губы ладонью и произнес:

— Мукаш истек кровью у меня на руках. Перед смертью написал вам записку и послал с голубем... Дай мне чаю, Аруке. Я очень устал, очень хочу пить. Токтор тебе все перескажет.

В ужасе недоумения, вроде как во сне, я подала баю пиалу чая. Значит, теперь он гость, а может, и друг? Плюхнувшись на топчан Мадияра, я смотрела на стариков, будто завороженная. Иногда кидала взгляд в печь, иногда в окно. Почему смирился огонь? Почему светит солнце? Почему горы не обваливаются в ярости против сговора лютых врагов?

Токтор стал говорить. Ему было нелегко.

Прежде всего сказал, что Мадияра пришлось связать и вынести, так как мог не вовремя проснуться.

— Может быть, спит, а может, и притворяется, обманывая всех нас. Думаю, не подсыпал порошок ни тебе, ни мне по одному тому, что намеревался живыми отдать в руки этого вот Батыркула: хотел радость доставить своему повелителю; спастись сам и спасти детей и жену. Мечтал первой похитить тебя и усыпил собак, чтобы не гнались за вами. Потом наслал бы на меня джигитов... Что же до твоего Серкебая — он и правда был здесь. Да и сейчас где-то поблизости. Этот вот говорит, что другой охраны с собой не взял и нигде нет засады. Говорит, что пришлось спасаться, ищет с нами союза, но... не отказывается от спеси. Сидит присмиревший, но смотри, какой важный.

Батыркул, обсасывая пальцы, сказал:

— Я уже не бай!

Гордо сказал. «Не бай» в устах его звучало, как «сверхбай». Я это заметила, но мне было не до него. Да и что мне он и все баи мира в сравнении с моим Серкебаем! И я закричала:

— Подтвердите еще раз, что он здесь, покажите мне его, приведите!.. Если приходил, почему не повидался со мной? Если где-то рядом, почему не пускаете ко мне?!

Батыркул обрадовался, что клюнула на приманку:

— О-о женщина! Твой голосистый печальник и смелый убийца, он соткан из ревности. Красота души его в верности и ревности. Утопил сына Кашкоро Жайнака и скрылся. Но стоило прослышать, что тебя похитил Бекмерген, — ревнивец содрогнулся в желании мести и возвратился из дальней дали под мое

крыло, чтобы выпрыгнуть оттуда с ножом и зарезать главу лесных разбойников... Не огорчайся, красавица, он был обманут неверным слухом. Ведь все поверили, и он со всеми, что ты наложница Бекмергена. Разве не явилась ты в кыштак кашкоринцев рядом с ним? Мукаш его успокоил, рассказал нам, как вы хитро разыграли народ. Но все-таки мой племянник решил сам проверить. Прокрался к вашему дому, увидел Мадияра и увидел тебя... Ах, как любит тебя мой племянник, как мечтает соединиться!..

— Любит?! — загорелась я.— Это правда?!

...Вы, слушающие меня через пятьдесят лет, вижу, криво улыбаетесь и щуритесь на старую Аруке, вспоминающую любовь. В обиде на вас могу и остановиться, бросив рассказ о жизни своей за полгода до развязки. Что́ вам смешно? Думаете, забываю сказанное минуту назад? Да, я называла Серкебая племянником Батыркула и этим хотела вырвать из сердца. В напоминании бая, кроме того, что говорил: «Он любит тебя», был намек. Чем-то я должна была заплатить Батыркулу за то, что сохранил мне живым Серкебая. Вот я и спросила: «Почему он не входит?» — и не могла скрыть тревоги.

Тем же сладким голосом Батыркул ответил:

— Потерпи, красавица. Всему свое время. А пока послушай Токтора. Он поверил письму, присланному Мукашем. Поверил, что все мы близки делами. Ведь так, а, Токтор?

Теперь я впилась в глаза тому, кого привыкла считать вторым отцом. И он был важен. Но, кроме того, осторожен.

Токтор заговорил. Но так, что ушами ума и сердца я насторожилась.

Он рассказал со слов Батыркула, что ранним утром нынешнего дня в его кыштак без приглашения прибыл недавно переизбранный болуш Тентемир: победив соперника, он остался в прежней должности, а Батыркул провалился. Тем более приезд с дюжиной охранных джигитов мог означать только плохое. Знал ли болуш, что у Батыркула прячется брат его Мукаш? Это было трудно скрыть, а сильный собственным войском Батыркул и не желал скрывать, что в дни выборов подружился с Мукашем и сделал своим гостем. Тут другое удивительно.

— Ты помнишь, Аруке,— продолжал Токтор,— в день, когда мы спасали Мадияра, Мукаш по моему приказу сбил метким выстрелом тебетей с головы этого вот сиятельного Батыркула? Ты знала, я знал, но, оказывается, узнал от Мукаша и он. Помнишь? После того Мукаш погнался за Батыркулом, мы подумали, что стремится прикончить осужденного народом. Однако наш друг Мукаш имел на уме другое. Другое он имел, другое! Дого-

нял не для убийства, а единственно, чтобы войти с ним в союз против ненавистного брата. Как мог пойти на это Мукаш, если сам кричал: «Казнить Батыркула!»? И это еще не все. Они вдвоем ездили в Пишпек, чтобы там встретиться с некоторыми людьми байского звания, желающими свержения царя. И вот получается, что наш друг Мукаш — друг Батыркула. Написал в письме, посланном с голубем, что новоявленный его друг — полезный бай и готов стать нашим соратником. Однако не успел еще послать — является к Батыркулу Тентемир и стреляет в младшего брата. Не на площади кыштака и не в горах, где принято совершать месть, а в палатах самого хозяина, где Мукаш гость... Подумай-ка, Аруке, может, и нам аллах простит, если зарежем в доме своем непрошеного пришельца.

Побледнев и потеряв важность, как змея теряет шкуру, Батыркул вскочил:

— Эй, колдун, ты не то рассказываешь... Разве так я тебе говорил?..

— Ну что ж,— сказал Токтор,— повтори этой женщине все, что говорил мне. А я сравню, какая из двух сказок лучше.

На лице учителя я увидела легкую усмешку и догадалась, что испытывает долготерпение Батыркула: каково степенному и важному, вошедшему в возраст и славному святым именем ходже оправдываться перед женщиной! Или — того хуже — перед пузатой девчонкой, сидящей перед ним с ружьем.

Однако ж хитрый из хитрых и тут нашел выход. Он стал обращаться ко мне, будто видит перед собой царственную особу.

— О несравненная! — так начал он и приосанился.— Токтор поставил меня в известность, что от тебя секретов у него нет и ты достойна мужского разговора. В оценке тебя не только схожусь с ним, но готов поднять еще выше. Мне предстоит изложить по порядку все, что случилось с Мукашем, а потом и со мной. Я это сделаю. И все же предварю свое сообщение напоминанием о происшедшем семьдесят два года назад, в год хиджры 1222-й, или же, по принятому в Российской империи летосчислению, 1844-й. В тот самый год некий иранец духовного звания Мирза Али Мохаммед объявил всенародно, что он Баб. И, взяв этот титул, стал повсеместно читать проповеди, из которых правоверные узнали, что после пророка Мухаммеда он, Баб, принял от аллаха новый его завет, при помощи которого каждый сможет войти в рай при жизни *. Что ж, если

---

* Батыркул искажает суть учения главы секты. Прижизненного рая Баб мусульманам не обещал. (*Прим. автора.*)

есть пророк — есть и слушающие. В числе последователей его оказалась и женщина благородной крови, по имени Зеррин Тадж. Взяв себе прозвище «Куррат аль-Айн», что в переводе означает «Услада очей», она принялась по наущению Баба пророчествовать. И так была она хороша красотой своей, и так блистательна речами, что не было среди смертных способных противостоять всему, что говорила... С той поры, о Аруке, как я увидел и услышал тебя над кыштаком кашкоринцев, забыл, что ты женщина, несущая в чреве своем. В тот час мы скрестили взгляды и ты, победив, заставила меня отвернуться. Я слышал, как ты спрашивала, казнить ли меня. Мне бы в ужасе кричать и выть, но сила твоего призыва была столь неотразимой, что покорила и мою душу. Готов был присоединиться к народу с требованием: «Смерть ему!» При том, что казнить хотели меня. И я пал перед тобой, а в сердце своем повторял: «Вот новая или воскресшая Куррат аль-Айн. И нет большей радости, чем умереть под музыку ее слов...» Потом я спасся, ты это знаешь. Но о тебе никогда не забывал и хотел бы видеть рядом с собой... Напомню тебе, несравненная, что учителя твоего Баба приговорили к расстрелу. А когда повесили за руки перед солдатами и они дали первый залп — пули срезали веревку, на которой висел. И Баб оказался на земле. И побежал. Но не к народу, который стоял и ждал его, а к солдатам. И солдаты зарубили его саблями. Так Баб стал первым святым мучеником своей секты. Вслед за ним погибла и Куррат аль-Айн. Ее задушили и сожгли на костре... Зачем говорю тебе это? Неужели хочу напугать? Напротив — хочу, чтобы знала, как ничтожна смерть в сравнении со святостью жизни, жизни для людей, которым хочешь дать рай.

Я была в недоумении: неужели об этом говорили Батыркул и Токтор? Однако, взглянув на приемного отца своего, увидела, что он подмигивает. И я развеселилась, потому как вспомнила подружку свою Зейне, которая могла бы подмигнуть и за минуту до смерти.

Заметив наше перемигивание, Батыркул позволил себе посмеяться. Это был смех торжествующий, потому как нашел себе оправдание в том, что говорит с женщиной. Казалось бы, с этой поры мог перейти на простой язык, доступный каждому. Однако ж ему показалось мало. И вот что прибавил:

— В своей речи на площади кашкоринцев ты обличила меня и вызвала всеобщий ропот. Страстность речи твоей была великолепна. В самом деле, услыхав мой сговор со свекром твоим Кашкоро в ночь, когда готовился набег на мой народ, ты возмутилась: как же так, я соблазнил выгодами торговли враж-

дебного бая, и он предпочел получить прибыль и много денег, вместо того чтобы начать войну. Назвала меня предателем и торгашом. И это было так. Но скажи, Аруке, или, если хочешь, стану и дальше называть тебя Усладой очей... скажи, неужели не лучше торговля, чем убийство сотен и сотен? Еще первая жена пророка нашего Мухаммеда по имени Хадижа была удачливой и умной в торговых делах. Она составила себе немалое состояние и, будучи старше пророка, взяла под свое крыло — кормила и одевала. Она положила начало могуществу Мухаммеда. Торговый капитал ее сделал успешным многие и многие начинания молодого проповедника. Так при помощи ее он стал известен и почитаем и уже позднее получил признание господа нашего аллаха. А ведь Хадижа не только скотом торговала и тканями. Едва ли не первой стала выращивать коноплю, а из семян ее добывать сок для приготовления гашиша. Но и это не все. Хадижа, которую поминаем в молитвах как святую, не гнушалась торговать рабами. Через руки ее проходили и нубийцы, и абиссинцы, и те, кого называем теперь иранцами, которых воевал Мухаммед. Не подумай, что я безбожник. Четырежды проделав путешествие к могиле пророка, зарыв в земле Мекки свои ногти и волосы, я получил право на зеленую чалму, и вера для меня — основа основ. Но никогда не поставлю знака равенства между торговлей и войной.

Посмотрев на меня пронзительно и холодно, Батыркул вытащил из недр одежды своей кисет с насваем и заложил табак за щеку. Он не спешил, хотя, может быть, всего лишь через час могли сюда нагрянуть джигиты болуша. Я не знала этого, а он знал.

— От Токтора ты слышала, как пришел в наш стан мой счастливый соперник — болуш Тентемир с двенадцатью телохранителями. Я тут же дал неприметный знак своим людям, чтобы собрали моих головорезов и окружили всех пришедших. Но не велел их трогать и ждал, что́ скажет мне вновь избранный волостной правитель. Он вошел ко мне в юрту, и я его принял, как хана...

...Не стану утомлять вас, дорогие мои, длинным пересказом повествования Батыркула. В речи своей то и дело именовал меня и красавицей, и прелестницей, и едва ли не повелительницей своей. Что были ему слова! Надеялся очаровать и приблизить, расслабить, напугать, обрадовать и... покорить. Суть же дела была вот в чем. Болуш Тентемир пришел к нему в юрту с неизъяснимой тревогой. Никогда раньше не знал, что такое может произойти.

Войдя один в юрту, а телохранителей оставив во дворе, Тен-

темир приветствовал хозяина своего, отдав нужные почести. Усевшись за досторхон, все время оглядывался и дрожал. После молитвы и чаепития сообщил наконец хабар *, который привел его. Оказывается, положил себе самым первым и святым делом наказать кашкоринцев за бунт, разграбление имущества Кашкоро и, главное, за смертоубийство волостного судьи Айдыралы. Такой страшный бунт требовал страшного же и отмщения. Раньше всегда было, что взбунтовавшийся кыштак наказывали каратели гарнизонного войска. И вот он, вновь избранный волостной правитель, а вместе с ним и русский волостной старшина и урядник послали гонца к уездному начальнику и к военному губернатору с просьбой выслать войско для свершения закона. Как вдруг выяснилось, что губернатор войска дать не пожелал и оставил убийство судьи и разграбление имущества Кашкоро без последствий.

— Токтору уже говорил, теперь скажу и тебе, красавица. И Кашкоро, и кашкоринцы с давних времен были моими лютыми врагами. Готовили против меня набег. Хотели сжечь нас и завладеть нашим имуществом по одному тому, что двоюродный мой племянник Серкебай утопил Жайнака. Ты помнишь, что я сделал? Пришел к твоему свекру, взял на себя грех и согласился на кун — возмещение. Но для полного мира нужно было поймать бежавшего Серкебая и отдать на растерзание кашкоринцев. Неужели ж я не знал, что мой племянник полюбил тебя и ради любви и ревности совершил убийство? Знал, знал, но решил спасти от лютой смерти. Когда же кто-то убил Кашкоро и отравил байбиче, я согласился отдать под суд подданного своего Мадияра, который, может быть, и не был виноват, но шапку Кашкоро присвоил и тем показал на себя. Хотел ли я мести, хотел ли я крови? Кровь была неизбежна, а Мадияр мне всегда виделся ненужным и даже вредным. Я подумал и о тебе, красавица, что носишь в чреве своем ребенка нашего племени, и хотел защитить его и сохранить ему отца...

Так говорил пришелец, а я не знала, что и думать. Не могла понять — подкупить ли меня хочет или сказать правду... Поглядывала на Токтора, но учитель мой отвернулся в задумчивости. Может быть, хотел, чтобы сама разобралась?

Батыркул не останавливался:

— Ах, повелительница души моей, несравненная Аруке! Мог бы желать твоей смерти, как ты желала мне казни. Но стою выше этого, потому как нет ничего лучше истины... Тентемир испугался: как так царское войско не хочет или не может по-

* Хабар — новость.

карать бунтовщиков? Болуш Тентемир прискакал ко мне, надеясь, что дам ему своих джигитов и он присоединит их к охранному воинству нового волостного судьи, заменившего Айдыралы. Тентемир уверен был, что захочу мести над кашкоринцами, хотя бы по одному тому, что там, на площади, я испытал ужас народного приговора и только при помощи аллаха спасся... Слушай, слушай, Аруке. Слушай и ты, колдун! Все не веришь мне. Все боишься, что обманываю. Я не только правду говорю о том, что случилось в моем доме,— доверяю вам мысли, надежды и мечты свои. Выскажу, что знаю точно и что предполагаю. И тогда судите меня.

Помолившись и поклявшись именем пророка, что все дальнейшее чистая правда, Батыркул оставил торжественность и заговорил коротко и ясно:

— Мы ездили с Мукашем в Пишпек и от людей богатых, но умных и справедливых, узнали многое. Приехав ко мне, Тентемир был удивлен: как так военный губернатор не помог ему войском? Меня это не удивило. Я уже знал, что гарнизонные войска русского царя более чем наполовину усланы на германский фронт, где готовится большое наступление. Но этого — слушай и внимай, Токтор! — этого мало. Мы с Мукашем узнали в Пишпеке от людей верных и хорошо осведомленных, что во многих и многих местностях Туркестана происходят волнения народа — бунты большие и маленькие, вызванные усилением военных налогов и торопливой жаждой обогащения глупых баев и ханов, которые спешат набить мошну за счет поборов. Смóтрите на меня так, будто лгун перед вами, говоря в душе: и ты, Батыркул, не гнушаешься нахватать побольше. Что ж, я был баем. Но кто сказал, что баем глупым... Я хотел торговли, хотел, чтобы наши состоятельные люди не силой, а торговой ловкостью и торговым трудом научились и богатеть, и обогащать свой киргизский народ...— Тут он всплеснул руками: — Ой-е, Токтор, забыл тебя уведомить: есть у меня сведения не только о том, что бунты и забастовки были в Сулюкте, Кызыл-Кие, в Джалал-Абаде, в Балыкчи, в Верхнем Кемине и многих других местах, но и под Пржевальском. Вижу, загорелся твой взор. Да, да! Знаю о дочери твоей Бюбюсар и привез тебе известие. Невдалеке от города стоит село Преображенское, где вышло вот что: более трехсот женщин-солдаток, русских и татарок, столпившись на базарной площади, потребовали от купцов, чтобы продавали ткани и обувь не втридорога, а по довоенным ценам. Торговцы заперли лавки и позвали на помощь полицию. Тогда женщины, среди которых была и твоя дочь Бюбюсар, камнями разбили окна в лавках, выломили двери

и разграбили товары...— Заметив, как изменился в лице Токтор, Батыркул, шутливо грозя ему пальцем, сказал: — Ох, колдун, колдун, далеко простираются дела твои! Давно ли безногий зять твой Кадыр уехал от тебя, взяв жену и детей? И вот, смотри, уже бунт открылся в столь далеком месте... Мне гонцы мои рассказали: среди женщин ходил на костылях татарин, в котором узнали толмача и жалобщика Кадыра. Уж не твой ли это зять?! Ах, Токтор, Токтор, видишь, сколько знаю о тебе и о близких твоих!..

И Токтор не удержался:

— Ну и что же, что с ними? Они живы? Если так много знаешь, не скрывай. Узнав о смерти Мукаша, пересилив сердце, выдержу и удар более сильный. Может быть, и про внуков знаешь?

— Знаю только то, что более двухсот женщин-солдаток, бунтовавших в Преображенском, заключены в тюрьму вместе с детьми. Значит, и внуки твои — Сафар, Сафуан и Сираджи — вместе с ней. Думаю, что смерть им не грозит... Думаю еще, что ты должен больше радоваться свершившемуся, чем горевать. Это ведь значит, что дело твое не мертво и люди твои действуют. К этому прибавлю: и я радуюсь с тобой, хотя ты полагаешь меня самым страшным врагом своим...

— Много, много знаешь, бай,— процедил сквозь зубы Токтор.

— Так много,— подтвердил Батыркул,— что тебе должно быть понятно: если б хотел твоей гибели, давно нашел бы законное основание для поимки тебя и предания военному суду. Знаю, что был каторжником. Знаю, что в Андижане готовил оружие бунтовщикам. Знаю, что вооружил Бекмергена. Знаю, знаю, знаю, но пришел с дружбой и прошу помощи. Хочу, чтобы для народа ты оставался колдуном и чтобы ты, Аруке, стала проповедницей, или пророчицей, или плакальщицей, как Акзыйнат!

* *
*

Разговор был долгий, а все еще не дошли до того, как погиб Мукаш, и вроде бы получалось, что смерть его не главное, а всего лишь крошечное дело в сравнении с тем, что было и будет. Уже тускнело небо, и явились на нем первые звезды, а речь Батыркула не кончалась. Я видела: Токтор во многом стал верить пришельцу. И правда, как не верить, если столько знал и не предал нас. Как не верить, если жизнью рисковал, поднявшись к нам без охраны.

О смерти Мукаша вот что сказал. Этот самый Гороховый Стручок прятался в юрте Батыркула. Слышал весь разговор и до времени себя не обнаруживал.

— Я тоскую по Мукашу,— сказал Батыркул,— потому как хоть и смешон был, и мелок телом, но души и злобности непомерной. Он был умен, но столь неистов, что управлять собой не умел и за пятьдесят лет жизни рассудительности не накопил и копить не хотел. Я знал, что он за сундуком. Знал, что Тентемир подозревает об этом. Но есть обычай неприкосновенности жилища, святость которого никому из мусульман нарушать не годится. Было так: после того как я отказал болушу и не пожелал посылать своих джигитов жечь кыштак кашкоринцев, тот, не стерпев моей строптивости, поднял на меня голос: «Ты предатель и пособник бунтовщиков. Не трону тебя в твоем доме, но хорошего от меня не жди. Обо всем скажу уездному начальнику, а тот передаст военному губернатору и — пеняй на себя... Однако оставлю тебя в покое, если выдашь мне того, кто учит тебя и подзадоривает,— младшего моего брата Мукаша. Он прячется у тебя. Сейчас уйду и встану на границе твоего кыштака. Приведешь туда Мукаша. На этих условиях расстанемся с тобой по-хорошему. Если же нет...» Не успел он договорить — из-за сундука выскочил, как черт на пружинке, Мукаш и выстрелил из пистолета, желая убить ненавистного своего брата болуша Тентемира. Выстрелил — и вдруг осечка. И тут же в ответ на его выстрел раздалось пять выстрелов телохранителей Тентемира. Они стояли за кошмой юрты и, сделав в ней отверстия, следили снаружи за всем, что происходит. Смертельно ранив Мукаша, они ворвались в юрту и хотели взять меня. Но Тентемир им не позволил. Он вышел, вскочил на коня и крикнул мне напоследок: «Знай, Батыркул, отныне ты не бай и не глава рода! Дни твои сочтены!» С этими словами он дал шпоры своему коню и умчался с телохранителями. А я тайно пришел к тебе.

* *
*

Рассказав все, как оно было или как он это хотел нам представить, Батыркул умолк. Долго и тяжело вздыхал. А у меня голова переполнилась вопросами. Хотела спросить, как его джигиты не остановили Тентемира вместе с телохранителями, не догнали и не уничтожили. Хотела спросить, как поговорил с умирающим Мукашем и зачем послал голубя вперед себя.

Хотела спросить, как мог уйти тайно, если весь народ его должен был собраться на выстрелы и крики. Хотела спросить, как разрешил Мукашу находиться в юрте с оружием, если знал истовую ненависть к брату. Хотела спросить... Ах, я бы спрашивала и спрашивала, но не позволил Токтор.

Токтор сказал Батыркулу:

— Много темного в твоем песнопении. Много темного, но есть и светлое. Понимаю: ты не должен был расправиться с волостным болушем, потому как погубил бы и себя, и весь народ свой. Верю, что Мукаш первый выстрелил. Верю, что ты собрал против меня все, что смог узнать, и тем самым имел возможность натравить на меня андижанских или же пишпекских ищеек и они бы меня арестовали, судили, и снова бы я очутился на каторге, а может, и на виселице. Значит, ареста моего не хочешь? А чего хочешь?

Батыркул вернулся к своему важному виду и напустил на лицо торжественность. Он сказал:

— Есть разные люди, поступки и мысли их неблизки, сердцем друг к другу расположиться не в состоянии. А всегда ли должно пускать в ход сердце? Пусть лежит в груди. Говорил и говорю: нам нужны союз и военная дружба. Рано или поздно придется и тебе, и мне повести народ в бой против царя. Победим — тогда и разберемся, кто из нас лучше и кто должен править... Сейчас твоя сила в колдовстве. Вернее, в том, что известен во всех кыштаках как бессмертный, владеющий огнем, погодой и подземными силами ада. Пусть так! Правда или неправда — не знаю и знать не хочу. Для нашего общего дела полезно, чтобы простой люд полагал тебя таким... Действуя в Андижане, ты обращался к рабочим и среднему классу с помощью слова печатного. Кроме того, ковал оружие, холодное и горячее. Может быть, забыл свой горный народ? Нет, здесь ты уже давно, многие тебя знают, а многие и слушаются. Мне известно, что послушные тебе людишки есть и в моем кыштаке. Такие, как Утембай, сын Рахманкула, любимый мой чеканщик Акджантай; он хороший мастер, но ты его подчинил своим чарам. И если б не зима, давно бы прибежал к тебе с рассказом обо всех новостях. Подозреваю в бунтарстве и кузнеца своего Дозоя. Однако не трогаю их. Ты меня ловил для суда народного, а я тебя и твоих друзей для суда царского или бийского не ловил. Ты всему народу нужен, а значит, и мне. Вопрос только — для чего? Все, что касается железа в этом ты нужный мастер: пики, сабли, ножи, пистолеты, ружья годятся. Слава твоя — целителя и владетеля природных тайн, ловкого охотника и друга шайтана — не хуже оружия. Но что ты можешь среди

простых киргизов сделать печатным словом, если грамотных нет и даже баи и бии не умеют читать?..

Токтор с нетерпением слушал, и видно было — сердится на многоречивость пришельца. Наконец не выдержал:

— Ты сказал, что уже не бай, но держишься и говоришь, как владыка. Говори просто, что́ надо делать, каких поступков от меня ждешь. Атаманом над собой я тебя не признаю. Что же до союза... Выкладывай, выкладывай!

Батыркул ухмыльнулся:

— Выкладываю, выкладываю! Хочу, чтобы сейчас же или через час поскакал со мной к пещерным кедеям и убедил их встать грудью против тех, кого соберет для победы надо мной и моим воинством болуш Тентемир. Хочу, чтобы ты сделал то, что способен сделать только колдун: убеди давних врагов моих кашкоринцев, что под страхом полного истребления от карателей они должны слиться с нашим общим войском против тех, кто придет нас усмирять. Есть пещерные кедеи, теперь среди них будет и пещерный бай.

* *
*

Сказанное Батыркулом лавиной обрушилось на меня. Вы бы знали, дорогие, как шумел и крутился младенец в чреве моем! Можно бы подумать, что и он услышал и понял все, что было говорено в доме. Дитя мое так крутилось и бушевало, будто хотело выпрыгнуть и вступить в общий разговор. Много ли я поняла? Теперь кажется, что слово в слово все в меня проникло и я, как мудрец, переварила и готова была опять называться джигитом Шертаем и скакать на коне, стреляя налево и направо. Верила ли я баю?

— Веришь ему? — спросил меня Токтор.— Считаешь ли правильным, что поеду с ним к кедеям? Можно ли думать, что Бекмерген его не убьет?

Я не успела ответить. В окошко постучали. Там, во дворе, уже светила луна, а мы сидели при свете поленьев из печи. Я подошла и, прижав ладонь козырьком, постаралась понять, кто там стучит.

— Кто там стучится? — спросил Батыркул, но в голосе его не было тревоги.

А я не могла понять. Увидела человека в золотом шлеме, прикрывающем голову и половину лица. Лунный свет, отражаясь от шлема, брызгал во все стороны.

— Там человек в каске? — спросил Батыркул и хохотнул.— О, это великий воин. Неужели его не узнала?

А я и правда не узнала. Тогда Батыркул встал рядом со мной и сделал рукой движение, по которому каждый бы понял, что стучаться рано.

И человек в золотом шлеме отошел. Не знаю, видел ли меня, узнал ли меня.

Тем временем Токтор, ничем не показывая волнения, однако встав с табуретки и подняв руку, сказал:

— Смелостью ты пригоден ко многому, бай. Есть в тебе и ум, и широкий взгляд. Говоришь, что печатное слово не годится простым киргизам. А на что им годишься ты и твой сладкоречивый язык? Действовать сообща, если хочешь, я с тобой буду. И к Бекмергену поеду. Но не потому, что ты об этом хлопочешь, а ввиду полной невозможности поступать иначе. О аллах! Я уже подружился один раз с байским выкормышем Мукашем. Полюбил его, поверил в него, не скрывал ни больших, ни малых тайн. Меня предупреждали: «Не делай так»,— а я сделал. И все было хорошо. Тогда бесповоротно сердцем и умом я принял малыша как единомышленника и союзника. Знал недостатки его и побаивался их, но никак не думал, что может сперва звать к убийству Батыркула, а через полчаса входить с ним в его шатер как гость и друг... Ах, союзники-богачи, баи и байские прихвостни! Что толку от вас!..

Батыркул подхватил:

— Не верь, не верь, никогда не верь! Но если рысь на меня охотится, а я увижу, что в тот же момент барс готовится прыгнуть на рысь, я помогу барсу и не стану думать о вере. Сто раз ты прав, когда говоришь, что нас связывает необходимость. К этому прибавлю — и народолюбие. Ты народом почитаешь одних лишь бедняков, а я всех киргизов в едином строю. Да и где ты, где найдешь грань: сегодня богач — завтра бедняк. С каждым годом разоряются мелкие баи и превращаются не то что в чабанов и коншу, но в жалких побирушек. Но бывает и так, Токтор, когда из века в век — от деда к отцу и от отца к сыну — передается страсть к умному правлению и к порядку, где каждый в народе равен. Пусть не по богатству, но по праву своему! Последнее мое слово, а дальше поступай как знаешь. Открою тебе тайну моей семьи. Слышал ли ты о знаменитом Батыркуле—предводителе повстанцев в Андижанском уезде? Это был мой дядя, в честь которого отец дал мне имя мое. Тот Батыркул — честь и слава нашего рода, притом что носил имя не байское и не манапское. Может быть, придумал себе, чтобы народ понимал: он б а т ы р, да к тому же

еще и кул, что, как ты знаешь, означает «могучий раб». Вот что он сделал тридцать шесть лет назад. Он во главе возмущенных поборами и несправедливостями пошел требовать от бия Базар-Курганской волости, чтобы отдал сверх закона взысканные деньги. И когда охранные джигиты стали их выгонять, мой дядя собрал еще больше людей, и все связались арканами, чтобы не отступать. Избили до полусмерти судью, пришибли его охрану и ушли в горы. Там стали они лагерем и долго держались на перевале Кумуш-Бель. К ним примкнули гонимые голодом и нуждой. И собралось их там несколько сот. Тогда военный губернатор послал против них войско. Долго отбивались повстанцы, руководимые моим дядей. Десятки пали под градом пуль. И вот каратели приблизились, чтобы схватить вожаков. Но мой дядя Батыркул и пять человек, рядом с ним стоящих, не дались в руки преследователей, а вместо этого, схватив каждый одного из казаков, кинулись в пропасть глубиной в триста саженей. И, погибнув, остались в памяти народа как герои... Я другой Батыркул. Не бедный, а богатый. Смелость ты мою знаешь, а теперь знаешь и того, кто для меня свят в сердце моем. Не хочу погибать по-глупому, хотя ты знаешь, что такое буюрбаганга созжок: кому суждена смерть — все равно умрет... Решайся, колдун!

И опять постучали в окно.

— Оденься и выйди! — приказал мне Токтор.

Я оделась и вышла. И увидела того, кто стучал. Увидела высокого джигита в золотом шлеме. Он был не на коне, а стоял передо мной пеший. Я учуяла родной запах и, притом что шлем скрывал половину его лица, закричала: «Серкебай!» — и кинулась ему на грудь. Он обнял меня, и мы долго стояли.

Я попросила:

— Сними шлем.

Он рассмеялся, снял шлем и надел на меня. И мне захотелось побежать к зеркалу. Мы оба хохотали. Забыли, где мы и что нас ждет. Забыли мороз. Забыли врагов. Забыли бая и колдуна...

Он погладил мой живот. Я сказала:

— Прижми ухо!

И он прижал к животу моему ухо. А потом сказал:

— Расстегнись — мне плохо слышно.

И я расстегнулась.

И он снова слушал и, слушая, сперва тихо смеялся, а потом захохотал радостным хохотом молодого отца, а потом громко запел.



Глава шестая,

в которой Аруке, расставшись с Горным Колдуном, обретает неведомого ей любимого и одновременно чужого Серкебая. У костра на пути в родной кыштак она слышит проникший через горный хребет и через четыре ручья голос Колдуна. Колдун через Аруке спрашивает Серкебая, и Серкебай ему отвечает. После чего она падает, и дитя ее просится наружу. Чтобы помочь молодой роженице, Серкебай скачет за матерью ее Асыл. Тем временем на свет является девочка. Пробегающий мимо ручеек дает ей имя Буюркан, что означает Найденная.

Я хотела бы, дорогие мои, оставаясь на месте, забежать далеко вперед. Вы услышали, как Батыркул склонял Токтора ехать совместно к одичавшим кедеям и сам придумал себе должность пещерного бая, над чем можно только посмеяться.

В тот поздний вечер, встретившись с Серкебаем, носящим золотую каску, я стала буйной от радости и мягкой от нежности, забыла все, что говорилось в доме горного охотника, и слушала громкую, торжествующую песню любимого.

Скажете, сошла с ума от радости. Но была ли радость и что называть радостью? Соединение с любимым после многих месяцев разлуки, пыл в душе и теле, объятия и слезы, нежность взглядов — это все запоминается до конца жизни как одно из лучших мгновений, как молния, тебя озаряющая и воспламеняющая все вокруг... Думая впоследствии об этой встрече, я всегда хотела понять, что делается с человеком: он идет, ползет, он скачет на коне, преодолевает подъемы и спуски, страдает в мыслях, вспоминает прошлое, мечтает о будущем — и вот встреча. Он нашел. Он обнял. Он вспыхнул, рассмеялся и заплакал. Он вскрикнул и запел... Правда ли, что такая вспышка и означает радость? А разве нет радостей без расставания? Мы их не запоминаем, как не запоминается гладкая дорога, но всякая крутизна и подъем на нее видится нам достойным великой памяти...

В радости человек беспомощен и расслаблен. В радости вспышки теряют себя и забывают, что вокруг него. Был бы ураган, или горный обвал, или потоп — встретившись с Серкебаем, все равно обняла бы его и застыла в радости. А вы?..

...Я начала не с того, что надо бы вам сказать. К радости

встречи еще вернусь. А сейчас знайте: с этого вечера для меня началась жизнь, ничем не похожая на все, что было перед тем.

Помните, я жила с родителями, затем жила в чуждом и страшном новом семействе моем, где оказалась служанкой и женой по принуждению, где плакала о себе, но не видела страдания других. Узнала пламя любви, убийство, кровь, бегство, девять смертей своих, и доброту животных, и гнусную жестокость людей. Попала в дом колдуна и научилась грамоте и добру... А чему еще научилась? При мне и для меня говорились такие слова, как «свобода», счастье народа», «свержение царя», «восстание» и многое, многое другое. Что-то удержалось во мне и повисло на душе крошечными крючочками, а что-то мгновенно обсыпалось, потерялось, исчезло. Поздней памятью вижу, что шестнадцатилетняя Аруке постепенно обрела вкус к мысли. Сравнивала одно и другое, оценивала, взвешивала на весах ума. Но было это не гладким шнуром, а кое-как связанной грубыми узлами бечевкой. Узлы легко распадались, и обрывки находить и собирать пришлось в более зрелую пору.

Я рассуждала о радости встречи и о цене такой радости. Теперь хочу коснуться мыслью того, что есть или было бунтом и восстанием. А найду ли связь между такими далекими явлениями, как мгновенная чувственная радость и восстание, судите сами.

Историки собирают достоверные события, чтобы понять общий ход движения, пронумеровать и разложить по гладким полочкам, идущим ровной чередой. Я не историк. Я рассказчица жизни своей.

Я не историк, но вот что спрошу историков: что будет, если комок глины, в котором и перья, и когти, и камни, и кровь, и слезы, и, наконец, глупость самого комка, слепленного одним тем, что сам собой катился и слеплялся, что будет, когда разложим его на составные части: вот перья, вот когти, а где же слезы? А где же смех, который в глине не держится? А где же радости, которые были столь мелки, что не найти их и под микроскопом?

Пришло время, и я поняла: мое мелкое бунтарство одинокой души, мое упрямство и мое железо, которое держало меня в дни ураганов, было песчинкой, без которой, если она одна, песчаника быть не может. «Восстание началось во мне!» — так могут сказать тысячи и тысячи. Так скажу и я. Когда началось? Вызвано было или само родилось? Цельным было или дробным? Чье оно было и для кого? У каждого для себя или у всех для каждого?

Конечно, обнимаясь с Серкебаем после долгой разлуки, я не могла понимать, что и в этом начало восстания...

...Девять отравленных псов, скрюченных смертью, валялись во дворе Токтора. К ним так и не спустились стервятники и не растерзали: они видели живого Серкебая, который ходил вокруг дома и отпугивал их. Некормленая корова мычала в сарае, голодные лошади звали меня печальным ржанием долгого ожидания. Овцы блеяли в тревоге, понимая, что не одни только волки могут довести их до смерти.

Мы с Серкебаем были скованы объятиями. Стояли и шептались.

Вдруг я увидела Мадияра. Живого и здорового. Он вышел из-за камня и встал поодаль.

Я шепотом спросила Серкебая:

— Ты видел его связанным и спящим в сугробе? — Голос мой был полон страха.

— Видел и, боясь, что замерзнет, разрезал его путы. Подумал: если б старики хотели его смерти — зачем живым бросили в сугроб? Заморозить? Понял так, что в разговоре забыли обо всем. Старики болтливы. Там, где надо рубить, долго пилят.

— Он нас убьет! — сказала я, скосившись в сторону Мадияра.

Серкебай рассмеялся:

— Чем? Злобным взглядом? Измученными руками?

— Этот Мадияр ненавидит меня,— сказала я Серкебаю.

А мой любимый опять запел без слов и прижал меня к себе. Он снял каску с моей головы, надел на свою и подошел к Мадияру.

— Не смей ходить! — закричала я, боясь за его жизнь.

Но тут же увидела, что Мадияр упал ниц перед Серкебаем. Да мне и самой Серкебай в сверкающей каске казался под луной столь величественным, что захотелось склониться перед ним. Ни одного бая я не видела в таком сверкающем головном уборе.

Серкебай милостиво обратился к Мадияру:

— Не бойся ничего. Мой дядя освободит тебя от прошлого приговора, мой дядя — Батыркул... Ты знаешь новость — у нас в кыштаке все вооружаются. Вот увидишь — мой дядя даст тебе копье или дубину. О-ей, какой же ты обросший! — Он снял с Мадияра малахай и, хлопая себя по ляжкам, хохотал: — Ох-хо-хо, ах-ха-ха! Ты оброс, как Токтор-волосатый. Хочешь, побрею тебя? Натру голову снегом и обрею своим кинжалом.

Тут вышел на крыльцо Токтор и поманил нас с Серкебаем. Увидев Мадияра на ногах, ничуть не удивился. Спросил его:

— Хочешь согреться?

Мадияр молчал.

Махнув рукой, Токтор позвал нас с Серкебаем в дом.

* *
*

Батыркул уже надел сапоги и со скомканным челом ходил по комнате, из чего нетрудно было заключить, что, хоть с Токтором они и сговорились, у него было о чем подумать.

Токтор велел мне поесть и накормить Серкебая. Он сказал Серкебаю:

— Вот тебе коробок спичек, в сарае возьмешь сена, обложишь дом с четырех углов, чтобы в любой момент можно было зажечь. Сделав это, пойди и отвори конюшню, оседлай лошадей, а корове повесь на шею аркан, чтобы можно было ее вести. Делай быстро и возвращайся ужинать.

— Эй, Серкебай! — повелительно заговорил Батыркул.— Ну-ка, сними каску!

— Не сниму! Я украл ее для себя.

— Дубина! — презрительно сказал Батыркул.— Эта каска нужна Бекмергену... Ты понимаешь, что говорю: Беку Мергену — Князю Охотнику. Мы сделаем его князем. Мы сделаем его охотником за головой Тентемира!

— Ну уж нет! — сказал Серкебай.— Я привез ее из Пишпека, хранил от всех, в ней я как царь на картинке. Если отдам Бекмергену — значит, он будет выше меня. Неужели не больше я гожусь в князья, чем взбунтовавшийся кул?

Ах, дорогие мои, я не знаю, как вам объяснить! Мне жаль было Серкебая, у которого хотели отнять игрушку. Нет, неправда, это я теперь говорю «игрушку». Тогда думала, что золотой шлем или каска обозначают важное и значительное. Услышав из уст Серкебая, что тот украл, подумала, что снял с головы военного губернатора. Я еще не знала, что это пожарная каска, которую надевают, перед тем как войти в огонь. Много позднее увидела, как лежат такие каски перед пожарной частью. Выбегая по тревоге, пожарные насовывают их на голову и садятся на повозку, чтобы скакать на помощь.

А в тот вечер я огорчилась за Серкебая. Он мне виделся гордым и смелым. Возражал самому Батыркулу — главе рода и спасителю своему.

Серкебай был одет, как богатый, в белый дубленый полу-

шубок; на голове каска, под которой теплый лисий треух; на ногах — валяные сапоги с резиновыми галошами, которые сверкали не хуже каски; румяное, загорелое его лицо с усиками, заменившими пушок, стало мужественным. Я хорошо запомнила, как, впервые увидев меня, сказал: «Слушай, молодуха! Меня зовут Серкебаем! Не смей забывать... Это я! Тот самый, которого зовут Серкебаем!» Вспомнила — и сердце наполнилось нежностью к нему. Но Батыркул грозно посмотрел на племянника и нагнулся за камчой. Неужели ударит? Неужели способен бить, как бил меня Кашкоро? Неужели Серкебай вытерпит, как терпел когда-то от свекра моего Бекмерген?

Серкебай поставил ноги для прыжка. В глазах его засверкали молнии. Батыркул расхохотался:

— Ах, я и забыл, что ты смелый убийца!.. Однако... полагал тебя защитником любви и свободы. Теперь вижу: дорожишь краденым не хуже, чем любовью. Аллах тебе судья... Может быть, продашь каску? За сколько?

Серкебай с важностью отвечал:

— Я уже объяснял: хочу быть князем. Войду для этого в бой с Бекмергеном. Убью или подчиню себе!

Помните, наблюдая за Бекмергеном в тот день, когда он стоял на судейском камне кыштака кашкоринцев, я сравнивала его с Серкебаем. В тот раз мне почудилось, что огромный Бекмерген и умнее, и значительнее. Любовалась им, а он любовался мною. Теперь видела: Серкебай нисколько не хуже. Моложе, получше скроен, а пожалуй, и красивее. Но Бекмерген говорил для меня, а Серкебай меня вроде бы и не замечал.

«Откуда и для чего у него гордость?» — мелькнуло в уме. Но не успела довести мысль до конца, в разговор вступил хозяин дома:

— Эй, джигит! Дошло до тебя, что велел? Сколько стану ждать?!

Серкебай хоть и повернулся к Токтору, понимания в глазах его не было. Приказ он забыл. И я забыла. Из-за глупого спора о каске мы упустили из виду, как удивительно и страшно было распоряжение Токтора.

...Обратите внимание! Столько было долгих и умных речей, бай и колдун вроде бы обо всем условились и приняли совместное решение присоединиться к кедеям, Токтор велел сложить сено по углам своего дома, а это означало, что намерен спалить его. Неужели Серкебай не почувствовал? Неужели и Батыркул из-за дурацкого спора потерял хитрость и соображение? А я? Вспоминала Бекмергена, сравнивала с Серкебаем... Всяким вздором кипел мой ум.

Вот и говорю — обратите внимание! Ах, часто подобное происходило в те годы у киргизов. Могли внезапно вспыхнуть и передраться, забыв большое и важное дело.

Токтор покачал головой:

— Эх-хе-хе! Я готовлюсь зажечь дом и уйти. Жертвую всем, что накопил и построил... Имуществом жертвую и пристанищем своим, а не паршивой каской. Стыдись, Серкебай!..

Упрямый парень стоял, набычившись и глядя в пол.

Токтор продолжал:

— Слушай, ты! Слушай, слушай! Мы с Батыркулом поскачем к кедеям. Вас взять не можем — ни тебя, ни Аруке. Разве не видишь — она не годится в поход. И одну ее оставлять тоже не годится.

Серкебай ничем не показал, что понимает.

Вмешался Батыркул:

— За каску отдам тебе своего иноходца. На нем поедете вместе с Аруке.

Серкебай живо к нему повернулся:

— В собственность? Вместе с седлом и серебряной сбруей?

Вот когда стыдно мне стало за любимого. Так стыдно, что не сразу поняла — нас не берут, а куда-то отсылают.

Токтор в бешенстве ударил камчой по столу:

— Седлай коней! Шайтан бы взял твою душу, седлай коней и делай все, что приказываю!

Серкебай всполошился, Серкебай выскочил во двор, через минуту подвел оседланных коней и корову с арканом на шее. Стал веселым и легким. В глазах его горели исполнительность и готовность на все.

«Неужели и он раб? — подумала я.— Но ведь дядю своего и главу рода не послушался. Значит... Значит, Токтор и правда колдун?!»

* *
*

В ту последнюю ночь перед отъездом так много было удивительного и в мелком и в крупном, что я то вспыхивала, то угасала,— душа моя не находила себе места, ум терялся, и мысли дробились. Батыркул при всей своей властности превратился в суетливого. Серкебай забыл всех и слушался одного Токтора, готовый выполнить любое его указание, как умное, так и глупое. Неужели и правда Токтор способен был на глупость? А может быть, я считала глупостью необходимое?.. Мадияр окончательно проснулся и пришел в дом, и сел с нами — с Серке-

баем и со мной — за ужин. Давно ли звал к убийству Токтора и хватался за нож, а теперь, успокоенный, старался как можно больше проглотить; не жевал и жадностью своей показывал, что нет ничего для него более святого и приятного, чем сытость. Ах, видели бы вы, как он обрадовался, когда Батыркул, показывая на него, сказал Токтору:

— Твою корову, теленка, твоих овец и баранов покупаю у тебя для этого вот Мадияра.

А потом сказал Мадияру:

— Ты возьмешь корову и овец и пойдешь домой к жене и детям. Раньше тебя на моем коне в наш кыштак приедет племянник мой Серкебай, он передаст аксакалам, что приговор именем моим отменен и ты признан невиновным. Можешь продолжать прежнюю свою жизнь; а когда начнется бой, возьмешь из моего дома пику и будешь воевать за меня.

Мадияр кинулся было целовать ноги своего бая, но Батыркул ему не позволил.

Потом мужчины, а среди них и Батыркул, вытаскивали из подпола ружья и пистолеты, патроны и порох и все это грузили на кобылу и жеребца Шамала. Меха и шкуры, которых было видимо-невидимо, набивали в мешки, не сортируя, кое-как. Лекарственные травы в пучках и мешочках, настои в пузырьках и бутылях небрежно отбрасывали. Только желчь марала и золотые мушки взяли наверх. Батыркул наткнулся на бутылки с водкой, разлил по пиалам и выпил с Токтором и Серкебаем. Все трое вдруг стали петь. Мадияр смотрел хмуро, но с разрешения бая тоже глотнул, поперхнулся и опьянел раньше других. Неожиданно стал добродушным и ласково просил Токтора помолиться. Тогда мой приемный отец взялся читать нараспев не хуже муллы стихи и суры корана подряд и вразбивку, восхищая Батыркула и доводя Мадияра до слез.

По теперешним понятиям, до настоящего пьянства не дошло, но было достаточно шумно. Мадияр осмелился подпевать Токтору и показал себя человеком музыкальным, а Серкебай, при всей своей голосистости, смешил нас тем, что сбивался и не мог поспеть за другими. Кончилось же тем, что подожгли дом, где еще много оставалось добра, но никто почему-то добро это не жалел. Пламя еще не разгулялось, когда все вышли во двор и смотрели на веселые яркие язычки, как они бегут по бревнам.

Вдруг Токтор сказал, что сейчас совершит чудо. Добыв из кармана какой-то пузырек, он стал совать к носу то одной дохлой собаки, то другой, и они стали чихать и вскакивать на ноги. Сперва ходили, шатаясь, но вскоре запрыгали, залаяли,

замахали хвостами, а учуяв в Батыркуле и Мадияре чужих, принялись хватать их за ноги.

Обратившись к Батыркулу, Токтор сказал:

— Ты хотел видеть меня колдуном. Вот, воскресил собак!

— Отгони их, отгони! — кричал Батыркул.— Усмири проклятых!

Я тупо смотрела и не чувствовала ничего хорошего. Серкебай меня не замечал, а если приближалась — отворачивался. Я догадывалась: не хочет показать любовь и ласку в присутствии других мужчин. Подходило время прощаться. Токтор выпустил голубей и вывел из сарая всех животных.

Он остановился передо мной. Положил мне руки на плечи, посмотрел в глаза:

— Увидимся ли еще когда-нибудь?.. Хочешь что спросить на прощание?

Я молчала. Слезы текли у меня по щекам.

Токтор меня погладил:

— Вот уж от тебя не ждал... Не плачь, не надо!..

Все отвернулись, понимая, что прощаются отец и дочь.

— Еще много будет пожаров,— тихо сказал мне Токтор.— Теперь слушай. Серкебай — необъявленный твой муж. По закону души и по киргизским обычаям он выше тебя. Но я полагаю иначе. Не обижая, постарайся так сделать, чтобы не каждый день совершал глупость. Он, пока не созреет и не станет мужчиной, много их наделает... Сегодняшнему колдовству моему не дивись. Кто-кто, а я-то знал: Мадияр не отраву нашел в подполе, а сильный снотворный порошок. Он и сам его наелся. Потому и осмелел — решил: так и так ему смерть... Серкебаю этого не открывай. Пусть полагает меня колдуном. Отсюда поезжайте прямо к твоим родителям. Не знаю, что там застанешь... Времени прошло много. Мужайся, Аруке!..

Это я понимала и внутренне готовилась к самому худшему. Подняла руку для вопроса. Токтор кивнул, разрешая говорить.

— Отец... можно ли и дальше вас так называть?

— Встретившись со мной или в разговорах с людьми?.. Знаешь, лучше называй Колдуном. Под этим именем я повсеместно известен. А тебе многое простят, считая, что подчинялась моей душевной силе.

Токтор огляделся и, увидев, что нас не слушают, сказал:

— Я уезжаю с Батыркулом к одичавшим кедеям. Умно это или глупо, сейчас решить не могу. Ясно одно — здесь оставаться невозможно. Я долго стрелял горностаев и куниц по заказам Тентемира. Тем и снискал его благосклонность. Мог бы задержать Батыркула и отдать болушу на расправу. Однако ж

такого совесть моя не позволит... Батыркул не чист, а Тентемир грязен. На нем кровь Мукаша. Может быть, и Батыркул меня ловит. Но зачем?.. Слишком дорого ему обойдется такая ловля, а ведь он не глуп.— Вздохнув, колдун прибавил: — Я стар... Ну да ладно... Вижу, еще что-то хочешь спросить.

— Очень! Я все думаю и думаю, что́ такое натворила в кыштаке, когда произносила речь перед народом. Отчего вы так долго боялись и... недовольны были мною?

Токтор отвел меня подальше от людей. Ах, ему трудно было мне втолковать! Но сегодня понимаю и готова объяснить вам. Оказывается, Токтор и Мукаш для того и сговорились с кедеями, чтобы не руками народа, а руками отпетых разбойников освободить приговоренного и казнить неправедного судью. Народ должен был только смотреть и слушать, и входить в понимание, а душой сочувствовать. Кедеям терять было нечего — своей жизни они давно не жалели.

Дальше Токтор сказал:

— Все шло по-задуманному: Бекмерген, как настоящий убийца Кашкоро, поднялся на судейский камень вместо бия. Он объяснил всем, кто пришел на площадь, как прикончил своего господина, а я заранее приготовил точно такой тебетей, какой носил Кашкоро. Приехал обритый, на иноходце Кашкоро, тоже изображая из себя разбойника. И наконец, ты оказалась среди кедеев, как похищенная бывшим рабом. Важно было доказать народу: суд бия — суд неправедный. И мы доказали. И Бекмерген должен был казнить волостного судью своими руками. И мы бы увезли Мадияра. Мы горные разбойники... Ты хорошо говорила... Слишком хорошо. Ты возмутила народ — рассказала, что не один лишь судья Айдыралы вор и грабитель. Пустилась разоблачать и Гундоса, и муллу, и Музафара, и Батыркула. Когда же сообщила народу, у кого спрятано имущество Кашкоро,— это имущество принесли на площадь. А потом... потом получилось не то, чего мы хотели. Народ не казнил грабителей, а сам превратился в грабителя награбленного. Это было справедливо. Но вышло, что не разбойники напали и убили судью, а взбунтовавшийся народ задавил волостного судью и расхватал в драке драгоценности Макмал. Нападение разбойников заменилось бунтом. Бунтом и убийством должностного лица. За это... Помнишь, помнишь, что сказал Мадияр? Он был прав. С давних времен за бунт полагалась страшная кара. Должны были прийти царские солдаты и сжечь весь кыштак. А если бы им сопротивлялись, они истребили бы не только мужчин, но и стариков, и женщин с детьми... Вернувшись с полумертвым, спасенным нами Мадияром в свою лесную хижину, я долго

раздумывал, но для спасения кашкоринцев ничего путного придумать не мог. К тому же на руках моих были ты с младенцем во чреве и несчастный Мадияр. Узнав меня, он ужаснулся и посвоему был прав: не захотел жизни, полученной из моих рук. Он изменил мне, и тебе, и горным разбойникам — не оценил нашей справедливости. Но предательством я поведение его называл напрасно. Хороши б мы были, если б, вырвав Мадияра из рук неправедного законника, сами бы его казнили! Тогда не только в ближних поселениях, но и во всем Тянь-Шане люди бы сказали: «Нами правят бессовестные и лживые, но и те, кто пришел утвердить справедливость, не лучше их. Из рук одних убийц невиновный Мадияр попал в руки таких же». Кроме того...

Токтор говорил долго. Я слушала с величайшим напряжением, и уже не было это похоже на прощание отца с дочерью.

Потеряв терпение, подбежал со сжатыми кулаками Серкебай:

— Эй, старик! Отойди от *моей* Аруке! Когда б не был ты моим спасителем...

У него глаза налились кровью, он руками развел нас с Токтором. Но опять свистнула камча в руке горного охотника, и опять Серкебай присмирел.

Повернувшись ко мне, старик громко сказал:

— Эй, Аруке, запомни. Хоть и расстаемся, когда будет тебе трудно, советуйся со мной. Спроси, и, где бы ты ни была, я тебе отвечу.

Я не поняла и подняла руку для вопроса, но Токтор уже на меня не смотрел. Он скомандовал:

— По коням!

Голос его был зычным, а приказ беспрекословным. Ослушаться никто не посмел.

Батыркул вскочил на жеребца Кашкоро Шамала, Токтор на кобылу, мы с Серкебаем вскарабкались на иноходца Батыркула, а Мадияр оседлал корову. За ним пошли козел, овцы и — несметной толпой — все домовые мыши. Столько их было и так громко они пищали, будто все недовольство случившимся хотели высказать Мадияру, обвиняя его в начале бесконечных бед.

Два кровавовраждебных старика дружно поехали по верхней тропе. За ними, лая тревожно и визгливо, побежали собаки. А мы с Серкебаем обогнали Мадияра, сидящего на корове, и овец, и длиннобородого козла, и всех мышей и, оказавшись на спокойной дороге, поспешили к новой своей жизни.

Тогда опять во весь голос запел Серкебай.

* *
*

Я никогда не знала жизни с любимым мужчиной и даже не догадывалась, что это такое. Десять месяцев назад испытала с ним счастье: в тайной яви, наперекор закону и человеческому мнению, мы радовались каждой минуте общения. Нам было хорошо, когда виделись: находили в глазах друг друга безумство и скорую гибель, спешили обняться, спрятавшись где попало... Мы щебетали: вот бы найти коня, вот бы ускакать в дальнюю сторону, вот бы навсегда утвердиться в любви, вот бы разбогатеть... Зная ребячество каждого нашего слова, нисколько этим не смущались. Висели над пропастью, думая, что любая пропасть для нас как нежная детская колыбель. Все птицы пели для нас, и все травы шелестели для нас, и все коровы благословляли нас мычанием, а овцы — блеянием... То было время неистовых забав, от которых дрожала душа и путались волосы, но когда мы слышали приближение шагов человеческих — разбегались, и каждый прятался за свое дерево. Но стоило шагам стихнуть, мы снова сближались, чтобы хохотать, забывая бога, шайтана и всех близких своих, которые, хоть и были страшнее любых сил неба и преисподней, нам виделись как ничтожные в своем законе букашки...

...Теперь я ехала впереди седла, и обширный мой живот касался гривы великолепного скакуна Батыркула. Этот скакун, имени которого не знаю, то и дело поворачивал голову, чтобы понять, кого везет. В самом деле, никогда ему не приходилось возить троих, да еще и тяжелый курджун. Скаковой конь не для вьюка живет и не для кочевья. Это был молодой конь, привыкший гарцевать под сухопарым царственным баем. Он был оскорблен и обижен, но, приученный к подчинению, протестовал только легким ржанием и мольбой о справедливости.

Мы ехали длинным ущельем по хорошо утоптанной тропе, и чем дальше ехали — тропа была шире и чаще виднелись ответвления от нее. Редел лес. Значит, приближались к поселению людей. Чем ниже, тем теплее был воздух, а на южной стороне горных склонов слышен был дух тающего снега. Мы ехали при угасающей луне, которая то и дело цеплялась за дальние горные пики, а иногда и скрывалась за ними, оставляя нам полную тьму для нежности и поцелуев.

Я ждала поцелуев.

Ждала и не дождалась.

Запах Серкебая, которого ни разу не забывала за все эти месяцы,— вот единственное, что получила в полную меру.

Его правая рука кое-как обнимала меня и поддерживала вместе с поводом. Левая рука заботилась о курджуне. Да ведь и правда — курджун за спиной легко может соскользнуть, а положить его впереди меня, на шею лошади, было невозможно — мешал мой живот.

Какое-то время Серкебай пел не своим голосом. Не знаю, от радости или оттого, что не находил начала для разговора.

Я многое спрашивала и в десять раз больше спросила бы у дорогого моего старого Колдуна. Спрашивать Серкебая? Но ведь он мужчина — необъявленный супруг мой, владыка над душой и телом, отец нерожденного ребенка. Не положено первой обращаться к нему с вопросами...

Так и ехали молча под бессловесное пение Серкебая.

Сколько верст проскакали? Сколько ручейков перепрыгнули? Сколько случаев упустил Серкебай повернуть к себе мое лицо! Я бы ему сказала: «О родной мой, как боялась за тебя, как радовалась, что ты живой... Как ждала и как надеялась...»

Не поворачивая меня, он вдруг прервал пение, захохотал:

— Ха-ха! А Батыркул-то вдвойне дурак. Мой дядя, о котором весь мир твердит, что хитрый из хитрых... Ха-ха, напился он, что ли? За паршивую каску отдал такого коня! Ха-ха! Каска-то у меня: в последнюю минуту выкрал из его мешка. Еще не хватало, чтобы Бекмерген, вшивый раб Кашкоро, был объявлен князем с золотой головой...

Кому он говорил — себе или мне? Я вспомнила: ни разу, как встретились, не обратился ко мне по имени.

При одном из крутых поворотов мы увидели дальнее небо, пылающее огнем: страшное зарево.

— Горит лесное пристанище Токтора,— сказал Серкебай.— Ну и глуп же Горный Колдун! Сколько добра спалил! Мог бы жить припеваючи годы и годы... Я успел кое-что насовать в наш курджун. Желчь марала и золотые мушки, и две бутылки водки. Ах, как вкусно насыщается душа от этого напитка урусов!.. Ой-е! Ты еще не знаешь моего ума. Полгода я был в бегах и многому научился.

— Ты стал грамотным? — полуповернувшись к нему, робко спросила я.

— Молчи, женщина! Придет срок — расскажу все, что надо... Слушай, молодуха! Меня зовут Серкебай! Запомни и не смей забывать: это я! Тот самый, которого зовут Серкебаем!.. Как-кая еще грамота? Зачем? Для чего? Чтобы перелистывать бумажки? Я узнал другие бумажки: новые, они хрустят, а старые комкаются, но все равно лучше тех бумажек с портретами

царей и цариц ничего не бывает. Я познал и другие бумажки — потолще. Их много. Есть четыре короля, четыре королевы, четыре джигита и четыре туза. Все остальные — мелочь, но и среди мелочи попадаются козыри. Э, молодуха — я из мелочи стал козырем, а, глядишь, превращусь в туза. Меня научили добрые люди, и теперь нет киргиза, который способен был бы обогнать меня в искусстве тасовать королей, королев, молодых джигитов и... тузов.

Светало, мы услышали щелкание бича, а вслед за ним простуженный, хриплый голос коровьего пастуха:

— Э-э-эй!

Серкебай шепнул мне:

— Это стадо дяди моего Батыркула. Слезай. Отойди в сторонку. Спрячься.

Я сделала, как мне велел необъявленный мой муж. А он, добыв из недр курджуна золотую свою каску, напялил поверх треуха. Он свистнул и гаркнул. Он подозвал пастуха в ветхом чапане и, когда тот подошел, постарался так повернуть голову, чтобы в тусклом свете заходящей луны хоть сколько-нибудь было видно, что на голове его золото. Он распрямился в седле. Не поворачиваясь к подошедшему, только скосив на него глаза, сказал:

— Слушай, ты! Знаю: пасешь стадо дяди моего Батыркула. Брось коров и беги в кыштак. Меня зовут Серкебай! Известно тебе, кто я? Запомни и не смей забывать: это я. Тот самый, которого зовут Серкебаем! Найдешь аксакала по имени Ысмаил. Он остался главным на время отъезда дяди моего Батыркула. Предупреди: сейчас явится к вам приговоренный к смерти через ташбаран и бежавший с горными кедеями капканный охотник Мадияр. С ним будет корова, козел, овцы и мыши. Скажи от имени дяди моего Батыркула, чтобы заперли его понадежнее и не выпускали, пока не приедет дядя. А я поеду дальше. Исполняй!

И пастух в ветхом чапане вскочил на быка, стеганул его лозой и скрылся в предутреннем тумане.

Исполнив, что хотел, необъявленный мой супруг поманил меня пальцем.

— Ха-ха! — сказал он.— Еще раз видишь, как научился жить после бегства в Пишпек... Хорошо бы всех этих коров забрать с собой и продать на шкуры. Но мы этого делать не станем. Не мелкие же мы воры.

Он спрятал каску в курджун, а мне велел сесть позади него, положив для надежности все награбленное на шею лошади.

И мы поехали дальше.

Мой живот мешал обнимать Серкебая. Я боялась прижиматься, чтобы не нанести вреда ребенку. Я боялась...

Ой, как сильно я теперь боялась.

Неужели Серкебая боялась?..

* *
*

Когда говорите: боюсь такого-то, подумайте. Быть может, себя боитесь — своей ярости, ошибки, ложного или необдуманного обвинения? Случается, вылетит слово, а назад не возьмешь.

Неожиданно уехав по приказу Токтора, расставшись со своим учителем, я оказалась одинокой.

Как же одинокой? Ведь ехала на одной лошади с любимым, с тем, кого ждала и на кого надеялась, с тем, кого видела во сне и радовалась, если в моем сне появлялся. Помните, молодка Бюбюсар, встретившись со мной впервые, сказала: «Он хороший и честный, Жайнака убил в угаре любви и жалеет об этом. Я полюбила его душу, полюбила его любовь к тебе...» Значит, и умная Бюбюсар видела его как хорошего. Правда, в горном доме Колдуна Серкебай пробыл недолго. Неужели притворялся? Неужели и передо мной что-то такое разыгрывал? Погибшая моя свекровь Макмал, боясь, что увлекусь Серкебаем, говорила, что он большой охотник до замужних. Я ей не поверила. Ну, а вдруг слух был не напрасным?

Да, я стала бояться вновь обретенного Серкебая. Встретившись, заключил в объятия, целовал мой живот. Значит, признал меня, и нашего ребенка, и нашу любовь. Так почему же теперь показывает холод равнодушия?

Я слышала, Батыркул сказал Мадияру, чтобы тот спокойно ехал в родной свой кыштак к жене и детям. Сказал, что вперед поедет на его коне Серкебай и обо всем предупредит. А теперь, встретив пастуха, Серкебай дал распоряжение запереть Мадияра. Что это значит? Почему он сам не заехал домой? И есть ли у него дом — своя юрта и свои родители? С удивлением я вспомнила: он ни разу не говорил — один ли живет или с родителями. Ведь по обычаю, если станем супругами, должны ехать прежде всего к его отцу и матери. Но ведь даже Токтор на прощанье посоветовал прямым путем отправляться к моим родителям. Выходит, что в этом старики не договорились, а Серкебай предпочел послушаться Токтора... Значит, хорошо, значит, так надо.

И все-таки непонятно, как так я никогда не слышала о родственниках Серкебая, кроме самого владетельного Батыркула. Между тем в часы наших встреч Серкебай никогда не говорил, что глава рода близкий ему человек и родственник. Наверное, была причина скрывать.

Впрочем, совсем не редкость, что племянники богача гнут на него спину почти что бесплатно. Такие-то и называются к о н ш у — родственник-работник. И уж конечно, в то время и до самого убийства Жайнака Серкебай не мог надеяться получить от своего дяди коня. Иначе как понять, что мы вымаливали у девушки Мейиз, чтобы привела нам лошадь, на которой мы бы ускакали за три хребта. Отсюда заключаю: многое переменилось в отношениях дяди и племянника. Чем-то младший обязан старшему. Батыркул говорил, что спас Серкебая от казни, заменив его Мадияром. Для чего? Это все предстоит выяснить. Муж мой не говорит, молчит передо мной. Коровьему пастуху гордо сказал: «Я Серкебай... Мой дядя Батыркул!» И пастух побежал выполнять его приказание.

Что я знаю о новом Серкебае? Уже слышала, что побывал в Пишпеке, украл там каску, вернулся под крыло дяди, наученный ценить деньги, пить водку и даже обращаться с игральными картами. Карты были известны, но в народе не играли. У свекра моего Кашкоро лежала замасленная колода, и, случалось, заезжие купцы, узбеки и уйгуры садились в кружок, передавая друг другу цветные картинки; сперва шутили, а потом ругались, а бывало, доходили до потасовки. Женщины в мужское дело не вмешивались, а мне, на которой было все хозяйство, в голову не приходило интересоваться игрой. Теперь Серкебай, как хорошим делом, более достойным, чем грамота, хвастал способностью обыграть любого. Радоваться мне или печалиться? Радоваться или печалиться от того, каким стал передо мной важным? Не называет по имени, а говорит «женщина». Опять загадка. Едет к моим родителям и при этом держится не как муж и отец ребенка, а вроде бы только выполняет поручение Колдуна: везет, чтобы сдать с рук на руки.

Если так, я одинока. Принадлежу сама себе, а на лошади только груз...

А может, чего-либо не понимаю? Думать надо, обязательно думать!

В ваше время, дорогие мои, вы нередко встречаете самостоятельно живущих киргизок. Даже молодых. Даже гордящихся способностью жить без мужа и родных. Даже таких, которые воспитывают детей от погибшего на войне, а то и от разведен-

ного. Многие такие женщины гордо несут свое одиночество. В те годы, о которых рассказываю, подобного быть не могло. В Киргизстане женщин было на треть меньше, чем мужчин. Если и встречалась одинокая — это значило, что перед вами несчастная, осиротевшая старуха вроде Кынсылу. Помните, как проклинала меня за мое богатство и как потом приезжала к Токтору меня лечить? Кроме Кынсылу, я не знала ни одной самостоятельной и одинокой. Вдовицу уже через сорок дней по смерти мужа начинали приглядывать, чтобы взять в жены. За вдовицу не надо было платить калым. За разведенную, если и давали родителям плату, то небольшую.

А почему же в киргизском народе, да и в соседнем — казахском, да и вообще у мусульманских народов до революции было так, что женщин всегда оказывалось меньше, хотя они и не воевали, не резали друг друга, да и болели не чаще мужчин? В ученых книгах об этом не читала, но зато знаю жизнь. Девочек рождалось не меньше мальчиков, но до зрелого возраста доживали редко. Вы уже знаете: существовал обычай раннего сговора, и случалось, как это было и со мной, что уже трехлетней определяли в невесты такому-то. Сговор понуждал родителей относиться к девочке хоть с некоторым вниманием: она будет куплена... И все равно, если в семье заболевал мальчик, не жалели трат, чтобы его вылечить. Коран запрещает живыми закапывать в землю девочек, он запрещает и убивать их из страха перед бедностью, но когда от какой-либо хвори чахла девочка, находились родители, которые довольны были избавиться от лишнего рта. Кроме того, девочку хуже кормили и одевали, тяжелее грузили: домашние заботы, иногда непосильные, лежали на ней. Сами рассудите, можно ли послать пасти скот семилетнего сына? Но девочка этого же возраста и ведра носит, и белье стирает, и моет посуду, и нянчит маленьких. Многое еще можно бы сказать о неравенстве полов. Но вот что непонятно. Казалось бы, оттого, как часто до своей зрелости умирали девочки, оставшиеся должны бы дорожать. Неужели не хватало у родителей соображения подсчитать будущую прибыль от получения калыма? И ведь действительно — калым был велик. Так велик, что уплатить его могли только состоятельные люди. От этого, вы знаете, существовало многоженство. Богачи покупали себе и трех, и четырех, а беднякам не оставалось. Сколько же ходило мужчин холостых!.. Да почти столько же, сколько безлошадных. Или нет. Киргиз, имеющий одну лошадь и несколько овец, на что бы он купил жену? Моему отцу Ыбраиму привалило редкое счастье: нашел — нашел в горах бежавшую от страшной казни. Такое могло случиться с одним

из тысяч и тысяч. Вот и подумайте, каково жилось холостякам до старости...

Еще одним задаюсь вопросом: разве не должна была одинокая жизнь джигита вызывать бунт его души? Бедность и ничтожность бессемейного — чем она восполнялась и какие одинокому оставались радости?!

Но я ушла от первоначальной своей мысли, которая возникла в долгом пути за обширной спиной новоявленного мне Серкебая. Полузасыпая, я тыкалась носом в его дубленый полушубок, клевала его меж лопаток, а он и не замечал.

Я засыпала, просыпалась. Близилось утро... Однажды проснувшись, я вдруг поняла, что мы обходной тропой миновали кыштак кашкоринцев. Тот самый кыштак, где все началось — все слезы и все убийства...

Неужели едем к новым убийствам и к новым слезам?

* *
*

Тычась носом в полушубок Серкебая, держась за его плечи, вдыхая его запах, неужели и правда была одинокой? И как же так, добрый Колдун отдал меня в руки чужого? И могу ли я нутром поверить, что тот, кого обнимаю, чужд и холоден?

Токтор учил меня спрашивать. И научил. А я не решалась спрашивать с п и н у м у ж ч и н ы. Сейчас ошпарит: «Эй, женщина! Если молчу, молчи и ты!»

Вот я и думала, думала... За одной мыслью шла другая, и, смотрите-ка, вдруг нашарила, что забыла обычаи. Правда, правда! Так долго прожила в логове Колдуна-иноверца, что потеряла понимание. Я была Серкебаю до убийства Жайнака... кем я ему была? Не существовало в языке киргизов слова «любовница». Да и признания в любви не существовало. Зачем оно? Он был жарок ко мне, он был смел со мной, он готов был к лютой казни за меня. Был близок, как никто другой. Близок кровью, и близок радостью, и близок голосом, и близок песнью, и воздухом нашего общения, и небом и землей нашего общения. Однако мужем не был, хотя и назвала его так свободолюбивая дочь Колдуна Бюбюсар. Бюбюсар считала, что любимый — это-то и есть муж. Но считал ли так Серкебай?

Считал, считал! Он молчанием своим, и резким говором, и всем обращением признал: я теперь уже не случайная, а настоящая ему жена на все время. Значит, должен поставить на место. Иначе испортит. Иначе верхом сяду на шею. Кроме того, горд был — непомерно горд! Хитростью добыл живого

и красивого коня, а вместе с конем — жену. А вместе с женой — своего ребенка. Не чужого, как это было у Кашкоро, а своего, которого слышал ухом, прижавшись к моему животу.

Вот до чего додумалась! Даже до того додумалась, что и надутая глупость его — от радости.

Может, еще поумнеет.

И впервые я усомнилась в проницательности Токтора. Он мне сказал, чтобы берегла Серкебая от глупости и глупых поступков. Но ведь и глупость бывает умом и рождает свою глупую хитрость и удивительную свою правоту в мире глупой жизни.

Вот бы въехали мы на коне Батыркула в родной его кыштак. Со мной, да еще с пузатой. О-о! Серкебай сообразил, что сделают с нами. А не с нами — так со мной.

От этой догадки я обрадовалась душой. Волна нежности захлестнула мое сердце, и я прижалась из всех сил и поцеловала его между лопаток, да так крепко, чтобы почувствовал через мех полушубка.

И он почувствовал. Резко повернулся ко мне и закричал:

— Э-эй, жена! У меня есть жена-а, жена-а-а!

И горы девять раз повторили его радостный крик. Из чего ясно стало, что мы не одиноки.

На худой конец у нас есть горы.

* *
*

Серкебай спешился и сильными руками снял меня с коня, поставив перед собой.

Серкебай оглядел меня с ног до головы и обошел вокруг, похлопывая короткой своей камчой по валенку. Он вел себя так, будто оценивал овцу, козу или верблюдицу. Он поднял пальцем мой подбородок:

— Улыбнись, покажи свои ровные зубки, покажи свою радость ко мне! — Он долго смеялся, и смех его перешел в торжествующий хохот, и хохот восприняли горы, усиливая и умножая.

Потом Серкебай, зайдя за высокий камень, совершил омовение, а вернувшись, опустился на колени и торопливо забормотал утреннюю молитву. Я видела, что косится на меня, и поняла: надо повторять за ним, но я от молитвы отвыкла. Что ж, подчинилась его душевному приказу и сделала все как полагается.

Поднявшись с колен, Серкебай снова обошел меня, оглядывая, оценивая и как бы даже принюхиваясь.

— Я добился хорошей жены! — сказал он.— Я достиг жизни зрелого мужа. Это меня радует. Подойди, Аруке, и поцелуй вот сюда,— он ткнул пальцем в свою щеку.

Впервые назвал меня по имени, а когда поцеловал, тут же приказал собрать дров для костра. Не поцеловал в ответ, а начал нашу совместную жизнь с приказания. Это было доброе приказание и сопровождалось улыбкой. И я поняла, как приятно ему, достигнув цели, говорить не прежними словами полюбившего чужую жену, а так, как и должно быть после свадьбы.

Но ведь свадьбы не было и не было обряда венчания, я не пила воду из одной с ним пиалы и не видела на дне ее трех изюмин... «А пожалуй, так еще и лучше», — подумала я и усмехнулась.

Утренний ветер обдал нас ледяным холодом: поднялось солнце и пригнало из ущелья холод. Но этот же ветер помог мне распалить костер. Серкебай цокал языком и качал головой. Ему понравилось, что в недрах своей одежды я носила сухие спички в хорошем кожаном кисете.

Своим цоканьем и добрыми кивками он хвалил меня, как хозяйственную жену. Как хозяйственную и как умелую: я истратила одну лишь спичку, хотя весенние дрова не бывают сухими.

Он снял с привязанного коня курджун, развязал его и высыпал на землю то, что лежало в верхней его части. Первой выкатилась каска в особом мешочке с тесемками. Серкебай любовно проверил, не помялась ли, и как драгоценность положил на видное место в мягкую весеннюю травку. Потом появился на свет солдатский котелок Кадыра. Муж Бюбюсар забыл, а Серкебай приглядел: значит, готовился к походной жизни. Захватил он и мешочек риса, и боорсаки, и соль, и длинный нож — мой нож, который я захватила, еще убегая от Кашкоро. Серкебай глядел на меня — ценю ли его заботливость. Действительно, припас он сделал немалый. Вот вяленая нога косули, вот кусок масла, и копченый курдюк валуха, и четыре лепешки; пищи хватит нам на четыре дня пути. А между тем, по моим расчетам, мы были уже верстах в пяти от родного моего кыштака. Неужели не заедем к отцу и матери?

Из того же курджуна, после того как муж мой распутал серединную завязь, высыпались и другие предметы: обернутые в тряпки две бутылки водки, пиалы, ножницы, деревянные плошки, но главное, главное — револьвер «наган» с полным ба-

рабаном и железная коробка с патронами... с патронами для казачьего карабина. Бедный мой Серкебай — значит, взял без Токтора, не зная, что брать...

Схватив наган за ствол, Серкебай потряс им в воздухе и закрутил над головой, издав при этом воинственный клич.

— Опомнись! — закричала я в испуге.— Так ты можешь застрелить меня или себя. Токтор учил меня никогда не баловаться с тем, что может убивать.

— Токтор, Токтор! Где он, твой старый Колдун, и что он может! — так проговорил Серкебай, но с опаской посмотрел по сторонам.

Ничего не случилось, никто ему не помешал говорить глупости, и он улыбнулся. И вот наконец сел к костру, распахнулся, показав, что рубашка на нем целая и чистая, что он ухожен и что даже подпоясан не арканом, как это было в дни его чабанства, а широким поясом с красивой пряжкой.

Я помешивала в котелке и смотрела через пламя костра на того, кто стал моим третьим мужем. Нет, он был единственным моим мужем — так мне давным-давно объяснила Бюбюсар.

Серкебай перешел на мою сторону костра, снял с себя полушубок и укрыл нас обоих. Он стал шептать мне в ухо что-то невнятное, щекотал губами, и я вспомнила, каким был до убийства Жайнака ласковым и добрым.

Когда мы поели, Серкебай опять сказал:

— Токтор, Токтор! Где он, твой старый Колдун, и что он может!

Сказал и опять рассмеялся смехом более сытым, но все же опасливым:

— Ха-ха-ха! Я слышал, как в минуту прощания старик прокричал: «Если, Аруке, тебе станет плохо или трудно — советуйся со мной!» Как ты можешь советоваться? В Пишпеке я видел телеграф, по которому урусы перестукиваются за сотни верст. А что у тебя есть для словесного общения с Колдуном? Он где-то там у пещерных кедеев, а ты за хребтом и за четырьмя ручьями. Телеграммы идут по проводам на столбах. Где возьмешь столб с перекладиной и длинную проволоку, идущую к его ушам?!

...Помните, я и сама удивилась прощальным словам Токтора. Раньше знала, что можно послать голубя, но ведь голубей Токтор перед пожаром выпустил, мне с собой не дал ни одной птицы. А незадолго до того объяснил, что голубь откуда угодно прилетит в родное место к своему хозяину, но лететь, куда прикажут, не способен. Что же мне ответить

Серкебаю? Неужели признать, что Колдун надо мной пошутил?

Серкебай ждал. Лукаво смотрел, насмешливо. Тут-то и пришла мне удивительная мысль. Говоря перед народом в день неправедной казни, я не свои слова произносила, а те, которые посылал мне Токтор. Была только голосом его... Позднее Мадияр кричал повелителю своему Батыркулу: «Ты слышал плачущую со скалы женщину Аруке? Ее устами он, он произносил!..» Неужели и правда, если спрошу его сейчас в уме своем, Токтор мне ответит?

«Отвечу!» — сказал Колдун.

Я не подала виду, что услышала приемного своего отца. Серкебай заметил, что дрожу.

— Почему дрожишь? Боишься? Тебе некого бояться. Мы ускакали далеко и, перейдя вброд широкий ручей, даже собакам стали недоступны. Мы здесь в ущелье одни. Не дрожи, не бойся.

Тогда я шепотом доверилась мужу:

— Я в уме обратилась к Колдуну, и он обещал на мои вопросы говорить. Я слышу его голос.

Серкебай вскочил испуганный.

— Ты? Ты слышишь, и он тебя слышит, а я разве глух?.. Ах, Аруке, неужели все знает и проникает издалека в твои и мои мысли?

Тревога любимого передалась мне. А вместе с тревогой вера в то, что так может быть.

— Чего он хочет, этот далекий Колдун? — испуганным голосом спросил Серкебай.

Я прислушалась к тому, что было в моей голове, и не то вспомнила, не то и правда донесся до меня голос моего учителя:

«Спрашивай! Всегда и везде, любого и каждого спрашивай!»

Но я подумала, что в первый день спрашивать мужа не годится...

И вдруг догадка, удивительная мысль явилась во мне: могу спрашивать от имени старого Колдуна. Тогда Серкебай не от меня станет получать вопросы, но от уважаемого аксакала. Душа моя возвеселилась.

Теперь вопросы кучей громоздились во мне. Мои или Токторовы? Не могла понять, не могла отличить... И я пустила в ход хитрость: буду спрашивать интересное Колдуну. Буду так спрашивать, чтобы Серкебай не поверил, что шестнадцатилетняя способна придумать подобное и подобными словами.

*   *
*

Вспоминая через долгие годы происшедшее тем ранним утром, я поражаюсь, как неодинаково память может откликаться на прошлое. То мне кажется, что, радостная и свободная, сытая и веселая, я поиграть захотела с новоявленным мужем моим Серкебаем; то в представлении возникает четкий и ясный разговор, подобный телефонному; иногда говорю себе: «Стыдись, Аруке! Молчи и ни с кем не делись этим своим жизненным случаем. Прямая перекличка с далеким Колдуном — это блажь, или сумасшествие, или самообман. Если обманывала себя в ранней своей юности, зачем повторять в старости?!» Однако ж отказаться от того утра не могу. Потому как было оно для меня подобным хребту высокой горы, за которым увидела другую жизнь мысли.

Приходилось мне и раньше вспоминать напутствие матери, сравнивать свои беды с ее бедами, свою боль с ее болью, свое поведение и ее поведение. Если надо было приготовить плов или бешбармак, если садилась кроить или шить, учение матери моей Асыл шло мне впрок. Значит, жили во мне ее давние слова и повторялись, когда мне было необходимо. Я спрашивала, как быть, и мама голосом своим советовала мне в уме моем. А я не удивлялась. Вы, с детства читавшие книги, то и дело советуетесь с теми, кто для вас их написал. И не удивляетесь. Это вам привычно. Настолько привычно, что и в голову не приходит, что ведете разговор с каким-то далеким и незнакомым учителем или писателем.

...Похоже, что оправдываюсь. Так ведь и не мудрено. Хочу заставить вас поверить в колдовство и силу Токтора, ищу вместе с вами объяснения тому, что было.

Уже говорила: из груды теснившихся вопросов я стала подбирать те, которые задал бы Серкебаю Колдун. Прежде всего спросила от имени Токтора:

— Зачем ты отравил ученого барса, охраняющего дом?

С удивлением я обнаружила, что подражаю голосу Колдуна и вкладываю в слова требовательность старшего, его право спрашивать.

Серкебай отпрянул. Хотел улыбнуться, но губы не складывались в улыбке. Сел в трех шагах, но тут же вскочил, как перед судьей, и, запинаясь, стал отвечать:

— Я не могу коротко... Должен... Я должен рассказать многое. Как бежал, как вернулся под крыло дяди, который раньше меня племянником не признавал...

Серкебай остановился, прервав себя. Он отряхнулся, как отряхиваются от дурного сна. Дернул плечами, замотал головой. Потом прошептал:

— Ты меня морочишь?

Не ответив, я смотрела на него холодными глазами умудренного опытом аксакала. Ждала.

— Он сердится? — прошептал Серкебай.— Он слышит мой шепот.

— Рассказывай! — приказал через меня Колдун.

И Серкебай заговорил торопливо и сбивчиво. Он рассказал, как, ускакав от дома Токтора на южную сторону хребта, ночью повернул обратно и, чуть не сорвавшись в пропасть, отыскал трудный перевал, где споткнулся его конь и сломал ногу, и пришлось его бросить в пустынной местности, а самому брести пешком. Голодный и жалкий, исцарапанный и оборванный, обходя ближние аилы, он добрался до реки Чу и только там решился войти в юрту бедняка, где его приютили.

Тут я его прервала. А может, не я, а Колдун моими устами.

— Почему тебя принял и накормил этот бедняк? Ты назвался ему кудайы-конок?

— Да,— признался Серкебай,— я назвался божьим гостем, и он для меня зарезал последнего верблюжонка.

— А сам ты когда-нибудь кого-нибудь в жизни своей накормил, приютил, обогрел, приласкал?

На этот вопрос Серкебай ничего ответить не смог. Пожал плечами и приуныл.

— Почему ж, не обратившись к несметно богатому своему дяде Батыркулу, ты решился назваться божьим гостем бедняка и этим его разорить?

— Я бежал, как убийца Жайнака, и не мог войти в родной аил. Да и дядя меня только заставлял на себя работать, а больше ни в чем родственности своей не проявлял. Я обратился к бедняку еще и потому, что от богачей ничего не получишь... Я умирал с голоду.

Потом Серкебай стал говорить, что пошел дальше. Было жарко, и на каменистой дороге он опалил подошвы своих ног — на пятках появились глубокие кровоточащие трещины. Неведомый дувана́ зашил ему эти трещины конским волосом, и тогда он смог продолжать свой путь.

— Скажи, Серкебай, а не было ли у того убогого дувана ран, или язв, или нарывов, от которых он бы страдал? Он тебе зашил трещины на пятках, а чем ты ему оказался полезен?

Серкебай посмотрел с удивлением и, почесав за ухом, ответил:

— И язвы были, и нарывы были. Но ведь он ни о чем меня не просил. Да и лечить я не умею...

— Куда ты потом пошел?

— Вниз, все время вниз, вдоль реки Чу.

— Почему туда?

— Я шел по караванному пути вместе со стадами, которые уездные стражники, отняв у народа, гнали на убой в Токмак и Пишпек. А я шел в толпе голодных и оборванных, молодых и старых, разоренных и несчастных.

— Почему их было так много? Откуда голодные в конце лета? Кто их разорил?

Серкебай пожал плечами:

— Что мне были другие, когда сам я, боясь казни, должен был спешить все дальше и дальше... Правда, я, кажется, слышал — многих и многих разорили сборщики податей, отбирая не только скот, но даже и юрты. «Виновата война» — так мне говорили. Но я войны не видел.

— Чего же ты искал, чего хотел?

— Хотел наняться чабаном или табунщиком или стать коровьим пастухом у русских богачей, которых ближе к Пишпеку больше. Но если богачей там и больше, бедняков, стремящихся к заработку и готовых за одно лишь пропитание на любой труд, оказалось в тех местах видимо-невидимо. И мы дрались за кусок хлеба...

Серкебай не знал, как продолжать. Он ждал вопроса.

— Ты украл каску. Где, у кого и для чего?

Серкебай рассказал, что жил долгое время в кустарнике, возле уездного города Пишпек. Там ночевали бездомные, которые днем ходили на базар, где их нанимали в амбары таскать мешки.

Серкебай говорил, отвечая на вопросы, но я уже не понимала его ответов, хотя в уме и повторяла их для Колдуна.

Не зная, что такое амбар, и толком не понимая, что означает уездный город, я в уме своем обратилась за помощью к Колдуну, но объяснения не получила. Тогда, смешавшись, я так сказала:

— Ты видел много несчастных. Были ли среди них несчастнее и слабее тебя? Помогал ли ты им, дружил ли с ними, думал ли о том, как избавиться от ужаса своей жизни?

...Похоже было, что хоть и говорю от имени Колдуна, но слова вопросов рождаются во мне прежде, чем слышу его голос. Возможно, это были навеянные им мысли, которые он произносил много раньше.

Да, скорее всего так! Но догадалась об этом я много позднее. А в тот момент сыпала все, что приходило на ум. И Серкебай простодушно отвечал:

— О ком я мог думать, если не о себе? Я видел: богатым хорошо, а бедным плохо. И желал разбогатеть. Для себя я крал. А если находил послушных мне, заставлял их красть со мной вместе. Мы крали пищу и одежду, а потом продавали, а потом учились у самых ловких, как обманывать других. Я быстрее многих понял игральные карты и стал наживаться, обманывая подобных себе. А потом в пожарной части я украл каску и спрятал в мешок. Я бежал с мешком по улице, как вдруг встретил двух богатых всадников-киргизов и сразу же узнал дядю своего Батыркула и крошечного брата нашего волостного болуша. Я их узнал и хотел спрятаться, но понял из их криков, что не ловят меня, а зовут как своего и нужного им, остановился. Батыркул и Мукаш меня приласкали, одели, купили мне дешевого коня, насунули на голову глубокий малахай и подрисовали усы, чтобы никто меня не мог обличить. Мы поехали вместе и через три дня оказались в родном кыштаке.

...Так говорил мой муж. Я его слышала и в уме повторяла каждое его слово, чтобы оно передалось Колдуну. Если определять сегодняшними мерками, я действовала подобно телеграфистке, которая принимает от одного, чтобы передать другому, а сама в суть дела не вникает. Вам может показаться невероятным, но это было так. Только по прошествии некоторого времени я стала вслушиваться в рассказ и понимать его значение — понимать, что Серкебай открывается передо мной в новом для меня виде. Однако он не мне открывался, а Колдуну.

Я уже знала со слов Батыркула, что они с Мукашем ездили в Пишпек. Помнила, как он сказал, что убийца из ревности Серкебай поверил в похищение меня Бекмергеном. Помнила также, что, поднявшись к Горному Колдуну, Батыркул смеялся над тем, что простой его чабан Серкебай смог отравить ученого барса. Да ведь и Мадияр говорил, что хочет похитить меня для племянника бая. Значит, они с Серкебаем виделись.

Удивительно и странно мешались в голове моей мысли. Вроде бы продолжала спрашивать от имени Колдуна и при этом опиралась на собственную память. Все началось с вопроса к Серкебаю: «Зачем отравил барса?» А нужен ли мне ответ? Разве расстанусь с любимым, если ответ будет ложным, или глупым, или... даже опасным для жизни Токтора? Я ведь жена Серкебаю и должна быть во всем с ним слитна — с его мыслями и желаниями, с его поступками и намерениями.

О кудай! Зачем я стала думать?! Зачем не только передаю Колдуну, но и сама воспринимаю ответы?! Это страшно. Теперь я должна размышлять и решать. О, как это страшно! Коран запрещает влезать в дела и мысли мужа. Разве спрашивала я о чем-нибудь Жайнака, когда привезли его для обручения со мною? Разве дочь богатого манапа, будущая свекровь моя Макмал спрашивала у Кашкоро? Да он бы ее убил в первый день, если б осмелилась говорить с ним, как я говорю с Серкебаем.

«Так ведь не ты — Колдун говорит! Чего же ты боишься?»

Но где-то в глубине я понимала, что это не так. И еще понимала, что испорчена Колдуном и как настоящая жена не гожусь. После учения у Колдуна любовь-то любовь, но истина мне тоже нужна. И уважение к мужу мне нужно — к его поступкам, стремлениям, мечтам, мыслям. Не могу любить, если злой или если подлый. Пусть даже не ко мне злой и подлый, а к другим, особенно к бедным. Он хочет богатеть обманом и рад своей хитрости. Получается, что и я должна радоваться вместе с ним.

А он ведь и от Колдуна не скрывает. Чуть ли не хвастает своим презрением к бедности и желанием богатства каким угодно способом.

Тут только я поняла, что напряжена душой, да и всем телом, будто несу тяжелое бревно. На лбу моем выступил пот, глаза воспалились. Я перебила Серкебая, как старший перебивает мальчишку, и резким голосом повторила изначальный вопрос:

— Зачем ты отравил ученого зверя? Зачем, зачем, зачем?! Для этого привез тебя Батыркул из Пишпека? Неужели за одежду и пищу из рук богатого родственника мог согласиться на столь низкий поступок? Да и стоило ли ради этого везти тебя так далеко? Разве не нашлось бы во всем Батыркуловом роде раба, способного положить приманку с отравой для барса? Значит, было еще что-то? Говори!

Ах, как посмотрел на меня Серкебай! А может быть, и не на меня — на Колдуна? Это был виляющий взгляд. Опасливый и скользкий. Мне пришлось всю силу души пустить в ход, чтобы ясно увидел: не Аруке перед ним, а дальний Колдун.

Помните, в кыштаке, когда обвиняла Батыркула, он впился в меня взглядом. Тогда я победила в поединке. Батыркул был силен и долго терпел мой взгляд — Серкебай отвернулся быстрей.

А во мне, как и раньше, явилось железо, вот только я не знала — мое или Токторово. Отвернувшись, Серкебай стал бормотать. Но я приказала ему от имени Колдуна смотреть в глаза:

— Поклянись, что скажешь правду!

— Клянусь,— промямлил Серкебай.

«Он мальчишка»,— подумала я. Вот ведь как — мужа и отца своего ребенка, в прошлом самостоятельного чабана, гордого своей свободой, обозначила как мальчишку.

Он стал говорить, что и сам был удивлен вниманием и лаской Батыркула. Дядя спрятал его в своей байской юрте и не разрешал никуда выходить. Кормил до отвала, поил хорошим китайским чаем, невестки бая стирали на него белье. Бай нередко вспоминал своего двоюродного брата Сарман-Батыра — отца Серкебая, говорил о нем, как о беспредельно смелом и выносливом, как о близком родственнике и друге.

— Я понимал: все эти сладкие слова неспроста. Никогда раньше Батыркул не хвалил моего отца, умершего много лет назад от тифа. А тут и о матери моей вспомнил, назвал луноликой красавицей: жалел, что после смерти отца тоже умерла. Что Батыркулу отец мой и что моя мать! Одиноким сиротой я пошел к нему в чабаны, и за несколько лет он даже словом меня не удостоил. Я убил Жайнака, бросил отару, бежал от суда и казни. Неужели не понимал, что, вернув меня втайне и окружив теплом и вниманием, повелитель не станет делать это из сочувствия ко мне. Отъевшись и поздоровев, я каждый день ждал, что он скажет: «Иди туда-то и делай то-то». Однако он сдерживался при Мукаше, который жил у нас на правах почетного гостя.

Рассказ Серкебая был пространным и подробным. В то время еще не закончились выборы болуша, и вот однажды Мукаш выехал в Джумгал, чтобы там выследить своего брата Тентемира. Тогда-то Батыркул и стал приоткрываться. Сказал откровенно, что Гороховый Стручок нужен ему как лютый враг соперника по выборам, а потом он его выгонит. Сказал наконец и то, для чего ему понадобился Серкебай. От него мой муж узнал о случае в кыштаке кашкоринцев и о том, что я похищена Бекмергеном и живу среди кедеев как наложница атамана. Он хотел, чтобы Серкебай прокрался в стан Бекмергена и убил его. И Серкебай загорелся этим, желая отомстить за меня и освободить из рук злодея. Но тут вернулся после неудачной охоты на брата Мукаш, а Батыркул уехал на собрание выборщиков. И тогда Мукаш рассказал Серкебаю правду, и ему стало известно, что Бекмерген меня не похищал, а я живу у Токтора.

Серкебай говорил:

— Батыркул и Мукаш показывали себя союзниками и друзьями, но, как я ни прост, видел — они запутывают друг друга, и каждый тянет свое, и каждый имеет от другого секреты. При-

шел час, и в отсутствие Мукаша Батыркул сказал: «Если хочешь жить и получить большую награду, пойди и отрави ученого барса Токтора. Вот тебе ядовитая приманка. Если тебе это удастся — значит, нет колдовской силы у горного охотника, а он простой человек, и можно будет его подчинить...» «Подчинить или убить?» — спросил я дядю. Тогда он стал кричать и грозить, что замучает меня до смерти, но я в тот день не дал согласия. Как я мог пойти против спасителя своего! Но, думая день и ночь, я решил перехитрить всех хитрых: взял приманку с ядом у Батыркула, пошел и отравил барса. Но сделал это не для него, а для себя, чтобы похитить Аруке и ускакать с ней, удалившись от всех ужасов этих мест. А дальше было так: я подбросил приманку и поднялся к горному дому, но не нашел там никого, кроме Мадияра, которого давно знал. И ничего другого мне не оставалось, как сговориться с ним, что он привезет ко мне мою жену...

...Говорила вам — я была напряжена и запутана в уме своем, повторяя все сказанное, чтобы слышал меня Колдун. С какого-то момента мне стыдно стало повторять: почувствовала вольную или невольную ложь Серкебая. Знала, как было дело, и могла бы уличить своего мужа в неправде. Колдун в уме моем отдалялся, а Серкебай в яви своей приближался. Я видела могучего и сильного, который при всей силе был слаб. Он путался и от этого страдал, и даже начал пыхтеть и краснеть. Я хотела спросить, почему он оказался вместе с Батыркулом как единственный доверенный его. Но тут же вспомнила, что Токтор давно сказал: «Есть, есть, существует твой Серкебай. Где он, мне тоже известно. Другое дело — какой он. Был человеком достойным, хотя и натворил глупостей. Люди меняются, Аруке. В деревянное время легко деревенеют...»

Колдун от меня отдалялся, а мне надо было понять, необходимо было спросить, и я закричала голосом:

— Отец, отец!

Забыла, что нельзя называть отцом, и снова повторила:

— Отец, отец, скажите, любить ли мне Серкебая, такого сильного и такого слабого?

И поймала еле-еле слышный умом далекий голос:

«Ты любишь — значит, люби. И сделай его иным».

— Как, как?! — закричала я. Но ничего не услышала.

А Серкебай вроде бы проснулся и спросил:

— Ты ж не ворона, зачем каркаешь?

Он грубо спросил, но я помнила, что Колдун позволил его любить, и в ответ на грубость вскочила, чтобы обнять и приласкать. И он в ответ раскрыл мне объятия, но тут что-то

ударило в спину, будто швырнули в меня утюг, и я закричала от страшной боли и упала, и выгнулась мостом, а потом стала метаться. Что-то случилось со мной, чего должна была ждать, но не знала, когда это настанет. Меня разрывало на части, и я закричала:

— Ма-ма, апа моя родненькая! О-о, я умираю!.. Серкебай, Серкебай, я ухожу, нет меня... Где моя мама, я, я... Помоги, по-мо-ги-те!

Девять раз повторило эхо мой страшный крик. Теряясь в темноте своего вопля, я все-таки успела заметить, что испуганный Серкебай вскочил на иноходца и заплясал на нем вокруг меня.

— Терпи, Аруке! Держись, Аруке! Я поскачу в твой кыштак, привезу твою маму. Это роды. Ты начала рожать!

И он ускакал, а я корчилась в муках и каталась по земле, но не разрешала темноте беспамятства закрывать от меня скачущего Серкебая и следила за ним взглядом, боясь потерять...

А он повернул за скалу.

А я осталась одна.

* *
*

Было сколько-то раздирающей болью темноты, когда и гром и молния бушевали во мне, а потом стало тихо и вернулся свет.

Было могучее солнце с длинными лучами, на которых оно стояло. Была мягкая трава низины, живущая сочной зеленью своего раннего младенчества. Радостные птички летали надо мной, не спрашивая, зачем лежу на мокрой траве. Гриф острым взглядом прицелился в меня из синего неба, но, увидев, что не умираю, а умножаю жизнь, поспешил укрыться за облаком. Плоская змея по имени гюрза, пробудившись от зимней спячки и расставшись с подругами, подползла ко мне и стала шипеть. Я замерла под ее взглядом, но тут же явился еж. Он зафыркал на змею, и она уползла под камень. У меня стихли боли, но я боялась подняться. Еж не отходил от меня, и я поняла — чего-то ждет. То был знакомый мне с детства ежик. За прошедшие годы он поседел, лицо его покрыли морщины, но, как и раньше, он ждал моей доброты. Повернувшись на бок, я взяла его в ладони и стала выдергивать из его спинки насосавшихся кровью клещей. Колола пальцы, но старательно добывала красные шарики из глубины иголок. Клещи убегали, и я давала ежу догнать их и казнить. Он их давил и урчал от радости, а потом возвра-

щался ко мне на мягких лапочках и ждал, чтобы еще поискала. Вот и хорошо, что он здесь оказался. Спас от змеи и отвлек от первой неистовой боли. И я забыла, что мне надо тужиться, и приподнялась на локте.

Еж сказал: «Фр-фыр-фр!» — что означало: «Дай чего-нибудь вкусного!»

Рядом с золой погасшего костра лежали в беспорядке наши припасы и наше оружие. Я дотянулась до мешочка с боорсаками и несколько штук подарила своему гостю. Еж поел и, довольный тем, что насытился, сказал: «Фыр-фр-фыр!» — что означало: «рахмат», или спасибо.

Молоденький ручеек прибежал ко мне от верхнего снега. Он только что родился и от радости пенился. Он не знал, что ручейков много, как и я не знала, что в то утро сотни киргизок рожают под тем же солнцем.

У меня утихла боль, и я захватила побольше воды из молодого ручейка, наполнила свои ладони и умылась, и сняла с себя свой богатый элечек *, подаренный мне в день свадьбы с Белеком, отмотала несколько аршин и разрезала на пеленки, одной утерла лицо, а другие положила рядом на траву, чтобы легко было достать; и ножницы тоже положила рядом с собой; я перекатилась на полушубок Серкебая, который он забыл надеть; я сняла то, что надо было убрать с пути ребенка; я попила из ручья большими торопливыми глотками и поспешила лечь, потому как подбиралась ко мне боль и рвалась из горла криком, и я кричала и тужилась, тужилась и кричала: «Апа, родненькая моя апа!»

Потом снова стало тихо. На ближнем кусте барбариса лопнула почка, и я услышала, как вскрикнул народившийся листок. Горы девять и еще девятьсот девяносто девять раз повторили и умножили крошечный крик барбарисового листка; это был хор, это была музыка для меня, и я расширилась и открылась. Настало теплое, мокрое время, в котором я барахталась и вопила; и я поймала руками нежное скользкое существо, которое еще было одно со мной... Я готовила ножницы, но забыла о них и перегрызла соединяющее нас, как это делала ежиха, как это делала волчица, как это делала косуля... Как это делают все теплые и мокрые в час рождения нового существа...

...Я взяла в свои ладони что-то беспомощное и повернула

* Элечек — головной убор женщины: намотанная вокруг головы белоснежная тонкая ткань длиной до ста аршин. В случае острой необходимости, чаще всего в пути, во время кочевья, женщина отрезала кусок, как бинт для перевязки раненого, как платок или как пеленку; могла подарить сколько-то аршин девушке или бедному путнику.

под солнцем, под горячими его лучами. И ветер утих, и змея не шуршала под камнем, только ежик фырчал, что уйти не может, потому что меня сторожит, и предупреждал, чтобы я не укололась и не уколола свое дитя. Он первый громко проговорил: «Суюнчу, суюнчу!» Это я слышала. И от него первого я услышала: «Кырк-джылкы!» — он мне сказал, что родилась дочка. Родилась, но еще не дышала и не кричала. Я ее слегка шлепнула, и она вздрогнула в моих ладонях, отворила глаза и тоненько всхлипнула, а потом вскрикнула; я ее завернула, и первая пеленка промокла — пеленка, отрезанная от элечека. Эту пеленку я отбросила и взяла другую, но ее обсыпали рыжие муравьи. Тогда я позвала ежика, и он их прогнал, а муравьи обиделись и сказали, что чистили материю, чтобы в ней не было болезней, и я у них попросила прощения. А потом попросила рыжих муравьев очистить остальные разложенные на траве пеленки из элечека. И они почистили. Я завернула маленькое свое существо и прижала к себе, освобождая набухшую грудь. Я прочитала иссохшими губами т о б о — благодарственную молитву аллаху. Я обратилась со словами мольбы к солнцу, чтобы не пряталось за тучи. Я просила всех, кто был рядом,— муравьев, ежика, барбарисовый куст и даже злую гюрзу, которая смотрела из-под камня, чтобы прокричали азан — назвали мне имя народившейся девочки. Но никто не прокричал, и не прошептал, и не прошелестел, и не прошипел. Только веселый пенистый ручеек, огибая меня и прыгая через камни, катился и бурлил, повторяя одно слово, одно имя: «Буюркан, Буюркан, Буюркан!»

Буюркан означает Найденная.

А ведь и правда, я ее нашла — маленькую девочку с лицом безусого Серкебая. Я ее нашла среди камней. Забыла, что она из меня. Из деревянной, из железной, из мокрой, из мясной, из костяной.

Забыла?

Нет, не забыла!

А где же тот, который Серкебай, который ускакал? Девочка Буюркан у моей груди, мы обе на его полушубке, полушубок на зеленой траве, а где же он?

И вот я услышала цокот копыт, стремительный скок иноходца и вопль свирепого долгим криком мужчины:

— О-о-о! Ты здесь... А где моя золотая каска? И где мое оружие, из которого хочу стрелять, стрелять, стрелять?!

Он не заметил Буюркан, не заметил и не услышал. Так тяжело он дышал, так тяжело он кричал.

Очень громко дышал, очень страшно кричал...

* *
*

Мы стали бедными, самыми бедными. Мы стали голодными, самыми голодными — Серкебай, Буюркан и я.

Мы жевали мох и лишайники, сосали камни...

Но это потом. Подождите, подождите... Еще будет смерть моей матери, бегущей за богатством. Еще будет много смертей, конечных и бесконечных.

Будет восстание — тысячи и тысячи падут под пулями и под камнями, и под снегами обвалов, и под копытами обезумевшего скота.

Но будет и муж. Будет и нежность его жесткой, негнущейся ладони.

А потом придет Токтор, и я наемся.



Глава седьмая,

в которой старая Аруке сплетает воедино память народа, память книг и ученых трудов с собственной спотыкающейся памятью молодой бунтарки. В последнем своем рассказе она говорит, как в нее стреляли и как стреляла она; как и за что боролись восставшие и как обманутые повернули за ней, чтобы войти в справедливый бой; как потеряла она свою дочку и вместо нее нашла себе трех сыновей.

Я должна, дорогие мои, ускакать вперед и хоть на время отстраниться от себя. Это нужно, чтобы понять. Это нужно, чтобы легла моя жизнь строкой Истории и объяснила возмущение одной в ряду тысяч и тысяч возмущенных и воспламененных.

Уже много сказано о памяти ума, памяти души и памяти тела. Будто можно их разорвать и расчленить, будто не живут слитно. Узнав от Токтора, что Земля кругла, я однажды вспомнила, что и летящий пчелиный рой клубится в одном круге, но каждое насекомое летит отдельно. Не только о том хочу сказать, что человечество на летящем шаре едино в круге своем. Мне пришло на ум, что мельтешение мыслей, их нестройное жужжание, их отдельность и слитность, их уход вглубь и возвращение на поверхность — мыслей мудрых и мыслей глупых, мыслей смелых и мыслей трусливых,— такое непрерывное мельтешение приносит нам истину.

Уже сказано, как память поздняя спешит помочь памяти ранней, обогащая ее тем, что узналось много дальше изначальных дел и поступков.

Уже сказано, как хорошо это и как плохо.

Страшный, бушующий, кровавый 1916 год — год всенародного киргизского восстания и многих бунтов во всем Туркестанском крае.

Для меня он не был одним годом или тремя годами, или тремя месяцами, или тремя днями. Ни для меня, ни для народа. Тысячи и тысячи киргизов были утоплены в крови царскими карателями и преследователями, но в тысячах и тысячах оставшихся жить народилась новая душа.

Она плакала и кричала, воздевала руки, искала материнскую грудь. Маленькая, еще не окрепшая, еще не прозревшая душа народа.

Народ — это множество людей. Душа множества — есть ли такая? Народ — это большинство. Бывает ли, существует ли душа большинства?

Большинство живет трудом, повседневным его риском, повседневным потом, слезами неудач и радостями свершений. За годы и десятилетия, прошедшие после нашего восстания и всеобщей революции трудовых людей империи, я увидела, как выросла и созрела душа киргизского народа.

Таково преимущество старости. Не только слышала, не только читала, но и своими глазами видела, и своими руками делала, и своими рубцами выстрадала.

Ну и что?

Что делать мне со своей памятью, услужливо подставляющей копыта?

Знаете поговорку: «Падаешь с коня — конь гриву подстелит, падаешь с верблюда — верблюд шерсть подложит, падаешь с осла — осел копыта подставит».

Я падаю с осла своей памяти и больно бьюсь о его копыта. И снова взбираюсь на него и еду, толкая коленями в бока: «Чшу, чшу..! Едем, дорогой, обратно едем, далеко едем — истину добывать».

Бунт родился во мне! Так говорю я, и так говорили тысячи и тысячи страдающих. Я пережила два бунта: бунт упрямства и бунт разума. Об ослином упрямом бунте вам рассказывала. Он много раз наполнял меня железом. Бунт разума — когда он во мне начался?

О, теперь кажется: все знала, все понимала. Если что не понимала, спрашивала Колдуна, и он мне через мой ум отвечал, а я передавала женщинам, после чего женщины передавали мужьям, отцам и сыновьям своим.

Какие женщины, какие мужчины, где я была? Мы с мужем моим Серкебаем жили в безымянном аиле, где жевали колючки и сосали камни, и над нами был Добрый бай, вечно плачущий над собственным народом. В этот безымянный аил длинное ухо узун-кулак принес весть, что в Ходженте началось восстание. А потом в Андижане и еще сколько-то дней спустя в Большом Кемине, и в Пишпеке, и в Джумгале, и в Кочкорке, и в Кётмалды, и в Тюпе, и в Сулюкте.

Но я сказала женщинам:

— Восстание давным-давно родилось во мне. Я появилась на свет с бунтом в душе.

Тогда и другие женщины закричали:

— Я, я, я, и я родилась с бунтом в душе. Давила его и

держала его, но бунт теплился и жил! Бунт развивался и рос, как растет в животе человек.

— Против кого бунт? — спросила я.

И женщины спросили меня в ответ:

— Против кого?

Они еще не знали, а я знала. У меня был револьвер, который отняла у неразумного мужа, а у него осталась пожарная каска. Когда насовывал на голову, его уважали.

А как это получилось, что мы оказались у какого-то Доброго бая в каменной пустыне?

Это было потом.

Вы сердитесь, что убегаю вперед, возвращаюсь, ухожу в сторону, оглядываюсь, какое-то время молчу и подбираю слова, а вам приходится ждать. Но разве лучше, когда волнения прошлых дней угасли и ровная историческая дорога, очищенная от камней и выглаженная, стелется перед вашим умственным взором?

Я забегаю вперед и возвращаюсь. Я ропщу на свою память: она запылилась и обветшала, но в старом мусоре то и дело блеснет осколок, тогда хватаю его, колюсь и режусь, и вижу, что кровь моя жива, кровь моей юности и пыль моих страданий.

* *
*

Вернемся в апрель.

Вернемся в тот солнечный день, когда явилась на свет Буюркан и прильнула к моей груди.

На потном, обезумевшем от скачки иноходце Батыркула возвратился Серкебай, и спешился передо мною, и кричал полным голосом, сотрясая все вокруг:

— Я забыл каску и не взял с собой револьвер!.. О, я хочу стрелять и стрелять!..

Ежик увидел Серкебая и сказал: «Фр-фр-фр!» — что означало: «Он жалок и противен в своей всклокоченности. Лучше я уйду».

И ежик ушел, и муравьи уползли, и солнце спряталось за тучу, и трава перестала блестеть, и ручеек отошел в сторону, а Серкебай все кричал и кричал...

Я сидела уже почти здоровая, почти сильная, прижимая к себе девочку, но Серкебай не видел ее. Он бушевал. Он дрожал. Он опустился на колени и торопливо высвободил каску из мешочка и надел ее. Он взял револьвер за ручку, но не знал, куда надо просунуть палец, чтобы наган стрелял.

Я сказала ему:

— Если захочешь стрелять, просунь палец вот сюда.

Тогда он понял, что перед ним я. Он увидел закутанного младенца. Он вздрогнул и протянул к нему руки. Но тут же отвернулся и опять стал вопить:

— Где водка? Ты не видела ли водку, завернутую в тряпки? Мне нужно быть смелым и сильным...

Он отбил горлышко от бутылки и стал пить, захлебываясь и разрезая себе губы острыми краями стекла. Он весь облился водкой и задохнулся, а потом встал грудью против ущелья и закричал:

— Идите! Идите сюда! Идите все! Я никого не боюсь. Я Серкебай, тот самый, кого зовут Серкебаем! Запомните это и никогда не забывайте!

Но никто не шел. Из тучи брызнул дождь и остудил Серкебая. Муж мой сел передо мной, и я увидела, что глаза его пожелтели и от страха стали косыми. Тогда я погладила его по руке:

— Расскажи. Тебе станет легче.

Серкебай оттолкнул мою руку. Он долго и каменно молчал. Дождь смывал с разрезанных его губ розовую кровь и заливал чистую рубашку. Серкебай прижал кулаки к груди. Он напомнил мне старого моего отца, который в исступлении перед Кашкоро вопил и плевался, грозил и проклинал, но сделать ничего не мог.

Серкебай то отбрасывал наган, то снова хватал.

Но вот вино подействовало, краска вернулась на щеки Серкебая, глаза вернулись на свои места, и тогда я сумела нежными словами сказать ему, что ручеек назвал его дочку именем Буюркан.

— Дочку?! — спросил ошеломленный Серкебай.— Ты обещала мне сына.

— Я принесла тебе кырк-джылкы — сорок лошадей *.

Серкебай задумался. Какая-то мысль металась по его лицу: он то кривился, то хитро щурился и, наконец, расхохотался.

— Мы их обманули! — закричал Серкебай.— Они ждут наследника и хотят за него воевать со мной.

Я ничего не понимала. Дождь перестал, и на небо вернулось солнце. Все еще было тихо. Серкебай принялся поспешно рассказывать.

* Такова была когда-то средняя величина калыма, уплачиваемого родителям невесты. Калыма давно не существует, однако в народе и поныне родившуюся девочку называют кырк-джылкы *(Прим. переводчика.)*

Он прискакал в мой родной кыштак. Собаки бросились на его коня. Женщины окружили его — женщины и дети. Четыре старика оказались вместе с женщинами и детьми. Он спросил, где юрта каменотеса Ыбраима. И ему ответили, что Ыбраим уже два месяца как похоронен. Тогда он спросил, где вдова Ыбраима Асыл — мать байской невестки Аруке.

Из толпы выскочил весь разукрашенный лентами и побрякушками, разодетый в бархат и обутый в красные сапоги мальчишка и завопил:

— Я Белек! Сын бая Кашкоро и наследник его — Белек. Зачем тебе жена моя Аруке и мать ее Асыл?

Серкебай в своей чистой рубашке на иноходце Батыркула виделся всем, как посланец бая. Белек узнал лошадь Батыркула и обрадовался, что узнал. Он растолкал женщин и стариков, взял под уздцы лошадь, подвел к большой белой юрте и закричал:

— Э-эй, апа! Выйдите навстречу посланцу могущественного Батыркула.

Женщины и старики далеко не ушли, смотрели и слушали. Все понимали: прискакал гонец с важной вестью, и ждали, что он скажет.

Из белой байской юрты вышла высокая полнотелая женщина, красивая и статная, с владыческим взглядом. Она была одета в шелка и бархат. Элечек на ее голове, украшенный монетами, сверкал на солнце белизной и золотом.

Серкебай мне рассказывал:

— О Аруке, я не поверил глазам своим, когда она объявила, что зовется Асыл и что приходится тебе матерью... Рядом с ней вскоре очутился плосколицый, безносый старикашка с бляхой на груди, по прозвищу Гундос, он назвался опекуном байского наследника Белека. Он мне повторил, что Белек — муж Аруке, получивший ее после убийства старшего брата Жайнака. «Что тебе надо? — спросил меня старикашка с бляхой.— Вижу, ты прискакал на коне Батыркула. Говори!» И каждое слово, произносимое Гундосом, повторял за ним Белек. А твоя мать Асыл стояла и важно слушала... Я не знал, что делать. Я пожалел, что не взял с собой каску. Мне хотелось иметь в руке своей револьвер. Мальчишка называл тебя женой. Я хотел сообщить, что ты лежишь одна в траве соседнего ущелья и рожаешь, но не успел. Меня захлестнула жажда убить и второго твоего мужа, который как чертенок крутился у ног моей лошади, трещал и верещал, дергал меня за стремена и нагло заглядывал в глаза.

«Ты от Батыркула?» — спросил меня Гундос.

«Ты от Батыркула? — нахальным голоском повторил вопрос Белек.— Знай, чужеземец, я наследственный бай, сын Кашкоро, муж Аруке. Ее украл раб моего отца, убийца и разбойник Бекмерген. Сегодня мои джигиты поскакали освобождать ее от кедеев».

...Дорогие мои! Как объяснить вам все это, чтобы вы поняли? Подумайте, каково было Серкебаю, который готовился увидеть бедную из бедных вдову каменотеса, а предстал перед очами женщины в шелках. Не все узналось из первого рассказа Серкебая. Но я скажу, чтобы вы могли из мелких осколков сложить картину. Помните, в день объявленной казни, когда кашкоринцы должны были забросать камнями невинно осужденного Мадияра... Помните? В тот день Батыркул привез с собой Белека, а потом Белек поскакал ко мне, и конь его споткнулся, и он вылетел из седла. Вылетел из седла и во все горло орал, не желая подыматься и ожидая, что приду к нему на помощь. Тогда Мукаш напугал его тем, что через него перепрыгнет и он останется маленьким. Помните? Белек вскочил на коня и ускакал в лес, и никто не знал, куда он делся, а я потом, живя у Токтора, спрашивала себя, что с ним.

Вы знаете из моего рассказа, что имущество Кашкоро было разграблено и драгоценности жены его Макмал расхватали аксакалы, судья Айдыралы, мулла Барктабас, Музафар и этот самый Гундос. По моему наущению толпа бросилась на своих богачей, а волостного судью придавила насмерть... О Белеке тогда никто и не вспомнил. Однако имущество Кашкоро золотом и коврами не исчерпывалось. Из трех его табунов кедеи угнали один. А тысячные отары остались за ним, и вновь избранный судья должен был определить, кто наследует баю и кто теперь глава рода. Аксакалы сперва ждали, что их народ за убийство судьи покарает царское войско. Каратели не пришли, а волостной управитель — болуш Тентемир, возненавидев Батыркула, решил оказать милости кашкоринцам. Надо было определить, кто должен поселиться в белой юрте бая. Надо было найти Белека, как прямого наследника, и меня, как взрослую жену его и наследницу Кашкоро, Жайнака и Макмал. И тут выяснилось, что после скандала на площади Белек ускакал за тридцать верст к единственным своим родственникам — в наш маленький кыштак, к отцу моему Ыбраиму и матери моей Асыл. И они его приняли и обласкали. Когда же крошечный наш народ, подчиненный Кашкоро, узнал в Белеке наследного бая, все кинулись его баловать и за ним ухаживать, потому как получалось, что глава всего рода теперь у них и они стоят над кашкоринцами. И это подтвердил новый бий. Белую юрту

перевезли в наш кыштачок и собрали в нее все, что сохранилось из посуды и ковров, из казанов, чайников, корыт, кастрюль, ножей, вилок, ложек и плошек байской семьи. Музафар и мулла опротестовали решение нового бия и потребовали, чтобы все было пересмотрено съездом судей. Однако мои родители поселились в байских покоях и первый раз за всю долгую свою судьбу ежедневно были сыты до полной отрыжки. К ним нежданно примкнул мой старый ненавистник Гундос и, как опекун наследника, поселился рядом. Во всем этом трудно разобраться, да и не надо. Одно скажу вам — отец мой Ыбраим не выдержал обжорства и, страдая давней своей чахоткой, от жирной пищи еще хуже захирел, а вскоре и умер и был похоронен с почестями. Теперь другое вам скажу: моя мать стала байбиче. Но не как жена, а как теща малолетнего бая. В ней всегда была дородность, но дородность бедной, певучей и трудолюбивой. В ней всегда жила властность, но никогда не было гладкости. Никогда раньше щеки ее не подымались над скулами. И никогда голову ее не украшала белизна богатого элечека с золотыми монетами. Белек под рукой ее капризничал и брыкался — она все от него терпела, нежила его и холила. И вот вместе с Гундосом они решили собрать всех джигитов и послать против Бекмергена и его горных кедеев, чтобы вырвать меня из рук разбойника. А как же иначе — без меня моя мать ничто была у бая. Ведь только моим замужеством с Жайнаком, а потом и с Белеком определялась ее родственность. Никто в родном нашем кыштаке не знал, что я у Токтора. Никто не знал, где Серкебай — убийца Жайнака. Едва ли хоть один человек нашего кыштака видел Серкебая в лицо. Откуда же могли подумать, что приехавший на иноходце Батыркула — мой настоящий муж.

Но вот Серкебай объявил Гундосу, Белеку и матери моей Асыл, что наткнулся на меня, одинокую, рожающую в ущелье.

Белек закричал:

— О жена моя Аруке!

Гундос прошамкал:

— О нашледница Кашкоро, Жайнака и шупруга повелителя нашего Белека! Может быть, проижведет на швет мальшика — продолжателя рода кашкоринцев?! Где она? Шкорей покажи где!

Мать моя Асыл рухнула на землю и от волнения кричала и требовала коня, но, не дождавшись, пока подведут, стала дергать Серкебая и, заикаясь, спрашивать:

— Г-где, к-куда?!

И в этот самый момент кто-то из аксакалов узнал Серкебая и завопил:

— Это убийца Жайнака! Ловите, держите убийцу Жайнака!

Но Серкебай вырвался из круга женщин и стариков и пустил коня во весь опор, чтобы, обогнув по ложному пути ближние холмы, спрятаться от преследователей. На его счастье, в кыштаке не оказалось ловких и молодых джигитов, а старики не сразу поняли, каким путем и куда он поскакал.

Вот это-то я в конце концов и узнала и собрала из разных кусочков последующих рассказов. Надо еще прибавить, что в тот год местонахождение главы рода означало больше, чем когда-либо: поборы в пользу местной власти были меньше там, где жил бай или его наследник. В подчиненных же кыштаках хватали без счета. Потому-то Гундос пожелал сюда переехать.

Ну да ладно. Это пора забыть. Пора вам рассказать, как увиделась я с незабвенной родной матерью моей Асыл...

...Это удивительно и страшно: я увидела гладкую, увидела сытую, увидела привычную к почестям и богатству.

Как и когда она могла привыкнуть и перемениться? Неужели забыла, что проклинала баев, всю жизнь проклинала? Неужели забыла, что, убежав от первого, богатого своего мужа, облилась керосином и хотела сгореть заживо?

Я помнила свою маму как работящую, как поющую песни, как добрую к отцу и нежную ко мне... Но злым кусочком своего сердца я помнила также, что в день первого моего замужества и отъезда мама, насытившись сама, не накормила меня. Я помнила, как говорила она с Кашкоро, как хлопотала о себе и отце, помнила, что ни разу не передала мне привета... Я помню, и вы помните — лучше к этому не возвращаться.

* *
*

Серкебай говорил и речью своей спотыкался. Раньше я сильно пьяных не видала, откуда мне было знать, до чего доводит человека водка. Помните, перед тем как спуститься с горы, выпил для смелости Кадыр. В тот день и я попробовала жгучую жидкость и от нее развеселилась. Второй раз в день прощания с горным домом все мужчины пили и пели. И ничего плохого от этого не произошло. Тут же Серкебай говорил и говорил, повторял сказанное, кричал, плакал, вскакивал на ноги, тупо смотрел на меня и на свою дочку, улыбался, целовал нас и обнимал, просил есть, плевался, пробовал спать и снова подымался, осматривался, хватался за наган. Один раз дошел до того, что приставил дуло револьвера к моему лбу, и я уже прощалась

с жизнью... Слава аллаху, муж мой кончил тем, что упал и уснул!..

...День был теплым, солнечным, нарождающим весеннюю жизнь. Открывались цветы, откуда-то явились бабочки, которых с минуты на минуту становилось все больше, и они кружились над нами — желтые, синие, зеленые. И была добрая тишина. И слышен был говор молоденького ручейка, который неустанно повторял: «Буюркан, Буюркан, Буюркан».

Вспоминая этот ужасный день, прежде всего вспоминаю, как металась моя душа: сейчас прискачут сюда люди родного моего кыштака, которых знаю с младенчества, сейчас окажется передо мной родная моя апа, мамочка-мама...

Спрошу вас, дорогие мои, внутреннее зрение и рисунок, который оно создает,— мысль это или что-то иное? Серкебай сказал, что мама превратилась в полнотелую и величественную. Сказал, что подобна байбиче. Он описывал ее, не зная, что рисует в моем мозгу. Потом упал и заснул, но часто открывал глаза, пугливо озирался и опять смыкал веки и храпел. А я... Я воображала, как произойдет встреча. Боялась и с нетерпением ждала. Умом понимала: пора будить Серкебая и уезжать. Если он, заметая следы, уходил от преследования, страшась, что его поймают и казнят за убийство Жайнака... если угроза смерти остается, как же мы лежим на полушубке? На что надеемся? На каску? На револьвер, из которого он стрелять не умеет, а я в послеродовой слабости вряд ли смогу? И в кого стрелять? Я ненавидела Белека, всей яростью сердца горела против Гундоса, страшилась, что не только назовут наследницей Кашкоро, но и принудят войти в эту семью... Но ведь семья-то другая. Нет ни свекра, ни свекрови, а есть моя мама... моя мама! Апа моя родненькая!

Надо бы убегать, продолжая бегство Серкебая, надо бы, не теряя времени, уходить от преследователей, а я была полна сладкой истомы от крошечных губ прильнувшей к моей груди Буюркан. Наслаждалась тем, с какой силой она сосет. Наслаждалась тем, что этот комочек жизни то и дело отворял глаза и я видела в них себя. Тревога, а рядом с ней истома. Весенняя жизнь травы, бабочек, муравьев, ручья — все это было тихой музыкой моего счастья... Красивый конь ходил непривязанный и знал, что мы его хозяева. Он подошел, и я приласкала его. Откуда мог узнать, что хочу ласки и готова раздавать ласку?.. Я сняла с пьяной башки Серкебая золотой шлем, и сразу же на него стали садиться стрекозы, как бы украшая своими прозрачными крылышками.

Я достала из недр одежды серебряные часы Мукаша, нажала

кнопку и отворила крышку. Но серебряный колокольчик не зазвонил... Ах, дорогие мои, ни Батыркул, ни Токтор не сказали мне, что пружину надо заводить. В третий раз подумала я, что время остановилось. Стрелки показывали девять. Так не могло быть. Судя по солнцу, был полдень. В этот самый момент откуда-то сверху прилетело ко мне ржание коня. Конь Батыркула громко откликнулся. Серкебай в белой, залитой кровью и водкой рубашке вскочил и дико огляделся. Я вспомнила урок, преподанный мне матерью в ту ночь, когда приехали за мной свекор, Жайнак и Макмал. В ожидании и волнении мама ничем в ту ночь не показывала, что надвигается беда. Смотрела мутным взором, смотрела и молчала. Тискала и протыкала иглой ненужную тряпку, чтобы видно было: она спокойна, ей все это привычно и обыкновенно.

Ах, мама, дорогая моя апа!

И вот я ее жду и тревожусь. Три года прошло — теперь она едет ко мне не с женихом, но с недорослым супругом, который по закону должен взять меня, а Серкебая, как убийцу брата, казнить.

Ах, мама, дорогая моя апа!

Уже слышен был чей-то разговор. Чихнул мужчина. Другой мужчина рассмеялся. Густой голос женщины что-то сказал; туча, зацепившись за гору, туманом спускалась в ущелье. По мере приближения голосов меня все сильнее трясло. Горело лицо. Я упорно смотрела на Серкебая, ожидая от него успокоения.

Я видела в нем мужчину, который должен решить, что делать. Вы удивитесь, но это так. Понимая, как мало он пригоден к жизни, зная, что пьян, зная, что от этого дик, я по впитанному мною чувству, идущему от предков, ощущала Серкебая защитником и повелителем своим. Ум подсказывал другое. Но в моей истоме и слабости ум значил слишком мало.

Чтобы чем-нибудь себя занять, я свободной рукой подгребла в кучу недогоревшие сучья, но зажечь не успела, да и не собиралась зажигать. Мне нужно было движение спокойствия, которого быть не могло.

По склону ущелья двигались всадники. То видела я чей-то малахай над кустом, то тебетей или белое пятно элечека. Значит, не только мужчины, но и женщины едут сюда.

Серкебай насунул на голову каску и схватил револьвер.

Если бы было в нем хоть сколько-то ума, зачем раньше не взял меня на лошадь и не ускакал? На что надеялся? На каску и на водку?

И вот уже встал над нами в расстоянии полета стрелы полукруг всадников и всадниц. Я узнала подлую плоскую рожу

Гундоса, узнала двух девочек, которые теперь оказались женщинами и носили элечек. Я легко узнала мерзкого сердцу моему разукрашенного Белека. Я увидела, но не узнала свою маму. Правда, правда, увидев и поняв по рассказу Серкебая, что это она, все равно не узнала. Никогда под ней не было такого великолепного черного жеребца. Никогда за все время моего детства она не ездила в седле, а только позади седла или впереди седла. Ездила с отцом на быке или на ишаке и ни разу на лошади.

Я ждала ее крика. Ждала, что спешится и побежит ко мне. Но первым дождалась дикого в радости своей вопля маленького мужа моего Белека:

— О жена моя Аруке! Ты здесь, передо мной! Ты вернулась ко мне...

Не успел договорить и не успел соскользнуть с лошади — раздался выстрел. Из руки Серкебая вылетел на отдаче револьвер, а сам он, скривившись от боли, закричал:

— Назад! Все назад! Безжалостно убью каждого!

Он был велик в страхе своем и силен в страхе своем. Его каска сверкала, разбрасывая лучи, и его испугались и стали отступать. Тогда Гундос закричал:

— Дурило, шними пожарную кашку! Никто ее не боится.

Упорный Серкебай снова наклонился за револьвером и снова выстрелил, но никого не убил и не ранил. На этот раз ему удалось удержать в руке оружие.

Каску он не снял. Пусть Гундос, как богач, побывавший в городах, знал, что на нем охраняющая от огня пожарная каска, другие не знали. И даже моя мама знать не могла.

Но была ли там моя мама, дорогая моя апа?

Была, была!

Она сползла с коня на животе. Неловкими шагами пошла навстречу оружию. Она не боялась смерти. В этом я ее узнала. В гордости ее и в силе. Белек шел сзади, держась за тещин подол и прячась от пуль. Он повторял:

— О жена, дорогая моя жена!

Все, кто приехал, попрятались за скалами и выглядывали оттуда. Я быстрым движением вскочила и вырвала из рук Серкебая револьвер.

Ко мне подошла моя мама.

Я осторожно положила Буюркан на полушубок и бросилась на шею родительнице. И она села рядом со мной и стала говорить.

Белек выглядывал из-за ее спины.

Серкебай смотрел тупо. Птичка с ветки капнула на его

каску. Капля поползла по гладкому золоту, но Серкебай этого не замечал.

Как могла я смотреть на Серкебая, если рядом была мама и говорила?

Не было никакой мамы! Я могла не верить глазам, но не могла не верить обонянию своему. Я могла не верить, что шелковое платье на ней, и бархатный камзол, и мягкие ичиги в резиновых галошах принадлежат свекрови моей Макмал. Могла не верить даже тому, что толстые щеки она получила в наследство от убитой моей свекрови. Но знала носом, чуяла, как чует зверь,— передо мной воскресшая Макмал.

Это платье с нее, и я сама его стирала. Эти ичиги с нее, и я сама их мыла. Эти галоши я сама вытирала. Этот камзол я чистила. Эти золотые монеты на элечеке я натирала куском мела.

И все-все издавало двойной запах, в котором сильнее, чем запах мамы, был запах дочери манапа и жены кровожадного Кашкоро — Макмал.

Мама говорила. Прежним ласковым шепотом успокаивала меня. Ее успокоения были уговорами и мольбами. Потом она помолчала и подумала, а подумав, заплакала.

Но я не заплакала. И сердце мое не отворилось для мамы.

Сердце мое не могло отвориться для тещи, за юбку которой держится Белек.

Она говорила:

— Наконец-то я тебя увидела! Наконец-то свершилась небывалая радость! Мы будем вместе. Белек, ты и я. Народ нас любит. Каждый день для нас режут овцу... Как хорошо, что Бекмерген тебя не убил! Как хорошо, как хорошо, как хорошо!..

Нестерпимый запах Белека, ненавистный запах Макмал, пугающее зловоние Гундоса и всего, что было, и всего, что могло вернуться, и всего, что на меня смотрело сытыми глазами потерянной моей матери, вызывало во мне дрожь брезгливости и страха.

Я схватила с полушубка Буюркан и запахнула своим камзолом, и застегнулась, и перевязалась лозой, которую отломила сильным рывком от склонившегося ко мне ивового куста.

Я забыла посмотреть в глаза матери.

Может быть, забыла, а может быть, побоялась.

Я сказала тупому Серкебаю, который все еще был пьян и пошатывался:

— Подведи ко мне лошадь. Подними меня на лошадь. Сядь за мной на лошадь!

И он все сделал, как я велела.

В моей руке был револьвер, и я способна была застрелить Белека, но не сделала этого.

Я не сказала своей богатой матери ни единого слова прощания.

Под угрозой оружия я приказала мальчишке Белеку сложить в курджун все наше имущество, перевязать мешок посередине и завязать сверху. Бывшая моя мама с улыбкой на устах помогла Белеку положить передо мной курджун.

О господи! Как была похожа мудрая ее улыбка на улыбку жены каменотеса Ыбраима — Асыл.

Почему она улыбалась? Думала, что поверну коня к ней, к ее белой юрте? Наверно, так.

Подбежал Гундос и схватил меня за ногу, чтобы стащить с коня. Я в него выстрелила, и он упал, обливаясь кровью.

А мы поехали в другую сторону: Серкебай, его жена Аруке и их дочь Буюркан.

Сзади нас остались крик, вопли женщин, рыдание и неистовый визг Белека над окровавленным Гундосом.

Моя мать... Нет, не моя мать — теща Белека, новоявленная байбиче, тень отравленной Макмал, забыв на склоне ущелья своего коня, побежала за мной. Она кричала:

— О Аруке! Остановись, поверни коня. Доченька, ты уходишь от счастья, от сытости, от богатства. Куда ж ты уходишь?

Мама, мама, бедная моя апа!

Серкебай дал шпоры коню, и он пошел быстрей, а толстая тень Макмал, величественная ее тень, все бежала и бежала.

— Вернись! Они прогонят меня без тебя. Я ничто без тебя. Я умру от голода без тебя. И ты умрешь от голода! И убийца твоего мужа умрет от голода!

Она бежала, спотыкалась, падала, подымалась и опять бежала, и опять кричала:

— Аруке, Аруке, Аруке!..

Она плашмя упала на землю, и я, обернувшись, увидела ее лежащей, но к ней не подъехала, хотя она и звала меня жалобно и тоскливо:

— Доченька, вернись. О Аруке!..

Сердце мое разрывалось, и куски его оставались на следе нашего коня. Чем дальше мы отъезжали, тем слабее был голос и тем больше он походил на голос родной моей мамы, которая взрастила и ласкала меня, и подымала к счастью девического возраста... которая меня продала баю и снова захотела продать.

А потом были камни пустыни. Протрезвевший Серкебай половины не помнил и удивлялся, и радовался, и заглядывал в глаза маленькой Буюркан.

У нас еще была вяленая туша косули, полмешочка боорсаков, колбаса-чучук, копченый бараний курдюк, толокно, немного соли.

Что у нас еще было?

Весенние песни птиц и журчание молодого ручейка. И воспоминание о том, что была у меня мама...

Хоть бы раз она сказала: «Возьмите меня с собой!»

Мамочка родненькая, дорогая моя апа!..

* *
*

Мы попрощались с ручейком и с молодыми травами ущелья, чтобы оказаться в голой каменной пустыне. Нас никто не преследовал, не искал и не ловил, оставив нам простор земли и неба.

Наконец-то мы обрели свободу, никому ничем не обязанные и никому не подчиненные!.. Над нами висело голое синее небо свободы, под нами расстилалась коричнево-серая каменистая пустыня свободы, без травы, без людей, без овец и без воды. Мы могли повернуть коня в любую сторону, и он, сытый и отдохнувший, охотно подчинялся руке Серкебая. Но рука Серкебая не знала, куда направить коня. И голова в золотой каске тоже не знала.

Пора вам напомнить — мне было шестнадцать лет. По нынешним меркам — девочка, восьми- или девятиклассница. Но я уже стала по-женски зрелой, а по пережитому едва ли не старухой перед современными девчонками того же возраста; по книжным же знаниям не ушла дальше второго класса. Могла немного читать и писать, знала сколько-то русских слов — способна была поговорить, если б встретилась с кем-нибудь из урусов.

Ох, зачем пустилась я в эти сравнения? Что дадут они вам и что дадут мне? Я была женщиной, матерью сосущей меня Буюркан. Держала курджун, лежавший передо мной на коне, придерживала крошечную свою дочку, которая притихла у груди, смотрела вперед, а впереди было солнце и далекие сверкающие вершины, где нет ничего для жизни человека.

Мы не знали, куда едем, а я в моей телесной послеродовой слабости могла надеяться только на тепло двадцатилетнего Серкебая, на его силу и на то, что понимает дорогу лучше меня.

Забыла сказать — за пазухой у меня рядом с головкой крошечной моей дочки торчала ручка нагана. Железо нагана согрелось, тело привыкло к нему и сроднилось с ним. В тревожных

мечтах и надеждах я забыла, что час назад стреляла в человека и он упал окровавленный, раненый или убитый.

Сегодняшняя шестнадцатилетняя девочка, выстрелив, от одного этого должна бы потеряться в судорожном плаче и ужасе предстоящего... А я так много пережила смертей, так много видела крови, что Гундоса легко забыла. В самом деле, Гундос тянул меня с лошади, и я выстрелила... Много позднее вспомнила, сколько раз он требовал расправы надо мной. Вспомнила и то, как кашкоринцы за грабеж приговорили его к смерти и только чудом он остался среди живых. Остался жить и должен бы при виде меня бежать, но вместо этого осмелился стаскивать меня с седла, чтобы вернуть жену малолетнему байскому сыну. В мерзости своей он защищал мерзость закона, сводящего как супругов женщину и одиннадцатилетнего мальчика. Выходит, я сотворила месть, исполнила приговор народа? Нет, я не мстила и не казнила, а только отбилась своим выстрелом и окончательно отрезала путь к прежней жизни.

И вот перед нами свобода каменного пути.

Что с ней делать, с такой свободой? Этого я не знала и спросила в уме своем Колдуна:

— Что нам делать со свободой, куда повернуть коня?

Я думала, Колдун всегда будет отвечать, а он не ответил. Может быть, ему не до меня было в тот час. Я содрогнулась от его молчания и немного погодя спросила Серкебая, который обнимал меня и держал на коне:

— Куда мы едем?

Серкебай не сразу откликнулся. Наш конь пробежал легкой иноходью еще шагов двести, когда муж мой его остановил, спешился и снял меня с Буюркан, опустив нас на теплые камни пустыни. Солнце, еще не остывшее в вечернем безветрии, пока не давало нам продрогнуть, но было видно, что недолго продержится над горами.

Серкебай снял с коня курджун и положил передо мной, сказав:

— Развяжи, я хочу есть.

Он не ответил на вопрос о том, куда мы едем, но вспомнил, что пора поужинать.

Скажу вам правду — я тоже проголодалась. Ведь мы ели только ранним утром. И тут мне пришло на память, что в погоне за нами мама обещала нам голодную смерть.

Серкебай сказал:

— Разожги костер!

Но в этой пустыне не было ни живого, ни мертвого, способного гореть. Тут даже не к чему было привязать коня, и Серке-

бай привязал его к своей ноге. Конь не понимал, зачем мы здесь, где нет ни травы, ни воды. Он заржал, и в голосе его был упрек, и я услышала вопрос:

— Для чего мы остановились? Надо бежать дальше, миновать поскорей пустыню.

Тихо плакала Буюркан, она не хотела брать грудь, и глаза ее говорили, что живому здесь делать нечего и не на что надеяться.

Серкебай снял и спрятал каску. Он торопливо помолился. Усевшись поудобнее, достал из верхней части курджуна одну из трех лепешек и, разломав колбасу-чучук, протянул мне столько же, сколько взял себе.

— Я справедлив,— сказал он.— Хочу, чтобы ты жила и чтобы в тебе было молоко для ребенка. Теперь слушай. Я Серкебай, меня зовут Серкебаем — запомни это и никогда не забывай.

Конь Батыркула нюхал камни, щерился и злобно фыркал. Мой муж подтянул к себе повод и камчой огрел коня. И тот осел на задние ноги и хотел было подняться на дыбы, но Серкебай вскочил и стал его хлестать, и хлестал, пока на коже несчастного животного не появились кровавые рубцы.

— Стой смирно, стой смирно! — повторял Серкебай.

Ах, если б вы слышали, как закричала и заплакала Буюркан!

Конь смирился и, весь дрожа, стал у ноги нового своего хозяина.

Значит, Серкебай силен, и я тоже должна перед ним смириться?

Избив коня, а потом спокойно поев, Серкебай обнял меня и в легкой дреме прикорнул на моем плече. Меня ни разу не ударил. Я даже вспомнила, что подружка моя Зейне о нем сказала: «Он никогда никого не унизит». Тогда я ей поверила, а теперь усомнилась: так ли это?.. Только не подумайте, что не любила его или разлюбила. Он был рядом, и я его чувствовала как самого родного, хотя запах от него шел плохой.

Последние лучи солнца я увидела пыльно-зелеными и поняла: быть буре.

Начало темнеть. Я растолкала Серкебая, чтобы не оставаться здесь на ночь. Он проснулся мягким и разомлевшим. И я опять его спросила:

— Куда мы поедем, где найдем себе кров? У нас маленькая. Да и я с раннего младенчества не знала бездомности. Куда мы поедем, а, муж мой?

Ему понравилось, что я так его назвала, и он с ласковой ворчливостью проговорил:

— Куда, куда! Обратно нам пути нет. Ни к батыркулам, ни к кашкоринцам, ни в твой кыштак. Значит, опять туда, где был я и учился жизни. Поедем в Пишпек. Мы на хорошем байском коне. У нас есть пища. Поедем и наймемся к русскому богачу. Увидев, как статен мой конь, русский богач возьмет меня в табунщики... Только вот что: не заговаривай больше со своим Колдуном. Что было, то прошло...

Я не успела ответить, он подсадил меня с ребенком, уложил впереди курджун, вскочил, как бравый джигит, свистнул, гаркнул, и мы легко поскакали на серединную каменистую дорогу, ведшую к Кётмалды, а оттуда к Пишпеку.

...Вот как мы начали свободную жизнь — поехали наниматься. Хорошо начали. Я поверила, что хорошо.

* *
*

Стоило спрятаться солнцу и начаться коротким сумеркам, из-за гор явился тяжелый волнистый ветер. Он не дул, как дуют ветры в наших ущельях, где растут деревья и травы. Здесь, среди голых, безжизненных камней, ветер сам собой рождался, и было видно, что подымается вместе с пылью из глубоких трещин и, почуяв что-либо живое, остервенело кидается, стремясь опрокинуть и растерзать. Люди не любили это место, и животные и насекомые не любили, и грифы здесь не спускались к тем, кто в пути умирал. Трупы валялись и под солнцем высыхали, а сильный, крутой ветер подымал их и бил о камни, постепенно превращая кожу и кости в пыль. Когда-то, три года назад, мы через эту пустыню ехали в кыштак кашкоринцев. Помните, это было в день моей первой свадьбы.

Тогда меня держал на коне вонючка Жайнак, а сейчас меня держал на коне любимый мой муж Серкебай. Он окончательно проснулся и был полон сил. Он не боялся ветра и наступающей ночи и опять принялся петь. Ветер нападал то слева, то справа, то падал с неба, то вздымался из-под земли, а мы ехали. Конь тревожно ржал, Серкебай безмятежно пел.

А почему тревожился наш конь, имя которого я не знала? В том, как он ржал, я слышала смертную тоску и мольбу о жизни. Значит, что-то знал или чувствовал — понимал, что надвигается беда.

Вы спросите, как жила я на коне, откуда в день родов брались во мне силы. Я об этом думать не могла. Надо было ехать — и ехала. Вот только мучила жажда и в груди стало убывать молоко. Буюркан, сколько ни старалась, не могла ни-

чего высосать и жалобно плакала. Однако ее крошечный звук рядом с воплями ветра и песнями Серкебая был незаметен.

Уже поднялась луна, когда мы выехали на широкую тропу-дорогу. Ее никто не мостил и не строил. Она извивалась по удобнейшей пустынной ложбине, и, как бы выпрямляя ее, тянулись рядом провода на столбах с перекладинами. Никогда их раньше не видела и в уме своем сравнивала с раскинувшими руки голыми мертвецами, волосы которых тянутся в обе стороны. Тут-то Серкебай и обернулся ко мне, чтобы объяснить, что столбы поставлены для передачи по проводам разных сообщений.

— Вот, если надо вызвать войско, чтоб наказать непослушных властям, по этим проводам бежит просьба волостного старшины, или уездного начальника, или болуша.

— Какое войско?

Кроме толпы конных джигитов, я еще не видела войска.

Серкебай рассмеялся и крикнул мне:

— Увидишь! По пути к Пишпеку увидишь. И в Токмаке, и в Канте, а может, еще раньше — в Кётмалды. Там как раз учат новобранцев.

Я хотела спросить, кто такие новобранцы, кто и чему их учит, но тут налетел могучий ветер, он заставил нашего коня встать поперек дороги. Туча пыли закрыла от нас и горы, и луну. Я наклонилась и постаралась запрятать Буюркан поглубже, чтобы сохранить от пыли и холода. Там же, в недрах моей одежды, лежал наган, девочка ушиблась об него и закричала. Я от злости на это проклятое железо хотела вытащить его и бросить на дорогу. Но только потянулась за ним — утих ветер и сразу же опустилась пыль, и мы увидели, что навстречу идут ровными рядами всадники в одинаковой одежде. Они двигались парами, голова к голове. Их кони были послушны и молчаливы. Впереди ехал всадник в белой папахе, а все другие были в черных папахах... Это я потом узнала, что у этих шапок такое название, раньше ничего такого не видела. Серкебай повернул было нашего коня, чтобы уйти с дороги, но тот всадник, что ехал впереди, закричал:

— Стой!

Серкебай велел мне наклониться и сам наклонился, и дал шпоры коню, но конь наш устал, он давно не ел и не пил, быстро скакать не мог. Всадники окружили нас. Все белолицые и усатые, гладкие, круглоглазые. И у каждого всадника за плечом висел карабин, а на боку — сабля.

Тот, что был в белой папахе, нагнав нас, наотмашь стеганул по лицу Серкебая и крикнул:

— Слазь!

Я уже почти вытащила наган и хотела в этого усатого выстрелить. И я бы выстрелила, но Буюркан держалась обеими ручонками и обеими ножонками за сроднившийся с ней револьвер, и я могла бы вытащить оружие только вместе с ней.

Я думала, Серкебай будет драться с этими всадниками. Думала, станет яростно кричать, бросать камни, лупить головой, кусаться. Но муж мой безропотно спешился и стал говорить, что едет с женой и с ребенком. Он по-киргизски говорил и только три слова повторял по-русски:

— Господин урядник, господин урядник, пожалста...

Тот, что был в белой папахе, сбросил с коня курджун и отпихнул ногой. Похвалив коня и огладив, сказал:

— Краденый конь, английское седло. У кого украл?

Серкебай тянул руки к луне, клянясь ее светлым именем, но в то же время жалобно повторял:

— Господин урядник, господин урядник, пожалста!

Всадники стояли и смотрели голыми круглыми глазами, не произнося ни звука. Они держались на конях прямо; и если б раскрыли руки, стали бы похожи на телеграфные столбы.

Тот, что был в белой папахе, взял нашего коня под уздцы и сказал два слова, которые я слышала потом много-много раз:

— Военная реквизиция.

Серкебай понял, что у нас отнимают коня, и упал на колени моля не делать так и говоря, что у нас малое дитя, без коня мы пропадем в пустыне. Серкебай и мне дал понять, что я должна пасть перед белой папахой на колени, но я сделала не то, что хотел мой муж. Я гордо закинула голову. Еле стояла от слабости и в любую минуту могла упасть, но, если б всю ночь были передо мной чужие всадники, я бы держалась против них своим железом, как держалась перед ветром, и перед солнцем, и перед лютым своей злобой свекром моим Кашкоро.

Господин урядник похлопал меня по щеке, и я плюнула в его лицо. Он огрел меня плеткой, а я еще раз плюнула. Он утерся и пошел к своей лошади. Повод нашего коня он передал одному из своих подчиненных, а на прощание сказал Серкебаю:

— Дур-рак, нешто можно такого хорошего коня стегать до крови!

Эти русские слова я частью поняла, а частью запомнила на слух. И еще я запомнила, что господин урядник нехотя и без особой злобы еще дважды стеганул коленопреклоненного Серкебая, после чего вскочил в седло, дал команду, и солдаты мгновенно построились по двое, и казачий конный разъезд тронулся рысью в сторону Кочкорки.

Вот как теперь говорю: «казачий конный разъезд». Тогда не знала, кто это, и как они зовутся, и зачем ездят по нашей земле. Не знала слова «реквизиция», не знала, что Серкебай может стать робким и падать перед кем-то на колени, не знала, что Колдун не сумеет меня защитить.

Но я успела умом спросить его, и это он мне посоветовал: «Плюнь, плюнь уряднику в лицо! Пусть убивает, а ты все равно плюнь!»

Неужели и правда Колдун посоветовал? Пожалуй, нет. Пожалуй, я сама додумалась. А скорей всего не думала. Плюнула от души и без всяких мыслей. От одной злобности против чужого, с чужим запахом. Так верблюдица плюет, не думая, что ей за это будет. Так ослица упрямо стоит в дрожи под плетью...

...У Серкебая в руке осталась камча. Когда разогнулся, сверкнул злобным взглядом и поднял на меня камчу.

Тогда я и ему плюнула в лицо и пошла от него с Буюркан и с револьвером, а ему оставила курджун со всеми припасами.

Куда я пошла? Свернула с дороги и, слепая от ярости, шагала по каменной пустыне, качаясь из стороны в сторону.

Серкебай догнал меня, упал передо мной, зарыдал громким голосом, стал кататься по камням, стал молить остановиться. Но я перешагнула через него, как шагают через мутный ручей. Пусть пенится и злобится, пусть плачет — через него нетрудно перешагнуть.

* *
*

Я упрямо шла, спотыкаясь о камни, а Серкебай вскачь тащил за мной тяжелый курджун. Мог бы взвалить на плечи, но почему-то тянул, как овцу. Я шла, напрягая последние силы, шла против ветра, хотя могла бы идти и по ветру, не зная куда и зачем. Серкебай плелся сзади, кричал и нудно плакал. Что ж, дорогие мои, бывают и такие мужья: хоть шагай через них — гордость не пробудишь. Чем же поднять в них силу и ярость души? Неужели нет средства?

Вскоре я так устала, что, споткнувшись, свалилась на землю, больно ударившись боком, где за пазухой лежал револьвер. Испугалась, что придавила Буюркан, но девочка моя не пискнула, только чуть повернулась. Напрягшись, я села, и Серкебай сел со мной рядом, робко прижался, попробовал заглянуть в глаза.

Неужели этот самый Серкебай мог скакать по горам за овечьей отарой, громко петь и свистеть? Неужели этот самый уто-

пил Жайнака, потом ходил к Пишпеку, а вернувшись в кыштак батыркулов, собирался идти к кедеям убивать Бекмергена? Этот плачущий, этот заглядывающий в глаза?

— Хочу пить,— сказала я.— Буюркан голодна,— сказала я.

Серкебай не шелохнулся.

— Ты живой или мертвый? — спросила я.

— Я не мертвый! — закричал он.— И не хочу, не хочу умирать! — Он ударил кулаком по камню, но не было от его удара даже малого звука.

Выл ветер, и мелкие камешки секли нам лицо и руки. Светила мутная луна. Дальние горы прятались в пыли. С каждой минутой прибывал холод. Серкебай запахнул меня в полушубок. Он дрожал так сильно и так горестно, будто проснулся в нем обиженный ребенок. А ведь был мужем высоким и статным.

Серкебай сказал:

— Приласкай меня, погладь, и я окрепну.

Но я не могла его ни гладить, ни ласкать. Во мне все топорщилось, все было сухим и злым.

Мелкие камешки летели и летели вместе с песком и пылью, понемногу закрывая нас и пряча от всего мира. В полусне я обрела постороннее внешнее зрение и увидела себя со стороны. Как могло это быть? Не знаю. Только помню: сжавшись втроем под слоем камешков и пыли, мы превратились в небольшой холмик, неотличимый от других пустынных холмиков и не заметный никому под высокой мутной луной.

* *
*

Перед тем как уснуть, я подумала, что пришла последняя моя смерть, но Колдун сказал:

«Проснись и встряхнись, тогда придут люди. На свете есть люди».

Я проснулась, встряхнулась и растолкала Серкебая.

— Встань! — сказала я.— На свете есть люди.

Он мне поверить не захотел, замотал башкой и лег лицом в камни. Я не унималась и продолжала его будить:

— Ты же сам говорил, что не хочешь умирать. Встань, поешь. Я развяжу курджун, у нас еще остались припасы, и среди них бутылка водки.

Серкебай вскочил и закричал:

— Дай, дай, хочу водки!

Но когда он тащил мешок, бутылка, хоть и была она завернута в тряпки, разбилась, и водка разлилась. Увидев это, муж

мой опять угас и, закрыв руками глаза, лег. В этот самый момент мы услышали беспорядочный цокот копыт нескольких всадников. Ехали киргизы. Ехали, кричали и хохотали.

Ах, давно я не слышала веселого человеческого хохота!

Семеро джигитов, оборванных и тощих, встали вблизи от нас. Даже под тусклой луной было видно, что лошади их подобны скелетам. Они были мохнатыми и низкорослыми, но все же ребра их выступали сквозь кожу и шерсть. И так привыкли они к своей худобе, что резвости не теряли, а хозяева их не теряли веселости.

Еще не зная, что мы не камни, а люди, подъехавшие говорили друг другу и хохотали. Один сказал:

— Я могу сварить бешбармак из волка. Поймайте волка и увидите, какой хороший сделаю бешбармак. Будете пальцы облизывать. Ха-ха-ха!

Другой сказал:

— Я готов съесть корсака или даже лисицу, ничего со мной не сделается.— Сказав эти глупые слова, он тоже расхохотался.

Третий спросил:

— А кто из вас ел ворону или галку? О, это хорошая пища!

— Конечно, лучше, чем мох и лишайник, которыми нам приходится кормиться,— сказал четвертый.

Сказав это, он осклабился. У него было очень много крупных белых зубов.

Колдун обещал, что придут люди, но эти всадники были похожи на тени из долгой страшной сказки.

Пятый сказал:

— А все-таки, братцы, как хорошо жить! Ой, как хорошо — ветру много!

И опять все грохнули хохотом.

Эти семеро были вооружены дубинками, кольями и кинжалами. Эти семеро сидели на своих деревянных седлах свесившись. Я давно слышала, что, свесившись с седла, облегчаешь коню позвоночник, и он отдыхает. Но таких легких всадников даже тощим коням нести нетрудно.

Всадники стояли, чего-то ожидая. Теперь-то я знаю: они прислушивались к ветру, искали в свисте пустыни человеческого голоса — плача, крика или стона. Нас всадники заметить не могли. Мы молчали среди молчащих скал, холмов и холмиков.

Я бы заговорила, но боялась, что ошибусь, что это вовсе не люди, а пустынные призраки.

Шестой сказал:

— Можно есть крысу, суслика, сурка и даже крота. Но в этой пустыне живых существ нет. Тут надо смеяться и радовать-

ся ветру. Поедем обратно, мы никого не найдем. Нет голосов. Никто не плачет и не зовет нас.

Седьмой сказал:

— Слушайте, слушайте! Добрый бай Джээнчоро велел искать хотя бы вздоха. Вы болтаете и потому ничего не замечаете. Вы хохочете, и сквозь ваш хохот ничего, кроме ветра, не проникает.

Все всадники притихли. Тут-то и проснулась Буюркан. Проснулась и всхлипнула, а потом тоненько заплакала.

Тогда подступили к нам всадники, наклонились над нами, спешились, откопали нас.

— Смотрите, живые, ха-ха-ха, живые!

Они обрадовались, что увидели живых. Правда, Серкебай им показался мертвым, и они хотели завалить его камнями, но и Серкебай понемногу ожил.

— Смотрите, он почти толстый! — сказал седьмой, самый главный всадник.— Какой молодец! Спит среди холода и камней. Скорей, скорей, грузите их. Ой-е! Смотрите, молодая женщина с малым ребенком, и тоже не худая. Добрый бай Джээнчоро будет радоваться. Он наградит нас за такую находку.

Пятый всадник натолкнулся на курджун и спросил:

— Это кто? Человек или мешок? Будить его или так класть?

— Клади так,— сказал седьмой всадник.

Нас положили и повезли. Мы приехали куда надо к раннему утру, к тусклому рассвету. Кругом были голые, мертвые горы, и среди гор стояла одинокая белая юрта, шире которой я ни раньше, ни потом не видела. Обширная байская юрта Кашкоро в сравнении с этой показалась бы муравейником, а может, даже кротовым холмиком.

Всадники спешились. Подхватив под руки, они повели Серкебая и меня с Буюркан к открытому входу, за которым слышны были переборы струн комуза и дребезжащий старый голос, поющий долгую песню. Серкебай успел мне шепнуть:

— Это джинны. Молчи. Не говори ни слова. Не сопротивляйся, не топорщись, не злись.

Я подумала: «Мало ли что ты говоришь! Какие это джинны? Колдун мне сказал, что придут люди. Это очень тощие, очень бедные, но веселые и радостные люди».

Мыслями своими я с Серкебаем не поделилась.

Нас ввели в юрту, где посредине светился желтовато-голубым огнем кизячный очаг, а кругом сидели на толстой кошме люди — мужчины, женщины, дети. Занавесок не было — ни одной занавески. На возвышении сидел толстый, кривой на левый глаз, пышнобородый старый бай. Белая чалма концом свешива-

лась ему на грудь. Рядом с баем сидел ырчи с комузом. Перебирал струны и пел. Ырчи был дряхлым, волосы его бороды отстояли друг от друга на вершок или больше. Лицо и шея были очень морщинисты, старая черепаха позавидовала бы такой морщинистости. Ырчи был слеп — бельма сплошь закрывали ему глаза. Но при своей слепоте первым увидел нас и отвесил нам глубокий поклон. Ничего не сказал, только поклонился, продолжая играть и петь. Может, услышал нас, а не увидел? Бай прижал к губам палец, чтобы мы, не дай бог, не заговорили. Он рукой показал нам и приведшим нас джигитам, что надо сесть или лечь. Он хотел слушать стихи ырчи и его игру на комузе, хотя было раннее утро и солнце еще не поднялось над горами. Привыкнув к полутьме, я увидела, что дети и женщины почти все спят. Кто лежа, а кто и сидя. Лица у всех были худыми, но их выражение ничем не обнаруживало беспокойства или злобы голода. Казалось, все тут близкие и любящие друг друга родственники, понимающие, что надо держаться вместе. Время от времени кто-нибудь умирал — мужчина, женщина или ребенок. Его спокойно и тихо выносили хоронить в каменистой пыли окружающих гор. Как я могла знать, что несут хоронить? Знала, знала!..

Маленькая Буюркан теребила губами мой сосок, но молоко не лилось, потому как я давно не пила. Я посмотрела на сидящую рядом старую женщину. Ни слова ей не сказала, но та, подобно тени, выскользнула за пределы юрты и вернулась с бурдючком воды. Я поблагодарила ее взглядом и стала пить, стараясь глотать бесшумно и не нарушать общей торжественности. Теперь я ждала, что вода во мне станет молоком и Буюркан насытится. Пока внутри меня одна жидкость превращалась в другую, я слушала ырчи. Его стихи были плавны и красивы, надтреснувший голос звуком своим не портил их, но украшал. Эта надтреснутость сообщала стихам правдивость и верность. Я слушала стихи, как слушают музыку, не вникая в смысл слов. Слова меня давно утомили — в моей жизни их было слишком много. Не только другие, но и я сама часто и подолгу говорила. Серкебай, который сидел слева от меня, то и дело толкал меня под бок. Глаза его горели восторгом, он порывался вскочить. Зачем толкал? Он видел по моему лицу, что не вслушиваюсь в слова. И я стала вслушиваться. От этого мне стало не по себе, потому как рядом с именем Акзыйнат ырчи в своих стихах упоминал и мое имя. Я вдруг узнала, что Акзыйнат, встретив в горах шестнадцатилетнюю бунтарку, ушедшую от злобного бая и малолетнего мужа, подвела ей своего коня и сказала:

О Аруке!
Слезы высушили меня,
Сорок жизней своих
Я проплакала,
Хороня угасшие мечты людей.

О Аруке!
Я устала плакать,
Плач не рождает железа души.
О Аруке!
Ты поднялась над народом,
Поднялась красотой и силой,
Ты позвала народ судить
неправедных судей,
Твое железо
Мечом легло в ладонь народа
И засверкало всеобщей битвой
Против злых,
мертвых душой,
алчных и несправедливых.
О Аруке!
Как старшая, прожившая
сорок жизней,
Благословляю тебя на подвиг
И ухожу в тень.
Я пролилась слезами и вылилась вся.
Возьми моего коня,
возьми душу моих слез,
Сделай слезы мои булатной сталью,
Поведи народ на битву,
О Аруке!
От единственной твоей речи
Подкошенным упал насосавшийся
крови народной
Бий Айдыралы.
А все, кто крал, упали перед тобой ниц.
Будь железной, будь сильной, Аруке!
Возьми, возьми моего коня
И веди народ к правде
и справедливости.
Не щади манапов и баев,
не щади ханов,
Не щади самого царя,
О Аруке...

Так пел стихами слепой ырчи. И свет солнца лился в дверь юрты, и народ, лежащий и сидящий, подымался на ноги, и мужчины подымали над головой малых ребят, чтобы не только слышали, но и видели.

Тогда встал на возвышении ырчи и запел стоя. Рядом с ним поднялся огромным своим ростом кривой Добрый бай Джээнчоро. Единственный его глаз заблестел слезой умиления и нежности к певцу. Бай хлопнул в ладоши. Он хотел что-то сказать,

как вдруг под сводом юрты раздался сильный голос отца моей Буюркан:

— Я Серкебай! Запомните и никогда не забывайте! Это меня зовут Серкебаем!

— Уберите сытого! — закричали слева.

— Уберите круглого! — закричали справа.

Все были возмущены поведением Серкебая. Уже потянулись руки, чтобы схватить его, однако он успел прокричать:

— Стойте, стойте, не трогайте меня, не смейте! Я муж Аруке! А вот рядом со мной она сама... Мы ехали на коне Акзыйнат, ехали к вам...

Ему не дали договорить. Раздался оглушительный хохот. Это хохотали семеро джигитов, которые выкопали нас из камней.

— Э-эй, замолчите и расступитесь перед Аруке! — громовым раскатом прокричал Добрый бай Джээнчоро.— Пропустите ко мне Аруке с младенцем, и пусть джигит, назвавшийся мужем ее, в трех шагах следует за ней. И пусть с этого дня он до конца своей жизни зовется Арукенин-эри, — муж Аруке.

Сказав это, Добрый бай джээнчоро стал хохотать втрое громче всего своего народа.

Я с сосущей меня Буюркан прошла сквозь расступившийся народ к возвышению, где стояли Добрый бай и старый ырчи. Сзади шел Серкебай, за Серкебаем несли курджун.

— Это о тебе пел ырчи? — спросил, усевшись передо мной, Добрый бай.

Я ответила, что не знаю. Сказала, что меня зовут Аруке, но со скалы говорила и призывала к справедливости, потому как умом и голосом моим управлял Горный Колдун. К этому я хотела прибавить, что Акзыйнат ко мне не приезжала, я видела ее только раз, плачущую по первому моему мужу. Я хотела это сказать, но меня перебил Серкебай:

— Она не знает, что плетет. Ырчи пел правду. Он пел о ней!

Серкебай желал хорошего и мне, и Буюркан. Он думал, что через меня всенародная слава коснется и его и всем нам будет хорошо. Но, выслушав его, Добрый бай спросил:

— Где же конь Акзыйнат и где булатный кинжал? Вы, наверное, съели коня, а булат выбросили, ха-ха-ха!

Вместе с Добрым баем хохотал над нами весь народ. Один лишь ырчи стоял молча. Он подозвал меня мановением пальца. Потрогал мое лицо. Потрогал мою девочку. Нащупал рядом с ее головкой ручку нагана и вытащил наган.

— Вот ее булат,— сказал ырчи.— Выстрели вверх, Аруке, покажи, как ты владеешь оружием!

Я послушалась старика. Подняла револьвер и выстрелила в купол юрты. От этого все попадали ниц, и только Добрый бай Джээнчоро радостно рассмеялся и захлопал в ладоши:

— Ты умеешь стрелять? О, это хорошо! А из карабина можешь стрелять? У нас есть один казачий карабин, который мои джигиты украли, когда русское войско улеглось спать.— Он вытащил карабин из-под одеяла, на котором сидел.— Посмотри и оцени его. В нем, кажется, нет патронов. Если в твоих руках будет пригоден к бою, если ты научишь моих джигитов...

Тут я вспомнила, что Серкебай вместе с револьвером украл у Колдуна коробку с патронами от карабина. Я развязала курджун, чтобы достать патроны. Но оттуда первым делом вывалилась каска в мешочке, а потом выкатился копченый курдюк, а за курдюком явились на свет и туша косули, и масло, и оставшиеся две лепешки. Серкебай бросился было все это подбирать, но бай не позволил ему. Весь народ заурчал голодным звуком своих животов. Все мужчины, женщины и дети заурчали. Все жадными глазами следили за своим Добрым баем.

А он был не только Добрым, он был помешанным. Он все разделил поровну: половину взял себе и половину отдал народу, следя за тем, чтобы никто не был обижен.

Такого справедливого бая я видела первый раз.

Мы остались у него жить.

* *
*

Мы стали бедными, самыми бедными. Мы стали голодными, самыми голодными — Серкебай, Буюркан и я.

Мы, как и все, жевали мох и лишайники, растущие у маленького родника, сосали камни, и только изредка джигиты нашего бая грабежом захватывали в соседних владениях овцу, барана или коня. Общая юрта, в которой жил весь народ, обширностью своей говорила о прежнем богатстве, о силе и славе бая Джээнчоро.

Кто-то может подумать, что я, желая посмеяться, назвала кривого бая добрым и справедливым. Нет, кличку «Добрый» прибавлял к его истинному имени весь крохотный, повседневно умираюший род джээнчоринцев. Главная доброта вновь обретенного нами бая заключалась в том, что он не расставался со своим родом и следовал за ним повсюду. Род этот, в недалеком прошлом богатый и сытый, жил на щедрых, жирных землях где-то за Пржевальском, а может быть, за Тюпом или неподалеку от Токмака, а возможно, что и на северном берегу Иссык-Куля,

где с каждым годом все шире разрастались русские селения Сазановка и Григорьевка. Родные свои земли джээнчоринцы постарались забыть и детям своим ничего о них не рассказывали. Когда я спрашивала старых женщин, а потом и мужчин, они охотно мне говорили, что одними из первых киргизов, а может и самыми первыми, восприняли от дунган землепашество. Пахали землю, сеяли не только ячмень, но и пшеницу, и рожь. Сажали и выращивали овощи, а кое-кто, оставив кочевье, научился косить травы и заготавливать для скота на зиму сено. Но вот царские посланцы — чиновники и землемеры — перегнали их с хорошей земли долины в более высокие и бедные места. А потом погнали к югу, а потом погнали к северу, а потом погнали к востоку и, наконец, к западу. В переходах от одного места к другому они хирели, болели, теряли жен, детей, братьев, мужей, отцов и матерей. Куда бы они ни приходили, их гнали дальше. Царская власть не хотела давать им земли, говоря, что земля во всем Туркестанском крае государственная и ею владеть нельзя, можно ее только арендовать, а то место, куда они пришли, давно уже в аренде. И вот оказались джээнчоринцы в Центральном Тянь-Шане, в камнях которого с давних времен живет и теплится корень всех киргизов. Здесь думали джээнчоринцы обрести себе жизнь. Но ни один бай не пожелал уступить им хоть малую малость от своих пастбищ, от своих лесов и от своих вод. Куда бы ни пришли, куда бы ни попросились джээнчоринцы, их отовсюду гнали, не давая их овцам, коням, верблюдам и быкам хоть сколько-нибудь травы. Царские же чиновники во главе с военным губернатором в ответ на жалобы отвечали, что нет закона пускать в арендованные земли посторонних киргизов далекого племени. Пусть посторонние киргизы умирают. Это очень хорошо. И пусть все киргизы становятся постепенно посторонними. Так будет еще лучше.

От богатого в прошлом рода откололись и ушли мулла с аксакалами и все полубаи. Они угнали свой скот и увели своих жен, а с женами и детей. Остались бедняки — бедные из бедных — сорок семей, семь лошадей и одна живая овца, которую не резали, чтобы не забыть, как овца выглядит и что на ней растет — колючки или шерсть. Род джээнчоринцев арендовал у правительственных земельных чиновников горную пустыню, где не было ни зверей, ни птиц, ни насекомых, ни червей, ни трав, ни воды. Арендовал и платил земельную подать и военный налог. А чтобы не платить самого страшного поюртного сбора, бай Джээнчоро придумал весь народ собрать в своей юрте. Тогда от злобы к нему тайно ушли, забрав все драгоценности и ткани, жены и дети самого Джээнчоро. Только один

любящий до беспамятства отца своего старший, сорокалетний сын Кулжугач остался с ним. Он был веселый и радостный и больше всего на свете нуждался в ветре и в смехе. Он умел хохотать над любыми бедами и учил народ своего отца обходиться смехом и заменять им пищу. Каждый день семеро всадников выезжали на тощих своих конях в соседние земли. Тощие и сухие от голода, они становились на пути чьей-нибудь овечьей отары и принимались смеяться. Они хохотали до икоты от одного того, что все овцы были похожи друг на друга. Они говорили, что эти овцы похожи на ту овцу, которая живет с ними в юрте и, конечно же, приходится этим овцам близкой родственницей. Они звали встречных животных в гости к родственнице. Если же чабан чужой отары мешал их гостеприимству, они били его палками и кололи пиками. Но сил у них было очень мало, и никого убить они не могли. Но часто бывало, что, подняв шум, чабан сзывал своих джигитов и те убивали одного или двух джээнчоринцев. А остальные, оставшиеся в живых, громко хохотали, и в страхе от этого джигиты соседних племен убегали и всюду распространяли весть о хохочущих тощих джигитах Доброго бая Джээнчоро, живущего в горной пустыне.

Каждый день в стане джээнчоринцев кто-нибудь умирал от голода. Мужчина, женщина или ребенок каждый день обязательно умирали. Но джээнчоринцы не горевали. Они хоронили своих покойников, а потом скакали по камням пустыни в поисках заблудившихся путников. А так как в тот год отовсюду шли и шли разоренные и голодные и рано или поздно попадали в каменную пустыню, их находили семеро всадников во главе с Кулжугачем, сорокалетним сыном Доброго бая.

Так и нас они нашли. Так и привели к Доброму баю. К справедливому баю, который только половину добытого брал себе, а все остальное поровну делил среди подданных.

И подданные считали, что это правильно. Они хотели, чтобы их бай был не менее толст, чем любой другой. Они хранили его полноту, чтобы не забывать, какими могут быть люди — круглыми, сытыми и здоровыми. Как хранили овцу, так хранили и Доброго своего бая, не покинувшего их и хохочущего вместе с ними.

* *
*

Вы, слушающие меня, ропщете на то, что рассказ мой не совпадает с книжной историей, в которой нет бая Джээнчоро и веселого его сына Кулжугача, но что мне делать, если так было. Три месяца на грани жизни и смерти мы просуществовали

в пустыне вместе с этим народом. Я советовалась с Колдуном, спрашивала, как мне быть — учить ли стрельбе джигитов этого народа, не опасно ли? Вдруг украдут еще несколько карабинов и патроны к ним. Тогда пойдут и станут весело стрелять направо и налево. Больше всего меня пугала веселость джээнчоринцев. И Колдун мне сказал:

«Учи, это нужно! Джээнчоринцы вас спасли. И не только вас — многих спасли. Ветер и смех — это все, что осталось у них для жизни. Но разве ты не заметила, что и мужчины, и женщины, и дети, слушая песню ырчи, не смеялись. А потом, когда ырчи показал тебя народу стреляющей, никто не хохотал, только сам Джээнчоро одобрительно рассмеялся и стал просить тебя учить своих людей. Учи, это нужно!»

Слова Колдуна я услышала из далекой дали. И спросила:

— Что делать с теми, кого научу?

И Колдун ответил:

«Делай то, что пел ырчи, передавая слова Акзыйнат! Веди на бой — восстание зреет, сегодня или завтра начнется. Ты видела охранное войско царя — оно готовится встретить восстание. Ты живешь среди хохочущих от голода. Если не поднимемся — все от плача перейдем к хохоту и умрем под смех над глупостью подобной жизни».

Так сказал мне Колдун и прибавил:

«Посмотри кругом. Восстание уже началось. В тебе и в других. Осмотрись и пойми: деревянное время кончилось!»

Я стала осматриваться, приглядываться, думать. Стала понимать, что такого раньше не бывало. Киргизы живут сообща, не ссорятся, не отделяют в правах мужчин от женщин, спасают людей и приводят к себе, чтобы поделиться последним.

«Надо их учить!» — сказала я себе и первым научила стрелять сильного и веселого Кулжугача. А он стал учить стрельбе других джигитов своего племени, а также пришельцев, найденных в пустыне, спасенных от камней и песка.

Я учила женщин и детей читать и считать. Но больше мы ничего не могли делать. Не ткали, не катали кошму. У нас не было ниток, не было овечьей или верблюжьей шерсти. Мы качали своих маленьких детей, потому как они часто от голода плакали. Мы все чего-то ждали. Рассказывали друг другу сказки, а сами ждали. Пели песни и ждали. Должно было что-то начаться. Ветер нам обещал, что, как только начнется, он тут же принесет нам весть...

Между тем джигиты Кулжугача, хоть и был у них всего один карабин, стали отъезжать дальше, проникать в глубь чужих земель и, встречаясь с людьми, расспрашивать их, что и

как. Имея ружье, не грозили мирным киргизам, брали только самое необходимое, потому как и те, соседние киргизы тощали с каждым днем и скота у них становилось меньше. Джигиты под предводительством байского сына Кулжугача стали привозить нам удивительные вести. Киргизы от плача переходят к хохоту. Но не к веселому, а к страшному и злому.

Как же не хохотать, если все больше и больше берут с них налогов и все больше земель отрезают для кулаков-переселенцев и богатых казаков! Как же не хохотать, если скотопрогонные тропы перепаханы поперек, нет пути на джайлоо, летние пастбища для многих стали недоступны!

И вот однажды наши джигиты принесли нам удивительный хабар. Горный Колдун примирил кашкоринцев и батыркулов, спустился к ним с пещерными кедеями, велел всем готовить оружие. Этот волосатый Колдун имеет несколько ружей и много патронов. Кедеи научились от Колдуна стрелять и учат чабанов, табунщиков и коровьих пастухов.

Принеся этот хабар, Кулжугач подошел к тому возвышению, покрытому ковром, где обычно сидел отец его Джээнчоро. Сын стал рассказывать отцу, но тот остановил его, сказав:

— Не мешай. Разве ты не видишь, что я занят: мы с найденышем твоим Серкебаем играем в карты. Есть такая игра «Двадцать одно». Садись рядом и учись. Научившись, мы уйдем отсюда и будем всех обыгрывать и этим вернем себе богатство и славу.

Все, кто был в юрте, весь народ, мужчины, и женщины, и дети, прислушались к тому, что говорил Джээнчоро. Прислушались и стали перешептываться. Они видели — игра идет давно. Добрый бай не смеется и ничему не радуется. Карты — короли, королевы, тузы, джигиты — мелькают в его руках. И народ перестал смеяться и следил за игрой. Голодный и тощий, умирая, следил за игрой. Игра длилась долго — дни и ночи. Слепой ырчи уехал. Он не мог видеть карты, и не мог ничего нащупать, и не мог понять, чем околдовал найденыш Серкебай преданного своему народу бая Джээнчоро.

Настала тишина, и голод стал сильнее.

Было слышно, как хлопают игральные карты.

Если же мешали игре голодные дети, Добрый бай выгонял женщин и детей под горячее солнце пустыни или под холодную луну.

Пока Серкебай тасовал карты, готовясь к новой игре, старый кривой Джээнчоро говорил своему сыну:

— Смотри. Здесь существо жизни. Короли — это те же баи, а тузы — это цари. Всегда была война между ними и всегда бу-

дет. Игра — вот в чем открылась для меня истина. Игра всегда была и будет, для нее живет человек.

Сперва он проигрывал Серкебаю. Проиграл пустой кованый сундук, проиграл халат, проиграл несколько золотых монет, оставшихся от прежней жизни.

— Эй, Аруке! — кричал мне Серкебай.— Посмотри, какой я сильный, посмотри, какой умный, хитрый и от этого счастливый.

Серкебай хохотал от радости, но никто больше не хохотал. А потом вошел в игру Кулжугач. И, объятый страстью, забыл все на свете, стал проигрывать с себя одежду. Серкебай выл от радости. Забыл еду и питье, забыл меня и нашу дочку Буюркан. Джээнчоро и его сын стали по отдельной кошме проигрывать Серкебаю свою обширную юрту, когда вдруг счастье повернуло в другую сторону. И все, что было у моего мужа, стало переходить к хозяевам...

* *
*

Вы скажете, это неправда, старая Аруке говорит вам ненужную и пустую сказку, вплетая ее в историю всенародного восстания. Потерпите немного и поймете: нет сказки. Нет у меня для вас ничего, кроме того, что пережила, как бы ни виделось вам пройденное мною.

Память страшных голодных дней, когда сосешь камни и молоко не прибывает...

И в это время играет муж, которого втайне подкармливает Добрый бай, чтобы шла игра и не останавливалась до смертной точки.

Знайте!

Все баи, манапы, ханы, эмиры и цари играют, ни на минуту не оставляя игры. Ставят на карту все до последнего, даже умирающих у пустой груди крошечных детей. Играют снарядами, играют пушками, играют кровью, играют богами, играют словами, умом и глупостью, в сути своей ничего не меняя, хотя народы и земли переходят от одного к другому, поднимая над собой тот или иной флаг, то или иное знамя.

Думаете, не верила в Доброго бая как в человека? Верила.

Думаете, не верила в Серкебая как в человека? Долго верила.

Думаете, Батыркулу не поверила, когда он говорил на горе, сравнивая меня с Зеррин-Тадж? Колебалась, но верила.

Думаете, в сына Джээнчоро Кулжугача не верила, когда учи-

ла его стрелять? Как же мне было ему не верить, если он меня спас, и дочку мою Буюркан, и глупого мужа.

Играл Добрый бай Джээнчоро, играл русский царь Николай. В глупости и в крови баи и цари одинаковы.

Пришел день и принес весть — страшный хабар: высочайшее повеление императора — мобилизация инородцев на тыловые работы. Вот слова, которых нет и не может быть в сказке. Их и рядом со сказкой нельзя держать.

Значит, не было сказки — была игра. Царь и его ближние советники со звездой во лбу играли и ставили на глупость народную, взаимоненависть, быструю наживу одних и проигрыш других, на беспорядок, в котором можно захватывать и бить, бить и захватывать.

Вы знаете, и я знаю, в этом наши знания не расходятся.

Что было, вспомните!

По всему Туркестанскому краю, а по киргизской части Тянь-Шаня с особой силой, прокатилась высокая волна тухлой, злобной и кровавой глупости, от которой ничего иного не могло произойти, как только безвинная гибель тысяч и тысяч людей азиатских племен и народов.

Кто-то очень хитрый и до ужаса глупый в своей холодной жестокости подсунул русскому императору бумагу, которую тот, не понимая и не думая, подписал.

Смысл наружный в этой бумаге был. Вот, мол, сыны русского православного народа изнемогают в смертном бою с армиями Германии и других центральных держав. Сыны России умирают на поле брани, а пасынки — всевозможные татары, узбеки, туркмены, киргизы и прочие инородцы, свободные от воинской повинности,— жрут, и пьют, и благоденствуют, отделываясь платой налогов. Они горя и крови не знают и умирать вместе со старшими своими братьями не желают. Следует от этих народов взять их здоровых мужчин от девятнадцати до сорока трех лет и послать на тяжелые тыловые работы: мостить дороги, грузить поезда, таскать в морских и речных портах мешки на пароходы и баржи, стоять на охране военных складов, а может, и рыть окопы, сооружать блиндажи и земляные преграды, подвозить телегами к передовым позициям оружие и боеприпасы. Инородцы на все это пригодны. Придут и заменят на этих работах русских. Русские же Иваны с этих мест пополнят редеющее и наполовину выбывшее от смертей и ранений царское войско.

Таков был вроде бы разумный наружный смысл высочайшего повеления от 25 июня 1916 года. Царь его по наивности и полной неосведомленности подписал. Он и сам был злодей, но не

хотел же себе сделать хуже. И ведь были же у него знающие помощники. Советники из тех, кто иноверческими землями из года в год управлял. Не могли же не знать эти губернаторы и высшие сановники, что такую мобилизацию провести не только не просто, но в короткие сроки даже и невозможно. Знали генералы, знали полковники, знали уездные начальники и волостные старшины — все эти царские люди не могли не знать, что девяносто девять из ста киргизов русский язык не знают и ни на какие работы в России не пригодны. Знали управители и то, что у туркестанцев не только нет паспортов и метрических свидетельств о рождении — у них даже и фамилий нет. Значит, составить верные списки подлежащих призыву дело немыслимо трудное, а то и просто невозможное. И без самих инородцев тут уж никак не обойтись, и на них все это придется возложить. А где взять грамотеев, когда только один из полутысячи умеет писать, да и то не по-русски и даже не по-киргизски, а по-арабски. Ни киргизской, ни узбекской, ни таджикской, ни казахской письменности не было. Те же немногие счастливцы, которым удалось познать грамоту, учились у муллы по корану. Яснее ясного было советникам царя, что мобилизация в Туркестанском крае должна вызвать шум, крики, споры и плач. Все будет решаться баем, бием, муллой, волостным писарем, аильским старшиной. В кого ткнут пальцем — тот и будет схвачен и записан. Шестнадцатилетний за двадцатилетнего, а пятидесятилетний за сорокалетнего. А кроме того, как этих призванных собирать, как одевать, на чем и куда везти за сотни верст от железных и водных путей?

Неужели обо всем этом заранее не подумали? Сам царь, может, и не подумал. Но какой-то хитрый царский советник знал и хотел беспорядка, надеясь погасить и утопить во внутренних раздорах между баями, биями и народом жажду к освобождению от царского гнета. Хитрый сановник предвидел, что будет поголовное взяточничество, откуп богачей, насилие над бедными, возмущение народа против баев, биев и волостных болушей. Хитрый царский советник хотел нарочно вызвать беспорядки и внутренние бунты, чтобы получить возможность применить кровавую расправу за мятеж. Особенно же этого хотели управители горных киргизов — казачьи атаманы и сотники. Почему? Да потому, что нигде в других местах Туркестанского края не было по долинам и горным ущельям таких плодородных, жирных земель, лесов и рек, где можно было поселить крепких русских хозяев с кулацкой хваткой, способных киргизов согнать и превратить в своих работников — пастухов и поденщиков.

Что было раньше — бунт и восстание или мобилизация? Да-

же я, малолетняя мать и по возрасту девчонка, знала опытом своим, что бунт и восстание начались задолго. Я на себе чувствовала камчу не царскую, но байскую и только совсем недавно сравнила и поняла, что казачья нагайка бьет не хуже. Увидела, как гонят и отбирают последнее, как морят народ голодом и безземельем. Как сталкивают друг с другом племя с племенем и род с родом. Сильный бай всегда теснил и разорял бая слабого, а сильный царь теснил и разорял эмира, хана и бая. И всюду подымал флаг своего государства. Но для внутреннего управления царь оставлял манапов и баев и давал им полноту власти вплоть до казней и убийств по старым мусульманским законам.

Вот я и подошла к тому второму, хитрому и главному смыслу, который мог быть умен раньше, но не в 1916 предреволюционном году. Лукавый царский сановник придумал напугать призывом тех самых молодых и зрелых джигитов, которые давно волнуются и бунтуют, недовольные налогами, поборами, реквизициями коней и скота, отсутствием одежды и фабричных материй, страшной дороговизной и более всего тем, что с каждым годом их дальше и дальше сгоняют с удобных и сытных пастбищ в пользу русских богатеев. Лукавый советник царя в указе о мобилизации дал число: столько-то мужчин взять в той или иной волости. А там пусть болуш, бий, аксакалы, аильские старшины, все те, кто в лицо знает своих людей, сами определяют кого брать, кого вязать, кого грабить, а кого и казнить. Лукавый советник понадеялся, что внутренние раздоры, неминуемые взятки и откупы ослабят недовольство царскими властями и все негодование народное кинется на одних только киргизских управителей. Указ давал такую широкую возможность грабежа баям и биям, открывал им такую игру без проигрыша и такую наживу, какой еще никогда не было. Царские военные власти пообещали баям и биям полную поддержку, учили выявлять непослушных, хватать их, арестовывать, сажать в ямы и в случае чего вызывать войско. Не столько нужны были царским властям безграмотные и неумелые тыловые работники из инородцев, сколько надо было занять умы и ослабить наиболее горячих и сильных из чужих подчиненных народов.

25 июня вышел царский указ, а уже 8 июля был готов приказ военного губернатора с требованием к каждой волости: дать столько-то сот или тысяч мужчин. Сразу же начались в аилах и кыштаках взятки. Все хоть сколько-нибудь знатные и властные пожелали отнять у того, кому грозил призыв, коня, корову, быка, верблюда, а в крайнем случае ишака. Наскоро составлялись и оглашались на площадях списки мужчин, подлежащих

отправке. Скот никто не пас, потому как чабаны и табунщики чаще всего были как раз нужного возраста и торопились домой. Неожиданно выяснилось новое и никем не обдуманное обстоятельство: баи и полубаи не только сыновей своих не хотели отпускать на службу к царю, но не желали отдавать приближенных джигитов — слуг, кулов и тех, кто ходил с их стадами и табунами. Мало того — почти вся букара находилась у богатеев в долгу, и выходило, что, послав должника в трудовое ополчение, бай лишался и долга, и процентов на долг. Такая от всего этого началась кутерьма и неразбериха, столько раз пересоставлялись списки, столько возникало драк, криков, споров и слез, столько жалоб писалось, что не оставалось времени ни на что полезное. Портнихи не шили, сапожники не тачали сапоги, ткачихи не ткали, хозяйки не варили мыла и не стирали, никогда еще народ не был в такой грязи и вшивости. Дети были в забросе, собаки дичали от голода, начались болезни. Одни только кузнецы работали старательно и помногу. Но не подковывали коней и не чинили хозяйственную утварь, а все, какое ни находили, железо перековывали в ножи, кинжалы и в наконечники для копий.

То, что восстание первым делом началось в городах — в Ходженте и Андижане,— вы читали, да и я говорила. Знаете тоже, что в несколько дней, как по единому сигналу, поднялся народ в аилах как на юге, так и севере Тянь-Шаня. Но вот о чем надо задуматься. Как и почему случилось, что многие баи и даже крупные манапы присоединились к восставшим, а некоторые, подобно Батыркулу, вооружали народ и шли во главе движения? Тут много причин. Я не историк и не берусь все объяснить. Однако помню хорошо, что баи сперва вошли в игру на стороне царя и губернаторов. Составили списки и с помощью верных своих джигитов ловили уклоняющихся, связывали и сажали в ямы. В сельской местности народ восстал прежде всего против биев, баев и своих же старшин. Потому как через них все делалось и они более всего брали взятки и хитрили. Но тут-то и произошло, чего самые мудрые и дальновидные царские советники предвидеть не могли. Слишком широко и молниеносно раскатилось восстание. Манапы, баи, ханы и эмиры со всех сторон Туркестанского края молили о военной помощи против своих народов. Но гарнизонных войск не хватало, потому как большая их часть была отправлена воевать с немцами. Смекнув такое дело, мусульманские богачи и властители испугались, что народ поймет их как врагов и с ними расправится. Тогда они стали тайно собираться, чтобы решить, куда поворачивать. И бо́льшая часть баев стала кричать вместе с народом: «Не отдадим своих

братьев и сынов! Лучше умрем, но в слуги царю не пустим!» А самые воинственные нашли себе новую игру: подняли зеленый флаг пророка, сзывая под него мусульман против русских и всех, кто не исповедует ислам. У них возродилась надежда избавиться от царя и овладеть всеми силами и всеми богатствами народа, не делясь с русским царем...

...Однако, дорогие мои, на этом я должна остановиться. Взяла на себя, чего в ранние годы не понимала и понимать не могла. Да и сейчас, мое ли дело состязаться с историками? Но вот что еще должна сказать. В тот год я знала одного Токтора, одного Колдуна, который неустанно повторял: бунтовать нужно не только против царя и его охранников, но и против всех богачей, как русских, так и киргизских. У них надо отнять в пользу бедняков и власть и все их владения.

Я воспитывалась у бывшего каторжника, воспринявшего мысли от тех, с кем он был в Сибири. Но разве один он был такой? Другие люди знали других колдунов, способных пробуждать и передавать справедливые мысли. Колдуны, подобные Токтору, были и действовали и на юге, и на севере, и на западе, и на востоке.

Понимаю теперь и то, что не были они колдунами, но по стародавней привычке так их называю.

* *
*

Наш пустынный народ перестал смеяться и умирал робко. Совсем не слышно стало хохота. Джигиты не садились на семерых своих тощих коней и никуда не выезжали, ожидая, когда и что прикажет им Добрый бай Джээнчоро или сын его Кулжугач. Но, войдя в бешеный азарт, они изо дня в день играли против Серкебая в карты. Серкебай сидел перед ними полуголый. Он еще не проиграл каску, но, украв у меня часы Мукаша, отдал баю. Проиграл малахай и сапоги, проиграл рубашку и пояс. Все это не нужно было ни баю, ни сыну его, но они стали как помешанные и за вшивой рубашкой моего мужа видели большое богатство.

И вот случилось, что, когда я сидела и говорила с женщинами, в обширную нашу юрту приехали посланцы болуша. В то время была в разгаре мобилизация, и волостные охранные джигиты разъезжали по аилам под начальством муллы или писаря, чтобы вносить в список имена призывников и мобилизованных увозить в волостной кыштак. Трое сытых и круглых охранных джигитов, приехавших с писарем, увидев тощих и умирающих, не удивились. Я думала, да и сам Добрый бай думал, что

единственный его народ такой несчастный в Киргизстане. Однако волостные джигиты знали — тоскливые умирающие изгнанники из плодородных земель во множестве селятся на пустых подснежных высотах, на гальке высохших рек, в сухой казахской степи и на свалках возле городов.

Писарь подошел к сидящему на возвышении баю Джээнчоро и потребовал:

— Давай от своего племени на службу царю одного мужчину или откупись, чтобы мы ушли.

— Откупаться мне нечем,— отвечал бай.— Бери, выбирай из тех моих подданных, что вон там.— Он показал в полутьму юрты и отвернулся, чтобы играть в карты.

В полутьме юрты сидели и лежали шестнадцать еще не умерших мужчин. Они были плохи от голода. Мужчины хуже переносят голод, чем женщины,— сильнее мучаются, скорее падают. Так были худы и малоподвижны эти шестнадцать мужчин, что писарь с досады плюнул. Он стоял перед баем, играющим в карты, и ждал. Но, увидев, что этот бай власти не имеет и даже не держит возле себя камчу, писарь сел.

Заметив непочтительность приезжего, Джээнчоро скривился, но не закричал, а ласково ему предложил:

— Если знаешь игру, придвигайся ближе, и я дам тебе карту. В жизни ничего нет достойнее игры.

Волостной писарь ответил презрительно, что игра владык — это война. Самая выгодная из всех игр. И он тоже к ней причастен.

— Мне нужен мужчина, крепкий джигит,— сказал посланец болуша.— Вот сидит рядом с тобой твой сын. Давай его мне. Он еще не слишком худ и не болен и подходит по возрасту... Или вот того,— писарь ткнул пальцем в сторону Серкебая.— Он хоть и тощ, глаза его сверкают — значит, может работать на царя.

— Я чужой,— жалобно возразил Серкебай.— И у меня жена с ребенком. Они без меня не выживут.

Писарь напыжился.

— Эй, бай! — проворчал он.— Решай что-нибудь. Я на волостной службе. Не держи меня долгим ожиданием. Давай своего сына. Он пригоден лучше всех.

Джээнчоро вскочил и ответил зычным криком:

— Не гневи меня, хоть ты и писарь, бай все-таки я. Встань, встань передо мной!

У Джээнчоро еще сохранился владыческий голос. Писарь не смог преодолеть давнего своего страха перед баями и вскочил, а Джээнчоро важно и торжественно произнес:

— Слушай, холуй болуша. И вы, охранные джигиты, слушайте! Я добр и справедлив. Весь мой народ об этом знает и за это меня любит. Серкебай, который здесь с женой и ребенком, живет у нас как гость. Он не должен идти на царскую службу за наш народ. Но вот я кладу перед ним рубашками вверх четыре карты. Пусть, не переворачивая, выберет и скажет: «Ставлю на эту!» Если выпадет ему туз или король — останется здесь, а сын мой Кулжугач пойдет в тыловое ополчение. Но если откроем указанную им карту и увидим, что мала и ничтожна, гость наш добровольно отправится в царскую службу под именем моего сына. Так я решил и так будет!

Многим пришлось по вкусу мудрое решение Доброго бая Джээнчоро. Народу понравилось, и писарю, и его трем джигитам.

Один Серкебай не мог скрыть боязни, лицо его стало таким, будто упала на него паутина. Он задрожал. Он смотрел по сторонам, ожидая, что кто-нибудь поможет. Но все молчали.

Мне было жаль мужа. Хоть и перешагнула через него, окончательно забыть не могла. На руках моих сидела Буюркан. Ей недавно исполнилось три месяца. Из-за недостатка грудного молока она плохо держала головку, но взгляд у нее был ясный и почти веселый. Она глянула на отца, на меня, снова на него. Поняв ее взгляд как поддержку себе, Серкебай кинулся ко мне с мольбой:

— Спроси своего Колдуна. Он все может, все знает. Спроси его, какую карту мне показать.

Я не хотела лишиться мужа. Еще меньше хотела, чтобы наша дочь трех месяцев осталась без отца. Все-таки я напомнила Серкебаю, что он запретил мне говорить с Колдуном.

Тогда Серкебай опустился передо мной на колени и стал скулить:

— Спроси, спроси! Я не хочу на царскую службу, я слаб и голоден.

От вида моего Серкебая у меня стало горько во рту, будто раскусила что-то нечистое. И все-таки, преодолевая горечь, я повернулась в ту сторону, где, по моим надеждам, должен был находиться Колдун, и, напрягаясь душой, принялась в уме своем кричать:

«Колдун, на какую карту показать Серкебаю? Скажи мне, скажи не ради него и не ради меня, а ради дочери нашей Буюркан».

Девять раз кричала в уме. Никто из джээнчоринцев слов моих не слышал, но они верили, что не зря стою, упершись глазами в кошму юрты.

Девять раз я кричала — ответа не было. Тогда спросила: «Что мне делать, отец?»

Уже не Колдуном назвала Токтора, но, как во все время жизни у него, отцом.

И тогда явился в моем уме ответ:

«Серкебая забудь. Он не выдержал ничего. Он тебе врал. Он тебя предал. Он хотел тебя ударить. Ты перешагнула через него — не перешагивай обратно. Оставь на собственную его судьбу. Он не воин и не человек, не муж и не отец. Он хуже Мадияра, он гирей будет висеть на твоих ногах...»

Я хотела еще слушать, еще спрашивать. Но все ждали, и я должна была сказать.

И я сказала:

— Колдуна нет: не слышу его.

Я вам долго рассказываю. В уме пулей уносилось и пулей возвращалось. От меня отвернулись, а над Серкебаем стали смеяться. В досаде он ткнул в первую попавшуюся карту. Бай ее перевернул, и открылась шестерка пик.

Джээнчоро протянул к Серкебаю руки:

— Иди, обниму тебя. Теперь ты мой сын. Обниму и поцелую как родного и в слезах расстанусь с тобой, отпуская на царскую службу.

Своему народу Добрый бай сказал:

— Видите, я справедлив. Мог бы послать царю любого из вас, но посылаю сына.

Произнося эти слова, Джээнчоро не заплакал, а захохотал. Он был сыт и толст. Ему было весело.

Серкебай упал и забился в судорогах. Он громко проклинал всех: бая, бия, болуша, закон, царя, бога, шайтана. Он проклял Колдуна, меня и кончил тем, что проклял дочь свою Буюркан.

Волостные джигиты схватили его, скрутили, поволокли, бросили на одного из своих коней и поскакали прочь с плюющимся, плачущим, рыдающим Серкебаем.

Все, кто нашел в себе силы, вышли за пределы юрты смотреть, как увозят моего мужа. Вышла и я, держа на руках Буюркан. Она, пока могла видеть своего отца, тянулась к нему ручонками. А когда всадники скрылись за скалами, закричала, стала от меня рваться, извиваясь, как маленький червячок. Казалось, хочет бежать за отцом, хотя ножки ее еще не окрепли и сил у нее было не больше, чем у маленького червячка.

Нисколько не больше было у нее сил, чем у маленького червячка.

Вернувшись в юрту, мы увидели сидящих на ковре, укрывающем помост, Джээнчоро и Кулжугача. Джээнчоро встретил нас хохотом. Он подозвал меня и мягким голосом попросил:

— Переверни оставшиеся три карты из тех, которые я положил перед Серкебаем.

Я перевернула и увидела, что и другие три карты были шестерками. Ах, как захохотали Добрый бай и сын его, глядя на мое недоуменное лицо.

Джээнчоро сказал:

— Ты спрашивала Колдуна, и он тебе не ответил. Пусть бы ответил и Серкебай ткнул бы в другую карту — все оказалось бы так же. Видишь, Аруке, я научился играть без проигрыша и теперь быстро верну себе славу и былую силу. Буду обыгрывать всех. Ха-ха-ха! Обыграю и болуша, и любого манапа, и губернатора, и самого царя!

Я стояла окаменевшая. Буюркан примолкла, услышав хохот Джээнчоро и его сына, и вдруг потянулась к ним.

— Смотри, Аруке,— сказал Кулжугач.— Твоя умная девочка тянется ко мне. Она хочет, чтобы я стал твоим мужем и ее отцом.

Еле сдерживая тошноту, я сказала:

— Она тянется к золотой каске отца, к любимой его игрушке.

Я не могла смотреть и не могла слушать. Отвернулась и пошла. Готова была упасть и заплакать. Женщины меня приняли и усадили. Они стали говорить утешительные слова. Но я их не слышала.

Вы знаете, я часто спрашивала Колдуна, как мне быть, и он мне отвечал. На этот раз все получилось по-другому. Вдруг почувствовала в себе яростный, непреоборимый гнев. И вместе с гневом вошел в меня голос Колдуна:

«У тебя есть револьвер. Почему не стреляла в писаря? Почему позволила баям издеваться над собой? Чего ты медлишь, чего ждешь? Народ восстает, а ты, умея говорить и умея стрелять, как несчастная сидишь среди несчастных. Они гибнут, и ты гибнешь. Слепой ырчи пропел тебе слова Акзыйнат, он поднял твою славу и силу перед народом, а ты разменяла их рядом с Серкебаем!..»

В ответ я воскликнула:

«Отец, я сделала, как ты велел. Дала патроны к карабину и учила джигитов стрелять. Первым научила байского сына Кулжугача, думая, что станет над нами вождем и поведет нас. Он мужчина, а я только слабая женщина».

«Нет, ты не слабая, ты сильная. В тебе живет железо. У тебя есть оружие. Ты стреляешь с меткостью охотницы Сеилкан *, ты вдохновляешь и покоряешь своим словом, подобно защитнице и предводительнице киргизов Кыз-Сайкал; твою смелость даже Батыркул сравнил со смелостью Зеррин-Тадж. Что ж ты чахнешь, что ж ты вянешь, на кого надеешься? Проснись! Встань, как стояла перед кашкоринцами на скале! Подымай людей. Будь умной, хитрой и безжалостной ко всем баям — как к злым, так и к добрым».

Я не дослушала Колдуна. Внутри меня само собой зазвенело и распрямилось железо. Оно меня разогнуло. Оно сделало сверкающими и бешеными мои глаза. Я передала женщинам Буюркан. Я подпоясалась. Вынула из-за пазухи револьвер с четырьмя патронами. В этот момент поднялся надевший каску Кулжугач.

— Иди ко мне, о Аруке! Иди, иди ко мне!

И я пошла к нему. Наставила на него наган, схватила лежащий с ним рядом карабин и швырнула мужчинам. Я крикнула мужчинам:

— Возьмите, кто умеет стрелять! Возьмите и подымайтесь! Все до одного вставайте!

Кулжугач бросился отнимать у меня наган, но рухнул от моего выстрела. Добрый бай скатился с возвышения и скорчился, чтобы стать меньше. Он плакал, как верблюд, и выл, как шакал. Народ стал шевелиться. Подданные бая разминали руки и ноги.

Я кричала им:

— Идемте, идемте! Собирайтесь, берите женщин и детей!

Кто-то стал плакать, что его от голода не держат ноги. Ему все равно где умирать. А я в ответ сказала:

— Если все равно, умрешь с нами. Умрешь в лесах и горах свободы, в борьбе за свободу. Идемте, я обещаю вам сытость, обещаю вам воду—много воды. И траву обещаю, и овец. Режьте нашу последнюю овцу и насыщайтесь, чтобы набраться сил. Не надо святости и глупого добра. Злитесь, яритесь, готовьте руки для пик и для ножей. Мы пойдем против всех баев и царей. Настало наше время. Мы сольемся с киргизским народом и выиграем бой...

Зашевелился Добрый бай.

— Вот и ты заговорила об игре,— не подымая головы, сказал он.— Так давай сыграем. Перед тобой карты!

---

* Сеилкан и Кыз-Сайкал — героини киргизского эпоса.

Я ногой отшвырнула карты. Потом сбросила на бая его живое от вшей одеяло, на котором он просидел полгода. А когда сбросила, учуяла откуда-то запах копчености. И подняла край ковра. Под ним в глубине деревянного настила лежали колбасы. Много крепких, туго набитых конских колбас, способных не портиться долгие месяцы.

— Эй, люди, джээнчоринцы! — закричала я.— Вот на чем сидел ваш Добрый бай. Берите, расхватывайте и насыщайтесь. Скорее ставьте в горящий кизяк чайники. Напьемся, наедимся и пойдем!

К джээнчоринцам вернулась жизнь. Сперва ползали, потом стали ходить и бегать. Они закатали в ковры Доброго своего владыку, и тот смирно лежал. Его сын умер. Никто о нем не вспоминал. В общей сумятице я с трудом нашла свою Буюркан. Я сидела на возвышении, ела и пила, не сводя ни с кого глаз. Ела, пила и после каждого глотка кричала:

— Скорей, скорей, скорей!

В глубине помоста нашлись сухие лепешки. Их стали размачивать и есть. Я ела и пила, думая, что не смогу остановиться. Я не наелась, и никто еще не наелся, когда все припасы кончились. То, что одному или двоим могло хватить на месяцы, народ съел за минуты.

От еды во мне явилось молоко, и Буюркан с жадностью сосала. Я кричала ей и всем другим детям — большим и маленьким, понимающим и непонимающим:

— Скорей, скорей, скорей!

Один мужчина, высокий и очень худой, по имени Акчал, завладев карабином, в магазине которого оставалось три патрона, подошел ко мне и сел рядом. Он громко сказал:

— Ты — женщина, я — мужчина. У тебя маленькая стрелялка, а у меня большая. Я буду баем над тобой и над народом. Я вас всех поведу!

— Хорошо,— ответила я.— Если согласится народ, будет по-твоему.— И я спросила народ: — Нужен вам новый бай? Собирайте вот этому Акчалу его байскую половину. Пусть жрет больше всех, пусть станет толстым.

Народ расхохотался, и Акчал расхохотался со всеми. Он согласился идти за мной и охранять меня. Но я велела ему идти позади и охранять не меня, а всех.

Затолкав за пазуху Буюркан и рядом с ней револьвер, я села на коня, на оставшихся коней приказала усадить самых слабых и больных, а здоровым построиться в два ряда и так идти. Закутанный в ковер Добрый бай закричал:

— Возьмите меня с собой. Я люблю свой народ. Кто без народа станет меня кормить?

Подданные бая сжалились над ним и развернули ковер. Толстому Доброму баю Джээнчоро освободили одного коня, и он вскарабкался на него. Но так он был толст и так худ был конь, что ноги коня подогнулись под баем. Тогда Джээнчоро сказал:

— Ладно, идите. Бейте и разоряйте всех баев. Я буду вас ждать. Вернетесь с победой, и я тогда останусь единственным баем над всеми киргизами!

Сказав это, он весело рассмеялся, а потом расхохотался, как хохочут помешанные. Мы оставили его и ушли. И долго слышали, как над горной пустыней гремит его хохот.

Я посчитала всех, кто за мной шел. Насчитала шестнадцать мужчин, двенадцать женщин и тридцать ребятишек разного возраста.

Солнце было к нам благосклонно, палило не слишком сильно. Ветер был нам хорош и прохладным напором дул в спину. Пустынный путь наш был гладок. Нам не встретились ни казаки, ни охранные джигиты. К вечеру мы увидели темные лесистые горы, увидели дым многих костров; острым своим нюхом я учуяла запах кузнечной окалины и жареного бараньего мяса. Когда стемнело, мы увидели костры. Вскоре услышали топот копыт и мужские голоса. Я приказала:

— Берите камни, готовьтесь к бою! Эй, Акчал, влезь на дерево и, если увидишь всадника, кричи: «Стой!» А когда всадник остановится, скажи громко: «Нас много, и мы вооружены. Не пробуйте загонять нас обратно в пустыню. Мы люди и хотим жить как люди!..» Нет, не так. Все вместе — и мужчины, и женщины, и дети — единым голосом будем кричать: «Мы люди и хотим жить как люди!»

И весь народ стал повторять за мной эти слова. Кричали много раз, научились произносить громко и звонко. Нам всем нравилась такая песня. И мы увлеклись. А увлекшись повторением, вдруг увидели, что вокруг стоят всадники. Много сытых всадников, вооруженных пиками, дубинками и разными ружьями.

Среди всадников стоял бородатый Токтор.

Он смеялся.

Он протянул ко мне руки.

Спешившись, я побежала к нему; от слабости и от слез упала вместе с Буюркан. Мы не ушиблись. Тут была не каменная пустыня, а мягкая трава, и мы не ушиблись.

*   *
*

Дорогие мои, меня торопит и подгоняет память. Боюсь памяти медленной, теряющей в раздумчивости пылкость души, радость взлета, сильный бой сердца, красоту огня.

Сколько живет памятей — они все разные, подсказывают одно, другое и третье. Если в старости моей неможется мне от болезни, или от скверного взгляда городской соседки, или от нехватки денег на щедрый подарок имениннице,— в памяти возрождаются давние боли, горечь разлук, холод бездомности, пустота одиночества.

Говорила вам: жизнь едина. Новые обиды напоминают старые. Новые ошибки и новая глупость — родные сестры прошлых и позапрошлых ошибок и глупостей. Новая радость толкает и пробуждает радость юных лет. Говорят, скверное забывается, а хорошее помнится долго. И правда, проходят годы, и плохое видишь как хорошее, трудное как счастье преодоления, страдание как первый шаг к выздоровлению. Но если думаете, что, прощая обидчикам своим, могу простить и обидчикам народным, полагающим кровь человеческую вином своей бодрости... если думаете так — ошибаетесь. Нет, нет и нет! Не прощу царю, не прощу хану, не прощу баю, бию и мулле. Не прощу предателю, торгующему кровью людей.

И все же... Говорила и говорю словами матери моей Асыл, еще не продавшей меня, еще не убитой богатством: «Кто и зачем отгораживает старость от средних лет и средние годы от юности и детства? Я плачу детскими слезами над тем, что было и что я все еще до конца не пережила».

К маминым словам прибавлю свои: «Радуюсь детским смехом и ликую юной силой, когда в памяти воскресает всеобщий подъем, крик свободы, надежды и справедливости!»

Не вся память моя исправлена книгами. Опыт живого тлеет и вспыхивает. Зрение и слух, обоняние и телесное чувство вместе с вкусом сытости без обжорства возвращают мне красоту тех далеких дней.

А добро? Удивительное и бескорыстное добро, пробужденное весельем общности, щедростью общности, открытостью душ и счастьем надежды,— можно ли и достойно ли их забывать?..

...Не требуйте от меня, чего не помню памятью тех дней. Широкое полотно восстания найдете в книгах историков. Вы знаете, и я знаю, что у восставших не было единства цели, мало было крепких вожаков и разумности повстанческих действий.

Вы знаете, что пришли каратели — посланные царем казачьи части и войска соседних гарнизонов, вооруженные пушками и пулеметами. Пролилась кровь тысяч и тысяч. Киргизы бежали, а их безжалостно расстреливали и сбрасывали в пропасти. Был ужас ужасов, текли реки крови... Вы знаете, то была одна из последних ставок играющего народами полумертвого царя.

А я не об этом. Я о радости восстания. О короткой вспышке свободы и справедливости, о слитной ярости и слитной смелости и о том, как увидела доброту и щедрость своего народа.

Помню и всегда хочу помнить торжествующий свет в глазах людей, познавших свою силу. Помню и всегда хочу помнить высокий гребень счастья мимолетной победы. Вдохновение и безумство. И свет человеческой души.

* *
*

В ту ночь, когда лесное войско окружило джээнчоринцев и меня с ними, Колдун сказал:

— Мы шли к вам в вашу пустыню, но не могли вас найти. Хорошо, что ты, сотворив доброе дело, привела этих умирающих...

Он усадил меня у костра, пылающего под обширным казаном с бешбармаком для всех нас.

Я смотрела и слушала, не имея сил откликнуться и глотая слюну.

Вперемежку с робкими и растерянными пустынниками огонь костра окружала сытая толпа вооруженных кашкоринцев, батыркулов и людей родного моего кыштака. Слышны были смех и шутки. Все ждали бешбармака, чтобы накормить голодных. Ни один человек не осмелился назвать пришельцев чужими. Никто не обижался за то, что сидят не на своей земле.

В нашей толпе, где главенствовал чернобородый, волосатый Колдун, сплоченно держались бедняки и средние люди ближних аилов. В соседнем стане Батыркула собрались под его командованием люди состоятельные. Строгого же разделения этих двух лагерей не замечалось. А у того костра, где оказались мы, радушные хозяйки ласкали всех нас, пришедших, улыбками и словами нежности. Они хвалили мою Буюркан и, узнав, что от голодания мало во мне молока, нашли кормилицу. Это оказалась Мэйиз, которая меня признала и расцеловала (о ней расскажу вам позже); нашли для моей девочки пеленки; сшили ей руба-

шечку из сорока лоскутков, швами вверх, чтобы не держались у ее тельца насекомые...

Ах, как жалела я и плакала душой, что нет среди свободных женщин моей мамы!

Никто не упрекнул меня ее смертью, хотя и успели рассказать, что, вернувшись после погони за нами, она слегла и не встала. Сбросила с себя все богатые одежды, разыскала свою прежнюю ветошь и, облачась в нее, отказалась от пищи, чтобы больше не подниматься...

Колдун говорил мне:

— Мы освободили из рук охранных джигитов твоего Серкебая. Он был у нас, а потом перешел в соседний стан Батыркула. Он в подробностях передал нам, как вы жили у Доброго бая, но не сумел объяснить, где ты осталась.— Колдун неожиданно рассмеялся: — Серкебай удивил меня рассказом о том, как ты вела со мной долгие разговоры через хребет горы. Он был обижен, когда я отказался от звания Колдуна, и не поверил, что по воздуху я ничего тебе не посылал, а все сказанное от моего имени ты придумывала сама.

Я закричала:

— Нет, нет — не сама! Слышала ваш голос... Да ведь вы сами, прощаясь со мной, велели в трудную минуту обращаться к вам за советом. Я спрашивала вас, и вы отвечали.

— Пусть по-твоему,— согласился Токтор. И все-таки пожелал, чтобы отныне я не считала и не называла его Колдуном. Он сказал: — Мне уже не нужно скрывать свое настоящее имя. Идет восстание. Ты это видишь. Посмотри — кругом горят костры поднявшихся за свободу.

Я увидела костры и увидела смоляные факелы скачущих всадников. Я услышала общее дыхание людей и общий стук сердец, но своим шестнадцатилетним умом до конца понять не могла ни что есть свобода, ни что есть восстание.

Этого многие не понимали. Знали, что поднялись, знали, что предстоит бой, но каким он будет и когда, и куда надо идти — это в ясности видел, может быть, один только Токтор. Он обращался к народу с речами, он объяснял, заражал своей силой и своей верой, но пока больше всего ощущалось в народе ликование необычности и разрушения того, что было раньше.

Баи не смели бить камчой своих подданных.

Мужья не смели бить жен и детей.

Жены отказались от молчания и говорили, что думали.

Дети безбоязненно играли и досыта ели.

Влюбленным не мешали соединяться.

Как и все, кто пришел из пустыни, я после обильной еды

уснула под шелестящим кустом. Чувствовала под боком сосущую Буюркан — ее нежность, ее безбоязненность, ее теплоту и ее молочный запах. Сквозь сон я слышала звон молотов и отклик наковален.

Утром мы ели и днем ели, а мясо не истощалось. Мы наполнились силой и смелостью. Наши кони катались по траве и вскакивали, не веря, что есть вода, и трава, и листва деревьев, и тень. Они ржали, подбегали к людям за лаской и возвращались к высоким травам.

Наш лагерь стоял на хорошем пастбище у крутого леса. Отары овец, стада коров и косяки лошадей перепутались, смешались и не ведали ни чабанов, ни владельцев. Я узнала от людей, что сам собой родившийся закон восстания отменил на время или навсегда границы собственности. Баи и полубаи сказали: «Режьте и ешьте, чтобы воевать сытыми». Но если б богачи и не сказали, их бы не спросили.

Почти все мобилизованные в тыловое ополчение убежали из-под власти болуша, его писарей и его старшин. Волостные и уездные начальники притихли и ждали новых приказов губернатора. На дорогах и тропах, совершая военные прогулки, показывали себя во всем вооружении казачьи разъезды. Восставшие пока сами не нападали, но гнали на них разъяренных быков. Из лесов ушли все казенные лесники, киргизы стали полными хозяевами.

И еще я уловила из всеобщего женского рокота, что если появляется на дороге купец — соль и сахар у него отнимают, не платя; что охранные джигиты бия и болуша колеблются и готовы встать в ряды восставших; что молиться мулла никого дозваться не может и многие о молитвах забыли.

Среди взрослых женщин я теперь была равной, и они, узнав, что считаюсь приемной дочерью Токтора, стали со мной советоваться. Они с восторгом смотрели на мой револьвер, и ни одна не упрекнула за смерть Гундоса... Все наперебой хвалили Буюркан, а беременные шептали мне, что, если родят девочку, потребуют от мужей, чтобы назвали по моему имени Аруке или по имени моей дочери Буюркан.

* *
*

...В один из дней, когда я уже напиталась силой, Токтор меня отозвал и спросил, приходит ли ко мне, ищет ли меня Серкебай и не пробовал ли переманить в лагерь Батыркула. Услышав ответ, глядя твердо и ласково, принялся спрашивать:

— Слышишь ли когда-нибудь ночной зов Серкебая? Передаются ли тебе от него мысли, как передавались от меня? Тоскуешь ли по нему и не посылаешь ли привета женского ожиданья?

Я сказала:

— Вы мне отец. Но разве в свободе восстания дочь должна говорить отцу о тайных своих мыслях?

— Если ты только женщина — молчи и поступай, как говорит тебе сердце. Но тогда отдай мне оружие, у нас его мало.

Подумав, я ответила:

— Не отдам! Серкебая я перешагнула, а он проклял и меня, и Буюркан. Что б ни говорило мне сердце, командовать разрешу только уму!

Токтор поверил в мою твердость. Он сказал:

— Если не хочешь расстаться с оружием, отдай Буюркан на хранение женщинам, переоденься джигитом и ночью поскачешь с нами. Наша разведка донесла, что с рассветом через Кётмалды поедет военный обоз с оружием. Мы с Батыркулом решили его захватить. Ты хорошо стреляешь, без тебя мне будет трудно... Сделаешь, как сказал?

— Сделаю! — ответила я.

Тогда Токтор дал мне много запасных патронов для нагана и приказал собираться.

* *
*

Мой разговор с Токтором услышала молодка Мейиз — младшая вдова задавленного народом неправедного судьи Айдыралы. Это она в ночь моего возвращения вызвалась накормить своей грудью Буюркан. С тех пор от меня не отставала. Вы знаете ее по первому моему рассказу... Помните: она любила Серкебая и хотела его в мужья, но отец ее за это избил, а позднее продал в жены бочкообразному бию.

Я считала эту Мейиз неумной, но доброй. В то время, узнав, что мы с Серкебаем горим в обоюдности чувства, она мне его привела и обещала украсть для нас коня. Потом предала нас, но не по злобе, а по глупости.

Теперь Мейиз была во вдовстве свободной. С первого же дня моего прихода она повторяла мне слова благодарности и восхищения. Сказала, что слышала мою речь перед кашкоринцами и соглашалась душой со всем, что я говорила.

— Подружка,— шептала мне Мейиз,— весь народ благословляет тебя, а я в сорок раз больше. Ты показала мне, какой силь-

ной может быть женщина. От твоей речи народ осмелел и вместо невинно осужденного казнил судью. Как жена я была им истерзана. Он давил меня своей тушей, он душил меня жиром своих ласк. О, как я обрадовалась, увидев, что чудовище погибло...

Так говорила мне Мейиз. Я поверила ее благодарности. Я жалела ее, понимая ужас недолгой, но страшной жизни с судьей. Жалела еще и потому, что за три дня до моего прихода она похоронила рожденного семимесячным недоношенного сына. Материнская скорбь по мальчику кипела в ней рядом с ненавистью к мужу-насильнику. Мейиз меня растрогала еще и тем, что рассказала, как, склоняя ее к ласкам, старый бий подарил ей драгоценный браслет с жемчугом и рубинами.

— Вот этот браслет,— она подняла рукав платья и показала вещь прекрасной работы.— Я прячу эту драгоценность от других вдов и отдам тебе. Айдыралы снял его с мертвой твоей свекрови... Немного еще поношу и отдам, обязательно возвращу тебе, как наследнице.

С того случая, как Мейиз накормила молоком Буюркан, девочка ее запомнила — тянулась к ней, улыбалась ей.

Когда Токтор, поговорив со мной, отошел, явилась из-за куста Мейиз и так сказала:

— Я все слышала. Знаешь, подруженька, если и правда поскачешь с джигитами, оставь со мной девочку. Доверь мне Буюркан, я буду с ней внимательна и нежна...

Она хорошо произнесла — с доброй улыбкой и с надеждой во взгляде.

Я расцеловала с ног до головы сонную свою доченьку и, передав ее в руки Мейиз, оделась джигитом. Снова я, как когда-то, превратилась в Шертая...

...Тут, неведомо откуда, объявился в нашем лагере Серкебай. Он искал меня, но в наряде джигита не узнал. Он увидел на руках Мейиз спящую Буюркан и склонился над ней, шепча слова прощания и ласки. Этим мой муж умилил меня, и я еле сдержала желание к нему подойти.

— Подними мне мою девочку, покажи, чтобы видел ее лучше,— попросил Серкебай кормилицу.

Мейиз подняла, обнажилась ее рука, и Серкебай, заглядевшись на сверкание камней, забыл смотреть на ребенка. Он впился взглядом в браслет. Потом, вздохнув, отошел. Но тут же вернулся и одобрительно похлопал по щеке грудастую Мейиз, отчего та густо зарделась.

Серкебай сказал ей:

— У тебя хорошо все, что есть на тебе. Береги дитя для меня.

Я хотела вмешаться и крикнуть ему, чтобы забыл о Буюркан. Мне стала противна сорочья воровская его жадность к сверканию браслета. И я бы крикнула, но тут пропела призывная труба Токтора, а с другой стороны ущелья прохрипела труба Батыркула.

Серкебай и я побежали каждый к своему коню. Мне показалось, что муж мой меня узнал. Однако он ничем этого не показал, и я его возненавидела...

...И вот джигиты поскакали в темной ночи. Нас было двести всадников: половина под началом Батыркула и половина под началом Токтора. По бокам Батыркула, охраняя его, скакали Мадияр с пикой и Серкебай с саблей. Сам же Батыркул вооружился маузером, висящим в деревянной кобуре. По бокам Токтора были тоже двое: Бекмерген с карабином и Шертай с семизарядным наганом. Вы уже знаете, что под именем джигита Шертая ехала я, Аруке, дочь каменотеса и швеи, мать трехмесячной девочки Буюркан.

Темная ночь сверкала молниями и грохотала сухим громом. Мы въехали в пустыню. Ветры взялись крутить перед нами пыль на камнях и тучи в черном небе. Скручиваясь, тучи опускались, а пыль и камешки подымались. Соединившись, они превращались в живые столбы; их прорезали огненные стрелы. Наши лошади упирались под нами, не желая скакать дальше. Ржанье двухсотголосого табуна было подобно громыханью горных обвалов. Когда же падали крутящиеся смерчи и накрывали нас, мы превращались вместе с конями в пыльные холмы, выбирались и скакали дальше.

Нам встретился казачий разъезд — двадцать всадников в фуражках. Они приняли нас за тучу, спустившуюся с неба, и не успели снять с плечей карабины и выхватить сабли. Мы разоружили их, забрали коней, а самих отхлестали и отпустили гулять в пустыню. Им было плохо, а нам хорошо.

Проскакав еще сколько-то и ведя в поводу казачьих коней, мы заметили, что небо светлеет рассветом и природа успокаивается. Наши главари приказали спешиться, сделать привал, отряхнуться и почиститься.

Бекмерген подошел ко мне с улыбкой привета, но Серкебай опередил его. Сделав лицо мрачным и угрюмым, он раскрыл руки, чтобы спрятать меня от чужого и ему ненавистного. Свирепость взгляда моего мужа предвещала смертный бой. Я вспыхнула гордостью за удаль его ревности. Джигиты побежали к соперникам, чтобы остановить кровопролитие.

Мой муж закричал Бекмергену:

— Слушай, презренный кул! Меня зовут Серкебай! Запомни и не смей забывать: это я! Тот самый, которого зовут Серкебаем!

Договорив свои любимые слова, он выхватил из ножен саблю.

Тут-то и раздался высокий и визгливый хохот. Отделившись от серой скалы, у которой раньше был незаметен, в толпу вошел старый-престарый, кривой на один глаз, исхудавший и ветхий бай Джээнчоро. Он рассмеялся и весело захохотал, показывая пальцем на Серкебая:

— Ах-ха-ха, ох-хо-хо! Дорогой мой сыночек. Ты опять здесь? Рядом наша юрта. Идем, идем. Там лежат и ждут тебя карты.

В это мгновенье из-за горы вышло солнце, и луч его отразился в каске на голове Джээнчоро.

Забыв обо мне и о том, что хотел драться с Бекмергеном, Серкебай закричал:

— Моя каска! Проклятый старик, отдай каску! — И он потянулся рукой, чтобы отнять свое имущество.

Тут в дело вмешался Батыркул. Он укоризненно покачал головой:

— Стыдись, Серкебай! Каску ты украл в пожарной части. Отдал мне за иноходца и кожаное английское седло. Потом украл у меня и, наверное, проиграл этому уважаемому человеку. Хочешь обидеть главу славного прииссыккульского рода?.. Ты мне племянник, но отказываюсь тебя знать. Отойди!

Токтор закричал Батыркулу:

— Эй, союзник! Не теряй времени. Оставь разговоры. Обоз с оружием проедет, и мы его не догоним. Садись на коня!

Но Батыркул, отмахнувшись от Токтора, приказал Мадияру подвести Доброму баю лучшего из отбитых у казаков коня. Он сам помог этой хохочущей рухляди подняться в седло. Он повесил на плечо полумертвому карабин и пристегнул к его поясу казацкую саблю. Он поклонился ему и произнес:

— О достопочтенный, державный брат мой Джээнчоро! Ты владел обширными землями и возглавлял доблестный народ. Тебя выгнали и опозорили, тебя никуда не пускали. Разве не знаешь, что идет восстание? Мы только что разгромили вражескую конницу и скоро очистим все твои земли.

Джээнчоро встрепенулся:

— Ой-е! Значит, началась настоящая игра! Я вновь получу власть? Ко мне вернется народ?.. А ты кто? Ах, ты Батыркул. Что ж, я знаю Батыркула. Едем. Только скакать будешь позади меня. Я выше по знатности и первым хочу вступить в свои земли.

Токтор скривился, услышав все это. Презрительно сощурился и сказал:

— Ладно, пусть будет еще один союзник. Только едем быстрей!

Все вскочили на коней, и я с удивлением увидела, что ветхий Джээнчоро не рассыпается, не падает. И хорошо скачет во главе войска. Он пустился рысью. Он уже дал своему коню шпоры, чтобы перейти на галоп, когда подскочил к нему Серкебай, сорвал с него каску и помчался куда-то в сторону. За ним было погнались, однако он свернул за скалу, и мы услышали бешеный скок рысака.

Батыркул остановил преследователей:

— Пусть уходит. Он просто трус и бежит от битвы! Вперед! И кто придет в Кётмалды первым, получит от меня приз.

Нарушая воинский порядок, джигиты помчались, стремясь обогнать друг друга.

В бае Джээнчоро проснулась давняя страсть к скачке. Он браво держался впереди.

* *
*

Ветхий бай Джээнчоро держался браво, а джигит Шертай приуныл, женская душа его скулила, грудь томилась молоком, сердце нежностью. И даже ум, которым я бахвалилась перед Токтором, заострялся в другую сторону.

Во мне явилось сомнение: «Батыркул назвал племянника трусом, но ведь тот хотел драться с Бекмергеном. Готовился к драке за меня и не мог знать, что от скалы отделится Джээнчоро». Так я раздумывала. И вдруг во мне явилось прозрение. Увидев сверкание каски, муж мой воровской сорочьей памятью вспомнил золотой браслет на руке Мейиз. Когда-то Мейиз любила Серкебая до беспамятства. За эту безрассудную любовь она терпела от родного отца жестокие побои... А сейчас... Разве не зарделась от Серкебаевой ласки?..

«О я несчастная!» — вскричала моя душа. К душе присоединилось сердце, а проницательный ум прибавил: «Серкебай и Мейиз ускачут, ускачут с Буюркан». Подчиняясь душе и сердцу, рука стала тянуть повод коня в сторону, и это заметил Токтор.

Сразу же нашел он мои глаза и впился в них. Колдовское его зрение прочитало все, что думаю. Ох, дорогие мои, знали б вы, как от взгляда Токтора вспыхнул во мне горячий стыд, как заорала совесть! Ум остановил руку, и рука повела коня прямо. А я расхохоталась бешено и дико. И в хохоте моем были сле-

зы и плач над бедной моей Буюркан, которой достался вместо матери повстанец Шертай.

Услыхав мой хохот, Токтор понял, что в борьбе сердца, души и ума верх взял ум. И чтобы меня не смущать, главарь наш ускакал вперед. Рядом со мной оказался Бекмерген. Его глаза смотрели яростно. Давно ли подходил ко мне с улыбкой привета, но теперь я чувствовала в нем одну лишь ненависть.

Видно вспомнив оголенную саблю Серкебая, он ощерился на меня и крикнул:

— И от такого ты родила!

Злобно плюнув, он хлестнул камчой мою лошадь.

А я ему ответила таким же взглядом и огрела по спине его самого. Обожженный ударом, Бекмерген поднял коня на дыбы и повернул на меня, и я хлестнула Бекмергена по лицу. Токтор заметил нашу драку и врезался между нами. Тогда я весело сказала:

— Что вы, отец, разве не видите — мы шутим. Нас горячит скачка. Давние друзья — мы с Бекмергеном три года вместе подъедали байские остатки. Он меня спас, он за меня пришиб Кашкоро...

И я подмигнула Бекмергену. Во мне родилась удаль, и я подмигнула.

— Ах, что ты за женщина! — с восторгом воскликнул рыжий Бекмерген. Он снял рукавом кровь с лица и улыбнулся.— Черт, а не баба. Куда ты, туда и я!

Кедеи все это видели и радостно хохотали.

И другие повстанцы видели — люди Батыркула и кашкоринцы. Среди них был ропот и разговоры.

И вот мы прискакали на берег Иссык-Куля. Это было ранним утром. Я никогда не видела такой большой воды. От солнца озеро горело огнем, и я воскликнула:

— Бекмерген, смотри, как красиво!

— Ты красивая! — ответил он мне. И прибавил: — Бесконечно...

От этого слова мне стало смешно.

Кётмалды был в тот год маленьким глиняным поселком с круглыми тяжелыми камнями на плоских травяных крышах. Я поселка почти не заметила. Удивилась обширности пустынных просторов земли и воды. Двести всадников потерялись в этой красивой пустынности. Кроме нас, тут собралось еще много всадников из разных мест. Всадники то съезжались в кучки, то

разлетались в разные стороны. Я давно знала, что в этом Кётмалды скрещиваются важнейшие пути. По Боомскому ущелью дорога спускалась к плодороднейшим землям Чуйской долины, по северной и южной сторонам Иссык-Куля шло движение караванов, почтовых кибиток, телег с многими грузами и военных обозов к Пржевальску; отсюда брал начало широкий путь через пустынные мертвые горы к Кочкорке, Столыпино, Джумгалу и дальше к Тогуз-Тороо и Нарыну.

Это мне объясняли Бюбюсар, Кадыр и сам Токтор. Своими же глазами я видела впервые, и многого не понимала, и слегка робела. Что-то мне говорил, почти не прерываясь, Бекмерген; я его не слышала, потому как то и дело от слитной и разобщенной, все время движущейся толпы всадников подымался рев. Не знала, возмущаются или радуются, спорят или ищут единства. Мы с Бекмергеном спустились за Токтором поближе к толпе. И теперь нам скалы не мешали видеть, как при выходе из Боомского ущелья бьются в жаркой пыли залившиеся кровью недостреленные лошади. Там же были видны мертвые казаки в белых окровавленных рубашках. На сваленных набок длинных повозках крутились сами собой колеса: значит, были хорошо смазаны. Кто-то старался разбивать топорами и кетменями дощатые ящики. Кто-то возмущенным визгом требовал порядка. Кто-то густоголосый распоряжался:

— Дурачье, испортите ружья! Не рассыпайте патроны! Не пачкайте пылью!

Кто-то кого-то отталкивал, кто-то затевал драку. Все сильней ощущался жар подымающегося солнца, все острей несло мужским потом. Вдруг я заметила, что в толпе всадников мелькают и женщины. У некоторых на плечах висели винтовки. Я хотела сказать Токтору, что могла бы и не переодеваться, в толстых штанах мне плохо и непривычно, но Токтора вблизи не оказалось. Из гущи толпы меня звал голос Бекмергена. С трудом протиснувшись между всадниками, я встала рядом с ним. Он протянул руку и показал мне на широкий утес, откуда, не сходя с коня, проповедовал мулла в ослепительно-белой чалме. Это был грозный старик с бородой, ветром занесенной через плечо. Он умел сверкать глазами не хуже Токтора. Постепенно люди смолкли, удары по ящикам прекратились, и даже кони утихомирились, понимая, что слушают святого имама.

Имам говорил!

— Мусульмане, не бойтесь пролить кровь капыров. Бейте, режьте и колите. Стреляйте и убивайте каждого уруса. Хоть воина, хоть землепашца, хоть старика, хоть подростка. Не жалей-

те ни женщин, ни детей. За смелость в убийстве иноверцев аллах уготовил вам рай...

Бекмерген толкнул меня под бок, и я увидела, что рядом с Батыркулом поднимается на утес Токтор и туда же тянется за ними кривой Джээнчоро. Мы поспешили протолкнуться к ним. Бекмерген успел переговорить со своими кедеями, и те узнали для него, что было до нашего приезда.

Оказалось, что за обозом с оружием охотились не только мы, но и повстанцы других волостей. В нескольких крытых повозках с красным крестом, означавшим, что везут с фронта раненых, солдаты хотели безлюдным южным берегом Иссык-Куля доставить в Пржевальск ящики с множеством винтовок и огромным количеством патронов к ним. Это узнала наша разведка, но не дремали и другие. Ыбрагим Тёлёев с двадцатью пятью повстанцами Сарыбагышской волости первым напал на обоз, задержав его у Кок-Мойнока. Казаки отбились и помчались дальше. Но, обогнав их, тот же Тёлёев и Джунуш, сын Карачора, устроили засаду у караван-сарая и подстрелили лошадей. Солдаты частью бежали, а частью были убиты. Винтовок в обозе нашли около двухсот, а патронов свыше тридцати тысяч.

Сейчас же в Кётмалды съехались повстанцы ближних аилов. Однако наши отряды были самыми большими, и мы при дележе должны были получить не менее ста винтовок и пятнадцать тысяч патронов.

— Мулла не делит оружие,— сказала я.— Слушай, Бекмерген, он зовет убивать детей.

В это время на место седобородого имама встал на иноходце Батыркул. Рядом с собой он поставил ветхого Джээнчоро.

Показав народу Доброго бая, который был в рубище и в грязной чалме, Батыркул сразу же стал пучиться и выть голосом бешеного пса:

— Э-эй, люди, слуги всевышнего аллаха и правоверные воины пророка нашего Мухаммеда. Смотрите на этого потерянного и голодного, истерзанного и обветшавшего! Перед вами владетельный бай. Бай, чьи права попраны, а сам он изгнан с жирных своих земель. Именем имама, чей голос вы слышали, я возвожу Джээнчоро в сан прижизненного мученика. Даю ему в руку зеленое знамя пророка, и пусть ведет нас очищать от неверных всю землю Прииссыккулья. Я привел войско, со мной двести джигитов. Эй, джигиты! Мы станем войском святости. Мы вернем придавленного Джээнчоро на славный ковер его благости во имя всенародного благоденствия. Да будет наше войско объединителем всех мусульман Тянь-Шаня! Мы первыми поднимаем

голос во имя газавата — полного подчинения и разграбления иноверческих поселений. Будем жечь дома и нивы, оросим землю кровью, а победив, выберем себе достойного хана, во веки веков утвердив мусульманских правителей на мусульманской земле...

...Батыркул добыл откуда-то златотканый халат и набросил на Джээнчоро. Он сунул ему в руку древко со скрученным на нем шелковым знаменем. Ветер мгновенно развернул полотнище, и оно заискрилось ярко-зеленым пламенем. И это было красиво. И нашлись в толпе, которые закричали:

— Газават, газават, газават!

Кто-то стал себе кровенить лицо и размазывать кровь. Кто-то бился в припадке, а кто-то лаял по-собачьи. Все окрестные ослы задрали головы и принялись терзать уши судорожным своим ревом.

Батыркул сказал джигитам:

— Берите оружие!

И я услышала, как стоящий с ним рядом Токтор громовым голосом за ним повторил:

— Берите!

Сколько-то времени в споре и толчее разбирали винтовки. Хватали, кто сильней. Но Токтор с возвышения сказал, голос его поднялся над шумом:

— Неумеющие стрелять, отдайте умеющим!

И его послушались. А потом все встали под скалой плотным строем и ждали, кто еще будет говорить.

Мы с Бекмергеном поднялись на утес и приблизились к Токтору. Бородатый и волосатый Токтор вывел коня вперед и стал виден всем, как дикий лесной человек. Он сказал:

— Говорил мулла, и говорил бай. Теперь скажу я, Токтор, которого называют Колдуном. Нет, не колдун я, но и не убийца детей. Мой отец был рабом, кулом, а я стал оружейником и кузнецом и свободным человеком в лесу среди зверей и узнал, что нет хуже зверя, чем манап, бай, бий и мулла... Этот Батыркул, что перед вами корчился, он хана хочет вместо царя, а всех нас хочет рабами для себя. Не русских землепашцев надо убивать и не детей их...

Кто-то под скалой стал вопить, а сребробородый имам кулаком грозил Токтору. Но голос Колдуна был таким зычным, что не находилось шума, способного его заглушить.

— Эй, джигиты! — подняв руку, сказал он.— Не надо нам баев, как не надо и царя. Наше восстание против власти всех царей, против рабства и против скотства, когда человек человека запрягает и едет. Слушайте меня, джигиты. Вы добыли

оружие. Я вас учил стрелять, и те, кого я учил, учили многих. Эй, умеющие и неумеющие! С винтовками и саблями, с фитильными ружьями и с охотничьими, с ножами и пиками, с дубинками и с голыми кулаками! Эй вы, не унывающие в труде и пасущие чужие стада! Слушайте, и я скажу вам, что делать. Знайте: ваших братьев, отцов и всех трудовых людей от девятнадцати лет до сорока трех занесли в списки. Всех, кроме баев и им близких. Нет среди занесенных в списки ни бая, ни сына бая, ни муллы и ни брата муллы, ни бия и ни казия, ни купца и ни ростовщика...— Тут он повысил голос и достиг им самых высоких вершин поднебесных гор.— Все списки мобилизованных изо всех волостей Тянь-Шаня собраны в Столыпино. Их надо взять и сжечь, пока не пришло войско и не стало нас давить и гнать... Надо сносить мосты, перекрывать войску дороги камнями, надо разрушать почту и рвать провода телеграфа. Надо захватывать склады и раздавать неимущим все байское и купеческое добро. Надо сопротивляться захвату скота солдатами. Надо делить скот и каждому безлошадному дать лошадь. Надо вот этого злобного Батыркула, как самого подлого предателя, за то, что отвлекает...

Вдруг я увидела, что Батыркул выдернул из кобуры маузер, и моя рука сама собой выхватила из-за пазухи наган. Но раздался выстрел, и упал с коня, а потом и с утеса Токтор. И тут же я выстрелила в Батыркула, но он соскользнул под лошадь; Мадияр метнул в меня копье... Бекмерген перехватил его на лету и немыслимой своей силой выбил Мадияра из седла; я приказала Бекмергену:

— Поднимай людей! Кричи кедеям, чтобы держали на мушке богатых. Токтор не умер. Токтор жив, я его слышу...

Народ будил Токтора, но уже слетелись на него мясные черные мухи смерти.

Я кричала народу — кашкоринцам, батыркулам, кедеям и людям своего кыштака:

— Токтор не умер, он жив во мне, я слышу его! Я — Аруке и Токтор вместе, я весь народ, я знаю, что делать! Скачите за мной! Вперед, в Столыпино, в Кочкорку! Уничтожим списки, сожжем волостное управление, арестуем болуша и волостного начальника!

Разрезая грудью своего коня ряды всадников, я мчалась в неистовстве самозабвения и стреляла, чтобы все меня слышали. Я чуяла за собой дыхание Бекмергена и его коня. Я слышала за собой подковы всех кедеев, всех мадрикеров и чайрикеров, всей бечары и всей букары.

Я долго не оборачивалась, но в полном счастье души

понимала: люди меня услышали,— почувствовали и поверили, что я творю этой скачкой волю Токтора и дело его.

Когда же на выходе из ущелья я обернулась — увидела за собой не две и не три сотни. Потому как к нашим людям примкнули другие из других тянь-шаньских волостей.

* *
*

Под Столыпино завязался бой повстанцев с властями. Там собралось и вошло в битву до пяти тысяч наших всадников. Прочитайте обо всем этом в книгах историков. Я там была и стреляла, но рассказать, что есть бой, не умею.

Каратели убили там многих: и мужчин, и женщин, и детей. Но 10 августа под Столыпино я увидела свет и ярость восстания, радость и вдохновение свободы.

Утром я сидела в изнеможении. Почти тупая, почти безумная. Сквозь залитые пóтом веки я увидела в куче наших мертвецов двух застреленных женщин. Среди убитых мужчин не было племянника Батыркула Серкебая, а среди погибших женщин не было вдовы бия Мейиз. Значит, они ушли и спаслись. Может быть, бросили мою Буюркан. Но вряд ли бросили золотой браслет.

Так я думала в полубезумстве усталости.

И вдруг заметила возле убитых женщин двух грудных младенцев, орущих и сосущих что попало. И еще в тумане своих слез и пота увидела мальчика лет трех, черноволосого, с задумчивым лицом. Я подняла младенцев и открыла им свои груди, полные молока. Мальчишки взялись сосать с остервенением и невыразимой силой.

А трехлетний мудрец обнял мои ноги и смотрел без крика, с надеждой на еду и на жизнь.

Я погладила его голову и спросила:

— Как зовут тебя, малыш?

Он мне сердито сказал:

— Я не малыш!

— А кто ты? Не бойся, скажи. Кто ты?

— Я Токтор! — ответил он мне.

Конец

Содержание

Байтемиров Насирдин

БУНТАРКА И КОЛДУН. Роман. Авториз. перевод с киргизского Е. Г. Бобняцкого. М., «Молодая гвардия», 1971.
464 с. С(кирг)2
Редактор *С. Шевелев*
Художник *Д. Шимили*
Худож. редактор *Н. Михайловская*
Корректор *З. Харитонова*

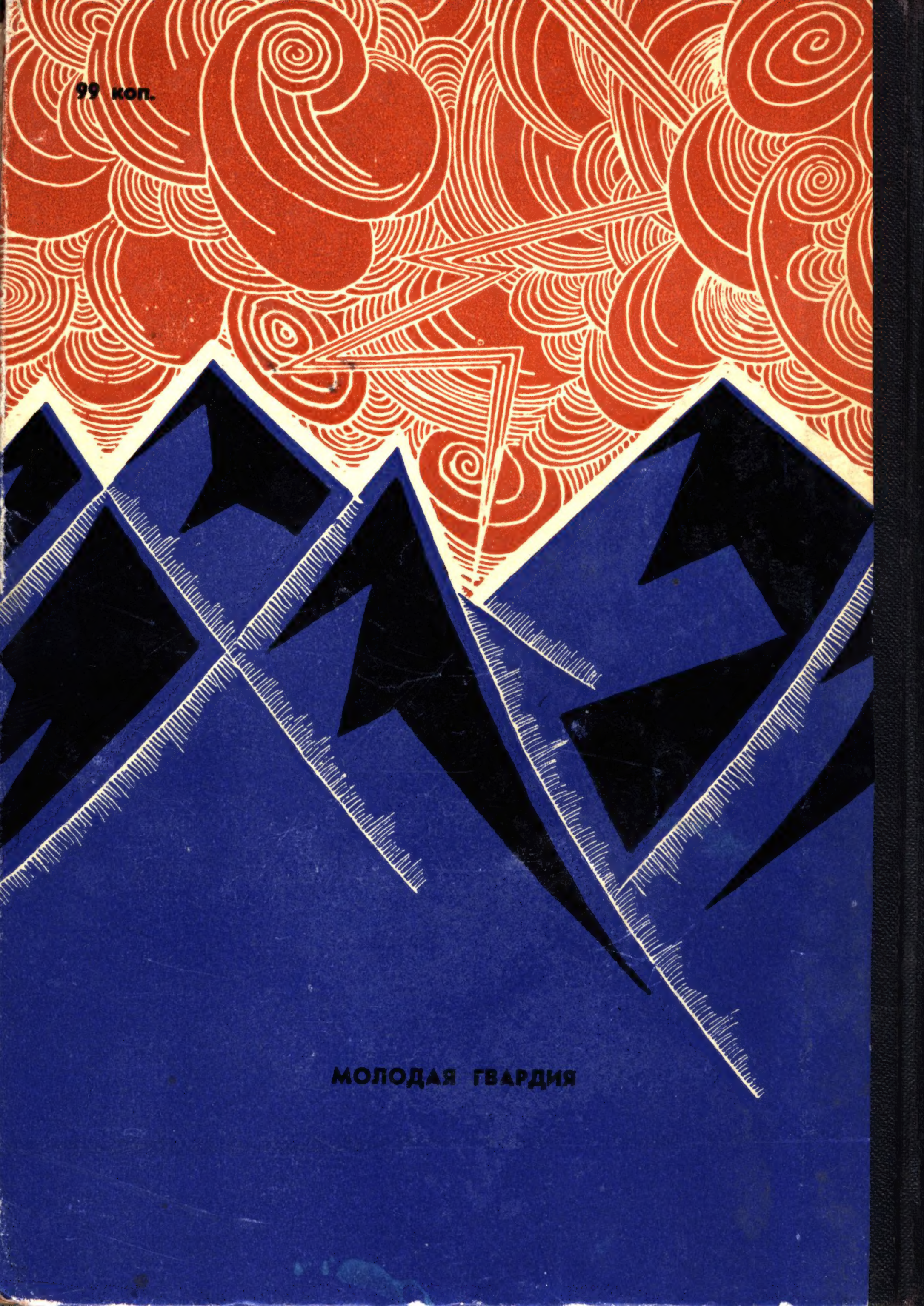
Сдано в набор 20/I 1971 г. Подп. к печати 28/IX 1971 г. Формат 60×84[1]/16. Бумага № 2. Печ. л. 29, (усл. 26,97). Уч.-изд. л. 28,6. Тираж 100 000 экз. Цена 99 коп. Т. П. 1971 г., № 273. Заказ 2866.

Отпечатано в типографии изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», Москва, А-30, Сущевская, 21.

Набор и матрицирование в Киевском полиграфическом комбинате Комитета по печати при Совете Министров УССР, ул. Довженко, 3.






99 коп.
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

НАСИРДИН
БАЙТЕМИРОВ

БУНТАРКА И КОЛДУН